ISSN 0130 – 6545

3.1980

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мать и дитя

Цветные иллюстрации номера — работы Монсеррат Гудьол (Испания)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 Март 1980

Содержание

ВАСИЛ ПОПОВ — Низина *(Главы из романа. Перевод с болгарского А. Крузенштерна и Л. Лихачевой)* 3

АНАНД МУЛЛУ — Из книги «Пепел и угли» (1974) *(Стихи. Перевод с английского В. Андреева и В. Розова. Вступление К. Чугунова)* 82

МАРИО БЕНЕДЕТТИ — Рассказы *(Перевод с испанского Ю. Грейдинга)* 85

Молодые поэты Болгарии

БОРИС ХРИСТОВ. ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА. ГЕОРГИ СПАСОВ. АНДРЕЙ АНДРЕЕВ. КАЛИНА КОВАЧЕВА. ИВАН ГОЛЕВ. ВАЛЕНТИНА РАДИНСКАЯ *(Переводы Лорины Дымовой, Евг. Винокурова, Александра Руденко)* 100

КНУТ ФАЛДБАККЕН — Страна заката *(Роман. Перевод с норвежского К. Телятникова)* 108

Критика

Сопоставляя точки зрения

Реальность и мифы: итальянская литература 70-х годов 185

С. ПРОЖОГИНА — Пора тревог и надежд (О некоторых аспектах творчества франкоязычных писателей стран Магриба) 198

Культура и современность

Заметки на полях

Н. Литвинец — «Направление движения не меняется» (По поводу одной газетной полемики) 206

Публицистика

Запад, права человека...

ФРИДРИХ ХИТЦЕР — Тебя предупреждали... (Слушание дела искусствоведа д-ра Габриэлы Шпригат. *Перевод с немецкого Е. Кацевой)* 209

САРА ЛИДМАН — Киоск: современный костер для книг? (Из выступления на ежегодной конференции Союза шведских библиотекарей. *Перевод со шведского И. Смиренской)* 217

МАГНЕ РАУНДАЛЕН, ОГЕ ТЕЙГЕН — Из книги «Молодежь сегодня» *(Перевод с норвежского М. Николаевой)* 220

РОБЕР ЛИНАР — Участь Лонгви *(Перевод с французского Л. Липман)* 222

НЕД О'ГОРМАН — Дети погибают (Фрагменты книги. *Перевод с английского В. Лимановской)* 224

Антирубрика

ЭРИК КРОСС — Рассказы *(Перевод с английского Анатолия Мельникова)* 235

Наши гости

В. Шагаль — Али Джаафар аль-Аллак. Хдейр Абдель Амир (Ирак). Р. Фиш — Джахит Кюлеби (Турция) 242

К нашим иллюстрациям

Г. Каптерева — Монсеррат Гудьол 246

Среди книг

Издано в СССР

Алла Киреева — Тихий крик. ✦ А. Бочаров — Триада Габриэлы Воман. ✦ М. Злобина — В игрушечном государстве 247

Издано за рубежом

Хосе Мигель Варас — «Загородный дом» — роман о сегодняшнем Чили. ✦ Эти книги пришли из Канады. С. Белов — Обретение голоса. О. Алякринский — «...Я верю в наступление утра». Антонин Майе открывает Акадию (Интервью с А. Майе) 252

Из месяца в месяц 260

На 1-й стр. обложки — картина МОНСЕРРАТ ГУДЬОЛ (Испания) «Женская фигура и цветочный горшок».

На 4-й стр. обложки — картина МОНСЕРРАТ ГУДЬОЛ «Девочка и яблоки».

© «Иностранная литература», 1980.

ВАСИЛ ПОПОВ

Низина

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с болгарского А. КРУЗЕНШТЕРНА и Л. ЛИХАЧЕВОЙ

Что собой представляют окружающие меня люди, что собой представляю я?..

Этот вопрос волнует меня постоянно, с тех пор как работаю в Низине, в многотиражке стройки. Может, потому он меня особенно волнует, что я не хозяйственник, не монтажник, не ведаю никакими материалами, инструментами, оборудованием, а имею дело с людьми, с живыми людьми? Когда я бываю на объектах (а должен сразу же сказать, что бóльшую часть рабочего дня провожу именно там), я всегда думаю об этом и, наблюдая за кем-нибудь, пытаюсь выделить его из общей массы, так сказать индивидуализировать, найти в нем нечто одному ему присущее. Как-то поделился я своими раздумьями с Главным (он любит поучать меня и ворчит частенько, но в сущности человек неплохой). Ни к чему, сказал он, индивидуализировать людей, не в том твоя задача. Ты должен выявить, какой участок в данный момент хромает, какие имеются достижения, какие недостатки. Индивидуализировать надо событие, явление и в первую очередь факт. Именно факт — основа основ нашей профессии, альфа и омега рабочей журналистики. Изложи факты, расскажи, что, где, когда и как произошло, соблюдены ли сроки, каков экономический эффект. Если заметил недочеты, заостри на них внимание: ну, допустим, плохая организация труда, или кто-то там лодырничает, или безответственно, без толку тратятся время, материалы. Собрался писать о достижениях — опять же с фактов начинай: посмотри, что за достижение, каким образом его добились, в чем секрет — к примеру, в хорошей организации труда, в высоком профессионализме или в сплоченности коллектива. Имеет значение также и уровень сознательности, и контроль, и проверка исполнения — ну, ты сам знаешь. Но помни: факт, событие, явление...

ВАСИЛ ПОПОВ (род. в 1930 г.).

Болгарский прозаик, публицист, драматург. Автор романов, повестей, сборников рассказов. В последние годы вышли сборники рассказов «Спокойствие» (1972), «Вечные времена» (1973), «Корни. Хроника одного села» (1975), книги очерков, эссе.

В русском переводе его рассказы печатались в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

Мы публикуем главы из романа Васила Попова «Низина» («Низината», София, Партиздат, 1977), за который ему присуждена премия Союза болгарских писателей. Полностью роман выйдет в издательстве «Прогресс».

А я, должен вам признаться, не то что против фактов (куда нам без них!), но как-то больше влечет меня психология. Главный все повторяет: что, когда, сколько, а не задается вопросом — почему? Меня же именно это волнует: почему, например, табельщица, разговаривая с бригадиром Бачо, вдруг краснеет; почему я битый час дожидаюсь прораба Илию Георгиева, а его все нет; почему бай[1] Манаси о государстве судачит, будто оно его сосед по квартире? Почему, почему, почему?.. Вопросы сыплются со всех сторон и не дают мне покоя. Поймите меня правильно: когда я спрашиваю себя, кто я такой и кто они, окружающие меня люди, то это не какой-то преувеличенный интерес к собственной персоне. Я не обольщаюсь и ничего такого о себе не думаю, меня обычно не замечают, что, в сущности, помогает мне в моей профессии, а если и заметят, то без подначки не обходится.

— Пресса! — бросит кто-нибудь из рабочих.— Как жизнь?

Отвечаю вежливо, с улыбкой и вовсе не обижаюсь, что меня не называют по имени. Это обращение — Пресса — так вошло в обиход, что даже и те, кто прекрасно знает и фамилию мою, и имя (или хотя бы должны знать по причине нашего давнего знакомства или по долгу службы), будто забыли, как меня зовут. Я уже не так молод, и многие, наверное, решили, что так и останусь бобылем,— что делать, все некогда было подумать о своем доме, о семье, да и теперь мне как-то приятнее засесть за книжку, чем бегать на свидания и сулить кому-то златые горы. И не то чтобы я не уважал женщин — нет, просто я их побаиваюсь, но, быть может, эта боязнь и есть истинное уважение? А возьмем, к примеру, бригадира Бачо. Вроде не ветреник какой-нибудь, на мелочи не разменивается, всегда занят делом и работает хорошо, однако страсть как любит с девушками переписываться. Когда я писал о его бригаде, я и факты изложил, и о выполнении плана упомянул, о дружном коллективе и о дисциплине рассказал, имена лучших рабочих перечислил. Но особенно хотелось мне показать Бачо вечером, после работы — как сидит он и старательно пишет письма по меньшей мере двадцати девушкам сразу. И так каждый вечер. Другие парни кто отдыхает, кто ушел на танцы, а он сидит в общежитии и строчит письмо за письмом. Он пишет девушкам со всей Болгарии двум школьницам, медицинской сестре, студентке сельхозинститута, продавщице магазина хозтоваров, рабочей завода антибиотиков в Разграде, водителю такси в Софии, какой-то Снеже, занимающейся звукоизоляцией,— где он только их находит и что у него общего с ними? Это я не сплетничаю, а факты излагаю. И спрашиваю себя: почему, что это за явление такое? Мы с ним, можно сказать, друзья, и я неоднократно спрашивал его об этом, а он, улыбаясь, рассказывал, о чем они друг другу пишут: о фильмах и книгах, о космосе или же просто о том, как у него день прошел, а как у нее. Не надоедает тебе, Бачо спрашиваю я, а он — нет, говорит, наоборот, очень даже интересно, почему это может надоесть? Верно, ты их обманываешь, обещаешь жениться, интересуюсь я (все в связи с вопросом «почему»), а он — нет, всем говорю правду, кто я такой, где работаю, а ничего не обещаю, чтобы зря не надеялись. Просто и мне, и им хорошо. Ну, попадаются, конечно, и такие: напишут разок-другой, видят — надеяться не на что, и перестают писать. Да что плохого в том, что я случайно познакомлюсь с кем-нибудь или возьму адрес в молодежном журнале — печатают же там всякие адреса, чтобы молодежь разных стран переписывалась. И вот пишу. Но сразу открываю карты: так, мол, и так, товарищ, например Красимира, вы напечатали в журнале свой адрес и ждете, что вам напишет какой-нибудь Ганс или какой-нибудь Володя, а я вот здешний, возглавляю бригаду на стройке в Низине и хотел бы с вами переписываться. Меня интересует, как вы живете

[1] Уважительное обращение к старшему мужчине. *(Здесь и далее примечания переводчиков.)*

как проводите свободное время, о чем мечтаете, кто ваши любимые эстрадные певцы. И она отвечает. Ну, одна было рассердилась, что написал ей, но ответила, а потом даже и фото прислала, и я ей послал — кстати, ту карточку, что ты мне сделал. До сих пор переписываемся. Должен сказать тебе, Пресса, письма как форма общения еще не изжили себя, несмотря на то что есть и телеграф, и телефон, и прочие ультрасовременные средства связи.

— Все понимаю,— перебиваю я его,— только не пойму, для чего это тебе, раз жениться не собираешься...

Он улыбается. Красив, черт: стройный, длинноногий, голенища сапог завернуты книзу с каким-то невозможным шиком. А волосы — ну просто копна золотых кудрей.

— Слушай, Пресса,— говорит он мне,— пойми, письма мои — для души, чтоб не забывать, что мы люди, человеки.

Ну на все у него ответ готов, а засмеется — и вовсе крыть нечем. Не знаю, правда, в какой степени эта переписка для души, не хочется сплетничать — все-таки человек мне доверяется как другу. Но бывает, какая-нибудь приезжая девушка только сойдет со ступенек автобуса или поезда — и ну расспрашивать про Бачо и в конце концов у него окажется. Как-то приехала одна — в парике, расфуфыренная вся, голос сиплый, рабочие поддразнивают ее, а она: так и так, говорит, ищу такого-то. Оказалось, из Благоевграда притащилась, чтобы увидеть Бачо в натуре — фотокарточки ей показалось мало. И как вы думаете, кто она по профессии? Помощник фармацевта!

Может, я немного увлекся, но тут есть над чем поразмыслить. А Главный одно знает — факты да факты! Факты — они налицо: бригада Бачо выполняет план на 112 процентов. Но меня тянет посмотреть, что за ними. Наша действительность так богата, так многогранна, а Главный говорит: спору нет, богата и многогранна, однако в нашем распоряжении всего четыре полосы малого формата, шесть колонок, включая заголовки и клише, и мы должны с умом использовать эту площадь, потому что мы орган партийной, профсоюзной и комсомольской организаций и администрации стройки и должны освещать массу важных вопросов...

А начну писать о солнце, так он и вовсе из себя выходит. Оставь солнце в покое, кричит, у нас не толстый журнал! Но почему же, говорю я, неужто люди нашей стройки не имеют никакого отношения к солнцу? Может, и имеют, говорит Главный, но если начнем и о солнце писать, и о ветре, и о цветах, обо всех временах года со всякими там лирическими отступлениями, то для основного текста места не останется. Бери сразу быка за рога. К примеру: «Вчера бригада Нено Мечкарова закончила штукатурные работы в цехе, перевыполнив план на 50 процентов. Среди передовиков — такие-то и такие-то...» И далее в том же духе. Коротко и ясно. Но мне же хочется сказать и о солнце, не только о процентах и планах. Как будто солнце можно выкинуть из жизни стройки, как будто ни люди не имеют к нему никакого отношения, ни оно к ним. Однажды я действительно увлекся, но зато вставил конкретный факт, четкий, емкий и лаконичный. Начав с лучей солнца, ласкающих арматуру — так, что в воздухе искрятся синеватые отблески,— я упомянул о том, что, согласно научным данным, сейчас из-за загрязнения атмосферы на Землю проникает солнечного света на восемь процентов меньше, чем сорок лет назад. Главный хотел было уволить меня, кричал, стучал кулаком по столу, но в конце концов только вынес мне строгий выговор. Кто ты, говорит, такой, что высчитываешь, на сколько увеличился или уменьшился поток солнечного света? Я показал ему вырезку из журнала, но он даже не взглянул на нее и написал приказ: ЗАПРЕЩАЮ (это — прописными буквами) такому-то, являющемуся литсотрудником во вверенной мне газете, под каким бы то ни было предлогом употреблять в своих материалах слово «солнце». Ниже — дата, подпись и печать.

Вот до чего иной раз доходит. А вообще, конечно, грех мне на Главного жаловаться. Но вопрос, что собой представляю я и что — окружающие меня люди, продолжает меня мучить. Чтобы отвлечься и хоть какое-то время не думать о нем, я отправляюсь на участок арматурщиков, к Манолу. Он мужик толковый, спокойный, от него я столько всего узнал: и о его бригаде, и о сопротивлении материалов, прежде всего железа, и о видах стали, и о сечениях, и о многом другом. Манол — мастер своего дела, на стройке в Низине один из самых уважаемых людей, и для меня большая честь быть его другом. Однажды он говорит мне:

— Пресса, научил бы ты меня галстук завязывать, а?

— О чем речь! — Ага, вот и я могу научить его хоть чему-то! Завязал ему галстук и спрашиваю: — Ты же никогда не носил галстуки, чего это вдруг?

— Не люблю я их,— признался Манол.— Но мы, Пресса, не бродяги какие-то, должны заботиться и о внешнем виде.

Вот те на! Иной раз такое выдаст — диву даешься. И о Маноле я писал. Он прочтет, буркнет что-нибудь, а потом скажет: чего это ты, Пресса, из меня пирог слоеный сделал, со сливочным кремом? Пирог — он тоже в меру сладким должен быть, а ты тут столько сахару насыпал, аж горчит. Не разбираюсь я в этих твоих очерках, ты человек с высшим образованием и в литературе, наверное, мастак, только перебарщиваешь с розовой-то краской. Пиши все как есть, действительность нашу описывай, факты... Я краснел: вот и он, будто сговорившись с Главным, сует мне эти проклятые факты! А что ему ответить? Моих коллег в Софии критикуют разные бородатые литературные критики, а меня — рабочие. Выходит, они мои критики. Стало мне малость не по себе — может, и вправду я переборщил в своем очерке. Манол не из тех, кто слова на ветер бросает.

Итак, опять получается: пиши «все как есть, все как в действительности», а действительность — это факты... Сижу я, жду, когда наконец придет с совещания прораб Илия Георгиев, сижу и думаю. Светит изнемогшее солнце, слышен рев бульдозеров, скрежет заточного круга. Низина стучит, сваривает, карабкается по конструкциям; краны вертятся, то поднимая, то опуская грузы; дизели бухтят. Куда ни глянешь — сплошные факты, но только лишь увидеть их глазами мало, надо еще и слух хороший иметь, чтобы почувствовать эту звучащую повсюду музыку. Однажды я так и написал, но Главный опять придрался.

— Знаешь что,— говорит,— не очень-то насчет музыки распространяйся, не до нее нам, да и ты вроде бы ни консерватории, ни музыкального училища не кончал. Не кончал ведь?

— Нет,— мямлю я.

— Тогда оставь музыку в покое,— продолжает он,— а пиши об организации труда, о новых починах — на конкретных примерах, с именами. Эти пять строк о музыке замени фактами!..

— Ну хорошо,— не выдерживаю я,— однако факты же надо чем-то согреть! Небольшое сравнение, эпитет, лирическое отступление — и факты засверкают, приобретут эмоциональную окраску.

Он смотрит на меня воспаленными, покрасневшими глазами.

— Продолжай, продолжай,— говорит, покусывая кончик ручки,— я слушаю тебя.

— Один только голый факт малоубедителен,— развиваю я свою мысль.— Надо еще принарядить его, крылья ему дать, чтоб полетел...

— Та-ак,— прерывает он меня,— чтоб полетел, говоришь?! А заодно с ним и вся газета! — Это он без злости: в данный момент он пребывает в благодушном настроении, ибо его не беспокоит гастрит.— Ты согревай, наряжай, крылья приделывай, вытворяй что хочешь, а я тебе одно скажу: нету места! Даю тебе сорок строк нонпарели, и

все! Вот это — про аистов — тоже убери, сейчас осень, а не весна. А хоть и весна была бы, не до аистов нам!

Взял я обратно свой материал. Вычеркнул про музыку Низины, про аистов, оставил одни факты: проценты, сроки, имена. Ровно сорок строк нонпарели. Таким и появился материал в газете, на второй полосе.

Понимаю, что Главный прав, но и у меня ведь своя правда. Низина грохочет, кипит, бурлит, двадцать тысяч человек здесь вкалывают, строят гиганты пятилетки, и это живые люди, а не факты. Эх, был бы у меня талант или хотя бы опыта побольше, я бы их показал масштабно, красочно! Залил бы их ярким солнечным светом, пустил бы над ними аистов и ласточек. И не в заметках и очерках, репортажах и информациях — сорок строк нонпарели или три колонки рядом с подвалом на третьей странице,— в эпическом произведении описал бы я этих людей.

Ну ладно, это только мечты, а пока вот сижу и жду прораба Илию Георгиева, чтобы снова добыть у него факты и проценты. Потом пойду по бригадам, бригадиры подбросят что-нибудь, пополнят мой багаж, я нарисую для себя картину, набросаю вопросы: как идет выполнение плана, как используется оборудование, какие огрехи в организации труда, насколько здесь отстают от намеченных сроков... Вернусь в редакцию, открою блокнот и из цифр и фактов сотворю материал об участке Илии Георгиева...

И появится материал в нашей газете. Глядишь, Главный и похвалит меня, хотя вообще-то у него такой привычки нет. А в это время кто-то будет садиться в поезд и в последний раз окинет взглядом Низину. Почему он бежит? Испугался трудностей, или решил, что мало платят, или к семье потянуло?.. Вместо него приедет другой, вытаращит глаза, ошеломленный масштабами стройки, чувствуя себя так, словно заблудился в пустыне. Зачем он приехал, кого оставил дома, как жил до сих пор? А взять да заглянуть к тем, кто сейчас подремывает в едущих на стройку рабочих автобусах: почему они здесь, что у них на душе и в мыслях? Счастливы ли они в личной жизни, здоровы ли их дети, где учатся и как добираются вечером домой?.. Если всерьез заняться каждым в отдельности, если собрать все свои записи — тысячи разговоров с людьми, тысячи наблюдений,— смог бы я объять эту огромную Низину, весь этот гигантский котел, в котором непрестанно, днями и ночами, варится жизнь?..

Что собой представляю я? Что представляют собой окружающие меня люди?

Я человек самый обыкновенный. Изучал журналистику в Софийском университете, но связан больше с деревней, чем с городом. Со мной всегда и запах ромашки, и горький аромат цветущей бузины, в ушах еще звучит стук тележных колес на каменистой дороге, а в памяти встают душистые копны свежескошенного сена. Потом была служба в армии, студенческие годы, работа в Кремиковцах. И, наконец, Низина, с самого начала широко раскрывшая тысячи своих дверей, в которые, как и все остальные приехавшие в поисках чего-то, вошел и я. Какая из них была именно моей дверью? И кто еще шагнул через ее порог? Кто они — все те, остальные; чем живут, чем дышат, что снится им по ночам, о чем думают они в те минуты и часы, когда висят над громадами железа и бетона, зарываются глубоко в землю, восседают на трубах, обматывая их стекловатой, вызывающей аллергию?.. Каким им видится день завтрашний, как они проходят его или карабкаются по нему; как питаются и как вперемешку с пищей глотают и скрипящий на зубах песок; как вдыхают вместе с пронизывающим ветром ядовитые пары; как с пылью и гарью выплевывают и неприятности, и разочарования; как выдерживают испытание славой, деньгами, успехами и достижениями?.. Войти бы в их дома, если они

уже получили квартиры, или в общежития, заглянуть в кухни, спальни, в душу каждого человека!..

Вот чего мне хочется. Увидеть, как в каждом человеке отражаются события, происходящие на мировой арене и здесь, у нас,— потопление, например, последнего кессона на новой пристани; увидеть, как и чем дышит эта таинственная Низина, полная людей и железа, как сюда приходит море, как ТЭЦ под давлением качает горячий пар, приводя машины в движение, как закрываются ночью глаза у рабочего человека и куда уводят его сны? Ведь что бы там ни говорили, как бы ни экономили на изложении фактов, а не может не быть крыльев у этих людей, так же как и в реальной действительности не может не быть полной глубокого смысла тайны. Потому режь не режь наши материалы, а и солнце продолжает светить над Низиной независимо от пыли и дыма, и музыка слышна повсюду — музыка стройки, человеческого труда, жизни Человека.

Ведь для него, для Человека, все и делается! Так разве можно показывать его голым, как факт, в окружении одних только цифр и процентов, и забывать о том, что у него есть крылья? И не только у него — у Низины тоже свои огромные крылья.

■

Сверху видно все. Экскаваторы вычерпывают землю из котлована, как ложка суп из тарелки. Следы зубцов поблескивают на солнце, потом трескаются, ковш снова вгрызается в землю, и на срезе появляются новые следы. Димитричка считала их — пять, это от пяти нижних зубцов. У некоторых экскаваторов по две челюсти, укус широкий и мощный. Хоп! — и в кузов самосвала вываливается тонна земли. Смотришь, смотришь и, если глаз у тебя крестьянский, невольно начнешь выискивать листья и почки, траву и кустарник — здесь должно уже расцвести, а здесь должны завязаться плоды. Поля вокруг, на сколько глаз хватает, сначала зазеленеют, потом станут синеватыми — это когда восковая спелость зерна, потом пожелтеют, коричневатые островки появятся, значит, в самый раз поспели хлеба и по комбайну уже скучают... А у железа и бетона нет ни восковой спелости, ни сева и жатвы, ни зимы и осени, ни весны и лета, здесь и сеют, и жнут одновременно, а многотонные плоды вместо того, чтобы падать на землю, ввысь растут, поднимаются к небу. Цвета самые разные: оборудование из Советского Союза — красного цвета, из ГДР — зеленого, из других стран — синего, а цвет железобетонных свай и колонн повсюду один — серый. Нет бабочек, и мухи не летают, и стая ворон не кинется воровать зерно, не пробежит лисица, заметая следы золотисто-рыжим хвостом, заяц не навострит уши, птицы не совьют гнезда на железных тополях... Вокруг все трещит, гремит, ревом ревут дизели, и запахи здесь суровы и тяжелы. Заводы строятся — огромные заводы, каких ни эта Низина, ни вся Болгария не знала. Из кабины крана и люди внизу, и массивные сваи кажутся невесомыми, а шумы доносятся словно сквозь фильтр — далекие и приглушенные. Сверху все видно — и рельсы железнодорожной ветки, и насыпь из мелкого белого гравия, и железобетонные шпалы, и бараки машинистов, и следы от колес грузовиков, и сами грузовики — шоферы несутся как бешеные,— и возникающие и растущие с каждым днем цеха заводов, и стройбатовцы, по уши забрызганные грязью, и кружева арматуры, по которым карабкается выбившееся из сил солнце. Усевшись на арматуре, как серебряные мухи, люди жужжат, вместе с солнцем пытаются сквозь металлические кружева взглянуть на трубы ТЭЦ, на укутанные облаками пара заводы в западной части стройки. Справа, над цементным, вьются клубы пыли, которые ветер постепенно уносит к жилым кварталам, к холмам, к шоссе на Провадию, а где-то вдали в глубине, где начиналась или кончалась Низина, у крайнего холма, поднимается к закатному небу дробильно-сортировочная фабрика

Отсюда действительно видно все. И новая трасса железнодорожной линии, и проезжающие поезда — бесконечные грузовые составы или синевато-зеленая молния экспресса на Софию,— и проложенные на многие километры трубопроводы, и озеро — бывшее озеро и будущее море, всегда обманчивого цвета, зеркало для облаков и для запутавшегося, поддерживаемого столбами пыли и ветра, остывшего неба. Морские чайки принюхивались к запахам химии, потом вдруг устремлялись вниз, к водной поверхности, обманутые так же, как и небо. А интересно, каким выглядит кран сверху, с большой высоты, думала Димитричка, пытаясь представить себе кабину глазами чайки,— наверное, маленькой железной коробочкой, прилепившейся к зеленой тонкой стреле...

Она опустила трос на площадку. Локомотив подал ей знак подвинуть его ближе к металлической конструкции. Димитричка улыбнулась, поправила косынку. Хм, дали ему прозвище Локомотив, а сейчас он выглядел малюсеньким, как муравей, ползущий у подножия цеха. Ребята (и они как муравьи, только еще мельче) обвязали конструкцию тросами, закрепили крюк. Локомотив поднял руку. Трос натянулся. Димитричка поставила груз в неподвижное положение, потом плавно подняла его до отметки «20» и повела в сторону. Панка и ребята приняли конструкцию, снова последовали сигналы: правее, майна, вира, еще чуть-чуть, теперь чуть левее, так, успокой, жди в этом положении. Она ждала.

Через невидимые щели в кабине тонким голоском свистел ветер. Она знала, как дует на отметке «20», каким злым бывает ветер с запада, несущий с собой тяжелые, как дробь, песчинки, которые впиваются в кожу лица, в глаза, в привыкшие ко всякому грохоту уши. Конструкция одним концом легла на правый фундамент, рабочий потянулся к свисающему концу троса, поймал его на самом краю площадки, и Димитричка обомлела, хотя и знала, что он привязан. Человек взялся за трос, медленно потянул конструкцию к левому фундаменту, трое других приготовились принять ее, и Димитричка медленно, сантиметр за сантиметром (или, как любит говорить Локомотив, миллиметр за миллиметром), начала опускать. Она всем телом почувствовала — нет, это была не боль и не спазм, а легкое касание, горячее и осторожное,— как конструкция легла и на второй фундамент. Она все время прикусывала губы, когда должна была быть начеку, наготове, когда четкими должны были быть все ее рефлексы и движения, которые с предельной точностью передадутся и стреле, и тросам, и той многотонной махине, что висела на них. Пока монтажники освобождали конструкцию от тросов, Димитричка поправила бигуди под газовой косынкой. Волосы ее от рождения вились мелкими кудряшками, а она боролась с этим — хотела, чтобы лежали плавными волнами.

Локомотив помахал ей рукой. Панка послал с верхней площадки воздушный поцелуй, ребята смеялись и прятали от ветра головы в воротники — она словно почувствовала, как песчинки впиваются в их шеи. Сейчас вот расправят кабели, опустят маски, и заискрятся прикоснувшиеся к железу электроды. Другие начнут затягивать болты, надевать фланцы, крепить кронштейны... И не имеет значения, где травы, запахи, где весна и лето, осень и зима,— сейчас ребята и пашут, и сеют, и боронуют, и снегозадержание проводят, и жнут, и молотят зерно,— здесь все сезоны слились воедино.

Она взяла ментоловый леденец из пластмассовой коробочки, опять поправила косынку. В это время стрела обошла корпус, и тень ее упала вниз, на сложенные одна на другую трубы. На них сидел какой-то человек. Димитричка не могла разглядеть его, но сразу поняла, что он не из бригады Локомотива. На коленях он разложил белые листы бумаги, и, хотя и не было видно хорошо, она решила, что он рисует или чертит. Пришел бы сюда, в кабину, чертить, сказала она себе.

Ей подали знак ждать.

Подождет, привыкла. В такие минуты она рассматривала картину.

«Какую картину? — спрашивала ее мать в письме.— Все о какой-то картине пишешь».

«Картину эту, мама,— начинала следующее свое письмо Димитричка,— ты не сможешь себе представить достаточно полно, потому что никогда не поднималась так высоко, хотя однажды мы летали на самолете, помнишь, когда женился Петр, дяди Асена сын, и то тогда был туман. Я, мама, так называю то, что видно отсюда, с высоты...»

«С какой такой высоты, дочка? — спрашивала в тревоге мать. — И зачем тебе было уезжать из деревни! Хорошие деньги на ферме получала, люди тебя уважали, твой портрет еще висит в аллее перед правлением. Отец однажды тайком ходил протирать его, а то стекло запылилось. Фотография сморщилась и малость выцвела, но все равно видно, что это ты. Там, доченька, ты с косами, а теперь, как вижу на карточке, косы отрезала да еще покрасилась, что ли, не пойму».

«Да так, немножко, хной,— отвечала Димитричка своим неровным почерком — буквы во все стороны, строчки съезжают вниз. — А косы надо было отрезать, потому что на этой работе нельзя с косами. Косы, мамочка, в деревне хороши, а здесь картина совсем другая!»

«Да что же это за картина-то такая?!»

«Как тебе объяснить, мама?.. — Димитричка прикусывала кончик шариковой ручки и искала слова, но не могла найти. Когда в кабине крана начинала думать о картине, какие только слова не приходили ей в голову, все могла объяснить и назвать, а в письме не получалось. — Словами-то и не опишешь. Сверху очень красиво, все видно, я ведь и раньше писала тебе об этом».

«А что ж такое там видно, доченька? Господи, думала ли я, что когда-нибудь моя дочка на железное дерево заберется. Так что же видно?»

«И правда, немножко смахивает на железное дерево, а в действительности — самый обыкновенный кран. Спрашиваешь, что видно? Все, я же писала тебе. Прежде всего люди видны повсюду: и на площадках, и на колоннах, и на арматуре — кругом. В деревне все на земле, а здесь — в воздухе. Надо мной ведь одни облака и чайки, а что говорить о другом заводе — там есть цех высотой семьдесят шесть метров, самый высокий цех в Европе! Аисты, когда полетели в жаркие страны, тоже надо мной кружились — выстраивались, проверяли, все ли в сборе. Вот только не поняла, видели они или нет, как я им помахала на прощанье. А они, мамочка, летают в строгом порядке и покидают Болгарию точно двадцать шестого августа, ни днем раньше, ни днем позже. Поди разбери их, ничего не знают о нашем календаре, а так аккуратно соблюдают его. Чудо да и только!»

«Ну ладно,— писала мать,— что до аистов, мы здесь тоже их видим. Наша аистиха принесла нам двух маленьких, видела бы ты, как они стучат клювами. Они тоже улетели, но какого числа, не скажу, боюсь соврать. Дальше говори, что еще видно?»

«Я тебе уже сказала, мама,— продолжала Димитричка, медленно выводя буквы, которые все клонились вправо и вниз,— видна вся Низина, все заводы — и старые, и новые, что мы сейчас строим; цеха растут как грибы, машины урчат, краны поднимают конструкции... Если посмотреть чуть вбок, открываются глазу новая пристань, новые пирсы — я не стану сейчас рассказывать, как соединят озеро с морем, в этом тебе трудно будет разобраться,— и кессоны видны, вон они внизу, это такие железобетонные махины вроде домов, но без окон, пустые внутри. Да нет, не дома, а только похожие на дома,— когда их по топят в воде, они будут на метр-полтора торчать над поверхностью и тогда сверху на них положат причал, у которого будут останавливаться пароходы».

«Фу ты! И торчат, и утоплены,— вздыхала мать в следующем письме,— и дома вроде, а без окон... Несколько раз перечитывали письмо, но твой отец ничего не понял, так пошел спросить у Ванчо, нашего инженера, что это такое кессон, и Ванчо сказал, что это как колокол — окунаешь колокол в воду, а снизу воздух остается в нем и можно дышать, несмотря на то, что под водой. Все равно ничего мы не поняли, а ты говоришь, что все видно. Что еще-то?»

«Все, мамочка,— отвечала Димитричка,— сколько бы я тебе ни описывала, все равно не увидишь, так же как не видны отсюда и инвестиции, но они тоже есть на картине...»

«А это еще что?»

«Инвестиции — это значит капиталовложения, мама,— пыталась объяснить Димитричка. — Все, что строится, стоит денег, и государство дает эти деньги, чтобы потом вернуть себе их в двойном и в тройном размере. Вот это и есть инвестиции».

«Ничего не понимаю,— снова вздыхала мать,— и не вижу никак твоей картины, но одно знаю — с этими своими стройками ты так и будешь все в воздухе висеть и в девках останешься. Вон на Петров день двадцать три тебе исполнилось, а ты еще не замужем. Дело, конечно, твое, но я тебе так скажу: женщина быстро перезревает — по земле ли ходит или в небе висит в какой-то железной коробке. Ты мне отписала, что и горшок с цветком у тебя в коробке-то имеется, только как он там растет, и как ты там, и вообще как ты думаешь дальше жить?..»

«Хорошо жить думаю, мамочка! — весело отвечала Димитричка. — Работа мне нравится, все меня уважают. В девках не останусь, мама, но зачем мне спешить, тут парней хватает, золотые все ребята».

«Не знаю я, золотые они или серебряные,— писала мать,— но помни только, что у девушки одно сокровище есть, и она должна беречь его. Так было когда-то, сейчас не знаю как, но ты берегись, дочка, мужиков берегись. Им-то что, сделал свое дело — и был таков, а ты еще молоденькая, слабенькая. Что ты там кушаешь, не знаю, слыхала, будто там у вас все в котлах готовят, всякую бурду, но что мне с тобой делать, если не хочешь в деревню вернуться, к отцу и матери, где все есть — и овцы, и корова, и огород, в котором, что ни брось в землю, вырастет... Погреб битком набит, вторую свинью откармливаем, отец твой опять пятьсот литров вина заготовил, каждый год к свадьбе твоей делает, потом продает, а то ведь сам, ты же знаешь, не пьет... Эх, доченька, как мы с ним спины-то гнули, чтобы приданое тебе справить: четыре стеганых одеяла, восемь матрацев, сама материал выбирала, а внутри чистая шерсть, двенадцать подушек, простынь и пододеяльников — восемнадцать комплектов, чтобы и на смену, и для гостей было, пододеяльники с кружевами, одеял десять штук, тоже из чистой шерсти, и покрывала есть, и маленькие подушечки — всего и не перечислишь. Отец тебе холодильник за триста шестьдесят левов купил, радиолу, стиральную машину чешскую, чтобы не гнула ты спину над стиркой, а еще пылесос, телевизор — из этих, самых больших... Одна у нас дочка, говорит твой отец, обеспечим ее как следует, только бы вернулась, да свадьбу бы сыграли, а зятька, говорит, я не обижу — приготовил ему на «москвич», ну и, кроме того, на книжке еще кое-что, не буду я тебе, дочка, говорить сколько, а то он ругаться будет, что сказала, я только так говорю, к слову, чтоб знала, что мы о твоем счастье заботимся, доченька. Пальто-то купила себе?»

«Купила, мама, за шестьдесят два лева сорок стотинок,— отвечала Димитричка,— готовое, красное с белым меховым воротничком, и дешевое, и хорошего качества, только я не думаю ни о пальто, мама, ни о сапожках. А их я купила у подружки, которой привез один матрос, но ей оказались малы, а мне — в самый раз. О приданом ты напрасно завела разговор, на что мне сейчас приданое, если еще не собираюсь замуж. Лучше давай похвастаюсь тебе: выбрали меня в коми-

тет комсомола, и теперь я еще в большем почете и выступаю по разным вопросам. За девушек отвечаю, а девушек тут — пруд пруди, из каких только краев нет, но золотые все девчата...».

«Ах, не знаю,— опять тяжко вздыхала мать,— и хлопцы золотые, и девчата золотые, и картина золотая, а я все не могу увидеть ее, эту твою картину...»

Локомотив подал знак.

Димитричка включила ход, трос натянулся, и она снова всем телом почувствовала, как груз отрывается от земли и повисает в воздухе. Стрела послушно сдвинулась, достигла верхней площадки. Груз начал опускаться, лег плавно, и ребята — золотые, серебряные, бронзовые — освободили его от крюка и тросов.

И так весь день — пока не потемнеет небо, пока дробильно-сортировочная фабрика не исчезнет с холма в глубине картины, а за ней и сам холм, и подвесная дорога, и трубы цементного завода вместе с серыми облаками дыма над ними, пока заводы — старые и новые — не сольются в одно целое, пока от башен и корпусов ТЭЦ не останутся одни контуры да свет окон. Тростник потемнеет, потеряет свою серовато-ржавую окраску и разольется в одно огромное пятно, растворится в озере, в ночи, в общей массе Низины. Так и вся картина постепенно растворяется в темноте...

Димитричка опустила кабину, сняла бигуди, провела расческой по волосам, посмотрела, есть ли плавные волны. Бигуди сложила в коробку, которая оставалась здесь; в другой коробке — из-под дамских туфель — лежат бигуди Лалки, ее сменщицы. Полила цветок в горшке, а бутылку возьмет с собой и оставит в бараке Локомотива, чтобы принести завтра с водой. Лалка к тому времени уже польет свой цветок, у нее герань. Лалкина бутылка — зеленая, а у Димитрички — прозрачная. Если войдешь в барак Локомотива и посмотришь, какая бутылка на подоконнике, узнаешь, которая из двух крановщиц сейчас работает.

Она начала спускаться по металлической лесенке крана, земля приближалась и встречала ее. На последней ступеньке Димитричка всегда поднимала голову и смотрела вверх. И сейчас подняла: кабина висела в нулевом положении, а кран терялся в темном небе. Она похлопала рукой по металлу и сказала, как всегда в конце смены:

— До завтра, слоник!

Стрела помахала ей, или, как Димитричка говорила, слоник помахал хоботом.

Она зашла в барак Локомотива. На лавке сидел бородатый мужчина. Локомотив встал, и свет лампочки залил его рябое, с крупным, бесформенным носом лицо.

— Димитричка,— сказал он,— познакомься. Это — Йордан, художник, все его Краской называют. А это Димитричка,— представил он ее,— наша крановщица.

Она поздоровалась с бородачом за руку. Все в нем было черным: и блестящие глаза, круглые, как пуговицы, и борода, и длинные волосы, рубашка, свитер, вельветовые брюки. На ногах у него были резиновые сапоги. Димитричка поставила свою бутылку рядом с Лалкиной, а Локомотив поднял третью не зеленую и не прозрачную, она у него в ногах под столом стояла. Жидкость забулькала в его могучем горле. Вытерев рукой рот, Локомотив пробубнил:

— Хочет нарисовать тебя, Димитричка.

Димитричка вспыхнула, растерялась, не зная, что и сказать.

— Только набросок,— мягко пояснил художник. Голос его был теплым и приятным.— Всего несколько минут.

— Но... по какому такому случаю? — спросила растерянно девушка, а рука ее невольно потянулась к волосам и пригладила плавные волны на затылке.

— А без случая,— сказал художник.— Просто несколько штрихов.

И, не дожидаясь ответа (девушка уже незаметно для себя уселась на табуретку, поджав ноги), художник достал свой альбом для рисования. Раскрыл его, и тут Димитричка вдруг узнала в нем того человека, что сидел сегодня на трубах и чертил что-то на белых листах бумаги. Она застыла, вся в напряжении, сомкнув губы.

— Только вы сидите свободнее,— сказал художник.— Давайте разговаривать, а я так, между прочим... Бай Никола, дай ей глоточек, что ли!

Локомотив протянул ей бутылку. Димитричка забыла, что спиртное вообще в рот не берет, и вдруг отпила глоток. Ракия ударила ей в голову, щеки запылали.

— Значит,— сказала она храбро,— это вы сидели с белыми листами? На трубах.

Художник кивнул, а Локомотив ответил вместо него:

— Он, кто же еще! — Бригадир поднял кверху большой палец, будто подавал крановщице знак.— Всей Низине уже известен Йордан Краска, только ты его не знаешь. Он, Димитричка, все видит и все может нарисовать. Эх, люблю я художественное дело! — Локомотив вздохнул громко, так, словно шина лопнула, и добавил, следя за рукой художника: — Уж ты, Йордан, настоящую картину нарисуй! И кран изобрази, и колонны, и площадку «20», и наших ребят. Сзади можешь нарисовать цех фосфорной кислоты, дальше чтоб были видны и аммиачный, и цех готовой продукции, и ТЭЦ, а фон — старые заводы и новый содовый, а с другой стороны — пристань, озеро... Да, чуть было не забыл: с другой стороны можешь поставить еще и холм с цементным заводом, а за ним, до самой вершины,— дробильную. Знаешь, какая картина получится!..

■

Доктор снял очки, положил ручку на раскрытый журнал записей. Был бы один или два, а то ведь тысячи, где тут упомнишь.

— Нет, не помню,— сказал он.

Рабочий был среднего возраста, с пепельного цвета лицом и мягкими светлыми волосами, спадающими на лоб. В одной руке он зажал ушанку, в другой держал синий сверток.

— Лефтер Ризов я, доктор,— повторил он,— из МЦК, межцеховых коммуникаций. Месяц назад вы мне жировик большой вырезали, с яйцо, помните, в неудобном таком месте...

— А-а, припоминаю.— Доктор снял очки, встал (он был чуть ли не на пол-аршина выше Ризова) и протянул ему руку.— Ну, как дела?

— Все в порядке, доктор,— смущенно сказал Лефтер.— Когда вы меня резали, я здорово испугался, а вы успокаивали: не думай, мол, ни о чем, думай, например, о хорошем домашнем пироге. Я потом сказал жене, а она — надо, говорит, уважить доктора. Засучила рукава, она у меня мастерица...— Ризов улыбнулся, преодолевая смущение.— И спекла вот круглый слоеный пирог, наполовину сладкий, наполовину с брынзой, а тесто не государственное, сама делала. И листы сама раскатывала, а мука — наивысшего сорта. Вот.

Ризов протянул сверток, потом понял, что надо бы его развязать, он так и сделал. Убрал в карман синий платок, и на белом столике, рядом с журналом, остался лежать пирог — на подложенном снизу куске картона, аккуратно завернутый в синюю бумагу, которой дети обертывают школьные тетради.

— Слушайте, Ризов,— развел руками доктор Паунов,— если каждый, кто приходит сюда, принесет по пирогу, это что же получится?

Из соседней комнаты заглянула сестра. Та самая, с маленьким миловидным личиком и выщипанными бровками, что тогда готовила его к операции. Ризов опустил глаза.

— Так я ведь,— промямлил он,— просто так, из благодарности... Пойду, что ли, а вы бывайте здоровы.

И не успел врач ответить, он выбежал в узкую, похожую на коридор приемную, выскочил из низенького здания амбулатории и зашагал по грязи.

В приемной сидели человек десять: каменщики, шофер самосвала Стоян Глухарь, группа солдат, худущий стекольщик в очках, с нарывом на шее, тетка Малина — повар из столовой № 1, маляр с распухшей от флюса щекой (он всегда, знакомясь, полностью произносил имя, отчество и фамилию — Петко Петков Петков) и какая-то молодая женщина в бежевом жакете и синем платке.

— Возьми-ка,— сказал каменщик, пожилой мужчина с брюшком, одному из солдат,— съешь и этот кусок, а то у инженера Игнатова болит горло, не может глотать. А мне уже больше нельзя.

— Спасибо,— поблагодарил солдат и взял у него кусок пирога.

— А ты возьми мой.— Петко Петков Петков протянул сидящему рядом солдату свой кусок, держась другой рукой за щеку.— Мне теперь не до пирогов. Возьми, вкусный, наверное.

— Просто тает во рту,— чавкая, восхищался другой каменщик.— У этого Лефтера чудо, а не жена, я ее знаю — бай Нено Мечкарова дочка. Теперь таких пирогов нигде не пекут.

— Ну да, не пекут! — возразил третий каменщик, мрачный человек с желтушным лицом.— Всякие пекут на фабрике-кухне — и со шпинатом, и с тыквой, и с брынзой, одни на сливочном масле, другие на подсолнечном, только мне вот запрещено из-за печени. В нашей кулинарии иногда и пирог с капустой бывает,— мрачно закончил он.

— В пирогах много холестерина,— подал голос Стоян Глухарь.— Я, скажу вам, уже и хлеба не ем, потому что у меня высокий холестерин.— Он протянул свой кусок пирога солдатам: — Кушайте, вы еще молодые.— Они взяли и, поделив кусок по-братски, с аппетитом начали жевать. Стоян оглядел присутствующих и сказал: — Впрочем, сейчас пишут, что не холестерин, а гликоген является причиной атеросклероза, даже, говорят, открыли вирус, называется квазивирус...

— А ты, раз так много знаешь,— сказал желтушный каменщик,— зачем пришел сюда, только очередь создавать?

— У меня метеоризм,— ответил Глухарь.

— Это еще что такое? — спросил толстяк.

— Газы.

Каменщики и солдаты расхохотались, а Стоян, обидевшись, отвернулся к стене, на которой висел плакат с надписью «Стань донором!».

Тетка Малина медленно доела свой кусок и сказала — так, будто ее и не было здесь во время разглагольствований шофера:

— Ничего пирог. Но если я вам испеку — пальчики оближете, только времени все нет. Вкусный пирог для большого количества людей не испечешь, а мы в нашей столовой тысячу пятьсот двадцать четыре человека кормим.

— Кормите! — буркнул желтушный.— Бурду всякую варите! Разве это...

— Ты же у нас не ешь,— с улыбкой прервала его повариха.— Я тебя никогда у нас не видела, а потому молчи.

— Я из дому еду приношу,— пояснил желтушный и замолк.

— Чудеса да и только! — сказал вдруг один из каменщиков и встал, вытирая руки.— Голова прошла. Три дня глотал всякую га-

дость, свояк ногами мял меня, керосином шею растирали, да аспирин, да анальгин — ничего не помогло. А сейчас съел вот этот кусок пирога, и сразу боль прошла.— Он улыбнулся и кивнул своим товарищам: — Ну так я пошел на объект,— и вышел из приемной.

— Не может головная боль пройти от пирога! — авторитетно заявил Стоян Глухарь.— Верно, это была не головная боль.

— А у меня две недели уже этот нарыв,— сказал очкастый стекольщик.— Чем только не мазал, а он все увеличивается. А ну, посмотри! — Он отвернул воротник куртки, и пузатый каменщик нагнулся к нему.— Отчего это, а?

— Науке,— сказал Стоян Глухарь,— известны около тридцати тысяч кожных заболеваний. А вылечить могут очень немногие...

— Тебе бы кожником работать! — сказал желтушный.— И зачем только сидишь здесь? И у нас, и у доктора время отнимаешь...

— Здесь, в Низине, нет кожника,— заговорил после долгого молчания маляр Петко Петков Петков, все так же держась за распухшую щеку.— Мне вот зубной врач нужен, а на нашем объекте нету. И в газете Пресса писал, а его все не шлют.

— Шел бы в город,— посоветовал пузатый каменщик.— Наш доктор вряд ли сможет тебе помочь.

— Откуда у меня время в город мотаться? — простонал маляр.— Сейчас столько работы! Должен здесь быть зубной врач! — Он посмотрел сочувственно на стекольщика и добавил: — И кожник должен быть, и по нервным, и всякие другие. Я, между прочим, не в городе живу, а в Байково. А там у нас только ветеринар.

— Тебе в самый раз к нему,— мрачно буркнул желтушный.

Все прыснули: и солдатики, зажав рты ладонями, и стекольщик, покачивая искривленной шеей, и пузатый каменщик — он хохотал до слез и подпрыгивал, как мяч, на скамейке. Только Стоян Глухарь был безразличен да молодая женщина, сидевшая неподвижно с куском пирога в руке.

И вдруг все повернулись к ней и почему-то уставились на ее элегантные туфли с блестящими пряжками. Может быть, потому, что кругом была жидкая грязь и все ходили в резиновых сапогах, даже повариха.

— Ты, девушка,— обратилась к ней тетка Малина,— в этих туфельках далеко не уйдешь.

— Не уйду,— кротко согласилась молодая женщина, кутаясь в свой бежевый жакет, словно вдруг почувствовала холод.

В руке она продолжала держать нетронутый кусок пирога.

Доктор Паунов тщательно вымыл руки, а сестра Дойнова бросила щипцы к другим инструментам, предназначенным для кипячения.

— Вот так, девочка,— сказал густым басом доктор Паунов.— Потому и не могу я заняться специализацией,— улыбнулся он.

Когда они оставались одни, он называл ее или девочкой, или по имени — Мими. Раньше она была влюблена в него, но не подавала виду, потом влюбилась в инженера со старого содового завода, а разочаровавшись в нем, снова увлеклась Пауновым, потому и смотрела теперь на него с преданностью и надеждой.

— Вот так, девочка,— повторил доктор.— Сколько вы уже месяцев здесь?

— Два года и восемь дней, доктор Паунов,— грустно ответила сестра.— А вы такой рассеянный...

Он не понял намека. Не считал месяцы, потому что работал на этой стройке еще с того времени, когда кругом сновали геодезисты, размерявшие пустошь Низины — желтую песчаную землю, состоявшую из туфа, покрытую тутовником, жилистой травой и бескрайним морем тростника. Вешки появлялись то в одном, то в другом месте,

как одинокие памятники, удивлявшиеся унылому, ровному пространству. Геодезисты и буровики приходили погреться в его барак, поставленный рядом с другими, где жили первые землекопы и строительные техники. На второй же день своего приезда в Низину (она тогда еще никак не называлась) доктор, в то время с черными как смола вьющимися волосами и в очках на две диоптрии меньше, чем сейчас, сопровождал в город больного с острым аппендицитом. По дороге (а дороги-то никакой и не было) придерживал носилки, когда машину подбрасывало на многочисленных ухабах. На второй же день он познакомился с Атанасом Гавриловым, у него тоже были тогда густые волосы, а глаза искрились таким же, как и сейчас, металлическим блеском. «Доктор, чудеса здесь творить будем!» — сказал Гаврилов, протягивая руки к печке, прозванной «цыганской любовью». С тех пор они крепко подружились, но доктор не любил навязываться начальству, и Гаврилов иногда сам приходил его навестить. Доктор называл Гаврилова на русский лад Афанасием Николаевичем, варил ему кофе и доставал бутылочку коньяка — тогда еще не было в Болгарии «Столичной».

— Может быть, действительно я рассеян, Мими,— сказал доктор Паунов, жуя пирог. Еще перед приемом он разрезал подарок Лефтера Ризова прокипяченным скальпелем и попросил сестру раздать пирог ожидающим в приемной пациентам. Ей и себе он оставил по кусочку.— Но вы видите, какая у нас работа,— продолжал он.— Сегодня вот рвали зуб — кстати, маляра зовут Петко Петков Петков...

— Знаю,— вздохнула сестра,— я же заполняла его карточку.

— Он обещал покрасить медпункт,— отметил доктор.— Потом проверяли глаза — хорошо еще, что есть у нас таблица: не хочет человек идти к окулисту, чтобы ему определили диоптрии... А нарыв у того стекольщика не что иное, как аллергия. Аллергологический центр находится в городе, но наш пациент хочет лечиться здесь. А вы знаете, что собой представляет аллергия?

— Нет,— ответила сестра с прежним выражением преданности на лице.

— Это все то, что мы не можем лечить,— улыбнулся доктор.— Вчера осматривал беременную, позавчера вправлял вывихнутую ногу, завтра заявится кто-нибудь с неврозом или больным ухом, и всем мы обязаны помочь. А та молодая дама,— он повернулся к сестре и воспринял выражение ее лица как знак уважения, интереса к разговору или просто чинопочитания,— так она, видите ли, разыскивает какого-то Ивана Рафаилова. Значит, помимо того, что я специалист по внутренним, кожным, нервным и прочим болезням, я должен заниматься еще и стоматологической хирургией, гинекологией и акушерством, отоларингологией и ко всему прочему помогать в поисках людей с неустановленным местом работы. Видите?

Она ничего не видела, кроме его улыбающегося длинного лица. Доктор Паунов кашлянул, снял очки и откусил от пирога. У него были крупные здоровые зубы, из-за чего в студенческие годы его прозвали Конь. Пирог действительно был очень вкусным, доктору попался кусок наполовину сладкий, наполовину с овечьей брынзой. Он причмокивал от удовольствия и с полным ртом мурлыкал мотив любимой своей арии из оперы «Кармен» Мими держала в руках круглую никелированную коробку с инструментами и вздыхала в ожидании, когда закончится эта его тирада, чтобы он наконец обратил на нее хоть чуточку внимания. На улице лило все сильнее, и она испытала острое желание остаться сегодня вечером здесь, вместе с ним. Заварила бы чай — у нее всегда в шкафчике есть чай и кофе и даже бутылка шоколадного ликера, какой-то рабочий подарил ей. Можно обойтись и без ужина, она не ощущала голода, а доктору позднее предложила бы свой кусок пирога. Будут сидеть вдвоем в тепле, разговаривать; Мими так хотелось рассказать ему, как сильно она разочаровалась в муж

чинах (прежде всего она имела в виду, конечно, того инженера), и, может, доктор догадался бы наконец, что она к нему неравнодушна...

— Иван Рафаилов! — продолжал доктор невозмутимо, ни о чем не подозревая, положив длинные ноги на натянутый на кушетку полиэтилен.— Я помню, конечно, много имен, но некоторые и забываются. С начала года через мои руки прошло восемь тысяч сто сорок два человека. Иван Рафаилов, спрашиваю я ее, а где он работает? Не знаю, отвечает она. Рот у нее маленький, губы пухлые, великолепно очерченные, кожа гладкая и белая... А вы знаете, девочка, что в сыром климате кожа у женщин становится особенно эластичной?

— Не знаю,— неуверенно ответила сестра, все еще держа коробку в руках.

— Ну хорошо, спрашиваю я ее, и все же, кроме имени, ничего больше вам не известно? Почему же, говорит она, много еще другого: знаю, например, что он здесь, один его земляк из их деревни сказал мне это на станции Синдел еще два месяца тому назад. Так, говорю я (вы тогда как раз заканчивали проветривать и закрывали окно), а почему же не расспросили как следует этого земляка: где именно работает ваш знакомый? Ведь здесь двадцать с лишним тысяч человек! Может, он в строительных войсках? Нет. И она скривила губы, прелестно так скривила. Он давно отслужил. Тогда мы разъехались, мой поезд стоял всего минуту, а его уходил в обратную сторону. Я потом искала его,— здесь она совсем непроизвольно поправила чулок и еле слышно вздохнула,— но и его потеряла. Сказали мне, что уехал с бригадой в Бобов-Дол. Кто? — спрашиваю я, не понимая уже, о ком речь. Ну, его земляк, который мне это сказал. Так, может, вам надо поехать в Бобов-Дол, предлагаю я, хотя никак не могу понять, что это за поиск или розыск, и начинаю думать, что, может, этот человек заключенный...— Доктор видел коробку в руках у сестры, но не замечал ни ее глаз, ни ее состояния.— Положите коробку, Мими, вот так... Ездила я в Бобов-Дол, отвечает молодая женщина, и там его нет. Так и потеряла его следы. Чьи, опять спрашиваю я. Да его же, земляка. А Ивана Рафаилова, вздохнула она, и вовсе потеряла... Может, он вернулся в деревню, высказываю я предположение. Почему бы вам не поехать в деревню, вдруг они оба там? Нет, нету их там, говорит она, вставая со стула.

Сестра села на выкрашенный белой эмалью стул и, так как руки у нее были свободны и она не знала, куда их деть, вынула из кармана шариковую ручку и стала щелкать ею.

— Ну хорошо, говорю я, и она снова садится. Что же вы думаете делать? И только тут я увидел, она держит что-то в руке. Как вы думаете, Мими, что?

— Откуда мне знать? — почти простонала сестра.

— Кусок пирога! — засмеялся доктор.— Я так рассеян, что не заметил его, да и она не замечала.

Сестра вспомнила о куске пирога, который дожидался того момента, когда его предложат доктору. Тогда она спросила бы, не заварить ли чай, пока идет дождь, хотя и знала, как мало интересует доктора Паунова, дождь ли там, снег ли или землетрясение... А кроме того, на улице ждала машина, шофер Мичо играл в карты в соседнем бараке, так что в любую минуту они могли ехать в город.

— Ничего, говорит она. Буду искать, пока не найду! И в голосе ее прозвучала такая решимость, будто от всего этого целиком зависела ее дальнейшая жизнь. И знаете, о чем я тогда подумал, Мими?

— О чем? — вяло спросила сестра.

— О том, что, может быть, этого Ивана Рафаилова вообще не существует.

Сестра промолчала.

— Когда она выбежала под дождь,— продолжил доктор,— изящные ее туфельки утопали в грязи. И я определенно решил, что она

выдумала и этого Ивана Рафаилова, и встречу с его земляком на станции Синдел, и Бобов-Дол, и все остальное.— Он скрестил ноги и добавил глубокомысленно: — В сущности, Мими, мы не знаем, какие радости и какие страдания настоящие, а какие — выдуманы. Верно?

И впервые с тех пор, как он заговорил о посетительнице, впервые за весь сегодняшний день, за все недели и месяцы, что они работали вместе, их взгляды встретились. Доктор встал.

— Вы плачете, сестра Дойнова? — спросил он.— Что случилось?..

■

Вылетели с опозданием на пятьдесят пять минут. Во время взлета Гаврилов откинулся в кресле, прикрыл глаза. В его распоряжении был целый час — он мог спать, мог думать или не думать ни о чем.

Спать не хотелось. Он сидел в последнем ряду, и перед ним как на ладони был весь салон: высокие кресла, торчащие головы над ними, засвистевшие вдруг отверстия вентиляции, привычно потянувшиеся вверх руки. Струя прохладного, свежего воздуха била ему прямо в лицо, но он не протянул, как все, руку, чтобы отрегулировать ее. Не смотрел на обнаженные колени молодой женщины, сидевшей рядом с ним, на журнал, который она начала читать, не пытался заглянуть в синие, обрамленные темными тенями глаза. Он не смотрел телевизор, потому и не узнал в этой женщине актрису, известную всей стране, привыкшую к тому, чтобы везде и всюду ее узнавали. Задетая его невниманием, она отодвинулась к иллюминатору. И все же Гаврилов заметил и ее колени, и холеные руки с темно-зеленым маникюром и множеством колец на пальцах, и обложку журнала со знакомым пейзажем Черноморского побережья. Он молчал, вдыхая тонкий аромат духов своей соседки, и восстанавливал в памяти вчерашнее послеобеденное совещание у секретаря ЦК. Присутствовало несколько заместителей министров, генеральные директоры объединений, а он встал и довольно резко заявил, что при создавшемся положении эти сроки нельзя будет соблюсти...

Подошла стюардесса, предложила шоколад, соленые палочки, американские сигареты; его соседка купила себе палочки и стала их грызть.

Когда закончилось совещание, секретарь ЦК попросил его остаться и сказал ему, что вопрос гораздо сложнее, чем кажется, что оттуда, с Низины, не все видно, но что он, Гаврилов, в общем-то прав. Гаврилов возразил, что с Низины видно все или, вернее, Низина платит за все, потому что с нее и спрашивают. И с других спрашиваем, улыбнулся секретарь ЦК, если не будем спрашивать, требовать, ничего не получится. А мне вот нужна сталь, трубы, кабели, фланцы нужны, тяжелое оборудование нужно, фермы нужны, спокойно повторял в уме Гаврилов свои слова на совещании...

Соседка спросила его, не из Варны ли он и где там работает, он ответил ей, что из Варны, и замолк. Она сконфузилась, ибо привыкла, чтобы ей уделяли внимание всюду — в троллейбусе, в поезде, на улице, в кафе, в самолете, а этот чурбан даже не узнал ее.

Но ведь срок есть срок! Мы будем помогать, ответил секретарь ЦК, для того ведь и собрались. Будем нажимать, наказывать, даже освобождать, если понадобится, но имей в виду, что спрос в первую очередь с тебя. Знаю, сказал Гаврилов, привык и не боюсь. Хорошо, что не боишься, уже мягче сказал секретарь...

Стюардесса нагнулась и с заученной улыбкой на кукольном личике попросила автограф у его соседки. Оживившись, та взяла протянутую открытку со своим портретом, вынула фломастер и расписалась крупными буквами. Пассажиры стали оборачиваться, многие не видели ее у трапа, так как она пришла одной из последних. И теперь все произносили ее имя, поднимались с кресел, некоторые, более

предприимчивые, опершись на спинку кресла Гаврилова, протягивали ей руку через его плечо. Кто-то предложил актрисе пересесть вперед, где, мол, меньше трясет, и она, бросив ледяной взгляд на Гаврилова, поспешила к своим почитателям, оставляя за собой шлейф из запаха дорогих духов.

— Кто это? — спросил Гаврилов у проходящей мимо стюардессы.

— Вы не узнали ее? — удивилась девушка.— Это же Елена Ванева!

— А кто это?

— Актриса! — Теперь уже и стюардесса смотрела на него с неприязнью.— Вы что, не видели по телевидению последний многосерийный фильм?

— Нет,— ответил Гаврилов.— У меня телевизор испортился.

Он, конечно же, сказал неправду. Дожидаясь его, Анна целыми вечерами просиживала перед телевизором. Однажды, вернувшись раньше обычного, Гаврилов тоже пристроился смотреть, но Анна подошла и повернула выключатель. Ты чего? — удивился Гаврилов. Мне надоело смотреть на этот ящик в твое отсутствие. Сейчас хочу смотреть на тебя. Но ей не удалось. Его срочно вызвали на соляную шахту. Гаврилов оделся и, уже уходя, бросил с порога: теперь можешь его включить! Он боялся обидеть ее, но уделять ей больше времени и внимания не мог... Однажды Анна сказала ему, что, мол, некоторые мужья хотят, чтобы жены любили не только их самих, но и их работу. Он пожал плечами: трудно принадлежать кому-нибудь, когда не принадлежишь даже самому себе. Она умела владеть собой, никогда не повышала голоса и не устраивала скандалов. И в этот раз только отвернулась и спросила, какую он хочет яичницу. Гаврилов ответил, что ему все равно. Они тогда только что пришли из оперы, где уже во время второго акта Гаврилов чуть было не заснул — веки слипались, и на сцене ему виделись не фраки и бальные платья действующих лиц «Травиаты», а ватники каменщиков, маляров и монтажников. Анна, в темно-синем платье, открывавшем ее нежную шею, упивалась музыкой, а Гаврилов думал о том, прибыла ли группа из Шумена. Дома, еще не сняв пальто, он позвонил заместителю, и тот сказал ему, что группа еще не приехала...

Стюардесса объявила по радио, что пролетают над городом Горна Оряховица. В салоне народ столпился вокруг актрисы, слышен был смех, все говорили одновременно... И вдруг Гаврилову показалось, что он один, совсем один — и здесь, и дома, и на стройке. Самолет будто висел в воздухе неподвижно, мимо него проплывали облака, а под ним — города. И дом его вот так же висел, весь освещенный, словно в праздничный вечер, огромный и пустой, а Гаврилов стоял посередине, все еще в пальто и шляпе, с ключами в руке. И Низина висела между холмами; в кабинах кранов, бульдозеров, тракторов, самосвалов, в котлованах и на площадках не было никого. Бетонорастворный узел работал без людей, экскаваторы сами вгрызались в землю и грузили ее на самосвалы, на озере пыхтели баржи и земснаряды, на складах краны тоже как бы сами разгружали трубы, арматура сама сплеталась и становилась на фундаменты... Гаврилов говорил что-то на оперативке, а перед ним стояли пустые стулья, и вместо начальника первого участка Бошнакова на соседнем стуле лежало одно лишь пальто. Гаврилов поднимал телефонные трубки, кричал в них и сам себе докладывал, что́ сделал, на сколько выполнил план, сколько кубометров земли вывезено, сколько метров трубопровода проложено...

Самолет продолжал плавно и спокойно лететь по курсу, Гаврилов сидел неподвижно в последнем кресле у прохода, и в пустом салоне слышался свист воздуха из вентиляторов. Металлическая дверца шкафчика за его спиной, где стюардесса держала шоколад, американские сигареты и соленые палочки, хлопала и позвякивала висящей в замке связкой ключей.

Он искал Анну в библиотеке, но увидел пустые залы, дверь ее кабинета была открыта, и на письменном столе лежала забытая ею черная шляпа с широкими полями, в которой, как он говорил, Анна похожа на манекен, а не на директора библиотеки. Он пощупал шляпу, потом нажал пальцем, словно на кнопку, в спину своего шофера, но это оказалась не спина и не кнопка, а ключ зажигания «Волги», и он сам повел машину. Когда остановился у общежитий, он уже знал, что и там будет пусто. И действительно, в комнатах никого не было: стояли ряды заправленных коек, забытый кем-то транзистор пел голосом эстрадной певицы, а электрогитары, сопровождающие пение, наполняли помещение металлическими взвизгами. Гаврилов сел на одну из кроватей, перед стоящими на полу, только что вымытыми резиновыми сапогами, по которым еще стекали капли воды, и подумал, что хозяин сапог, наверное, сейчас вернется, но он не вернулся. Не было и поваров в столовой, пища сама варилась и жарилась в огромных котлах и на противнях, а тепло от накаленной добела печки распространялось по всему залу, совершенно пустому. На столах стояли тарелки с хлебом и едой, вилки и ложки лежали так, будто люди только что ели. Не может быть, чтоб они не вернулись. На улице урчали самосвалы, тарахтели автобусы, оставляя за собой черные клубы дыма, огромный панелевоз с прицепом, на шестнадцати колесах, терпеливо ждал погрузки, но в кабине не было шофера. Где все люди, недоумевающе спрашивал себя Гаврилов, бродя один по Низине. Заходил в пустые канцелярии — в первом районе, во втором, звонил по телефонам и сам себе отвечал: все в порядке, работа кипит, машины не останавливаются... Только людей нигде нет. В одной из канцелярий пишущая машинка сама отстукивала текст; он нагнулся и увидел, что это очередная сводка производительности труда...

Гаврилов вдруг оказался в том месте стройки, где между двумя новыми заводами расположился высокий корпус ТЭЦ. Из трубы, как всегда, валил дым. Гаврилов взбежал по лестнице, взглянул на пульт управления и убедился, что самописцы автоматов аккуратно вычерчивают, словно кардиограмму, кривую о режиме работы машин. И турбины, и котлы были в полной исправности. Аварии не было. ТЭЦ подавала и электроэнергию в национальную систему, и пар заводам, которые, получив его, работали, как обычно, и выпускали готовую продукцию. Значит, я действительно в Низине, думал Гаврилов. Он присел на какой-то ящик, потирая лоб и глаза, но картина не менялась. Его трудно было чем-то напугать или удивить, но сейчас он не знал, что предпринять. Все идет как надо, только вот на магистрали приостановилось движение, а так — повсюду машины работают, нет потерь времени, нет простоев. Он включил телевизор и наконец увидел людей: на экране шли прямые трансляции, передачи в записи, телефильмы. Протянув руку, он коснулся стекла экрана и никак не мог понять, зачем, для кого эти новости, политические комментарии, телевизионные постановки? Он ждал, чтобы открылась наружная дверь или дверь кухни, чтобы вошла наконец Анна и спросила его, какую он хочет яичницу. Но она не вошла, и, проголодавшись, он сам пошел на кухню, оставив телевизор включенным, чтобы слышать голоса и музыку, и сделал себе глазунью. Пока он ел, до него донесся диалог между каким-то мужчиной и какой-то женщиной: выясняли, что значит любить, и один из них упрекал другого, и Гаврилов понял, что речь идет о том, можно ли любить кого-то и принадлежать ему, если он тебя недостаточно любит и принадлежит не другому или другой, а своей работе. Это напомнило ему о чем-то... Он макал черствый хлеб в отдающее горечью масло, жевал его вместе с пересоленной и переперченной яичницей и лихорадочно обдумывал, что же ему предпринять. Позвонить в милицию — неудобно как-то, в больнице тоже знают меня, где же ее искать; в конце концов, она моя жена, это ее дом, должна же она вернуться домой, если не предупреждала об

отъезде и не оставила никакой записки... Он обошел все комнаты, осмотрел столы, где Анна могла бы оставить какую-нибудь записку, но нигде ничего не было. Только под ее подушкой обнаружил маленькую книжицу — «Уход за ребенком» — и удивился: на что ей эта книжка, если они живут уже шестнадцать лет и у них нет детей. В первые годы много говорили об этом, а в последнее время все реже и реже. Полистав страницы, Гаврилов прочел несколько советов о кормлении грудных детей, удивился: ни разу в своей жизни не думал о том, как кормят грудных детей, сколько калорий и витаминов должна содержать их пища, какова должна быть частота кормлений и температура кашек...

Он отстегнул пристяжные ремни, хотя табло горело, требуя застегнуть их и не курить, но Гаврилов все-таки хотел выяснить, куда же подевались все пассажиры, куда делась стюардесса с кукольным личиком и та актриса с телевидения, что вызвала всеобщий восторг и умиленные восклицания. Он открыл дверь кабины, прошел мимо мигающей рации, которая коротко сообщала: снижение идет нормально, трасса номер два, к приему готовы, температура воздуха... снижение нормально, трасса номер два... Наушники лежали на подставке, радист, наверное, пошел к пилотам, но, отдернув занавеску, Гаврилов увидел, что кресла пилотов пусты. Земля приближалась, в ушах давило, и он сглотнул несколько раз, чтобы избавиться от неприятного ощущения. Впервые очутившись в пилотской кабине самолета, он без страха и особого интереса, лишь с детским любопытством, которому еще не знакомы опасности и ужас, смотрел на надвигающуюся земную твердь. Деревья и дома увеличивались в размере, шоссе стало шире, тонкая блестящая полоска превратилась в большую мутную реку. Самолет приблизился вплотную к полосе и мчался над ней, еще не на земле, но уже и не в воздухе, потом колеса коснулись бетона, машина дернулась, скорость резко уменьшилась.

— Прошу пока оставаться на местах,— услышал он голос стюардессы, дверь открылась, и вошла... Анна, в той самой черной шляпе, похожая на манекен.

Низина была такой, как всегда: по дорогам медленно тянулись грузовики, самосвалы, легковые машины, панелевозы, микроавтобусы, и в их кабинах, как и в кабинах бульдозеров, кранов, экскаваторов и тракторов, виднелись напряженные лица, взгляды людей были сосредоточены на рулях, рычагах, пультах... В просторном кабинете Бошнакова люди занимали места и, хотя стульев было сорок с лишним, тащили еще из других комнат. Бошнаков, с уже накинутым на плечи пальто, покашливал рядом на соседнем стуле. Секретарь приготовился вести протокол.

— Быстрее, товарищи! — строго прикрикнул Гаврилов.— Сказано было — ровно в пять, а вы целых пятнадцать минут тянетесь...

— Что я тебе могу сказать, Афанасий Николаевич,— вздохнул доктор Паунов, выслушав рассказ Гаврилова,— в этих делах я не очень разбираюсь. Может, переутомился, у нервной системы ведь тоже есть предел, как и у всего остального. И у машины есть предел, даже у природы, хотя она и считается беспредельной.

Гаврилов сидел на окрашенном белой эмалью металлическом табурете. За окном мигали огни строящихся цехов, один за другим глохли дневные шумы, такие знакомые его чуткому слуху. Низина готовилась к ночному отдыху, хотя оставались смены и бригады, которые заступали в ночную смену. ТЭЦ пыхтела, крутила турбины, котлы посылали пар по трубопроводам.

— Я не из-за этого пришел,— сказал Гаврилов, поджав губы.— Просто давно не видел тебя и решил заглянуть. А это все ерунда. Хорошо, что помимо подсознания у человека есть еще и сознание.

До этого они выпили по рюмке, теперь доктор налил по второй.

— А может...— Доктор снял очки и протер их словно для того, чтобы лучше видеть наполненные рюмки.— Может, и хорошо, что помимо подсознания у человека есть сознание?

Гаврилов молчал. Он уже жалел, что пришел и рассказал доктору о той чепухе в самолете. Он был озадачен, ибо не помнил, чтобы спал, а то, что случилось с ним, было даже больше чем настоящее переживание, четко воспринятое всеми его органами чувств и именно сознанием. Ну и что, думал Гаврилов, эти винтики в нашем мозгу порой, видимо, делают свое дело, не спрашивая нас. Пусть делают, лишь бы и мы свое делали! Трезвый, логично мыслящий, всегда готовый к любым неожиданностям, он и ответ на все имел или хотя бы старался найти. И снова его стало грызть сомнение, не испытал ли он если не страх, то хотя бы растерянность после этого, разделенного на три отдельные части, совершенно отчетливого переживания или видения, происходившего одновременно в трех местах?.. А чувство одиночества, внезапно навалившееся на него как раз после этого? Приезд в Низину, совещание, скандалы, взыскания двум инженерам, разговор о сроках — все это не отвлекло его от испуга или растерянности, от этой внезапной остановки посреди дороги (или посреди действия, как он любил говорить, потому что если и был Гаврилов в чем-то фанатиком, то именно в своей деятельности). Тогда он вспомнил, что давно не виделся с доктором, и пошел к нему. Застал его заполняющим какие-то карточки, и на вопрос, как жизнь, доктор поднял голову и ответил: «Какая там жизнь, Афанасий Николаевич! Мы больше писари, чем врачи, смотри, какая гора бумаг ждет меня!»

— Будь здоров! — Доктор Паунов поднял рюмку.— И не думай об этих глупостях. Ты крепок, как сталь.

— Знаю, что крепок,— прищурил Гаврилов глаза,— да и нет у меня времени болеть.

— А я одно тебе скажу, Афанасий Николаевич: суровые мы с тобой люди.

— Почему суровые?

— Потому что связались с этой Низиной, вот почему. Невозможно остаться наедине с самим собой...

Гаврилов нахмурился — казалось, доктор читает его мысли и иронизирует. Он отпил глоток коньяка. Товарищ Гаврилов, дружески обняв его на каком-то торжестве, сказал советский инженер Лобаченко, смотрю на тебя — пьешь, вместе со всеми пьешь, тосты провозглашаешь, а не расслабишься никак. Дай ты волю своей душе, воздуху ей немножко дай. И поцеловал его в обе щеки. Душа, думал Гаврилов, и ему стало очень неприятно, что рассказал доктору о тех глупостях. Где она, душа руководителя? В работе и только в работе. Он перебирал в уме, что ждет его завтра. Сто двенадцать пунктов в блокноте.

— Где там остаться наедине! — попробовал он улыбнуться.— Для этого нужно, чтобы меня запустили в космос.

— Нет нужды запускать тебя, Афанасий Николаевич,— сказал доктор Паунов.— Каждого из нас давно уже запустили. Просто надо найти свою орбиту, чтобы потом сблизиться с другими.

— Времени у тебя достаточно, вот и философствуешь,— сказал Гаврилов.

— Ну да, время! Если бы ты не зашел, заполнял бы как проклятый эти карточки. Сестру вот отпустил, а сам остался.— И тихо добавил: — А ты чаще наведывайся, не забывай старого друга. Мы ведь когда-то вместе начинали. Помнишь: был всего один грузовик да две бригады землекопов

— Помню.

— Уважают тебя, Афанасий Николаевич,— сказал доктор совсем по-свойски, хотя Гаврилов чувствовал, что из-под очков на него смотрят насколько дружеские, настолько и испытующие глаза.— Сросся

ты с Низиной, и я сроссся с ней, вон сколько народу и через твои, и через мои руки проходит. Может, масштабы разные, но есть же и что-то общее, верно?

— Верно,— кивнул Гаврилов.— Ты лечишь людей, которых я калечу...

— Не ты калечишь их, Афанасий Николаевич, а техническая революция. Чтобы идти в ногу с веком, иногда приходится жертвовать этими людьми, чтобы следующим за ними было легче. Так, кажется?

— Никогда не было так! — возразил Гаврилов.— С чего ты взял?!

Ему казалось, доктор ковыряется в нем, ищет какую-нибудь трещину на коже или шрам от старой раны, прислушивается к нему внимательно и пытается доискаться, не скрипит ли что, не хрипит ли, нет ли какой скрытой болячки, никем до сих пор не замеченной. Много раз говорили они так, вдвоем, всегда откровенно, и Гаврилов уважал доктора и даже питал к нему слабость — недаром ведь рассказал ему о происшедшем с ним в самолете. Дал ему повод думать обо мне бог знает что, рассердился на себя Гаврилов и собрался уходить.

— С чего взял? Чтобы подразнить тебя,— признался доктор.— Ты знаешь, Афанасий Николаевич, как называют тебя люди?

— Нет. Какие люди?

— Ну, здешние, в Низине. Ко мне ведь приходят с болью, а когда у человека боль, он ничего не стыдится и не боится. Так вот, некоторые о тебе говорили, и я все хотел проверить, правы ли они... Кажется, не правы.

— Что говорили? — совсем разозлился Гаврилов, поставил рюмку и решил, что и в самом деле пора уходить.— В чем правы — не правы?

— В том, что называют тебя железным человеком. А ты не сердись.

Гаврилов рассмеялся:

— Что ж, неплохо. Пусть называют, лишь бы дело свое делали.

Доктор снова налил себе, отпил глоток и сказал без иронии и без всяких сантиментов, ровным голосом, словно ставил диагноз:

— Нет, не правы, Афанасий Николаевич, потому что и ты, и я, и любой другой человек — все мы сделаны из очень тонкого и очень нежного материала. Знаешь какое удовольствие ты мне доставил сегодняшним вечером — и знаешь почему?

— Почему?

— Потому что рассказ твой сегодня дал мне возможность судить о материале, из которого ты сделан. Могу тебя заверить: он такой же тонкий и нежный...

— Да ну, глупости! — сказал Гаврилов, встал и, чтобы не обидеть доктора, похлопал его по плечу и улыбнулся.— Что-то разговорились мы с тобой, старина, а я должен идти. Ждут меня на пристани, ждут дополнительные опалубочные комплекты для кессонов, ждут на канале номер два, ждет серьезный разговор с Трансстроем, ждут буксиры, которых мне не дают для буксировки кессонов из Варны, и знаешь сколько всего еще ждет меня? — Он поправил отвороты пальто и добавил: — А тебя ждут твои карточки.

Доктор Паунов проводил его до двери и на прощание, пожимая руку, сказал:

— И тебя и меня ждет тысяча дел, но я хочу, Афанасий Николаевич, сказать тебе вот еще что...

— Говори,— рассеянно бросил Гаврилов.

Доктор приложил руку к нагрудному кармашку своего халата с левой стороны и постучал двумя пальцами по этому месту.

— Мы, дорогой Афанасий Николаевич, не любим заглядывать к себе в душу.

— Почему?

— Потому что нам становится страшно.

Профессор постукивал его указкой по голове.

— Посмотри же, Йордан, лошадь и коляска — в одной плоскости, коляска толкает лошадь в зад, обрушивается на нее, вот-вот раздавит. Эх, Йордан, тебя бы впрячь в эту коляску! А это что?

— Мальчик.

— Так. А он что у тебя — бежит или в балете танцует? — И указка снова сухо щелкнула по голове Йордана.— Ну-ка, давай сначала.

Все в классе смеются, потом Йордан смеется над другими, а указка прохаживается по их головам, профессор не умолкает, и Йордан знает, что он прав, прав во всем, поэтому и слушают его часами, не выходя на перемену, забыв о том, что хочется есть, курить, что туалет совсем рядом в коридоре. Слушают, разинув рты, потом, сидя в кафе и барах, пытаются восстановить его слова, собрать, склеить, но не получается. А в это время профессор, уже дома, одинокий среди своих близких, вечно больной, придирчивый к себе и к другим, сидит, сгорбившись над рисунком.

— Надо рисовать и рисовать,— повторял он им каждый день,— до тех пор, пока сам не превратишься в рисунок!

— А образ? — спрашивал Йордан.

— Образ?! — переспрашивал профессор и поднимал указку.— Образ, осел ты этакий, надо уметь видеть и внешним и внутренним видением и, главное, знать, что́ увидел! Пчела тоже видит, но не знает, что́ видит, а художник обязан это знать, бездельники вы этакие. Если хочешь стать художником, надо научиться видеть образ, находить его измерения. Первое, второе, третье — так, плуты вы этакие? А захочешь постичь четвертое, узнаешь, где и пятое...

— А разве есть пятое измерение? — спрашивает Йордан.

— Если найдешь, значит, есть,— отвечал профессор улыбаясь (между двумя верхними его зубами зияла большая щель).— А где они, измерения, лентяи вы этакие, а? — Профессор постукивал указкой.— Вот я двигаю точку — получается линия, двигаю линию — получается плоскость, двигаю плоскость — получается куб...

— А образ, где же образ?!

Йордан уже дважды разводился, и оба раза у его жен оставалось по ребенку. Он уже успел выпить три тонны коньяка и тонну водки. По софийским забегаловкам и кафе искал он измерения, находил то одно, то другое, но никогда — все сразу. Днем рисовал, рисовал — иллюстрации к книгам, иллюстрации для журналов, газет. Перед глазами мелькали тексты, которые он иллюстрировал, бесчисленное количество разных историй, болгарских и иностранных, из прошлого и настоящего, даже из будущего. На рисунках оставались мужчины, женщины, дети, лошади, парусники, киты, реактивные самолеты, космические корабли, животные, сказочные экзотические страны, увиденные во сне, на фотографиях, в альбомах репродукций... А образ не давался, убегал. Убегал далеко от задымленной мансарды, куда приходили интеллектуальные пьянчуги, чтоб опохмелиться, мелкая шантрапа из забегаловок, провалившиеся на экзаменах студентки, которым нужны были ночевка и мужчина на одну ночь, а не образы и измерения.

Два его сына росли. Матери требовали алиментов, не позволяли ему видеться с детьми. Потом они опять вышли замуж, а Йордан, одинокий и растерянный, плыл по течению, среди хаоса туманных мечтаний и до боли ясной реальности. В это самое время он и нашел худенькую девушку с темными тяжелыми косами и женился на ней. Он встретил ее в поезде. Девушка ехала в родной город, они случайно оказались рядом в коридоре, у одного и того же запотевшего окна. Начали рисовать пальцем по стеклу: Йордан — детскую мордашку, а девушка — дом. И зажили они потом в таком вот доме, и вскоре

появилась детская мордашка — с темными волосами, как у матери. А черные блестящие глаза Йордан видел каждое утро в зеркале, когда брился.

Потом жена его умерла. Гемоглобин катастрофически падал, и не помогли ни переливания крови, ни переливания эритроцитной массы. Угасая, совсем уже слабая, белее простыни, она попыталась что-то прошептать. Йордан не услышал слов, но вообразил себе, что последним своим дыханием она прошептала ему что-то — может, об образе?.. Опомнился он с ребенком на руках, который отчаянно сучил ножками. Он отвез его к теще, учительнице в маленьком провинциальном городке, где у нее был одноэтажный домик с садом, огороженным зеленым забором. Где только не скитался потом, как только не пробовал спрятаться от себя, пока однажды не вышел из поезда и не ступил на землю Низины...

Гаврилов иронически прищурился: художник (весь в черном вельвете, с густой черной бородой и длинными волосами) ждал его ответа.

— Знаешь, сколько к нам приезжали? — спросил Гаврилов.— Побудут день-другой — и поминай как звали. И ты сбежишь.

— Не смогу,— сказал Йордан.

Ну как ему объяснить, что не может он убежать от себя.

Гаврилов не понял. Оглядывал его, присматривался.

— На какой-нибудь стройке бывал?

— Нет, никогда.

— Значит, в строительстве не разбираешься?

— Нет. Могу только рисовать, но еще не научился.

— Как это? — скривил губы Гаврилов.— И можешь, и не научился. Ты ведь закончил Академию художеств?

— Да.

— Значит, художник.

— Диплом есть,— сказал Йордан.— Но стал ли художником, не знаю.

Гаврилов спешил — некогда ему было долго разговаривать. Увидев Бошнакова, подозвал его. Бай Киро улыбался.

— Вот что,— решительно сказал Гаврилов.— Художник нам, конечно, нужен. Можешь писать буквы?

— Могу.

— А плакаты, транспаранты, наглядную агитацию.можешь?

— Могу.

— Тогда оставайся. Бай Киро будет твоим начальником и ответственным за тебя. Бошнаков, садись.

Бай Киро все так же улыбался, зажмурив один глаз: только еще с художниками не имел дела! Однако быстро нашел ему помещение — какой-то пустой сарай на склоне. Обещал прислать рабочих, приведут сарай в порядок, получится настоящая мастерская. Но художник хмурился: далеко, мол, от стройки. Разве это далеко — в двух шагах. Нет, нет, бай Киро, сказал художник, я хочу, если можно, вон там — и указал на котлованы, около которых стояли бараки-сани. Ладно, согласился бай Киро. Собрали ему один из старых бараков, просторный, приподнятый над землей, настелили оставшиеся от опалубки доски. Йордан обклеил его изнутри газетами. Позднее найдет у киномеханика старые афиши и прибьет их на двери и на стенах. Принесли железную кровать, зачислили Йордана на участок монтажников, и завхоз выдал ему постельное белье, одеяла, тюфяк, рабочую одежду, сапоги.

— Каска нужна? — спросил завхоз, не отрывая взгляда от его черной бороды.

— Дай ему и каску, как полагается,— ответил вместо Йордана бай Киро,— чтоб соблюдал технику безопасности.

— А что он будет делать? — заинтересовался завхоз.

— Ты занимайся своим складом,— посоветовал завхозу бай Киро.— Этот товарищ — художник.

— Понимаю, что художник,— сказал завхоз,— но делать-то что будет?

— Что будет делать этот человек, не твоя забота,— обрезал его бай Киро.

Завхоз перекрестился.

— Ты, бай Киро,— сказал он,— меня извини, что креститься начал, ты ведь партийный секретарь, но ничего я тут не пойму. Весь округ изъездил, снабжал шахтеров и энергетиков, монтажников и каменщиков, даже у военных работал, а вот с такими еще не сталкивался...

— Ладно, нечего извиняться,— сказал бай Киро.— Можешь идти, а с чем там сталкивался и с чем не сталкивался, в данном случае не имеет значения.

Бай Киро присел на тюфяк, рядом были свалены одеяла, постельные принадлежности. Посередине барака стоял, расставив ноги, Йордан, а в открытую дверь заглядывали улыбающиеся монтажники.

— Ну, Йордан,— сказал бай Киро, не зная, что дальше говорить художнику,— вот и все. Устроили мы тебя, обставили, снабдили чем надо. Вынимай теперь свои кисти-краски и начинай.

Монтажники расслышали только про краски да так и окрестили его — Йордан Краска.

Первую ночь художник не мог заснуть. За окном урчали экскаваторы, с неба вместо дождя сыпался песок, луна заглядывала в барак воспаленными, как у Йордана, глазами. Он поднялся и вышел, устав вертеться в постели. Мучила и бессонница, и сердцебиение, но он решил не принимать ни элениум, ни преniламин. Ссыпал в ладонь таблетки из двух пузырьков и, размахнувшись, забросил в траншею. Ты что, камни, что ли, бросаешь? — услышал он голос, и рядом возникла чья-то фигура. Это был низенький мужичонка, рабочий, в сдвинутой на затылок кепочке, позже Йордан и его будет рисовать, как и всех остальных. Да, камни, ответил Йордан. Из инвеститоров, что ли? — спросил рабочий, сплевывая через равные промежутки времени и каждый раз стараясь плюнуть дальше. Из инвеститоров, ответил Йордан, не зная даже, что это означает, и вошел в барак. Экскаваторы продолжали урчать. Он вытянулся на сырых, пахнущих складом и кожей простынях; одеяла были тяжелыми, свалявшимися. Ему было душно, жарко, он метался, ворочался с боку на бок. Сердце внезапно замерло, будто отлетев к свисающей с потолка лампочке. Что делать? — вскочил он в страхе. Так вот кончусь здесь, и найдут меня утром остывшим. Подумаешь, большое дело... Тот снабженец только засмеется... Он знал, что не умрет, но умирал при каждом новом приступе: сердце останавливалось, какая-то пружина лопалась в груди, раздавался короткий резкий крик — он слышал этот крик, но не мог никак вспомнить, что именно кричал, а потом, очнувшись, босой, в трусах и пижамной куртке, стоял посреди темного барака, окруженный этим грохочущим незнакомым миром. Спокойно, сказал Йордан, ложись в постель, не умрешь, глупости, ложись и закрой глаза; нет, отвечал он самому себе, конечно, не умру, приступ повторится еще раз и еще, пока я не задремлю. Не буду принимать ни элениум, ни преniламин, ничего не буду принимать, твердил он, пытаясь собрать всю свою волю, хотя приступы не подчинялись никакой воле. Воля, воля, повторял он, с завтрашнего дня никаких сигарет, никакого алкоголя, только работа, работа... Образ!.. Какая работа, какой образ?! Ему показалось, что он услышал чей-то знакомый голос, увидел чье-то знакомое костлявое лицо, добрую улыбку, открывшую щель между передними верхними зубами... Профессор.

Он давно умер, но вот является к Йордану каждую ночь, задает свои вечные вопросы, предостерегает... Йордан давно привык к его присутствию, он был с ним всюду — дома, в забегаловках, на улице, в мансардах, в кафе... И здесь, среди этих кратеров!.. Попробуй, может, и выйдет что-нибудь из этого дела, сказал профессор и стукнул его по голове указкой, может, здесь найдешь ты свой образ... Всю ночь Йордан вертелся, пытаясь убежать от профессора, который тихо нашептывал ему о пятом измерении и повторял, что искусство рождается не из «дважды два — четыре», а из нашей веры в эту истину. Знаю, кричал Йордан, перепрыгивая через траншеи и обходя желтые металлические чудовища, разинувшие пасти ему навстречу; знаю, знаю, дайте мне самому разобраться, хватит нравоучений, хватит с меня законов, которые надо соблюдать, чтобы преодолеть их.

Но профессор вновь присел на кровать, и, вздрогнув, Йордан увидел в бледном утреннем свете кого-то наголо остриженного, с рябым лицом и крупным бесформенным носом.

— Фу ты! — Рябой открыл рот.— Ты, мил человек, кричал во сне. Дай, думаю, зайду, посмотрю, что там стряслось...

— Ты кто?

— Локомотив я,— ответил рябой.— Николой зовут, но все меня Локомотивом называют.

Маляр Петко Петков Петков оставался иногда после работы и приходил к художнику помогать ему грунтовать холсты для плакатов. Заходили и другие люди, и он прислушивался к их разговорам в эти часы, когда дома обычно смотрели телевизор или перебрасывались с женой такими фразами, как: «Пойди-ка за хлебом», «Надо поговорить с учительницей, Петко опять двойку схватил», «У Леночки туфли порвались», или: «Сходи за слесарем — слив опять засорился»... Здесь же, в бараке, о чем только не говорили! Многого Петко не понимал, а к водке не притрагивался, потому что был абсолютным трезвенником и вегетарианцем. Любил щи из крапивы, свежие овощи, и зимой жена просто не знала, чем его кормить. Ничего, буду есть консервы, успокаивал он ее, состряпай чего-нибудь с горохом, два дня одной консервной банкой обойдусь — и дешево, и пища здоровая. Маляр посматривал одним глазом то на Йордана, который в данный момент рисовал Григора Манчева, устроившегося на ящике с надписью по-русски «Не кантовать», то на доктора Паунова, сидевшего скрестив длинные ноги, то на остальных — все они так интересно говорили о непонятных ему вещах. Григор Манчев декламировал, доктор высказывался о музыке, а художник — о каких-то измерениях. Сдохнуть мне, если что-нибудь понимаю, думал маляр Петко Петков Петков. Как это: начнешь двигать точку, и получится линия, начнешь двигать линию, и получится плоскость?! Я ведь тоже из конца в конец вожу щеткой по плоскости — плоскость, она и есть плоскость, так каким же это образом из нее может получиться куб?.. Удивлялся он, но в то же время его не покидало блаженное и тревожное ощущение, будто в душе его открывается какая-то щелочка, куда попадают все эти слова и находят там свое место. Чувствовал Петко Петков Петков (мастер, покрасивший в разные цвета радуги многие квадратные километры плоскостей, король белил и масляной краски, царь шпаклевки и грунтовки, ударник труда с тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года) — чувствовал он, что входят эти люди в его душу именно через эту щелочку, и отковыривают там что-то, будто старую штукатурку, и заделывают потом, будто заделывают гипсом дырочку на потолке, замазывают его тревоги и беспокойство жены о детях, о еде, о деньгах, которых вечно недоставало на лелеемую в мечтах большую квартиру, об учебе Петко и нервозности Ле-

ночки, которая, почувствовав, что у нее начинают расти грудки, возненавидела весь мир. Ну хорошо, спрашивал себя маляр, мне сорок три года, я мастер своего дела, книг не читаю, мяса не ем, никогда не ссорился ни с соседями, ни с милицией, регулярно плачу членские взносы — откуда же мне знать, что такое измерение? Бывало ему тоскливо временами - наверное, на нервной почве, а он думал: все из-за проклятой души, о которой говорили эти люди. Днем он красил, торопил своих помощников, проверял качество работы, чтобы не было пузырей, пустот и шероховатостей на окрашенной плоскости, размешивал скипидар и краски, насвистывал весь свой репертуар, состоящий из случайно услышанной и переиначенной на собственный лад музыки, которая очень помогала в работе. А что еще, кроме музыки, поможет, когда сидишь верхом на восьмиметровой лестнице, ловко передвигая ее ногами, так, что она уже срослась с тобой, а ты с ней, или согнулся под потолком, или проводишь кистью линию, стараясь ни на миллиметр не ошибиться,— что еще может помочь, кроме музыки? Насвистываешь себе или напеваешь без слов, потому что важны не слова, а мелодия — и то твоя, собственная, пахнущая скипидаром и краской, она нигде больше не может родиться, кроме как рядом с кистью и лестницей, потому что и сам ты уже превратился в кисть и лестницу. Эта мелодия словно выходит из ведра с краской или из отверстия краскопульта и поливает, обрызгивает стены, потолок, тебя самого и весь еще не окрашенный твоими руками мир.

С некоторого времени, однако, маляр Петко Петков Петков уже не насвистывал и не напевал песен без слов, согнувшись под потолком или водя кистью по стене. Сейчас он думал о тысяче вещей, которые нельзя было напеть или насвистеть, и именно с этой тысячью вещей сам рождался заново. Снова ходил в школу до седьмого класса, голодал, начинал работать и женился, потом служил два с половиной года в Харманли и во время солдатской службы переписывался с будущей женой (тогда еще худенькой девушкой из Айтоса, с тонкой талией и большими пугливыми глазами). Потом родились двое его детей, потом он уволился с промкомбината и уехал в Бургас, где позже получил звание ударника и Золотой орден Труда. Сквозь эти мысли про тысячу вещей, о существовании которых до сих пор и не подозревал, он возвращался к годам работы в самых разных местах — всюду его уважали, хотя и подшучивали над вегетарианством, а деньги свои он всегда зарабатывал честным трудом, и жена его, которая работала в разных пошивочных мастерских,— тоже. У нее было несколько выкидышей, потом она родила нормально, и тогда он испытал желание напиться хоть раз в жизни. Не с горя, а от радости. Однако Петко не выносил алкоголя, поэтому угощал друзей вином и ракией, а себе заказывал лукум и жареный арахис — лакомства, которые мог себе позволить. Он работал, думая о тысяче вещей, о существовании которых раньше и не подозревал. Количество квадратных метров росло, лестница передвигалась как живое существо (он и на нее смотрел уже другими глазами, и на стены и краски, на ведра и краскопульт, а главное — на смысл своей работы, который до сих пор связывался только лишь с деньгами на пропитание да на квартиру), и потолок и стены как-то радостно светились под его руками. Он гордился запачканной краской рабочей спецовкой, потому что пятна на ней были результатом достойного труда. Маляр Петко Петков Петков привык теперь смотреть вокруг себя, заглядывать в душу к себе и другим людям, находить там щелочки, о существовании которых раньше не подозревал. И понял, что насвистывание и песенки без слов там, на вершине лестницы, уже сменились серьезными раздумьями о жизни, и тогда впервые попросил у художника какую-нибудь книгу. С тех пор он прочел уже с десяток книг, читал вечером на кухне, пока за столом

в комнате Леночка, грызя карандаш, решала задачки, а маленький Петко учил наизусть стихотворение об Октябрьской революции. В его голове смешались лица и события, о существовании которых он до сих пор не подозревал, но ему казалось, что они касаются именно его. И сейчас, грунтуя холсты и куски фанеры, он опять прислушивался к разговору в бараке, ища в нем щелочку, чтобы заглянуть и найти там место для себя. Время от времени он замирал с кистью в руке, глядя на лица говоривших или на валявшуюся на полу жестяную пробку от бутылки, блестевшую, как золотой зуб.

— У каждого человека есть талант,— говорил Йордан Краска, который заканчивал голову и плечо Григора Манчева, все так же сидевшего на ящике с надписью по-русски «Не кантовать».— И, если нашел себя, независимо от того, кем работаешь, можешь проявить свой талант.

— Йордан,— сказал Локомотив,— ты вот художник по профессии, но из твоих слов выходит, что каждый, как говорится, тоже художник. Может, у тебя второй или седьмой разряд, но к искусству, к мастерству ты стремишься независимо от того, монтажник ты, экскаваторщик, стекольщик или повар...

— Или маляр,— вставил Петко Петков Петков, сам удивившись своей смелости.

— Да, и маляр тоже.— Локомотив взглянул на него сквозь бутылку, которую опять поднес к губам.— Вон, Петко и трезвенник, и вегетарианец, но в работе своей тоже художник.

— Да ну, у меня всего-то семь классов,— отмахнулся маляр, как бы оправдываясь за только что проявленную дерзость, и покраснел

— Образование ничего не значит,— вмешался доктор Паунов, и Петко Петков Петков вспомнил, как тогда доктор залез клещами к нему в рот и мгновенно, без наркоза, не дав ему и опомниться, вырвал больной зуб. Было совсем не больно, только потом уже щека распухла и разболелась.— Образование, Петко,— это как твоя лестница. Есть лестницы высокие, есть пониже, все они передвигаются, но ведь их передвигают твои ноги. И красит не лестница, а твои руки, а рукам ошибиться не дают твои глаза. Это ведь ты в апреле красил наш медпункт? Мы тогда, кажется, еще не были знакомы.

— Я,— смущенно ответил Петко Петков Петков.— В слоновую кость.

В это время Григор Манчев, извинившись, выскользнул за дверь, обклеенную яркой афишей польского фильма «Пятеро с улицы Барской».

— Димитричка его ждет,— сказал арматурщик Манол, который до сих пор молчал. Он не был любителем вышить и второй раз отказался от протянутой Локомотивом бутылки.— Любят они друг друга, как глухари весной, ничего вокруг себя не видят.

— Оно ведь и любовь — тоже искусство,— сказал Локомотив.— Вроде и не музыка, и не книга, и не театр, а искусство.

— Повернись-ка немного в профиль,— попросил его Йордан, усевшись по-турецки на куче старых газет, и Локомотив повернулся.— Говоришь, любовь — искусство? Ты прав, конечно.— Он отодвинул в сторону лист, на котором тонкой кисточкой несколькими штрихами набросал только крупный нос и один глаз Локомотива.— Я вот, например, со своей третьей женой познакомился в поезде...

— Ты был три раза женат?! — Маляр Петко чуть не уронил кисть.

Другие тоже удивленно уставились на художника, потому что он никогда не рассказывал о себе, и, в сущности, они очень мало знали о нем. Просто знали его.

— Да,— ответил Йордан,— три раза. Так вот, ехал я в поезде, значит, вышел как-то в коридор, в купе нечем было дышать. Смотрю, какая-то девушка стоит у запотевшего окна, за которым темно, ни-

чего не видно, только светлые пятна мелькают. Я подошел, и мы с ней, не зная еще друг друга и не сказав ни слова, начали рисовать на запотевшем стекле. Я нарисовал детскую мордашку, а она — домик с вьющимся над трубой дымком.

Йордан показал пальцем в воздухе, как вился дымок, и замолчал.

— Стали жить мы с ней в таком вот доме,— продолжал Йордан.— Родился у нас ребенок — такой же кудрявый, как она...— Он взял у Локомотива бутылку, но пить не стал.— А потом жена умерла.

— Как это умерла? — спросил доктор и снял очки.— От чего умерла?

— От лейкемии,— ответил художник и отлил из бутылки на пол.— Пусть, мужики, земля ей будет пухом...

Водка сначала образовала на досках маленькую лужицу, потом нашла щели и вытекла в землю.

Все молчали. Потом и Локомотив, и доктор Паунов, и Манол, и остальные брали бутылку и выливали понемногу на пол. Никогда раньше в такие вечера не говорили они о себе и своих семьях, и теперь вдруг все мысленно обратились к ним... Бай Киро, впервые сегодня заглянувший сюда, вспомнил о сыне в Ленинграде и о замужней дочери в Софии (от нее уже два месяца не было писем), вспомнил о внучках и жене — и тоже отлил из бутылки. На дне осталось всего несколько капель. Привыкший больше думать о других людях, чем о себе и своей семье, бай Киро вернулся мыслями к художнику Йордану и словно увидел его впервые. Столько времени, думал бай Киро, прошло с тех пор, как я устроил его в этом бараке, а вот никогда не спрашивал о его семье. Все спешим, все вроде бы всматриваемся в людей, а что знаем об их жизни? Он поднял глаза и взглянул на присутствующих: думал, что вечерами играют в карты и пьянствуют (что еще, мол, могут делать мужчины в этом прокуренном бараке), а люди вот говорят об искусстве, человеческие проблемы обсуждают. Устыдившись причины своего интереса к вечерним сборищам в бараке художника, он спрашивал себя: ладно, Киро, ты представляешь партию, от ее имени целыми днями бегаешь, что-то организовываешь, проверяешь, укрепляешь, принимаешь решения и наказываешь; а что ты знаешь об этих людях? Что знаешь о каждом из приехавших в Низину, можешь ли ты сказать, что стоит за их буднями, за их работой, планами, и увидеть каждого в его доме — с детьми, с родственниками, с заботами и горестями?.. Не можешь. Вот поэтому, когда Гаврилов спросил меня, почему художник одевается в черное, я сказал ему, что все они пижоны, отпускают бороды и длинные волосы, но наш ничего, мол, не обращай внимания. Я должен был знать и должен был ответить: мы с тобой, товарищ Гаврилов, все мчимся, а о людях мало что знаем, у человека траур, жена у него умерла... Вот уже почти два года, как Йордан у нас, всю Низину украсил плакатами и кубами с надписями. Гаврилов просил, чтобы видно было издалека, и вот — наглядная агитация Низины с Йордановыми буквами и фигурами видна отовсюду: и с прибывающих в порт кораблей, и с пролетающих над стройкой самолетов, и с проезжающих поездов, и с мчащихся по магистрали машин. Не было собрания, конференции или совещания, чтобы не нарисовал Йордан плакат, не написал транспарант, к каждому пленуму, съезду или какой-нибудь годовщине он готовил что-нибудь; буквы его — красные на белом фоне или белые на красном фоне, выстроенные, как солдаты, одна к другой,— мобилизовали трудовой народ, заставляли поднять голову, прочесть написанное и всегда быть на уровне стоящих задач. И выставку устроил Йордан: не нашлось другого подходящего помещения, так разместил ее в недостроенной еще лаборатории. Убрали мусор, подмели, и, хотя окна были запачканы известкой, это не смутило Йордана: он повесил свои картины на веревочках, целых пятьдесят живописных полотен, и на всех — Низина. Были там от-

дельные цеха и отдельные люди, бригады, серо-фиолетовое небо, тяжелые колонны, трубы и башни, видны были эстакады и дороги, хотя тогда еще дорог было мало... Все охватил этот Йордан: как сваривают, кладут стены, сгибают арматурное железо, заливают бетон, сбивают опалубку или как идет работа у кессонов (и сами кессоны, уже потопленные в воде,— один из них слегка накренился), экскаваторы, бульдозеры, краны... Чего только не было на его картинах! И начали толпами приходить рабочие, некоторые вообще никогда на выставках не бывали, но на эту, в лабораторию, пришли; тысячи людей побывали — надо было нам книгу отзывов завести, как положено, но никто тогда не додумался. Каждый хотел увидеть и Низину, и себя. Один ахнет, узнает себя и потом всю бригаду приведет, другой ищет — где же я тут есть?.. Приносили грязь на сапогах, весь пол был в окурках, потому что не запрещали курить, как запрещают в настоящей галерее, а выходило, что эта галерея и оказалась самой что ни на есть настоящей. Начали приходить и из дробильной фабрики, и из соляной шахты, и из ТЭЦ, и со старых заводов. Некоторые обижались: мы, мол, тоже работаем в Низине, почему и к нам не пришел товарищ художник, и были, конечно, правы, а Йордан объяснял им и обещал пойти и действительно потом ходил. Гаврилов, когда я его привел, вспоминал бай Киро, осмотрел всю выставку. Смотрел молча, потом отошел со мной в сторону и, довольный, засмеялся. А увидеть Гаврилова смеющимся — такая редкость, что можно было подумать, будто уже пустили комплекс в действие. И вот говорит он мне: «Мы с тобой, бай Киро, кажется, не только не ошиблись с этим художником, но здорово выиграли, и он тоже выиграет». Подошел к Йордану и пожал ему руку, а на следующий день приехали из города и закупили много картин — для городского и окружного советов, для окружкома партии. Приехал какой-то ученый, смотрел, мямлил что-то под нос и уехал, потом, однако, прислали из Софии человека, чтобы тоже купил Йордановы картины. К этому времени мы уже освободили лабораторию, потому что везде сроки, надо было и ее сдавать. Оставшиеся картины Йордан подарил соляной шахте, ТЭЦ, старым заводам, да и в наших кабинетах повесили по одной. А полученные деньги Йордан перевел в фонд помощи чилийскому народу... Бай Киро, сконфуженный, посмотрел на пустую бутылку и подумал: ну вот, бегаю я по объектам, поощряю, наказываю, заседаю, провожу инструктажи, хожу по собраниям и конференциям, для всего вроде бы есть место в голове, а почему так долго не заходил сюда — повидаться с Йорданом и с другими, о которых злые языки говорили, что пьянствуют тут вечерами? Почему мне не посидеть с ними, самому глоточек не отпить, несмотря на то что мне категорически запрещено из-за сердца? Почему не знал, что он был трижды женат, что последняя его жена умерла и поэтому он теперь в черном ходит? Не знал и о том, что познакомились они с ней в поезде, у запотевшего окна, и нарисовали: Йордан — детскую головку в кудряшках, а она — дом с трубой, над которой вьется дым...

— Пусть, Йордан, земля ей будет пухом! — сказал бай Киро, выливая последние капли из бутылки. Глаза его затуманились, что-то теплое подступило к сердцу, там, где всегда схватывала его знакомая боль. Преисполненный радости, света и доверия, он встал, похлопал художника по спине.— А ты не отчаивайся, парень, вся Низина с гобой. Ну, товарищи, вы тут продолжайте, а я пойду...

Когда дверь за ним закрылась, скрипнув, как скрипит дверь родного дома, Локомотив нарушил молчание:

— Я вам скажу, партийная работа — ведь тоже искусство.— Он почесал свой большой, бесформенный нос и добавил: — А значит, и бай Киро — художник, только, может, не знает, что художник.

— Не может не знать,— сказал Йордан, взяв снова лист и кисточку, словно ничего о себе и не рассказывал.— Когда-то в академии мой

профессор все стукал меня по голове указкой, я уже вам говорил о ней, и повторял: пойми ты, осел этакий, пчела тоже видит, но не знает, что́ видит, а художник видит и знает, что́ видит.

И, макнув кисточку в пузырек с тушью, он стал набрасывать барак, медпункт, старый дом в городе и доктора Паунова. А сам доктор тоже чиркал что-то карандашом на пачке сигарет. Если бы надел очки и всмотрелся в коробку, он увидел бы, что нецроизвольно рисует детскую головку в кудряшках и маленький домик с трубой. Но он не надел очков и не всмотрелся.

■

Советовали ему купить мотоцикл, а Манаси Миланов смеялся:

— Ну да, шестьдесят километров до деревни и столько же обратно — сто двадцать. Да еще все время гляди в оба, чтоб какой-нибудь идиот не толкнул тебя, да за бензин плати... Раз я государству нужен, пусть оно меня и возит!

И государство возило его, вечером — в его деревню Присойцы, рано утром — в Низину. Государство — это либо автобус «шкода» с облупившейся красной краской и желтыми полосами, либо какой-нибудь «икарус» с тарахтящим мотором, а шоферы менялись: то небритый молчаливый дундук, то молодой пижончик, то здоровенный парняга с такими вот мускулами (легкую себе работенку нашел: руль крутить — это не траншеи копать). Манаси вечно ворчал, вечно был недоволен государством — мол, еле тащится. Поворчит он, наконец задремлет, и тогда перед глазами вновь простираются его участки земли: один — в местности Листак, другой — в Усое, третий — в Длинных Лугах. В общей сложности почти тридцать два с половиной декара. При разделе братья оттяпали у Манаси два декара, и с тех пор он не знается с ними, а участки — и Листак, и Усое, и Длинные Луга — давно исчезли, растворились в полях кооперативного хозяйства. Что? Братья? Нет у меня братьев — один где-то на железной дороге во Фракии, другой жил и работал в городе, после того как в шахте наглотался пыли и получил пенсию по инвалидности. Братьев, может, и не было, но землица была своя — вон зазеленилась, ветерок снова дует и колышет налитые зерном колосья, а кукуруза достигла человеческого роста, на каждом стебле по три молочных початка. Остановится Манаси, отломит початок, еще мягкий, захрустит зубами — чистое молоко, ни пятен, ни головни, здоровое зерно. Гудит вдали в полуденном зное маслобойня, с земли поднимается пар, высоко в небе звенит жаворонок. Вскакивает Манаси, молодой, в расцвете сил, весь из одних мышц, черный, как головешка, горевшая на медленном огне и превратившаяся в железо. Видали вы чабанскую палку с утолщенным кривым концом, обожженную на медленном огне? Вот так из дерева железо получается. Когда подул ветер коллективизации, сухой и горячий, Манаси раньше других понял, что деваться некуда, отдал в хозяйство свои участки, двух гнедых лошадей и отправил жену Радину вскапывать кооперативные грядки за пятьдесят стотинок в день, а сам дунул в город. Надел синюю хлопчатобумажную спецовку, взглянул на свои черные руки, жаждущие земли и пахнущие землей, и взялся ими за железо.

Ну и трясет же это государство, думал в автобусе Манаси. Вроде дорога асфальтирована, а здорово трясет. Кому нужно заделывать рытвины на дороге в какие-то Присойцы? Дорожники сейчас женами занимаются! Ну, трясет не трясет, важно людей по деревням развезти, чтобы переночевали дома, а рано утром доставить их обратно. Заботится государство о людях, и в книжках написано: самое главное для нас — люди, человек. Я этого вашего человека, думал Манаси, знаю до мозга костей, но, раз он теперь самое главное, пусть государство отдувается. И оно отдувалось, пыхтело, накренившись, на

подъеме, а Манаси подремывал, придерживая за пазухой белую фаянсовую плитку. Только одну, чтобы незаметно было, оно, государство, не обеднеет от одной плитки, а тридцать раз по одной — это уже тридцать плиток в месяц. Как придет какой-нибудь приятель, как скажет, что его двоюродный брат в городе ванную ремонтирует, а фаянсовых плиток нигде нет, Манаси полезет в сарай, достанет плитки — тю, и когда это их уже двести восемьдесят набралось? По одному леву за штуку — двести восемьдесят левов! Подумаешь, блошиный укус для государства — какие-то плитки или какие-то двести восемьдесят левов!.. Потирает руки Манаси: оно, государство, забрало землю и гнедых лошадок, а теперь возвращает с процентами — никто ведь без процентов не дает!

Возвращало государство эти участки земли и этих гнедых лошадок целых двадцать три года, с лихвой возвращало и все никак не могло покрыть свой долг. Охали снабженцы — куда это гвозди подевались или провод какой-нибудь? То этого не хватает, то того недостает, но никому и в голову не придет мужику за пазуху лезть (бабе — куда ни шло). Болты, гвозди, раньше, бывало, и патроны со взрывчаткой брал, но только понемногу, по одному-два, чтоб незаметно было... Смотреть надо, не зевать, думал Манаси, и, пока какого-нибудь кладовщика таскали по милициям, он кивал: правильно, она, милиция, свое дело знает, должен же кто-то это государство охранять... Нагнется, запустит свою черную, загорелую руку под крышку ящика, сунет что-нибудь за пазуху, а вечером государство доставит и его и добычу домой, потому что это его государство и оно обязано о нем заботиться и долг свой возвращать. Двадцать три года ворует Манаси, да нет, почему ворует — долг свой получает, с процентами, а долг немалый: почти тридцать два с половиной декара и две гнедые лошади. А в характеристике написано (и эту характеристику переписывают и пересылают из канцелярии в канцелярию целых двадцать три года, читают и перечитывают), что, мол, Манаси Миланов первым добровольно вступил в кооперативное хозяйство, показав своим поступком, как говорится, пример остальным. Вздыхают кадровики и партийные секретари, смотрят на бумагу, смотрят на Манаси — молчаливый, работает, только вот деньги очень любит, а кто их не любит; зато попросят сделать что-нибудь, Манаси первым вызовется; чего там к нему придираться! Рабочий класс ведь так и надо воспитывать — медленно, терпеливо. Деревня тысячу лет склеивала людей, а теперь их надо осторожно расклеивать, кусок за куском, пласт за пластом, потому что клей затвердел, в камень превратился... На собраниях Манаси молчал, если нужно было голосовать, сначала подумает, за что надо голосовать, потом поднимет руку или же не поднимет, если не надо голосовать. Работящий ведь он, Манаси, много не говорит, но если уж скажет, то сделает. Сделает, конечно, да еще как!

Выросла дочь его Росица, чернявая и низенькая, в отца. Послало ее хозяйство на курсы, а она не вернулась, загуляла с каким-то бурильщиком, потом расписалась с ним и уехала куда-то. Дарю им участок в Листаке, смеялся Манаси, приданое небогатое, но зато участок хорош, гектар с лишним жирной пахотной земли, пусть пойдут и отрежут себе от колхозного поля, дарю, хохотал он.

Остался Манаси вдвоем с женой, она тоже не очень любила говорить, была работящей и покорной, как скотина. Поменьше жрать надо, говорил ей Манаси, тыкая в нее кончиком вилки. Он и Радину научил собирать проценты: сегодня кочан капусты, завтра тыкву, потом горсть зерна — какая-никакая, а прибыль. И начала Радина тоже таскать (остервенела, хотя вначале и отнекивалась)— и вот двадцать три года уже собирала старые долги и проценты. Сядут вечером, вынет он из-за пазухи кусок железа, или скобу, или горсть болтов, согревшихся у него под рубашкой, а Радина, с кошачьими глазами и

мокрыми от слюней губами, поведет его показывать, что она принесла. У дома ведь ни рта, ни глаз нету, а уши у него давно заткнуты. Чтоб он сгорел, если тайну выдаст, дом-то этот — с завалившейся печной трубой и старой, еще с турецких времен, черепицей; хлев пустой, под навесом навалены старые корзины, ящики из-под мыла, какое-то решето с давно продырявленным дном, а само решето, когда-то желтое, теперь стало черным, как и сам хозяин дома. Амбары пустые, теплый воздух в них пахнет мышами, не зерном. На крыше амбара валяется старая прялка с расколотым колесом, к которому прицепился кусок шерсти, оставшийся, наверное, еще со времен, когда была жива бабушка Дана,— и всюду пыль и куриный помет... Зачем же мне зерно, Манаси, упиралась вначале Радина, где его смелешь? Люди почуют. Цыц! — и он давал ей подзатыльник. Росица услышит, о каком таком зерне болтаешь?.. И, прилепив черный свой рот к ее уху, злобно нашептывал: для кур, дура, курам пойдет зерно, государство будет их кормить, а мы этих кур ему же, государству, и продадим, поняла? И свиньи ведь могут есть и зерно, и тыкву, и кочаны — все; свинье один хрен что есть, а ты ей отборного зерна даешь. «Безостую-1»... Радина таращила глаза, потом кивала — вроде поняла. Продавали кур и яйца, свиней и поросят продавали, только раз попробуют немного жареной свининки, и все: остальное, до последней косточки, Манаси распродаст — и тогда охотников до мяса было много, не говоря уже о более позднем времени, когда государство стало само их упрашивать. По домам пошло, просит, агитирует: откармливайте свиней, мол, объединение «Родопа» будет закупать у вас мясо от моего имени, помогите народному хозяйству; и фуражом снабдим, только мясо давайте, помогайте... Поможем, почему не помочь, кивал Манаси,— и свиней держим, и овец семь штук есть, для шерсти и для молока, поможем государству, оно ведь наше...

Поймают нас, Манаси! — вырвется порой у Радины, а он тут же заткнет ей рот, хотя они одни шепчутся, сидя где-нибудь в сарае или за сараем, у забора. Кто поймает тебя, дурья башка, если ты одна тянешь? Ты посмотри кругом: воруют налево и направо, но все больше компанией: ты — мне, я — тебе и так далее. А мы одни, сами, без свидетелей, никто не видит, не слышит и не знает... Главное, придуриваться, государство больше всего дуракам верит, а к остальным слепо и глухо. Станет оно нами заниматься, когда у самого дел невпроворот!.. А все же грех ведь, Манаси! — проронит Радина как-нибудь, а он вскипит, потом расхохочется, но и смех у него черный и глухой, по земле стелется: какой такой грех, дурья башка? Другие машинами увозят, а мы руками берем. Раз нет бога, значит, и греха нет. Теперь же говорят, что человек сам бог, а народ — хозяин, одно это у них на устах, значит, выходит, мы и есть хозяева, потому что мы народ... Она молчала, таращила глаза, так как привыкла покоряться ему: раз Манаси говорит, значит, народ...

Манаси выходит из автобуса. До дома метров двести — как раз разомнется немного. Потом увидит темный забор, деревья в саду, навесы — и Низина растает за его спиной, лопнет, как мыльный пузырь. Автобус, чихая, исчезнет за поворотом, скроется за вербами, чтобы опять появиться завтра рано утром. И тогда Низина опять откроется глазам — заводы, озеро, ТЭЦ, дороги, трубопроводы, новые цеха, эстакады,— но Манаси все это абсолютно не интересует. Соберет он свою бригаду — хмурых, жадных до денег мужиков из его села да из соседнего (такие же, как и он, должок с государства недополучившие), распределит их по объектам, и начнут гнать сроки, планы, а как придет ведомость, глаза их загораются, злые и жадные: у этого столько-то, а где мои? Да подождите, и тебе есть, и тебе, всем достанется!.. Выгодную работу давал им Манаси, лучший наряд вырывал, раньше других фронт работ получал. Надо поработать ночью? Ладно, кивали мужики. Надо сверхурочно? Тоже соглашались, лишь бы хорошо за-

платили. Прислали ему из конторы одного типа, этот пацан Бачо потом забрал его,— ну сущий бандюга с седьмым разрядом, исподлобья смотрит, будто убил кого. Манаси от него отказался. Так он отсылал обратно и других — посмотрит, прикинет: нет, говорит, не надо мне, есть у меня люди... Ну как им сказать, что не нуждается он ни в высоких разрядах, ни в членах партии, ни в таких, что на собраниях выступают и обязательства берут. Как им сказать, что нужны ему не люди, а волки... Пусть ругаются, пусть матерятся, он будет их натравливать, озлоблять, а сам перед начальством молчать будет, только полебезит перед прорабом Георгиевым: о чем речь, мол, Илия, сказано — сделано, только потом не забудьте нас. И их не забывали. Ты почему не взял Гяурова, бай Манаси? — спросила его как-то кадровичка, и он ответил ей: так у него, девонька, разряд высокий, ему бы самому бригадиром быть. А за ее спиной, отвернувшись, засмеялся, хотелось сказать ей, что больше всего боится таких, у которых нет зубов, потому что они больше всего кусаются...

Сегодня Манаси доволен, потирает черные свои руки, успел вырвать хороший наряд, опередил Локомотива. А работа срочная, значит, и премия будет приличная.

— Совсем ты остервенел, Манаси,— говорит Локомотив,— за деньги и мать родную продашь.

— Продам, чего же не продать,— хитро улыбается Манаси.— А ты, раз не так любишь деньги, зачем тогда каждый раз споришь из-за выгодного куска? Думаешь, не знаю я тебя?

Локомотив поворачивался и уходил к своим.

— Ну, что с тем нарядом-то? — спрашивает у Локомотива Тодор Ботуна, и другие тоже подходят, окружают его.

— Отдали его Манаси,— тяжело говорит Локомотив.— Опять обвел нас, старая лиса, да и мы еще не покончили с трубами.

Поговорили, повозмущались, потом вернулись к своим трубам.

— Хе-хе-хе,— ухмылялся Манаси, сидя перед очагом и протянув руки к огню (ему казалось, что пламя убегает от него).

Они все еще топили дровами, все еще пекли домашний хлеб — Радина замешивала раз в десять дней или в две недели. За такой срок хлеб летом черствел, а осенью плесневел, но зато домашний и денег не стоит, потому как делают его из зерна, которое Радина получает на заработанные трудодни. Что черствый или заплесневелый — это ничего: Радина поскоблит, намочит в воде и бросит в печь. Хлеб выходит потом набухший, точь-в-точь как свежий. Когда Радина заболела воспалением легких, она стала просить Манаси, чтоб купил он ей нафтовую печку, которая топится соляркой, или электрическую. Так он просто высмеял ее: ты что, с ума, что ли, спятила, буду я тратиться на солярку или на электричество? Государство без денег не дает. Двадцать с лишним лет спали в холоде, еще поспим, укрыться есть чем, да и для здоровья полезно. Только очаг будем разжигать, дрова-то денег не стоят (собирали в лесу да в оврагах, а то и воровали). Прошло у Радины воспаление — она и не заикнулась больше.

Отогрев руки, Манаси сказал:

— Никак не насытится государство это, чтоб ему пусто было!

Радина не открывала рта. Давала ему возможность поговорить, а то ведь весь день молчит, пусть сам себя спрашивает, сам себе отвечает. Уставившись на огонь, она ждала, чтобы закипела вода. Сегодня в конце поля выкопала шесть картофелин, никто не видел ее. Теперь сварит их: три ему, три себе. Из нашей не смей варить, наша картошка на продажу пойдет! — звенело у нее в голове. Кооперативная мельче их, зато тяжелее оттягивает пазуху, но кто будет лезть за пазуху к старой женщине, если даже и заподозрит что? Три ему, три себе, хлеба есть не станут, соли и красного перца хватает, оторвут еще по головке чеснока от связки, что висит в подполе,— и ужин готов. Манаси уже вынул из-под рубахи очередную плитку, согревшуюся у

него на животе, и кладет к остальным, а горсть гвоздей кидает в ящик, спрятанный под досками в старом хлеву и забросанный сверху давнишним, высохшим коровьим пометом. Завтра понадобятся кому-нибудь гвозди — вот Манаси и продаст, только он предварительно намочил их несколько раз, чтобы покрылись ржавчиной... Да вот осталось у меня тут, скажет Манаси, немного гвоздей с давних времен, услужу тебе, мне-то они на что... Человек и верит, разве кто подумает, что они ворованные, что их собирали по штучке, вытаскивали из опалубочных досок, каждую ночь смачивали водой да еще посыпали морской солью, чтобы ржа их крепче взяла?

— Никак не насытится проклятое государство, никак! Вот такой вот рот! — раскинет Манаси руки перед очагом.

Они лягут, укроются старыми домотканными половиками (одеяла у них есть, но зачем портить?), положив под головы подушки, набитые соломой. Люблю спать на твердом, говорит Манаси, солома и шелестит, и колется — лучше всякого пуха и ваты.

Ужинали при свете очага, чтобы не тратить электричество. Пламя освещало бликами лицо Манаси, но было бессильным перед этой черной, превратившейся в чугун головешкой, которую уже никакой огонь не возьмет. Перед пламенем очага, слепым и немым, Манаси мог говорить сколько душе угодно. Он выливал в него, как масло, прожитый в Низине день: кто сколько получил, какие премии давали, а какие обещали, как Гаврилов сказал— если кончат до первого числа, три тысячи у них в кармане. Хе-хе, потирал руки Манаси, еще бы не в кармане, если сам Гаврилов сказал, он у нас царь и бог...

Радина слушала его, не понимая, кто царь и бог, что у них в кармане, где, когда... Двадцать три года Манаси уходил из дому затемно и возвращался, когда смеркалось, она забыла, как выглядит его лицо днем. Она не знала, что значит класть шпалы, выравнивать щебень, сваривать рельсы... Не знала, что значит строить мосты, разрезать пятимиллиметровое листовое железо ножницами, ложась на него всей тяжестью тела, монтировать вентиляторы, заклепывать, завинчивать и отвинчивать болты, соскабливать ржавчину, поднимать грузы лебедкой или цеплять крюк крана, карабкаться вверх и спускаться вниз, висеть на сорокапятиметровой высоте привязанным предохранительным поясом, ползать под землей и глотать ацетилен; что значит, когда тебя ветер с ног сшибает и когда ты песком плюешь; когда тонешь в грязи и заливаешься потом; когда таскаешь кабели и сгибаешь железо так, что руки немеют... Ничего этого за двадцать три года она не видела и не слышала, потому и молчала, слепая и глухая. Видела только себя — либо на кукурузном, либо на картофельном поле, укутанную платком, чтоб мякина не колола лицо, с задеревеневшей от мотыги спиной, с ревматическими болями в ногах от хождения по воде среди грядок, то с граблями, то с вилами или серпом — пятьдесят стотинок за трудодень, потом восемьдесят, потом набавляли каждый год по десять—пятнадцать, пока не дошли до трех левов восемнадцати стотинок... Она предоставляла мужу возможность вволю наговориться о болтах и фланцах, о премиях и ведомостях, о разных локомотивах и прочем другом. Пусть ругается, пусть матерится, дело жены — молчать.

Молчать-то молчать, но Манаси наказы дает, то одно сделай, то другое, будто и без его наказов не на ней держится весь дом и все их хозяйство. Дали им несколько декаров земли для огорода, они посадили картошку, морковь, сельдерей; как пойдут морозы, отвезут в город на базар маленькие связочки — две-три морковки, веточку сельдерея, одну картофелину, все ниткой аккуратно перевязанное. Горожане любят такие наборы для супа, дурья ты башка, и свеженькое, и хорошо пахнет — землей, а не химией, я химию лучше тебя знаю. У государства нет времени морковкой да сельдереем заниматься, в магазинах морковка вся грязная, увядшая, сельдерея и вовсе нет, а кар-

тошка Манаси гладенькая, желтая, породистая, еще с отцовских времен ее выращивают — и крупная, и вкусная, и питательная...

— Фу ты, ну никак не насытится это государство, чтоб ему!

Радина уже заснула, и снится ей мать, склонившаяся к очагу. На сковороде шипит сало, а в нем плывут тонко нарезанные ломтики картошки, все в пузырях и в паре. Мать накроет сковороду крышкой от большой кастрюли — картошка перестает шипеть, тушится. Откроешь крышку, ударит в нос вкусный пар — слюнки текут, только не надо солить, картошку солят, как и печенку, прямо перед едой, иначе она затвердеет... Радина сама уже жарится в сале, шипит и пускает пузыри во сне, двадцать три года не ела она такой картошки. Только вареную ела, плохую, ворованную; своя, крепкая, шла на продажу, а для еды — та, что с черными пятнами. И Радина никогда не нарушила это правило, ведь Манаси во гневе страшен, убьет. Молодого барашка тоже не ела с тех пор, как была девушкой и жила у отца. Отец любил и поесть, и выпить, он говорил: что человек поел да выпил, то и остается на всю жизнь. Рано, однако, ушел он из жизни, а Радина осталась, чтобы и не есть, и не пить, только в снах стол ее ломился от разных яств. Красный соус, снизу густой, аж слюнки текут, цыплячья ножка выглядывает, кожица поджаристая, темно-красная. А баранья ляжка!.. Ее Радина поливала коровьим маслом да присыпала красным горьким перцем — одно объедение, так и просится в рот... Хватала Радина куски во сне, наедалась так, что уж и дышать не могла от сытости. А наяву в кишках ее громко урчало, и Манаси, слыша это, вздрагивал. Слезет он с государства, которое оседлал, обругает жену, чтоб потише урчала кишками, а сам потом не к государству вернется, а к земле, теперь государство на нем верхом, а у Манаси под ногами жирная пахотная земля в Листаке, в Усое, в Длинных Лугах... Манаси бежит по полю — вырвался наконец от государства, будто гора с плеч свалилась. Тут воткнет колышек, там положит камень заместо метки, остановится, повернется и крикнет трактористу: эй, давай-ка сюда, вот до этого колышка и до этого камня!.. Отрежет свои участки, даже лишку прихватит, так что получится: вся земля, от дороги до ореха,— его (только теперь уже ни ореха, ни дороги нет), и тракторист вспашет борозду. Привезет Манаси целый самосвал камней и начнет укладывать их с внешней стороны борозды. Чего ты там торчишь, председатель, скажет, чего зенки пялишь, не видишь — межу делаю, землю свою возвращаю: в Листаке, в Усое, в Длинных Лугах! А председатель сядет в свой газик, пришпорит его и исчезнет в облаках пыли, а пыль такая, что дороги и не видать...

Манаси просыпался весь в поту, пропахший землей и навозом, с пересохшим горлом и сухими глазами. Встанет, пройдется босиком, поднимет ведро, будет пить, как лошадь, пока не напьется, и опять ляжет. И снова будут сниться ему петухи и козы, стадо буйволов и две его гнедые лошадки. В четыре часа вскочит, три его петуха давно уже пропели в третий раз, а он, слепой и глухой, с онемевшими суставами, прошмыгнет в подпол. Отодвинет балку, которую сам распилил посередине и мастерски снова приладил, откроется большая дыра (Манаси уж постарался, чтоб ни щелочки не было, чтоб никакая гадинка не пролезла, а то ведь деньги бумажные). Вынет пачки одну за другой, в каждой по тысяче левов, сядет на обмазанный глиной пол, предварительно закрыв дверь на оба засова, деревянный и железный, а все дырочки в двери заделаны паклей и обмазаны гипсом, чтобы никто не мог подглядеть. Зажжет свечу — окна подпола наглухо забиты еще отцом Манаси, чужому глазу сюда не пробиться. Перебрасывает синенькие пачки с портретом Георгия Димитрова, а руки дрожат. Вот они его участки, вот двадцать три года черной работы — он по стройкам, Радина в поле, от темна до темна. Здесь и свиньи, и овцы, и сэкономленное электричество, и домашний хлеб, и

картошка с черными пятнами, и урчащие кишки Радины. Здесь и гвозди, и ворованные дрова, и белые фаянсовые плитки, тыквы и початки кукурузы, скобы и куски железа, горсти цемента, прятанного за пазухой в специально сшитом мешочке, куры и яйца, кооперативное зерно с токов, морковка и сельдерей на городском рынке... Здесь и трудодни Радины, и его разряды, премии и приписки, и выгодные наряды. Двадцать три года упрятаны здесь, в этом тайнике за мастерски разрезанной пополам доской, на них держатся этот дом и эта жизнь, чтоб им сгореть, и каждое утро Манаси проверяет собранные долги и полученные проценты. Приделает опять доску и оставит какую-нибудь метку — волосок, шерстяную ниточку или щепку, а дом над ним молчит, весь, до потолка, полный снов и голода, скупости и воровства.

— М-да, никак не насытится проклятое это государство,— шепчет Манаси.— Ну никак!..

Темно, заря еще не занялась. Они завтракают в молчании, прислушиваясь к потрескиванию дров. Посидят несколько минут с отяжелевшими глазами и вроде бы полными желудками (Радина сделала тюрю из черствого хлеба, залитого кипятком), он встанет, так и не проронив ни слова. Наденет резиновые государственные сапоги, кепку, застегнет ватник. Пазухи и у него, и у нее пока пустые — день с пустого начинается, к вечеру пазухи полны будут. Только в старом его бумажнике, доставшемся от деда и перевязанном шнурком от ботинка, лежит свернутым уже долгие годы один лев. Лев к леву тянется, говорит Манаси, пусть себе лежит, он не для траты, а для приманки.

— Чтоб оно сгорело, это проклятое государство! — скажет Манаси и вперится в Радину горящими глазами.— Пустой не смей возвращаться, поняла?

— Поняла.

— И делай по-умному, чтоб никто не увидал. Поняла?

— Поняла.

Манаси выходит на дорогу. Село еще спит, но уже слышны кашель, хлопанье дверей. Где-то зажегся свет, мелькнул платок или накинутое на чью-то голую спину пальто. Манаси медленно проходит двести метров и останавливается у дерева. Дождь ли идет, снег ли — отсюда начинается день. А вот и государство едет, сбавляет скорость. За стеклом виден шофер — или небритый молчаливый дундук, или молодой пижончик, или здоровенный дубина вот с такими вот мускулами, легкую нашел себе работенку: руль крутить — не траншеи копать... Манаси сядет в автобус и опять у окна устроится. Почувствует запах горючего, увидит спящих людей и тоже закроет глаза — шестьдесят километров впереди, можно и поспать, и на свои бывшие участки заглянуть — в Листак, Усое, в Длинные Луга... Есть время подумать, что тебя ждет сегодня, что осталось со вчерашнего дня. На все есть время у Манаси Миланова — и на сон, и на работу, и на зарабатывание денег любыми путями, и на дом, и на стройку, и на дорогу в обе стороны. Облокачивается Манаси на потертую раму окна, безразличный и к утру, и к дороге. Будет дремать, пока не покажется Низина, пока не развернется вся перед его глазами.

Советовали ему купить мотоцикл, но Манаси смеялся:

— Ну да, шестьдесят километров до деревни, столько же обратно — сто двадцать! Все время гляди в оба, чтобы какой-нибудь дурак не толкнул тебя, да за бензин плати. Раз я государству нужен, пусть оно меня возит!

Шофер отпустил тормоз, включил скорость, нажал на газ. Государство заурчало и двинулось вперед.

■

Отовсюду несся стук, скрипела лебедка, трещали суставы желтого крана, где-то наверху пронзительно скрежетало точило. В круг-

лой полости печи звуки скручивались железными стружками, свивались кольцом. Давно привыкнув к полумраку, Иван Рафаилов, стоя на стремянке, клал кирпич за кирпичом. Работа есть работа, закончит эту печь, перейдет на другую, на его век печей в Низине хватит. Он нащупал сигарету, закурил. Дым согревал, и огонек тоже — на улице шел снег. Уже месяц, как погода стоит на редкость переменчивая — то жара, то холод. Ночи морозные, встанешь утром — лед, а в обед — теплынь. Вот и сегодня Низина, не успев вынырнуть из сиреневого утреннего тумана, опять утонула в белом снегу. Только в следах людей и машин чернела грязь, да озеро, глотая снег, пустынно темнело в сухих тростинках. И так же пустынно было на душе у Ивана — большое стылое озеро среди холмов Низины и по берегам ржавый тростник. Он не хотел ни о чем думать, только работать, работать, чтоб быстрей проходили дни. Пока человек не пришел к мысли убить себя, он убивает дни. И ночи тоже. И вечера, когда с нетерпением ждешь, чтобы все разошлись, а потом убить и эти часы. Иван мыл полы, застилал их старыми газетами, купленными на почте. Понурый, глухой от звенящих в ушах криков деревенских петухов, принимался за обувь. На улице у колонки мыл резиновые сапоги, а ботинки выносил в прихожую и там, отскоблив грязь, начищал их до блеска — щетки и ваксу он тоже купил за свои деньги.

— Опять Иван все ботинки перечистил,— скажет, вернувшись, арматурщик Трендафил.— Вот мастер на все руки. Уйдет из облицовщиков — голодным не останется.

И никакой благодарности, одни насмешки. Только Карла пытается его отвлечь — Иван то, Иван се. Притащит учебник русского языка, попросит проверить. И давай сыпать спряжениями, склонениями, падежами, так что Иван только дивился, почему слово, написанное кириллицей, то и дело меняет окончание. Но он ни о чем не спрашивал, добросовестно следил за текстом. Кончит свой урок Карла и скажет: знаешь, Иван, наши тебя большим дураком считают. Не видишь разве, как все над тобой смеются? Пусть себе, махнет рукой Иван. Разве объяснишь, что не лежит у него душа ни к чему — ни в кино ходить, ни в карты играть, а вечера-то убивать надо. И ночи тоже, чтобы потом хватало сил убивать у печи дни.

Немало времени прожил Иван в этом общежитии, и не раз ребята и так и сяк пытались подъехать к нему, выспросить, узнать хоть что-нибудь о его жизни — убил он, что ли, кого или просто помешанный. В душу-то к нему не заглянешь. Растянется вечером на кровати, заложит руки за голову и лежит, глухой ко всему — к шуму, смеху, спорам картежников, разговорам Стояна Глухаря о лекарствах. Хорошо бы убить и мысли, но они упорно лезли в голову, возвращая его в отцовский дом, откуда он сбежал три года назад. Здесь вокруг него не было ни лесов, ни зеленеющих или цветущих садов, ни осеннего листопада, а только трубы, столбы, эстакады, металлические конструкции. Душа его, отсыревшая от здешней влаги, закопченная дымом и пыльными ветрами, рвалась к теплым рассветам, когда на деревьях лопаются почки, к земле, взрытой плугами, готовой принять семена. Во сне Иван косил люцерну, шлепал босыми ногами по лужам, гонялся на реке за утками. Присаживался отдохнуть, а красный комбайн покорно дожидался его, смирный, как рабочая лошадь. Потом он взбирался в кабину, лицо обдавал запах земли и зерна. Пшеница звенела в хедере и стекала в грузовик, тяжелая и золотая. Или же видел себя Иван на тракторе, гуденье которого сливалось с эхом окрестных холмов, с тенями, с пушистыми снизу листьями мать-и-мачехи, чашечками созревшей лещины и сладостным запахом земли, жаждущей дождя и влаги. Тяжело вздыхал Иван Рафаилов. Слеп он был к миру Низины — перед глазами стоял тот, родной мир, очерченный кругами холмов и солнечного пути. Выберется он порой из печи — хоть бы птичка какая пролетела или пчела прожужжала бы над ухом, но нет,

вокруг только бетон и железо, железо и бетон. Плюнет Иван в сердцах со своей высоты — столько народу собралось здесь в Низине, пашет и сеет, боронит и полет, но жать будет не жито, а кальцинированную соду.

Иван выплюнул загорчившую сигарету. По-прежнему где-то наверху скрежетало точило, кран скрипел, словно корабельная мачта. Он наклонился, взял кирпич и вдруг услышал свое имя:

— Иван Рафаилов!.. Иван Рафаилов!

Иван не оглянулся, не опустил взгляд к входному отверстию. Он узнал этот голос. В ушах зазвенело. Медленно спустился по лестнице, ступил на дно печи с кирпичом в руках — он так и не уложил его на место. Из нижнего отверстия лился свет, а в нем — лицо Донки. Став на колени, она просунула внутрь голову, и сейчас ее глаза смотрели прямо на него. У Ивана перехватило дыхание, рука разжалась, к ногам с тупым стуком упал кирпич, вдруг ставший невероятно тяжелым.

— Братец! — крикнула Донка, упираясь руками в отверстие.

Иван Рафаилов отвел взгляд, словно заглянул в раскаленную добела печь. Как она его нашла? Донкин голос еще звенел в его ушах, а мозг уже отсчитывал, сколько шагов прошла она от автобусной остановки, следил за ее блужданьями по пыльным коридорам, видел, как мелькали перед ней лица, как открывались и захлопывались двери, видел рабочих, отвечающих ей пожатием плеч, видел, как бежит она вдоль строящихся цехов, как прыгает через лужи, как снег бьет ей в лицо и как, наконец, один показал ей на печи, а другой послал сюда, к этим лестницам без перил и окнам без рам и наличников. Темные и пустые, зияли лифтовые шахты, ветер, словно гейзер, рвался вверх. Перед ним вдруг встало лицо матери, каким оно было в ту ночь, и тут же смылось водой, которую он выплескивал на пол в общежитии. Вот он чистит ботинки, а Стоян Глухарь протягивает ему таблетки и стакан воды, а вот уже он, Иван Рафаилов, латает забор отцовского дома новыми душистыми досками с кооперативной лесопилки...

Иван отвел глаза и крикнул:

— Подожди снаружи!

— Подожду,— покорно согласилась Донка.

Свет снова заполнил отверстие, мелькнули ее ноги в вязаных коричневых чулках и невысоких сапожках. Донка отошла к штабелям кирпича, к бухтам тросов, к бревнам, уложенным у стены, на которой кто-то написал кривыми буквами: «Где же наша столовая, а?» Иван словно видел, как она остановилась там, под лестницей, а над ней — в отверстии напротив,— как пауки, ползли по арматуре монтажники из третьей бригады.

Безмолвно, тяжело дыша, стоял Иван внутри своей печи. Что теперь делать, что? Замуроваться бы наглухо, так же как три года назад он замуровал в этих печах всю свою жизнь. Но сейчас его печь трещала по всем швам, падали кирпичи, разваливались стены и наконец с грохотом обрушились на него. Остался только огонь, и его позор, и бесстыдные его сны, и томительное влечение к этой женщине, которое по вечерам он так яростно изничтожал вместе с пылью чужих ботинок. Иван прикурил от этого огня еще одну сигарету и, охваченный пламенем, долго еще стоял, ждал, пока стихнет грохот, погаснут последние разбушевавшиеся искры, заглохнут в пепле шаги, растает видение. Видение могло и растаять, но Донка была тут, за стеной, и он отчетливо слышал, как постукивают по гулкому бетону ее каблучки: тук-тук... тук-тук... тук-тук...

Тогда он тоже, еще не видя ее, услышал стук каблучков по вымощенной плитами дорожке. Иван выпрямился — он в это время укутывал на зиму ягодники, первые заморозки уже давали себя знать,— сквозь голые ветви яблони и подпирающие их жерди он увидел за-

кутанную в шаль женскую голову. Иван оставил работу — надо было подать Донке руку, черную от садовой земли. И он ее протянул.

Донку привел откуда-то младший брат Петр. Свадьбу сыграли как положено. Боровок весил, верно, не меньше двухсот килограммов, индейки налились жиром, да и вино после жаркого лета рано перебродило, бочка трещала. Пили три дня. Весь старый дом — с лестницей и галереей — шатался от тяжкой поступи, гости входили и выходили, тащили в комнаты грязь и снег, двор был истоптан и изрыт, словно по нему прошлось стадо диких свиней. Отец, много лет назад потерявший в шахте ногу и еще не привыкший к протезу, пил больше всех. Мать, с побелевшими губами и лицом, напоминающим покрытую пылью икону, молчала, сложив под передником руки. Вконец замотанный Иван, еле держась на ногах, кувшин за кувшином носил пенное вино, наливал и не сердился, когда его поддразнивали, что, мол, Петр перебежал ему дорогу, раньше старшего брата привел жену, да еще какую. Пьяные веселые мужики толпились вокруг Ивана, вытаптывая огород и те самые ягодники, которые он пытался спасти от заморозков. Музыканты, обессилев, засыпали над гайдами[1], но хоровод не останавливался. Вереница танцующих кружила по грязному, изрытому людскими ногами двору, разносила грязь и снег по плитам дорожки, по деревянным ступеням, по дощатому настилу галереи, а мать смотрела на все это, как икона, не вздыхая и не радуясь. За всю свою жизнь она, верно, проронила не более двадцати слов. Петр, выбритый до красноты, в черном, купленном в магазине костюме, сновал среди гостей, бил себя по закапанной вином белой рубашке, по зеленому, на резинке, галстуку и, потряхивая пышным русым чубом, без конца рассказывал, какую всем на удивление нашел он себе жену. Брачную ночь молодые провели наверху, в горнице, но это уже было на второй день, а пока шипело на сковородке мясо, в большом котле бурлила жирная похлебка, заправленная горчайшим перцем, и вино словно стало другим — с горчинкой. Горько, горько! — кричал отец, колотя палкой по деревянному протезу, затем, удовлетворенный очередным поцелуем молодых, заливался слезами и сердился на Ивана, почему тот не дает ему вина, чтоб выпить в память того дня, когда на шахте случилась авария.

А Донка, вся в белом (длинное, обшитое кружевами платье от подола до ворота было облеплено пятерками, десятками и двадцатками), словно окаменев, сидела на лавке. Время от времени она словно оттаивала и вдруг заливалась смехом — гортанным, пьянящим, заразительным. И опять вспыхивало угасшее было веселье, с новой силой гудели гайды, рвались в пляс гости. Мать опять ныряла в погреб за новым куском свиной вырезки и опять ставила на огонь сковороду. Хоровод кружился все тяжелее, все горше. Горько, горько! — кричал отец и стучал палкой по протезу. Петух, полузадушенный ожерельем из кукурузных зерен, хлопал огненно-красными крыльями и непрестанно кукарекал, уже не разбирая ни дня, ни ночи. Бай Петко, бригадир механизаторов, посаженый отец молодых и самый что ни на есть здешний выпивоха, возглавлял хоровод, высоко, словно знамя, поднимая палку с привязанным к ней петухом. Горько, горько!..

Миновала зима. Подул южный ветер, растопил лед и снег и открыл дорогу засухе, которая своей горячей метлой быстро уничтожила влажные следы зимы, вымела огороды, пашни. Хлеба горели. Петр монтировал новые дождевальные установки, целыми днями торчал у насосной станции, прокладывая трубы. Иван, по уши вымазанный соляркой и пылью, не покладая рук работал на тракторе, потом на комбайне, ремонтировал машины. Осенью, с первыми опавшими листьями Петра проводили в армию. Неповоротливый и неловкий — он все еще продолжал расти, и костюм стал ему тесен,— Петр важно выпя-

[1] Вид волынки.

чивал грудь, прощаясь со всеми. Покачивались заткнутые за ухо цветы, длинный русый чуб давно уже просился под армейскую машинку. Уехал Петр, сгнили опавшие листья, и на дом навалилась тишина (странно, как быстро в сельских домах стихают и свадебные песни, и похоронный плач)— тишина, нарушаемая только криками отца, когда вечерами тот пьяным возвращался домой.

Старик наконец привык к протезу и все повторял, что второй раз научился ходить. Иван помогал ему пристегнуть протез к затвердевшей культе. Ты, Иван, бормотал старик, меня не кори. Отработал я свое, а что пью, так это я пенсию свою пропиваю, ногу свою отрезанную, ясно тебе? Иван молчал — весь в мать, он не любил говорить, любил работать и потому только негромко отвечал: никто не корит тебя, отец. И все. Старуха, икона в рамке, даже не вздыхала. Ее немигающие, всевидящие глаза лишь изредка темнели, когда невестка начинала ерепениться по пустякам. Донка работала в теплице. Вернется вечером, вымоется (каждые два дня в баню бегала), переоденется и за книгу. Лишь за столом, бывало, скажет: ничего-то вы не читаете, не знаете, что делается на свете. Отец только пробурчит в ответ: читай, читай, невестушка, мы свое отчитали. А свет — что ему делается, он не то что некоторые, он на двух ногах ходит, нечего о нем беспокоиться. И опять за свое: ну-ка, Иван, отверни краник, проверь, не рассохся ли у нас бочонок. А как напьется, давай рассказывать о шахте, о бригаде, о памятной той аварии.

Иван уходил из дома, бродил по полям. Иногда брал старое отцовское ружье, шел на охоту, не испытывая особого желания убивать — пальнет раза два в пустое серое небо, вспугнет сорок и вернется. А Донка, когда ей надоест читать, так и вертится вокруг него — братец то, братец се. То за руку тронет, то засмеется гортанно, то в глаза ему взглядом вопьется. Не было у Ивана сестры, потому и не мог он смотреть на Донку как на сестру. Просто не обращал на нее внимания, знал от отца, что женщины — дело пустое, а глядя на мать, привык считать их святыми.

Однажды Донка пришла с работы, отряхнула шаль на пороге и сразу же: своди меня в кино, братец, фильм сегодня уж очень хороший. Старая промолчала, а отец буркнул: своди, своди, пусть хоть на один вечер оторвется от своих книг да от телевизора. Мать вынула из-под передника иссохшую руку, почесала тонкий, с горбинкой нос. Отвел Иван братнину жену в клуб. В зале грызли семечки, мальчишки вслух обсуждали картину и громко смеялись. Донка возмущалась: вот серость, ничего не понимают ни в любви, ни в культуре. Фильм рассказывал о какой-то девушке, заблудившейся на скалистом острове. Спутники искали ее повсюду, шел дождь, потом разразилась гроза, ночь они провели в прилепившейся к скалам рыбацкой хижине, утром снова отправились на поиски, но все было напрасно. Донка в волнении прижалась к плечу деверя, просунула руку ему под локоть. Иван оставался холодным, как камень, но внутри у него все напряглось, он уже не видел, что происходило на экране, и с нетерпением ожидал конца фильма. Когда зажегся свет и они вышли на улицу, Донка смахнула слезинку, рассмеялась, потом взяла его под руку — скользко, мол, а у нее сапожки на резине — и не умолкала до самого дома. Нравится ей Иван, серьезный такой, молчаливый, знает свое дело и вообще настоящий мужчина, это уж точно. Он молчал и от смущения судорожно пытался сглотнуть пересохшую слюну.

Иван считал Донку пустой, ветреной бабенкой и старался найти ей оправдание — молода еще, кровь кипит, муж в армии, а жить-то хочется.

Впрочем, придраться было не к чему — работает женщина в теплице, не шатается бог знает где, домой приходит вовремя. Донка часто писала Петру, вязала ему теплые носки и перчатки, отправляла посылки и печенье пекла сама, по-городскому — оранжевое, хрустя-

щее. Все деньги переводила Петру. Он тоже часто писал откуда-то с южной границы. Судя по снимкам, он еще больше похудел, вытянулся, отпустил редкие светлые усики. Вместо чуба на бритой голове торчала высокая пилотка, таращились круглые, подретушированные фотографом глаза.

Однажды Иван проснулся среди ночи и обмер: на кровати сидела Донка и дергала его за рукав.

— Братец! Братец!

— Что случилось? — рванулся он и хотел было вскочить, но Донка, дрожа, крепко вцепилась в его руку.

— Ничего, братец, ничего, ничего,— шептала она словно в бреду,— испугалась я, снилось мне что-то, ох как страшно, братец... Я только посижу у тебя немного...

Ивана обожгло ее дыхание, горячее, пахнущее яблоками. Он все еще не мог понять, что случилось, сердце бешено колотилось. Внезапно его охватил страх, он увидел ее глаза — темные, искрящиеся. Попытался освободиться, встать. Старики спали внизу, в кухне, храп отца напоминал звук работающей пилы, но Донка не отпускала — он и не знал, что она такая сильная,— прижималась к нему. Вдруг Иван с ужасом осознал, что держит ее в объятиях. Донка спрятала голову у него на груди — на улице бушевал ветер, хлопало на чердаке окно,— Иван почувствовал прикосновение нежных щек, ледяные руки судорожно шарили у него за спиной. Вдруг она резко откинулась, тонкий шелестящий халатик, распахнувшись, открыл белую полную грудь. Иван закрыл глаза, сердце билось частыми, тупыми ударами. Что ты делаешь? — хотел крикнуть он, но не смог произнести ни звука.

Рванувшись, он ударился спиной о гвоздь, которым был прибит коврик. То ли от боли, то ли повинуясь последним усилиям слабеющей воли, он поднял руку — ударить — и тут же беспомощно уронил ее, не смея коснуться этих рассыпавшихся волос, этих оголенных плеч. С трудом прошипел:

— Уходи! Иди спать!

И тогда она заплакала. Опустила голову, лицо ее скрылось за светлыми волнами волос, упавшими к нему на колени. Иван, растерявшись, молчал, он не знал, что сказать, что сделать, и это его погубило. Вдруг она подняла голову — ни слез, ни боли, ни страдания не было на ее лице, одно желание. Сверкнули зубы, влажные, ровные под раскрытыми, похожими на половинки яблока губами, ее расширившиеся глаза приковали Ивана к стене. Она вскинула на кровать ноги, прижалась к нему, халатик соскользнул на пол. Словно яркая лампа вдруг вспыхнула в темной комнате. Иван качнулся и полетел в белую бездну.

Когда он пришел в себя, Донки не было. Босой, он вышел в коридор и прямо перед собой увидел икону в рамке, с руками, спрятанными под передник. Мать видела все. Иван вернулся к себе, торопливо оделся, собрал вещи. Еще не рассвело, когда он выпрыгнул из окна и бросился к первому автобусу. Уехал, никому не дав знать о себе.

С тех пор прошло больше трех лет. Иван не стал ни трактористом, ни бульдозеристом, хотя имел и права, и свидетельства — не хотел работать у всех на виду. Укрылся от мира за стенами печей, за их огнеупорными кирпичами, чтобы никто не нашел, чтобы уйти от всех и, главное, от самого себя. И все-таки она его отыскала. Сигарета обожгла губы. Иван выплюнул ее, растоптал, полез наружу. Как же у него чесались руки! Вот влепит ей хорошенько прямо здесь, на площадке, потом спустит с лестницы и еще добавит. Иван выпрямился, в голову ударила кровь, руки налились тяжестью, а Донка уже рванулась ему навстречу:

— Братец!

Она не упала, только пошатнулась. Одной рукой подняла сумочку, другой схватилась за щеку. Золотисто-карие глаза тянули его к себе, еще темные, уже радостно-просветленные. Иван чувствовал, как он тонет сначала в их ярости, потом в удивлении, радости и, наконец, в их ликующей улыбке. Его поднятая рука медленно опустилась.

На площадке они были одни. Бетонщики работали в самом низу, высоко наверху сновали по арматуре монтажники, висел на перекладине сварщик. Рычали буксующие в грязи бетоновозы, желтый кран, двигая стрелой, надвое рассекал серое, тяжелое небо. Борясь с неожиданно охватившим его безумным желанием обнять эту женщину, Иван беспомощно опустился на лебедку. Донка мелкими шажками, на цыпочках подошла к нему и села рядом. Колени ее округлились, петли коричневых чулок натянулись, под ними искорками загорелась золотисто-белая кожа. Донка опустила голову, светлые пряди скользнули по его подбородку, весенней бабочкой мелькнуло перед глазами ухо, прозрачное, бледно-розовое, с нежными голубыми жилками.

— Бей меня сколько хочешь,— заговорила она, прерывисто дыша,— главное, ты нашелся. Кого я только не спрашивала, куда не ходила, всюду одно и то же — нет у нас Ивана Рафаилова, и все, нет... — Она засмеялась своим гортанным смехом, он не верил больше ни плачу ее, ни смеху, но впитывал его каждой своей клеточкой.— Я даже в Бобов-Дол ездила тебя искать, того, кто мне про тебя сказал на станции Синдел, там уже не было... — Он ничего не понимал, но слушал и верил.— Совсем меня запутали, но я знала: здесь я тебя найду, и вот наконец...

— Где Петр? — с последним глотком воздуха выдохнул Иван.

Донка подняла голову. Залитое светом лицо оказалось у самых его глаз. Полуоткрыв рот с белыми влажными зубами, она облизала губы кончиком ярко-красного языка.

— Петр! — неестественно засмеявшись, бросила она.— Что о нем говорить?

— Где Петр, я спрашиваю? — повысил голос Иван.

Сейчас воздуха было так много, что он задыхался, кулаки его вновь налились тяжестью. Донка расстегнула верхнюю пуговицу пальто, раздвинула бежевый меховой воротничок, словно ей тоже внезапно стало душно.

— Я ушла от него,— сухо проговорила она, и глаза ее сузились.— Дождалась, пока он вернулся, и сказала...

— Что сказала?

— Да нет, не про то... — Она горько засмеялась, потом устремила внезапно похолодевший взгляд в его глаза.— Сказала, что мы оба ошиблись, что я не про него, а он не про меня, вот что я ему сказала.— Донка сплела пальцы, затрещали суставы.— Я думала, прибьет, а он заплакал. Смягчилась я, что было делать. Пожили так месяц, другой, но ведь разбитое да склеенное целым не сделаешь. Песенка была спета, а наша с ним вроде и не начиналась... Мать твоя молчала, молчала, а потом отвела в сторону и говорит: послушай, невестка, ступай-ка ты, откуда пришла! И все. Собрала я вещички... Все оставила, взяла только шаль, что ты мне подарил на свадьбу.

Иван молчал.

— Потом его женили... На Генке,— продолжала Донка с иронией, с какой все женщины, и любившие и не любившие своих бывших мужей, говорят об их новых женах.— Помнишь, была такая в медпункте? — И, помолчав, сухо добавила: — Вот так!

С верхней площадки донесся грохот, словно ударил колокол. Это начали монтировать свод печи. Только теперь Иван заметил, что кран подъехал совсем близко, его желтый железный ствол высился уже у самой площадки.

— С Петром нас развели по взаимному желанию, вопрос о вине даже не ставился.— Она подождала, пока Иван закурит и затянется.— Потом я... я стала официанткой. Сменила немало мест и городов, но все — в системе Балкантуриста. Сейчас я в Варне.— Она гордо выпрямилась, осмотрелась и остановила взгляд на его плече.— Ты знаешь, я ничего не боюсь. До приезда к вам в село я была санитаркой, судна подкладывала больным, трупы таскала, трактористкой работала и на химизации тоже. Тепличное дело освоила, научилась огурцы зимой выращивать... Многое видела я, бра... — Она остановилась, не посмела назвать его, как прежде, «братец».— А сейчас учу английский, хожу в вечернюю школу, скоро аттестат получу, осталось сдать только химию и физику. Как видишь...

Ничего он не видел, Иван Рафаилов, ни ее, ни почти забытого брата, с красным лицом, русым чубом, с цветком за ухом, как перед уходом в армию, или бледного, как на солдатских снимках — подретушированного, со светлыми усиками и бритой головой под высокой пилоткой, ни лица матери, всевидящей иконы, ни тяжелого взгляда отца, отрезанного, словно его нога, навсегда.

— И теперь... чего ты хочешь? — хрипло спросил он.

— Ничего,— засмеялась Донка.— Искала тебя и нашла. Что мне еще надо?

— Ничего ты не нашла! — рявкнул Иван Рафаилов.

Он встал опустошенный, полый, словно печь, которую он облицовывал огнеупорным кирпичом.

— Ничего, ничего ты не нашла,— повторил он, потом вдруг сник, голос его тоже словно бы съежился, как листок, упавший на горячий уголь.

— А сейчас иди, работать нужно...

Донка стояла рядом с ним, от ее волос пахло духами и снегом. Привычным движением одернув полы пальто, она застегнула воротник.

— Никуда твоя печь не денется,— сказала Донка, легко наклонив голову, словно это была чаша весов, на которую всей своей тяжестью навалился Иван Рафаилов.— Вот что, бра... вот что, Иван, всякое я повидала на свете, ничего не боюсь. И ждать я тоже научилась. Никуда ты от меня теперь не денешься. В Ливию уедешь или в Коми валить деревья — и я за тобой. Так что не буду сейчас отнимать у тебя время, да и мне надо успеть на автобус.— Она отогнула рукав и взглянула на часы, а Иван Рафаилов — на ее молочно-белую руку.— Когда решишь, милости просим, ресторан «Севастополь». Зимой я в городе, летом — на Золотых Песках. Сколько бы людей ни было, для тебя место всегда найдется. А не придешь ты ко мне — приду сама, приду и уведу к себе. Слышишь?

Иван Рафаилов не ответил, отвернулся. Словно в храме, опустился на колени перед отверстием печи, полез внутрь.

■

Говорят, что существует два вида настоящей любви. Одной, чтобы она стала настоящей, непременно нужны какие-нибудь препятствия, а другой — она-то и есть самая настоящая — никакие препятствия не нужны. Есть, говорят, любовь, которая разгорается от разлуки, от невозможности быть вместе или от воображения, которое дальше всего уводит от истинной сути вещей, а порой, как это ни странно, как раз и является самой их сутью. Говорят, когда вообразишь себе что-нибудь, например, что твой возлюбленный самый красивый, самый добрый, самый смелый, самый-самый-самый, то уже никакого значения не имеет, таков он в действительности или нет. И еще говорят, что любовь — это вера, которую ничто не может победить. Разумеется, все это было не больше чем девичьи разговоры и догадки, которые заполняли вечера в общежитии, и сама Димитричка тоже

об этом размышляла, как каждая молодая девушка, которая еще не знает любви. Но это было раньше, потому что о любви больше всего думает тот, кто одинок.

Сейчас любовь пришла к ней, как весна. Пришла внезапно, растопила снега, согрела оцепеневшую от стужи землю, пробудила дремавшие в ней семена. У Димитрички не было времени остановиться, оглядеться, понять, что с ней происходит, хотя непрерывно, днем и ночью, мучила она себя вопросами, удивляясь самым простым, ранее не замечаемым ею вещам. Димитричка вдруг поняла, что с самого рождения, еще глухая и слепая ко всему миру, она была предназначена Григору Манчеву, а он родился, учился видеть и ходить, рос, служил в армии только для того, чтобы встретиться с ней в Низине, куда и ей суждено было приехать, оставив ради этого свое село, и мать, и отца, и подруг по звену, и работу в телятнике. Значит, оба они до сих пор всю свою жизнь стремились к Низине, чтобы найти друг друга. Девушки в общежитии немного сторонились Димитрички, как сторонятся недужных и несчастных, а больше всего — счастливых. Одно только ее присутствие словно бы освещало старательно оберегаемые уголки их каждодневной жизни, в которых таились свидания, романы, знакомства и разлуки, но не было той единственной, простой, священной и сладостной любви.

Димитричка как в забытьи сидела у себя на кровати, не видя и не слыша ничего вокруг — хорошего и плохого, уродливого и красивого,— и каждой клеточкой своего тела ощущала счастье, которое называлось «Григор Манчев». Во сне она заново переживала каждое его прикосновение, каждый взгляд, и эти ночные грезы не оставляли ее и днем, в залитой солнечным светом, оглашаемой шумом и грохотом Низине.

Вечером, прижавшись к Григору, она отыскивала в небе Низины только им двоим принадлежащие звезды. Никогда раньше девушка не видела так много и таких ярких звезд. И звезды, и все на свете сейчас принадлежало им.

— Что такое счастье? — спрашивала она Григора.

— Не знаю,— отвечал он.— Странно как, Димитричка, вот мы сидим с тобой, разговариваем, а мне все кажется, что я — это не только я, но и ты.

— И я чувствую то же,— встрепенувшись, вторила Димитричка.— Как будто я — не только я, но и я и ты сразу.

Закрыв глаза, прижимались они друг к другу, и там, в темноте или свете, где оба они превращались в единое существо, Димитричка шепотом спрашивала:

— Лучше всего, когда закроешь глаза. А тебе?

— И мне,— раздавался его голос так, словно это отвечала она сама.— Стоит мне закрыть глаза, и я забываю, что я — это я.

— Я тоже, Григор Манчев. Но как это может быть?

— Ты что-нибудь сейчас видишь?

— Тебя. А ты?

— А я тебя.

— Но как это может быть, Григор Манчев? Тебе не страшно?

— Страшно.

— Отчего?

— Не знаю. А тебе?

— Мне тоже страшно, только не знаю отчего...

Кто из них говорил, кто спрашивал, кто отвечал? Неизвестно. Они открывали глаза, и действительность ставила все на свои места. Надвое разрывалось единое существо, в которое они только что сливались,— теперь они уже понимали, кто спрашивает и кто отвечает.

А между тем это единое существо понемногу начало осознавать себя, понимать, что оно живет и дышит. Это случалось не только во

время работы и не только когда Димитричка и Григор Манчев искали уединения, чтобы помолчать или поговорить о себе, как это делают все влюбленные.

Это случалось, когда они после работы наконец-то оставались одни, забивались в какой-нибудь уголок и сидели обнявшись, а сторожа, чтобы не смущать, на цыпочках обходили их стороной. Разумеется, ничего этого они не знали. Не знали, что, когда они в своей скромной рабочей одежде проходят мимо бараков, люди замолкают и провожают их взглядами, в которых есть все, что только может быть в человеческом взгляде при виде влюбленных: радость, умиление, восхищение, зависть, насмешка, преклонение, грусть, злоба и даже ненависть.

Это случалось и на комсомольских собраниях, когда они, сидя рядом, держались за руки. Другие выступали, обсуждали вопросы дисциплины, охраны труда, текучесть кадров или небрежное обращение с техникой, а Григор Манчев и Димитричка молчали. Молчали, потому что не могли заставить себя разжать руки, чтобы поднять их и попросить слова.

Так было и на работе, когда Димитричка была в кабине крана КБ-300, а Григор Манчев висел на какой-нибудь конструкции. И тогда Димитричке казалось, что он ведет сварку ее руками, а ему — что это он командует стрелой и поднимает в воздух панели, трубы и аппараты. И все это происходило, быть может, потому, что они больше не были заняты, как прежде, только своей работой, а сваривали, поднимали и устанавливали, монтировали и закрепляли на фундаменте еще и свою любовь. Это она зажигала огонь его сварочного аппарата, чье сияние освещало могучий ствол крана КБ-300, который теперь уже был не просто краном, значившимся под таким-то номером, а чудодеревом, чьи железные плоды словно вдыхали жизнь в мертвую технику, в лишенный еще души цех, заставляли биться пульс самой обычной технологической линии, которая будет производить столько-то и столько-то тонн фосфорной и серной кислоты в год.

Это случалось и на праздновании чьего-нибудь дня рождения или именин, в ее или его общежитии, на квартире или в ресторане — и даже в толпе товарищей они ощущали себя единым существом, которое до их встречи так жестоко разделяла неумолимая и безнравственная природа.

Это случалось, даже когда они писали письма матерям, письма, в которых оказывались одни и те же слова, потому что их свет и тепло шли из одного источника. Мать Димитрички по-прежнему просила рассказывать ей о Низине и не замечала, что в последних письмах дочери очертания стройки значительно изменились. Теперь это была совершенно другая картина, полная движения и запахов, границы ее значительно раздвинулись и вширь и ввысь, а в описаниях угадывалась свойственная Григору Манчеву жажда высоты, бесконечности и полета; в его же письмах, раньше так неразрывно связанных с высотой, бесконечностью и полетом, теперь чувствовалась близость земли, ее соки, ее скрытая сила, конкретность и осязаемость каждого предмета, каждой колонны, каждого куба арматуры, каждого ведра бетона, толщина проводов, диаметры труб — все те обладающие весом и земным смыслом вещи, с помощью которых росла стройка, предназначенная для того, чтобы производить особо сложные минеральные удобрения, кальцинированную соду — и любовь... Матери не знали друг друга. Одна жила в Ботевградских горах, другая — в равнинном селе близ Шумена. Ничего не знали они и о своих детях, хотя матерям известно все, даже когда они ничего не знают, и потому, быть может, каждая из них чувствовала смутную потребность обменяться с другой полученными письмами или соединить их не столько затем, чтобы представить себе картину гигантской стройки, сколько для того, чтобы понять слившуюся воедино судьбу своих детей.

Это случалось и во время редких, но волнующих праздников-митингов, посвященных болгаро-советской дружбе или приезду делегаций. Так было, когда на стройку приехали советские космонавты, и Димитричка с Григором Манчевым, как всегда рука об руку, стояли в многотысячной толпе рабочих, радуясь и гордясь честью, которую оказали им посланцы неба, и в то же время словно бы проносясь над планетой в своем собственном космическом корабле, не имеющем ни определенной орбиты, ни апогея, ни перигея, ни заранее предусмотренных сроков и задач в космосе любви. Так было и в тот день, когда к причалу нового порта пришвартовалось первое судно, с которым в Низину пришло не только сырье для новых заводов — четырнадцать тонн мурманского апатита,— но и море, которое люди заставили углубиться в сушу на двадцать два километра, их собственное, Димитрички и Григора Манчева, море. И никто из присутствовавших на этом скромном и волнующем торжестве не знал, что все время, пока швартовался корабль, пока гремело «ура» и произносились захлестываемые метелью краткие речи, двое рабочих, юноша и девушка, слушали одними ушами, смотрели одними глазами, потому что в их сплетенных руках, размыкавшихся только для аплодисментов, бился один пульс, превращавший рядовой факт строительства в чудесное, неповторимое событие.

И стало так, что, увидев их вместе, люди Низины уже не удивлялись, а только шептали:

— Вот они! Идут!

Не было на стройке человека, который, встречаясь с ними, не оборачивался бы им вслед. Все понимали, что с ними происходит.

— Вот они!

Только Григор Манчев и Димитричка не знали об этом. Они шли рядом, обнявшись или взявшись за руки, и здоровались со встречными, знакомыми и незнакомыми, или не здоровались, потому что в этот момент не замечали никого вокруг. Они заходили в бытовки, пили из кранов, торчащих среди бетона и металла, кирпичей и панелей. И этой водой, известковой и довольно безвкусной, утоляли и не могли утолить свою жажду. Они уже проводили вместе целые дни и расставались только вечером или, вернее, поздно ночью, без конца провожая друг друга. К счастью, их общежития были недалеко одно от другого, но, к несчастью, это все-таки были разные общежития. Димитричка провожала Григора Манчева, потом он ее, не чувствуя усталости, забыв о времени. Наконец, с трудом оторвав слившиеся в поцелуе губы, они расходились, укладывались каждый в свою постель, чтобы опять слиться в одно и видеть одни и те же сны. День для них начинался не с рассвета, не с восхода солнца, а со взглядов, которыми они обменивались под стрелой ее крана или на его рабочей площадке.

Разумеется, все эти вещи каждый видит по-своему. Говорят, есть два вида настоящей любви. Одной непременно нужны непреодолимые препятствия, другая обходится без них. Вот эта-то, говорят, и есть самая настоящая.

— Не знаю,— говорила Димитричка, сидя рядом с Григором Манчевым на куче замерзшей земли и совсем не чувствуя холода,— ничего я не понимаю, Григор Манчев.

— И я. Тебе не холодно, Димитричка?

— Нет, Григор Манчев. Рядом с тобой мне не холодно. Придвинься ближе.

— И ты тоже, Димитричка. Знаешь, сегодня я опять думал о том, как мало мы еще видели на этом свете... Подумать только, мир так велик, а мы еще нигде не были.

— Ведь мы же поедем летом?

— Поедем. Локомотив обещал путевку.

— Здорово! — Димитричка чуть не всплеснула руками, но ей не хотелось отрываться от Григора Манчева.— И мы увидим Средиземное море, Турцию, Африку, правда?

— Все увидим. Я уже знаю маршрут. Рассказать?

— Расскажи, Григор Манчев.

Он перечислил ей порты и острова, которые они посетят, и оба представляли себе, как они сойдут на неведомый берег и станут фотографировать все вокруг — на память. Нет, не на память о чужих землях, а о том, как на чужих землях они были вместе, как стояли, обнявшись, под какой-нибудь пальмой, на фоне какого-нибудь невиданного заката или рассвета. Ведь можно будет попросить любого прохожего, чтоб он задержался на минутку и щелкнул их вот тут — только кнопку нажать.

— А я себе сошью новое платье. Угадай какое?

— Белое.

— Как ты догадался? Все-то ты знаешь, Григор Манчев!

— Ничего я не знаю. Просто я думал, белое тебе пойдет больше всего.

— Да. И белые туфли себе куплю. И белую шляпку.— Она засмеялась, и он тоже.— Можешь надо мной смеяться, Григор Манчев, но я ни разу в жизни не надевала шляпы. Правда, смешно?

— Что ж тут смешного? Тебе все к лицу.

— Все? — Она искоса взглянула на него.— Слушай, Григор Манчев, тебе придется подстричься, когда мы поедем. Я хочу, чтобы ты был причесан как следует, не такой лохматый, как сейчас.— Димитричка отстранилась от него и всплеснула руками.— Ох, Григор Манчев, какая же я глупая!

— Почему?

— Потому что говорю глупости. Не стригись, не хочу, чтобы ты был причесанным. Хочу, чтоб ты был таким.

— Каким?

— Как сейчас.

— А какой я сейчас?

Димитричка, застыдившись, опустила глаза. Привыкшая говорить самые простые и обычные слова, она испугалась и побледнела, потому что ей показалось, что сейчас она должна произнести нечто большое и необыкновенное. И она тихо сказала:

— Мой.

Димитричка не могла дождаться обеденного перерыва. Медленно тянулись минуты. Будем мы наконец сегодня работать? — сердилась она. Сидят, покуривают, а я виси тут и жди. Димитричка еще раз потрогала колечко, которое подарил ей Григор Манчев. Ничего особенного, сказал он ей, говорят, правда, на четырнадцать каратов.

— Налезет оно тебе на палец, Димитричка?

— Видишь, как раз! Но так ведь нельзя, Григор Манчев.

— Как?

— Да покупать, не смерив палец. Спасибо тебе!

— Большое дело, подумаешь, какое-то колечко. А камень, сказали мне, настоящий. Рубин.

— Очень красивый. Наверно, настоящий. Потратился ты на меня...

Григор Манчев промолчал. У бытовки уже собирались рабочие, натягивали кожаные рукавицы, пристегивали предохранительные пояса. С каской в руках Панка пробрался к Локомотиву. Димитричка молчала. Целую ночь проговорила она во сне с Григором Манчевым, и он говорил с ней, а сейчас, когда все смотрели на них, все слова забылись, да и кран ждал ее. А как ей хотелось рассказать, что видела она во сне Григора Манчева верхом на коне. Конь все рос и рос, и она хотела достать его стрелой, а Григор Манчев смеялся ей сверху,

а грива у коня вилась по ветру, не грива, а струи дыма — красные, голубые, желтые. Кабина оторвалась от крана, полетела вверх к зовущей ее руке Григора Манчева. Подожди! — крикнула Димитричка, а Григор Манчев улыбался и кричал в ответ что-то непонятное.

— Я сегодня тебя во сне видела, Григор Манчев.

— А я тебя. Только я снов никогда не помню.

— Хороший сон или плохой?

— Не помню, кажется хороший. Ты мне, Димитричка, всегда в хороших снах снишься, только странно, ничего потом не могу вспомнить — будто кто губкой сны стирает.

— А я все помню. Вот сегодня ночью мне снилось... Тебя зовут, Григор Манчев, ступай. Спущусь на обед, все тебе расскажу.

— Хорошо, Димитричка, в обед расскажешь. До чего же мне хочется как раз сейчас постоять с тобой еще немного.

— И мне. Как раз сейчас. Почему это у нас так всегда получается?

— Не знаю. Я и на работе все время о тебе думаю.

— И я, Григор Манчев. Почему это?..

Его опять окликнули. Прилипли друг к другу, не оторвешь! — бросил кто-то. Григор отпустил ее руку, и вот уже оба бегут — он с каской в руке к товарищам, она к лесенке крана, по-прежнему не упуская его из виду. Когда Григор Манчев показывался в пролетах этажей, Димитричка махала ему рукой и он махал в ответ. Оба они поднимались вверх, и не было никаких коней, никакой гривы из дыма — красного, голубого, желтого. Каждый день поднимались они так, а сегодня ей казалось, что это впервые. И все было словно впервые. Вчера вечером, когда они сидели в своем любимом уголке на самом верху лестницы строящегося молодежного клуба,— тоже было как в первый раз. Свет фонаря на шоссе не достигал их, и они могли досыта наговориться и нацеловаться.

Словно впервые поднялась она сегодня в кабину крана, погладила рычаги, пульт. Сквозь стекло увидела напротив Григора Манчева — залитого солнцем, в голубой, сливавшейся с небом каске. Он поднял руку. Димитричка махнула ему в ответ. Колечко сверкнуло — хорошо бы, чтоб он видел как.

Начался день. Словно впервые.

Старая женщина заглянула в распахнутую дощатую дверь. Внутри какой-то бородач закрашивал белой краской натянутое на рамку полотно.

— Вы меня? — спросил он.

Борода его тоже была испачкана белой краской.

— Еще чего! — ответила она.— Я сына ищу.— А про себя думала, поп это или не поп, но сейчас ведь и молодежь бороды носит. Вынула конверт и добавила: — Вот адрес, я тут совсем запуталась. С утра хожу, нигде его найти не могу.

Бородатый прочел имя, лицо его словно бы осветилось. Вытер грязные пальцы о черные вельветовые брюки и сказал:

— Он здесь, совсем близко. Я вас отведу.

Сейчас он покажется наверху. И вчера он был там, и сегодня полез туда же. На первом этаже машины были выкрашены в зеленый, на втором — в синий, а на самом верхнем — пока еще только суриком. Они вызывающе сверкали своими частями цвета спелого помидора. Вот показалась голова, сначала голубая каска, потом лицо, шея, плечи, словно человек рос из металла. Вот он уже виден до поясницы, блеснуло стальное кольцо предохранительного пояса. Каска сдвинута на затылок, вот он снял ее, будто шляпу, и поклонился. Он всегда кланялся ей, кончая работу, словно артист перед опустившимся зана-

весом в конце представления. Выпрямился, улыбнулся. Рука Димитрички замерла на затылке, на узле косынки. Звонок на перерыв уже прозвенел, рабочие спускались вниз, а Григор Манчев стоял наверху, прямой, залитый солнцем, весь в алых отблесках окрашенного суриком металла. Ну вот, опять начинает свои штуки. Прошел по тонкой качающейся перекладине, нет, не прошел, остановился посередине. Сердце ее сжалось. Сумасшедший, сумасшедший. И тогда у нее вот так же сжалось сердце, и сейчас — как в первый раз. Она погрозила ему через стекло кабины: Григор Манчев, ведь ты обещал, помнишь, что ты мне обещал? Помню, смеялся он, уже пройдя по перекладине. Нет, он не стал спускаться вниз, а выбрался на узкий карниз. Поднял руку, указывая ей на небо...

Уходи оттуда, Григор Манчев. Будет тебе с этим небом. Димитричка подняла голову — высоко над ней летела птица. Чайка или цапля, а может, аист, уж и аисты прилетели, только здесь их распугивает дым. Плавными, большими кругами птица уходила все выше, выше... И вдруг Димитричка перестала бояться, глубоко вздохнула, улыбнулась — какой он сильный, молодой, красивый, самый красивый в мире ее Григор Манчев. Сейчас уже оба они разговаривали жестами — он показывал в небо, разводил руки, словно хотел обхватить его целиком и отдать ей. Отдать вместе с ветром, высоко летящими облаками, исчезающей в солнечных лучах птицей и самим солнцем. И Димитричка у себя в кабине принимала все это, принимала, словно впервые...

Она не слышала крика, только увидела, как Григор Манчев полетел вниз, раскинув руки и ноги. Конь рванулся вверх, в гриве его запылали красные, голубые и желтые дымы, кабина крана полетела вниз и задрожала, замерев на упоре, а Димитричка уже выходила, задыхающаяся, ослепшая. Нащупала перила крутой железной лесенки и, минуя ступеньки, на одних руках, с обмякшими ногами соскочила с коня. Красные, голубые, желтые дымы опустились, окутали ее. Земля ударила по ее вытянутым рукам, ослепшая, задыхающаяся, она с воплем расталкивала сбегавшихся отовсюду людей, дергала их за стеганки и рубахи, локти и плечи, царапалась, кричала и, добравшись наконец до коня, огромного красного коня, рванулась к нему...

Жестокие, железные руки оттаскивали ее назад, она кричала, извивалась, но они не пускали ее, тянули прочь, вниз. Где-то взвыла сирена, человеческие лица распухли, расплылись, глаза и губы стали огромными, за ними исчезли и металл, и бетон, голоса и крики затоптали дым. Конь, словно проколотая шина, становился все меньше и меньше, и, когда она наконец вырвалась и бросилась к нему, на его месте осталось только расплывшееся по бетону темное пятно.

— Уберите ее! — кричал кто-то.

Девушку оттащили. И тут откуда-то выбежала старая женщина, сорвала брезент, которым уже накрыли темное красное пятно, исступленно закричала. Люди бросились к ней, хотели увести, но, встретив ее взгляд, внезапно отступили. Круг раздался, настала мертвая тишина. Сирена тоже умолкла.

Старая женщина сделала два-три шага, медленных, словно только училась ходить, и, так и не выпустив из рук дорожной сумки, упала на колени перед красным пятном, в котором можно было различить только голубую каску да раскинутые, словно тени, руки и ноги.

Вновь рванулся из тишины вой сирены, крики, шум колес, скрип тормозов. Доктор Паунов растолкал стоявших кружком людей и застыл, бессильно опустив руки, рядом со стоящей на коленях женщиной. Тут же стоял Локомотив, его голая бритая голова блестела на солнце.

Старуха с трудом поднялась с колен, губы у нее были стиснуты, глаза сухие.

Никогда не перестану я удивляться людям, хотя Главный сказал мне ясно: ты людям не удивляйся, а описывай их, и не литературно, а по-журналистски. Нам что нужно, сказал Главный, нужно снять скорлупу и показать ядро — здоровое оно или, может быть, гнилое. Вот что нам надо показывать — причем на одних только фактах, коротко и обязательно с анализом. Вот я и счищаю скорлупу изо всех сил, а он все недоволен.

Послал он тут меня на содовый завод, написать об одном из пяти кальцинаторов — этакое чудовище высотой в тридцать шесть метров и весом в сто двадцать тонн. Действительно, впечатляющая штука. Стоило посмотреть, как его монтировали ребята из бригады Бачо, как по нотам — до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до! — и готово. Сделал и я свою заметку как по нотам, отдал Главному, а тот — нет, говорит, в ней соли и перца, горсть бусинок, говорит, а не заметка. Все бусины в ладони, а связать их нечем. Сколько раз я говорил тебе об этом: бери хоть веревку, хоть простую нитку — неважно, важны бусины, но без связующей нити на шею их все равно не повесишь. А рассыплются бусины — потеряешь ориентацию. Какая тут ориентация, отвечаю, все факты описаны, такая-то бригада, столько-то человек, такая-то работа, за столько времени, к чему тут еще всякие нитки? Чтобы связать факты! — кричит он. Или я из тебя сделаю настоящего рабочего журналиста, или выгоню к чертям в город, в литературный кружок. Да я и так состою в литкружке, возражаю я, только не в городе, а здесь, в Низине. И кроме того, товарищ Главный, ты ведь сам мне говорил, что фактам не нужно ничего, кроме фактов. Помнишь, я еще спорил, говорил, что фактам нужны крылья, и ты за это чуть меня не уволил, а сейчас сам ведешь речь о каких-то бусинах, нитках и ожерельях.

Ах, крылья! — воскликнул он. Он, бывает, так воскликнет, что даже красными пятнами пойдет, словно не в газете работает, а с утра до вечера на пляже жарится, на Золотых Песках. Вон Григор Манчев тоже думал, что у него есть крылья, а сам о бетон шмякнулся. Тут я не утерпел и возразил, что Григор Манчев совсем другое дело и вообще незачем его могилу тревожить. Даже горло перехватило. Столько времени вся стройка была в трауре, хотя не было ни приспущенных знамен, ни траурных симфоний по радио, как в официальных случаях. Мы, кричу я ему в ответ, до сих пор в себя не можем прийти после этой смерти, а ты!.. Главный примолк — видимо, понял, что перебрал со сравнением. Ведь и он, как и все в Низине, вздыхал, встречая Григора Манчева с Димитричкой, как и все, чувствовал, что с ними происходит. Замолчал Главный, только рукой махнул (доброе у него все-таки сердце, хоть и кричит на меня), а я воспользовался моментом и сбежал.

А людям, как уже было сказано, я никогда не перестану удивляться, какой бы ни накопил опыт. О ком я только не писал, да и сейчас пишу, но разве в газетной заметке отразишь, что я о них передумал? А уж тем более это мое постоянное удивление, которое Главный вычеркивает особенно безжалостно. А то, бывает, и весь материал отправит в корзину. Так он обычно расправляется со всем, от чего, по его мнению, несет психологизмом или, как он любит выражаться, гнилой литературщиной. Не могу понять, почему пусть даже в коротенькой заметке не может быть художественности, тем более не выдуманной, не сочиненной, а, как говорит Йордан Краска, самой непосредственной. Вообще действительность обладает такой фантазией и подстраивает такие невероятные штуки, что в них и поверить-то невозможно, пока не увидишь своими глазами. А попробуй опиши их — тебе тут же заявят, что все это выдумки, и никому даже в голову не придет, что это не ты выдумал, а сама действительность.

Приведу пример. Не так давно на Низину опустился какой-то странный туман. За несколько минут вся стройка потеряла, как лю-

бит говорить Манол, внешний вид (правда, Манол при этом всегда добавляет что-нибудь о значении этого самого вида). Исчезли трубы, прилинговые башни, башенные краны, новые краны «кенгуру», работающие в порту, цехи, установки. Пропали из виду электроцентраль и старые заводы, землечерпалки, холмы, а об озере и говорить нечего. Даже стоявший у нового причала шведский пароход «Санта Мария», доставивший винилхлорид, и тот исчез, словно испарился, хотя его охраняла милиция. Скоро мы сами будем производить винилхлорид, но, пока он нам нужен, мы его ввозим, это одно из наиболее взрывчатых веществ на свете, поэтому его так и берегут. Значит, все утонуло в тумане, белом, густом, мокром, словно всю Низину закутали в сырую вату. Не Низина, а неведомая планета, бог знает как попавшая в чужую галактику, затерянную в глубинах космоса. Туман покрыл не только Низину, но и людей — и всем вдруг показалось, что эти гиганты химии, электростанции, канатные дороги, дробильно-сортировочные фабрики никогда не будут достроены. Вообще, когда что-нибудь скрывается из виду, очень легко забыть о том, что оно существует. Каждый застрял там, где его настиг туман, потому что идти наудачу, даже на ощупь значило врезаться в столб, наткнуться на какой-нибудь крюк или свалиться в канаву. Загудели сирены и клаксоны, вспыхнули лампы и прожекторы, да что толку — в таком тумане от самой сильной лампы света не больше чем на метр, да и то скорей по теплу его угадаешь, чем по свету. Настоящее бедствие, а не туман.

Я оказался где-то между цехами фосфорной и серной кислоты, самыми отстающими на комбинате. Наверное, нет в Низине человека, который, попав сюда, не испытал бы чувства глубокой тоски (может, это слово покажется вам чересчур пессимистичным или неточным, тогда извините, пусть будет, скажем, уныние) при виде этой почти не продвигающейся вперед стройки. А ведь сюда брошены все силы. Гаврилов не покидал площадки, выявлял узкие места, замминистра чуть не каждый второй день наезжали. Зарубежные фирмы задерживали поставки оборудования, наши тоже не все делали в срок — в общем, миллион неурядиц! А тут еще этот туман — перед самым пуском! Что, если он продержится две недели? Метеорологи предсказывали ясную, солнечную погоду, даже об облаках не упоминали — ни о высоких, ни о низких, ни о кучевых, ни о перистых. А когда им позвонили из Низины, страшно удивились. Какой туман? Невозможно! Как невозможно, товарищи, приезжайте, убедитесь. Да вы нас разыгрываете. Какие уж тут розыгрыши, приезжайте, сами увидите — в полуметре ничего не видно. Метеорологи обиделись. Мы, говорят, пользуемся самыми совершенными приборами, на уровне мировых стандартов, кому больше веры: технике или вам? Ну как ты им объяснишь? Никто меньше метеорологов не считается с действительностью, они только своим приборам верят. А туман все густел и густел, хоть ковшом его черпай — как молоко. Зазвонили телефоны, им, слава богу, туман не помеха, не то что дождь. Когда идут дожди, телефоны или вообще перестают работать, или работают так, что позвонишь, к примеру, на ТЭЦ, а тебе отвечает Бошнаков с первого участка, а то и ветлечебница в Провадии. Но в тот день все телефоны были в исправности и потрудились немало, только ведь нашу работу, строительную, одними телефонами не сдвинешь. Товарищ Пиперков, ведающий техникой безопасности, развил бешеную деятельность, да что толку, если он только и мог, что названивать во все концы с пятого машинного участка, где его застал туман. Ни пойти никуда, ни проверить, что делается на объектах. Тотчас был издан приказ прекратить всякую работу — кладку, штукатурку, арматуру, облицовку, не говоря уж о сварке, монтаже, транспорте и прочем. Стали рабочие спускаться с объектов, где ощупью, где ползком, один упал в шахту лифта и отдал бы богу душу, если б не заце-

пился за что-то ватником. Кричал он, кричал, пока кто-то не бросил ему веревку и не вытащил из шахты. Крановщицы остались в кабинах. А те люди, что были внизу, собирались вместе, по крайней мере те, кто мог пройти или проползти. Некоторым удалось найти дорожки, проходы и добраться до товарищей, но большинство осталось там, где их застал этот коварный туман. Нельзя сказать, что было холодно или там тепло. Просто казалось, что ты не на земле, а на какой-то другой планете, хотя каждый, где бы он ни был, слышал голос товарища Пиперкова, передававшего свои распоряжения. Начальник автоинспекции полковник Чомпаров поставил свой газик на середине шоссе и по громкоговорителю приказал своим людям остановить движение. По правде говоря, оно и так сразу остановилось, но громкоговоритель продолжал передавать приказы.

Представляете, какая получилась картина? Всех охватило уныние, словно туман убил не только трудовой энтузиазм, героизм и дерзновенность, как говорит Главный, но и просто всякую инициативу. По нужде сходить и то стало рискованно, потому что неизвестно, что тебя ждет в двух шагах — то ли голову разобьешь о какой-нибудь трактор, то ли в канаву свалишься, то ли нарвешься на провод высокого напряжения. Так вот, как я уже говорил, оказался я где-то между двумя цехами, недалеко от бытовок, а там, похоже, собралось уже немало народу. Прораб Илия Георгиев надрывался по телефону, бай Киро, партийный секретарь — он тоже тут был,— призывал к спокойствию и все повторял: только без паники, товарищи, без паники, бывало и хуже. Бывало, конечно, только таких страшных туманов никто из нас сроду не видывал. К тому же дело ведь было не только в строительстве, действующим заводам требовались и пар, и вода, и сырье, а известно, что, как бы ни был высок уровень автоматизации, любая техника без человека мертва. Никакая автоматика, никакие электронные устройства ничего не могут без человека. А если и тот становится беспомощным, как, например, в этом тумане, что тогда? Представляете, что может случиться?

И случилось. Заводы начали останавливаться один за другим. Подачу энергии прекратили, и правильно. В таком тумане трудно контролировать электричество, одно короткое замыкание — и вспыхнет пожар. Погасли прожекторы и фонари, лампочки в бытовках, но никто этого даже не заметил, потому что сквозь такой туман свет все равно не мог пробиться. Тут-то и началось. Телефоны надрываются — они-то на другом питании; мало того, установили посты, и, как двадцать пять веков назад, полетели по цепочке приказы, распоряжения, сообщения, кого-то искали, кого-то не находили. Без конца разыскивали, например, полковника Петрова, начальника стройбата, но никто так и не выяснил, куда он делся. Верно, цепочка где-нибудь прервалась — может, и на стройбатовцах, которые воспользовались случаем, чтоб отдохнуть или поспать, известно же, что у этих ребят из стройбата после еды главная забота — сон. Потом, видно выспавшись и отдохнув, они с большим энтузиазмом принялись искать и вызывать полковника Петрова, но тоже напрасно, полковник точно сквозь землю провалился. Вместо него в каком-то из звеньев цепочки отозвался старшина, прозванный Ладно-Хватит, и все узнали его не по голосу, а по излюбленной команде: «Ладно, хватит!» Непонятно было, относится ли это к стройбатовцам или к туману, да никто и не вдумывался. Старшина больше не подавал голоса, и о нем вскоре забыли.

Все мы чувствовали себя сиротками, заблудившимися в темном лесу, больше того — слепцами, узнающими друг друга лишь по голосам. Все выясняли, как кого зовут, из какой бригады, с какого пришел объекта. Впрочем, сказать «пришел» будет, пожалуй, преувеличением: ни объектов, ни направлений, ни расстояний определить было невозможно.

— Ты кто? — Ощупывает один у другого плечи, лицо и не узнает, хоть, может, целых пять лет проработал с ним в одной бригаде.

— Стоян Глухарь,— отвечает голос.

— Где работаешь?

— На «татре», шофером,— отвечает тот, кто назвал себя Стояном Глухарем, потому что это может оказаться и кто-нибудь другой.

— А где твоя «татра»?

— Да вон там,— отвечает голос, принадлежащий вроде бы Стояну Глухарю.

Но где именно «татра», понять невозможно, потому что сейчас «вон там» значит и всюду, и нигде. Молчит Стоян Глухарь или еще кто-то — ведь сейчас, назовись ты хоть самим Гавриловым, проверить невозможно: голос, как бы он ни был всем знаком, в нашем представлении неотделим от внешности человека, которому принадлежит.

Вот так все стояли и расспрашивали друг друга, и эти разговоры в тумане казались донельзя странными, в нормальных условиях было бы просто дико такое слышать. Сразу же появились пророки и ясновидцы (заметьте, ясновидцы обычно появляются именно тогда, когда ничего не видно), которые объявили, что туман будет стоять ровно три месяца и восемь дней. И как им только удалось вычислить это с такой точностью!

Сначала предсказание было встречено хохотом и насмешками, но потом, ближе к вечеру, когда люди как следует проголодались, три месяца и восемь дней превратились в шесть месяцев и тринадцать дней. Почему именно тринадцать? — неосторожно спросил кто-то, и тут же вспыхнула горячая дискуссия. Битый час спорили об этих тринадцати днях, хотя сейчас трудно было понять, сколько длится один час. Никто уже не веселился, не насмешничал. Некоторые стали говорить, что у них жены и дети и что нужно же что-то делать. Другие отвечали, что у них тоже жены и дети, и с раздражением добавляли, что начальство, если оно еще существует, должно непременно что-то предпринять.

Бай Киро, секретарь, или тот, кто выдавал себя за него, довольно резко возразил, что нечего спекулировать на тумане и пытаться ловить рыбку в мутной воде. Именно сейчас нужно показать, на что мы способны, а не заниматься ворожбой, распускать слухи, сеять панику и делать намеки сомнительного характера.

Наступило молчание — не знаю, можете ли вы себе представить, как выглядит молчание в тумане. Тут подал голос Бачо, его я сразу узнал: не то что туман, даже всемирный потоп не мог бы испортить настроения моему другу.

— Бай Киро! — крикнул он откуда-то сверху.

— Кто меня зовет? — спросил бай Киро.

— Это я, Бачо,— ответил тот.

А я подумал, хоть мы с Бачо и друзья, очень может быть, что этот голос тоже принадлежит кому-нибудь другому.

— Чего тебе, Бачо? Только объясни сначала, где ты?

— Тут.

— А точнее?

— На трубах.

— На эстакаде?

— Не знаю,— ответил Бачо и засмеялся. Конечно же, так смеяться мог только он.— Какое сейчас имеет значение, где я? Я хотел сказать тебе, бай Киро, не надо сердиться. Туман как пришел, так и уйдет. Туман — он и есть туман.

Все рассмеялись, несмотря на нервное напряжение, вызванное беспомощностью и голодом. И бай Киро тоже, если, конечно, это был он и я не спутал его голос с чьим-нибудь другим. Бай Киро стоял где-то справа от меня — нет, слева. Но что сейчас значило слева или

справа, как верно заметил Бачо? Не успел смолкнуть смех, откуда-то раздался тоненький женский голосок:

— Где ты, Бачо?

— Здесь. Кому я понадобился?

— Это я,— ответил женский голосок.— Кортеска, с почты. Пошла я тебя искать, а тут туман. Двенадцать писем тебе несу — три заказных, а одно с уведомлением о вручении. Надо, чтоб ты расписался. У меня и книга с собой. Слезай!

Снова раздался взрыв смеха. Не было в Низине человека, который не знал бы, что Бачо переписывается не менее чем с двумя десятками девушек со всех концов Болгарии. Флиртовал Бачо с этими девушками или рассуждал о высоких материях, никто не знал. Однажды ребята стащили у него сундучок с письмами, представляете, сколько их там было — целый сундучок, трофейный, с железными полосками и замок с секретом. Повозились, повозились с ним ребята, но открыть так и не сумели. Хотели, правда, взорвать крышку, да не решились.

— Куда ж я сейчас полезу? — где-то под небом хохотнул Бачо.— Вот что, Кортеска. Ты меня слышишь?

— Слышу, только не вижу.

— Не имеет значения. Раз уж пришла, стой и не ходи никуда. Рассеется туман, я слезу, распишусь и получу свои письма. Не отдавай никому.

— Кому ж я их отдам без расписки? — голос Кортески стал обиженным.

Тут вмешались другие голоса, и мне показалось, будто спутались все телефонные линии Низины. Все говорили сразу, выясняли имена, пытались найти знакомых. Некоторые действительно узнали знакомых и попытались их найти, но были и такие, которые то ли в шутку, то ли еще почему стали выдавать себя как раз за тех, кто их спрашивал. Начались споры:

— Слушай, Христо. Ты, конечно, может, Христо, но Христо Койчев — это я.

— Да нет, это я — Христо Койчев, спроси кого хочешь.

— Кого тут спросишь? Покажи мне хоть одного.

Потом откуда-то взялся еще один Христо Койчев и вмешался в спор (долго еще в Низине, услышав что-нибудь маловероятное, люди говорили: «Иди спроси Христо Койчева!»). Потом выяснилось, что настоящий Христо Койчев в тот момент находился где-то в другом месте, но тогда все казалось вполне возможным — то ли от безысходности, то ли от бездействия, а может, просто нервы у людей расходились, кто знает. Не буду чересчур распространяться на эту тему, скажу лишь, что в тот день действительно много чего было напутано. Вероятно, так всегда бывает во время бедствия,— ведь такой туман — настоящее бедствие! — и люди теряют над собой контроль. Был момент, когда вдруг запахло ракией — кто-то, верно, нащупал все-таки бутылочку в чужой котомке. Странное дело, человека ведь легче увидеть, чем ракию, а ее обнаружили без всяких затруднений. Послышалось бульканье, потом бутылка зазвенела, явно пустая, и кто-то ойкнул.

— Ой-ой! — вскрикнул этот кто-то.

— Кто кричал? — спросили его.

— Я,— ответил голос.— Данчо, стекольщик. Убить вы меня хотите, что ли?

— Ничего с тобой не случится! — засмеялись ему в ответ голоса.— Сто лет жить будешь!

— Данчо! — окликнули стекольщика.

— Кто меня зовет?

— Да я же, неужто не узнаешь? Стоян Глухарь, с четвертой кровати.

Видно, оба находились неподалеку друг от друга. Произошло какое-то движение, кто-то опять охнул, и все стихло.

— Ты где?

— Кто говорит?

— Да я же, Стоян Глухарь. Никак тебя не найду.

— Оставайтесь лучше на месте.

— А ты кто? Данчо?

— Какой Данчо? Я Игнат Ленков.

— Эй, Стоян! — послышался вдалеке жалобный голос.— Здесь я! Данчо — это я.

— Не двигайся, Данчо... Видно, уж придется оставаться на своих местах. Стой, а то еще потеряешься. Я вот всего-то и сделал, что несколько шагов, а «татру» свою потерял. Дать тебе таблеток?

— От чего?

— От головной боли. Ведь тебе бутылкой по голове звезданули?

— Не нужно мне таблеток. Я пить хочу до смерти.

— Воды у меня нет, Данчо. А таблетки, если хочешь, передам.

— Как это передашь?

— Через людей. Из рук в руки.

— Не хочу я лекарств. Лучше воды пришли...

Вот такие разговорчики. Потом сам Данчо мне рассказал, что сначала он попал в подземный зал фосфорно-кислотного цеха, а затем каким-то чудом выбрался на эстакаду. Стоян же пошел было по рельсам, но налетел на кран и так трахнулся, что уже больше не мог никуда двинуться, пока не рассеялся туман. Еды у него, конечно, с собой не было, так он принялся глотать лекарства, которые вечно таскал с собой.

В общем, положение наше было столь же смешным, сколь и трагическим. Это сейчас можно собирать отдельные факты, то есть бусины, как говорит Главный, а тогда не то что веревки, самой тоненькой ниточки не было, чтобы сделать из этих бусин какое-нибудь там ожерелье или четки.

Впервые в жизни довелось мне попасть в подобную ситуацию. Я думал о том, могут ли нам прислать какую-нибудь помощь. Стихийные бедствия случаются повсюду. В Перу, например, каменная лавина за несколько минут погребла целый город. В Африке свирепствовала засуха, в Индии тоже, где-то разливались реки, в Пакистане гигантская волна, обрушившись на сушу, погубила сотни тысяч людей.

Во время пожара, пусть даже самого страшного, приезжают пожарные команды, добровольцы, техника, все-таки как-то можно преградить дорогу стихии. Даже при землетрясении удается что-нибудь сделать: войска послать в особо опасные районы, еду, медикаменты. А тут какой-то дурацкий туман — и никто не может ступить ни шагу. Все живы и здоровы, человеческих жертв нет, однако все привычное внезапно изменило свои очертания, превратилось в ничто и нигде — ни предпринять что-либо, ни двинуться. А сколько курьезов было в те часы! Я записал кое-что, и когда-нибудь, может, мне удастся все это изложить систематически, ничего не прибавляя и не выдумывая. Только вряд ли кто-нибудь поверит, что так было на самом деле. Никому ведь и в голову не придет, что действительность бывает такой фантастической и преподносит такие сюжетные ходы, которые и не снились даже самым известным мастерам современной прозы.

Несмотря на невозможность что-либо предпринять, люди не сдавались. Слышались шаги, вздохи, и пусть кто-то, продвигаясь в тумане, трахнет тебя прямо по лбу, каждый знает, что вины его тут нет никакой, потому что ни тебе его, ни ему тебя не видно. Чей-то голос предложил выстроиться в цепочку и выбраться на дорогу, другие настаивали на том, чтобы разыскать по крайней мере столовую номер четыре, которая должна была быть где-то рядом. Третьи спрашивали, почему нам не сбросят пищу с вертолетов. Не могу понять, отчего это

людям в некоторых случаях изменяет элементарная логика. Как может нас найти вертолет, даже если ему удастся не наткнуться на какой-нибудь башенный кран, трубу или хотя бы на цех абсорбции и дистилляции содового завода (самое высокое здание в Низине — целых семьдесят два метра!) — третьего в Европе по величине и технической оснащенности, как это я сам писал в нашей рабочей газете. Так вот и шло время, если вообще в такой ситуации можно говорить о времени — туман сгустился настолько, что нельзя было разглядеть даже собственного носа, а уж тем более стрелок часов, и невозможно было определить, день сейчас или ночь.

— Который час? — спрашивали все-таки некоторые, но никто им не отвечал или отвечал наудачу:

— Без четверти час.

— Восемнадцать тридцать.

Странное дело, хотя, может, это были и шуточки, назывались те часы, в которые люди привыкли есть.

Прораб Илия Георгиев все так же неумолимо названивал по телефону. Потом это ему надоело. Прикончив последнюю сигарету, он сообщил нам, что остался без курева. Мы послали ему по цепочке пачку — я говорю «мы», потому что все мы были вместе, хоть и не знали, кто именно. Но оказалось, что цепочка где-то отклонилась в сторону, а может, какое-то ее звено решило оставить сигареты себе.

— Где сигареты? — громко крикнул из окна бытовки Илия Георгиев.

Со всех сторон послышались голоса, уверявшие, что сигареты только что прошли через их руки, но куда они делись, никто не мог сказать.

— Вот я вам покажу! — разозлился Илия Георгиев.— Я тут стараюсь хоть что-нибудь сделать, целый день сижу на телефоне, названиваю во все инстанции, а вы надо мной издеваетесь.

Не успели спросить, что отвечают инстанции, как совсем рядом что-то тяжело плюхнулось наземь.

— Где я? — со стоном спросил чей-то голос.

— Это ты шлепнулся?

— Кто его знает? — ответил голос.— Наверное, я. Хорошо хоть, что упал на песок, а то бы расшибся.

— Почем ты знаешь, что это песок?

— Так я же на нем лежу.— Послышался вздох, кряхтенье.— Верно, задремал и нечаянно свалился...

— Откуда свалился-то?

— Кто его знает? Я варил на отметке четырнадцать, а когда начался туман и велели всем спускаться, полез вниз. Где-то с тринадцатой отметки, верно, и свалился. Покурить не найдется? Или выпить...

— Ни покурить, ни выпить.

— Выпить у меня найдется,— отозвался голос Локомотива. Его-то уж невозможно было спутать ни с каким другим.— Пусть только кто-нибудь доберется до моей бытовки, возьмет там бутыль с ракией. Справа от входа у ящика с электродами, очень легко нащупать. Есть добровольцы?

— Есть, есть,— заговорили со всех сторон.— Только где она, твоя бытовка?

— Откуда мне знать? — ответил Локомотив.— Если б знал, стал бы я звать добровольцев. Йордан! — гаркнул он своим могучим басом.

— Чего тебе? — раздался пискливый голосок.

— А ты кто такой? — спросил Локомотив.

— Йордан Костов со второй машины. Чего тебе, Христо?

— Никакой я не Христо, а Локомотив,— обиделся бригадир.— Не узнаешь меня, что ли?

— Так бы и сказал,— бодро отозвался пискливый голосок.— Здравствуй, Локомотив, хоть я тебя и не вижу. Где ты?

— Где нужно. А ты помолчи, не тебя звали,— оборвал его Локомотив.— Мне Йордан Краска нужен, нет ли его тут?

— Тут я,— донесся откуда-то издалека ровный и спокойный голос художника.

Это мог быть только он, потому что Йордан Краска никогда не волновался.

— Ты что там делаешь, Краска? — спросил Локомотив.

— Да ничего.— Казалось, голос художника удалялся.— Собрал новую партию детских рисунков, а туман захватил меня посреди дороги. Не могу отнести к себе. Что делать?

— Иди сюда,— предложил Локомотив.

Наивно было предлагать такое, но Краска ответил, что идет, и тут же бухнулся в какую-то яму вместе с детскими рисунками. Целую неделю пришлось ему потом подрисовывать картинки, так расползлись и размокли краски. Он страшно жалел, что послушался Локомотива, но как можно было отказать другу?

Вот такие дела. Будь тут мой Главный, я спросил бы его, что он обо всем этом думает, но тот как раз в это время взял на два дня отпуск и уехал в деревню повидаться с матерью. Там не было никакого тумана, люди работали в поле, а он рвал черешню и привез целую корзину. Потом мы эту черешню съели в редакции.

Но вернемся к туману. Только тут я понял, что значит быть слепым. Я всегда жалел и слепых, и глухонемых, и заик, и вообще всех, кто страдает каким-то недугом, но и представить себе не мог, каково это, когда окружающий мир пропадает из виду. Правда, все другие чувства обостряются, сразу же начинаешь и слышать лучше, и запахи различать, но без зрения ты все равно человек пропащий. И задумался я о том, что́ человек видит, и о природе, которая порой вытворяет с нами такие штуки, хоть мы и трубим, что обуздали и победили ее. Вот она и наслала на нас этот туман — в наказание или как знамение, как говаривала моя бабушка, женщина суеверная и неграмотная, но вообще-то она была очень умной и чудесно пела народные песни. Если природа захочет покарать, никуда не денешься, думал я. Разумеется, только лишь туман рассеялся, все эти упадочные настроения испарились вместе с ним, но тогда мировоззрение мое малость пошатнулось. Я, как и остальные, поддался временному безверию — всех нас потянуло на анархию и критику руководства, кто-то стал поносить Низину, словно она была во всем виновата, а кое-кто прикидывал, как бы прикарманить то, что плохо лежит. Лишь некоторые философы и неисправимые оптимисты, вроде Бачо, шутили, смеялись или спали, а партийный секретарь бай Киро читал лекции оптимистического содержания и, чтобы ободрить приунывший в этой непроглядности народ, вспоминал героические эпизоды времен Сопротивления. Я же все больше и больше поддавался мрачным раздумьям. Ну хорошо, думал я, мы вводим всякого рода современную технологию, развиваем и поощряем самую прогрессивную науку в мире, посылаем космические корабли к отдаленным планетам, строим в Низине комбинат — гордость шестой пятилетки, но стоит спуститься какому-нибудь дурацкому туману — и все мы парализованы.

И откуда он только взялся? Метеорологи отказались его признать, но он был. А вдруг это началась третья мировая война, но не ядерная, не бактериологическая, а метеорологическая? Где-то я читал — я все-таки человек информированный и знаю, что делается на свете,— что и такая война готовится, а ведь наши враги не дремлют. Потом я отбросил подобные догадки и предположения, и вот почему: на этом приютившем нас маленьком шарике, то есть на нашей планете, каждое действие вызывает противодействие. И я сказал себе: если все это дело рук империалистов или других темных сил, наш лагерь достаточно могуч и подготовлен к любого вида агрессии, и не может быть,

чтобы у нас не было средств метеорологической защиты. Зная, какие совершенные системы обороны и нападения имеются в нашем распоряжении, просто невозможно допустить, что мы долгие часы, дни и кто там знает сколько еще времени будем покорно терпеть эту метеорологическую агрессию. Ну а если туман не рассеется еще два года?.. Меня охватил ужас, когда я представил себе, что́ будет с пусковыми сроками. Я уже совсем было погрузился в трясину отчаяния, как вдруг откуда-то послышался автомобильный сигнал.

Честное слово, этот звук прозвучал как знамение, он провозглашал начало новой жизни, сулил светлое будущее. Словно мы были на заполненной народом площади и к нам медленно и торжественно приближалась машина, которой все уступают дорогу, потому что она несет спасительные, исторического значения вести. Не знаю, кто и какую уступил ей дорогу, но через некоторое время послышалось усталое пыхтение автомобильного мотора и кто-то крикнул:

— Поберегись!

Сами понимаете, это было довольно наивно. Как тут беречься? Разумеется, ориентируясь на шум мотора, некоторым удалось все-таки отойти в сторону, где-то, совсем рядом, раздался громкий скрежет, и мотор замолк. Потом выяснилось, что с «татрой» Стояна Глухаря столкнулся старый микроавтобус «Латвия». Но тогда ни Стоян не знал, где его машина, ни водитель «Латвии» не предполагал, что перед самым его носом окажется грузовик.

От этого удара дверцы микроавтобуса распахнулись, визжа и стуча петлями, что вполне соответствовало их почтенному возрасту, но для нас это были оптимистические, сулящие возрождение звуки. Слышно было, как из машины вылезают люди, потом чей-то голос сказал:

— Все, приехали.

— Подожди, да тут ничего не видно! — крикнул другой.— Эй, есть люди в этом селе?

— Какое село? — важно и чуть обиженно прозвучал откуда-то голос бай Киро, секретаря.

— Село Победа,— настаивал первый голос.— Разве это не село Победа?

— Вот глупости! — пропыхтел голос бай Киро.— Какое тебе еще село Победа? Это Низина. Где-то между фосфорной и серной кислотой. А вы кто такие?

— Какая кислота? Какая кислота? — закричало сразу несколько молодых, полных жизни и справедливого возмущения голосов.— Нам же сказали: езжайте прямо — и дорогу показали. Спрашиваем, где село Победа, говорят: прямо. А выходит, тут какая-то кислота!

— Бай Метко,— проговорил еще один голос, и мы только сейчас догадались по акценту, что вновь прибывшие товарищи — цыгане,— поехали, свадьба ждет!

Не буду пересказывать весь этот диалог. Люди и в самом деле были растеряны, они никак не думали оказаться в Низине, понять их было нетрудно. Все равно как если прекрасным весенним днем отправиться из Видина в Павликени и вместо Павликени оказаться в Смоляне, да еще во время снежного бурана. Но снег и вообще всякие погодные штучки — еще куда ни шло, с погодой сейчас всякое бывает (однажды снег пошел в августе, да еще красный). А вот такого тумана не было никогда. Пройдет время, и, может быть, целые научные институты станут изучать это необычайное явление природы. Но когда мы сидели в тумане, никаких таких институтов еще не было и некому было объяснить, а уж тем более помочь этим людям, которые свалились на нас будто с другой планеты. Хорошо хоть, что они болгарский язык знали — можно было понять друг друга.

Оказалось: оркестр бай Метко Джумбушского под названием «Фараоны» (сейчас ведь даже цыганские оркестры имеют свои назва-

ния) был приглашен играть на свадьбе в селе Победа, что под Провадией. Женился бригадир механизаторов Лучезар Дойнов, человек в АПК[1] известный и уважаемый. Уселись музыканты в свою «Латвию» и поехали, а неподалеку от Низины попали в туман. И хотя движение на шоссе было прекращено, а полковник Чомпаров из автоинспекции, сидя в своем газике, продолжал отдавать распоряжения по громкоговорителю, музыканты каким-то чудом продвигались вперед. На главной магистрали и прочих дорогах, как после сражения, застыли грузовики, автобусы, легковые машины, бетоновозы, панелевозы, самосвалы, служебные машины, одна даже с заместителем министра, который тоже был вынужден терпеливо ждать. Какой только техники не было тогда на дорогах! Где-то застряла, например, колонна комбайнов, посланная в другой округ на жатву ячменя, хотя до нее еще было далеко — просто люди хотели заранее обеспечить себя техникой для грядущих сражений за урожай. А цыганский микроавтобус хоть и медленно, но обошел все препятствия (по-моему, шоферу следовало бы дать орден за вождение машины вслепую), в тумане съехал с шоссе, попал на внутризаводскую дорогу комбината сложных минеральных удобрений и оказался среди нас.

И знаете, когда я потом рассказал об этом нашему Главному, тот пренебрежительно заявил, что все это я выдумал. Конечно, слышал и он, что был туман, но не такой же! Я порекомендовал ему спросить у бай Киро, и все-таки Главный не поверил. Только сказал, что нас не должны смущать никакие природные явления, на них вообще не следует обращать внимания, потому что иначе к чертовой бабушке полетят все планы, графики, пусковые сроки и все такое.

Но не буду отвлекаться. Цыгане, как я уже сказал, внесли в наше общество большое оживление. А тут еще Бачо откуда-то с высоты подал голос:

— Ладно, бай Метко, как ни крути, не попасть вам, видно, сегодня на свадьбу. Чем так сидеть и ждать...

— А долго ждать? — встревоженно перебил его голос бай Метко.— Когда это кончится?

— Скоро,— успокоил его с неба убежденный голос Бачо.— Вот я и говорю, раз уж вы «Фараоны» и музыканты, чем так сидеть, взяли бы да сыграли нам что-нибудь.

Громыхнуло мощное «ура». И по этому «ура» вдруг стало ясно, как много народу собралось здесь, между фосфорной и серной. Цыгане — люди добрые и покладистые, уговорить их ничего не стоило. Согласились они поиграть немножко, а сами играли до посинения. Конечно, в таком тумане невозможно понять, кто посинел, а кто побелел, но так уж говорится. Заиграли они, а я все думал, как они умудряются играть, когда инструментов не видно? Верно, им это было не так уж нужно. Исполняли народные танцы, марши, вальс «На сопках Маньчжурии» повторили по меньшей мере раз пятьдесят в промежутках между плясовыми ганкиной, северняцкой и чорбайджийской. Играли цыганские песни, турецкие, югославские, потом перешли на греческое сиртаки, кто-то, не выдержав, пустился в пляс, но тут же налетел на что-то и вынужден был довольствоваться тем, что хлопал в ладоши. Чего только не исполняли для нас эти славные люди! Сколько художественных коллективов приезжало в Низину, сколько выступало у нас народных и заслуженных артистов, но никто никогда не доставлял нам такого удовольствия. Верно, наступила уже поздняя ночь или раннее утро, но в тумане было ни тепло, ни холодно, так что никто не мог понять, который час. Но мы забыли время, и голод, и неопределенность нашего положения, мы воспрянули духом, исчезли всякого рода мистические и упадочные настроения, анархия кончилась. Каждый заказывал что хотел, и музыканты

[1] Аграрно-промышленный комплекс.

немедленно исполняли любое желание — до чего же славными ребятами оказались «Фараоны» бай Метко Джумбушского! Жаль было, конечно, что свадьба знатного механизатора из села Победа осталась без музыки, но в этом были виноваты не мы, а природа. Так продолжалось, пока не рассеялся туман, все пели «Гей, Балкан, родной ты наш» и многое другое, не буду пересказывать весь репертуар. Потом целых две недели легко можно было узнать тех, кто во время тумана застрял между фосфорной и серной. Встретишь человека, который объясняется жестами и мимикой, потому что потерял голос,— значит, пел с «Фараонами».

Когда туман рассеялся, был четверг, а упал он — я помню точно, потому что как раз взглянул на часы,— в понедельник, в одиннадцать часов сорок две минуты утра. Все это время я аккуратно заводил часы, и они работали очень исправно, но я не мог разглядеть ни времени, ни даты, хотя часы у меня с календарем. Значит, пели мы больше двух суток, не считая тех, что прошли до прибытия «Фараонов». Столько песен было пропето, что, естественно, нельзя было не потерять голос, тем более пели мы в тумане, а не на чистом воздухе. Доктору Паунову пришлось-таки с нами повозиться, но он роздал всем таблетки фарингосепта, и в конце концов хрипота прошла, как прошел туман, как проходит все в этом мире.

Повторяю, никогда я не перестану удивляться людям, хоть Главный и твердит, чтоб я им не удивлялся, а только описывал, да не литературно, а по-журналистски. Ладно, людей я еще как-то могу описать — и литературно, и по-журналистски, а природу?

Как описать природу? Вот вопрос.

■

Дура ты дура, ухмылялся отец, что выпьешь, что съешь — при тебе и останется. А ты посмотри, на кого стала похожа. Подай-ка сюда кружку.

Радина подавала стеклянную кружку, полную искрящегося рубинового вина. Отец тоже красный, как вино, искрятся глаза, шея могучая, загорелая, брови нависшие, черные. Темная трясина сна не хотела ее отпускать, ноги вязли, Манаси по-прежнему храпел рядом, укрытый не домотканым одеялом, а облаком чесночного запаха. В полусне, мрачном и непроглядном, она вслушивалась в шуршание мышей на чердаке, в царапанье жучков-древоточцев, давно уже поселившихся в досках пола. В кишках урчало, живот болезненно вспучило, и она, стиснув сухие губы, прижимала его рукой все крепче и крепче, чтобы опять погрузиться в трясину и увидеть отца.

Поди-ка ты, Радина, ухмылялся отец (лицо его еще больше раскраснелось, жирные от мяса пальцы придерживали кость, в которую, словно в дудку, вцепились крепкие желтоватые зубы), поди-ка, налей мне еще кружечку, ведь что съешь да выпьешь, то при тебе и останется.

Отец хорошо разбирался в лошадях, всю жизнь торговал ими. И скотину умел забивать. Всадит, бывало, нож животному за ухо, вскроет артерию, а сам смеется. Потом, чтоб шкура отстала, надует овцу, повесит на крюк, да как начнет охаживать тушку палкой — кровь спускает. Глаза смеются, искрится в них рубиновое вино, а над ними брови — черные, лохматые. И пахнет от его пота силой, мужской силой. Течет на землю овечья кровь, а Радина смотрит на нее, не в силах оторвать взгляд, и чувствует, как охватывает ее дикая жажда. С самых малых лет, с тех пор как она себя помнит, видела она вокруг себя кровь да освежеванные, висящие на крюках туши. Помнятся ей переброшенные через седло вьюки из старой, обожженной временем кожи, звенящая шпора на отцовском, тоже словно

обожженном, сапоге. И ночи, когда он уезжал неведомо куда, чтобы к рассвету отвезти на скотный рынок мясо и вернуться с новой овцой. И опять нож, опять кровь. По утрам отец выпивал две кружки вина, вечером три — знал человек свою меру. Дура ты дура, повторял он и опять посылал ее наполнить кружку, и она наполняла, бездумная, безропотная, дура дурой, наполняла и опять возвращалась к крови, к шпоре, к взрезанной артерии висящей на крюке туши, к сковородке, в которой шипели и подскакивали шкварки, а пламя очага пожирало сучья, пни, сырые, в целый аршин, поленья, нарубленные ею самой.

Приближался первый предрассветный час. Манаси уже плескался во дворе из ведра, чтобы отклеить от ресниц липкий сон, потому что спал он сном праведника, и Радина уже раздувала очаг, выкопав из-под золы вчерашние головешки, а потом, стоя босиком на цементном крыльце, пустыми глазами провожала его до калитки. Ну, бывай, говорил ей Манаси, и действуй по-умному. Всю жизнь так: бывай и действуй по-умному, и она оставалась и шла со своим звеном окапывать, окучивать, поливать. Ждали ее грядки, саженцы, борозды, поле, выгоревшее от засухи или мокрое от дождя. Ноги вязнут, топчут землю, глаза пустые, голова пустая, только живот пучит от недоедания, и она ждет полудня, когда сядут или прилягут бабы где-нибудь в тенечке и начнутся их бабские разговоры: эта то, а та вот это, а по телевизору вчера показывали то-то, но погода совсем не такая, как обещала как там ее, Кунка, что ли, ну та, которая с палочкой ветры и градусы показывает. Радина молчала, жевала сухую корку, грызла луковицу и стручок перца, блестящий, как носик эмалированного чайника, вкусный, брынзы бы к нему кусочек, но раз нету — эх, дура ты дура, взяла бы отрезала себе кусочек к перчику-то и пошла бы ты, налила еще кружечку,— что ж, коли больше ничего нет, сойдет и перец; а другая уже рассказывала о зяте, подтяжки у него — загляденье, машину купили, теперь менять хотят, а когда на субботу — воскресенье приедут, под метелку дом выметают, ребятишки — двое у них — совсем городские, от мяса отворачиваются, не едят ничего, и все тут, мать за ними с ложкой и палкой по двору гоняется, зубы заговаривает, чтобы хоть малость поели. Слушала Радина, слушала, а в желудке у нее перец с горьким луком и хлеб уже не такой жесткий — превратился в кашицу. Ненадолго обманутые кишки затихали, а солнце уже бросало тень, не шевелились листья на орехе, глаза смыкались — подремать немного и опять за работу.

Дура ты дура, поди-ка, налей еще кружечку...

Собака кидалась к брошенной ей кости, болтался длинный красный язык, с обвисших голубоватых губ капала слюна, ступал в стремя сапог с уже привязанной шпорой. Лошадь, чуя дорогу, стригла ушами, Радина отворяла калитку в мир, куда уходил отец, а Манаси уже храпел так, что трескались половицы, а мыши, с писком шарившие на чердаке, пугались и замолкали, только жучки-древоточцы не умолкали, они не слышат и не видят ничего, кроме дерева, и не умолкнут, пока не съедят последнюю доску старого дома, стропила, подпорки, матицы и саму крышу вплоть до черепиц.

В то утро Радина спустилась в погреб поискать какой-нибудь мешок. Шаря, она споткнулась о затвердевший царвул, свалившийся с гвоздя, где он висел много лет, и чуть не упала. Проклиная этот чертов царвул, Радина поднялась и увидела небольшой бочонок. Краник у него давно не поворачивался. Манаси не пил спиртного, она тоже, а гостей у них не бывало. Росица, дочка, напишет раз в год письмо с другого конца Болгарии, совсем они стали чужими, да и раньше близкими не были. Зять чего-то нос задирал, не нравились ему тесть и теща. В который раз повторяя эти навязчивые мысли, Радина потрогала краник. Интересно, есть в этом бочонке ракия или нет, подумала она и, не сознавая, что делает, забыв о мешке, ради

которого спустилась в погреб, бросилась наверх. Отцовская кружечка еще сохранилась, хотя стекло потемнело. Радина ополоснула ее в ведре и отвернула кран.

Сначала повисла капля, потом полилась тоненькая струйка. Радина отвернула еще, и в чашку потекла золотисто-желтая маслянистая жидкость. Краник да и бочонок тоже словно бы вздохнули, довольные, что к ним наконец кто-то прикоснулся, а струйка наполнила чашку и хотела течь дальше, но палец Радины остановил ее. Кладовка вдруг наполнилась сильным, пьянящим запахом; давно рассохшиеся балки, и висящие на крючьях вьюки, и драный невод с еще новыми свинцовыми шариками, и квашня, и сваленные в кучу старые половики, к которым давно уже не прикасалась ни рука, ни нога человека,— все вдруг запахло ракией и ударило ей в голову. А отец потянулся, сапоги его скрипнули, как дверные петли, охнула трехногая скамеечка — дура ты дура, поди-ка, налей еще кружечку, ухмыльнулся он, брови у него взлетели, как крылья, и Радина, внезапно почувствовав жажду, прижала к сухим губам кружку. Огненная жидкость обожгла ее, в ушах зазвенело, ошеломленный желудок, на минуту перестав урчать, затаился. Глаза ее захлестнул простор, лестница кладовой приблизилась, во дворе зазвучали голоса людей и животных. Ну и дела, изумилась Радина, как же мы забыли про этот бочонок. Манаси, правда, не пьет, и я не пью, и гости к нам не ходят, зять, подумаешь, нос задирает, не нравятся ему тесть и теща, тесть и теща не нравятся ему, потому что нос дерем, тесть и теща не нравятся, ну и пусть, пусть нос задирает!.. Она снова поднесла к губам кружку, попробовала еще раз — дура ты дура, ухмылялся отец,— теперь уже ракия не обожгла, не ударила, как первый раз, а ласково, мягко спустилась по пищеводу, теплыми маслянистыми пальцами облепила изнутри огнем и негой. Радина присела на бывшую колоду, впитавшую столько крови и жира животных и вместе с ними высохшую и почерневшую. Может, не ходить сегодня в звено? Что со мной, что без меня, полю-то все едино, словно мышонок, скользнула в голове мысль. Впервые в жизни Радина готова была взбунтоваться. И снова насмешливо сверкнули отцовские глаза — дура ты дура. Кишки тоже взбунтовались, заурчали. Звено? Да провались оно к чертям собачьим! А кружечка тоже советовала никуда не ходить, потому как, что выпьешь, что съешь, при тебе останется. Радина уже бежала вверх по лестнице. Курица сама попалась ей под руку — привыкла к краденому зерну,— да не успела издать ни звука, стукнул топор, и голова с вытаращенными красными глазами отлетела прочь, а котелок уже бурлил, заливая разгоревшийся очаг. Запахло паленым пером, ракией — Радина взяла кружку с собой и время от времени подносила к губам,— в старый цинковый таз полетели перья, и курица, уже голая, пупырчатая, покорно улеглась в бурлящую воду. Запел огонь, и кухню вместе с теплом и дымом заполнил забытый аромат вареной курицы. А остальные куры снесли уже восемь яиц, Радина катала их в ладонях, еще теплые, вымазанные кровью, с давным-давно забытым вкусом, а потом, доедая яичницу, обильно пропитанную жиром и посыпанную красным перцем, и обгладывая куриные кости, где-то в самой глубине вздувшегося (но уже от сытости) живота нашла старую, оставшуюся от бабки песню. Там же, среди еды и ракии, отыскала слова и тихо, невнятно запела.

Зеленый лес раскинулся перед ней, из него вышли повстанцы-гайдуки с длинными ружьями, бросилась к ним навстречу красная девица Стояна — искать своего милого, а гузка была жирная, с острым треугольным кончиком, Радина обсосала ее и выплюнула мелкие косточки. Дура ты дура, повторял отец, а она махнула ему — молчи, мол, знай свою могилу! Все тело ее с ног до головы взмокло от пота, от очага несло жаром, но она никак не могла согреться.

Встала, качаясь, приволокла еще одну охапку нарубленных сучьев и охапку соломы. С новой силой рванулось пламя, Радина бросила на угли куриные кости, угли зашипели, затрещали, а из кладовки уже звал ее бочонок — иди, где ты там копаешься, одна у жизни цена: что выпьешь, что съешь, то при тебе и останется. Где-то там, в не наступившем еще полдне и ненаступившем вечере всплыло лицо Манаси, страшное, с остекленевшим взглядом, из-за пазухи у него выпала белая блестящая плитка, но Радина отмахнулась и от него, и от плитки. В ушах у нее звенело, горло пересохло, она наклонилась к ведру. Долго пила, словно лошадь, и вода разошлась по ее телу, и от этого еще громче и требовательней заурчали кишки и желудок: брось ты эту воду, мы ракии хотим, хотим окорока, жирного, розового, с тонкими прослойками сала, пойди отрежь себе кусочек. Окорока не было, но Радина поймала цыпленка, маленький-маленький, а ножки уже налитые — и его сварила, и его съела, потом вспомнила о Манаси и сказала ему: дурень ты дурень, твое государство не насытишь, и конца этому нет, и накоплению твоему тоже конца нету, никчемный ты человек, земли твои забрали — одну в Усое, другую в Листаке, третью в Длинных Лугах,— оттого ты всю жизнь копишь и крадешь, крадешь и копишь, а что оно такое ракийка, не знаешь, и что такое огонь в очаге, и цыпленок, и яичница с салом и красным перцем, тоже не знаешь. Манаси бросился за ней, но она смеялась, руки его длинные-предлинные протянулись к ней, но Радина больше их не боялась, и Манаси исчез вместе со своим государством, своими гвоздями и плитками, болтами и цементом, а она опять спустилась в кладовку к бочонку и погладила его, как человека.

— Ч-че-го в-в-вы...— Радина рыгнула и непослушным языком продолжала: — В-вы-пьешь и с-с-съешь, то и т-т-вое! — и свалилась к козлам бочонка, счастливая, переполненная, готовая лопнуть от счастья и сытости.

Бывают такие дрова — ни сухие, ни мокрые, а так и стреляют искрами во все стороны, будто из рогатки. Эй, кричат эти дрова, это от нас у огня вся сила! — и вызывающе выстреливают еще один сноп искр — пуф-пуф! Плюнуло, значит, такое полешко искрой, а Радина — она ведь все хотела согреться — принесла еще охапку сучьев, и солома была рядом, и жир в миске. Искорка весело шлепнулась в солому, занялись сучья; до чего дорвешься, что сожжешь, то и твое! — свистнул первый язычок огня, совсем еще тоненький и невинный, за ним налетели другие — веселые, буйные, неукротимые, загорелась солома, жир зашипел, затрещал, захихикал, словно кто его щекотал, пламя выбралось из очага, поползло по стенам, изгрызенные балки только того и ждали, чтобы избавиться от жучка, и пошел огонь, как хозяин, гулять по старому дому. Перебросился на мебель, разделался со старыми плетеными стульями, как настоящий хозяин, вернувшийся после долгого отсутствия, обошел комнаты, сорвал занавески, распахивал и захлопывал окна, заглядывал в шкафы и сундуки, влезал в давно забытые юбки, рубахи и платья, примерял обувь, нахлобучивал фуражки, соломенные шляпы, меховые колпаки и шапки. Потом хозяин спустился в кладовку. Радина встретила его веселым, ничего не видящим взглядом, протянула к хозяину руки — она все еще никак не могла согреться — и что-то крикнула, но он не услышал, наклонился и охватил ее пламенем. Низко опустив голову, прижал горячие губы к струйке — краник был открыт, и бочонок хохотал от удовольствия так, что лопались обручи. А хозяин уже шарил по всей кладовке, встряхнул старые вьюки, повертел седла, огненной тряпкой протер квашню и кадушки. Балки и пол всплеснули руками — давай, давай, с каких пор тебя ждем, хочется ведь и нам немного тепла и света! — а хозяин уже шарил в дыре за отпиленной балкой, одну за другой доставал оттуда пачки банкнот. Полузадохшаяся, переполненная съеденным и выпитым, Радина тянула

к нему одеревеневшие пальцы, мокрые от ракии. Хозяин склонился, лизнул их оранжевым своим языком, рванул юбку, сбившийся платок, а вокруг уже все пылало, трещало и рушилось, и ветер, который будто только того и ждал на ближнем холме, бросился к нему на подмогу.

Закричала соседка, до времени вернувшаяся домой, забегали ребятишки, начальство уехало на своей машине за десять километров— там хлеба горели, не какой-то ветхий домишко,— и, пока оно вернулось, пока вызвали из города пожарных, стропила уже рухнули. Хорошо, что вокруг были сады, так что соседние дома только закоптились. К тому же ветер, сделав свое дело, отряхнул руки, довольно потер их и убрался к себе на холм отдохнуть в листве деревьев.

Вечером государство, как всегда, привезло в родное село бригадира Манаси Миланова и, как всегда, с плиткой на животе под рубахой. Не успел он сделать несколько шагов, как в нос ему ударило горелым. Манаси поморщился, сплюнул и, махнув государству на прощанье рукой, направился к дому. Увидев черное пепелище, догорающие стропила и людей, глядевших так, как глядят только на огонь и оставленные им следы, Манаси открыл было рот, чтобы что-то сказать.

И не смог произнести ни звука.

В голове у него зазвенело, резкое эхо ударило по черному, как головешка, лицу, и Манаси рухнул на землю. Вся его левая половина — нога, мышцы лица, плечо, рука до кончиков ногтей — сгорела в один миг, осталась живой только правая половина тела. Левый глаз остекленел и перестал закрываться, а правый налился кровью. Подчиняясь идущему откуда-то изнутри голосу, этот глаз, казалось, изо всех сил пытался что-то сказать — сам Манаси говорить уже больше не мог.

Люди долго удивлялись, что за плитка выпала из Манаси и раскололась пополам так же ровно, как рассек его пополам огонь, поглотивший дом, сарай, хворост и все, что было во дворе. И потом, когда пожар немного забылся, а Манаси, полупарализованный, лежал в доме доброй одинокой бабушки Параски, которая пожалела его и согласилась за ним ухаживать, глаз его, по-прежнему напряженный и налитый кровью, продолжал смотреть так, будто хотел что-то сказать.

Но сказать он не мог ничего.

А государство все так же каждое утро отвозило в Низину других рабочих из села и каждый вечер привозило их обратно к семьям, а на месте сгоревшего дома, сарая и заготовленного на зиму хвороста вырос бурьян и та поздняя жилистая трава, которая всегда появляется на пожарище, заметая следы огня.

■

Никаких планов не было в их жизни. Стремительно убегало назад вчера и так же стремительно бежало навстречу завтра. Сегодня не было. Каждое утро приносило решение что-то изменить, и каждый вечер его затягивало тонкой корочкой льда или засыпало слоем раскаленных углей — решение замерзало или сгорало, чтобы наутро снова возродиться вместе с болью, стыдом и счастьем. Охваченные страстью, Иван Рафаилов и Донка жили только стремлением встретиться и броситься друг к другу в объятия, забыв и о вчерашнем, и о завтрашнем.

Из квартиры на втором этаже старого дома их выгнали. Донка нашла другую — в новом доме пожилой армянки. За сто пятьдесят левов в месяц они получили две верхние комнатки с крохотной ван-

ной и уборной. В одной из комнат Донка иногда готовила, да так, что язык можно было проглотить, но чаще всего они ели не дома. Она — у себя в ресторане на Золотых Песках, где теперь работала, а Иван или в столовой, или наспех перекусывал чем-нибудь, купленным в магазине. Он теперь забывал не только о еде, он не замечал времени — ни часов, ни месяцев, не обращал внимания ни на дождь, ни на снег. Аккуратно ходил на работу, был прилежен, исполнителен, но не считал, сколько положил кирпичей или сколько их положить осталось, не думал ни о том, что именно он облицовывает, ни куда взбирается и куда спускается, не чувствовал, какой его обдувает ветер — песчаный или цементный, горячий или холодный. Иван свыкся с Низиной, не замечал вокруг никаких перемен, ничем не интересовался, перед глазами его все время стояла Донка, а в сны его непрестанно возвращалось село — родной дом, мать, похожая на старую пыльную икону, отец (все равно — трезвый или пьяный, но всегда с одним и тем же рассказом на устах: об аварии в шахте) и, наконец, Петр, его брат, солдат, у которого он отнял жену. После таких снов он бывал раздражительным, ненавидел Донку, придирался к ней. Руки дрожали, роняли то чашку, то тарелку. Звон посуды бил ему в уши, а Донка успокаивала его: не сердись, купим другую. Иван Рафаилов смотрел на разлетевшиеся по полу черепки — вот и жизнь его такая же, не склеишь и в магазине другой не купишь. Но ничего не говорил Донке, не любил слов Иван Рафаилов, зажимал зубами, глотал их — горькие, ядовитые — и молчал. Потом срывался с места: надо успеть на автобус, надо зарабатывать деньги, квартира влетает в копеечку, а Донка не из бережливых. Она тоже немало получала, но все как-то расходилось. Оба привыкли к выпивке, не каждый вечер, конечно, но раз в два-три дня то он, то она приносили бутылку водки — всегда водки, чтоб покрепче,— и выпивали ее, когда с закуской, когда без. Донка говорила тихо и медленно, иногда смеялась. От этого смеха у Ивана по телу бежали мурашки — он так и не сумел к нему привыкнуть. Выпив, они словно прозревали, смотрели друг на друга, будто впервые увиделись, и вновь между ними начиналась жестокая, бесконечная борьба. Потом они засыпали, обессиленные, а наутро к ним возвращался стыд и чувство вины. Трясина доходила Ивану уже не до щиколоток, затягивала до колен, потом до пояса, и он беспомощно махал руками, пытаясь хоть за что-нибудь ухватиться. Но трясина засасывала его все глубже — вот уже и плечи закрыла, заливает рот, обжигает глаза. Хоть бы оно поскорее поглотило меня, это болото, молил Иван, чтоб кончились и муки мои, и радость. Но ничего не кончалось, на следующий день трясина отступала, и он, босой, ступал на ее затвердевшую кору, удивляясь, что может держаться на ней не проваливаясь. Проходили день, два, болотная жижа вновь засасывала его до щиколоток, потом до колен, и все повторялось сначала. Когда-то он слышал об аде — бабкины сказки у очага,— таким он, может, и был, этот ад, когда люди в него верили, тяжело вздыхал Иван, а Донка входила с тарелкой, душистый пар ударял в нос, возбуждал аппетит, прогонял мысли. Он видел ее белые икры — никакую не грязь, никакую не трясину,— зеленые домашние туфельки с кисточками, которые сводили его с ума, и каблучками, казалось стучавшими у него прямо в мозгу, видел — и сдавался, а потом, в беспокойном сне, перед ним опять вставали старый дом, безмолвный приговор материнских глаз, вечное проклятие рода.

Выросший на селе, сердцем прикипевший к его земле и холмам, ко всему, что рождалось и умирало в нерушимые, определенные природой сроки, Иван мучился в этом городе, в этой Низине, где не было времен года, а одни лишь сроки и квартальные планы. Ни в чем не было здесь для него красоты — он не воспринимал ее из окна автобуса, бегущего мимо то мокрых, то залитых солнцем, вспахан-

ных или сжатых полей, мимо делянок цветущего подсолнечника. Донка никогда ни о чем его не спрашивала. Захочет, скажет сам, а нет — она тоже замолкала и не теребила его. Иван вздыхал, ронял несколько слов о земле, о селе, слова повисали в воздухе, жужжали, кружили над их головами, над их рюмками, словно маленькие зеленые мухи.

Донка умела все. И добивалась всего, за что бралась. Любому могла влезть в душу. Армянка смотрела на нее с удивлением и сочувствием — муж у квартирантки все-таки незаконный — и старалась услужить ей чем могла. Пойдет на базар, купит и для них самых крепких и сочных помидоров, самой свежей рыбы, а уж Донка знала, как все это приготовить. Иван Рафаилов был сыт и доволен — и едой, и самою Донкой — и постепенно начал понимать, что уже ничто не в силах оторвать его от этой женщины. И тут он по-настоящему испугался — до тех пор он еще питал смутную надежду, что сошелся с Донкой не навсегда — ведь все рождается и умирает в положенное время года. Но рядом с Донкой времена года не имели никакого значения, ничто около нее не рождалось и не умирало по законам сельской земли, она была другим человеком, ни сельским, ни городским, такой, как сама Низина — тоже не село и не город и тоже не признающая времен года.

Что ты за человек? — спрашивал он, склонившись над Донкой, охватив пальцами ее шею, словно собираясь удушить. Но Донка бесстрашно глядела на него своими золотисто-карими глазами, губы ее раскрывались, и он тонул в ней, забыв обо всех на свете вопросах и ответах. Быстрая, ловкая, до тонкостей овладевшая искусством вежливо и достойно обслужить посетителей, она завоевала репутацию прекрасной официантки. Осенью ее пригласили в самый большой ресторан курорта, где она неплохо зарабатывала. Иван съездил туда раза два, присмотрелся к директору, высокому пожилому человеку, и успокоился, хотя готов был ревновать Донку не только к каждому проведенному на работе часу, но и к ее сервировочному столику, к застеленному бобриком полу, к хрустальным люстрам, торшерам, звукам оркестра, ко всему этому богатому, расточительному и напряженному миру, к которому и принадлежала и не принадлежала Донка. Иван все-таки поверил, что она думает только о нем, поверил, что никто другой, ничто другое не занимает ее внимания, и порой, дожидаясь, пока Донка закончит работу, с удивлением размышлял, чем это он ей так понравился, и чувствовал, как его переполняет неожиданная гордость (раньше о такой гордости Иван даже не догадывался) — молодая, красивая, энергичная Донка могла найти поклонников и даже мужа совсем в другой среде, а вот держится за него, простого рабочего, человека грубого физического труда, полукрестьянина, полугорожанина с незаконченным средним образованием и, конечно, без всякого будущего. Он не понимал, за что она так любит его, почему так внимательна и терпелива с ним. Даже во время ссор (по правде говоря, сердился только Иван, а она или молчала, или успокаивала его тихими, точными словами) Донка ни разу не потеряла самообладания. Однажды она задержалась на работе до часу ночи, приехала на такси, и Иван, не помня себя от ревности, ударил ее. Донка упала, ей хорошо была известна сила его рук. Потом встала, ушла в ванную и долго не выходила. Вернулась в халате, с блестевшими на волосах каплями и сухими глазами. Давай ложиться, сказала она, будто ничего не случилось, и он, побежденный, виноватый и разнеженный, покорно лег рядом с ней. Донка по-матерински обняла его, а Иван, как ребенок, ждал, чтобы она заговорила, рассердилась на него или заплакала. Ничего. Засыпая, он, как всегда, положил ей голову на грудь; вдруг Иван впервые почувствовал в Донке что-то материнское и во сне даже спутал ее со старой иконой, с которой давно никто не вытирал пыль. Утром он опять

уронил чашку. Осколки разлетелись во все стороны. Донка, не говоря ни слова, смела их в совок и, разогнувшись, взглянула на него и сказала с улыбкой:

— Такой уж ты мне достался. Ничего, бей, нам еще много чего разбить придется. Были б только живы и здоровы.

В такие минуты Иван прямо-таки боялся ее, Донка казалась ему не женщиной, а каким-то чудовищем в женском обличье. Но все это — только до вечера, когда он, с нетерпением дожидаясь этого чудовища, вертел ручку транзистора или ломал себе голову над кроссвордами — Донкиным увлечением, на которое ей оставалось все меньше времени. Она давно уже сдала и физику и химию — когда она только успевала готовиться? — и однажды принесла аттестат с оценкой пять и семьдесят пять сотых [1]. Подавленный тем, что она поднялась еще на одну ступеньку выше его, Иван, не в силах сдержать раздражения, придрался к ее маникюру. Они опять рассорились, но на этот раз всему виной был аттестат, ступенька. Донка и тут не потеряла спокойствия и лишь через несколько дней сказала ему без всякого повода:

— Вот что. Бей меня, унижай, делай что хочешь, я тебя не брошу.— Она гордо вскинула голову и добавила: — Если уж я за что ухватилась, никакой силой у меня не отнимешь. Так и знай.

Иван наконец понял, что движется по кругу и задыхается в его замкнутом пространстве. Однажды после работы он зашел в свое бывшее общежитие, куда не заглядывал с тех пор, как впервые остался у Донки. Встретили его с радостью — он показался им совсем другим человеком, непохожим на того, который когда-то чистил им обувь и мыл полы. Все расселись вокруг него на его бывшей кровати, где теперь спал бригадир Иван Гяуров — ему, правда, должны были вскоре дать квартиру в новом доме. Ну, рассказывай, потребовал Трендафил, ты вроде как женился? Да нет, пробормотал Иван Рафаилов, с удивлением чувствуя, что его радует даже их любопытство, и недоумевая, почему это ему до сих пор не пришло в голову навестить ребят. Костюм не забудь забрать, сказал Карла и тут же принес его, совсем пропылившийся, несмотря на газеты. Не нужен он мне, пожал плечами Иван, есть у меня во что одеться. А Карла сказал, что он, мол, предлагал костюм Ивану Гяурову, но тот отказался, тоже говорит, есть у него во что одеться. Материал хороший, добавил Карла, возьми его, отдай в чистку, заплатишь два лева, как новенький будет. Ведь он у тебя и так новый? Да ты вроде здорово похудел, вмешался Методи, стекольщик. Все засмеялись, радостно оглядывая Ивана и похлопывая его по плечам.

На него дохнуло мужской жизнью, мужским потом. Иван почувствовал, как не хватает ему этой комнаты, кольнула зависть: здесь люди жили совсем по-другому, с шутками, розыгрышами, но дружно — он только сейчас понял это и погрустнел. Странным показалось ему, что он мог сторониться этих ребят, хотя столько лет дышал с ними одним воздухом, мыл для них полы, чистил им обувь, а по ночам вслушивался в их сонное бормотанье и тяжелый храп. О Донке он даже не упомянул — о том, что живет с ней и с ней умирает,— не рассказал ни о своей работе в Низине, ни о селе, оживающем в его ночных кошмарах,— о своем аде и своем рае. Ему вдруг показалось, что все они намного моложе его, будто это были товарищи его детских игр, которые так и остались детьми, в то время как он вырос и прошел через столько мук и испытаний. Все действительно остались такими, как были,— энергетик Бисер Чонев по-прежнему состригал ножничками лезущие из носа волосы, у стекольщика Данчо родился еще один ребенок, а другой стекольщик, Методи, по-прежнему не ладил с арматурщиком Трендафилом из-за девушки, которая

[1] В школах и вузах Болгарии принята шестибалльная система оценки знаний.

предпочла арматурщика. Карла все так же зубрил, только теперь не русский, а испанский, как и обещал когда-то. Послушай-ка, сказал он Ивану, язык у меня неплохо идет, и, если на Кубу будут набирать рабочих, я обязательно поеду. До смерти хочется увидеть тропики, пересечь Атлантический океан, говорят, он у Кубы всегда теплый. Я доктора Паунова спрашивал, он там в прошлом году был, так он рассказывает, что природа там — чудо: деревья и кусты вечнозеленые. Иван услышал слово «природа», и перед глазами у него поплыли родные поля, пашни, и он увидел себя с ружьем — убивать он не любил, стрелял просто так, чтобы послушать эхо в холмах. Застарелая боль лизнула его словно огненным языком, душа занялась, и, охваченный пламенем, он уже больше не слышал, что там дальше говорил ему шофер.

— Я смотрю, ты все еще куришь, Иван? — спросил, склонившись к нему, Стоян Глухарь.— Одно тебе скажу: у человека, выкуривающего в день по двадцать сигарет, в груди скапливается три тонны триста килограммов дегтя.

— Уж ты скажешь! — хмыкнул Кирчо, работающий, как и Иван, на облицовке печей.— В человеке всего-то шестьдесят пять — семьдесят килограммов веса, а ты — три тонны триста!

— Это не я говорю, а наука,— обиделся Стоян Глухарь.— Наука зря болтать не станет, она имеет дело с точными цифрами. А тонны эти, Кирчо, не остаются в человеке, а проходят через него.

— Ну, если считать, сколько через человека проходит,— ухмыльнулся Трендафил,— посчитай-ка вместе со своей наукой, какое озеро выпивает и выливает из себя человек за свою жизнь. Не говоря уж о пище — сколько мы съедам и сколько дерьма производим.

Громыхнул смех, посыпались шутки. Свободные люди, с грустью подумал Иван Рафаилов и вздохнул. Стоян Глухарь шепнул ему, что потом даст ему таблетки — отличные таблетки! — и Иван благодарно ему кивнул. Опять перед ним мелькнула Донка, ее открытые в улыбке зубы. Он стиснул челюсти и прогнал ее прочь. К нему подсел экскаваторщик Фоти, Иван хлопнул его по понурым плечам, но парень даже не поднял головы.

— Что с тобой, Фоти? — спросил Иван.— Что слышно о той девушке, шоферше?

— Ничего не слышно,— вздохнул экскаваторщик.— Столько уж времени прошло, как она уехала, а ни письма от нее, ни телеграммы.

— Куда ж она уехала?

— Почем я знаю, сказала, на курсы какие-то.— Фоти опять тяжело вздохнул.— Вдруг собралась, забежала на минутку — так, мол, и так, Фоти, уезжаю...— Остальные не слушали, они знали всю эту историю с начала до конца и с конца до начала.— А куда, зачем, на сколько поехала — ни словечка. И что это за курсы такие? Каждый день бегаю на почту, спрашиваю у Кортески, нет ли мне чего, а она знай одно твердит: нету... Знаешь Бачо, бригадира монтажников?

— Знаю,— сказал Иван Рафаилов.

— Этот Бачо каждый день получает по двадцать, двадцать пять писем, а я — ни одного. Что делать, ума не приложу. Хотел жениться, деньжат скопил, машину мог бы купить, да и наши не поскупились бы, и вот все пошло прахом. А самое главное — все другие девчата мне теперь без надобности. Никакого интереса. Только о ней и думаю.

Иван понимал его как никто и потому вздохнул вместе с парнем.

— Не знаю, что и сказать тебе, Фоти. Помнится, не слишком она тебе подходила.

— В каком смысле? — слегка задетый, оживился экскаваторщик.

— Больно уж мала. Да и скрытная она какая-то...

— Не скрытная,— перебил его Фоти,— а загадочная. Я так ничего про нее и не понял, как только ни подъезжал. Может, потому она мне и нравится...

— Найди наконец себе девчонку из наших,— вмешался Трендафил.— Женись и успокойся и нам дай от тебя отдохнуть.

Фоти не ответил. Ребята собрались уходить. Стоян Глухарь знаками предлагал Ивану выйти с ним, потом, поняв, что старается напрасно, ушел. А парни приглашали Ивана заходить и напоминали, чтоб не забыл забрать костюм, Данчо показал ему фотографию своего младенца, Параскевой назвали, гордо улыбаясь, сообщил он, в честь прабабки, имена всех других родичей уже разобраны.

— Ты, Иван, человек положительный,— сказал Фоти, когда они остались вдвоем,— потому, верно, и хочу я излить тебе свое горе. Страшно мне, Иван. Все кажется, что ей что-то угрожает, какая-то опасность. И сны такие — то будто гангстеры ее преследуют, как в американском фильме, то будто она в пропасть падает. Каждую ночь умирает, а на следующий день словно бы опять рождается. Я уж и на человека стал непохож...

Иван грустно усмехнулся. Парень словно пересказывал ему его собственные терзания, хотя в его снах не было ни гангстеров, ни пропастей, а всего лишь отец, мать и брат. И то, что Фоти сказал об умирании и рождении, тоже верно. И со мной так, братец, хотел ответить Иван, и моя умирает и рождается, и я вместе с нею умираю и рождаюсь, и никакого от этого нет спасения. Запутался так, что уж ничто мне не поможет...

Иван поднялся, хотя Фоти удерживал его.

— Нужно идти, Фоти, как-нибудь загляну еще,— сказал он, искренне сочувствуя парню.— А ты не отчаивайся. Молодой ты еще!

— Молодой! Какой с нее прок, с моей молодости? — Фоти тоже нехотя встал.— Ты заходи, Иван. Не знаю почему, но, чувствую, близок ты мне, хоть и говоришь мало. Верно, тебя тоже грызет что-то, как и этого, который спит теперь на твоей койке. Хороший он дядька, недавно бригадиром назначили вместо Манаси Миланова, которого паралич разбил, когда у него дом сгорел. Замкнутый такой, словечка не вытянешь, а хоть и вытянешь, все равно ничего не узнаешь. Тоже вроде тебя, все будто в себя смотрит — гложет его, видно, что-то.

У двери Фоти еще раз вздохнул и сказал:

— Люблю я ее, Иван, прямо скажу. И ждать буду, пока не вернется, сколько бы ни пришлось. Как думаешь, вернется она?

— Не знаю, Фоти,— пробормотал Иван Рафаилов.— Ты парень толковый, не губи жизнь из-за бабы. Смотри, все разошлись, а ты дома. Ну что тебе тут делать?

Фоти повел плечами.

— Уж ты-то мог бы и не спрашивать,— уныло ответил он.— Ты, когда оставался, что делал? Вот и я тоже — сейчас вымою полы, газеты постелю, чтоб не топтались по мокрому...

Через Нижнюю Махалу Иван Рафаилов пробирался поздно вечером. Шел мокрый снег. Людей не было видно. На разъезженной дороге (кое-где колдобины были присыпаны свежей землей вместо щебенки) чернели колеи, следы людей и животных. От домов тянуло запахом навоза, поздней осени и ранней зимы, путаник-ветер старательно облеплял ограды и крыши мокрым снегом, чтобы затем сразу же его растопить. Залаяла собака, лениво, протяжно. Иван попытался узнать ее по голосу, но не сумел. Тут и собаки стали другими, подумал он. Собаки, может, и другие, а остальное все то же самое. Иван прислонился к столбу у калитки Радойко Большого, фонарь, слава богу, не горел. Появился человек, согнувшись, пряча лицо от

мокрого снега, взглянул на Ивана, но не узнал, прошел мимо. По походке и покашливанию Иван понял, что это Игнат Пейков, скромный, тихий вдовец, живший в Нижней Махале. Иван прислонился к калитке, прижался лицом к доскам, царапнул ногтем старое, много лет мокшее под дождями и прогревавшееся на солнце дерево, пахнуло трухой. Ощущение близости всего самого родного охватило Ивана. Живу бог знает где, думал он, а корень мой здесь, среди этих простых людей, которые до сих пор гнут спину на земле, хотя и механизация, и химия давно уже добрались сюда. Эти каменные ограды, осевшие старые дома, цветочные грядки, дребезжанье котлов, блеянье овец — он жадно вдыхал пьянящий сельский воздух, напоенный запахом навоза, гниющей соломы, мокрого дыма, жареного мяса,— тысячи запахов, до боли знакомых с раннего детства, разбудили память. В ущелье еле слышно шумела вода, но этот звук, пробиваясь сквозь крутой, из голубого слоистого камня берег, проникал ему в самое сердце. Просторная тишь, облаком окутавшая село, нависала над ним — не было ни звезд, ни месяца, зимой село словно бы сжималось, как будто и дома, и люди испытывали потребность быть ближе друг к другу. То же самое, верно, происходило и с животными, шерсть у них становилась гуще, блеянье, мычанье, ржанье делались другими, зимними...

Иван с трудом оторвался от чужой калитки и пошел вверх по дороге, стараясь, чтоб никто его не увидел. Опять залаяла собака, но уже другая, где-то на крутом склоне холма. Там горели огни, близкие, дружелюбные — иди к нам, манили они, входи, не бойся, мы гостей любим. Иван остановился на мосту, уронив отяжелевшие руки на холодные мокрые перила. Они тоже знали его, эти перила, тоже были ему родными и близкими. Иван сжал их обеими руками. Что же это я шатаюсь по городам и стройкам, господи! — еле удержал он горестный вопль. Никогда раньше не приходило ему в голову поминать господа. Коротко, словно позвала кого-то, проблеяла коза и смолкла. Не коза это, еще больше помрачнел Иван, вспомнив, зачем он приехал, это дьявол с рогами, с бородой, который соблазнил его и заставил покуситься на жену брата, на его честь. Ему представилась Донка — голая, с бородой и рогами, заблеяла, выставив ровные острые зубы. Иван махнул рукой — никогда он не верил в дьявола, а сейчас видел его перед собой в человеческом, в женском образе. Мост легонько скрипнул, словно шепнул ему что-то сваями, ущелье отозвалось еле слышным эхом. Тихо журчала вода — Иван знал, что, даже когда идет снег, она остается теплой, и ему страшно захотелось опустить в нее руки. Он осторожно спустился по грязному склону, ступил на осклизлые камни и окунул пальцы в воду. Она была теплой, по-настоящему теплой.

Наверху на дороге показался трактор. Тарахтя, съехал вниз, наполнил бензиновыми выхлопами чистый воздух, прогрохотал по настилу моста. Иван притаился внизу, присел на корточки, слился с землей, с кустами собачьей бузины — мокрый снег не удержался на них. Иван вышел на дорогу. Он узнал тракториста — младший сын Спиридона, совсем взрослый стал, а тогда еще только в армию собирался. Они тут растут, мужают, стареют, а я мотаюсь по чужим местам, изоляцию ставлю — сердце свое хочу изолировать,— печи кладу, небо подпираю, чужое небо, полное песка и ядовитых газов. Он вновь вдохнул чистый ночной воздух, прикосновение к лицу мокрых хлопьев снега казалось ему лаской. В глазах защипало, ресницы стали влажными. Словно волк-одиночка, пригнувшись, перебежал он небольшой пустырь — летом тут росла сочная трава и овцы, возвращаясь с пастбища, всегда здесь застревали. По левую руку осталась старинная, давно пересохшая каменная чешма, надпись на ней еще сохранилась: «Построил сие в лето 1873 Чобан Христо Свещаров

памяти, благодарствия и жажды людской ради...» Иван помнил эти слова наизусть, словно выдолблены они были не на камне, а на его собственном лбу.

После посещения общежития в голове его угнездилась одна-единственная мысль — уйти от Донки, сделать что-то, изменить свою жизнь. Он ничего не сказал ей, не стал ни ласковее, ни грубее, однако она что-то поняла — чутье у нее было необыкновенное. Но молчала, ни о чем не спрашивала. Всю ночь Иван метался в постели, видно, бредил, потому что слышал ее шепот: успокойся, Иван, миленький, спи, спи, и это уже была не Донка-мать, не Донка-чудовище, не безумно желанная женщина, и голос у нее был совсем другой. Проснулся Иван весь в поту, ладони пылали, в глазах — одно только неистовое желание бежать, бежать отсюда. На работе он попросил отпустить его на несколько дней, бригадир удивился, но разрешил, потому что с тех пор, как Иван появился в Низине, он ни разу не брал отпуска. В общежитии я оставил костюм, а у нее — вообще все, думал Иван, пока поезд медленно тащил его в гору или стремительно мчал под уклон. Упаду на колени, буду просить прощения. Останусь в селе, я ведь крестьянин, хватит с меня этого города, этих печей, этой Низины. И этой женщины. Хватит, хватит, хватит, закрыв глаза, повторял он, а она стояла под его крепко стиснутыми веками — золотисто-смуглая, голубовато-белая, живая.

Родной дом вырос перед ним неожиданно. Снег повалил сильнее. Ограда тянулась вдоль дороги и уходила вниз по крутому склону. Когда-то по ее верху тянулась колючая проволока, защищавшая от коз ветки шелковиц. Теперь проволоки не было, самих шелковиц — тоже. Иван вспомнил, что сам срубил их — прогнили, а проволоку скатал в клубок и сунул под амбар. Верно, и сейчас там лежит. Не решаясь войти, он мысленно представил себе дом, двор с навесом, хлевом, свиной закут, сеновал, где внизу лежала солома, а наверху, на жердях, люцерновое и люпиновое сено, уложенное так, что, высохнув, оно сохраняло свой аромат. За маленькой дверцей, всегда запертой на железный засов, потому что ею почти не пользовались, было у Ивана свое потайное местечко. Здесь еще ребенком проводил он целые часы, зарывшись в сено или сухие кукурузные стебли. Проползет по ноге букашка, заведут свою песню сверчки, а снизу из ложбины донесется кваканье лягушек — весь мир умещался у него в груди, светлый, душистый, совершенный. Тут он вырос в мечтах о чем-то настоящем — о земле, о работе, о спокойной и радостной семейной жизни, тут, бывало, и засыпал, пока не приходила мать, знавшая, где его можно найти. Вставала среди ночи, тыкала снизу палкой — вылезай, Иван, будет тебе спать на кукурузных бодыльях. Он вылезал, весь в травяных остьях, нащупывал в темноте дорогу, шел за матерью. Тогда она еще не молчала, тогда можно было поговорить с нею.

Жаркая тоска по детству охватила его. В голове зазвенели кавалы, овечьи и коровьи бубенцы, крики соседских ребятишек. Он решительно шагнул к калитке. Дверца не поддалась, заперта. Иван, словно превратившись в мальчишку, перепрыгнул через ограду, он умел это делать, не задевая уложенной поверху черепицы. Никто не тявкнул ему навстречу — собаки не было. И лошади тоже не было, не заржал Алчо, показывая, что узнает его. Только овцы зашевелились было и тут же опять уткнулись друг в дружку головами — не волк, можно не беспокоиться. Снег стал совсем мокрым. Иван стоял посреди двора, словно свалившись с неба, и не знал, что ему дальше делать. В доме было темно. Он на цыпочках прошел по цементной дорожке, вот огород, где он окучивал ягодники, когда впервые услышал стук Донкиных каблучков. Он выпрямился, как тогда,

с черными от земли руками, и опустил глаза к ее каблучкам. Вот окно горницы, туда она пришла к нему в ту ночь, последнюю ночь, проведенную в отцовском доме. Здесь, у железной калитки, ведущей в огород, она взяла его за руку, когда они вернулись из кино. Как я войду, горестно подумал он, как погляжу им в глаза. Нет, вдруг решил он, нет, в дом я не пойду. Останусь внизу, в кухне, у очага. Он обошел двор, ноги его вязли в грязи. Тихонько, не скрипнув, толкнул кухонную дверь. Но тут наверху, на галерее, отворилась дверь, послышался мужской кашель, тяжелые шаги. Иван шмыгнул под навес, прижался к стене амбара, дыхание у него перехватило.

Шаги приближались. Не больше чем в метре от него, шаркая надетыми на босу ногу резиновыми царвулями, прошел мужчина в белых подштанниках и накинутом на плечи пальто. Это был Петр. Иван еле узнал его, располневшего и дряблого в этом широком пальто. Брат запомнился ему стройным, худеньким, каким он был на солдатских снимках. Сейчас он меня увидит, подумал Иван, словно вор прижимаясь к стене. Петр уже возвращался, видно ходил до ветру. Не заметив спросонья, что дверь в кухню распахнута, он так и оставил ее открытой.

Иван выбрался из пыли, прошлогодней паутины и запахов старого, уже неиспользуемого дерева, приглушенно чихнул в ладонь. Дверь наверху захлопнулась, все стихло. Только овцы опять зашевелились, но тут же успокоились. Сколько он еще простоял под навесом, Иван не знал. Потом наконец решился, прошел в открытую дверь, чуть не споткнулся о забытую на полу деревянную миску, остановился и прислушался. Было по-прежнему тихо. Сердце колотилось в висках, во рту пересохло. Сейчас он войдет в кухню, вытащит из золы головешку, раздует ее и просидит до утра у темно-красных огоньков, а там — будь что будет. Отсюда я не двинусь, пусть плюют на меня, пусть делают со мной что хотят — заслужил.

Мрак и застоявшаяся тишина встретили его в кухне. Он нащупал на сундуке котел с водой, наклонился и долго пил жадными, большими глотками. Не было на свете воды слаще, чем в этом котле. Нащупав скамеечку, когда-то сколоченную им самим, низенькую, обожженную, впитавшую запах бобов и сала, дыма и сырых дров, сел на нее и только собрался достать из золы головешку, как отворилась дверь. Оглушенный, оцепеневший, он хотел было встать, но его остановил голос. Иван похолодел.

— Это ты, Иван?

Он пробормотал что-то, тихо, навзрыд выдохнул: мама! — и в слезах бросился к ее ногам. Она стояла, прямая, в своей длинной черной юбке, босая, костлявая, холодная. Иван попытался обнять ее ноги, она отступила. Не шевельнулась, не наклонилась к нему — настоящая икона, с которой давно не смахивали пыль. А Иван шептал:

— Мама, прости меня, мама... Прости!

Она молчала, словно ничего не слышала, потом сказала:

— Твой брат нашел себе хорошую, достойную жену. Тебе тут нет места!

Иван хотел ответить, но она продолжала:

— Отец твой умер, Иван. Из-за тебя. В Петров день похоронили.

Тогда он поднялся. Дыхание у него перехватило.

— Иди туда, откуда пришел,— сказала мать чужим голосом,— и чтоб ноги твоей больше здесь не было!

И исчезла — босая, бесшумная, как привидение. Дверь осталась открытой...

На следующий день поздно вечером Иван вернулся к Донке. Она только что пришла с работы и жарила котлеты. Не удивилась, встретила его как всегда. Ни о чем не спросила — ни о грязи на одежде, ни о запавших, затравленных глазах, ни о беспомощно повисших ру-

ках. Засучила рукава, открыв полные лоснящиеся руки — смуглозолотое сияние ослепило его.

— Я знала, что ты туда поедешь,— сказала Донка.— А сейчас вымойся и давай ужинать. Котлеты хороши, пока горячие.

■

Прямо скажу: за последнее время в Низине немало всего случилось. Вы, вероятно, уже знаете последние новости, так что не буду отнимать у вас дорогое время. Вот и Главный то и дело повторяет: время нужно ценить, беречь, оно, говорит, ценнее и сырья, и инертных веществ, и горючего. Я, конечно, не буду с ним спорить о том, что ценнее — время, инертные вещества или горючее. Все-таки я литератор, а не экономист. Общеизвестно, что, по крайней мере у нас в Низине, на все есть свое время. Я так и написал однажды в очерке о водолазах, которые работают в порту. А работка у них, как говорит один из них, Цвятко,— будь здоров! Насыплют самосвалы щебенку по линии будущих причалов, водолазы спускаются под воду (если это можно назвать водой — одна взбаламученная тина, ничего не видно) и укладывают на щебень «мостовую» для кессонов. Представляете, каково в такой обстановке укладывать вручную каменные плиты, да так ровно, чтобы отклонения от горизонтали были не больше чем плюс-минус три сантиметра. Написал я, значит, очерк, разукрасил ребят как мог. Описал, как они укладывают свою подводную «мостовую», и вот тут-то вставил насчет времени: мол, на все есть время — время мостить «мостовую» и время отдыхать, время нажимать клапан над головой, чтобы получить глоток свежего воздуха, время для того, время для этого.

Главный прочел и сразу стал красным — я уже говорил, что, когда Главный краснеет, на глаза ему лучше не попадаться. И пошел честить в третьем лице (об этом я тоже упоминал: Главный, если хочет кого отругать, высказывается исключительно в третьем лице, будто тебя тут и нет). Он думает, начал Главный, даже не глядя на меня, он думает, что все мы здесь сплошная серость, а тут люди тоже кое в чем разбираются и какой-никакой минимальной культурой обладают. Взял себе, голубчик, некую толстую книгу, раскрыл да и переписал Екклесиаста. И мало того, что все переиначил, он еще попытался приспособить его к действительности, не имеющей ничего общего с библейской, которая даже не действительность, а всего лишь занимательная беллетристика, предназначенная для наивных и суеверных людей. В прошлом, к сожалению, их было немало. И вот наш голубчик, не найдя больше, откуда списать, взялся за Библию. Если так пойдет, то при нашей серости и отсутствии элементарной культуры он в один прекрасный день пропихнет нам отрывок из послания апостола Павла коринфянам, а потом, если у нас хватит наивности и безответственности и мы пропустим подобные писания в газету, все это будут читать массы, хотя мы и называемся органом партийной, профсоюзной и комсомольской организации Низины и ее администрации.

Очерк, конечно, отправился в корзину, разорванный на четыре части, а потом еще на четыре. Пришлось мне писать его заново. Опять я разрисовал, как ребята работают под водой, как они на ощупь укладывают камень, стараясь не допустить отклонения от горизонтали больше чем плюс-минус три сантиметра. Добавил каждому по нескольку строк внутреннего монолога о семье, о доме и т. д. и т. п. Главный соблаговолил подписать, правда, сказал: опять фактов мало, а литературы много, но все же удобоваримо — и вычеркнул внутренний монолог. Очерк стал словно объеденная рыба: голова, скелет и хвост или, как говорят в школе, введение, изложение, заключение.

Не стану отнимать у вас время этой историей, но не могу удержаться, чтобы не упомянуть о Маноле. Вы знаете, мы с ним друзья и часто советуемся по самым различным вопросам. Я, кажется, уже говорил, что однажды завязал ему галстук, хотя с тех пор в галстуке его больше ни разу не видел. Прохожу я как-то мимо арматурного склада, Манол увидел меня и окликнул:

— Эй, Пресса, раз уж ты здесь, дай-ка я тебя кое о чем спрошу.

— Спрашивай, Манол.

— Так слушай. Тут на днях передавали по радио о космосе и все ни к селу ни к городу говорили о каких-то световых годах. Что это за годы, вроде наших, что ли?

Опять двадцать пять. С Манолом говорить — надо быть специалистом по всем наукам. Читал и я кое-что, не такой уж я профан, тем более если речь идет о времени. Собрался я с мыслями и говорю:

— Нет. Манол, не вроде наших. Нашими измеряют время, а теми — пространство.

— Ну хорошо.— Он перестал жевать свою горбушку (вроде я упоминал об этой вечной горбушке).— Но ведь пространство измеряют метрами и километрами?

— Конечно. Но для космоса километры слишком маленькая единица, поэтому приходится превращать их в годы. Не могу точно сказать, сколько километров в световом году, но цифра эта астрономическая.

— Как это, в каком смысле?

Я уже говорил, что Манол как ребенок. Ответишь ему на один вопрос, а он тут же выдает тебе еще десять.

— В том смысле, что цифра эта так велика, что ее можно назвать только астрономической. Кроме того, учитывается и скорость света, потому год и называется световым. Но, повторяю, это годы в пространстве, а не во времени.

— Хорошо. Выходит, значит, что время и пространство одно и то же?

— Точно не могу сказать,— ответил я, чувствуя себя маленьким-маленьким, словно меня выстрелили в космос.— По-моему, вряд ли это одно и то же.

— Не знаю — Манол задумался.— Ведь если это так, то получается, что мы, проведя несколько часов или лет на одном месте, соответственно перемещаемся и в пространстве.

— Вот что, Манол,— сказал я,— ты меня совсем заморочил. Вроде друзья мы с тобой, столько лет я тебя знаю, уважаю тебя, а как начнешь спрашивать, голова болит. Не подготовлен я к этому вопросу

Но Манол мою подготовку оставил без внимания. В это время он был увлечен временем и пространством — так же страстно, как когда-то паровым двигателем, голубями, художеством и многим еще другим. Может, вы слышали, что Манол интересуется исключительно дельфинами? Так должен вам сказать, что с этим уже покончено, потому что однажды у второго причала нашли мертвого дельфина. Не знаю, как он сюда пробрался, вероятно по каналу вслед за каким-нибудь кораблем. То ли он водой нашей отравился, то ли попал под винт, не знаю. К несчастью, Манол как раз в это время был в порту и увидел дельфина. Значит, говорил он мне потом, дельфины все-таки нашли нас, но вместо того, чтобы прийти к человеку, пришли к собственной гибели. Как мы только его не утешали (и я, и многие другие, даже бай Киро, секретарь парткома, приходил его успокаивать), но Манол несколько дней молчал, а потом вообще перестал упоминать о дельфинах. Однако не буду слишком отвлекаться и отнимать у вас время, о Маноле я вспомнил просто по ассоциации, потому что он мне интересен. Вечно что-то грызет этого человека, и каждый раз новое. Иногда я даже думал, как это он умудряется остаться лучшим в Низине арматурщиком, не мешают ли ему все эти раздумья и увлече-

ния, это беспрерывное копание во всякого рода «как», «что» и «почему». Однажды я спросил об этом бай Киро, а он мне ответил: видишь ли, Пресса, ты парень интеллигентный, аттестат имеешь, должен сам понимать такие вещи. Не только не мешают, а, наоборот, помогают. Взгляни только на его показатели — всегда первый, бригада его не дает меньше ста тридцати процентов. А ты чего бы хотел, чтоб он пьянствовал или по бабам бегал? Пусть думает.

Думает! Я вот тоже только и делаю, что думаю, но не как Манол об отдельных вещах или фактах, а обо всем сразу — верно, потому, что профессия у меня такая. Вот, например, Манол, может, вообще обо мне не думает, а я и о нем думаю, и о бай Киро, и о Локомотиве, и о Бачо, даже о товарище Гаврилове думаю, и притом довольно часто. Хочется мне у каждого человека найти ту пружину, тот завод, который движет его к той или иной цели, найти к нему ключик, ведь у каждой пружины, вроде тех, что были на старых будильниках, есть свой ключик, но в мыслях моих я никогда не подходил к таким пропастям, в которые то и дело заглядывает Манол.

Последнее время меня, например, мучает мысль о Низине, но не о той, раздробленной на факты и фактики, с которой я ежедневно сталкиваюсь в силу своей профессии, когда с утра до вечера приходится бегать взад-вперед, чтобы отразить именно этот день или этот час, а о Низине вообще. Подняться бы над ней словно на вертолете и увидеть ее всю сразу до мельчайших подробностей и самых тайных уголков вместе с землей, водой, производственными мощностями и заполнившими ее людьми.

И еще мне очень хочется (хотя это, наверное, может показаться нескромным) сесть и написать — не очерк, не корреспонденцию или репортаж, а роман. Большой роман, где для каждого найдется место — и для его трудового пути, и для личной жизни. Я ведь в Низине знаю почти всех, люди мне столько всего нарассказали, что я порой приписываю одним то, что относится к другим, и наоборот, но это не имеет никакого значения, потому что все касается человека. Тут не ошибешься, даже если изменишь кое-что в отдельных биографиях — ведь литературы пользуются такой привилегией. Другое дело — журналистика, здесь приходится быть документально точным, все должно быть верным — и имена, и события, не говоря уж о фактах, данных и тому подобных штуках. У журналиста все должно быть проверено и соответствовать истине. А в литературе можно взять, к примеру, Бачо и подменить его Манолом, так что Манол будет получать письма со всех концов страны, а Бачо раздумывать о дельфинах и световых годах. Или скрестить их и получить кого-то третьего, который будет походить и на них, и еще на кого-нибудь, скажем на Ивана Гяурова.

Я всегда завидовал писателям, и не только потому, что у них есть воображение, но и потому, что они могут пользоваться им без всяких ограничений, в благородных целях, разумеется. Не буду распространяться и отнимать у вас время, скажу только, хочется мне, чтобы этот роман написал я. Роман, в котором Низина была бы таким же живым существом, как растения, животные и люди, и чтоб глаза у нее были — тысячи глаз; уши, руки и ноги — тысячи ушей, рук и ног, а больше всего — сердец, то есть, по сути дела, сердец тех, кто в ней трудится. Представляете себе, какой пойдет гул от их совместного и согласного биения, как содрогнутся окрестности от этого могучего пульса? Такой видится мне Низина, состоящая не только из производственных мощностей и технологических линий — они все равно здесь, — но из живых человеческих органов и систем. Например, трубопроводы служат не для подачи газа, серной и фосфорной кислот, горючего, пара и воздуха, а для циркуляции крови, бегущей по венам и артериям Низины и единой для тысяч людей. То же можно сказать о легких, о печени и т. д. и т. п., не буду распространяться.

Я уже набросал в особой тетради некоторые свои мысли в связи с этой идеей, терзающей меня все последнее время, и если вам еще не надоело, то я продолжу. Например, хочется мне показать две вытекающие из Низины реки — черную и красную. Разумеется, реки эти загрязненные, но я не собираюсь говорить об этом в критическом плане или заниматься вопросами очистных сооружений и охраны окружающей среды. Я просто покажу, как эти реки вытекают из самого сердца Низины и выводят наружу все отходы, ненужные и ядовитые вещества. Между прочим, такие реки действительно существуют, и, если вы бывали в Низине, они не могли не произвести на вас сильное впечатление. Правда, это не реки, а что-то вроде каналов, хотя все отходы направляются в специальные хранилища недалеко от села Победа. Если ехать на машине по окружной дороге, то откуда-нибудь с высоты можно увидеть изумительную картину, кажется, что в этом хранилище собран не шлам, а все небесные радуги, переливающиеся тысячами цветов и отблесков.

Занимает меня также и другая идея — конфликт. Ведь в каждом литературном произведении должен быть какой-то основной конфликт, и у каждого его героя тоже — свой собственный. Я очень много об этом думал, даже хотел использовать тот туман, который стоял над Низиной трое суток. Я уже рассказывал, как он застал меня между серной и фосфорной, как никто не мог никуда двинуться, чтобы не заблудиться, как появилась «Латвия» с цыганским оркестром «Фараоны» во главе с бай Метко Джумбушским и как мы двое суток пели с ними, так что охрипли и доктору Паунову потом пришлось лечить нас фарингосептом. Но и от этой затеи пришлось отказаться. Ведь даже если тот туман, как я вначале думал, продлить дней на двадцать — тридцать, чтобы как следует выявить характеры главных и эпизодичных героев, картина получится совсем не реалистическая. Что тогда будет с планами? Люди разболтаются, начнут буйствовать, возникнет анархия, и вообще получится что-то совершенно фантастическое. Думал я также о землетрясении, не очень сильном, балла на четыре, с эпицентром где-нибудь в Шумене. В Низине объявляется тревога, все мобилизуются, выходят на защиту стройки, земля колеблется, трескается. Как видите, мысль богатая, можно показать чрезвычайно интересные ситуации, а характеры героев должны будут проявиться во всей своей исключительности, только вот беда — исключительность-то меня и пугает.

Люди Низины не любят ничего исключительного и слова «героизм» тоже. Даже самая опасная работа, если ее делать изо дня в день, перестает казаться опасной — те, кто не может к этому привыкнуть, уходят. Естественный отбор. Так что героическое и исключительное здесь не типичны, по крайней мере в этом смысле. Об этом я последнее время тоже много думаю: в чем же заключается героизм — в исключительном или в обычном? И все чаще прихожу к выводу, что в обычном. Я знаю в Низине стольких людей со всех концов Болгарии, разного возраста и пола, всех профессий и квалификаций, с несхожими биографиями и характерами — и до сих пор не встретил ни одного исключительного человека, если не допустить, что все они настолько исключительны, что уже стали обычными. Я веду записи, анализирую все свои разговоры. Некоторые из них я благодаря своим служебным возможностям даже записал на магнитофон, так что располагаю подлинными высказываниями людей и их ответами на мои вопросы. И чем дальше, тем больше запутываюсь. Получается, как говорит Манол, что в Низине два моря — Черное, продвинувшееся в сушу на двадцать два километра, и человеческое. Только человеческое море непрерывно бушует, непрерывно меняет направление ветра. Тут мне пришло в голову положить в основу конфликта эту идею о двух морях, но потом выяснилось, что это получилось бы слишком уж литературно. Будь это поэма — дело другое, но проза

требует узды, воображение должно работать в каких-то трезвых границах, и вообще картина должна получиться реальной. Конечно, будь я поэтом, я мог бы заявить: «Звезды принадлежат мне», и никто бы не стал придираться — раз уж я поэт, то могу назвать своим хоть весь космос, а прозаику это еще нужно доказать.

Одно время меня мучил вопрос, что такое я и что — окружающие меня люди. Я даже думал и роман подчинить этой основной мысли. Возьму, например, Бачо и проанализирую его во всех подробностях, то же сделаю, скажем, с Манолом, а потом проведу между ними параллель, одновременно проанализировав и себя самого. Но и от этой мысли пришлось отказаться, потому что когда дело дошло до меня, то выяснилось, что я не так интересен, как Манол или Бачо, не говоря уж о товарище Гаврилове. Сплошная глупость! Потом мне показалось, что я могу подойти к тем же героям с другой стороны. Сюда приезжает немало журналистов из центральной и местной печати, и писатели тоже бывают, но я не решаюсь поделиться с ними своими идеями. Кто знает, смогут ли они мне помочь, напротив, того и гляди ограбят и сами осуществят мои планы. Может, я еще не обладаю литературным опытом, не овладел техникой, но одно преимущество у меня перед ними есть: я знаю своих героев и живу с ними одной жизнью. Куда бы меня потом ни забросила судьба, они всегда будут со мной, и Низина тоже — все равно опишу ли я ее как единое живое существо или как тысячи отдельных, тоже живых существ. В Низине есть все, она и макрокосм и микрокосм одновременно. Не случайно один кладоискатель из Благоевградского округа, примчавшийся сюда вместе с многими, когда были обнаружены золотой клад и древний некрополь, сказал мне: много я слышал о Низине — газеты о ней пишут, радио и телевизор все уши о ней прожужжали, так что я уж начал думать, что же там особенного? Стройка как стройка, вон Бобов-Дол тоже национальный объект и героизма там не меньше, а сейчас понял: в Низине есть все, раз даже золотой клад и тот нашли.

Я немного обиделся, потому что клад — дело случайное. Каких только сокровищ не зарыли по разным местам минувшие эпохи, и открыть их может любой, вроде нашего Фоти, который благодаря этому стал известней любого эстрадного певца или того крестьянина, что нашел у себя в поле Венеру Милосскую. Так я ему и сказал, этому кладоискателю: вот что, любезный, наш золотой клад не в том, что тут зарыли минувшие эпохи, все равно — при царе Иване Шишмане или за пять столетий до рождества Христова, извиняюсь, до новой эры. А в тех, кто собрался сюда со всех концов страны, чтобы воздвигнуть гигант шестой пятилетки. И каждый из них нашел здесь свой клад, который намного дороже золота. Кладоискатель глянул на меня исподлобья и говорит: ты меня не агитируй, я сам человек ответственный, и твои лозунги мне ни к чему. Ни к чему мне твои гиганты и производственные мощности, мне подавай тот клочок земли, который раскопал ваш экскаваторщик, этот гладколицый дурень, которого во всех газетах пропечатали и даже по телевизору показывали, а он только и твердит про какую-то девчонку, болван этакий. Это надо же — найти золото и отдать его государству.

Тут я не выдержал, вспылил, хотя вообще-то я человек спокойный и уступчивый и больше люблю слушать, чем говорить. То есть не вспылил, а возмутился и сказал ему — правда, очень сдержанно,— вот что, не знаю, как тебя зовут, но я рабочий журналист, живу здесь и пишу о рабочих (тут у меня чуть было не вырвалось, что я и роман хочу написать, но что с ним говорить, заклинило человека на одной теме), скажу лишь, что экскаваторщик поступил правильно не только потому, что он сознательный, но и потому, что для него настоящее золото не золото, а человек. Кладоискатель вытаращил глаза и повертел у лба пальцем — дескать, с головой у меня не все

в порядке,— но я не смутился, не обиделся, а спокойно продолжал свое. Мол, у нас в Низине каждый человек ищет и находит свой клад и т. д. и т. п., а он повернулся и ушел, даже не простился, но это тоже неважно, главное, что меня вдруг осенило — вот она, идея!

Каждый человек в Низине находит свой клад, да, но ведь это-то мне и нужно. В сюжете можно использовать находку Фоти Илиева, его драматическую борьбу с собственными пережитками, победу нового над старым, приведшую его к решению передать золото государству. С другой стороны, можно показать целую галерею образов каменщиков и монтажников, слесарей и электромонтеров, шоферов и экскаваторщиков — не буду перечислять всех, чтобы не отнимать у вас времени,— тех, кто находит свой клад в ежедневном упорном труде и законной гордости, которую испытывает перевыполнивший план человек. Несколько дней я, вдохновленный этой мыслью, летал как на крыльях, а потом пункт за пунктом записал план будущего романа. И вдруг он мне показался страшно искусственным. Ладно, сказал я себе, все это хорошо — и труд, и законная гордость,— но это все верно для передовицы в три колонки полужирным петитом, а для романа ну просто никак не годится. Роман требует конкретности, видимой и осязаемой, а не общих положений и деклараций, как, кажется, писал Максим Горький в письме к одному молодому писателю. Так что пришлось отказаться и от этого варианта.

Однажды товарищ Гаврилов увидел меня у бытовки, где я дожидался прораба Илию Георгиева, и подозвал к себе. Слушай, Пресса, сказал он, ваша, то есть наша, газета немного запаздывает с освещением некоторых проблем. Не скажу, что она плохая, но как-то вы все норовите идти по ровному, а у нас тут столько колдобин, столько неурядиц и отставаний, которые не находят себе места в печати. Жду тебя завтра у себя без пяти минут пять утра. Бери блокнот, шариковую ручку, фотоаппарат — словом, все, что полагается, и скажи своему Главному, что будешь со мной до конца рабочего дня.

На следующий день я пришел к товарищу Гаврилову без пяти пять утра и до трех часов ночи следующего дня неотступно был с ним, за исключением, конечно, тех минут, когда он ходил туда, куда и царь пешком ходит, тем более что и мне нужно было сбегать туда же. Поели мы только раз, в половине пятого. Шофер Гаврилова Милан выдал нам по два печенья, он всегда держит его в машине. Где мы только в тот день не побывали! В ушах у меня гудело от заданий, отчетов, докладов, рапортов. Мы провели четыре совещания, три раза поднимались к дробильно-сортировочной фабрике, спускались к экскаваторщикам, в общем, в тот день пешком и в машине мы проделали не меньше пятидесяти километров. Не говоря уж о том, сколько времени продолжалась оперативка в кабинете Бошнакова. Там все курили, и больше всех сам Бошнаков, хотя он непрерывно кашляет и вообще стал похож на печеную грушу. В десять минут четвертого Гаврилов меня освободил, а сам пошел в ТЭЦ узнать, как дела с ликвидацией аварии на третьем котле. Я направился в редакцию и уснул там, пока ровно без пяти восемь меня не разбудил Главный.

Не стану передавать наш с ним разговор, чтобы не отнимать у вас времени, скажу только, что мы обеспечили материалом целых восемнадцать номеров. Потом товарищ Гаврилов похвалил нас, но не буду распространяться. И тогда у меня возникла идея построить свой роман на образе товарища Гаврилова. То есть не конкретно на нем, а вообще показать подобного руководителя, изменив его имя, чтоб не узнали читатели. Композиция может получиться очень стройной: день большого руководителя и все те бесчисленные события, которые его наполняют. Это ведь уже само по себе целое богатство. Я набросал новый план (по правде говоря, это был распорядок того дня, который мы провели вместе с товарищем Гавриловым), начал было писать и вдруг остыл — вернее, испугался. Кто ты такой, ска-

зал я себе, чтобы впихивать всеми уважаемого руководителя в литературное произведение? Каждый немедленно его узнает и обвинит тебя в недобросовестности, нахальстве и измышлениях. Кроме того, сказал я себе, товарищ Гаврилов — человек, обладающий только одной точкой зрения, а в Низине сколько людей, столько и точек зрения, и оставить их без внимания, может быть, очень удобно, но совершенно несправедливо. Так что и от этой мысли пришлось отказаться. Я уже говорил о том, как трудна задача романиста, когда ему приходится иметь дело с такой кипучей действительностью, как Низина, когда он, движимый самыми благородными и бескорыстными побуждениями, хочет воссоздать ее в художественном произведении.

Потом мне пришло в голову взять по одному представителю каждой профессии, поровну мужчин и женщин, и распределить их так, чтобы все города и села Болгарии имели своих посланцев в Низине, то есть в романе, и показать точку зрения каждого, разумеется не вообще, а в его отношении к Низине. Получилось, что у меня должно быть около пятисот героев. А ведь каждая линия займет не менее пяти-шести глав, так что можете себе представить, сколько их будет — три тысячи глав. Даже если их сделать совсем коротенькими — а ведь не обо всем можно сказать коротко,— скажем, страниц по десять, то выходит, я должен написать тридцать тысяч страниц! Повесил я нос. Будь я даже Бальзаком, и то не одолел бы такую махину, я же не только не Бальзак, а, наоборот, еще должен овладевать литературной формой. Другими словами, мне придется учиться писать роман и в то же время писать его.

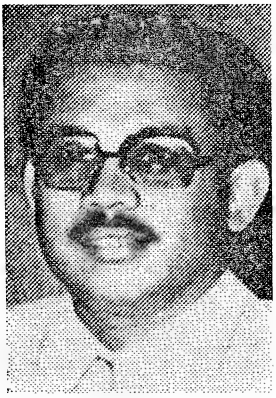
Впрочем, та мысль о двух реках — черной и красной,— о которой я недавно вам рассказывал, все-таки произвела на меня сильное впечатление. Не знаю почему, но однажды мне пришло в голову — я тогда пытался выбраться из своей романной безысходности с помощью природы — наслать на Низину миллиарды бабочек. И не каких-нибудь, а прелестных, нежных бабочек одинаковой расцветки, сверху красных, а снизу черных. Представляете, какой конфликт может возникнуть между прекрасной природой, с одной стороны, и Низиной, ее людьми, их трудовой и личной жизнью — с другой? Куда ни пойдешь — домой или на монтаж, в кабину самосвала или в столовую,— всюду на тебя обрушиваются (обрушиваются, наверное, слишком сильно сказано, а может быть, и слабо) миллиарды и миллиарды бабочек, сверху красных, снизу черных. В столовой вместо еды подают бабочек, из крана текут бабочки, повсюду бабочки — в сахаре, соде, удобрениях, поливинилхлориде...

Из-за этой идеи я несколько дней ходил будто заново рожденный. Переживал каждую самую маленькую подробность, представлял себе, как мои друзья и знакомые, рабочие всех специальностей, инженерно-технический персонал, руководящий состав и случайно попавшие в Низину люди ведут себя во время этого нашествия бабочек, можно даже сказать — бабочкиного потопа. Я перестал спать, записывая свои самые причудливые фантазии, пока в один прекрасный день, как и в прошлые разы, неожиданно не хлопнул себя по лбу: ну ладно, а что именно ты хочешь сказать этими бабочками? Когда мне задают такой вопрос, я сразу теряю дар слова, даже если речь идет о крохотной заметке или очерковом наброске. Особенно мне трудно объяснить, что я хотел сказать, после того, как я это уже сказал.

И вот, вдосталь наудивлявшись человеку, а затем природе, я пришел к заключению, что удивляться нужно природе, но не в ее живых формах растений и животных, суши и моря, а природе вещей, как говорил Энгельс. Может быть, это и есть то направление, по которому мне нужно пойти, чтобы, найдя идею и соответствующую художественную форму, написать роман о Низине и ее людях.

И если найду, то, может быть, я и в самом деле его напишу.

■



АНАНД МУЛЛУ

С английского

Мы познакомились с Анандом Муллу несколько лет назад, когда группа советских литераторов, включая автора этих строк, посетила Маврикий. Живой, общительный, гостеприимный, он охотно возил нас по своему небольшому живописному острову с его зелеными холмами, глубокими ущельями и водопадами, изумительно чистыми песчаными пляжами, омываемыми теплыми водами Индийского океана, с его ухоженными сахарными и чайными плантациями, отелями, виллами и крестьянскими хижинами.

По пути он рассказывал нам о жизни и культуре своего разноязычного (остров населяют выходцы из Индии и других стран Азии, а также из Восточной Африки) восьмисоттысячного народа, пережившего рабство и колониальный гнет и не ставшего, несмотря на обретенную политическую независимость, свободным экономически: плодородные земли, сахарные заводы и чайные фабрики — главное богатство страны — и теперь еще в руках частных иностранных владельцев.

Ананд Муллу читал нам свои стихи: о море, которое, «вздымаясь волнами, ползет на берег»; о человеке, ищущем «свою правду в людях и людскую — в себе»; о поэте («скажи, не ты ль предвестник бури, сеятель страха в нашем вертепе»); об истерзанной Африке, призванной бороться, а не смиренно «перебирать бусы, обрядившись в свои племенные одежды»; о Стране Советов — символе свободы, мира и справедливости.

Слушая нашего друга, мы начинали понимать, как далека реальная жизнь трудового люда Маврикия от идиллии, которая рисуется взору заезжего иностранца, впервые оказавшегося в этой стране.

Летом 1979 года А. Муллу участвовал в VI конференции писателей стран Азии и Африки в Анголе, по окончании которой посетил Советский Союз, где мы и встретились с ним во второй раз. Будучи гостем журнала «Иностранная литература», он передал нам книжку стихов под названием «Пепел и угли» («Ashes and Embers»), вышедшую на Маврикии на английском языке в 1974 году. Несколько стихотворений из этого сборника мы предлагаем вниманию читателей.

Ананд Муллу родился в 1936 году. Филологическое образование получил в Англии. Помимо литературных занятий, до 1976 года работал инспектором школ при министерстве просвещения Маврикия. В настоящее время — проректор Нью-Итон колледжа и советник муниципалитета города Бо-Бассен-энд-Розхилл. Один из основателей и руководителей Ассоциации писателей Маврикия. Автор ряда сборников стихов и рассказов («Смотри на тонущих», «Следы», «Прах времени»), а также брошюр и статей на политические и социально-экономические темы.

Уместно заметить, что, публикуя эту небольшую стихотворную подборку, мы впервые знакомим своих читателей с литературой Маврикия.

К. ЧУГУНОВ

Танец

Сквозь медленно капающее
время
Плавно струится
великая сила
Кипит над земной
разверстою твердью
Вздымаясь волнами
ползет на берег
Море
извечная танцовщица
Кружится
в неизменном танце
Под музыку
солнца и звезд

Поэт

Всеведущий бард
голос наших душ
метеор во мраке
скажи — не ты ли
предвестник бури
сеятель страха
в нашем вертепе?

Свечки во мраке

Мерцают
во мраке ночном
миллионы свечек
миллионы
жарких слезинок
струятся
струятся в молчанье
Горит
единственная звезда
Ослепляя жаркую ночь
мерцают свечки
мерцают и гаснут
слезы страданья
струятся
струятся

Мать-Африка

Мама
мать человечества
родина пирамид
в пустыне времен
дремота в очах
смерть в коленях
мрак
бескрайний
века
погибшие
Разорение
рабство
смерть в коленях
Стервятники
терзают твое сердце
терзают твоих сынов
пируют
Вспыхнул огонь
гремят барабаны
Мать пробудилась
сыны пробудились
черные любящие
сыны Африки
Матери-Африки
моей матери

Перебирать бусы

Мир болен
Невинность мертва
Правда мертва —
Мы в трауре.

А если вдруг
Сделать как хочешь
Сказать что думаешь?
Но это нарушит покой гниющих
В предсмертном успокоении.
Разве это свобода —
Уступать без борьбы
Без борьбы нет жизни!
Разве это свобода —
Надеть племенные одежды
Сидеть и перебирать бусы
Считая что все бесполезно?

Перевод В. АНДРЕЕВА

Человек

Атом
странствующий
по вселенной
Душа
плывущая
по водам
Порыв сомнений
брошенный
через
безмерность
мысли
Исчерпанный
конфликт
Напряжение
зрения
Новая энергия
освобожденная
из глубин
чтобы проникнуть
в звездные пределы
и выше
Новый человек
преодолевающий
сомнения
ищущий
Правду
скрытую
в гипотезах
видит
Большой Бизнес
пытающийся
вытеснить
традиции
отцов

Исполнение мечты

Что значит счастье
я понял
в стране Ленина
Судьба меня благословила
узнать что люди
там боготворят
мир справедливость
правду и прогресс
Я мог почувствовать
раскрепощенность духа
людей науки и искусства
серпа и молота
людей которые в единой воле
по зову сердца
служат человечеству
Да будет счастье
и с моим народом
О пусть оно придет однажды
к человечеству

Перевод В РОЗОВА

■

МАРИО БЕНЕДЕТТИ

Рассказы

■

Перевод с испанского Ю. ГРЕЙДИНГА

Исход

Исход начался, разумеется, по политическим причинам. За границей журналисты стали писать, что атмосфера в этой стране удушающая. И действительно, дышать было трудно. Иностранные журналисты сообщали, что репрессии в стране чудовищные. И действительно, они были чудовищны. Но то, что эти истины были открыты и разнесены по свету щелкоперами-чужаками, дало властям основание пламенно воззвать к национальной гордости. Ошибка правительства состояла, наверное, в том, что воззвать поручили президенту, а в последнее время, как только в радиоприемниках и на экранах телевизоров возникали его голос или изображение, все кидались выключать аппаратуру. Поэтому население так никогда и не узнало о высочайшем обращении к национальной гордости. И продолжало убывать.

Сначала уехали все подозреваемые, которые еще разгуливали на свободе. Затем уезжали родственники и друзья подозреваемых (тех, кто сидел и кто пока разгуливал на свободе). Поначалу, хотя эмигрантов было много, в портах и аэропортах гораздо больше было провожающих. Но в тот день, когда корабль с тысячью эмигрантов пришли проводить всего двадцать четыре человека, этот необычный факт попал на пленку бестактного иностранного фотокорреспондента, и публикация сего бесстрастного свидетельства в журнале, который расходится по всему миру, дала повод к новому патриотическому воззванию президента и, следовательно, к моментальному и превентивному выключению тех немногих приемников, у которых еще были радиослушатели, и тех редчайших телеэкранов, у которых еще были зрители. Любопытно, что правительство не могло справиться с этой пагубной привычкой, ибо во время энергетического кризиса само призвало население не скупиться на жертвы ради экономии горючего и электроэнергии. А разве можно пожертвовать бóльшим (предлог был именно такой), чем лишить себя возможности послу-

© Siglo XXI Editores, S. A., México, 1977.

МАРИО БЕНЕДЕТТИ — MARIO BENEDETTI (род. в 1920 г.).

Уругвайский прозаик, поэт, литературовед. Живет в эмиграции. Автор нескольких книг стихов, сборников рассказов, повести «Кто из нас» («Quien de nosotros», 1953), романа «Передышка» («La tregua», 1960), пьес и др. произведений.

В «Иностранной литературе» напечатан его роман «Спасибо за огонек» (№ 8, 9, 1969).

Публикуемые рассказы взяты из сборника «С ностальгией и без нее» («Con y sin nostalgia», México, «Siglo XXI Editores, S. A.», 1977).

шать просвещенный и просвещающий президентский голос? Тем не менее из-за этого случайного обстоятельства народ и на этот раз не узнал, что к его патриотическим чувствам взывали власти. И по-прежнему уезжал.

Когда подозреваемые, а также их друзья и члены семей эмигрировали в полном составе, поехали те, кто голодал, а их было немало. Последний опрос Гэллапа показал, что голодающие составляли 72,34 процента населения. Внушительная цифра, особенно если учесть, что остальные 27,66 процента — это большей частью военные, латифундисты, банкиры, дипломаты, члены «корпуса мира», мормоны и агенты ЦРУ. Голодающих, которые уезжали, было столько же или еще больше, чем подозреваемых или подозреваемых в подозрительности. Однако правительство не подало виду и в качестве контрпропаганды начало рекламировать по государственному радио и телевидению специальные продукты для похудания.

Однажды прошел слух, что в Австралии требуются квалифицированные рабочие. Немедленно в сторону Океании отплыли тридцать тысяч рабочих, каждый со своей женой, своими детьми и своей квалификацией. Все знают, что во всех концах мира крупные капиталисты моментально схватывают суть дела. В этой маленькой стране они ее тоже схватили и, поняв, что фабрики не смогут работать без квалифицированной рабочей силы, срочно пересмотрели свои планы и демонтировали промышленные установки да и отбыли с машинами, долларами, семьями и любовницами. В некоторых случаях они оставили в стране по одному служащему для рассмотрения налоговых претензий, но не оставили ни одного для уплаты.

В другой раз прошел слух, что в той же Австралии большой спрос на домашнюю прислугу. Немедленно в Сидней направились сорок тысяч служанок, горничных и т. д., и в этом «т. д.» — бывший мажордом, оставшийся без работы после похищения британского посла. В семействах скотоводческой олигархии дамы с четырьмя—шестью фамилиями тоже быстро схватили суть дела и, поняв, что без прислуги им самим придется стряпать, убираться, стирать (прачечные и химчистки уже несколько месяцев, как эмигрировали), драить раковины и унитазы, уговорили своих мужей срочно переселиться в мало-мальски цивилизованную страну, где при нажатии кнопки тут же сбегались бы служанки, которые говорят по-английски, по-французски, не имеют ни внебрачных детей, ни вшей, потому что здесь на звонок в лучшем случае появлялись одни вши. И еще неизвестно, долго ли будут появляться.

Нужно признать, что военные оставались до конца. Прежде всего, конечно, по велению долга, но еще и потому, что получали недурное жалованье. Однако желание сохранить насиженное место заставило их опубликовать особо оптимистичное коммюнике, в котором указывалось, что за истекший год на 35,24 процента сократилось число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Зарубежные газетчики с обычной злокозненностью попытались преуменьшить это несомненное достижение, напомнив, что ничьей заслуги тут нет, ибо с каждым днем на территории страны остается все меньше объектов для наезда. Единственная газета, перепечатавшая этот зловредный комментарий, была закрыта навсегда.

Да, военные (и заключенные, конечно, но по другим причинам) оставались до конца. Однако, когда исход начал принимать тревожный оборот и офицеры обнаружили, что все труднее находить молодежь для пыток (хотя они иногда восполняли нехватку, пытая осужденных по второму разу), они тоже, оказавшись в некотором роде безработными, начали искать повод для эмиграции. Исходившие от Великой северной державы приглашения в зону Канала на курсы антипартизанских действий расхватывались с благодарностью. Таким образом, приблизительно половина офицеров была «канализирована».

Вторая половина разделилась на два клана, которые принялись бороться за власть. Это продолжалось, пока один догадливый полковник не собрал в казарме своих товарищей по оружию и не посеял в них ужасное сомнение: «Зачем бороться за власть, если уже некем править? Над каким чертом будем мы осуществлять эту власть?» Результатом этих философских сомнений был исход на следующий день за границу девяноста процентов остававшихся офицеров. Те, что остались (почти все — зеленая молодежь из последних выпусков), оказавшись наконец без начальства, на радостях задумали сыграть на плацу в футбол, но когда заметили, что число верных слуг отечества не достигает 22, предусмотренных правилами ФИФА, решили отменить игру. А на следующий день и они покинули страну.

Последним из уехавших военных был начальник тюрьмы. Он отбыл, даже не простившись с политическими заключенными (но не забыв уголовников), и оставил ворота открытыми. Целый час заключенные не осмеливались приблизиться к воротам. «Это ловушка, чтобы уничтожить нас»,— сказал самый старый. «Это мираж»,— сказал самый близорукий. «Это психологическая пытка»,— сказал самый опытный. И решили не рисковать. Но когда прошел еще час, а извне вливалась лишь тишина, самый молодой из заключенных не вытерпел: «Я выйду». «Давайте все выйдем!»— прозвучало ему в ответ.

И они вышли. Улицы были пусты. Под деревом валялись два револьвера и автомат. «Я предпочел бы найти чурраско[1]»,— сказал самый толстый, но взял один из револьверов — по дурной привычке, наверное. И они двинулись, сначала с опаской, а потом довольно смело. «Все уехали»,— сказал самый старый. «Хоть бы арестантов оставили»,— сказал самый опытный. А когда все засмеялись, добавил: «У вас одно на уме, а я сказал это, думая о том, как заселить страну снова». «Вот заливает!» — раздались голоса.

За два часа они дошли до центра. На площади — тоже никого. Герой Отечества на своем упитанном бронзовом коне впервые за многие годы выглядел оптимистом. Впервые же монумент не был разукрашен голубиным пометом: голуби эмигрировали.

Тот, кто был с револьвером, налег на тяжелые деревянные ворота и осторожно проник во Дворец правительства. Остальные последовали за ним, несколько присмирев, потому что попали в совершенно недоступные им ранее места. В комнате на втором этаже нашли президента. Он стоял, засунув руки в карманы черного пиджака, и молчал.

— Добрый вечер, президент,— сказал самый старый. Кто-то незаметно передал ему подобранный по дороге револьвер.

— Добрый вечер,— ответил президент.

— Почему вы не уехали? — спросил самый старый.

— Потому что я президент.

— А-а!

Бывшие заключенные переглянулись: «Что же делать с этим кретином?» Но прежде чем нашлись с ответом, самый старый протянул оружие президенту.

— Сеньор, мы хотим попросить вас об одолжении. Застрелитесь.

Президент взял оружие, и все заметили, что рука у него дрожит. Но некоторые приписали это тому, что он слишком много курит.

— Знаете ли вы, что я христианин? А христианам нельзя лишать себя жизни.

— Все так,— сказал самый старый,— но не будем педантами. Вы правы, но только до некоторой степени. Вы христианин, сеньор президент, но христианин дерьмовый, а этому подвиду лишать себя жизни дозволено.

— Вы так думаете?

---

[1] Жаренное на углях мясо *(здесь и далее — прим. перев.).*

— Совершенно уверен, сеньор,— сказал самый старый.

Президент высморкался и поправил узел галстука.

— По крайней мере вы разрешите мне завязать глаза?

Самый старый оглядел остальных.

— Позволим ему завязать глаза?

— Да пусть завязывает! — сказали все в один голос.

Так как белый платок президента был уже грязен, один из бывших узников завязал ему глаза взятой со стола салфеткой. Тогда президент поднял руку с револьвером и, прежде чем приставить его к правому виску, хриплым голосом произнес:

— Прощайте, сеньоры.

— Прощай,— сказали все. В глазах их не было слез, но и радости тоже не было.

Выстрел прозвучал странно, как будто пуля шлепнулась в гнилую солому.

Еще стояло в ушах глухое эхо выстрела, когда послышались тамбурины первых юношей и девушек, которые возвращались.

Так на так

Педро Луис годом старше Хуана Томаса, но они настолько похожи, что все принимали их за близнецов. К тому же из-за скарлатины, да еще с осложнениями, Педро Луис отстал на год уже в начальной школе, и с тех пор они учились вместе и в колледже, и в лицее, и два года на подготовительном отделении архитектурного факультета, так что все привыкли видеть их всегда вместе. И товарищи и учителя, обращаясь к ним, прежде всего спрашивали, с кем же именно они говорят. На подготовительном их проделки вошли в студенческий фольклор; перед сессией они делили предметы между собой и каждый сдавал свой предмет дважды: один раз за себя, а другой — за брата. Они так и переходили с курса на курс, не отличаясь особым прилежанием. Их братская солидарность заходила так далеко, что не раз они по очереди обхаживали какую-нибудь простушку.

Только на третьем курсе их дороги разошлись — по политическим мотивам. Педро Луис принял влево, Хуан Томас — вправо. Ни тот, ни другой на теории не застряли, оба сразу окунулись в практику. Хуан Томас связался с некими антикоммунистическими группами, Педро Луис — с крайне левым подпольным движением. Только раз они попробовали объясниться, еще в начале пути, но понять друг друга не смогли, так что впредь и сама эта тема стала запретной. Оба продолжали жить в родительском доме — из уважения к старикам, которые не подозревали о разрыве; между братьями был молчаливый уговор не обнаруживать своих разногласий в домашних беседах. Хуан Томас знал от своих приятелей о нелегальных действиях Педро Луиса, а этот — от своих товарищей — об услугах, которые оказывал полиции его младший брат.

Еще через год Хуан Томас бросил учение и окончательно оформился в полицию. До Педро Луиса доходили слухи, что брат его приказывал пытать и сам пытал. Старший, наоборот, продолжал занятия, хотя и не так успешно: работа в организации отнимала много времени. Каждый из них не доверял другому, они шли по столь разным дорожкам, что уже никто близнецов не путал. Для товарищей Педро Луиса, хотя они и знали о грязном ремесле Хуана Томаса, ничего не значил его внешний облик; приятелям и коллегам Хуана Томаса, хотя они и знали, на каком поприще выступает Педро Луис (должно быть, неспроста они его до сих пор не арестовывали), и дела не было до их невероятного сходства. К тому же они различались уже и

одеждой: на Хуане Томасе почти всегда были рубашка, красный галстук, черная куртка, да еще портфель в руке, а Педро Луис, верный студенческой вольнице, щеголял в джинсах, свитере, неизменно с большой дорожной сумкой, которая болталась на плече.

Все произошло в субботу вечером. Накануне Педро Луис сидел допоздна над учебниками, так что после семейного обеда (суп на первое, потом равиоли, пиво) он решил немного поспать. Часочка ему хватит: только до трех, а потом — собрание с товарищами. Он проснулся в шесть, голова прямо-таки раскалывалась. На собрание уже не поспеть, ну и провались оно, Луис принял душ и побрился. Открыв шкаф, он увидел, что там не было ни джинсов, ни свитера, ни сумки. Молнией сверкнуло: «Этот сукин сын подсыпал мне чего-то в пиво!» Он представил себе товарищей, заседающих с Хуаном Томасом и поставляющих тому жизненно важную информацию, которой он и добивался. Было уже поздно куда-то бежать, кого-то предупреждать. Просто-напросто катастрофа.

Педро Луис вихрем ворвался в комнату Хуана Томаса. Открыл шкаф и не удивился, найдя там рубашку, красный галстук, черную куртку, обнаружил и портфель. В пять минут он переоделся, открыл портфель, проверил его содержимое и пулей вылетел из дома, даже не простившись со стариками. Такси доставило Луиса к «конторе» Хуана Томаса. Полицейские у входа поздоровались с ним как со своим, а он им подмигнул. В следующем коридоре встретился здоровенный детина и спросил, как прошло дельце, и он ответил: «Порядок!»

Окончательно сориентировался Луис, когда другой детина, одетый, как и он, в черную куртку, показал ему на закрытую дверь: «Шеф тебя ждет». Он осторожно постучал, и кто-то из-за двери пригласил войти. Шеф — без пиджака, энергичный, обливающийся потом — разговаривал с двумя типами. Увидев вошедшего, он спросил, прервав на мгновение разговор: «Ну как?» «Нормально, само собой»,— сказал Педро Луис. «Я уже кончаю. Подожди, расскажешь». Педро Луис отошел и встал спиной к окну.

Шеф быстро инструктировал этих двух. Было ясно, что ему хочется поскорее отделаться от них, чтобы услышать хорошие новости. Так что Педро Луис даже позволил себе роскошь не сразу раскрыть портфель, где лежал — сверкающий, грозный, совершенно равнодушный — пистолет Хуана Томаса, длинноствольный, тридцать восьмого калибра.

Призрак

Диане и Хуану, крупице их счастья.

С тех пор как Хорхе умер, Клаудия каждый вечер приходила сюда, к этой балюстраде. Казалось, ей приятно было смотреть на людской поток. Зрелые мужи с прямоугольными портфелями «дипломат», столь свойственными чиновникам; старики в том возрасте, когда без палки трудно обойтись; девушки, что пленительно покачивали бедрами; матроны с собачками, рабочие в комбинезонах, полицейские, нищие — все приходили и проходили. Стоя на этом приметном углу, где столько раз она ждала Хорхе, а он выходил из банка, чтобы встретиться с ней, Клаудия знала, была абсолютно уверена, что вот-вот (не угадаешь, когда именно) появится Хорхе, призрак Хорхе, который шагает среди прохожих, но гораздо симпатичней и стройней, чем все они.

Это был четкий образ, почти реальный, вот только прозрачный. Все в нем: костюм, руки, ноги, даже туфли — было прозрачным. Все кроме взгляда. Быть может, это потому, что последнее живое в Хорхе, что она помнила, были его глаза. А может быть, это все потому

что взгляд у Хорхе был горящий, пронизывающий. Во всяком случае, у призрака глаза не были прозрачными. Скорее наоборот, она сама становилась прозрачной, когда эти глаза (такие знакомые!) смотрели на нее. И так было не только в теперешнем мираже, раньше бывало точно так же.

Таким прозрачным был этот образ, что через него Клаудия видела остальных прохожих, как через цветное стекло; призрак был цветным. Так как синий костюм на Хорхе был прозрачным, она различала, например, его руки в рукавах, но и руки были прозрачными, они не заслоняли ни улицы, ни людей, которые были за ним.

Клаудия не тревожилась. Она совершенно не думала, будто в этом есть хоть что-нибудь от волшебства. Однажды вечером она рассказала обо всем Херману, он улыбнулся и тронул ее лоб пальцем: «Дело в том, что он у тебя вот здесь». Тогда она поймала его палец и положила себе на сердце: «И здесь тоже». Но оба знали (и особенно Клаудия), что этот образ складывался еще из многого и многого другого.

В свое время она плакала, конечно. Много плакала. Но сейчас она уже примирилась со смертью Хорхе. И все же призрак являлся каждый вечер, и она не могла не приходить на место встречи. «Вообще-то говоря, это у тебя неисследованная форма переживания горя»,— поставила диагноз Лидия, которая приходилась всего-навсего свояченицей светилу психоанализа, но зато со вкусом изъяснялась на профессиональном жаргоне. Клаудия согласно качала головой, но в глубине души знала, что нет. На самом деле горе она уже пережила и чувствовала себя совсем разбитой, «мешком ушибленной», как говорила племянница-подросток. «Вдрызг раскисла»,— говорила она самой себе, когда видела в зеркале, что боль затаилась не только в подглазьях (это-то нормально), но и в волосах, в губах, в шее. Трудней всего было примириться с тем, что Хорхе умер тогда, когда они были особенно счастливы вдвоем. Она никогда не ощущала Хорхе таким близким себе, как в то утро проклятого дня, когда он замолчал и застыл даже не на полуфразе, а на полуслове. Она еще ясно помнила звук этого слога живого, но еще не имела мужества вообразить, заставить звучать, хотя бы для самой себя, тот непроизнесенный, уже мертвый слог. Кончилось тем, что она примирилась и с этим расколотым словом.

Душевные силы возвращались понемногу. «Не мучай себя, не старайся взбодриться искусственно,— сказал ей Херман.— Ведь ты крепкая, и если дать пройти времени, просто дать ему пройти, вот увидишь, жизнь снова завладеет тобой». Так и случилось. Прошло время, просто прошло, и однажды утром, взглянув в зеркало, она устыдилась, найдя себя хорошенькой. Но — нашла-таки. Через несколько дней она заметила на улице, что кто-то внимательно смотрит на нее и что смотревший был молод («Зеленые глаза»,— отметила она, проходя мимо). И впервые за столько дней это было ей приятно. Еще через две недели прошла и неловкость от того, что ей все лучше.

Но она по-прежнему приходила на склоне дня, в тот же час, к той же балюстраде, чтобы подождать Хорхе — призрачного. Образ приближался вместе с прохожим, не опережая и не отставая, и уходил вместе с ним, взглянув на нее, это был знакомый, глубокий его взгляд.

Вообще-то об этом знали немногие: Херман, Лидия, Эктор. Но Лидия и Эктор уж очень волновались, когда она начинала разговоры про призрак. Наверное, им казалось, что эти видения могут вылиться в невроз или в обыкновенное душевное расстройство. Тогда они пытались обратить все в шутку, но тут же понимали, что Клаудии могло быть хуже от этого, и меняли тему.

А Херман слушал ее просто, как всегда, и если спрашивал: «Какой он был сегодня? Печальный, веселый?»— Клаудия знала, что в вопросе не было ни капли насмешки или шутки. Просто Херман хотел

знать, как сегодня выглядел Хорхе, прозрачный образ Хорхе. И это было нормально, потому что Херман тоже любил его. Когда Хорхе умер, для Хермана это значило то же, что потерять брата. Вот почему ей было так спокойно с ним — потому что оба вспоминали Хорхе без всяких предвзятых (или послевзятых) мыслей и даже смеялись иногда, когда припоминали о чем-нибудь неловком или смешном в прошлом, объединявшем всех троих.

Иногда после встречи с призраком Клаудия отправлялась в кино с Херманом. Она ходила в кино и с Эктором, или с Лидией, или с обоими вместе, но никогда после балюстрады. Потому что после встречи у балюстрады настроение у нее было каким-то особенным (не то чтобы грусть или печаль и не эйфория, но, во всяком случае, особое настроение), которое мог понять один Херман. Он знал, что, когда встречался с нею после балюстрады, полчаса не должен был разговаривать, и он точно соблюдал молчаливый уговор. Иногда она первой обращалась к нему, и тогда Херман поддерживал разговор. Но в этом случае вины на нем не было, потому что она заговаривала сама.

В один из таких вечеров они пошли не в кино, а домой к Клаудии. Херман бывал там и при жизни Хорхе, и потом. Но на этот раз они особенно хорошо понимали друг друга. Может быть, все началось, когда она предложила ему выпить: «Виски, водка, ром?» Он попросил водки и смутился. Она заметила это: «В чем дело?» — «Да нет, просто я подумал, что предпочитаю пить водку холодной. Не со льдом, а ледяную».— «Ясно. Она в холодильнике»,— сказала она, и он долго потягивал этот шедевр спирто-водочной культуры.

Потом они долго разговаривали, часа четыре. Немного о Хорхе, но Херман упомянул о политических взглядах Хорхе, и тема вскоре расширилась. «Что мне в нем нравилось,— сказал Херман,— всегда он был ясен, всегда конкретен. Никогда не подавлял своими знаниями. Я лично терпеть не могу, когда начинают затыкать тебе рот всеми великими всех времен и народов. Жуть. Чувствую себя тогда пигмеем. А с Хорхе было хорошо. Он тебя не давил. Ты думаешь, он толкует о совсем близком тебе деле, скажем о забастовке мясников, и только потом понимаешь, что он изложил собственное мнение о социальных отношениях в промышленности. Беседа с ним так и была беседой, а не трактатом с подстрочными примечаниями».

Клаудия тоже могла бы припомнить по этому случаю собственный опыт — например, бессонные ночи (он — в постели, опершись на локоть, с вечной сигаретой во рту, она — тоже с сигаретой, но по-турецки сидит, прислонившись к стене), когда они с Хохе вели долгие беседы о противоречиях между теорией и практикой, или о способе избежать элитарных заскоков в передовых рядах, или о том, как найти равнодействующую между рабочими и интеллигентскими уклонами, или (тема, которая ее прямо-таки завораживала) как отличить подлинный вкус народа от другого вкуса, извращенного, испорченного, продукта дурного стремления к легкой жизни, тщательно насаждаемого международной кликой подлецов. Иногда утро заставало их за этими беседами, и Хорхе закрывал «заседание», стукнув по будильнику за десять минут до звонка («чтобы не устроил нам истерику в восемь»). Потом целый день ходили сонные как мухи, но не жаловались.

Все это и перебирала в уме Клаудия, так погрузившись в себя, что не заметила взгляда Хермана. И вдруг он сказал: «Знаешь, что мне больше всего в тебе нравится?» Клаудия вздрогнула, потому что, во-первых, думала о другом, а во-вторых, потому что сразу ощетинилась перед ужасающей возможностью того, что именно сейчас Херман отпустит ей комплимент. Но он продолжал: «Что мне больше всего нравится, так это то, что ты держишь водку в холодильнике». Клаудия обезоруженно засмеялась. И с этого критического момента их взаимное доверие стало много значить для обоих.

На следующий день призрак Хорхе ненадолго задержался. Клаудия, опершись на балюстраду, терпеливо ждала. Она знала, что он придет. Так и случилось: возникнув между чистильщиком сапог и человеком в сером плаще, появились вдруг призрак и взгляд Хорхе. Взгляд остановился на ней вроде бы улыбаясь. И исчез раньше, чем обычно.

Позднее они встретились с Херманом и пошли в кино. Фильм был таким грустным, что Клаудии пришлось взяться за руку Хермана. Потом фильм перестал быть грустным, но руки остались вместе. Клаудии показалось, что ее кожа вдруг проснулась. Рука Хермана внушала уверенность. Она была и простодушной, но, главное, внушала уверенность. Выйдя из кино, долго ходили по улицам не разговаривая. Клаудия только так умела привыкать к новым ощущениям.

На следующее утро она посмотрела на себя в зеркало и обнаружила, что выглядит такой же, как при Хорхе. Она не почувствовала ни неловкости, ни вины. Как обычно, она пошла к балюстраде. Люди то ли больше спешили, то ли были более нервными, напряженными, чем обычно. Где-то слышались пронзительные сирены «скорой помощи», пожарных или полицейских машин. Она никогда их не различала: все они пугали. Пробежали какие-то мальчишки. Какие-то люди поглядывали на нее, безуспешно прикидываясь равнодушными. Вдруг ей показалось, что в середине толпы она видит Хермана. Сначала она даже не поверила. Но это действительно был Херман. Он взглянул в сторону балюстрады, и Клаудия махнула ему рукой. Ей понравилось, что он решился прийти к ней сюда, именно сюда. Подняв обе руки, он еще издали дал ей понять, как рад встрече. Подойти ему было трудно: слишком много народу, много автомобилей. К тому же была пятница, а по пятницам весь мир как будто вырастает и одновременно становится тесным.

Наконец Херман прорвался сквозь толпу. Он взбежал по ступеням — через две сразу — и добрался до балюстрады. Он поцеловал ее в щеку, как всегда, но и положил руку на плечи. «Какой он высокий»,— мелькнула мысль. Они медленно удалились. Издали казалось, что это парочка. Вблизи — то же самое.

Только отойдя на два квартала, Клаудия осознала, что прозрачный образ Хорхе не пришел на свидание. И тогда она поняла, что отныне, даже если она будет приходить к балюстраде, Хорхе не появится. Она была уверена. Больше он не вернется. Он взял на себя трудное задание и выполнил его. Нет, он не вернется. Она-то его знает.

Мелкобурж

Иногда ему казалось, что его собственные крики вырываются из другой глотки, и только тогда ему удавалось уйти от своей бессмысленной, неистовой боли. Хотя тело его сжималось и растягивалось («как мехи бандонеона[1]»,— пришла ему мысль), он уже почти мог ощущать его чужим. В отличие от других, сказавших «не знаю» и не заговоривших, и особенно в отличие от немногих, сказавших «не знаю», но заговоривших, он предпочел открыть собой новую категорию: сказавших «знаю», но которые не говорят. Теперь этот тип вроде выпускает из рук машину, а машина отпускает его тело, но он знает, что полагается еще пинок в пах. Это уже ритуал. А вот и пинок. Он еще не настолько отделился от своего тела, чтобы не чувствовать ритуального пинка. В это мгновение он ощущает свои семенники не как нечто чужое, а как что-то непоправимо свое. Выход один — скорчиться. «Так, значит, Мелкобурж?» — цедит тип через ухмылку-зевок. Выходит, и это знают. Мел-

[1] Музыкальный инструмент типа гармоники.

кобурж. Прозвище родилось в кафе галисийца Солера в тот вечер, когда Эладио увидел принесенные им книги и спросил, что он читает. Официант поставил на них поднос с поджаренными хлебцами, пришлось сдвинуть поднос с книг, чтобы сосед увидел на обложках имена авторов: Гессе и Мачадо. «Так, значит, Мелкобурж? Кличка неплоха!» — снова ухмыляется тип, наверное подмигивая своим молчаливым сообщникам. Тогда стал он постепенно распрямляться, понял: теперь будет передышка. «Не знаю, как ты, мерзавец, а я выдохся. Отдохнем часок, а потом снова за дело, как находишь?» Подождал он, когда хлопнет дверь и затихнут шаги всех пятерых. И вытянулся на грязном полу, где к вони надетого на голову капюшона, от которого несло потом и рвотой, присоединялся запах крови, своей и чужой. «Мелкобуржуазное чтиво»,— вынес приговор Рауль, а он пожал плечами. Да, но эти книги ему нравятся. Эладио стряхнул пепел в чашку и ложечкой прижал мокрый использованный пакетик чая. Потом, довольный, улыбнулся. «До тебя, Рауль, еще не дошло, что Висенте не только увлекается мелкобуржуазной литературой, но и сам он — мелкий буржуа». «Мелкобурж»,— отозвался Рауль, и все засмеялись. С того вечера вся компания звала его так. Только некоторые девушки, с вечным этим женским пристрастием к уменьшительным именам, звали его Буржиком. Все они учились на юридическом, а он был единственным, который еще и писал. Не одни стихи, как какой-нибудь неофит в литературе,— он писал и рассказы. Говорил он мало, зато любил слушать. Теперь, когда боль вроде отступила на миллиметр, он может припомнить, как он любил слушать. А слушая, рассматривал говоривших, мысленно набрасывал их портреты, делал прогнозы, ставил диагнозы. Будучи робким, никогда и никому он не показывал написанного. Приходилось почти вырывать рукописи из его рук, и тогда кто-нибудь (обычно кто-то из девушек) громко читал их. Затем начиналось обсуждение. «Мелкобурж, ты прогнил. Ты слишком смакуешь красивое». Он спрашивал, не имеют ли они в виду женщин. Девушки аплодировали. «Нет, тут все в порядке. Это единственная красота, которая еще и необходима». Хитрец. Демагог. «Я имел в виду только вещи, предметы. В твоих рассказах, когда описывается, скажем, картина, кресло или шкаф, ты, правда, не расцвечиваешь их прилагательными, но все равно понятно, что это красивые вещи».— «Чего ж ты хочешь? Мне нравятся красивые вещи, а тебе разве нет?» Вот это подколол так подколол! Сколько он вытерпит еще? Он знает, что не заговорит, но сколько еще до смерти? «Не в том проблема — нравятся или не нравятся, все это субъективизм. В мире есть еще и некрасивое, не так ли?» Он спросил, нравятся ли ему некрасивые вещи. «Не в том дело, повторяю. Проблема в том, что они существуют, а ты их игнорируешь». Кто это ему сказал, что игнорирует? Они тоже встречаются в рассказах, но только их не замечают, привлекает внимание лишь красивое. «Мелкобурж, у тебя в идеологии такие лакуны-лагуны, ну прямо океаны». Может быть, признавал он, но просил их заметить: лагуны обычно спокойны, а океаны бурлят, и еще как. Вообще ему удается выдержать самое большее два сеанса машины. Справа как будто уже ничего нет. Зато слева как болит, сволочь! Когда возникла организация, он хотел вступить, но не пришлось. «Мы тебя любим, старик, но в наши времена симпатии привилегий не дают». Эладио первым подметил, что аргумент недостаточен. «Послушай, Мелкобурж, я хочу быть откровенным с тобой. Члены организации недовольны, понятно?» А ему все было непонятно. «Может быть, я ошибаюсь, я не претендую на непогрешимость, но у тебя много пороков — во вкусах, в привычках, в том, что ты читаешь, и даже в том, что пишешь». Потому что писал о красивом? «Не только поэтому. Например, в твоих рассказах совсем нет рабочих». Действительно, не было. «А это плохо. Если бы ты понимал, что рабочий класс...» Он понимал, понимал. «И что же?» Он пытался

объяснить им, что в его рассказах не было рабочих просто потому, что он испытывал к ним уважение. И еще: «Ты знаешь, я из семьи со средним достатком?» — «Это и заметно».— «Я никогда не жил в рабочей среде. Сколько раз я пытался вывести работяг в своих рассказах! Да не получается. Перечитываю потом отрывок и вижу — фальшь. Я, видимо, еще не подобрал ключа к их языку, понимаешь? Я не пишу о рабочих, чтобы избежать пустозвонства. Я ведь знаю, когда трудяги разговаривают, они не пустозвонят, а уж когда действуют...» Тут собеседник ставил в пример рассказы Росси, у которого уже изданы две книги. «Он тоже из среднего класса и тем не менее пишет о рабочих». Ему в самом деле нравятся рассказы Росси? «Это другое дело. Ты все субъективизируешь: нравится, не нравится. Сам этот вопрос мелкобуржуазен». Он был прав: вопрос по меньшей мере субъективен, один ноль в твою пользу. А все-таки нравятся или нет? «Вот пристал! Я не разбираюсь в литературе». Это-то ясно, но нравятся? Наконец признание: «Скучные они немного. Но я ведь не разбираюсь». Ему было скучно не потому, что не разбирался, а потому что они пустозвонили; потому что эти персонажи были не живые люди, трудяги, а схемы. Даже схемищи. А боль была не схемой, а безысходной реальностью. Это тоже мелкобуржуазная позиция — ощущать чертову боль? Верно, стоит заняться самокритикой: надо же — сказать, что знает! И зачем? Он и сам не сознавал четко, много ли и важное ли он скрывал, упрямо отказываясь говорить. Быть может, он заявил, что знает, только лишь чтобы испытать самого себя, доказать, что может вынести все и никого не выдать? Туда его не взяли. Из-за его лагун-лакун, ясно. Кроме того, в организацию мелкую буржуазию не берут. Но он все равно продолжал ходить в кафе. Немного смеялись над ним, а немного и уважали. Особенно за незлопамятность. А однажды, когда они пришли слишком рано и сидели вдвоем за столом, Мартита, одна из самых красивых девушек в компании, с виноватым видом спросила его, о чем эти книги, которые он всегда читает. И он процитировал ей несколько стихов Мачадо: «Ну вот и весна к нам явилась. Кто знает: как это случилось?»[1] И еще: «Я думал — угас мой огонь, разворотил золу и опалил ладонь»[2]. А когда Мартита неуверенно спросила: «Мачадо — мелкий буржуа, как и ты?» — он был вынужден уточнить, что это он мелкий буржуа, как Мачадо. Приоритет — за маэстро. Тогда Мартита покраснела и сказала, опустив свои потрясающие черные глаза: «Не говори этого ни Эладио, ни Раулю, но мне нравятся такие стихи, Висенте». Она не назвала его ни Мелкобуржем, ни даже Буржиком, а просто Висенте. Он по-дурацки улыбнулся, но действительно был тронут. И за себя, и за Мачадо. И все. Тут появился запыхавшийся Рауль. Уже не до стихов. Обрушились репрессии. Полицией схвачен Эладио: его взяли при выходе с лекции. Так что поступило указание — испариться. И они испарились. Мартиту он никогда больше не видел. Через неделю кто-то пустил слух, что Эладио выдает, но этому он не поверил и сейчас не верит. В официальных сообщениях всегда дают понять, что все «раскалываются». Но выдает один из ста. Хотя он страдает как каторжник (А разве он не каторжник? Никогда не думал, что штамп может превратиться в реальность), однако в глубине спокоен, он равно уверен в том, что не станет этим единственным из ста, и в том, что умрет. «Так что ж — так и умрет с тобой твой мир, твой новый след на старом белом свете? Горнила жаркие твоей души — на прах земной работают, на ветер?»[3] Так и не может он отделаться от старика Мачадо. Попался и не мог тому поверить. Он не сражался. По сути, ему не дали сражаться. Уже дней двадцать, как он попался, а может быть два месяца или четыре дня? Под капюшоном трудно

[1] Перевод М. Самаева.
[2] Перевод В. Столбова.
[3] Перевод П. Грушко.

считать дни. Он ни с кем не разговаривал, то есть ни с кем, кроме типа, который ежедневно показывает ему небо в алмазах. Еще один штамп, обернувшийся правдой. Когда запускают машину, а он зажмуривает глаза — всегда сыплются искры-алмазы. Строго говоря, разговаривает — допрашивает и оскорбляет — другой. Вначале он говорил «нет», потом только мотал головой. Теперь отвечает молчанием. Он знает, что еще больше выводит из себя другого, но это уже не важно. Вначале ему было стыдно за свои слезы, а теперь нет, было бы глупо тратить силы, чтобы сдерживать слезы. И он не проклинает, не сквернословит. Он знает, что это тоже приводит в бешенство другого, но это тоже не важно. Зато он создал себе крошечное убежище, где царят его собственные правила игры. И одно из этих правил (не входящее в планы другого) — умереть. И он уверен, что навяжет им свою игру. Он обведет их вокруг пальца, даже ценой смерти. У него уже нет ни мускулов, ни нервов, ни жил, ни кожи. Одна только расплывшаяся боль, что-то вроде гигантской тошноты. И он знает, что изрыгнет все что угодно (от мерзкой пищи до жалких своих легких), но только не имена, не адреса, не телефоны, которых требует другой. Они могут быть хозяевами своей «пиканы», своих пинков, своей «субмарины» (мокрой и сухой), своего станка-«кабальете»[1], жестокости своей в конце концов. Но он — хозяин своего отказа и своего молчания. Почему так четко послышались шаги в коридоре? «Господа, начинаем очередное, третье, заседание». Отдаст концы на этом? Самое позднее — на утреннем. Последние два раза он терял сознание и, пока медленно приходил в себя, слышал, как долго и трудно было им возвращать его к жизни. Именно поэтому он ощущает себя сильным. Все его чувства напряжены для победы в этой последней битве. Под капюшоном мерцают иногда перед ним лица родителей, чердак, на котором он обычно занимался, деревья на его улице, окно кафе. Но уже нет места печали. Есть только немного горечи, последней, наверное,— конечно, ребята никогда не узнают, что Мелкобурж (Висенте — для Мартиты) умрет, не назвав их. Ни их, ни Мачадо.

Исповедь

На мне два греха, падре. Первый знаете какой? То, что я уже два года не исповедуюсь и не причащаюсь. Второй — так просто не скажешь, долго объяснять придется. Но надо же кому-нибудь рассказать. Мне нужно выговориться, падре. Об этом не скажешь ни подругам, ни сестрам, потому что это секрет. Строжайший. А уж меньше всего — жениху, вы сейчас поймете почему. Так что я решила: кому же, как не падре Моралесу. Во-первых, потому что вы были очень добры ко мне еще там, в другом приходе. Это во-первых. А еще потому, что вы обязаны хранить тайну исповеди. Или я ошибаюсь? А, ну хорошо. И еще: совесть у меня неспокойна. Как бы это сказать, падре, кажется, я впала в грех и боюсь, что в смертный. У вас есть сейчас время? Потому что, если нет, я приду в другой раз. Дело в том, что это довольно долго рассказывать. Ну, раз время есть, начну с начала. Вы знаете, я уже пять лет работаю в мужской парикмахерской «Ever Ready». Клиенты все очень хорошие люди, вежливые, настоящие кабальеро. Это я по рукам вижу. Кожа нежная, понимаете, падре? И хозяин не разрешает клиентам шашни заводить. Этим-то и опасна моя профессия. Раз тебе неизбежно приходится касаться рук клиента, он иногда воображает себе невесть что, к тому же у меня кожа тоже очень нежная, и они думают, что это не просто

[1] Орудия пыток.

профессиональные движения, а полуласка. Наш хозяин очень достойно держится и, пока стрижет, все поглядывает на тебя. Не то что в другой парикмахерской, «Салон Эусебио», там скорее поощряются поползновения клиентов. Поэтому я и переменила работу. Еще надо учитывать, что «Ever Ready» посещают не только банкиры, управляющие, депутаты, советники, даже министры иногда, но и дипломаты. Эти-то всегда хотят, чтобы их руками занималась я. Не знаю, может, у них свободного времени больше. Или денег. Есть еще полудипломаты. Я хочу сказать, они-то говорят, что не дипломаты, но я-то вижу, что да. Как раз моя история и началась из-за одного такого. В парикмахерской его зовут мистер Сооpег («Ку́пер» произносить нужно), а по имени никто не знает. Всегда он ко мне подсаживался, хотя нас там три маникюрши. Очень уважительный. По-испански говорит прекрасно, ну, конечно, есть слова, которые он плохо выговаривает. Иногда он говорил о погоде, о кино, о своей стране, о Пунта-дель-Эсте, но обычно молчал, рассматривал меня, пока я работала. Я от этого не нервничаю, потому что привыкла уже за столько лет. Маникюрша, падре, это почти как актриса. Только что публика — всего один человек, да аплодирует исключительно глазами. Так вот, однажды вечером мистер Купер говорит мне: «Сеньорита (он никогда не звал меня Клаудией, как остальные клиенты, а очень уважительно: сеньорита), есть одна высокооплачиваемая работа, где требуется два качества: красота и сдержанность. Первое у вас несомненно есть, а что касается второго — не знаю». Я немного растерялась, потому что это и было и не было комплиментом. Будто он сказал мне: «Вы — красотка, да мне-то что до этого». Ну ясно, в тот момент главным для меня было не упустить возможность. Разумеется, если речь идет о честной и нравственной работе. Вот видите, падре, я не пропустила мимо ушей ваши советы. Тут я сказала ему, пусть справится у хозяина, могу ли я держать язык за зубами. «Я уже справился,— ответил он,— но я хотел бы знать, что сами вы о себе думаете». Вот сложности какие. Речь шла об очень конфиденциальной работе, требовавшей большой осмотрительности. Задавал мне много вопросов о политике. Представляете, падре? Это мне-то о политике! О марксизме и демократии, о свободе и о всяких таких вещах. Я вообще об этом мало знала. Все же он, похоже, остался доволен, потому что назначил мне встречу в своей конторе. И посоветовал: «Никому об этом не говорите, сеньорита». Так что я не могла даже с хозяином обсудить это. Я воображала, что все будет как в шпионском фильме, очень волнующе. Но все было просто, по крайней мере сначала. Всего-навсего нужно было сходить куда-нибудь то с одним, то с другим сеньором, обычно иностранцем, и вытянуть из него некоторые данные. Ничего существенного: просто сведения о семье. Уже в первый раз я разузнала все, что хотел мистер Купер. Проще простого. Мне отвалили кучу песо. За три месяца я исполнила пять или шесть таких поручениц, и дела-то было всего — пойти поужинать, потанцевать и раздобыть сведения. Для жениха нужно было изобрести какое-нибудь объяснение, и я, с разрешения мистера Купера, сказала ему, что начала работать на агентство, которое обслуживает иностранных туристов. Не знаю, как это делал мистер Купер, но он очень ловко организовывал мою работу. Выполняя задание, я получала намного больше, чем в парикмахерской, но маникюром я не бросила заниматься, не только на всякий случай, но и потому, что мистер Купер советовал сохранить за собой место. Все было прекрасно, пока не дошло до истории с кубинцем. С самого начала я поняла, что на этот раз все будет иначе. Однажды вечером мистер Купер пригласил меня в свою контору и говорил часа два, прежде чем ясно сказал мне, в чем дело. Сначала он объяснил мне все про Кастро и его сторонников и про то, какую опасность для Свободного Мира они представляют: эти люди — коммунисты, и из самых скверных, они отнимают детей у матерей,

чтобы отправить их в Россию, а всех, кто не коммунисты, ставят к стенке. Ну ясно, все это я находила ужасным и так ему и сказала. Тут он замолчал. Посмотрел на меня пристально и спросил: «Простите мне нескромность, сеньорита, но я должен это выяснить, чтобы знать, могу ли я доверить вам поручение, гораздо более важное на этот раз: вы девственны?» Вот это вопрос, падре, вот это вопрос! Я сказала: «Но, мистер Купер...» — и тогда он очень деликатно, с большим тактом объяснил мне, что я не обязана отвечать, но в этом случае, ясно, он не сможет поручить мне новую работу, которая была бы оплачена выше обычной. А я действительно уже привыкла к своим новым доходам. С другой стороны, все так вздорожало сейчас, денег ни на что не хватает. Я не девушка, и вы это лучше всех знаете, падре, потому что я приходила на исповедь и все рассказала вам. Но это было только с женихом. Ну да, знаю, падре, это не может оправдать греха, но вы же не будете отрицать, что это гораздо менее греховно, чем если бы это было с посторонним. И я сказала мистеру Куперу или как его там зовут: «Послушайте, сеньор, я не должна была бы говорить этого, но я девушка. Что вы там себе вообразили?» Ну да, падре, это ложь, но ведь он не священник, как вы, и, значит, не обязан хранить тайну. К тому же в шпионских фильмах компрометирующие разговоры всегда записывают на пленку. Зато вы, священники, не записываете. По крайней мере я в это верю. Нет-нет, падре, я не беспокоюсь. Просто к слову пришлось. Как я ему сказала, что я девушка, он обрадовался, ну прямо возликовал. И только тогда стал посвящать меня в дело или, вернее, в то, что я тогда считала делом. Так вот, в кубинском посольстве работал один очень хороший молодой человек и, понятно, очень страдал, но так как он ощущал себя пленником коммунистов, он не решался бросить все. Из страха, что его убьют, бедняжку. Уже потом я узнала, что он был шифровальщиком. Мистер Купер сказал мне, что они (по сути дела, я и сейчас не знаю, кого он имел в виду, когда говорил «мы») хотели помочь ему спастись. А мистер Купер в свою очередь хотел, чтобы я им помогла. Как? Ни больше ни меньше, как соблазнив молодого человека. Поэтому и было так важно, девушка ли я, чтобы он ничего не заподозрил, то есть чтобы не принял меня за профессионалку. «У каждого из нас есть нечто глубоко личное, что можно предложить демократии и христианскому миру,— сказал мне мистер Купер.— Вы можете предложить свою красоту. Это ваше лучшее оружие и лучший аргумент». Опять я почувствовала, что это и комплимент, и нет. И все же то, что он мне сказал, было в некотором смысле важно для меня. Падре, с вами я могу быть откровенна: я знаю, что я не только красива, но и, как бы это сказать, прямо создана для любви. Не для божественной, как вы, а для человеческой, которую священники называют плотской. Даже больше скажу: временами меня беспокоит, что я уж слишком для этого создана. Так вот, один из способов покончить с этим беспокойством — это придать ему духовный смысл. Ведь что мистер Купер просил у меня? Чтобы я совершила поступок (обычно считающийся греховным, если смотреть на это трезво), который послужит возвышенной и высокоморальной цели. Я подумала пять минут и согласилась. Нет, падре, это не тот второй грех, о котором я вначале вам сказала. Я не считаю это грехом, падре, не знаю, как вы думаете, но я помню, что еще в другом приходе вы нам всегда говорили, что нужно иметь решимость на величайшие жертвы, чтобы защищать христианскую мораль, бороться против коммунизма и (я же прекрасно помню!) прочих обличий антихриста. Это и есть моя жертва. Так что это не грех, я уверена. Нет, пожалуйста, не прерывайте меня сейчас, падре, сначала дайте рассказать всю историю. Одним из способов помочь молодому человеку — подтолкнуть его, чтобы он ушел из кастровского посольства и попросил убежища,— было сделать так, чтобы он влюбился в меня. Во всяком случае, так мне сказали. Потом все

случилось немножко не так. Была еще одна деталь, тут мистер Купер поступил нехорошо: не сказал мне, что кубинец женат. Заметьте, падре, это сильно меняет дело. Нет, и не в этом вижу я грех. Но об этом все же следовало сказать мне. Правильно? Я буду покороче. Да, он влюбился в меня. Безумно. Когда мы встречались в квартире одного из его друзей-уругвайцев (да, падре, мы встречались) и лежали рядом после того, как занимались любовью (ну ясно, мы занимались любовью, падре), он говорил мне такие красивые слова, сравнивал меня с цветами и растениями, которых я не знаю, даже названий которых я не слыхивала и не вспомню сейчас. Эдуардо (потому что его зовут Эдуардо) был так поглощен своей любовью ко мне, что ему некогда было говорить со мной о политике. Но однажды поговорил. Вообразите мое удивление, падре, когда я узнала, что он не хочет бросать свою работу и что, наоборот, очень одобряет и кастроизм, и «стенку», и все такое. И избавиться он хотел от своей жены, а не от коммунизма. На следующий день я пошла и сказала об этом мистеру Куперу, а он заверил меня, что Эдуардо говорит так потому, будто боится, что я пойду и расскажу. Но я-то уверена, что не внушала ему опасений. Ни малейших. Вот желание я ему внушала, и еще какое! Простите, падре. Но опасений — никогда. Так что не убедил меня мистер Купер. Эдуардо иногда молчал, глядел в потолок, но никогда не уходил в себя настолько, чтобы не ласкать меня. Он так хорошо ласкает. Признаться, мне нравилась работа, но я не понимала, чего же хочет от меня мистер Купер. В субботу я первой пришла в квартиру (у нас у обоих ключи), а Эдуардо, который со мной всегда был пунктуален, все не приходил. Наконец появился, опоздав часа на два, бледный, взволнованный. Сначала не хотел сказать мне, что происходит. «Служебные неприятности»,— говорил. Потом мы легли. В тот день он делал это как в отчаянии. Чуть позже все мне рассказал. Так вот, шел он один по Восемнадцатой и вдруг, у перекрестка с Ягуароном, услышал, что его подзывают из стоящей у тротуара машины. Он подошел. В машине были два типа. И один из них спросил, без всякого вступления, хочет ли он сотрудничать с ними. Он поинтересовался: «А вы кто такие?» «Это мы, и точка»,— ответил один из них и показал ему пачку денег. Эдуардо говорит, там было тысяч пять долларов. Все бумажки — по сотне. «Это только половина того, что тебе причитается, если будешь работать на нас». Эдуардо говорит, что он совершил ошибку, спросив, чего они от него хотят. «Шифры»,— сказал человек. Эдуардо ответил: ни за что — ни за эти, ни за какие другие деньги. Тогда второй человек, который до этого не открывал рта, вытащил из кармана фотографию. На фотографии были мы с Эдуардо, выходящие из одного дома, не из квартиры, а из дома свиданий (потому что первые два раза мы встречались именно в доме свиданий). «Если будешь упрямиться и не поможешь нам, пошлем это твоей жене. Так что подумай хорошенько». Тут один из них вышел из машины, пошел за угол, где женщина торговала бананами, купил у нее три штуки и вернулся к машине. Один банан он протянул Эдуардо, и он так нервничал, что взял. Тогда этот тип говорит: «Мы сфотографировали и эту демонстрацию дружеских чувств». «Зачем?» — спрашивает Эдуардо. «Чтобы отправить твоему правительству, пусть убедятся, с каким удовольствием ты принимаешь бананчик от нас». Потом его высадили из машины, сунули ему в карман пачку долларов и отпустили. Поэтому он и опоздал. Я поняла, что он не подозревает меня ни в чем. Бедняга не знал, что я некоторым образом участвовала в операции. Я спросила, что он собирается делать, и он сказал, что отдаст деньги в посольство и все расскажет. «А твоя жена?» — «К чертовой матери мою жену!» Извините, падре, но он так и сказал. И мне даже понравилось, как он это сказал. Потом я ушла. Взяла такси, и, хотя была суббота, я подумала, что мистер Купер, наверное, работает в своей кон-

торе, так что туда я и направилась. Да, он работал. Я рассказала ему все, что услышала от Эдуарда, но мне показалось, что он уже все знал. «Нехорошо это, мистер Купер,— сказала я,— вы не имеете права заставлять меня делать такие вещи. Никогда мне не было так не по себе, поверьте. Одно дело, что этот молодой человек коммунист, и я все более убеждаюсь, что он хочет им быть, и совсем другое — что меня впутывают в подобный шантаж». Пока я не произнесла слова «шантаж», мистер Купер улыбался, но с этого момента лицо у него изменилось. Он, который всегда был такой уважительный, пробормотал что-то по-английски, а потом рявкнул: «Довольно глупостей!» Я вот такие глаза сделала, потому что не ожидала подобной грубости, а он добавил: «Можете быть спокойны, вы никогда больше не будете работать со мной. И знаете почему? Потому что слишком глупы. Все же я надеюсь, что вашего скудного ума хватит, чтобы понять, что нельзя ни с кем говорить об этом деле. Ни с кем, ясно? Если проболтаетесь, у нас есть средства узнать об этом, и тогда берегитесь». Я расплакалась, падре, не могла сдержаться, но этот человек — бесчувственный, совершенно бесчувственный. Вы думаете, он смягчился? Как бы не так. Еще раздраженней он добавил: «А с этим дураком — и не пытайтесь встретиться. Запрещаю, понимаете? Вот ваши деньги». Я увидела всегдашний конверт, может быть, потолще, чем в другие разы. Но не смогла его взять. Не смогла. Оставила на столе и вышла. Это было в прошлую субботу, падре. Видите, а я все плачу, когда вспоминаю. Это было унизительно. Мне нравится Эдуардо. Но я никогда не увижу его. А этого я не вынесу. И вот он, мой второй грех, хоть я и не уверена, что это грех. Скажите мне откровенно, падре Моралес, как вы думаете, это смертный грех — влюбиться в женатого коммуниста?

■

БОРИС ХРИСТОВ

Вечерняя труба

Жизнь нами вертит — и ранит и лечит,
на трудной дороге стираем мы ноги...
Но в час, когда с неба спускается вечер,—
беру я трубу и сажусь на пороге.

Довольно у стен мне этих скитаться,
как скитается эхо колокольного звона.
Должна, наконец, тишина взорваться —
в ответ пусть крик прозвучит удивленный!

Хочу, чтобы вспыхнул внезапный ветер —
пускай распахнет он окна бесцветные.
Хочу я помочь вращаться планете
под марши сверчков — марши победные.

И проволоку, за которой скрывается
ваш дом,— я разорву своей песней.
Хочу соседу, что глухим притворяется,
слух возвратить — с радостью вместе.

Хочу, чтобы руки себе связал
вор. Чтобы бездушный обрел снова душу.
Хочу, чтоб упала моя слеза —
и вспыхнули чьи-то глаза потухшие.

Хочу, чтобы ярмарки пестрой потеха
вернулась — пусть птицы взметнутся в испуге.
Хочу, чтоб умирал от смеха
тот, кто умирает от скуки.

Хочу над погибшими стоять, как на страже,
до утра глядя в кромешную темень.
А спящим пускай моя песня скажет,
что выспаться будет время...

Я буду играть до ночи глубокой,
пока не разбудит немые обители
голос тысячи труб далеких...
Или, быть может, архангел невидимый.

БОРИС ХРИСТОВ (род. в 1945 г.).

Болгарский поэт. Автор сборника «Вечерняя труба» («Вечерен тромпет», 1977), где были напечатаны стихотворения «Вечерняя труба» и «Свадьба мамы».

Свадьба мамы

Ушел, и следы пыль покрыла седая,
утонул в буйных травах, исчез за холмами...
Вот уже двадцать лет я отца ожидаю,
и двадцатилетней с ним встретилась мама.
Приходят мужчины, что живут по соседству,
одинокие, грустные. Письма нехитрые пишут.
Предлагают ей руку, предлагают ей сердце,
а она их речей как будто не слышит.
Целый день во дворе, не зная ни сна, ни покоя,
в дом молока принесет — кувшин переполнен.
У порога присядет, поговорит с тишиною.
Я с самого детства такой ее помню...

Но однажды придет к нам жених. Нарядно одетый.
Сядем втроем у стола мы в молчанье.
Запоют и заплачут негромко кларнеты,
будет в душах у нас тихо, светло и печально.
Мама будет смотреть на него незаметно.
Потечет потихоньку беседа — спокойно и плавно.
Оживет, расцветет домишко наш бедный.
Молча я поднимусь. Я одних их оставлю.
Мама заплачет моя, отвернувшись от света,
и ляжет бесшумно, слез не стирая с лица,
у плеча незнакомого человека
и у сердца мертвого моего отца.

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА

■ ■ ■

Как в темном окошке:
смотришь близко — видишь только себя,
вглядываешься вдаль —
и сквозь тебя
летит земля,
горы разворачивают тени живые,
над вершиной останавливается звезда.

ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА (род. в 1941 г.).

Болгарская поэтесса, автор двух поэтических сборников: «Короткое путешествие» («Късо пътуване», 1969) и «Ночью шумит ветер» («Нощем иде вятър», 1972). Публикуемые стихи были напечатаны во втором сборнике.

Варвары

Варвары пасут свои стада среди колонн.
Собаки их усердно роются в обломках и черепках.
А дети их играют среди плит.
На плитах чуть видны таинственные знаки,
которые беззвучно говорят:

«Когда древние были молоды,
они говорили громко,
смеялись громко,
и задавали вопросы,
и требовали ответов
громко.
Когда они начали улыбаться
лишь уголками рта
и говорить, что наивно
пытаться на все ответить,
что доступны для человека
только маленькие радости —
лишь их воспевать и нужно...—
тогда они и состарились».

Дети смеются.
Громко.

Так здравствуй, ночь!

Друзья, я поздравляю с ночью вас,
предзимней, беспокойной, неуютной.
Она нас собрала, стерев бесшумно
и не спеша, дороги и следы.
Ночь — птица,
рвущая в полете
сияющие сети дня.
(Как долго тянутся за нами
обрывки слов, воспоминаний и забот.
Но головокружительна дорога
в глубины ночи.
Так здравствуй, ночь.)
Как хорошо, что кто-то загрустил,
что кто-то загрустил о соловьиной песне,
о безнадежной верности,
о звездной вечной тайне.

Так здравствуй, ночь. И бога ради, порази
хотя бы одного из нас
любовью, красной и внезапной, словно выстрел.

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

ГЕОРГИ СПАСОВ

Возвращение

Я убежал из города, того,
где ты живешь, и из различных прочих
подобных городов, чтобы спасти
пейзаж античный лета.
Там свет намного глубже, алой кровью
там маки не исходят, с горизонтом
находятся в согласии цветы.

Я в свой вернулся мир, где побратимы
замешивают землю, словно тесто,
где сила помогает стать пшенице
еще длинней, и, словно близнецы,
поэзия и хлеб растут из корня
единого.

Я убежал из города, того,
где ты живешь, и из различных прочих
подобных городов, чтобы спасти
пейзаж античный
Фракии любимой.

Мне снилось, будто ветер, как пастух,
в кавал свой деревянный
трудно дует,
а голубь бел,
затем что он без сажи и пороха
на крыльях.

Выход

Красное солнце висит над холмом, как топор.
Что совершить тебе нынче осталось?
Кем же ты будешь?
Кем же ты был до сих пор?
Зачем же усталость менять на другую усталость?
Ты не можешь на место свое
другого найти.
Ты нужен друзьям и врагам.
Ты сам свой свидетель — все честь по чести!
Чтобы тебе не захотелось
свернуть с пути —

ГЕОРГИ СПАСОВ (род. в 1943 г.).

Болгарский поэт, публикуется в журналах и газетах; один из авторов сборника «Пять молодых поэтов» («Петима млади поети», 1978), отмеченного литературной премией братьев Кирилла и Мефодия, откуда взяты предлагаемые стихи.

ты должен всегда быть
на собственном месте.
А ты был все это время тут —
как отмечалось и в других показаниях
ранее.
Нет выхода:
должна быть оправдана
любая из твоих минут!
Все прочее —
из пустого в порожнее
переливание.

Перевод ЕВГ. ВИНОКУРОВА

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Песня о жаворонках

Во время фашистского режима в Болгарии народ называл первых партизан жаворонками.

Запойте эту песню, партизаны,
она все выше в небеса взлетает.
Ведь жаворонками вас называют,
когда вы поднимаетесь в Балканы...
И даже смерть не может подступиться
туда, где пламенеет ваше знамя,
где только вера остается с вами —
прекрасная и гордая орлица.
Стоят стеной неколебимой горы.
Но ждут дороги — желтые от пыли,
селенья ждут... Вы прилетите скоро —
упрямо силу набирают крылья.
На долгий путь... А ваше сердце помнит
и слезы матерей, и хлеб сиротский...
На опустевших улицах слободских
собаки воют — страшно и бездомно...
И перед вами тысячи убитых
проходят по ночам безмолвным строем
и тянут руки — в трещинах от зноя —
к товарищам своим непозабытым.
На долгий путь... Или на бой последний.
Запойте эту песню, партизаны.
Вы поднимались высоко в Балканы —
слагали жаворонки гимн победный.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ (род в 1943 г.).

Болгарский поэт, автор двух поэтических книг — «Воскресенье» («Неделя», 1971) и «И встретьте аистов» («И посрещнете щъркелите», 1977). Стихи взяты из второго сборника и газеты «Красное знамя» («Червено знамя»).

■ ■ ■

Ветер теплый, в жаркий полдень ты смежи оленям веки.
И прости за все обманы и поломанные ветки.

На земле и умираешь и рождаешься ты с нами.
По крутым холмам играешь неотпетыми костями.

Нас земля сырая примет, а тебя — глухое эхо.
Но зерно, упав на камень, ждет ветров и человека.

Ветер теплый, нам с тобою вместе по свету скитаться.
Все цветы мы опылили, а плодов нам не дождаться.

...Но когда с тобою, ветер, мы опустимся в туманах
на поречия сухие и на белые курганы,

мы почувствуем, услышим, как тяжелая пшеница,
нашей силой наполняясь, над землею колосится...

Перевод АЛЕКСАНДРА РУДЕНКО

КАЛИНА КОВАЧЕВА

■ ■ ■

Был свиреп и отчаян
бег безумной реки.
Но ушел ты в молчанье —
мне не подал руки.
Пусть седая лавина
сносит все на бегу —
вброд пойду я к осинам
на другом берегу.
Жжет вода, как железо,
каждый шаг — западня...
Может быть, эта бездна
не поглотит меня?

И на берег, на зыбкий,
в невозможную тишь
я ступлю, где с улыбкой
ты за мною следишь.
Выжму волосы-плети
и намокший подол,
и, тебя не заметив,
я уйду в темный дол.
Будет сердце спокойно,
и походка легка...
Знал бы, сколько с собою
унесла та река.

Боль

Песен нет. Лишь мгла, белым-бела,
над рекою стелется осенней.
Почему ты вновь ко мне пришла?
Ах, ну да — сегодня ж воскресенье!
В праздники ко мне приходишь ты,
и всегда негаданно-нежданно.
Знаю, не уйдешь до темноты...
Что ж, входи! Я гнать тебя не стану.
Сядь напротив, коли уж пришла,
и гляди в глаза мои погасшие.
Белая, как над рекою мгла,
спрашивай!

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

КАЛИНА КОВАЧЕВА (род. в 1943 г.).
Болгарская поэтесса, автор двух поэтических сборников — «Нужно, чтобы ты был» («Трябва да те има», 1970) и «Сводка погоды» («Бюлетин за времето», 1977). Стихи взяты из первого сборника.

ИВАН ГОЛЕВ

Живу в гардеробе

Я наряжался в новые костюмы —
чтоб быть красивым.
Я говорил приятные слова —
чтобы меня любили.
Я улыбался всем, всегда, везде.

Но оглянулся я —
и стал снимать с себя одежки, как с капусты:
и оказалось — слишком много их на мне,
и оказалось — есть еще одна под каждой,
и оказалось — под последней нет меня.

Так и живу я в гардеробе —
одежды отшумевший ворох.
Прислушаюсь:
летает моль.

Самому себе

Как нужно писать — ты спрашиваешь, ты не знаешь —
писать, чтоб не пропало в почве бесплодной семя?
Ты театрально комкаешь лист, по заказу вздыхаешь
и сложнейшей метафорой
нарисовать пытаешься время.

А когда однажды снимали тебя для журнала,
ты не мог удержаться от красноречия и позерства.
Но насколько же легче — тебе наконец-то понятно стало —
запечатлеться в душах людей,
если держишься просто.

Не нужно искать слова — пусть они тебя ищут сами,
гневные, как муравьи в муравейнике растревоженном.
Ты и живешь в муравейнике — его заботами и делами —
и понимаешь: быть независимым — увы! — невозможно.

Господином прекрасного быть не пытайся —
будь рабом правды,
согревай ее грудью, как птица, высиживающая яйца,

ИВАН ГОЛЕВ (род. в 1950 г.).

Болгарский поэт, автор двух книг стихов — «Белая бабочка» («Бяла пеперуда», 1975) и «Верьте мне!» («Вярвайте ми!», 1977).
Публикуемые стихи взяты из второго сборника и журнала «Пламк» («Пламък»).

и ничего, если лишь клевета тебе будет наградой,
и ничего, если кукушка над тобою станет смеяться.

Мир прекрасен. Лежишь, изумленный, в траве и следишь
без конца
за жучками и муравьями, за движеньем их страстным.
Как труд их тяжел!
С какой надеждой пульсируют их тельца!..
А ты себя спрашиваешь, как надо писать.
Неужели не ясно?

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

ВАЛЕНТИНА РАДИНСКАЯ

■ ■ ■

Однажды в доме треснула стена.
Ее разрушил корень дуба молодого...

Как часто так бывает: строишь дом,
бревно к бревну — с любовью и трудом.
И аист вьет свое гнездо на крыше,
и вьется виноград — все выше, выше...

А рядом с домом — молодой, зеленый,
растет и силу набирает с каждым днем
побег, тобою политый, взращенный.
побег, который твой разрушит дом.

■ ■ ■

А тишина огромна, как земля,
тяжелая от солнца и от зноя,
как песнь, которую сдержать нельзя,
как плод, налитый радостью хмельною.

Такая тишина в моей груди,
тревожащими звуками пронзенной,—
как ожиданье долгого пути,
как немота побега в черноземе.

Тяжелым грузом душный день лежит
в моей душе... И солнце спит в лазури...
Такая тишина во мне дрожит!
Такая тишина! Как перед бурей!

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

■

ВАЛЕНТИНА РАДИНСКАЯ (род. в 1951 г.).

Болгарская поэтесса. Автор стихотворного сборника «Ко мне идет человек» («Към мен върви човек», 1977). Стихи взяты из этого сборника.

КНУТ ФАЛДБАККЕН

Страна заката

РОМАН

Перевод с норвежского К. ТЕЛЯТНИКОВА

Часть первая

1

В начале марта во второй половине дня Аллан и Лиза перебирались на Насыпь. Было довольно поздно, и большие железные ворота уже оказались заперты, но мальчишки (по всей вероятности) сломали замок и открыть ворота не представляло труда. Аллан прикинул, что в эту пору их никто не заметит; хотя никому не возбранялось ходить на Насыпь и искать вещи, которые могли бы пригодиться; чемоданы и большой вещевой мешок наверняка вызвали бы у сторожа подозрение. Впрочем, едва ли здесь все еще ходят сторожа, даже днем, в рабочее время. Не станет же муниципалитет тратить средства на охрану свалки, хотя свалка эта принадлежит городу и даже обнесена оградой. Во всяком случае не сейчас, ибо времена наступили тяжелые. Город разросся, но в экономике сейчас был застой, и ассигнования на нужды общества пришлось сильно урезать. Однако несмотря на кризис, думал Аллан, тащивший тяжелый чемодан и вещевой мешок,— несмотря на кризис, как это ни странно и вопреки всякой логике, жить стало почему-то легче. Режим экономии, сокращение ассигнований и свертывание все новых и новых отраслей производства порождали не только уныние и безнадежность, но и ощущение свободы, ощущение, что люди могут и должны решительно и безоговорочно взять свою судьбу в собственные руки. Это было совершенно новое ощущение, и действовало оно благотворно, во всяком случае на Аллана.

Он взглянул на ворота со сломанным замком, на высокую, изъеденную ржавчиной ограду, во многих местах грозившую рухнуть, и подумал, что всего каких-нибудь несколько лет назад его сегодняшнее предприятие было бы делом гораздо более трудным или вообще невозможным, да просто немыслимым. Интересно, что сказали бы его коллеги из архитектурной мастерской? «Работа в свободной творческой обстановке...» Однако там, как и в любом другом месте, царили железные директивы, резкие грани, жестокая конкуренция и бешеный ритм работы на износ. Хорошо, что он оттуда вовремя сбежал.

Зато Янсон с бензоколонки знал о решении Аллана и одобрял его в той мере, в какой он вообще мог думать о чем-нибудь еще, кроме своих собственных невзгод, таких, как бессонница, плохое пищеварение, преждевременная старость. И конечно же трудности с продажей бензина...

© Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo, 1974.

КНУТ ФАЛДБАККЕН — KNUT FALDBAKKEN (род. в 1941 г.).

Норвежский прозаик, драматург и критик. Свою первую новеллу опубликовал в 1965 г. В последующие годы написал несколько романов, в том числе: «Серая радуга» («Den grå regnbuen», 1967), «Материнский дом» («Sin mors hus», 1969), «Мод танцует» («Maude danser», 1971), «Лето насекомых» («Insektsommer», 1972), «Дневник Адама» («Adams dagbok», 1979), рассказы, объединенные в сборник «Сказка» («Eventyr»), и киносценарии. За роман «Страна заката» («Aftenlandet», Oslo, 1974), предлагаемый вниманию читателей в журнальном варианте, Кнут Фалдбаккен был удостоен общескандинавской литературной премии Северного совета.

Аллан толкнул тяжелые ворота и прошел с чемоданами за ограду. Лиза молча стояла с четырехлетним малышом на руках и задумчиво смотрела на дорогу, которую обозначили лишь две глубокие колеи на неровной земле. Утром прошел небольшой дождь. Сейчас он прекратился. Погода была тихая и теплая, удивительно теплая для ранней весны.

Лиза несла малыша и чемодан полегче. Аллан тащил другой чемодан и вещевой мешок, да еще сумку со всякой мелочью и едой, которую они купили по дороге: хлеб в целлофане, пачка маргарина, банка варенья, паштет из мясозаменителя — ее любимое лакомство, минеральная вода (с водой будет трудно, и Аллан уже продумал немало способов, как и где ее доставать), несколько бутылок искусственного апельсинового сока (малыш не любил молока и пил только лимонад, а кроме того, теперь, когда он подрос, детская молочная смесь стала им не по карману), несколько консервных банок с готовым обедом, две пачки печенья, немного шоколада, спички и свечи... Над Райской бухтой висело красноватое солнце, вспыхивая яркими отблесками в залитой нефтью воде.

Аллан затворил за собой ворота и огляделся, но не заметил ничего подозрительного. Здесь не было ни одного сторожа, никто не собирался прогонять его отсюда, говоря, что им нечего здесь делать и разве они не видят, что ворота заперты на замок. Все шло именно так, как он рассчитывал, и все же он почувствовал огромное облегчение, ибо сердце у него сжалось от одного вида этих массивных ворот, железной ограды высотой в человеческий рост, багрово-красной от ржавчины, уходившей по обе стороны от него в неведомую даль... Ведь каких-нибудь несколько лет назад здесь ходили сторожа с собаками, охраняя государственную собственность, закон и порядок. Тогда город рос и развивался, он был образцом экономического процветания, социального благополучия и политической стабильности. Но с тех пор многое изменилось.

— Туда.

Аллан показал, куда надо идти. Лиза с ребенком на руках сделала несколько шагов вдоль колеи, потом нерешительно оглянулась. В своих неудобных туфлях на высоких каблуках она шла медленно и неуверенно. Ее худые ноги, обтянутые тонкими нейлоновыми чулками, казались какими-то ужасно беспомощными («Это все, что у меня есть в жизни!» — задохнувшись, сердито крикнула Лиза, когда Аллан спросил, зачем она тащит с собой всякую дребедень.) Огненно-красное солнце висело так низко над горизонтом, что Аллану казалось, будто с каждым вдохом его легкие наполняет расплавленная сера. Воздух был теплый. Последние дни погода стояла необычайно мягкая. Это было очень кстати: первые ночи, которые они проведут на новом месте, будут не такими холодными, как боялся Аллан. А через несколько дней, если понадобится, он поставит печку.

Малыш (его звали Бой) стал капризничать: он кричал, размахивал руками, требовал, чтобы его поставили на землю. Лиза пустила его побегать. Бой сразу же упал, поднялся, но снова упал и заплакал: он не привык к скользкой неровной земле — раньше он ходил только по полу или тротуару. Лиза помогла малышу подняться и выбранила его. Аллан шел за ними следом. Он улыбался. Кроме Лизы и малыша, здесь не было ни души. Никого, кто мог бы их остановить, досаждать им, приставать с вопросами. Так он себе и представлял, на это и надеялся: тишина, спокойствие, они наедине друг с другом и могут не опасаться бесцеремонного вторжения в их жизнь посторонних людей — вторжения города.

Аллан хорошо запомнил, где стоит фургон для автотуристов. Всего неделю назад он сам отбуксировал его сюда. Фургон этот был не так уж и помят, но все-таки представитель компании счел возможным выплатить владельцу страховку. Владелец, очень занятой господин, которому основательно надоела вся эта возня, связанная с дорожным происшествием, попросил Аллана за небольшое вознаграждение оттащить куда-нибудь подальше этот «железный лом». Аллан взял сложенную купюру. Равнодушный кивок головы, безразличная улыбка: «Так ты устроишь это дело?..» Авария произошла на Эббот-Хилл-роуд, всего в сотне-другой метров от бензоколонки, и притащить фургон на стоянку не представляло труда. Однако Янсону явно не понравилось, что «железный лом» занимает место на его стоянке, и его надо было убрать как можно скорее. Тогда-то у Аллана и возникла эта мысль.

Догнав жену, Аллан услышал, что она тяжело дышит. Он тоже порядком устал.

Хотя вещей у них было немного, чемоданы и мешок оказались ужасно тяжелыми. Малыш плелся за ними следом, но упорно не хотел, чтобы его взяли на руки.

Лиза повернулась к Аллану: бледный овал лица под копной золотисто-рыжих волос — они казались еще золотистее, а лицо еще бледнее в предвечернем сумраке — его девочка-жена, еще совсем ребенок, его Лиза.

— Еще далеко? — спросила она.

— Нет, это вон там. За теми кучами.

— Может быть, немного отдохнем?

— Хорошо.

Они поставили вещи на землю. Легкий ветерок высушил их залитые пóтом лица, принеся с собой легкий запах дыма и гнили. Бледная от усталости, Лиза растерянно озиралась по сторонам.

— Ты слышишь? — вдруг воскликнула она.

— Что именно?

— Как я дышу и как ты дышишь! И стук сердца! Я слышу стук своего сердца! А ты?

Он прислушался. Оба молчали.

— Слышу.

— Как здесь тихо. Подумать только, до чего должно быть тихо, чтоб человек мог услышать стук собственного сердца!

На губах ее играла детская, лучезарная, изумленная улыбка.

— Угу...

— Мне кажется, я сроду еще не была в таком тихом месте,— прошептала она.

Ветер дул со стороны бухты. Ни звука не доносилось к ним из города, который угадывался где-то далеко позади, за высокой оградой, словно мрачная черно-серая масса, всеподавляющая в своей зловещей протяженности, в своих железобетонных формах и конструкциях; Насыпь находилась в глубине узкой бухты, а вокруг были деревья, трава и горы, о которых все давным-давно забыли, и никто больше не знал, что когда-то существовали такие понятия, как деревья, трава, горы, природа, совсем никто, так же как об этом не знали Лиза и Аллан. Даже отдаленный, никогда не прекращающийся рокот машин с Автострады унесло ветром как раз в ту минуту, когда они стояли, вслушиваясь в эту непостижимую тишину.

— Как прекрасно! — Она была вне себя от восторга: нужно было совсем немного, чтобы доставить ей радость.— Как красиво! И как тихо! Хорошо, что мы пришли сюда, правда?

Ветер разбросал вокруг них старую оберточную бумагу.

— Правда,— отозвался Аллан.

Он глубоко вдыхал зажженный солнцем красновато-серый воздух. Они стояли на невысоком холме из мусора и глины, спрессованных под тяжестью сотен тонн все новых и новых отбросов, которые каждый день привозили сюда по этой жалкой дороге. Аллан хотел еще что-то сказать, выразить то огромное облегчение, которое он сейчас испытывал, но ему всегда было трудно словами описать свои чувства.

Лиза присела на край чемодана и стала смотреть туда же, куда и он, на Райскую бухту, а мягкий морской ветер стирал воспоминания о городе, оставшемся позади,— о Свитуотере.

2

Насыпью называли узкую полоску земли, протянувшуюся примерно на полмили на восток вдоль берега бухты. Когда-то в связи с расширением гавани Свитуотера в этом районе предполагалось построить новые портовые сооружения и доки, склады и верфи, но проектам этим так и не суждено было осуществиться, и тысячи кубических метров земли, гравия и песка, которые в свое время сюда завезли, теперь громоздились, словно барханы в пустыне, образуя невысокие холмы с осыпающимися склонами, уходившими в мертвую солоноватую воду. Нетрудно было заметить и другие свидетельства строительной горячки, которая охватила тогда Свитуотер: вытянувшиеся в ряд бараки для рабочих и длинный склад медленно ветшали, уныло чернея провалившимися крышами и пустыми оконными рамами без стекол. Рельсы, которые нигде не начинались и заканчивались в глубокой канаве, заполненной грязью и всяким хламом, заросли травой и покрылись ржавчиной, а вагонетки утонули в грязи, оставшейся после осенних дождей. Какие-то машины, гусеничный трактор и

несколько отслуживших свой срок грузовиков, с которых уже давным-давно сняли все, что только можно было использовать или продать, стояли одинокие и покинутые, словно некая могучая сила, которая много лет тому назад вдруг забросила их сюда, так же внезапно потеряла к ним всякий интерес, оставила их здесь и навсегда забыла об их существовании. С некогда мощных механизмов медленно стекала ржавчина, сыпалась на землю большими хлопьями, образуя на грязно-серой глине причудливые цветные узоры.

Так Насыпь постепенно превратилась в городскую свалку, которой пользовались как частные лица, так и муниципальные учреждения. Тяжелые машины с железными контейнерами длинной вереницей шли на свалку, сбрасывали там тонны грязного, вонючего мусора и возвращались за новым грузом отходов, того самого шлака городской жизни, который приходится все время убирать, чтобы люди не задохнулись и не погибли в отбросах, вони и нечистотах.

Все пользовались Насыпью. Пользовались ею и частные лица, те, кто хотел избавиться от хлама, что скапливался на чердаке, в сарае или подвале, от испорченных и ненужных вещей, а также вещей изношенных, слишком старых, некрасивых, вышедших из моды или просто ставших менее полезными и употребимыми, чем в то время, когда их приобретали. Насыпь была темным отражением Свитуотера, его образа жизни, очищенного от шика и блеска, от лака и полировки. Здесь было все, что окружает человека и определяет его быт, все, но без самого человека. И здесь можно было найти все, что человеку нужно для жизни — жизни, которая по существу оказалась бы карикатурным отражением жизни в добропорядочном Свитуотере.

Однако отбросы и мусор Свитуотера занимали лишь около половины всей территории; она была очень обширна, и хотя насколько хватал глаз всюду высились горы камней и щебня, мусора и всевозможных отбросов, бóльшая часть этого гигантского клина по-прежнему оставалась бесплодной и плоской, как тарелка, пустошью. Пройдя два-три километра на восток, подальше от муниципальных мусорных куч и помоек и грандиозного по замыслу, но так и не начавшегося строительства портовых сооружений, и продолжая двигаться параллельно берегу, вы могли бы заметить, что мусорные кучи становятся не такими внушительными и ландшафт постепенно приобретает характер все более интимный и искусственный: холмы, возвышенности и пригорки сложены из ставших ненужными личных вещей — из несбывшихся надежд, неудовлетворенного честолюбия, притворства, фальши и самообмана. Огромными грудами лежат здесь матрасы, заплесневелые покрывала и гардины, столы, кресла, диваны и мягкие гарнитуры, подушки, ковры и обитые плюшем пуфы, и все это медленно гниет в теплом и влажном воздухе побережья. Столы с ножками и без ножек, этажерки, зеркальные шкафы, банки для специй, разбитые табуретки, сломанные кровати, посуда, коробки с ножами, вилками и ложками, кухонные плиты, холодильники и радиоприемники, сотни разломанных телевизоров, ящики и коробки с книгами, детские игрушки, украшения и журналы, связки газет, картины в рамах, одежда... Сотни автомобильных кузовов спрессованы бульдозерами и свалены в гигантские груды, чудовищные нагромождения искореженного металла,— впрочем, эти меры, принятые городскими властями, чтобы куда-то девать брошенные машины, ничего не дали, поскольку все время появляются новые машины, которые ржавеют и после каждого осеннего дождя все глубже и глубже погружаются в мягкую землю. Между этими грудами металлического лома проложен целый лабиринт тропинок, дорожек, узких проходов и туннелей; два старых автобусных кузова с «навесом» между ними из дверной рамы и продырявленного куска железа образуют галерею, а шкаф с оторванной дверцей и выгоревший внутри перевернутый автофургон превратились в таинственные гроты; здесь легко заблудиться, хотя высота нагромождений всевозможного хлама редко превышает человеческий рост.

Постепенно ландшафт начинает выравниваться, все большее расстояние разделяет изуродованные кузова машин, груды разваливающейся мебели, перевернутые газовые плиты, болота из пропитанных сыростью связок газет и журналов. Отсюда уже видно море, вы находитесь недалеко от берега и ощущаете острый запах затхлой морской воды. Земля здесь неровная, каменистая, повсюду разбросаны консервные банки, бумага и всякий хлам, но мусорных куч больше нет; между камнями пробивается сухая трава, а порой и куст ухитряется вырасти на этой ядовитой глинистой почве. А если пройти еще дальше, вы окажетесь на заброшенном каменистом берегу, том самом берегу, который некогда был гордостью Свитуотера; здесь в надменном

уединении располагались роскошные виллы с частными пляжами и пирсами для яхт; во время отлива из воды все еще выглядывают полусгнившие остатки причалов, вытянувшиеся в ряд, как на параде, трухлявые сваи, изъеденные солью и заросшие водорослями. Было время, когда жизнерадостные мужчины и женщины в разноцветных купальных костюмах, с зонтиками, транзисторами и прохладительными напитками загорали на этом берегу и купались в чистой, прозрачной воде. Но это было давным-давно. Теперь здесь не осталось ни одной виллы. Почти все снесли еще в те годы, когда проектировалась Автострада: это были старые, уже тогда чуть обветшалые строения былых времен; однако владельцам экспроприированных участков выплачивали колоссальную компенсацию: стране нужны дороги, да здравствует прогресс! Две-три сохранившиеся усадьбы были скоро покинуты, потому что никому не хотелось жить под Автострадой, которая угрожающе высилась на фоне неба,— гора, поднятая над землей, величественная железобетонная масса, откуда непрерывно, днем и ночью, слышится гул проносящихся машин; всепроникающий, разрушительный звук вгрызается в уши, затуманивает сознание и превращает жизнь в кромешный ад. Но эти дома тоже давным-давно развалились. В густом кустарнике — это все что осталось от некогда идиллических садов и парков,— до сих пор темнеют их руины: стены или просто груда камней, заросших субтропическими садовыми растениями, которые прекрасно себя чувствуют в диком состоянии и буйно разрастаются, образуя участки непроходимого, похожего на джунгли леса; их гибкие стебли и сочные зеленые листья быстро становятся бесцветно-серыми под слоем мелкой, как пудра, пыли, летящей с Автострады.

Здесь, на этой стороне Насыпи, скрытой горами хлама, но с выходом на берег моря, Аллан и решил обосноваться. При помощи легкого автокрана с бензозаправочной станции он притащил сюда свой слегка побитый и обшарпанный, но вполне исправный фургон. Мощная машина сравнительно легко лавировала между мусорными кучами. Выбрав подходящее место между грудой старых автомобильных покрышек и сваленными в кучу ящиками (прекрасное топливо на случай, если будет холодно), Аллан отцепил автокран и вручную отбуксировал туда фургон. Этот фургон был как перст судьбы — Аллан принял наконец решение к которому шел очень давно. Он даже получил за труды пятьдесят крон! Когда Янсон, хозяин бензоколонки, увидел, как владелец фургона сует ему в руку деньги, он даже сплюнул от негодования и пробурчал, что, видно, не такие уж сейчас тяжелые времена — не для всех, во всяком случае.

Янсон всегда завидовал Аллану, когда тот получал чаевые

3

Тяжелые времена.

Лиза сидела на чемодане и отдыхала. Положив ногу на ногу, она сняла туфлю на высоком каблуке и терла лодыжку: туфли были дешевые. Плохие туфли — в них очень больно ходить. Куплены на распродаже в обувном магазине. С тех пор прошло больше года. И все это время не было ни одной распродажи ни в том, ни в других магазинах. Достать обувь становилось все труднее. Да и денег на покупку не было: деньги у них водились редко, и они могли приобретать только самый дешевый, негодный хлам. Но теперь с этим покончено.

Солнце висело совсем низко над узкой полосой равнины по другую сторону бухты, вскипая красками в отравленном химией воздухе; там была Сарагосса, некогда болотистая равнина в дельте реки, которую поглотили промышленные предприятия Свитуотера: фабрики и заводы на огромных сваях, на гигантских платформах из армированного бетона, кузницы благосостояния и богатства со всей своей грязью и шумом, вынесенные за черту города в непроходимые болота по ту сторону реки. Вытянувшиеся рядами заводские трубы мерцали и вздрагивали в зеленовато-багровой вечерней мгле. Над многими из них вспыхивали, потрескивая, синеватые языки пламени, в которых сгорали ядовитые газы (чепуха! Газы все равно вырывались наружу, отравляя воздух Свитуотера, вызывая болезни, а иногда и убивая) другие — остыли, они остыли уже много месяцев тому назад, а может быть и лет: переоборудование, режим экономии, сокращение капиталовложений... Экономическая конъюнктура становилась все хуже. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Тяжелые времена...

Пока они отдыхали, Аллан раздумывал об этих самых тяжелых временах. О тяжелых временах говорили в народе, о них писали в газетах: «Тяжелые времена: грозит ли нам значительное снижение жизненного уровня?» Но Аллан этого не понимал. На его взгляд, у людей было все, во всяком случае все самое необходимое. Правда, в последнее время полки магазинов уже не ломились от товаров, однако и о нехватке говорить было преждевременно. А кроме того, государство обещало принять все меры, чтоб никто не испытывал ни в чем нужды. И все-таки люди жаловались на тяжелые времена.

Для Аллана это были добрые времена — пора надежд. Внезапно он увидел возможность что-то предпринять, почувствовал, что свободен сам распоряжаться своей судьбой. И пожалуй, перед ним открылись перспективы, которых раньше не было, именно благодаря этим самым тяжелым временам.

Во-первых, людям теперь по горло хватало собственных забот и они меньше лезли в чужие дела, меньше интересовались, как их сограждане выполняют указы и постановления всесильного Государства, а ведь еще совсем недавно лозунгом дня было: «Закон и порядок». Кроме того, «борьба за существование», как об этом писали в нелегальных политических памфлетах, становилась все острее, все больше усилий и изворотливости приходилось употреблять, чтобы обеспечить себя, и в конечном счете каждый шел к цели своим путем. Все больше теряли смысл всевозможные условности и запреты, закоснелые формы вдруг обретали гибкость, и случалось даже, что люди помогали друг другу...

Во-вторых, теперь, когда правительство вынуждено было сокращать свои расходы, обнаружились лазейки в законах, составляющих основу правового государства. Многие законы, указы и постановления были настолько непосредственно связаны с повседневной жизнью людей, что обеспечить их выполнение можно было лишь с помощью мощного аппарата наблюдения, содержание которого в нынешней ситуации не представлялось возможным. Стражи закона не могли уследить за всем, приходилось выбирать, что важнее. И вполне естественно, что в первую очередь их интересовали наиболее опасные нарушения закона, организованная преступность, крупные аферы, финансовые махинации, открытая спекуляция — все, что особенно процветает в подобные времена, подрывая устои государства всеобщего благосостояния. Ни на что другое сил не оставалось, власти были вынуждены смотреть сквозь пальцы на то, как многие граждане решают свои проблемы, прибегая к способам, выходящим далеко за границы законности.

Для Аллана это было время открывшихся возможностей. Медленно созревало в нем решение уехать из города, уехать с шумной Апрель авеню, из неуютной, тесной, почти непригодной для жилья квартиры в старом четырехэтажном доме. И еще соседи... Ходили слухи, что дом скоро снесут, что все дома на этой улице тоже снесут, а на их месте построят современные магазины; всяких слухов ходило множество, а доподлинно было известно лишь то, что большинство строек в настоящее время уже законсервировано. Тем не менее жильцам официально сообщили, что, когда сроки договоров на аренду квартир истекут, их не будут возобновлять, и всех очень обрадовало это известие, потому что никто не любил Апрель авеню, ее квартиры и жизнь в этих квартирах. Правда, если их выгонят на улицу им, вероятнее всего, придется обосноваться в еще худшем месте, где-нибудь в северо-западной зоне, в одном из блочных домов-башен. Государство поощряло переселение людей из трущоб, где квартирная плата была достаточно низкой и регулировалась муниципалитетом, в новые районы. Хотя дома на Апрель авеню были тесные, смрадные и ветхие, те, кто сумел снять там квартиру, почитали себя счастливыми. Никто не хотел жить в блочных башнях — никто у кого была хоть малейшая возможность выбора. Итак, мысль переменить место жительства, выехать из города возникла у Аллана по необходимости: жить в Свитуотере было невыносимо, а скоро станет совсем невозможно. Фургон попал в аварию в пятницу во второй половине дня, в предпраздничные часы пик (если верить пессимистическим выводам Янсона, машин становилось все больше, а звонкой монеты от них — все меньше: «Все жадничают, скряги паршивые, едут с пустыми баками, пока не застрянут посреди дороги»). Неосмотрительный обгон — и Аллан сразу обрел и средство, а поразмыслив немного, и цель. Внезапно перед ним открылась некая реальная возможность, он нашел ее и спрятал от людских глаз.

— Далеко еще?

Они сидели на чемоданах и отдыхали. Лицо у Лизы было совсем детское и очень бледное, но заходящее солнце осыпало его светлыми веснушками, выступившими вокруг носа. Скоро ее кожа станет эластичной и загорелой, думал Аллан, всего каких-нибудь несколько недель на солнце, на свежем воздухе, и у нее будет бодрый и здоровый вид... Он слегка ощущал кисловатый запах, доносившийся со стороны бухты,— запах стоячей соленой воды. Однако вони не чувствовалось, так как отсюда было далеко до тех участков свалки, куда привозили контейнеры с отбросами.

— Нет, еще немного. Вон с той кучи уже будет виден наш фургон.

Аллан показал.

— Туфли натирают...

Она снова сбросила туфлю, потерла пятку.

— Завтра мы наверняка отыщем для тебя пару прекрасной обуви. А теперь двинулись. Нам надо успеть туда засветло.

— Где Бой? — спросила Лиза, все еще не вставая.

Они огляделись, сдерживая дыхание в непривычной тишине. Потом заметили своего малыша. Он стоял на четвереньках между следами колес проехавшей машины. Его внимание привлекли кусочки блестящего металла, и он выкапывал их из грязи.

— Бой! Ты весь перепачкался! Иди сюда!

Голос ее потерялся между грудами отбросов и щебня. Бой по-прежнему стоял на четвереньках, словно не слышал. Она снова закричала, на этот раз сердито:

— Сию же минуту иди сюда, слышишь!

В этом пустынном месте бранить ребенка за неряшливость было бессмысленно, даже нелепо. Возможно, именно поэтому она чувствовала неуверенность, раздражение и страх. Ведь Лиза отнюдь не принадлежала к числу женщин, помешанных на чистоте и опрятности. Но она была еще совсем дитя. Она еще не научилась ни приказывать, ни выполнять свои обязанности.

Аллан встал (был он невысокий, коренастый, в комбинезоне из грубой ткани, кожаной куртке и сапогах). Он успокоил Лизу:

— Бой уже идет. Знаешь, для него здесь так много нового, есть на что посмотреть. Тут уж ничего не поделаешь...

— А как я его отмою?

Лиза не стала бы уделять столько внимания гигиене, не будь обстановка такой необычной; малыш ковылял к ним весь перепачканный.

— Все наладится,— ответил Аллан.

Он вдруг почувствовал непоколебимую уверенность в том, что здесь им будет хорошо и они смогут гораздо легче решить все свои проблемы, чем в сумятице большого города. Жить в городе — это просто безумие, думал он, хотя оба они родились и выросли в Свитуотере и никогда не выезжали оттуда.

— Пошли.

Аллан взял более тяжелый чемодан. Лиза нехотя надела туфлю и притопнула, как бы проверяя, не больно ли будет в ней идти.

— Теперь недалеко. Вон за той кучей. Если хочешь, я возьму малыша.

Бой подошел к ним и поднял ручонки, показав глазами, которые возбужденно блестели на маленьком узком личике:

— Посмотри! Самолет, папа! — Бой был худенький и бледный, анемичный, как его мать; он казался намного младше своих пяти лет.— Самолет!

— Вижу,— сказал Аллан и взял его на руки.

Сверхзвуковой истребитель прочертил у них над головой две толстые красные полосы через все уже по-вечернему тусклое небо. Аллан повернулся, посмотрел назад. Вдали все еще были видны ворота. Они прошли не так-то много. Он думал, что гораздо больше. Возможно, дорога кажется длиннее, когда идешь через кучи мусора, земли, гравия и щебня. Во всяком случае, у него было такое ощущение, будто они прошли длинный и опасный путь, уже преодолев все основные препятствия.

— Пошли,— сказал он,— в путь. Теперь недалеко.

4

— Как красиво, когда горят огни,— сказала Лиза.

Аллан нашел старое автомобильное сиденье и втащил его на груду автомобильных покрышек за фургоном. Наступил теплый, мягкий вечер, они сидели, тесно прижав-

шись друг к другу, и смотрели на окутанный мраком берег, на бухту и длинный красивый мост, по которому Автострада пересекала Райскую бухту и через индустриальный район уходила дальше на запад внутрь материка. Промышленные предприятия Сарагоссы — основа благосостояния Свитуотера — светились бесчисленными огнями, которые переливались и танцевали над зеркально-металлической поверхностью воды, озаряя призрачным сиянием туманную дымку, постоянно висевшую над этим районом города.

Но Лиза смотрела на машины, только на машины, которые длинными рядами, колоннами, сотнями и тысячами, одна возле другой, словно скользили по мосту.

— Посмотри на эти огоньки. Посмотри, как они уползают куда-то далеко-далеко. И так без конца. Как ты думаешь, сколько их? Сотни? Тысячи?

Аллан не прерывал ее. У Лизы было так мало поводов восхищаться, приходить в восторг, а ведь ей, такой еще юной, это было очень нужно...

— А когда я сощурю глаза, огоньки превращаются в звезды — белые звезды едут в Свитуотер, красные уезжают из него. Как красиво, если смотреть издалека. Правда, красиво?

— Да, очень.

Аллан повернул голову, чтобы взглянуть и на город. Он никогда не видел Свитуотер издали. Город лежал далеко позади, окутав берег бухты пеленой мерцающего электрического света. Кварталы высотных зданий вокруг городского центра были едва различимы: невообразимое нагромождение жилых домов, универсальных магазинов, контор и учреждений, усеянных тысячами точек живых и мертвых окон. А вокруг, все дальше и дальше, до самого горизонта, трепетали и переливались живые пятнышки света и целые звездные туманности, растворявшиеся во мраке ночи. Сейчас, когда город был так далеко от них, словно на расстоянии многих световых лет, Аллан не мог не признать, что он на самом деле красив и весь этот искусственно созданный ландшафт, кстати, единственный ландшафт, какой он знал, действительно обладает захватывающим синтетическим очарованием. С самого детства из-за этой своеобразной отталкивающей красоты его тянуло к дорогам, автомобилям и бензоколонкам. И вот теперь, оказавшись вдали от шума, грязи и опасностей, с которыми сопряжена городская жизнь, он мог сказать приблизительно следующее: «Да, отсюда ты действительно красив, Свитуотер, красив как мечта и как мечта нереален; ты — мираж, сияние света в прозрачной дымке, комета, несущаяся из вечности в вечность... с длинным хвостом из автомобильных фар, ползущих в город и из города».

— Видел бы это Бой! — сказала Лиза, совершенно завороженная.

— Увидит в другой раз,— возразил Аллан.— Сейчас ему надо спать. Он совсем вымотался, бедняжка.

Бой спал в фургоне. Вокруг губ у него засох шоколад. Он не захотел ужинать, шалил, и с ним невозможно было справиться. В конце концов Аллан рассердился и нашлепал его, после чего Бой лег на пол и расхныкался — усталый, возбужденный; чтобы он успокоился, ему дали шоколад. А родители жадно, как собаки, набросились на спагетти в томатном соусе, ели их холодными, прямо из банки, запивая синтетической фруктовой водой: после непривычного пешего перехода и всех треволнений дня они сильно проголодались. Одна только поездка на автобусе продолжалась больше часа. Вместе со всем своим багажом они сидели и тряслись на ухабах, пока автобус петлял по восточным окраинам Свитуотера. Остальные пассажиры, которых, правда, было немного, весьма подозрительно поглядывали на них и их чемоданы.

— Завтра я сложу печку и у нас будет горячая пища,— пообещал Аллан.

Их фургон был хорошо оборудован всем необходимым, но газовый аппарат оказался пуст (а ездить в город и обратно с газовыми баллончиками было просто немыслимо). При столкновении машин окно было разбито, и Аллан временно заткнул его куском картона. Завтра он подберет подходящий кусок пластика и вставит. Ему так много предстоит сделать завтра. Он был доволен.

Когда стемнело, Лиза наконец сумела уложить Боя, и он заснул. Мальчик забился в самый угол постели, которую Аллан приготовил для всех троих на купленном по дешевке поролоновом матрасе, занимавшем почти весь пол. Измученный множеством новых впечатлений, малыш лежал на матрасе, щеки его лихорадочно горели, волосы липкими прядями закрывали влажный, измазанный грязью лоб.

— Ему наверняка здесь понравится,— сказала Лиза в темноте.— Ты заметил, он все время был чем-то занят. Здесь он найдет уйму вещей, с которыми можно играть... И насколько ему здесь свободнее...

— Да,— отозвался Аллан.

Об этом он тоже думал. Их тесная квартира на Апрель авеню, откуда Бой мог выйти погулять только на зловонный задний двор или на улицу, была для него настоящей тюрьмой. Что ж, очень хорошо...

На Аллана напала икота с отрыжкой — он почувствовал во рту кисловатый вкус томатного соуса. Их ужин был не очень питательным, но со временем все наладится. Он стал рыться в сумке, зажег свечу. Прикинул, сколько у них осталось продуктов: сегодня они были чересчур расточительны, слишком много съели, слишком много выпили. Ведь то, что им не удастся достать здесь, придется возить из города. Аллан надеялся, что здесь они найдут почти все... и тем не менее им нужно будет научиться бережливости. По правде говоря, они были не слишком хорошо подготовлены для выполнения той задачи, которую поставили перед собой. Оба были горожанами до мозга костей. Они никогда в жизни не пробовали обойтись без системы обслуживания, которая существует в большом городе. За углом у них всегда были супермаркеты, которые работают круглые сутки, и хотя они были бедны, что-нибудь они всегда могли купить; они никогда не испытывали нужды в самом необходимом, были бедны не до такой степени... об этом заботился город. Однако здесь все будет иначе. Здесь им предстояло научиться рассчитывать, экономить, ограничивать себя. А они в первый же вечер слишком много съели.

Но было так вкусно! Никогда в жизни он так вкусно не ел. А завтра он сложит печку.

Лиза зевнула и переменила позу. Автомобильное сиденье скрипнуло.

— Послушай, наверное, уже поздно. Сколько времени?

— Не знаю. Мои часы остановились.

Усталость сковывала все тело Аллана. Да, им пришлось нелегко в эти последние дни. Подготовка к отъезду. Множество всяких дел. Впрочем, вещей у них было немного, и уложили они их довольно быстро.

Аллан никогда не стремился приобретать вещи. Они были для него выражением устоявшегося, налаженного быта, желанием сохранить нечто от прошлого, а подобного желания он никогда не испытывал. Вся его жизнь была медленным и неумолимым переходом от одного этапа к другому, от возраста к возрасту, и когда оказывалась достигнутой новая ступень развития, при его активном участии или без него, воспоминания о прошлом уже были ему безразличны и даже неприятны. Вещи как бы налагали ответственность за то, что было сделано на предыдущем этапе жизни, между тем Аллан, вспоминая о минувших днях, не чувствовал ни гордости, ни радости и вообще ничего, кроме приглушенной бессильной горечи.

Только одним своим поступком Аллан был чрезвычайно доволен, даже чуточку гордился — тем, что у него хватило мужества отказаться от работы в архитектурной мастерской. По окончании института он загубил там четыре года жизни, вычерчивая холодильные установки для крупных магазинов, многоэтажные гаражи и вентиляционные системы для жилых домов, которые, однако, не шли дальше чертежей. Чисто техническая работа. Аллан был самым молодым в мастерской. Его коллеги с опытом и «именем» занимались решением более интересных задач. В один прекрасный день наступил бы и его черед. Но получилось иначе: он просто ушел из мастерской. Он понял, что не сможет проектировать воздушные замки на бумаге, когда жизнь все туже затягивает на нем свою петлю. Он ходил без работы до тех пор, пока у него почти не кончились деньги. И тогда он нанялся на бензоколонку на Эббот-Хилл-роуд. Естественно, теперь он зарабатывал меньше; им пришлось оставить свою квартиру и переехать на Апрель авеню, а чтобы хоть как-то сводить концы с концами, они обратились за пособием для бедных; однако когда родился ребенок, они по-настоящему почувствовали, что такое дороговизна. Впрочем, Лиза не жаловалась, а Аллан любил свою новую работу. Насколько вообще можно любить подобную работу. Во всяком случае, здесь все было реально: утренняя и вечерняя смена, десятичасовой рабочий день — пять дней в неделю; строго говоря, такой длинный рабочий день противоречил трудовому законодательству, но власти смотрели на это сквозь пальцы. В сфере обслуживания все время не хватало рабочих рук, несмотря на безработицу («Ленивые свиньи,— ворчал Янсон,— им больше нравится бездельничать и получать пособие...»).

Была прекрасная ночь, необычно тихая и теплая для марта. Аллан смотрел на нежный бледный профиль Лизы, которая лежала возле него. Она так молода, думал он, ей всего восемнадцать лет, хватит ли у нее сил выдержать все то, что их, возмож-

но, ожидает? Но она действительно никогда не жаловалась, никогда не спорила. Быть может, она не слишком ясно представляла себе последствия того шага, на который они отважились? Словно для очистки совести, он пытался «успокоить» ее, хотя она не выражала ни малейшего беспокойства. Она только спросила:

— Как ты думаешь, мы найдем там какую-нибудь кухонную утварь? Например, сковородку? Тогда эту я выброшу. Она такая противная...

— Конечно...

И Аллан стал рассказывать Лизе о том, как люди нередко выбрасывают хорошие вещи только потому, что хотят купить что-нибудь новое. Многие, как он слыхал (например, его коллеги по архитектурной мастерской), ходили на Насыпь и искали там нужные вещи — запчасти для машин, мебель (в свое время была мода на старинную реставрированную мебель)... Лиза верила каждому его слову и, во всяком случае, не возражала; он был тронут ее безграничным доверием, и в то же время его раздражала эта невероятная беспомощность, непрактичность. Аллан стоял и смотрел, как она укладывает в чемоданы одежду, смотрел нетерпеливо, потому что было уже поздно и пора было уходить. Он подсказывал, что куда класть, поправлял ее, торопил; у нее все валилось из рук, белье падало на пол, она чуть не плакала, а он, как всегда, говорил себе, что не имеет права упрекать ее за то, что она ничего не умеет: ее никто никогда ничему не учил. И все-таки его это раздражало...

Лизе принадлежали две-три вещицы, к которым она была по-детски, откровенно привязана и непременно хотела взять их с собой: две маленькие лакированные коробочки, одна в другой — как она утверждала, старинные и редкостные, изготовленные в одной далекой азиатской стране, и кольцо с голубыми камешками, которое она нашла на улице (однажды, когда им пришлось совсем туго, Аллан просил заложить его, но Лиза отказалась, что случалось крайне редко, если он просил ее о чем-нибудь); это были ее маленькие сокровища, с которыми она ни при каких обстоятельствах не желала расставаться, или скорее это были своего рода игрушки, которые каким-то непонятным образом стали дороги ее сердцу. А вообще она была совершенно равнодушна к вещам, своим так же, как и чужим, и все перемены, все изменения в условиях их жизни принимала как нечто само собой разумеющееся, словно даже не замечала их или воспринимала просто как промежуточные этапы в развитии событий, возможно, понятном ей, а возможно, и нет.

Именно эта детская незащищенность в сочетании с бесстрашной покорностью судьбе поразила Аллана так сильно уже при первой их встрече. Его поразил самый облик ее, когда она одиноко сидела на покрытой пластиком скамье в автомате-закусочной, именуемой «кафе», где он обычно обедал. Он заговорил с ней просто так, шутки ради — именно потому, что она была такая бледная, застенчивая, с копной светло-рыжих вьющихся волос. Аллан подошел к ней с подносом и спросил, можно ли сесть за ее столик; она кивнула и начала сразу рассказывать о себе, о том, что она ушла из дому и почти никого не знает в этой части города; она говорила тоненьким детским голоском и смотрела вокруг широко открытыми глазами, словно ее изумляло все, что она видела. Но на лице ее не отражалось страха, только возбуждение и любопытство. Аллан скоро понял, что ей негде жить, и, не задумываясь о последствиях, предложил комнату у себя в квартире. Ее прямота и доверчивость обезоружили его и лишили способности прислушаться к голосу рассудка, который, как только Аллан произнес роковые слова, стал возражать, говоря, что ему совершенно незачем пускать постороннего человека к себе в дом, а если уж очень приспичило, то зачем ему нужна эта юная девушка, еще совсем девочка, как он мог заметить. Но она сразу же согласилась и, когда они вместе выходили из «кафе» на улицу, где было потише, потому что хоть и грохотал музыкальный автомат, взяла его за руку; однако Аллан твердо решил, что не воспользуется ее затруднительным положением. Но в первый же вечер она снова огорошила его, на этот раз своей смелостью и той страстью, которая, оказывается, жила в ее тщедушном теле. Она без обиняков предложила ему себя, поскольку все равно делом этим кончится. И когда они лежали рядом на его узкой холостяцкой кровати, он старался быть очень осторожным, потому что чувствовал себя огромным, неуклюжим и грубым. Однако Лиза ничего не боялась и была настроена весьма шаловливо. А на следующее утро она сказала, что ей нет еще и четырнадцати и что она убежала из дома, поссорившись с родителями.

Они поженились за месяц до того, как ей предстояло родить. Специального разрешения не потребовалось, так как тогда ей уже исполнилось четырнадцать, а кроме

того, она была беременна. В муниципалитете, в тесной и жаркой приемной, где пол был засыпан окурками и пеплом, испорченными бланками и прочим бумажным мусором, а на стульях в ожидании вызова сидели расфранченные брачные пары, Лиза чуть не потеряла сознание. Ее узенькая ручка, на которой была отчетливо видна каждая жилка, судорожно сжимала букетик фиалок; прислонившись к Аллану, она тяжело дышала. Путешествие в вагоне метро от Апрель авеню до муниципалитета оказалось для нее слишком суровым испытанием, и теперь у нее все время кружилась голова. Аллан повернулся и хотел открыть окно у них за спиной, но ничего не вышло: оно было забито гвоздями.

Лиза казалась еще бледнее, чем обычно. Беременность нарисовала синие круги у нее под глазами, которые смотрели на него и просили успокоиться, когда он воевал в этой тесноте с оконными шпингалетами. У нее немного округлились щеки и подбородок, а над верхней губой появился легкий пушок. Все эти месяцы он разглядывал ее с восхищением и страхом, наблюдая, как она растет, полнеет, тяжелеет, у него на глазах все больше становится «женщиной», как женские формы все отчетливее проступают сквозь облик худенькой девочки и делают ее «зрелой» и совершенно неузнаваемой. Ее состояние требовало особой деликатности и такта, что порой ему казалось несколько обременительным. Теперь все изменилось. Лиза больше не была шаловливой девчонкой, с которой он мог просто поразвлечься; благодаря беременности она стала больше «его», но это сковывало Аллана, пугало, налагало ответственность. Тем не менее он согласился, что ребенка нужно оставить. Они много говорили об этом и пришли к выводу, что так будет лучше всего. Лиза хотела иметь ребенка, бэби (куклу), а у него несмотря на смятение и страх глубоко в подсознании было такое чувство, что ребенок обогатит его, что-то добавит в его жизнь, принесет не только заботы и обязанности, но и большую радость; так, по крайней мере, подсказывал Аллану инстинкт.

Тем не менее все то время, пока они жили на Апрель авеню, им приходилось нелегко. Беременность Лизы и ее состояние после родов требовали от Аллана сдержанности, что лишало их многих радостей супружеской жизни. Младенец часто болел. В тесной квартире нечем было дышать. Случалось, после бессонной ночи Аллан вообще начинал жалеть, что затеял всю эту историю: как могли они оба быть настолько неосторожны, чтобы родить на свет ребенка, а он — настолько глуп, чтобы связаться с этой легкомысленной девицей, которая просидела двое суток на скамейке на Центральном вокзале, не решаясь сдвинуться с места из страха перед ворами и насильниками, и настолько устала, глядя на беззвучно проносящиеся у нее над головой поезда, что была готова переспать с кем угодно, лишь бы ей предложили ночлег.

Она снова шепнула ему в темноте:

— Послушай, пора ложиться. Я хочу спать.

— Да, сейчас.

Аллан весь ушел в воспоминания, хотя вообще редко думал о прошлом. Все это вдруг как-то сразу нахлынуло на него. Возможно, под действием тишины или панорамы Свитуотера, утопающего в огнях, а возможно, и от сознания того, что теперь он наконец свободен от всех и вся, находится вне пределов досягаемости и предоставлен самому себе и своей изобретательности, своей способности победить в борьбе за существование.

— Да, пошли спать.

Аллан обнял Лизу за плечи. Она вздохнула. Давно она не была ему такой близкой, как сейчас. Очень давно. Он почувствовал, как в нем растет желание.

Они разделись, стараясь как можно меньше шуметь, чтобы не разбудить Боя, который спал, засунув в рот большой палец; щеки его были вымачканы засохшим шоколадом. Аллан и Лиза оба слегка дрожали от холода.

Потом она прошептала:

— Тише, Аллан. Осторожнее... Ведь здесь Бой...

Аллан что-то пробурчал в ответ и крепко обнял ее; теперь ничто не могло его остановить. Она самозабвенно прижалась к нему, невольно отдаваясь силе его примитивной страсти.

— Только тише, прошу тебя...

Первое утро.

Их разбудили мухи. Бой капризничал, потому что хотел пить. Вчерашний лимонад стал теплым и невкусным. В их комнате на колесах было жарко и душно. Когда после небольшой потасовки малыша все-таки удалось одеть, Аллан открыл дверь и выпустил его на свежий воздух. Потом он свернул матрас и засунул его под сиденье, так что теперь им было где повернуться. Пора было готовить завтрак. Глядя в окно, Аллан видел желтый солнечный диск, дрожавший в утренней дымке над еще незастроенным хребтом Эббот-Хилл, который возвышался за бетонно-серой лентой Автострады между Насыпью и расположенными ниже восточными зонами города. Аллан зевал, чувствуя себя немного разбитым, но в общем он хорошо выспался. Вероятно, было уже поздно.

— Ты обещал приспособить мне сегодня печку.

— Ладно...

Сейчас Аллан не мог думать о будничных вещах: его все еще переполняли удивительные сны минувшей ночи и огромная, не поддающаяся определению радость оттого, что он смог досмотреть эти сны до конца и проснуться в тишине. Солнечная сера и фосфор медленно прожигали себе путь сквозь грязное стекло, наполняя жаром их тесную комнатушку. Тишина и покой. Именно такими ему представлялись утра в их новой жизни. Что же касается мух, то с ними приходилось мириться.

Лиза уже оделась и рылась в сумке с продуктами.

— Если ты сейчас же не сложишь мне печку, я не смогу сварить кофе.

— Хорошо,— ответил он добродушно.— Мы сварим кофе на костре, а потом я возьмусь за печку.

Он вышел на воздух. Было сыро. Утренняя прохлада. Бриз принес слабый запах дыма и моря. Боя нигде не было видно. Вдали в тишине вдруг завыл мотор на малых оборотах: машина с мусором. Наверняка они уже работали, но сбрасывали свой вонючий груз где-то очень далеко отсюда, на другой стороне Насыпи. Никакая опасность не угрожала Аллану с Лизой.

Между тем Аллан нашел несколько кирпичей и кусок жести, собрал немного щепок и обломков досок, сел на корточки и принялся разжигать костер в этом первобытном очаге. И хотя дрова были мокрые от утренней росы, в конце концов они разгорелись.

Лиза вышла из фургона и налила в небольшую кастрюлю минеральной воды из бутылки.

— Прекрасно, позавтракаем на свежем воздухе.

Скоро вода в кастрюле закипела.

— Ты не видел Боя?

— Не видел,— ответил Аллан.— Но оставь его в покое: пусть он играет. Ему это на пользу. Проголодается — придет.

— А вдруг он уйдет куда-нибудь далеко и заблудится?

— Ну так покричит. Здесь отовсюду хорошо слышно. Пусть понемногу приучается к самостоятельности.

Лиза приготовила кофе из порошкового кофезаменителя, разлила его в две чашки. Они сидели каждый на своем автомобильном сиденье, которые Аллан прошлым вечером вытащил из старого кузова. Тусклое солнце с трудом пробивалось сквозь затянувшую небо мглу. Лиза подняла голову и, отбросив волосы со лба и со щек, сказала:

— Можно даже загорать... Здесь почти совсем как в деревне. Но только гораздо лучше. В деревне так пусто... Так одиноко.

Когда-то очень давно они говорили о том, чтобы переехать куда-нибудь в сельскую местность, в деревню. Деревня... Это слово звучало и необычно и соблазнительно для тех, кто никогда не выезжал дальше постоянно разраставшихся пригородов Свитуотера. Соблазнительно и в то же время тревожно: парк без ограды, леса без тропинок, равнины, холмы, хребты и горы... И все это лишено четких границ, четких и ясных очертаний. Некоторые обитатели Свитуотера любили деревню и проводили там (где, собственно?) все свои выходные дни и отпуска, хотя это стоило немалых денег и немалых усилий. Свитуотер все время разрастался, опутывая жителей густой сетью всевозможных препятствий. дороги из центра города к окраинам были длинные, невероятно длинные, даже если говорить только о расстоянии; а множество светофоров, пробки, где приходилось терять массу времени, и трудности, связанные с ориентированием, делали их почти непроезжими. И все-таки люди возвращались в город отдохнувшими

и загорелыми и во весь голос превозносили до небес «деревню» и деревенское житье именно за то, что Аллану было всегда чуждо, враждебно и непонятно. При этом они употребляли такие выражения, как «девственный край», «красота природы», «полное безмолвие», «первозданность», «подлинность», «нетронутость»... После всех этих разговоров Аллана уже не удовлетворяла «природа», которую он знал: парки и скверы, клумбы и декоративные кустарники, разбросанные по всему городу, лужайки в парках, где траву регулярно подстригали, пешеходные дорожки, маленькие мостики через искусственные ручьи, пруды, где среди бумажек от мороженого и других отбросов плещутся полудикие утки и другая водоплавающая птица в ожидании кусочков хлеба, которые им бросают посетители, главным образом дети. Повсюду стоят скамейки, на которых можно посидеть, созерцая других любителей этой укрощенной «природы», пришедших сюда со своими детскими колясками, своими собаками, друзьями и возлюбленными... И однако же, Аллану казалось, что он предпочитает именно такую «природу», в небольших, точно отмеренных дозах.

Но как-то раз в субботу они все-таки выехали за город, из чистого любопытства, разумеется, чтобы наконец понять, что значит «побывать в деревне». Это был их первый шаг, первый поступок, означавший, что за разговорами о том, чтобы уехать из города, кроется нечто большее, чем пустые мечтания,— веселая и полная неожиданностей экскурсия в неизвестность. Они сели в автобус — после того как с трудом отыскали его: теперь на загородных маршрутах осталось совсем мало автобусов; он шел в Плежер-Коув, маленькую деревушку, расположенную на берегу неглубокого пруда; жители деревни потратились на его расчистку и потому с гордостью рекламировали здешнюю воду, годную для купания. В разгар сезона Плежер-Коув пользовался большой популярностью: здесь были площадки для игры в гольф и площадки для обучения малышей ходьбе, тропы для верховой езды и пешие маршруты, проложенные на слабопересеченной местности, где росли рядами кипарисы и пинии, а кое-где встречались и купы лиственных деревьев. Об этом Аллан узнал из рекламных объявлений и буклетов, которые просматривал в туристическом бюро.

В деревню они приехали, когда уже стемнело. В автобусе Лизу тошнило. Бой, которому тогда было всего два года, всю дорогу проспал. По приезде они зашли в первый попавшийся мотель, который назывался «Пансионат» и был обильно украшен и снаружи и внутри колесами, старыми плуговыми лемехами, чугунами, бадьями и старинными сельскохозяйственными орудиями; и все равно сразу было видно, что это самый обыкновенный мотель. Они сняли комнату и, измученные путешествием, тут же легли спать.

Завтрак подавали с восьми до десяти часов утра: вареные яйца, гренки с маслом («настоящее масло» — было написано в меню, которые лежали на всех столах в столовой), повидло неопределенного происхождения и цвета, кофе или чай по выбору. Когда Лиза увидела грязь на яичной скорлупе, ее снова затошнило и больше она не могла есть.

— Совсем свежие яички от наших собственных кур,— гордо сообщила им хозяйка.

Это была крупная ширококостная женщина с красными щеками и маленькими добродушными светлыми глазами за круглыми дымчатыми стеклами очков. Ее волосы скрывал чепец, как у официантки, а на лбу блестели капельки пота. Она сказала, что их пансионат (мотель) — один из старейших в округе, со своими традициями, и у них есть постоянные клиенты, которые останавливаются здесь уже много лет подряд. Ее очень огорчает, что многие гости предпочитают новые, более роскошные мотели, которые выстроились в ряд по берегу озера. Она говорила на диалекте, который Аллан плохо понимал; это раздражало его, и он старался избегать хозяйку, хотя она была очень благожелательна и даже разрешила Бою рвать ягоды в саду.

Погода стояла прекрасная, и после завтрака они пошли погулять: ведь они приехали сюда, чтобы наслаждаться «природой», «деревней» и свежим воздухом. Но они прошли совсем немного — не успел скрыться из виду маленький поселок вокруг автобусной остановки, как Лиза объявила, что устала и хочет вернуться в мотель. Здесь, под открытым небом, где не было ни домов, ни хорошей дороги, которая куда-то ведет, она вдруг почувствовала себя одинокой, всеми покинутой и больной и взяла его за руку, чтобы не упасть, а он вел ее по тропинке, вспоминая, как мечтал лежать с ней в такой же вот траве, посреди широкого луга, и чтобы вокруг них и над ними были только цветы, деревья, и насекомые, и птицы, и синее-синее небо. Но об этом Аллан мечтал до того, как они пустились в путь. Здесь же, на тропе, вившейся среди холмов, которые

неожиданно возникали перед ними, образуя возвышенность, а за ней, где-то далеко-далеко, дальше, чем можно себе представить, рисовались на фоне неба вершины гор, здесь они вдруг стали совсем чужими и изо всех сил вцепились друг в друга, словно боялись навсегда друг друга потерять, ибо здесь, среди огромного пространства «природы» (где росли пинии, и кипарисы, и даже небольшой лиственный лес, совсем как на цветных фотографиях в рекламных проспектах), они оказались такими маленькими и невесомыми, что даже легкое дуновение ветерка могло подхватить их и навсегда разлучить под этим бескрайним и необъятным небосводом...

Они рано пообедали, после чего Лиза легла отдохнуть (здесь, в деревне, во всяком случае хорошо спалось), а Аллан спустился на берег озера, где в отведенных для рыбной ловли местах плечом к плечу сидели рыболовы, забрасывали леску и с таким сосредоточенным видом наматывали ее на катушку, что Аллану было противно на них смотреть.

Устроившись в гамаке на террасе позади мотеля, он попытался заснуть, но ему мешали пятнистые рыжие кошки, которые играли в высокой траве под деревьями. Он лежал и смотрел на них, и усталость то убаюкивала его, то снова возвращала в послеполуденный зной, а потом опять погружала в сладкую дремоту, и словно в тумане он видел быстрые и мягкие кошачьи движения, когда они охотились друг за другом в траве, царапались и шипели, валили друг друга на землю, и в этой жестокой игре находил выражение первозданный инстинкт хищника, казавшийся Аллану чем-то пугающим, ужасным, как и то ощущение, которое он внезапно испытал, когда под порывом холодного ветра вдруг задрожали тополя, и у него закружилась голова от запахов сада, густо заросшего цветами и травой. Это и есть «природа»? Это одичание... Аллан лежал, и ему казалось, что он растворяется в тишине, такой беспредельно пустой (впереди озеро, позади луга, пастбища, холмы и горы) и в то же время пронизанной запахами, неведомыми звуками и движениями, и грудь его тяжело вздымалась, руки дрожали, а солнце пылало на безоблачном небе, синем-синем...

На обратном пути у Боя разболелся живот от ягод, которыми он объелся. И когда поздно вечером Аллан и Лиза плелись по грязному тротуару Апрель авеню, оба чувствовали облегчение и радовались, что наконец-то вернулись домой.

Так они съездили в деревню.

— Как хорошо! — вздохнула Лиза и, запрокинув голову, закрыла глаза.

Они сидели и наслаждались горячим кофейным напитком; их озаряли мягкие лучи солнца, пробивавшиеся сквозь вечную мглу, эту созданную человеком ядовитую примесь к земной атмосфере, которую уже ничто не может рассеять — ни ветер, ни дождь, ни снег.

— Здесь можно загорать хоть целый день...

Одним движением она стащила через голову свитер и осталась сидеть полуобнаженная, ослепительно белая — такой он не привык ее видеть при дневном свете.

— Нас никто не видит,— сказала Лиза, заметив, что Аллан смотрит на нее.

— Никто,— согласился Аллан.— Кроме нас, здесь никого нет...

Ему было приятно смотреть на нее, приятно и в то же время тревожно. Ему казалось, что она заходит слишком далеко, злоупотребляет только что обретенной свободой, нарушая границы дозволенного. Он думал: «А прилично ли это?» По натуре Аллан был человек спокойный, рассудительный и не любил, когда люди делали что-то неуместное или впадали в крайность. А это? Может быть, и это крайность?

Впрочем, нет. Подперев ладонью щеку, она сидела на замызганном автомобильном сиденье, самозабвенно отдаваясь солнечным лучам, тонкая, как девушка, бледная, с плоским животом и маленькой грудью — трудно поверить, что она выкормила младенца. Сама невинность. И он вдруг рассердился на себя за то, что не такой непосредственный, как она, и делает лишь то, что считает правильным, а теперь вот сидит и пытается разобраться в скрытых достоинствах этой маленькой девочки, ставшей его женой, и он сразу ощутил силу своих волосатых рук, ощутил тяжесть своего тела (беззвучное, огнедышащее счастье, пережитое вчера вечером!) и почти против воли внезапно подумал: «Это вполне прилично. Ну конечно, прилично. Здесь. Под открытым небом. Кто нас увидит? Кто может сюда прийти?» Но от этих мыслей он рассердился еще больше и вдруг почувствовал, как его охватывает желание. Раньше он достаточно легко сдерживал в подобных случаях свои порывы, поскольку их интимные отношения определялись не вспышками страсти, а скорее привычкой — так сказать,

чётким расписанием... Но возможно, все дело было в том, что им крайне редко представлялась возможность побыть друг с другом наедине: им мешал Бой, работа, условия их жизни и все их «нормальное» существование. Но теперь все было прилично!

— Почему ты не снимешь все остальное? — спросил Аллан.

Голос его прозвучал неуверенно: он стыдился своего бесстыдства; время и место были неподходящие для занятий любовью (ему предстояло сегодня сделать множество дел: сложить печку, достать самые необходимые вещи, обследовать окрестности и учесть открывавшиеся перед ними возможности!); это казалось ему противоестественным именно потому, что было слишком уж естественно, более того — примитивно, да, именно примитивно!

Однако Лиза уловила в его интонации нечто такое, что заставило ее улыбнуться немного смущенно,— она была изумлена; обычно Аллан не проявлял особого интереса к ее телу, и когда она раздевалась, им скорее овладевало беспокойство, чем желание, словно ее острые лопатки, узкая спина, худые бедра и коленки, ударявшиеся друг о друга при ходьбе, напоминали ему о чем-то не слишком приятном, например, о том, что он вдвое старше своей жены, соблазнил ее, сделал ей ребенка, женился на ней и теперь в этой трудной ситуации обязан не ударить в грязь лицом...

— А если придет Бой?..

— Он бегает по всем этим кучам,— прервал ее Аллан нетерпеливо.— А кроме того, он уже видел свою маму голой. Раздевайся.

Слегка усмехнувшись, она сбросила короткую мини-юбочку и сняла красные колготки; тут она почувствовала на себе его взгляд, беспокойный и пристальный, как у собаки. Теперь его желание стало непреложным фактом, он больше не корил себя. Он встал, в два-три прыжка добежал до фургона, открыл дверь и схватил одеяло, нашел ровное место на пригорке в нескольких шагах от фургона и расстелил одеяло — все это он проделал с бессознательной уверенностью лунатика.

— Иди сюда,— позвал он.

Однако Лиза не двигалась с места и молча смотрела на него.

— Ну, иди же!

Сообразив, что с Алланом творится что-то неладное, Лиза не стала мешкать и подошла к нему, ступая осторожно, чтобы не порезать ноги об острые куски металла и осколки стекла, которые валялись всюду вместе с мусором и всякими отбросами.

Потом он лежал и что-то шептал, обнимал ее, страшно довольный собой, и мурлыкал, как большой ласковый зверь. А она пыталась как-то осознать то новое, что вошло в ее жизнь и так непохоже было на прежнее существование, и бормотала:

— Как хорошо... Как здесь хорошо... Как хорошо...

С ленивым удовлетворением, но и с тайным беспокойством он подумал о том, что они похожи сейчас на кошек, греющихся на солнце, диких и неукротимых, мягких и податливых, играющих, как те «одичавшие» кошки, которые гонялись друг за другом в траве...

И они снова заснули.

Их разбудил какой-то шорох. Аллан посмотрел туда, где они недавно завтракали. Там лежало немного хлеба и кусочек сыра. Сейчас там сидела большая бурая крыса и грызла остатки завтрака, не обращая внимания на людей, хотя они были всего в нескольких метрах от нее. Потом появилась еще одна. Аллан пошарил вокруг и нашел свой ботинок. Лиза все еще крепко спала. Аллан изо всех сил запустил тяжелым ботинком в крыс, и в мгновение ока обе исчезли.

— Проклятые твари!

Лиза проснулась и испуганно спросила, что случилось.

— Крысы. Две огромные крысы поедали наш завтрак!

— Ох! — воскликнула она и села.

Аллан привык к виду крыс. На Апрель авеню весь двор так и кишел ими. Собственно говоря, он не чувствовал особой неприязни к этим противным грызунам, но, увидев их так близко, воспринял это почти как вызов — начиналась борьба за пищу, борьба за жилье: ведь они были так уязвимы, уязвимы со всех сторон. Здесь им придется нелегко.

Мерзкие негодные твари!

Прибежал Бой.

Лиза уже встала, снова надела колготки и юбку и решила прибрать немного перед фургоном, однако делала она это так неумело и неохотно, что толку от ее уборки было мало. Аллан все еще сидел голый на одеяле и размышлял.

— Еда! Я нашел еду! — кричал Бой.

Малыш весь перепачкался, одежда была в беспорядке, на широком некрасивом личике под шапкой растрепанных русых волос, таких же, как у отца, но только светлее и мягче, возбужденно блестели глаза. Он остановился как вкопанный, уставившись на отца, потому что не привык видеть его голым.

— Я тоже хочу! Хочу раздеться! — начал Бой.

Аллан быстро встал и натянул брюки.

— Нет, сейчас мы все оденемся,— ответил он слегка сконфуженно.

Изумленный взгляд мальчика снова напомнил ему, что надо быть все время начеку, держать себя в руках, нельзя, чтобы «свобода» лишила его воли и характера. Здешняя обстановка потребует немалого напряжения сил.

— А я хочу, хочу,— хныкал Бой, уже приготовившись заплакать всерьез.

— Что это у тебя там? — спросил Аллан, показывая на руку Боя, который держал полную пригоршню липкого теста.

— Это пирожное. Я нашел его.

— Пирожное?

— Ага, вкусное!

Бой протянул комок теста.

— Ты ел его?

— Да.

— Нельзя пробовать все, что ты находишь.

— Но оно вкусное! — настаивал малыш.

Ему скоро должно было исполниться пять лет, но его принимали за трехлетнего: такой он был маленький и бледный. Однако временами на его лице проглядывали ум и упорство.

— Допустим.— Аллан старался быть терпеливым.— Но понимаешь, это опасно...

— Где ты нашел пирожное, Бой? — вмешалась Лиза.

Ей пришла в голову одна мысль.

— Там... — неопределенно показал Бой.

— Ты можешь показать нам, где ты нашел пирожное?

— Да-а...

— Еще неизвестно, так ли это опасно,— сказала она Аллану.— Знаешь, ведь каждый день выбрасывают неимоверное количество и хлеба и пирожных.

Лиза во всяком случае знала об этом. До беременности она работала в хлебном отделе супермаркета. Новые санитарные предписания запрещали продавать мучные изделия сверхсуточной давности. Часть товара, который ежедневно оставался непроданным, попадала в сумки служащих магазина или шла из-под прилавка друзьям и знакомым (начальство смотрело сквозь пальцы на эту форму благотворительности). А остальное вывозилось на свалку.

— Мы наверняка найдем здесь хлеб,— сказала Лиза.— Во всяком случае, стоит попытаться. Бой, пошли, поищем еще пирожных. А ты покажешь нам дорогу...

— Ты бы оделась сначала,— пробурчал Аллан неодобрительно.

Лиза, видно, забыла, что выше пояса она голая. Не то чтобы его это как-то задевало, но он уже снова надел на себя узду, ту самую узду, которую так боялся потерять. И мысль о том, как легко потерять эту узду, пугала его.

Потом они шли вдоль берега.

Бой же устал и тащился сзади; он бросал камни в воду и то и дело начинал хныкать. Аллан нес на спине мешок, в котором лежало несколько буханок твердого как камень хлеба. Место, где Бой обнаружил пирожные, находилось по другую сторону Насыпи (Аллан удивился, что малыш ушел так далеко и тем не менее отыскал дорогу обратно). Там лежали штабелями картонные коробки с плесневеющими пирожными. Судя по марке на коробках, пирожные были из одной крупной пекарни в Свитуотере. Кроме того, вокруг было разбросано множество буханок хлеба, однако крысы уже добрались почти до всех. Аллану и Лизе удалось спасти лишь немного хлеба,

на котором еще не было заметно крысиных зубов. Неся этот хлеб, еду, которую они сами добыли, Аллан с удовлетворением ощущал свою независимость. Наверняка здесь была и другая пища, которую выбросили; ее надо было только поискать. Они должны научиться искать, научиться искусству выживать, обходясь только местными ресурсами; ведь дело явно идет к тому, что скоро они не смогут доставать все необходимое в Свитуотере. Надо рассчитывать только на себя.

— Нужно опять пойти туда в субботу,— сказала Лиза.— Больше всего продуктов выбрасывают в субботу, а в воскресенье они уже начинают портиться.

Лиза вышагивала рядом с мужем в высоких кожаных сапогах, которые он нашел для нее в куче старой одежды. Сапоги были поношенные и жесткие, но оказались ей как раз по ноге. Аллан обещал Лизе найти какую-нибудь мазь, которая сделает их помягче. Она была в восторге от своих сапог и хотела немедленно выбросить черные лакированные туфельки на высоких каблуках, в которых было так неудобно ходить по этой неровной земле, но Аллан не разрешил ей совершить столь опрометчивый поступок. «Нельзя выбрасывать вещи, которые еще могут послужить,— внушал он Лизе.— Здесь все пригодится». Теперь она несла эти черные бесполезные безделушки в руке, и они весело болтались на своих ремешках.

Аллан был доволен, что Лиза так рада его подарку. Его очень огорчало, когда она, бывало, становилась безразличной ко всему и впадала в глубокую апатию. Случалось, вернувшись вечером с работы, он заставал ее в их маленькой спаленке на том же стуле, на котором она сидела, когда рано утром он уходил на работу,— уставясь в одну точку, она сидела совершенно неподвижно, а Бой, грязный и заброшенный, покорно лежал, свернувшись клубочком, на полу или в кровати. Бывало и так, что, превращая ночь в день, она без устали ходила взад и вперед по комнате, курила одну сигарету за другой (чего в обычные дни никогда не делала), литрами пила лимонад, снова и снова проглядывала одни и те же картинки из журналов, которые покупала или крала, и часами стояла под душем... Аллан пытался серьезно поговорить с ней, просил ее взять себя в руки хотя бы ради ребенка, и она обещала ему, плакала, говорила, что сама не понимает, что с ней творится, но начинала истерически рыдать, когда он предлагал ей обратиться к врачу. Единственное объяснение, которое она могла дать, заключалось в том, что время от времени ей все становилось невыносимо «тяжело»: жить в этой квартире, заниматься воспитанием ребенка (пока Бой был совсем маленький, Лиза окружала его, пожалуй, даже преувеличенной заботой, но когда он чуть-чуть подрос, она вдруг потеряла к нему интерес, словно его первые проявления самостоятельности и попытки утвердить свое существование независимо от нее показались ей опасным «мятежом» и шагом к обособлению, и она отшатнулась от сына, когда ему не было еще и двух лет), поддерживать дома хоть какой-то порядок, ходить по магазинам. Ведь чтобы купить все необходимое, надо было с ребенком на руках преодолеть три крутых лестницы и пройти шесть кварталов, вытерпеть давку в магазинах и на тротуаре, и оглушающий шум уличного движения, и вид этих старых и ветхих густонаселенных домов, уныло протянувшихся на много километров, квартал за кварталом, и пыль, копоть и грязь, которые делали воздух непригодным (и даже вредным!) для дыхания, закупоривали поры и прилипали к людям, стенам и предметам, образуя серую едкую пленку всеобщего разложения и застоя. Все это опускалось на нее порой, словно непроницаемый водолазный колокол, и тогда ее охватывало отчаяние, и она больше не желала так жить и жить вообще. И тем не менее Лиза знала, что им еще повезло, поскольку у них все-таки была квартира на Апрель-авеню, а другим приходилось намного хуже.

— Послушай, Аллан, а ведь там была одежда, которая еще может пригодиться...

Лиза шла рядом с мужем, восторгалась своими сапогами и делилась планами на будущее:

— Наверняка мы найдем множество вещей, которыми можно будет пользоваться. Ну а если они будут не совсем впору, то разве нельзя их перешить? И как только что-нибудь порвется, мы можем починить, зашить, правда?

Лиза никогда в жизни не держала в руках иголки с ниткой, но сейчас ей все казалось нипочем.

Аллан же шел и думал в это время о другом: о воде. Главная проблема — где доставать воду. Правда, им не угрожала опасность умереть от жажды, когда они выпьют последнюю бутылку минеральной воды из взятого с собой запаса: можно будет поехать в город и купить еще. Минеральная вода продавалась во всех ларьках,

супермаркетах и продовольственных магазинах, и многие предпочитали пить ее вместо дурно пахнувшей обычной питьевой воды с привкусом дезинфекции. Но это не решало проблемы водоснабжения. Минеральная вода стоит денег, да и кто знает, не исчезнет ли она из продажи, как уже исчезло многое другое. Нет, воду нужно доставать как-то иначе. Он вспомнил утреннюю сырость — их фургон сплошь покрывали капельки росы. Потом, когда наступит лето и дни станут жаркими, ближе к вечеру будут порой идти проливные дожди, а осенью начнется сезон дождей, и они будут лить не переставая целые дни и недели. Надо найти способ собирать эту воду — вот выход. Ему не часто приходилось что-нибудь делать своими руками, но ведь не зря же он все-таки учился в архитектурном институте...

— В них так удобно ходить,— сказала Лиза, которая все еще ни о чем не могла думать, кроме своих сапог.— Но у них какая-то чудная форма и очень твердые голенища. Я никогда не видела таких.

— Наверное, это ботфорты,— предположил Аллан рассеянно.

— Ботфорты?

— Да, такие сапоги люди надевали, когда ездили верхом на лошади.

— Верхом на лошади? Простые люди — как мы с тобой? Когда же это было?

— Не знаю. Это было чем-то вроде спорта. Думаю, теперь больше никто не ездит верхом. Да и лошадей больше нет, во всяком случае в наших местах, разве только в Камп-Авениде.

Камп-Авенидой назывался военный городок к северу от Свитуотера. Ходили слухи, что на случай перебоев с горючим там начали разводить лошадей и используют их при подавлении беспорядков в городе, которые начались в последние годы.

— Солдаты верхом на лошадях? Я видела однажды такое в кино.

— Ну да, как в кино! — вздохнул он устало.

Иногда ее наивность и полная неосведомленность о самых элементарных вещах и удручали и раздражали его. Сам он постепенно перестал читать газеты: они становились все тоньше (нехватка бумаги), а статьи в них — все более пустыми и стереотипными; выражая интересы издателей, они были не чем иным, как спекуляцией на предрассудках обывателя, однако при желании из них можно было все-таки извлечь кое-какие факты и увязать их друг с другом.

— Ботфорты! — бормотала Лиза.— Ведь это просто замечательно...

Они шли бок о бок по самому берегу. Бой отставал; он то находил какие-то интересные для него вещи, то кричал им, что устал и хочет «домой». Он уже воспринимал фургон как свой дом. День был тихий и ясный. Невысокие волны легко набегали на грязный каменистый берег, оставляя за собой тонкие зеленовато-розовые полоски пены.

Аллану вдруг пришла в голову одна мысль; он опустился к самой воде, сел на корточки, зачерпнул полную пригоршню, поднес ко рту, понюхал и осторожно попробовал. Она ничем не пахла, на вкус была чуть кисловатой и почти несоленой. Воду в Райской бухте в основном испортили ядовитые отходы Сарагоссы. Нечистоты из Свитуотера проходили через очистные сооружения, которые, так же как и запрет сливать в море ядовитые отходы производства, начали действовать слишком поздно, когда вода в бухте была уже непригодна для жизни и заражена, а кроме того, от нее исходило ужасное зловоние. С годами вода очистилась, но оставалась «мертвой» и останется такой навсегда; никакие законы не могут повернуть вспять смертоносные процессы, вызванные тысячами тонн ядовитого шлама, спущенного в бухту заводами и фабриками.

— Ты сможешь стирать здесь белье,— сказал Аллан.

Лиза сморщила нос.

— В этих нечистотах? — сказала она.

— Здесь больше нет нечистот, только химикалии.

— В чем же я буду стирать?

— Мы найдем тебе какую-нибудь лоханку или ушат...

И тут ему пришла в голову еще одна возможность стирать. Неподалеку из воды поднималось какое-то приземистое бетонное сооружение с плоской поверхностью в два-три метра шириной, основательно разрушенное ветром и влагой,— недостроенный мол или, быть может, фундамент причала. В нескольких местах от него отломились огромные куски, которые лежали поодаль словно скалы с отшлифованными временем склонами, уходящими в воду.

— Там ты сможешь отбить белье чисто-начисто,— сказал Аллан, указывая на бетонное сооружение.

— Это как?

— А так, как делают на островах Южных морей. Там кладут белье на камни в реке и бьют по нему палками, пока вся грязь не отойдет.

— Острова Южных морей? Где это?

— Где-то очень далеко. Я видел однажды по телевидению, как они стирают. Мы можем не хуже. Это будет как бы возвращение к природе.

— А как же стиральный порошок?

Аллан только пожал плечами. Он действительно видел однажды старый документальный фильм об островах Южных морей. На Аллана фильм произвел большое впечатление. С тех пор он и начал мечтать о такой жизни, вдали от города, на лоне природы. Во всяком случае, о чем-то подобном, мирном и идиллическом, об общении с милыми, доброжелательными людьми, которые все время поют и каждое их движение излучает радость и гармонию. И среди них ему не будет одиноко и страшно, как тогда, в чуждой и враждебной обстановке мотеля, хозяйка которого изъяснялась на непонятном диалекте, в деревне, где были четко обозначены места парковки машин, всюду торчали рекламные щиты, а кошки, злобные и коварные кошки, играли в высокой траве в свои жестокие игры,— эта картина врезалась ему в память как символ своенравия и дикости «природы», той самой дикости, которая сегодня утром, когда он лежал с Лизой на одеяле под лучами полуденного солнца, чуть было не подчинила себе его действия и помыслы. Аллан физически ощущал ее присутствие, хотя здешняя «природа» была им близка, поскольку слагалась из тех же элементов, что и их собственное существование; это была их «природа». И тем не менее дикость затаилась где-то совсем неподалеку, в засаде, и надо быть все время начеку...

— Но ведь это ужасно трудно! — воскликнула Лиза.

Прищурив глаза, она смерила неодобрительным взглядом остатки бетонного причала, по обеим сторонам которого колыхались черные водоросли.

— Ну, не труднее, чем тащить грязное белье за пять кварталов в прачечную, полчаса стоять в очереди, дышать паром и вонью, ждать, пока автомат выстирает белье, потом ждать, пока оно высушится в барабане, и только после этого тащить его домой...

— Но будет ли белье чистым?

— Думаю, что да. Во всяком случае, давай попробуем.

Аллану очень хотелось увидеть, как Лиза стирает белье на причале. Для него это была мирная идиллия на лоне природы.

Ход его мыслей внезапно прервал радостный возглас Боя. Малыш подбежал к родителям, размахивая каким-то непонятным предметом, который он нашел. Им пришлось остановиться, чтобы взглянуть, что это такое. Оказалось, что это голова куклы с длинными золотистыми волосами; она смотрела на них, моргая глазами на расплющенном лице, с которого вода начисто смыла все черты.

— Какая красивая! — восхищенно кричал Бой. — Красивая! Красивая!

Он держал голову за отливающие золотом волосы и размахивал ею из стороны в сторону.

Эта картина поразила Аллана до глубины души — с тех пор как они прибыли сюда, жизнь снова стала представляться ему в виде картин. К нему вернулись картины! Он почти забыл их, много лет он жил без картин, и вот они снова стали возвращаться к нему, одна за другой или несколько сразу, вперемежку, беспорядочно. Желтые синтетические волосы... Парики матери, развешанные на колышках возле зеркала в золоченой раме, в спальне, в их трехкомнатной квартире, заставленной мебелью. Моложавая в свои тридцать девять лет, она была на одиннадцать лет моложе отца. Тщеславие, недовольство, упреки: «Я изо всех сил стараюсь не потерять форму, сохранить для тебя свою красоту, а ты...», руки на округлых бедрах, затянутых в узкую, слишком короткую юбку, огненного цвета волосы. «Жить в этой берлоге и даром терять лучшие годы жизни...» Работа на полставки в отделе тканей большого магазина: «Чтобы только не сидеть дома!..» Сигареты, декольтированные платья, косметика и водный массаж, разгрузочные дни. Она снабжала Аллана просветительной литературой по вопросам секса («Чтобы ты не стал таким, как твой отец...»). Подкрашенные глаза, подкрашенные губы и неизменная копна жестких, сверкающих лаком волос самых невероятных оттенков.

А потом это же нервное лицо в ссадинах и синяках, отливающие металлическим блеском волосы слиплись от запекшейся крови. Его родители погибли в автомобильной катастрофе, когда ему было восемнадцать лет, погибли при массовом столкновении машин на Автостраде в воскресные часы пик; по иронии судьбы это случилось на том самом месте, куда они так часто брали его с собой, чтобы посмотреть на эти ужасные массовые столкновения, которые происходили почти каждое воскресенье, особенно осенью, когда туман густыми клубами выползает из бухты. Узнав о несчастье, Аллан отчетливо увидел их раздавленными и изуродованными среди обломков машины, превратившейся в груду дымящегося, покрытого черной окалиной металла, как это бывало на месте других катастроф, когда отец сажал его к себе на плечо, чтобы Аллан мог заглянуть через головы толпы, которая всегда собиралась на месте происшествия. Некоторые делали снимки. Некоторые закусывали принесенными с собой бутербродами. Аллан любил драматические ситуации, которые возникали во время этих импровизированных вылазок к месту катастрофы, любил, когда его оттесняли назад полицейские в кожаных форменных куртках и шлемах, разъезжавшие в огромных автомобилях. А вечером они всем семейством сидели перед телевизором и смотрели репортаж о том, что видели своими глазами.

В тот вечер, когда погибли его родители, он тоже смотрел программу новостей, но это столкновение считалось небольшим, и о нем было сказано всего несколько слов. Тем не менее картина сверкающих лаком маминых волос, слипшихся от крови среди обугленных обломков машины, зажатой между искореженными остовами других машин, долго еще возникала перед его внутренним взором так же ясно и отчетливо, как ее парики, которые все еще висели возле зеркала.

— Нельзя, Бой, ты же промокнешь! — закричала Лиза.

Малыш неожиданно сбросил башмаки и восторженно зашлепал по воде.

— Сию минуту иди сюда!

Лиза снова повысила голос. Роль матери постоянно ставила ее в конфликтные ситуации. Больше всего ей хотелось забыть об этом, забыть, что возле нее находится малыш, который ежечасно и ежеминутно требует внимания и заботы. Она была слишком молода, ей и себя-то нелегко было защищать от посягательств окружающего мира. Она еще не вышла из того возраста, когда человек болезненно занят самим собой — это его право и даже долг, иначе он не убережет свою личность. Однако у нее был ребенок, и, поскольку она привыкла упрекать себя в эгоизме, нечистая совесть порой толкала ее на крайности, и в тех случаях, когда у Лизы хватало сил взять на себя роль матери, она доводила свою опеку до абсурда. Она даже настояла на том, чтобы кормить ребенка грудью, чего молодые матери почти никогда не делали; между тем с самого начала было ясно, что у нее не хватит молока. В результате малыш рос худеньким и слабеньким, днем и ночью плакал от голода, еще больше раздражая ее... и она еще больше упрекала себя за жестокосердие и эгоизм.

— Сейчас же выходи из воды! Слышишь?

— Пусть играет,— попытался успокоить ее Аллан.

— Но он же промокнет!

И снова Лиза растерялась в совершенно новой для нее ситуации: они ни разу еще не были с Боем на берегу и он никогда не залезал в воду.

— Пусть немного промокнет, это не вредно. Здесь очень хорошо...

Голова куклы с раздавленным лицом и отливающими золотом волосами снова валялась на берегу.

После обеда Аллан искал и собирал листы гофрированного железа. Кроме того, он притащил к фургону тяжелый старинный чугунный котел, а также несколько пластиковых мешков и больших кусков пластика и еще куски брезента, которые всюду валялись на земле. Все это Аллан отнес на берег моря и тщательно промыл. А потом начал с одной стороны покрывать пластиком и брезентом груду автомобильных покрышек. Это была нелегкая работа. Стоило слегка подуть ветру, как брезент и пластик разлетались в разные стороны, и приходилось все начинать сначала, укладывать их на прежние места, придавливать камнями и следить за тем, чтобы края на стыках как следует перекрывали друг друга, образуя одну большую поверхность, опускавшуюся полого к водостокам, которые он согнул из листов гофрированного железа. Конечной целью всех этих усилий было собрать как можно больше воды, отнять у росы каждую ее каплю. По водостокам вода должна была

вливаться в большой котел. Пока что поверхность, с которой Аллан пытался собрать росу, была сравнительно небольшой, он хотел сначала посмотреть, что из этого получится. А если все пойдет так, как он ожидал, то здесь предостаточно куч и склонов, которые можно использовать таким же образом. А если еще пройдет дождь?..

Аллан вспотел. Он работал упорно, не покладая рук. В общем, он привык к физической работе и тем не менее сильно устал. Он сбросил рубашку и взглянул на свои мускулистые плечи и живот, который заметно выпячивался под грудной клеткой. Он толстеет, но работа вроде этой поможет ему согнать лишний жир, подумал он, тяжело дыша, однако с удовлетворением.

Пролетела, подгоняемая морским ветром, стая ворон и опустилась за самыми дальними кучами, где машины сваливали отбросы и мусор. В воздухе повисло их хриплое карканье. Черные и зловещие, они летели сквозь серую мглу, часто махая крыльями. Вороны и крысы. Единственные живые существа, которых он видел за целый день. Когда-то здесь царили чайки. Он вспомнил, как целые тучи громко кричащих белых птиц провожали морские суда, которые уходили в далекое плавание или возвращались домой. Но чайки исчезли, как и все остальные морские птицы. В те годы их исчезновение наделало много шума. Но это было давным-давно. О чайках больше никто не вспоминал. Зато появились вороны, бесчисленные, неистребимые, летавшие низко-низко над самой Насыпью в поисках падали.

Начинало смеркаться. Аллан смотрел, как Лиза сидит на корточках перед печкой, которую он сложил сегодня утром, открывает консервы с мясной смесью, вываливает ее в кастрюлю, разводит минеральной водой и ставит кастрюлю на кусок жести. Под печкой потрескивал костер. Измученный множеством новых впечатлений, Бой заснул, полулежа на автомобильном сиденье. Эта картина наполнила Аллана чувством глубокого удовлетворения. Значит, он все сделал правильно. Он был доволен тем, как прошел его первый рабочий день на Насыпи.

7

Аллан решил не уходить сразу с бензозаправочной станции. Во всяком случае, до тех пор, пока не станет ясно, в какой мере Насыпь может обеспечить их всем необходимым. Он договорился с Янсоном, что будет работать вторую половину дня в субботу и все воскресенье. Значит, ему придется ночевать на старом матрасе на складе, поскольку в субботу станция закрывалась в одиннадцать вечера, а открывалась в воскресенье уже в половине восьмого утра; ехать домой в субботу после работы не имело смысла — очень далеко, да и автобусы ходили крайне нерегулярно. Но Аллана не пугала необходимость ночевать на бензоколонке. Ему часто приходилось задерживаться допоздна и потом проводить ночи на жестком матрасе. Это было как бы частью его работы. И вообще это последнее звено, связывавшее его с прежней жизнью, не было ему в тягость, хотя долгие автобусные поездки с ожиданием на остановках и пересадками были скучны и утомительны.

Собственно говоря, поступив работать на бензоколонку, он сделал первый шаг к разрыву со Свитуотером, первую попытку отказаться от представлений, установок и честолюбивых помыслов, которые исподволь прививала ему окружающая среда. Например, ему внушали, что он непременно должен стать архитектором, возможно, со своей конторой, современной мебелью, внутренними телефонами... На дверях будет табличка с его именем... Аллан никогда не блистал успехами в науках. Ему ничего не давалось легко. Он с трудом продирался сквозь дебри высшего образования скорее всего по инерции и избрал своей специальностью архитектуру, так как имел склонность к практической работе; он мыслил тогда такими категориями: «Жилищный кризис. Социальное жилищное строительство. Архитектура для человека. Грядущая революция в архитектуре города...» Но революции в архитектуре так и не произошло. Вместо нее началась безработица среди людей с высшим образованием, и Аллан прекрасно знал, что ему крупно повезло, поскольку его приняли на работу в солидную архитектурную мастерскую сразу же после того, как он получил диплом, хотя на это место претендовали многие другие, кто сдал выпускные экзамены гораздо лучше, чем он. Но это тоже было знамение времени: крупные фирмы старались не брать на работу талантливых специалистов. Нужны были просто благонадежные служащие, а не люди с интеллектом, воображением и нестандартным мышлением.

Да, Аллану повезло. Он мог считать себя счастливчиком. Его отец всегда говорил: «Получи диплом, и ты обеспечен; у тебя тогда все будет не так, как у меня».

Отец был наборщиком; типографии закрывались одна за другой, что было вызвано, помимо всего прочего, нехваткой бумаги, и его досрочно вывели на пенсию. Отец твердо стоял на своем и не хотел считаться с тем, что тысячи безработных с дипломом о высшем образовании каждую неделю ходят за пособием. «Будь архитектором,— твердил он.— Архитектором или врачом. Люди всегда строят новые дома и всегда болеют. Но архитектором быть лучше. Это чистая работа. Тебе не нужно будет копаться в человеческих внутренностях. Да у тебя и не хватит смекалки, чтобы стать врачом».

Отец был мечтателем. Небольшого роста, рано облысевший, он любил посидеть на узеньком бетонном выступе у окна на семнадцатом этаже, где находилась их квартира, и поговорить о вещах, которых Аллан не понимал; выступ этот, на котором едва умещалась табуретка, зажатая между перилами и стеной, они называли своим «балконом». Летом каждое воскресенье отец сидел здесь после обеда в нижней полосатой синей с белым рубашке, вытянув ноги; в руке, которая лежала на ржавых перилах, он держал бутылку пива, глядел в непроницаемо мглистое небо большого города и говорил о чем-то таком, что он называл... «ласточки». «Ласточки! — восклицал он с пафосом.— Куда вы, ласточки, пропали? Вы — воплощение свободной мысли, посланцы желаний ярких и страстного томления, вы — черной молнии зигзаг на небесах...» Вот примерно о таких вещах, а также о многих других, столь же мало доступных — в то время — пониманию Аллана, он и говорил, сидя на балконе в летнюю жару, когда копоть с неба медленно опускалась на город, покрывая своей липкой, серой и едкой пеленой все и вся, а его рука так сжимала бутылку с тепловатым пивом, что жилы, словно веревки, проступали на сером и худом предплечье, тонком, но не немощном, ибо это была рука одного из последних мастеров своего дела, выведенных на пенсию досрочно, когда их заменили автоматы. «Нет, малыш, будь архитектором или врачом! Вся наша цивилизация основана на новых домах и больных людях. Но тебе нужно делать ставку на архитектуру, потому что у тебя не хватит смекалки изучить медицину...» Точно отмеренное время отдыха. Точно отмеренное количество пива. А она сидела перед зеркалом в тесной спальне и примеряла новые бюстгальтеры, новые парики, пробовала новый лак для ногтей, словно еще могли осуществиться ее несбывшиеся мечты об эротике и сексе, хотя у нее уже были толстый живот и дряблые, подернутые рябью ляжки.

У Аллана тоже были мечты: с самого раннего детства его сокровенным желанием было работать на бензоколонке. Не то чтобы он считал эту работу особенно интересной или перспективной, но его привлекала сама атмосфера бензозаправочной станции. Эти станции казались ему очень красивыми. Ему нравился их внешний облик, простой и рациональный, нравились бензоколонки со счетчиками и световой рекламой, черные шланги с блестящими пистолетами, машины, которые подъезжали к колонкам, заправлялись бензином с помощью нескольких стандартных и рациональных операций и снова исчезали во тьме (он всегда представлял себе такую станцию в темноте). Это было захватывающее и красивое зрелище. Даже запах бензина казался ему восхитительным. Бензин и резина. Скорость, сила, эффективность... Когда он был маленьким, бензоколонка на углу с разноцветными фонарями и вращающейся световой рекламой казалась единственным светлым пятном на всей их мрачной и унылой улице. Такова была его мечта, и Аллан лелеял ее еще очень долго после того, как сообразил, что это смертельно скучная работа, а потом он прочитал и понял, что бензозаправочная станция — просто одно из звеньев в системе «человек — автомобиль», которая делает такой невыносимой жизнь в большом городе. И тем не менее он лелеял эту мечту, ее отголоски, воплотившиеся для него в популярной песенке, которую пели давным-давно и которая снова вошла в моду в годы его детства; она называлась «Время, когда яблони в цвету» и, естественно, повествовала о цветении яблонь и о любви, но перед его мысленным взором она вызывала картину мчащихся машин, которые подъезжают к сверкающим огнями бензозаправочным станциям, наполняют свои баки бензином и снова уносятся во тьму: «Время, когда яблони в цвету...»

Отец любил поговорить также о своей страховке. Он с явным удовлетворением вспоминал о деньгах, которые должны обеспечить его старость, если он доживет до шестидесяти пяти лет, или перейти к его наследникам, если он внезапно отправится на тот свет. Аллан втайне считал последний вариант более вероятным и даже прикидывал, как он распорядится всеми этими деньгами. Однако после трагической смерти родителей, когда ему наконец удалось с помощью адвоката вырвать деньги у страхового общества, причитавшаяся ему страховка совершенно необъяснимым образом вдруг

уменьшилась. Прежде всего оказалось, что оставленная ему в наследство сумма вовсе не так велика, как он ожидал. В свое время она наверняка производила весьма внушительное впечатление, особенно на рекламных проспектах страхового общества, когда еще молодым парнем отец ставил свою подпись под договором, лелея светлую мечту о беззаботной и обеспеченной старости, но время обесценило деньги, и полученная сумма уже не выглядела такой внушительной. К тому же у Аллана появились расходы, небольшие долги, которые надо было заплатить. Ему пришлось подыскивать себе новое жилье. После смерти родителей их квартира отошла обратно к Жилищному посредническому бюро; Аллану предложили крохотную однокомнатную квартирку в доме, состоявшем из таких же квартирок, но ему там не понравилось, и он решил снять что-нибудь получше частным образом — весьма дорогое удовольствие, поскольку почти все жилищное строительство и значительная часть жилых домов были национализированы. Аллан нашел квартиру, которая оказалась даже просторнее, чем он хотел, и намного просторнее, чем ему было нужно, однако такая большая площадь давала ему ощущение свободы. Он начал обставлять свою новую квартиру, но вскоре обнаружил, что это утомительное и дорогостоящее дело, и потерял к нему всякий интерес, когда оно было еще очень далеко от завершения. Но денег все равно ушло немало. Значительных расходов потребовало и двухлетнее пребывание в архитектурном институте, хотя обучение там было бесплатное: ведь нужно было на что-то жить. В архитектурной мастерской он зарабатывал недостаточно, чтобы содержать такую дорогую квартиру и прилично одеваться, и ему приходилось расходовать свое «состояние», особенно после того, как в доме появилась Лиза. Год, который прошел между его уходом из мастерской и поступлением на бензозаправочную станцию, съел все остававшиеся деньги. Вернее, почти все. Так далеко Аллан не зашел. Осталась небольшая сумма — как аварийный запас. Он забрал эти деньги накануне того дня, когда они уложили вещи и навсегда покинули Апрель авеню. Деньги он теперь носил в кошельке, висевшем на кожаном ремешке у него на шее; это было все, что осталось от «состояния», которое должно было подарить отцу беззаботную и обеспеченную старость.

Бензозаправочная станция находилась на Эббот-Хилл-роуд, на северо-восточной окраине города. Здесь застройка была довольно редкая и только вдоль самого шоссе, по обеим его сторонам, как в деревне на главной улице,— магазины и жилые здания. Когда-то здесь был разбит огромный парк, с течением времени пришедший в запустение; весь этот район, который раньше был местом отдыха для жителей Свитуотера, решили застроить жилыми домами — еще одна попытка покончить с жилищным кризисом. Однако в дальнейшем планы городских властей изменились, строительство домов было либо отложено на неопределенное время, либо прекращено навсегда — кто знает? — и теперь от этого зеленого массива, который по-прежнему называли Парком, не было никакой пользы, потому что никто не ездил туда отдыхать, не загорал там, не занимался спортом или чем-то еще, для чего Парк был предназначен. Теперь у людей не оставалось ни лишнего времени, ни лишних денег, чтобы ездить в Парк.

До того как построили Автостраду, Эббот-Хилл-роуд была одной из важнейших магистралей, которые вели в город и из него. Однако теперь это некогда оживленное шоссе покрылось рытвинами и ухабами, движение машин резко сократилось, закрылись две-три бензозаправочные станции, несколько магазинов и кинотеатр на открытом воздухе для автомобилистов.

Аллан любил кино. В теплые летние вечера он, бывало, ставил стул на плоскую крышу станции и смотрел кинофильмы, демонстрировавшиеся на гигантском экране примерно в километре от него. Фильмы помогали ему коротать время, а кроме того, будили в его памяти детские мечты. В разноцветных картинах, безмолвно сменявших друг друга на широченном полотне экрана, перед ним возникал красочный двухмерный мир, для которого он сам должен был домысливать диалоги и сюжет. Краски, формы и абсурдные (потому что он не слышал звука) ситуации всегда можно было истолковать как выражение прекрасного, прекрасного в таком же смысле, как «прекрасна» бензозаправочная станция со своими шестью колонками, отливающими металлическим блеском в ярком и тоже «прекрасном» неоновом свете... «Время, когда яблони в цвету...» Он сидел, опершись спиной о вентиляционную трубу, еще сохранявшую тепло солнечных лучей, слушал шум машин, мчавшихся по шоссе (их было все

меньше и меньше: движение по Эббот-Хилл-роуд становилось все менее оживленным, о чем Аллан совсем не жалел, поскольку теперь он мог больше времени проводить на крыше), и выдумывал для возникавших на экране накрашенных женщин и загорелых мужчин «красивую» жизнь с ярким блеском бензоколонок, запахом резины и рокотом счетчиков, отсчитывающих литр за литром горючее, льющееся в бензобаки машин, которые, заправившись, издают легкое урчание и вновь уносятся во тьму; и в эти часы ему казалось, что несмотря на длинный рабочий день, низкое жалованье и грязную скучную работу его мечта все-таки осуществилась.

Когда в первую субботу их пребывания на Насыпи Аллан уверенно пробирался между кучами земли и отбросов к большим воротам, он думал прежде всего о том, что предстоит купить в городе.

Было около полудня. Точного времени Аллан не знал, потому что его ручные часы все еще стояли, но он пытался кое-как определить время по солнцу. Дневная смена начиналась в половине четвертого, и ему надо было обязательно успеть на один из тех редких автобусов, которые ходили здесь, учитывая, что, возможно, еще придется ждать другого автобуса на Восточной станции.

Он не без опаски думал о том, как будет идти по шоссе к автобусной остановке, ждать автобуса, потом трястись в нем до самой Восточной станции, снова ждать (вместе с толпой других пассажиров), влезать в другой автобус и всю дорогу стоять в немилосердной давке (в субботу во второй половине дня автобусы ходят битком набитые!)... Они прожили на Насыпи четыре дня, не встретив ни души, и Аллан уже морщился при мысли о том, что окажется в толпе чужих людей, которые будут глазеть на него, а возможно, даже показывать пальцем. Хотя внешне он ничем не отличался от других,— глядя на него, никто бы не сказал, что он раз и навсегда порвал с этим злым и бесчеловечным городом. Он был одет, как в тот день, когда они прибыли на Насыпь. Перед уходом он даже побрился, израсходовав небольшую часть их драгоценного запаса воды. Впрочем, одна маленькая — но какая важная! — деталь уже отличала его от остальных жителей Свитуотера, словно он был существом с другой планеты: чтобы побриться, он налил в треснувшую чашку всего на два пальца воды и ни капли больше. Он знал цену воде. Кто из гладко выбритых пассажиров автобуса думал о том, что в один прекрасный день они могут остаться без воды? Что им, возможно, придется собирать воду чашками и пригоршнями, чтобы только не умереть от жажды? И нельзя будет побриться, умыться или спустить воду в туалете? Аллан прожил на Насыпи всего четыре дня, но уже ощущал расстояние, отделявшее его от остальных обитателей города. Он чувствовал, что стал умнее их, обрел понимание вещей и событий, которого не было и не могло быть у них, ведущих тот образ жизни, от которого он ушел.

За эти четыре дня, проведенных на Насыпи, они тщательно обследовали весь район, прилегающий к фургону, нашли и притащили вещи, которые могли им пригодиться, и вообще сделали немало, чтобы оборудовать свое новое жилье с максимальными удобствами. А вечерами они вместе боролись с чувством одиночества, старались наслаждаться тишиной, такой непривычной, такой нереальной. Радостное возбуждение первого вечера, когда они созерцали млечный путь Автострады, теперь прошло, и с наступлением темноты они чувствовали себя немного неуютно, однако старались не поддаваться ощущению одиночества (и страха!), и Аллану казалось, что им это удается. И еще одно открытие Аллан сделал в эти последние четыре дня: одиночество здесь — это совсем не то, что одиночество в городе... А потом появилось «одичание», которое он тоже никак не мог преодолеть; это внезапное желание лечь с Лизой в постель, которое овладевало им — ими обоими — неожиданно, нередко в самый неподходящий момент. Казалось, он уже обрел душевный покой и независимость от тех, кто жил за Насыпью, и эта независимость обеспечивала ему относительное спокойствие и уверенность в своих силах, словно стеной отгородившую его от всего остального мира. Однако эта уверенность, нараставшая в нем в последние четыре дня, была уверенностью особого рода. Она не могла прогнать тревогу, которую он испытывал, прогнать страх перед людьми; напротив, она породила в нем медленно созревавший инстинкт, инстинкт повышенной осторожности, без которого они не просуществуют здесь и дня, умение отличать главное от второстепенного, породила обостренное чувство опасности, которая могла подстерегать их на каждом шагу, и убеждение в том, что их ждут немалые трудности. Всего через четыре дня жизни на Насыпи

он уже сознавал это, и новое понимание вещей и событий обострило все его чувства. Он ощущал асфальт тротуара под толстыми, с налипшей грязью подошвами своих ботинок как нечто чуждое и шел к остановке, унылому бетонному кубу (кое-кто из прохожих превратил его в писсуар), с такой осторожностью, словно ступал по вражеской земле. Аллан отметил про себя, что на остановке уже стояло несколько человек,— значит, ждать автобуса придется недолго.

Им нужны были консервы и маргарин, печенье и шоколад, кофезаменитель, растительный бекон, стеариновые свечи и спички. Все это можно было купить в бакалейном ларьке Свитнесса рядом с бензозаправочной станцией — единственной бакалее в этом районе, которая еще не закрылась. На Насыпи они нашли хлеб. Они ели его, пока он не засох, и тогда Аллан стал его молоть и размачивать в воде, чтобы получилось тесто. Это тесто он разрезал на небольшие кусочки и пек на листе жести. Выходило что-то вроде довольно вкусного печенья. Кроме того, однажды Аллан нашел несколько ящиков с капустой, луком и картофелем, которые наверняка списали как испорченные, однако он отыскал еще вполне съедобные овощи.

Чем ближе он подходил к автобусной остановке, тем больше его пугала долгая поездка в автобусной толчее, но он постарался взять себя в руки и сосредоточить все мысли на продуктах, которые надо привезти домой, на Насыпь. За четыре дня они съели почти все, что взяли с собой. Новых запасов должно хватить на неделю. Вот о чем нужно было сейчас думать.

Добравшись до бензозаправочной станции, Аллан нашел хозяина в дурном расположении духа. Янсон прогнал Роя Индиану. Он открыл чемодан, лежавший в большом старом «додже» Роя, и обнаружил там кучу вещей, украденных со склада: свечи, стеклоочистители, чехлы для сидений, брызговики, светящиеся эмблемы для наклеивания на кузов... Янсон не находил слов от ярости. Он уже давно подозревал, что за его спиной творятся какие-то темные делишки — на складе не хватало многих запчастей (правда, скоро там будет не хватать всего, поскольку становится все труднее доставать новые детали взамен проданных). Янсону никогда не нравилась физиономия этого щенка, и хорошо, что у него наконец появился повод расстаться с ним. Но самое худшее, от чего у старика действительно кровь закипела в жилах, произошло потом, когда он немного опомнился и позвонил в полицию, чтобы заявить о краже, глубоко сожалея, что не запер негодяя в кладовке, тогда бы полиция забрала его и посадила в тюрьму! К сожалению, заявление Янсона не было принято всерьез. Сначала его обвинили в том, будто он инсценировал кражу, чтобы жульнически получить страховку за якобы похищенное имущество, а сам преспокойно сбыл «уворованные» запчасти на черном рынке, и Янсону даже намекнули, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Когда Янсон попытался объяснить, что поймал вора с поличным, но по неосторожности упустил его и тот сбежал, полицейские сказали, что все это дело выеденного яйца не стоит, и устроили ему разнос за то, что он отнимает драгоценное время у представителей власти. Разве он не знает, что в полиции не хватает людей? И какого черта он занимает полицейский телефон своими побасенками? Но Янсон не сдался — он был человек настойчивый и заявил, что у него пропали товары на большую сумму. И он имеет право требовать официального расследования. Тогда голос в телефонной трубке коротко спросил, может ли он представить список украденных вещей с подробным описанием и стоимостью каждой вещи, чего бедняга Янсон, разумеется, сделать не мог. Прошло уже много лет с тех пор, как он в последний раз проводил инвентаризацию на складе, и он понятия не имел, что у него там есть или должно быть. В конце концов полицейский на другом конце провода свирепо бросил трубку, предварительно пригрозив Янсону всяческими неприятностями, если он посмеет еще когда-нибудь отнимать у властей время.

— Еще хорошо, что меня самого не вызвали на допрос,— удрученно бормотал старик.— «Войска по поддержанию спокойствия и порядка», как бы не так! Им только бы не прозевать свою долю доходов от черного рынка и уличного движения, вот где собака зарыта! Если честные люди просят о помощи, им же еще грозят всевозможными карами. Когда совершается преступление, полицейские бросают за решетку первого попавшегося беднягу и говорят, что дело закрыто. А потом подгоняют улики. Свиньи! Уж кто-кто, я-то знаю их как облупленных! А этот щенок... Попадись он мне, я бы его...

Раньше по выходным дням, когда приходилось обслуживать много машин, Рой Индиана нередко работал вместе с Алланом. Однако в последнее время Аллан почти

не встречал его. Как правило, ему приходилось принимать дежурство от Янсона, который постоянно жаловался на здоровье, на какие-то непонятные боли в желудке. Рой был очень замкнутый, тощий и болезненный на вид парень с коротко остриженными волосами и нечистой кожей, всецело поглощенный своим хобби и единственной страстью — старыми машинами. Они с Алланом были в достаточно хороших отношениях, однако Аллану не нравилось, что Рой всегда пытается увильнуть от тяжелой работы. С Янсоном они вечно из-за чего-нибудь ругались, и Рой не стеснялся в выражениях, так как знал, что Янсон нуждается в нем: найти рабочую силу было теперь почти невозможно. Янсон ворчал, сокрушался, но сделать ничего не мог.

Всего несколько лет назад Янсон ходил себе и посвистывал, покуривая сигареты. А теперь он постарел, пожелтел, осунулся. Жизнь подстраивала ему одну гадость за другой. По мере того как движение на шоссе становилось все менее оживленным, доходы его падали. Еще совсем недавно он мог твердо рассчитывать на вполне обеспеченную старость, а сегодня снова должен стоять смену у бензоколонки, чтобы заработать на жизнь. Да и на самой станции уже давным-давно появились признаки упадка и обветшания: краска облупилась, два глубоких ухаба — один возле въезда на станцию и один на выезде — превратились в зияющие ямы, в туалете дверь висела на одной петле, зеркало разбилось, а лампочки перегорели, и никто не потрудился ввинтить новые... Машин становилось все меньше. Если нормы на бензин снова урежут, станцию придется закрыть, грозил он Аллану, да и самому себе.

Они стояли возле бензоколонок. Подогретые весенним теплом, пары бензина мягко насыщали воздух. Янсон, осунувшийся и седой, уныло жаловался на жизнь. Оглядевшись, Аллан отметил признаки упадка, и, как ни странно, это ободрило его. Всю дорогу он боялся, что почувствует себя здесь чужим, таким же чужим, как на остановке и потом в автобусе, где он стоял, со всех сторон зажатый незнакомыми людьми с незнакомым запахом...

А здесь валялись старые газеты, мусор и всякие отбросы, штукатурка осыпалась, здания ветшали на глазах, сквозь трещины и дыры в асфальте пробивалась трава, и эта картина застоя обрадовала Аллана. Он вдруг обнаружил, что Свитуотер не угрожает ему и его новой жизни, напротив: Насыпь угрожает Свитуотеру; анархия Насыпи коварно подбирается к Свитуотеру, вылезает из щелей и трещин, медленно разъедает город, разлагает его на составные элементы. И внезапно Аллан понял, что две противоположности, столица и свалка, когда-нибудь ничем не будут отличаться друг от друга...

Когда Янсон ушел, Аллан отправился на склад и начал искать. Однажды он видел здесь — он это прекрасно помнил — пластмассовые канистры. Ему нужна была не очень большая пластмассовая канистра. Литров на двадцать. Он хотел принести на Насыпь воды. В качестве аварийного запаса. Они вовсе не умирали от жажды. Каждое утро его экспериментальная установка давала им несколько чашек воды — меньше, чем он рассчитывал, но вполне достаточно, чтобы, экономно расходуя ее, они не испытывали серьезных трудностей. Воду, не предназначенную для еды и питья, они брали из фьорда. Однако это не может продолжаться вечно, думал Аллан, обнаружив под брезентом сложенные штабелем канистры. Аллан не чувствовал угрызений совести, занимаясь «отчуждением» одной из канистр для своих личных нужд, несмотря на обличительные тирады Янсона; он считал, что имеет на это право. Ему нужна вода, а как иначе доставить ее на Насыпь? Между тем этот товар все равно лежит на складе без всякой пользы и пылится на его грязных полках. И Аллан экспроприировал канистру не задумываясь, как схватил бы спасательный круг, если бы тонул в море. Она ему необходима. Необходима им всем там, на Насыпи. И этого достаточно.

Его нисколько не смущала перспектива тащить через весь город в пластмассовой канистре двадцать литров воды. Перебои с водой случались довольно часто, и тогда обитатели Свитуотера брали воду из автоцистерн, которые извещали о своем местонахождении оглушительным ревом громкоговорителей. Вид человека, несущего канистру с водой, здесь ни у кого не вызывал удивления.

8

Когда Аллан ушел, Лиза сидела некоторое время перед фургоном в полной растерянности, совершенно не зная, чем заняться, подавленная глубоким чувством одиночества. Чувство одиночества не было ей внове. Всю жизнь ее общению с людьми что-то

мешало. Хуже всего ей приходилось на Апрель авеню, где изоляция и одновременно протест против образа жизни, который она была вынуждена вести, нередко повергали ее в душевное и физическое оцепенение, такое же глубокое и угнетающее, какое, бывало, охватывало ее в родительском доме, и сколько Аллан ни упрашивал ее прийти в себя, пуская в ход и доводы и ласки, они оказывали на нее лишь обратное действие и ужасно раздражали, как раздражали и уговоры родителей. Ее исполненные благих намерений, но не слишком умные родители, о которых она так редко вспоминала, будто их не существовало вовсе, читали книги о детской психологии и все время упрекали друг друга и самих себя в том, что воспитывают дочь неправильно, тогда как ей больше всего недоставало дома тишины и покоя. Единственным выходом для нее было вести себя так, будто их вообще нет на свете. И вот когда она сидела на Центральном вокзале и смотрела на поезда дальнего следования, которые каждую минуту бесшумно проносились по эстакаде у нее над головой,— долгие часы сидела и смотрела на толпу, сновавшую вокруг, и отчетливо сознавала, что, сколько бы она вот так ни сидела здесь на скамейке, никто никогда не обратит на нее внимания, ей вдруг показалось, что сейчас она перестанет существовать; она была нуль, пылинка, ничто — и она внезапно почувствовала себя такой бесконечно одинокой, какой никогда не чувствовала себя дома, где ее всегда преследовала преувеличенная родительская забота, которая приводила ее в такое раздражение, так бесила, что успокоиться ей удавалось лишь с помощью таблеток. Перепуганная насмерть, она просидела всю первую ночь на жесткой скамейке Центрального вокзала, где ночь ото дня можно было отличить лишь по стрелке часов, висевших на стене над рекламой средства против неприятного привкуса в воде,— просидела, крепко сжимая в руках маленькую кожаную сумочку, в которой было несколько купюр (украденных у отца) и всякая косметика, и ни на секунду не решалась закрыть глаза... И все-таки здесь ей было лучше, спокойнее, легче, чем дома...

Однако на Насыпи одиночество было совсем другого рода. Четыре дня она не видела никого, кроме Боя и Аллана. Когда они не разговаривали, не свистел ветер и не каркали вороны, у нее в ушах пела тишина. Здесь на безопасном расстоянии от противоестественного и безумного города, она могла, пожалуй, первый раз в жизни спокойно думать о людях, а иногда ей даже почти недоставало кое-кого из знакомых.

Правда, у нее оставалось не так уж много свободного времени, чтобы чувствовать себя одинокой; им хватало работы и не приходилось бездельничать: утром они вставали, когда их будили солнечные лучи; ели, когда чувствовали голод; засыпали, когда уставали; и обнимали друг друга, когда к ним приходило желание. А все остальное время им приходилось заниматься тем, о чем они раньше и не помышляли, но что стало теперь решающей проверкой их смекалки и способности приспосабливаться к обстоятельствам и требовало всей их энергии и изобретательности. К примеру, все утро Лиза провела на берегу фьорда, на бетонном молу, пытаясь стирать белье так, как учил ее Аллан: бить по нему палкой. Она била и колотила, полоскала и стучала до тех пор, пока у нее не заныли руки и поясница, а тем временем от солнца, пробивавшегося сквозь сернисто-желтую мглу, у нее порозовела кожа и на лбу, вокруг носа и на руках выступили веснушки. Но судя по всему она не особенно преуспела в своей работе и поэтому решила несколько упростить процедуру, предписанную мужем: просто мочила белье и потом терла о шероховатый бетон. Результат был примерно такой же: главные пятна смыла вода, а остальная грязь равномерно распределилась по материи, и в конце концов белье стало казаться немного чище, чем до стирки. Затем Лиза разложила его на камнях для сушки (Аллан предупредил ее, что бельевая веревка может привлечь к себе внимание посторонних) и при этом отметила, что от битья палкой на белье появилось немало дырок. Но здесь это совершенно не имеет значения. За этой работой Лиза вдруг сделала одно важное открытие: оказывается, она может распоряжаться своим временем так, как ей заблагорассудится! Это было очень приятно, хотя сама по себе работа была и тяжелой и непривычной. Впервые за всю свою сознательную жизнь Лиза могла не торопиться ради того, чтобы в сэкономленное время успеть сделать что-то еще. Здесь другое определяло темп работы: ритм ударов палкой по белью, ритм споласкивания, трения о сырые бетонные плиты, в конце концов ритм самой работы; каждая операция отнимает ровно столько времени, сколько нужно, и в этом Лиза находила удовлетворение, так как трудилась не покладая рук и порой ловила себя на том, что ждет, когда же придет Аллан помочь ей, но он в это время складывал печку. «Во всяком случае,— думала Лиза, тяжело дыша,— Аллан находится так близко, что я в любой

момент могу позвать его, если мне действительно понадобится помощь». И это тоже было хорошо, потому что она не отличалась ни силой, ни выносливостью, и ее внимание легко отвлекалось на посторонние вещи.

Субботний вечер — и так тихо! Тишина была как бесконечность, вдруг отделившая ее от жизни, которую она оставила, и Лиза внезапно почувствовала, что тоскует по людям. Ее охватило беспокойство. У нее возникла и прочно застряла мысль, которая раньше едва ли приходила ей в голову: «Неужели мы всегда будем жить так одиноко, только втроем?» Когда они решили при первой же возможности уехать с Апрель авеню, уехать из города, сразу возникло столько проблем, что этот вопрос просто не возникал, во всяком случае открыто. Но теперь она удрученно спрашивала себя: «О чем он, собственно, думал? Неужели он хочет, чтобы мы остались здесь навсегда и жили как в пустыне, без всякого общения с другими людьми? Ему-то еще не так плохо: у него есть работа и он каждую неделю будет ездить в город на автобусе. А как же мы с Боем?..»

Бой лежал в фургоне и спал глубоким сном пятилетнего малыша, щеки у него горели, а лоб был влажным от пота. У него был жар. Во всяком случае, по виду можно было предположить, что он заболел. Лиза не знала, что с ним. Быть может, просто реакция на изменения, которые произошли в их жизни за последние дни? Он все время был на солнце и свежем воздухе, не мог ни минуты посидеть спокойно, а вечером падал как подкошенный и засыпал беспокойным сном, не успев даже куска проглотить. Однако они не пытались ограничить его свободу—напротив, были очень довольны, что он стал таким живым ребенком после сидения взаперти на Апрель авеню. Для своего возраста он был слишком маленький, с опозданием овладевал самыми простыми навыками, считался недоразвитым и отсталым, но теперь создавалось впечатление, что мальчик собирается наверстать упущенное. После каждой вылазки он возвращался весь в ссадинах и царапинах (которые сразу же воспалялись) и такой довольный и возбужденный, что не находил слов, когда пытался рассказать о своих приключениях.

Однако сейчас Бой спал, а Лиза сидела и смотрела, как стая ворон летит, махая крыльями, над кучами мусора — туда, где сваливают свежие отбросы. Она вдруг почувствовала себя ужасно подавленной и бесконечно одинокой. Вот бы сейчас принять таблетку, маленькую пилюльку — их давали только по рецепту, но продавались они везде; даже ее мать глотала их...

Может быть, пройтись по берегу фьорда? Лиза встала и побрела к морю, медленно и молчаливо продвигаясь по этому многотрудному маршруту между огромными кучами мусора, который они проложили, направляясь к бухте, и где даже наметилась тропа, протоптанная их шагами. Лиза уже видела бесцветную воду, поблескивавшую в каких-нибудь двухстах метрах от нее, но не успела она дойти до более открытого участка, где кончаются мусорные кучи и начинается берег, как внезапно остановилась, присела на корточки и затаилась, как зверь в засаде. Она что-то услышала, какой-то звук, не обычный звук, как, например, шуршание крыс или шорох ветра в куче сухой бумаги, нет, это было резкое звяканье металла о металл. Лиза сидела неподвижно, ожидая, не повторится ли звук, и пыталась понять, откуда он исходит. Потом она снова услышала все тот же звук, ритмичное постукивание, словно кто-то бил молотком по железу. Лиза по-прежнему сидела притаившись, но страх, который сначала охватил ее и заставил спрятаться, постепенно уступил место сильному, прямо-таки неукротимому любопытству: она должна узнать, что это за звук. Ей нечего бояться посторонних. Насколько ей известно, они с Алланом не делают ничего противозаконного, и у них нет ничего такого, что могло бы представлять хоть какую-нибудь ценность для других людей; пригнувшись к земле, она стала осторожно продвигаться в том направлении, откуда, как ей казалось, исходил звук. Звук становился все громче, но Лиза ничего не видела, потому что прямо перед ней возвышалась гора старых матрасов. Она стала осторожно взбираться на эту гору. У самой вершины она легла на живот и заглянула через край.

Внизу спиной к ней стоял, склонившись над капотом старой ржавой машины, какой-то человек. На холмике рядом с ним лежала маленькая кожаная сумка с инструментами. Инструменты блестели на солнце словно драгоценности и казались чем-то очень чужеродным здесь, в царстве ржавчины. Он стоял согнувшись и возился в старом, насквозь проржавевшем двигателе. Лиза не сводила глаз с его спины, подмечая каждую мелочь. Никогда в жизни она так пристально не смотрела на мужчину. Этот

человек заинтриговал ее — интересно, чем он занимается здесь, на Насыпи, заполняя пустоту в ее существовании. Как завороженная Лиза следила за его движениями.

Вот, по-видимому, он кончил свою работу, выпрямился и обеими руками поднял какой-то тяжелый цилиндрический предмет. Осмотрел его. Это был пожилой человек в маленьких круглых очках, с белоснежными волосами, свисавшими на плечи; лицо его было испещрено морщинами, однако черты казались правильными и приятными. Он был невысокого роста, коренастый, в старом залатанном комбинезоне, у которого вместо одной лямки была веревка. Рубашка тоже была поношенная и выцветшая, однако руки, державшие металлические детали, которые он извлек из машины, были сильные и красивые. Этот старый, седой, с осторожными движениями человек понравился Лизе. Да так понравился, что она чуть было не окликнула его, выдав свое присутствие,— он казался таким добрым, таким благородным несмотря на длинные волосы и изношенную одежду, что она больше ни капельки не боялась его и наверняка ей было бы только приятно поговорить с ним... Но она не окликнула его, потому что не могла издать ни звука. Ее охватило какое-то странное чувство уважения к тому, что он делал, словно размеренная точность его движений создавала совершенно особую атмосферу священнодействия, которую она не могла нарушить. Не сознавая причины, она вдруг поняла, что здесь, на Насыпи, отношения с людьми будут складываться совершенно иначе, нежели в городе.

Незнакомец с трудом наклонился и сунул свою добычу в мешок, где уже что-то лежало. И тут Лиза впервые подумала, что он, очевидно, пришел «оттуда», просто чтобы «раздеть» старую машину и немного подработать, а она-то вообразила, что он «свой» и живет на Насыпи, как и она. Лиза была разочарована. Она смотрела на его одежду, на фигуру, на манеру двигаться и никак не могла поверить, что он из города. У него был такой вид, словно он тоже принадлежит Насыпи. Однако незнакомец вытащил веревку, завязал мешок, а свободный конец перебросил через плечо и потащил мешок за собой.

Лиза ожидала, что старик повернет налево и направится к воротам, но он шел все прямо и прямо — туда, где протянулась полоса песка, камней и голой земли в двести-триста метров шириной; когда-то давным-давно там находился великолепный пляж Свитуотера. Тяжелый мешок незнакомец тащил за собой. Он пропахал в мягком грунте неровную борозду — словно просеку, которая полностью стерла его следы.

Лиза по-прежнему лежала, глядя ему вслед, как вдруг почувствовала легкое движение возле своих ног: Бой! Он нашел ее так же легко, как если бы шел за ней по следам или по запаху. Ее поразило, как хорошо он уже ориентируется на Насыпи.

— Я проснулся...

Бой говорил шепотом, хотя не знал, что она тайком следит за незнакомцем.

— Куда ты смотришь, мама? — спросил малыш.

— Так, никуда,— ответила она, не понижая голоса.

Незнакомец уже ушел настолько далеко, что не мог услышать ее. Лиза спустилась к Бою, чтобы унять его любопытство. Ей не хотелось рассказывать сыну о том, что она видела.

— Я просто смотрела на берег.

— Хочу на берег, хочу на берег! — сразу же заныл Бой.

У него блестели глаза, а на щеках выступили красные пятна. Он тяжело и часто дышал. Его организм плохо сопротивлялся заболеваниям, и когда Бой был совсем маленьким, он много хворал. Зимой он все время был простужен.

— Хочу на берег!

— Только не сейчас,— сказала Лиза, опасаясь, что наблюдательный малыш заметит что-нибудь такое, чего ему совсем не следует знать.

Она встала и украдкой посмотрела в сторону берега. Незнакомец исчез. Лишь борозда, оставленная мешком, уходила вдаль.

— Нет, давай лучше пойдем и поищем хлеб. А потом приготовим ужин.

— Давай,— согласился малыш.

Через некоторое время он спросил:

— Когда придет папа?

— Завтра,— ответила Лиза.— Завтра, поздно вечером.

Как только Аллан вернулся домой в воскресенье, Лиза рассказала ему про незнакомца, и ее немного удивило то, как муж отнесся к ее словам, хотя в общем она

сама не знала, чего она ждала. У Аллана был крайне удрученный вид, словно ему совсем не хотелось слушать про этого незнакомца и его дела; он принялся доказывать, что вся эта история выеденного яйца не стоит: просто какой-то пенсионер решил заработать несколько монет продажей металлолома. Однако говорил он довольно неуверенно и действительно ни в чем не был уверен, потому что не так-то легко, особенно для пожилого человека, добраться сюда из города. Автобусы ходили редко, дорога была долгая и трудная; иначе сюда все время наведывались бы люди в поисках понадобившихся им вещей. Но человек, которого видела Лиза, возможно, был исключением...

Тем не менее, когда Бой, которому стало лучше, наконец заснул, Лизе удалось уговорить Аллана сходить туда, где она увидела незнакомца.

— Он стоял вон там,— показала Лиза.— Возле той машины. А потом пошел прямо вон туда и исчез...

— Все ясно: значит, он пошел к шоссе в обход,— заметил Аллан равнодушно, словно это подтверждало тот неоспоримый факт, что незнакомец был обычным стариком, возможно даже просто бродягой, который приходил сюда «на заработки».

— Давай пойдем по его следам и узнаем, где он живет,— предложила Лиза.

— Завтра,— ответил Аллан не без раздражения.

Начинало темнеть. В наступавших сумерках на них пахнуло вонью от кучи матрасов и других гниющих вещей, подобно тому как в саду аромат травы, деревьев и цветов ощущается сильнее всего сразу после захода солнца.

— Нет, сейчас!

Лиза не сдавалась. Быть может, впервые произошло событие, о котором знала она, а не он. Впервые она могла что-то показать ему. И она была так настойчива, что, подчиняясь ее напору, он уступил.

Длинный след, оставленный тяжелым мешком, был еще хорошо виден, хотя уже смеркалось. Между темной полосой садовых растений, оставшихся от лучших времен, и блеклой бесцветной водой белел берег. Узкая полоска песка была чисто-начисто вылизана приливом. На другом берегу бухты, поверхность которой была словно залита ртутью, сверкала всеми своими огнями индустриальная Сарагосса.

Они молча шли вдоль широкой борозды, оставленной мешком незнакомца, шли, быть может, чуть быстрее, чем обычно, словно ими вновь овладела городская суета, едва они начали преследовать этого странного человека. Наконец следы почти незаметно повернули влево, к густым зарослям, которые когда-то были аккуратно подстриженным садовым кустарником, и вскоре исчезли в подлеске.

— Зачем он сюда забрался?.. Одна только сорная трава,— пробормотал Аллан как бы про себя, но оба они совсем растерялись и, остановившись, молча смотрели на удивительное царство зелени, казавшееся таким необычным, необозримым и мрачным после ясных и четких контуров, к которым они привыкли на Насыпи.

Наконец Аллан решился и сделал несколько шагов между папоротниками:

— Посмотри, тропинка.

Его ноги нашли тропинку, которая скрывалась под широкими листьями папоротника. Крадучись, они двинулись в лес, к темному массиву, который, как они убедились, когда подошли ближе, был в свое время живой изгородью, сплошь поросшей теперь плющом и другими вьющимися растениями. Тропинка становилась все шире, грунт все тверже, они шли по каменным плитам, которыми когда-то были выложены садовые аллеи. Потом Аллан увидел ржавые ворота, приоткрывавшие узкий проход в живой изгороди. Он вошел в ворота очень тихо и так осторожно, будто всюду вокруг сидели в засаде враги. Лиза шла следом за мужем, заглядывая через его плечо.

— Посмотри! — прошептала она затаив дыхание.— Развалины!

Этот путь сквозь непроходимые заросли казался Лизе чем-то вроде странствия по зачарованной стране. Еще ребенком она видела приключенческие телефильмы о путешествиях к неведомым планетам, где жили пещерные и морские чудовища, а в джунглях прятались лесные чудовища и так далее. Все это было так красиво и так страшно.

— Вилла,— шепнул Аллан, обернувшись к Лизе.

Прямо перед собой они увидели зубчатый брандмауэр, над которым возвышалась труба, словно вырвавшаяся из цепких рук подлеска. И вот под сенью этой буйной растительности, под густым переплетением стеблей, корней, листьев и ветвей вдруг возникли очертания чего-то похожего на скалы и пещеры: это были остатки стены и подвального помещения. На возвышении, которое когда-то было площадкой перед главным

входом, а теперь превратилось в груду камней, заросших мхом, стояли в ряд четыре низких колонны.

— Роскошная вилла. В стиле асиенды...

Аллану были знакомы виллы этого типа из лекций о различных архитектурных стилях, которые он слушал в архитектурном институте. Много лет тому назад такие виллы пользовались большим спросом у богатых людей.

Однако внимание Лизы внезапно привлекло нечто другое, гораздо более важное. Она положила руку мужу на плечо и показала:

— Там!

Сквозь заросли папоротника и плюща был ясно виден флигель дома — крыша и совершенно неповрежденная стена. Но что самое удивительное, во мраке, который теперь быстро сгущался, что-то светилось! Из черного силуэта старого дома к ним пробивался свет. И пока они изумленно созерцали этот свет, на него вдруг набежала тень, затмила его на миг и двинулась дальше. Через минуту это повторилось еще раз: кто-то ходил по комнате!

— Так вот где он живет,— прошептала Лиза, испуганная и одновременно очарованная — так бывало, когда она смотрела какой-нибудь потрясающий приключенческий фильм по телевидению. Другие миры...

— Пошли...

Он резко повернулся и крепко взял ее за руку. Вместе они осторожно двинулись по тропинке к берегу.

Они мало говорили в тот вечер, когда сидели по обеим сторонам теплой кирпичной печки, пили кофезаменитель и грызли печенье и шоколад, которые он купил в ларьке Свитнесса и разделил на порции так, чтобы хватило на всю неделю. Оба были задумчивы, так как старались представить себе, что означает для них это новое открытие.

— Выходит, на Насыпи мы не совсем одни,— сказал наконец Аллан озабоченно.

— Выходит... Но у него такое доброе лицо,— поспешно сказала Лиза.— Я уверена, он очень хороший. Сходим к нему в гости?.. Может быть, завтра?..

— Посмотрим.

Ему было над чем подумать. Безграничная, почти противоестественная свобода, которой они до сих пор пользовались, вдруг оказалась ограниченной. С другой стороны, ведь могут возникнуть обстоятельства, когда лучше быть не одним. Но все зависело от того, кем был и что собой представлял этот человек. Что ж, время покажет. Надо как следует все обдумать. Без спешки.

9

Вода, которую Аллан привез с бензозаправочной станции, уже на следующий день стала невкусной, и он охотно разрешил Лизе отлить немного из канистры, чтобы вымыть голову. Кроме того, им казалось, что воды у них теперь хоть отбавляй: полная двадцатилитровая канистра и еще каменная чаша, наполненная дождевой водой. Они довольно быстро научились сводить потребление воды до минимума.

Лиза стояла на коленях, наклонившись над железным тазом, который она нашла несколько дней назад, и намыливала голову последним куском мыла, захваченным из города (мыло было дефицитным товаром). Сегодня ей захотелось навести красоту. Именно сегодня, когда они, хотя об этом еще не было сказано ни слова, собрались пойти в гости. Наблюдая, как Аллан нервничает, то и дело поглядывая на бухту и берег, Лиза понимала: они обязательно должны сходить туда еще раз и узнать, что этот человек там делает, что он собой представляет и вообще — «друг» он или «враг»...

Друг или враг? Со вчерашнего дня, когда она, затаившись, наблюдала, как он трудится возле старой машины, с той минуты, когда увидела его доброе лицо и красивые руки, у нее не было никаких сомнений в том, что этот пожилой человек — друг. Ей даже стало спокойнее при мысли, что он тоже живет на Насыпи, совсем недалеко от них, и стоит ей залезть на эту груду старых автомобильных покрышек, как она увидит его дом.

Аллан чинил окно в фургоне. На бензоколонке он раздобыл прозрачный пластик и клей. На складе валялось множество вещей, и казалось, теперь не было никого, кто

бы отвечал за их сохранность. Когда Аллан забирал оттуда нужные вещи, ему даже в голову не приходило, что он ворует. Для него понятие «воровство» было неразрывно связано с тем, чем занимались власти, и приобретало совершенно иное содержание, когда речь шла о людях неимущих, лишенных самого необходимого. Аллан работал быстро, но крайне рассеянно; мысли его были далеко: «Да, надо пойти туда и разузнать об этом человеке, познакомиться с ним, обменяться опытом — если только он не бездомный бродяга, обыкновенный старый маразматик или просто алкоголик, допившийся до чертиков, что, пожалуй, вероятнее всего. Но и в этом случае нам надо как-то договориться, наладить нечто вроде сосуществования. На Насыпи никем нельзя пренебрегать. Здесь каждый что-то значит».

Аллан взглянул на узкую спину Лизы, склонившуюся над тазом. Она выливала себе на голову последние пригоршни воды, желая смыть остатки мыла с кудряшек. Он никак не мог понять, чему она так радуется и чего ждет от этой встречи. Раньше, когда они жили в Свитуотере, она не проявляла ни малейшей склонности заводить новые знакомства.

Жар у Боя прошел, но он был еще очень слаб и потому не протестовал, когда родители сказали ему, что пойдут немного прогуляться, а он пусть лежит и отдыхает, пока они не вернутся. Бой даже не спросил, куда они пойдут; он сразу же задремал, и приятные сновидения тотчас унесли его в фантастическую страну, где все было окрашено в цвета фосфора и серы. И во сне и наяву Бой мечтал о человеке — Человеке. Все его помыслы были сосредоточены на Человеке. Человек был его великой тайной, быть может первой в жизни тайной. Что-то подсказывало ему, что он ни в коем случае не должен рассказывать о Человеке ничего и никому. Человек был чем-то столь прекрасным и удивительным, что нельзя было подпускать к нему посторонних. Бою грезился Человек, который лежал, распростершись на земле под грудой размокших картонных коробок, и спал. Одна рука у него была приподнята и как бы приветственно махала ему, Бою,— большая сильная рука с кольцом, которое тускло поблескивало, глубоко врезавшись в палец. Бою снилось, как он собирает золотые пуговицы с одежды Человека. Под коробками лежал большой взрослый мужчина — большой, плотный, взрослый мужчина, который одной рукой закрывал лицо, словно спал. Словно в любой момент мог проснуться. Но от его одежды вдруг отвалились пуговицы, и пуговицы эти были золотые. Бою снилось, как он собирает золотые пуговицы, а Человек, который принадлежал ему, был его находкой, его сокровенной тайной, лежал тихо-тихо и разрешал Бою делать все, что ему заблагорассудится, не смотрел на него строго и не бранил понапрасну...

При дневном свете запущенный сад вовсе не казался загадочным и таинственным. Хилые декоративные растения отчаянно пытались высвободиться из мертвой хватки сорняков. Дикие розы протягивали к Аллану и Лизе свои цепкие побеги, сплошь покрытые острыми шипами. Несколько поваленных ветром деревьев растопырили во все стороны вырванные из земли корни. Под листьями папоротника темнела узкая тропинка. Заскрипели ржавые ворота. Труба — первое, что они вчера увидели,— вся заросла мхом и совсем не казалась такой величественной, как вчера вечером.

Они нашли тропу, ведущую вокруг развалин некогда роскошной виллы к флигелю, который время почему-то пощадило, во всяком случае он не был так разрушен, как остальная усадьба. Все было обвито вьющимися растениями. Крышу покрывали плети дикого винограда. Из всех щелей в стенах выползали зеленые стебли. Мельчайшая пыль словно пудра покрывала листья лилий, окаймлявших небольшое углубление в земле, которое, судя по всему, когда-то было плавательным бассейном.

Хотя сейчас, при свете дня, Аллан больше не боялся встречи с незнакомцем, он шел очень медленно и остановился, когда они приблизились к дальнему углу флигеля, за которым, очевидно, находилась входная дверь — если она была. Сегодня это место казалось таким пустынным и заброшенным, что Аллану трудно было даже представить себе, будто вчера вечером он видел здесь свет и кого-то, ходившего по комнате.

— Ну пошли...

Рука Лизы нетерпеливо прикоснулась к его плечу. Больше медлить было нельзя.

Как только они повернули за угол, Аллан действительно увидел дверь, которая была чуть приоткрыта. В щель они разглядели край ковра (или тряпичного половика?), покрывавшего красные (отполированные до блеска!) кирпичные плитки. Перед дверью, на небольшой утоптанной площадке среди моря травы (возможно, когда-то

это был газон), стояла качалка, покрытая аккуратно сложенным потертым пледом. Немного дальше, там, где кончалась стена дома, они увидели ветхую деревянную пристройку — три стены под крышей из ржавой гофрированной жести. Внутри можно было увидеть самодельные полки и множество коробок и ящиков, которые стояли ровными рядами; на стенах в идеальном порядке висели всевозможные инструменты, свернутые витком канаты, приводные ремни, большие зубчатые колеса и другие детали машин. Здесь же лежала груда ржавого железа. Перед этой пристройкой спиной к ним стоял на коленях человек и что-то сосредоточенно делал. Лиза сразу же узнала его и прикоснулась к руке Аллана.

Некоторое время они стояли и молча смотрели на эту совершенно неожиданную картину: аккуратно прибранный дворик, сарай для инструментов, качалка и озаренный солнцем старик, весь ушедший в свою работу. Внезапно какой-то необычный звук нарушил царившую здесь мирную тишину: щебет. Что-то вроде птичьего пения. Четыре долгих свистящих звука, а за ними — трель. Ни Лиза, ни Аллан никогда не слышали такого пения. Странного и в то же время пленительного. Незнакомец тоже услышал щебет, выпрямился, поднял голову, и тут Аллан почувствовал, что наступил решающий момент,— он сделал шаг вперед и откашлялся. Незнакомец повернул голову и пристально посмотрел на них. Его круглые очки держались на резинке, обвивавшей голову. Рубашка была до того изношена, до того выцвела от стирки и солнечных лучей, что теперь уже никто не мог бы определить, какого она была когда-то цвета. С некоторым трудом незнакомец поднялся на ноги и пошел навстречу Аллану и Лизе.

— Здравствуйте,— сказал Аллан, как бы стремясь защититься этим словом, когда хозяин дома подошел к ним совсем близко. Голос его дрогнул: он не без досады заметил, что почему-то волнуется.

— Добрый день.— Старик улыбнулся.— Итак, вы наконец нашли меня?

Лиза с Алланом пришли в еще большее изумление: значит, он знал о них! Из его слов можно было заключить, что он даже ждал их!

— Да, ведь это вы устроились в фургоне там, на Насыпи, верно?

Они только кивнули в ответ.

Он подошел к ним почти вплотную. Говорил он дружелюбно, но медленно и немного хрипло, словно отвык разговаривать.

— Я видел твои водостоки,— обратился он к Аллану.— Пока не наступило лето и вечерние дожди дают немного воды, они могут пригодиться, но когда станет жарко, вся вода будет испаряться еще до того, как ты проснешься утром.

— Я хотел просто попробовать...— объяснил Аллан смущенно.— Пока не придумаю что-нибудь получше.

— Вам необходим колодец,— сказал незнакомец.— Другого выхода нет. Но не так-то просто найти место, где нужно рыть.

Казалось, он хотел еще что-то добавить, но потом раздумал.

— Обязательно выкопаю колодец,— сказал Аллан.

То, как незнакомец говорил с ними, настроило Аллана на оптимистический лад. У него явно был немалый опыт жизни в этих местах, и, по-видимому, он согласился принять их как друзей.

— Думаю, что выкопаешь, если у тебя есть время.

— У нас обоих есть время.

— Вот и хорошо.

Аллан решился наконец задать вопрос, хотя считал, что спрашивать первым имеет право незнакомец.

— Давно ты здесь живешь?

Незнакомец задумался.

— Скоро будет одиннадцать лет. С тех пор как перестал работать.

Он погрузился в раздумья. Очевидно, долгие паузы были присущи его манере разговаривать.

— Я врач. В Свитуотере у меня была небольшая практика...

Он снова задумался.

— Да, я должен представиться. Фишер. Доктор Антон Фишер. Называйте меня Док. Извините...— Он смущенно улыбнулся.— Я порой забываю об этих маленьких формальностях. Здесь так редко приходится встречаться с людьми...

— Аллан Юнг,— сказал Аллан, протягивая руку.— А это Лиза. Моя жена.

Они пожали друг другу руки, и это рукопожатие означало немного больше, чем просто долг вежливости.

В первый раз незнакомец посмотрел на Лизу, улыбнулся и кивнул. Она тоже улыбнулась и опустила глаза. Только что вымытые волосы, словно огненно-золотое облако, окружали ее голову.

— Сколько тебе лет? — спросил он мягко.— Ты ведь еще совсем молоденькая.

— Восемнадцать,— прошептала Лиза, приятно смущенная его вниманием.

— И у вас есть ребенок. Я видел с вами маленького мальчика. Несколько раз я видел вас, когда ходил на прогулку.

— Да, сейчас он спит. Он немного нездоров.

— Надо обладать крепким здоровьем, чтобы выдержать жизнь на Насыпи, особенно когда начнется жара. Берегитесь ран и царапин, да, да, и вы тоже. Здесь много всякой грязи. Даже с самым простым воспалением нельзя шутить. У вас не завелись насекомые?

— Н-нет. Думаю, что нет. Но у нас водятся крысы.

— Ну, с крысами можно научиться ладить. С ними надо считаться, как с соседями. Удивительно умные животные. Но потом появятся блохи, вот погодите...

Пока Фишер говорил, он все время смотрел на Лизу, и она застенчиво избегала его взгляда, ибо именно сейчас, когда она стояла так близко, что могла прикоснуться к нему рукой, она впервые поняла по-настоящему, что он старый, старый в том смысле, что умеет смотреть твердым спокойным взглядом, излучающим дружелюбие и тепло. Лизе казалось, что доктор Фишер — человек счастливый и хороший. Лиза редко встречала старых людей, она никого даже не могла вспомнить. Надо сказать, что на улицах Свитуотера не часто появлялись старые люди (куда они только деваются?).

— Такая юная,— хрипло бормотал он словно про себя,— такая юная и уже мама такого большого мальчика. Но я совсем забыл о своих обязанностях хозяина,— воскликнул он вдруг уже другим, очень сердечным тоном.— Прошу вас, входите и познакомьтесь с Мартой. Не угодно ли чашку чая?

Они были ошарашены. Лиза неуверенно хмыкнула. Они не привыкли к подобным оборотам речи, а о приглашении к чаю знали только из книг, которые читали еще в школе. Чай. Как это старомодно. А здесь, на Насыпи, это звучит просто дико. Чем-то это напоминает их поездку в Плежер-Коув: гонг, собирающий гостей к обеду, и страшноватые пушистые кошки, играющие в траве... И в том саду тоже было очень много зелени, невероятно много зелени.

Но доктор Фишер стоял уже у дверей. Несмотря на массивную фигуру он передвигался сравнительно легко: на ногах у него были кеды. Он крикнул в комнату:

— Марта, выходи, у нас гости! — Потом повернулся и объяснил немного смущенно: — Моя жена выходит довольно редко, она не совсем здорова.

Однако они не поняли, почему на его губах появилась при этом виноватая улыбка: ведь каждый может заболеть.

И вдруг они снова услышали щебет той самой птицы: три долгих свистящих звука и трель, отчетливо и неожиданно прозвучавшие за ветхим сараем.

— Зеленушка!—воскликнул Фишер, и лицо его просветлело.—Это зеленушка. Все думали, что они давно вымерли, истреблены. Что их убили ядовитые опрыскивания и отравленное зерно. Живые изгороди уничтожены, лес и подлесок вырублены до основания. Даже по официальным данным, у нас больше почти не осталось мелких пташек. Но в этом саду...— Он простер руки, как бы обнимая густые заросли.— Здесь они живут и здравствуют. Вот уже более двадцати лет здесь все растет без вмешательства человека. Мы почти вернулись к первозданной, «природной» растительности. И животным здесь стало хорошо, во всяком случае некоторым. Здесь живут белки, кроты, я видел кроликов, постепенно сюда возвращаются птицы. Вокруг нас все растет, растет на развалинах старого...

В дверях появилась сгорбленная пожилая женщина. Она шла с трудом, опираясь на палку. У нее было суровое лицо с глубокими морщинами и темные глаза. Волосы были зачесаны назад и заколоты на затылке. Женщина была худая и вся какая-то бесформенная, платье до полу висело на ней как мешок.

— Марта, у нас гости! — громко сказал Фишер.— Подойди и поздоровайся с Алланом и Лизой. Они живут в фургоне на Насыпи.

Прищурив глаза, женщина ответила:

— Конечно, если вы считаете, что Насыпь — подходящее место для молодых людей, то добро пожаловать. Уж я-то во всяком случае знаю, на вашем месте...

— Марта! — добродушно прервал ее Фишер.

— Я говорю то, что есть на самом деле,— заявила она упрямо.— Пусть никто не подумает, что я живу на этой мусорной куче, потому что она мне нравится!

Она смотрела на мужа до тех пор, пока тот не опустил глаза, беспомощно махнув рукой как бы в знак протеста и покорности.

— А теперь заходите, я приготовлю чай, если там хоть что-нибудь осталось,— сказала она воинственно, повернулась и исчезла за дверью.

— Она ужасно страдает от подагры,— объяснил доктор, когда они замешкались немного у порога, не зная, стоит ли принимать столь странное приглашение.— Она совсем потеряла чувство юмора и стала капризной, как девочка. Но теперь ей лучше. Случается, она лежит целый месяц, а то и по нескольку месяцев подряд.

Они сидели у доктора Фишера в его маленькой комнате с низким потолком, пили прозрачный безвкусный чай с сахаром и ели сладкое печенье. Разговор не клеился и в основном касался практических вопросов. Как прожить на Насыпи? Прожить, пользуясь только тем, что может дать сама Насыпь? Доктор сказал, что он продает металлолом, детали машин, «антиквариат». Каждый месяц сюда приезжает человек на автофургоне и забирает все, что Фишеру удается раздобыть. Сырья не хватает, и правительство всячески поощряет переработку вторичного сырья; поэтому возник большой спрос на всевозможный металлолом. Что же касается таких вещей, как ножи, вилки, всякая домашняя утварь, винты, гайки, стальная проволока, водопроводные краны, соединительные муфты, электропроводка, сальники и всевозможные инструменты, то их Фишер продает владельцам лавчонок на Док-роуд. Подержанные вещи охотно покупают люди, у которых нет денег на новые, поэтому все больше народу стало промышлять починкой испорченных вещей. Бедность, которая раньше была невидимой, вдруг стала явной, хотя они живут в государстве всеобщего благоденствия и расходы на социальные нужды постоянно растут. Однако социальная помощь никогда не попадает в карманы тех, кто больше всего в ней нуждается, объяснял Фишер. Бедность нельзя втиснуть в какую-то схему. Теперь даже люди со средним доходом нередко попадают в категорию бедняков, и, наверно, им приходится особенно худо, потому что положение в обществе обязывает их соблюдать определенные условности...

Аллан слушал. Он понимал, что́ имеет в виду Док. Он сам видел, как хорошо одетые дамы в шляпках и перчатках достают бутылки из мусорных урн и прячут их в сумки, которые когда-то стоили очень дорого. Однако Аллану казалось, что все это его не касается, хотя такие картины всеобщего упадка и застоя послужили ему сигналом бедствия, означавшим, что пора бежать из города куда глаза глядят.

Между тем Док Фишер, сидя в ветхой качалке, которую он перенес со двора в комнату, и поблескивая дымчатыми очками, отражавшими заходящее солнце, говорил и говорил о правительствах, политике и социальных теориях. Вся обстановка в этой тесной комнатушке носила явственный отпечаток Насыпи — несомненно, все это Док притащил оттуда и починил, используя то, что оказалось под рукой: тарную дощечку, стальную проволоку, кусок бечевки или даже просто гибкие корни поваленных ветром деревьев. Здесь царили чистота и порядок, для всего было свое место, и тем не менее Насыпь присутствовала в этой комнате, где густая листва, закрывавшая все окна, кроме одного, окрашивала потолок и стены в сумрачно-зеленоватые тона, будто дом находился под водой, а густая сеть из корней и бледно-зеленых стеблей заползала в щели между плитками шифера и снова вылезала наружу, обвивая потолочные балки, словно естественный каркас, спасающий постройку от окончательного разрушения.

Док понял, о чем думал Аллан.

— Дикий виноград поддерживает крышу,— поспешил сказать он.— Если я начну его подрезать, дом рухнет.

Возле стены был устроен очаг. На крюке над столом висела керосиновая лампа.

— Пока здесь прокладывали Автостраду и шли строительные работы, у нас было электричество. Здесь проходила линия электропередач. Я подключился к ней и подвел провода к нашему дому. Но потом линию отключили. Строительные работы передвинулись куда-то дальше... Бог его знает. Теперь мы получаем керосин от Дос-Маноса — это тот, что приезжает за товаром на автофургоне, впрочем, он наш старый

друг — в обмен на металлолом. Кроме того, нам нужны газовые баллоны и некоторые другие вещи. Но в основном мы все добываем здесь, на Насыпи...

Полуоткрытая дверь позволяла заглянуть в маленькую кухоньку. Там блестели кастрюли, сковородки и стеклянные банки с различными крупами. Док рассказал им о своем огороде, о том, как он сажал съедобные растения, об одичавшем кукурузном поле, которое занимает пространство за садом вверх по склону до самой Автострады,— это все, что осталось от некогда богатейших сельскохозяйственных угодий, заброшенных еще в ту пору, когда город предпринял свое последнее наступление на окружавшие его земледельческие районы. Аллан жадно и нетерпеливо пожирал взглядом то, что ему показывал Док, словно для него было вопросом жизни и смерти запомнить каждую мелочь, впитать в себя все, о чем говорилось в этой тесной комнатушке, и овладеть трудным искусством самосохранения так и в такой мере, в какой им овладел сидевший перед ними старик — не только овладел, но и сам стал воплощением этого искусства.

Они сидели в тесной комнатушке Фишера, обставленной старой, кое-как подремонтированной, но удобной и уютной мебелью, и обстоятельно обсуждали самое главное: как выжить на Насыпи, как и где собирать металлолом и обрывки кабеля, железные цепи, канаты и свинец из поврежденных автомобильных аккумуляторов, как и где продавать все это и обменивать на вещи, которые им могут понадобиться,— сидели и в этом общении черпали надежду, поддержку и сердечное тепло, и не потому, что между ними вдруг возникла человеческая близость, а из-за совпадения главных интересов, из-за общности судеб. Они боролись за жизнь в одинаковых условиях.

Док курил. Он осторожно высыпал щепотку табачных крошек на бумажку, свернул из нее сигарету и заклеил, лизнув языком. Он предложил и Аллану закурить, но тот отказался. Он бросил курить еще несколько лет назад. Синтетический табак не доставлял никакого удовольствия, от него только чернели зубы. Но он стоил дешево, и его производили в изобилии, так же как искусственный шоколад. Словно если у людей будет вдоволь шоколада и дешевых сигарет, они забудут о постоянной нехватке других, гораздо более важных продуктов.

Док объяснил, что курит настоящий табак. Он запасся табаком, когда его еще можно было достать на черном рынке. Теперь он смешивал старый табак с новым, который сам выращивал. Однако Аллан сказал, что курить — это старомодно, и вообще никому не нужно, и все равно нет никакой разницы между настоящим табаком и искусственным. Так что Фишер один курил свою тоненькую сигарету, затягивался и выдыхал прозрачные облака дыма, расползавшиеся по полутемной комнате. Они принадлежали разным эпохам, у каждого были свои радости и маленькие удовольствия, хотя какие радости были у Аллана? Сколько он ни пытался, он не мог вспомнить. Быть может, его единственной радостью было посидеть на автомобильном сиденье и с вершины груды старых покрышек созерцать огни Свитуотера подобно тому, как когда-то он стоял у окна детской и смотрел туда, где в конце улицы вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли огни рекламы на бензозаправочной станции, окрашивая серую улицу в яркие фантастические тона. «Радости» Дока были реликвиями из другой эпохи, церемониалом, которого он строго придерживался,— теперь, в эпоху Аллана, «радость» была подделкой, таким же синтетическим суррогатом, как и прочие продукты. Поэтому Аллан, в сущности, не знал, что такое «радость»; для Дока же это было нечто, почти изгладившееся из памяти, но воспоминания пробуждались, если их стимулировать должным образом.

Однако это нисколько не отравляло удовольствия, которое им теперь доставляло общение. Они тихо сидели вот так рядом, и у обоих было такое впечатление, будто с них свалилась скорлупа и они стали значительно ближе друг другу, стали такими близкими, что несмотря на различия ни один из них не мог бы теперь остаться равнодушным к тому, что волновало другого, к его человеческому существованию. Так должно быть всюду, где человек еще кое-что значит.

— У меня есть колодец,— сказал Док, когда они собрались уходить.— Я не сказал вам об этом сразу, но все равно у меня есть колодец, и когда тебе понадобится, можешь брать из него воду. Пошли, я покажу вам, где он.

И снова вокруг них сочная зелень, озаренная заходящим солнцем. Они шли по тропе, извивавшейся между кустами шиповника и дикорастущим кустарником за пристройкой. Там, в небольшом углублении, они увидели железную крышку, окаймленную каменными плитами.

— Вот здесь...

Док с усилием приподнял тяжелую крышку.

— В это время года воды предостаточно.

Под крышкой находился колодец — темная дыра в черном грунте. Немного ниже мерцало зеркало воды, блестящее, как глаз. Док опустился на четвереньки. В одной руке он держал железное ведро. Потом рука исчезла в колодце, послышался плеск воды, и Док вытащил ведро. Оно было наполовину полно мутноватой воды. Все, что делал сейчас Док, Аллану и Лизе казалось каким-то диковинным ритуалом, потому что никогда в жизни они не видели, как достают воду из-под земли.

— Смотрите...

Док поднес ведро ко рту и, сделав глоток, предложил напиться гостям.

— Как, неужели эту воду можно пить? — вырвалось у Лизы.

— Конечно. И ручаюсь, она гораздо вкуснее той химической смеси, которая вытекает из кранов Свитуотера и, кстати, очень скоро может вообще иссякнуть. Известно ли вам, что в современном городе на каждого жителя уходит около ста пятидесяти литров питьевой воды в день? И это только то, что потребляют сами люди. А любое промышленное производство тоже требует воды, причем в невероятном количестве. Мы — на грани водного кризиса. Даже уровень грунтовых вод постепенно понижается. Летом, когда уровень воды в моем колодце ниже обычного, она делается солоноватой Это означает, что из-за перерасхода воды в городе в грунтовые воды начинает поступать морская вода.— Док повысил голос и энергично жестикулировал свободной рукой, указывая на город, окутанный мглой.— На земле достаточно воды, чтобы человек мог существовать, и ее хватило бы надолго, но ее слишком мало для развитой технической цивилизации! В один прекрасный день произойдет катастрофа: восемь миллионов обитателей Свитуотера останутся без питьевой воды. И тогда наступит конец света!

Аллан взял ведро, которое протягивал ему Док, и осторожно попробовал воду, Она была прохладной и свежей на вкус, во всяком случае по сравнению с той тепловатой противной жидкостью, что хранилась в их пластмассовой канистре.

— Сколько я тебе должен за воду? — спросил Аллан.

— Что?

— Что ты хочешь получить в уплату за воду?

Еще на прошлой неделе вода была чем-то само собой разумеющимся, и о ней приходилось думать лишь в тех редких случаях, когда ее временно перекрывали из-за каких-то неисправностей. Теперь же доктор Фишер предлагал им нечто столь грандиозное, что за такую услугу нельзя было не предложить чего-то взамен. Вода была главным в их жизни. Дать воду — означало дать средство к существованию номер один.

— Никакой платы не нужно...— Глядя на обоих молодых людей, Док никак не мог заставить себя потребовать с них что-либо за воду; он был мягкосердечен, непозволительно мягкосердечен несмотря на усталость и годы, проведенные здесь, на Насыпи.

— Ты обязательно должен получить что-нибудь за воду!

— Так-то оно так...

Вероятно они бы еще долго упражнялись в прекраснодушии, если бы не Марта, которая вмешалась в их разговор и сразу решила все дело. Она последовала за ними, словно ей жаль было расставаться с этой скромной молодой парой, что так внезапно явилась сюда из внешнего мира, того мира, о котором она вспоминала с тоской и которого ей так недоставало ежедневно и ежечасно все эти годы. Потому что она-то попала сюда не по доброй воле...

— Доктор Фишер не любит брать плату за свои услуги,— сказала она ехидно.— Так было всегда. Так было и в Свитуотере, когда он делал аборты. Он, видите ли идеалист и не мог потребовать приличной платы даже за те свинские дела, которыми ему приходилось заниматься...

Выплеснулась через край давно накопившаяся горечь, та, которую она прятала за полуопущенными веками глаз, когда они сидели в комнате и пили чай; жизнь пре-

вратилась для нее в скрытую войну против «несчастных обстоятельств», вынудивших ее вести подобный образ жизни, даже против мужа, хотя она прекрасно знала, что война проиграна и ей суждено умереть здесь, на Насыпи.

— Спросите у него, почему ему пришлось оставить хорошую практику в городе, почему его выгнали из ассоциации врачей, почему он вынужден был поселиться на городской свалке. А потому, что был слишком гордым и не пожелал признать, что совершил ошибку...

— Послушай, Марта, что ты говоришь?

Огорченный яростными обвинениями жены, Док попытался возразить, однако ошеломленный силой, вдруг проснувшейся в этом согбенном теле, совсем растерялся:

— Я был против закона о запрещении абортов. Я сознательно нарушал закон, который считал бесчеловечным и нелепым. Я знал, чем рискую. Но отречься от своих взглядов и покаяться значило бы предать все то, во что я верил. И верю по сей день.

— Подумаешь! Отречься от своих взглядов! — фыркнула Марта.— Взгляды, которые заставляют врача делать противозаконные выскабливания легкомысленным девицам, и к тому же бесплатно... Но послушай,— она повернулась к Аллану,— ты наверняка сам понимаешь, что к чему. Мы не можем отдавать воду задаром. Давай договоримся так: один бочонок воды за пять кило железа, пять бочонков за кило меди и пять за кило свинца, идет? Если найдешь что-нибудь еще, договоримся после. Ну как, тебя устраивают эти условия?

Аллан нерешительно покосился на Дока, который только кивнул в ответ.

— Хорошо,— сказал Аллан.

Он не считал эти условия неприемлемыми. Он знал, что по всей Насыпи и на дорогах стоит великое множество старых автомобилей и всевозможных машин. И ему на долгие годы хватит металла, который он без труда соберет, чтобы обменять на воду.

Когда они возвращались домой по берегу фьорда, Лиза спросила:

— Послушай, за что она так обозлилась на него?

Аллан только пожал плечами. Перепалка между стариками не произвела на него ровно никакого впечатления, чего нельзя было сказать о Лизе.

— Они прожили здесь столько лет, что, вероятно, начали действовать друг другу на нервы,— ответил Аллан.

— Но если она так сердита на своего мужа, то почему не уйдет от него? И если ей так не нравится жизнь здесь, то почему она давным-давно не уехала отсюда? Никто не заставляет людей жить вместе, если они больше не любят друг друга...

— Верно, но понимаешь, раньше считалось, что муж и жена должны быть «верны друг другу и в радости и горе» «и да разлучит их только смерть». Возможно, они верят в это. Думаю, судьба им послала большое старомодное супружеское счастье, его-то мы с тобой и видели и наблюдали. Я вообще думаю, что между пожилыми супругами часто бывают размолвки.

Лиза помолчала немного, потом спросила:

— А что значит «предать все то, во что верил»?

— Это как-то связано с «честью». Понимаешь, считалось, что, если человек что-нибудь сказал или пришел к какому-то убеждению, он уже не имеет права отступаться от этого. А не то он перестанет себя уважать. Или что-то в этом роде.

— Как странно,— удивилась Лиза, тщетно пытаясь понять, в чем здесь дело.— Нельзя же говорить и думать всю жизнь одно и то же — ведь все изменяется так быстро...

— Вот именно...

Аллан тоже никогда не мог до конца понять, что означает слово «честь».

— Подумать только, какие они старые,— продолжала Лиза, меняя тему.— Ты видел морщины? А рука у него на ощупь словно кожаная, но так вроде бы совершенно нормальная... Хотя раньше я никогда не прикасалась к таким старым людям. Наверное, я даже никогда не видела такого старого человека, совсем седого... А она согнулась в три погибели и вся в морщинах. Ты видел когда-нибудь таких старых людей?

— Пожалуй, видел. Но не часто. Раньше стариков было довольно много, но теперь их почти нет... Не знаю, куда они деваются. Может быть, живут в домах для престарелых?

В Свитуотере стариков почти не было видно. По статистическим данным, люди теперь жили дольше, зато быстрее старились и куда-то исчезали. Дети ничего о них не знали. Они смотрели на родителей, едва достигших среднего возраста, как на «стариков», и не имели никакого представления о том, что дает людям преклонный возраст — и хорошего и плохого.

Однако пока Аллан и Лиза шли бок о бок по узенькой замусоренной полоске берега, Аллана в основном занимали мысли более практического свойства. Доктор Фишер живет здесь уже одиннадцать лет. Значит, это было возможно. А если так, значит, это вообще возможно, хотя жить становится все трудней. Пока они были у Дока, Аллан даром времени не терял и многое увидел. Он увидел свои идеи и замыслы, осуществленные на практике. И в комнате, и во дворе он подмечал каждую мелочь. Он смотрел и учился. Он увидел вещи Дока Фишера, запасы различных металлов, инструменты, винты, гайки и болты, всевозможные детали машин и прочий металлический хлам, представляющий, однако, определенную меновую ценность в обществе, где почти все товары постепенно становятся дефицитными. Процесс, пока еще не слишком ощутимый, но безусловный и неизбежный. В комнате Дока Аллан увидел транзисторный приемник, бинокль, газовый холодильник, на кухне его внимание привлекли остро отточенные ножи, и он неотступно думал о том, что еще было в доме Фишера, чего он, Аллан, не увидел. И вовсе не потому, что завидовал Доку Фишеру и хотел отнять у него это богатство, Аллан никогда не думал о вещах просто потому, что у него их не было: всю свою собственность он мог унести в маленьком чемоданчике. Однако здесь, на Насыпи, вещи приобретали совершенно новый смысл, поскольку были самым непосредственным образом связаны с потребностями, и подобно тому, как жизнь каждого человека на Насыпи приобретала важное значение для всех ее обитателей, так и всякая вещь, чья бы она ни была, становилась важнейшим условием жизни всех. Как вода.

— Какой у него взгляд... — Лиза все еще наслаждалась нескрываемым восхищением, с каким ее созерцал Док.— Наверное, еще никто и никогда не смотрел на меня так, как он. Но мне не было неприятно, наоборот, стало как-то спокойно...

Хотели они того или нет, но оба уже вступили в новое и еще не совсем понятное сообщество обитателей Насыпи.

Аллан и Лиза вернулись домой довольно поздно. Когда они вошли в фургон, Бой лежал на матрасе и крепко спал. На первый взгляд могло показаться, что мальчик лежал в той позе, в какой они его оставили, но потом они обнаружили возле него различные предметы, которых не было, когда они уходили.

— Он вставал! — прошептала Лиза.— Посмотри, у него на ногах ботинки. Бедняжка, он, наверное, искал нас. Не надо было надолго оставлять его одного.

Аллан наклонился и поднял что-то — возле матраса было разбросано с полдюжины блестящих пуговиц. Он внимательно осмотрел их. На каждой был позолоченный государственный герб.

— Они как пуговицы на куртках у почтальонов,— заметила Лиза.— Или у служащих из ведомства социального обеспечения. Как ты думаешь, где он их нашел?

— Ну, на Насыпи можно найти все что угодно,— пробурчал Аллан. Однако вид у него был озабоченный. Среди камушков и стекляшек на матрасе лежали ручные часы с наполовину оборванным, наполовину сгнившим ремешком. Аллан собрал все это и, не говоря ни слова, положил на полку над складным столом.

В фургоне было жарко. Лоб мальчика усеивали капельки пота, но дышал он ровно и спокойно. Лихорадка прошла.

Аллан вышел из фургона и начал собирать топливо, чтобы разжечь огонь и сварить кофе к ужину. Немного погодя появилась Лиза: она принесла хлеб, чашку с жиром, вытопленным из куска бекона, который они поджарили к обеду,— последнее, что еще оставалось от старых запасов,— тюбик фруктово-ягодной пасты со вкусом черной смородины и кусок растительного сыра в полиэтиленовом мешочке, который Аллан купил в киоске у Свитнесса. Их движения, пока они готовили свою незамысловатую трапезу, были спокойны и уверенны. Они уже акклиматизировались здесь. Теперь у них на все было время. Они знали, что могут чувствовать себя в безопасности — в той мере, в какой вообще можно чувствовать себя в безопасности,— от посягательств со стороны внешнего мира. Они уже освоились в этом краю, который избрали для жизни. Они не произносили ни слова. Аллан сидел на корточках у огня, и взгляд его бездумно переходил с их помятого фургона через груду автомобильных покрышек и еще

несколько куч на открытое место, где они ели. Теперь он знал здесь каждую мелочь, он усвоил простоту окружающей жизни и трезво оценил все ее возможности; за те несколько дней, что они здесь жили, он исходил вдоль и поперек несчетное число раз каждый квадратный дюйм этой земли: она была его. Его земля.

10

Шли недели. Шли месяцы.

Уже в конце мая жара на Насыпи стала невыносимой. Весь район задыхался от зноя, который все возрастал. По мнению ученых, причина заключалась в том, что загрязнение воды и воздуха отходами промышленного производства, отопления и транспорта в такой мере дезорганизует атмосферу, что это, в свою очередь, приводит ко всевозможным метеорологическим отклонениям от нормы, сначала локальным, а в дальнейшем, несомненно, в масштабе всей планеты.

— Судя по сообщениям прессы, засухой охвачено сейчас полконтинента,— сказал Док, который слушал радио, а кроме того, читал старые газеты: их привозил ему Дос-Манос.— Чем больше углекислого газа в атмосфере, тем интенсивнее солнечное тепло; это было известно еще в мое время,— уныло поведал Аллану Док.

Он стоял на коленях и мерил уровень воды в колодце.

— Похоже, что мы изменили самую природу земной атмосферы. И в результате у нас сначала жара, потом засуха, недород, нехватка воды, нехватка продуктов...

Он не докончил фразы. Ему было нелегко даже говорить в такую жару. Док с трудом вытащил из колодца пластмассовый бочонок с водой. Вода еле-еле наполняла колодец. Бочонки стали дорогими. Никто не знал, когда снова пойдет дождь.

Аллан терпеливо стоял возле Дока и ждал.

— Ты еще не почувствовал солоноватого привкуса в воде? — спросил Док.

— Нет.

— Скоро почувствуешь. В прошлом году он появился, когда уровень воды был примерно такой же, как сейчас.

— В прошлом году было так же жарко?

Сколько Аллан ни старался, он никак не мог вспомнить, какая погода была прошлым летом. В городе изменения погоды были не так заметны. Летом, как правило, стояла жара, зимой было холодно, иногда шел дождь или дул ветер — таким представлялся Аллану климат Свитуотера, и ему никогда даже в голову не приходило размышлять на эту тему. Однако теперь малейший признак, предвещавший изменение погоды, приобретал колоссальное значение. Лишь хороший вечерний дождь мог хоть немного исправить положение,— во всяком случае, временно.

— Нет, было жарко, но не так. Во всяком случае, жара началась не так рано. Но все-таки было жарко. А в этом году будет еще жарче.

Хотя они стояли у колодца под сенью высоких тополей Дока Фишера, пот лил с них градом. На вершине деревьев блестящие листья уже начинали желтеть, но в общем засуха еще не набросилась на буйную пышность сада.

Аллан встал на четвереньки и сам наполнил второй бочонок. Ему пришлось основательно потрудиться за эту воду. В уплату за нее он притащил в самую жару свыше шестидесяти килограммов свинца из старых аккумуляторов, а также железо, медь и все прочее, что было нужно Доку. Все это взвешивалось и подсчитывалось. Несколько дней Аллан осматривал старые машины на Насыпи и в кюветах дорог. Таких машин становилось все больше и больше. Когда техническое состояние машины переставало отвечать неумолимым требованиям автоинспекции, хозяин просто выезжал на ней ночью, снимал номера и бросал ее в каком-нибудь укромном месте, вместо того чтобы платить деньги за буксировку туда, где ее разрежут на куски. У Аллана не будет недостатка в металлоломе. Однако не так-то просто было вырубать свинец из использованных аккумуляторов и еще труднее извлекать медь из генераторов. Аллан честно зарабатывал два бочонка мутноватой воды, которые получал у Дока через день.

Док любил поговорить. Он любил излагать свои мысли и делиться опытом, приобретенным за долгую жизнь. Док был идеалист и остался им в своей добровольной ссылке. Он верил в политические партии, сменяющие друг друга у власти, верил даже сейчас, после того как экономические трудности сгладили традиционные межпартийные распри; теперь государственный аппарат ведал капиталовложениями, ценами и заработной платой, а политическая борьба в ее традиционном понимании сводилась к деятельности отдельных группировок экстремистов, которые никогда не играли важ-

ной роли в политической жизни страны, но преследовались и подавлялись властями с чудовищной жестокостью. Доку трудно было понять равнодушие Аллана к подобным темам. Ему казалось, что нечто важное и значительное утрачено людьми за последние десятилетия. Но, полагал он, ход событий заставит их в какой-то момент остановиться, одуматься и оглянуться на пройденный путь, чтобы найти утраченное. Однако все эти цветистые фразы были недоступны пониманию Аллана. Подобную риторику он лишь связывал в своей памяти с прекраснодушием отца, который, сидя на балконе в теплые послеполуденные часы, одурманенный дешевым пивом, пытался рассказать, насколько лучше жилось «раньше». Для Аллана прежняя жизнь стала просто невозможной, настолько невозможной, что не измениться она не могла. Тогда они не долго думая упаковали свои пожитки и перебрались на Насыпь. Они сменили место жительства почти так же легко и просто, как животные меняют пастбище или место охоты, не тоскуя по родным местам, не сожалея об утраченном, не ощущая, что потеряно нечто очень ценное. Позади остался хаос, процесс, который зашел слишком далеко, чтобы те, кто стал его жертвой, могли вмешаться и что-то изменить. Город превратился в опасную ловушку, которая медленно захлопывалась. Им удалось вовремя ускользнуть. Ибо никто не знает наверняка, что случится, когда ловушка захлопнется.

Поэтому чаще всего Аллан беседовал с Доком Фишером о вещах, имеющих практическое значение, спрашивал совета, просил объяснить что-нибудь или поделиться опытом в искусстве самосохранения, которым, как он понимал, нужно непременно овладеть в совершенстве на случай, если произойдет самое худшее.

— Как Лиза переносит жару? — спросил Док. Он часто спрашивал о Лизе.

— Прекрасно,— ответил Аллан, покривив душой...

В последнее время Лизе нездоровилось, она чувствовала слабость, жаловалась на сыпь, которая ужасно чесалась. Впрочем, у Аллана от солнца тоже выступили пузыри, и вообще он неважно переносил жару. Они еще не вполне привыкли к изменившемуся климату.

— А Марта не выносит жары,— заметил Док.— Она говорит, что от жары ей делается плохо. Она сильно потеет, понимаешь, потеет так, что не может встать с постели. Нам пришлось тяжело в прошлом году, а в этом году будет еще хуже. Не знаю, что и предпринять, чтобы ей как-то помочь. Правда, порой мне кажется, что она не хочет помощи. Видно, стареет... оба мы стареем... — И Док усмехнулся коротко и сухо.— Но у вас, значит, все хорошо?

— Да, Лиза чувствует себя прекрасно. И малыш тоже.

— Следи за тем, чтобы вы ели достаточно соли.

— Соли?

— Да, нужно есть много соли, когда сильно потеешь. Тогда организм теряет меньше воды и сохраняет силы. У вас есть соль?

— Нет.

— Вот... — Док порылся в кармане и протянул Аллану горсть крупных грязновато-серых зерен.— Это морская соль. Мне достал ее Дос-Манос, у него есть знакомства. Время от времени клади в рот пару зерен и жуй. И заставь Лизу делать то же самое.

— Но от этого же захочется пить!

— Не захочется, если будете поменьше есть. Соль задерживает в организме воду. И еще запомни одно: днем надо пить как можно меньше. От воды человек только слабеет и потеет еще больше. Лучше пейте вечером, когда солнце уже зашло.

Аллан кивнул, довольный тем, что еще чему-то научился. Опустил в карман соль. Наклонился и поднял два полных бочонка, стараясь не расплескать ни капли. Ему предстоял трудный путь с драгоценной водой.

— Спасибо,— сказал он, отправляясь домой.

На сегодня беседа была окончена.

Лиза лежала в полузабытьи на матрасе перед фургоном. Им пришлось поставить навес от солнца. Аллан приволок откуда-то гофрированную жесть, картон, пустые мешки и фибровые плитки и на четырех шатких столбах укрепил крышу. В тени было не так жарко, но одолевали мухи, а кроме того, каждое дуновение ветерка приносило малоприятные запахи с дальних мусорных куч, куда машины ежедневно сваливали

новые отбросы. Над Райской бухтой неподвижно висело безжалостное солнце, окутанное легкой и все-таки непроницаемой мглой, светившейся фосфорическим блеском; казалось, будто это вечное покрывало из желтого смога еще более усиливало зной, опустившийся как удар молота на бесплодную пустыню, именуемую Насыпью.

Лежа на матрасе, Лиза смотрела на дым. Тонкие струйки дыма там и сям медленно поднимались к небу, а над холмами из отбросов и мусора низко-низко плыли легкие, как туман, облака дыма, рожденные многочисленными пожарами, самопроизвольно возникавшими от жары в грудах горючего материала, разбросанного по Насыпи. Это стало самым обычным зрелищем; нередко такие костры горели по нескольку дней подряд.

Лиза лежала и думала о своих обязанностях хозяйки, с отвращением вспоминала про беспорядок в фургоне (там всегда был беспорядок, но раньше она хотя бы иногда пыталась прибрать), необходимость готовить, стирать... Сама того не желая, она все пустила в последние дни на самотек, не занимаясь даже самым необходимым. Еду и ту теперь готовил Аллан, потому что Лиза была просто не в состоянии, ей нездоровилось, не было сил двигаться, она каждый день подолгу спала и все равно постоянно чувствовала усталость. У нее все чесалось, она ходила лохматая, грязная, но теперь ей все было безразлично.

Лиза зевнула, потянулась, отогнала прочь мух. Сейчас стало немного лучше. Утром ее вырвало, но потом тошнота прошла — осталась лишь какая-то приятная слабость. Она еще не сказала Аллану, что беременна. И сама удивлялась, что до сих пор этого не сделала. Однако она понимала, что рано или поздно должна будет сообщить эту новость. Несколько раз в течение месяца, когда уже не осталось никаких сомнений, она хотела поговорить с ним, но что-то удерживало ее: она почему-то стала стесняться его, а может быть, инстинктивно стремилась защитить то удивительное, что совершалось сейчас в ее теле, от внешнего мира, даже от Аллана. Это было доселе неведомое чувство, прямо противоположное тому, какое она испытывала, когда забеременела в прошлый раз. Тогда они обсуждали эту столь неожиданно возникшую проблему, взвешивали все «за» и «против» деловито и трезво, как это делают молодые пары, попав в подобную ситуацию. Общество страдало от перенаселенности, поэтому прекращение беременности было простой формальностью: решайте сами... Беременность со всеми ее последствиями создавала проблему, которую приходилось решать радикально, разумно и сообща, и это оказало весьма благотворное влияние на их отношения. Тем не менее Лиза не раз сожалела о принятом ими скороспелом решении, когда замечала, каким неузнаваемо уродливым становится ее тщедушное тело. И потом, когда крошечный комочек, ее дитя, лежал и плакал, требуя от нее того, к чему она не сумела себя подготовить и даже не знала, хватит ли у нее на это сил...

Но теперь она была подготовлена, теперь знала, что́ это значит,— она через это прошла. И кроме того, они с Алланом во многих отношениях стали значительно ближе друг другу, чем были раньше. Даже теснота фургона как-то объединила их. Сама обстановка, в которой они очутились, требовала сотрудничества, создавала непосредственную зависимость каждого от общих усилий. И тем не менее Лиза чувствовала, что в каком-то смысле ее новая беременность касается прежде всего ее самой.

Она украдкой наблюдала за Алланом, когда он работал. Она видела, что он трудится не покладая рук несмотря на жару, чтобы обеспечить их всем необходимым. Аллан работал до изнеможения. Он похудел. Не так-то просто было здесь найти что-нибудь съедобное, когда все портилось за какие-нибудь несколько часов. Но хлеба у них было вдоволь, огромное количество твердого как камень хлеба, который можно было мочить и есть или молоть, а крошки печь на противне, как «пирожное». Кроме того, у них были консервы, шоколад и другие продукты, которые Аллан покупал на свое жалованье в лавке у Свитнесса. И еще у них были фрукты, главным образом побитые при перевозке апельсины, на которые Аллан однажды случайно наткнулся. Он выбрал наименее испорченные и притащил домой, весь мокрый от пота и липкого фруктового сока, окруженный огромным роем мух.

Случалось, что Лиза по целым дням не видела мужа, который уходил на разведку в отдаленные районы Насыпи; нередко он возвращался таким изнуренным, что тотчас же падал и засыпал мертвым сном. Решая все эти задачи, Аллан даже возмужал, стал как бы сгустком могучей энергии, которую отдавал всю без остатка на то, чтобы сделать жизнь жены и сына мало-мальски сносной; Лиза же редко отлучалась из дому, в основном занималась приготовлением пищи, убирала в фургоне и вокруг него (как

и раньше, с этим у нее не очень ладилось) и приводила в относительный порядок одежду. Роль каждого из них в обществе, как и разница в радиусе действия, стала особенно заметна здесь, на Насыпи, и это ярко выраженное различие между их функциями и способностями (едва ли от Лизы было бы много пользы, даже если бы она пошла с Алланом на поиски еды или вещей, которые можно пустить в оборот, поскольку она не отличалась ни силой, ни выносливостью...), различие, которое еще более подчеркивалось ее нынешним состоянием, воздвигало непреодолимую стену между его жизнью и ее жизнью. Теперь стало так очевидно, что́ делает он и что́ делает она, за что отвечает он, а за что — она. Словом, за беременность и рождение детей ответственность целиком и полностью ложилась на нее... Поэтому Лиза почти инстинктивно маскировала свое состояние, стараясь не показать, что с ней происходит, а когда слабость и тошноту становилось невозможно скрыть, она жаловалась на жару и духоту.

Она до сих пор помнила огромный зал ожидания в Центральной больнице, где она лежала и долгие часы боролась со страхом и нарастающей болью, пока ей наконец не нашлось место в переполненном родильном отделении...

А потом продуваемая сквозняком тесная квартирка на Апрель авеню (когда бы ее мысли ни возвращались к Апрель авеню, ее неизменно пробирала дрожь, как при воспоминании о чем-то очень неприятном), худенькое болезненное тельце Боя, его постоянные простуды и воспаления уха, его блестящие, вечно молящие о чем-то глаза... Кстати, где он сейчас? Лиза не видела его с самого утра. По всей вероятности, бегает где-то по Насыпи, осматривая свое новое королевство. Бой, который еще совсем недавно был робким, плаксивым ребенком, боявшимся хотя бы на шаг отойти от маминой юбки, стал настоящим бродягой, скрытным и настороженным даже с ними, своими родителями. Правда, это ее нисколько не беспокоило, потому что теперь он был крепким, здоровым и сильным и все тело его покрылось коричневым загаром. Но как они ни бились, им не удалось вытянуть из него ни слова о том, что он делает целыми днями и куда ходит, заставить его поделиться с ними своими впечатлениями.

Лиза с удовольствием растянулась на покрытом пятнами матрасе, прикрыв глаза своей тонкой загорелой рукой с крошечными веснушками и золотисто-рыжим пушком.

Она совсем забыла о Бое, забыла, что всего минуту назад думала о нем, огорчалась из-за того, что он стал таким замкнутым. Забыла и вдруг ожившую в ее памяти Апрель авеню. Она всегда так легко и просто забывала. Правда, в такую жару нетрудно забыть обо всем на свете. Лиза закрыла глаза, вдыхая едкий запах дыма, плывшего по воздуху. И погрузилась в легкую, почти счастливую дремоту.

11

Бой стремглав бежал через горы мусора, скользил и падал, вскакивал и снова бежал, в глазах его застыл ужас, а из широко раскрытого для крика рта вырывалось лишь тяжелое дыхание и сдавленный визг. За ним быстро, хотя и тяжеловато, бежал высокий мужчина в черном пальто и больших сапогах; рука у него была вытянута вперед, словно он собирался схватить мальчика и... Человек побежал быстрее. Длиннополое пальто болталось как мешок на худом теле; другой рукой он что-то нащупывал под пальто.

Как раз в это мгновение на тропинке появился Аллан с двумя бочонками воды. Он увидел сына, за которым кто-то гнался, бросил бочонки на землю и побежал наперерез, но расстояние было слишком велико. Он это сразу понял. Человек в черном настигал Боя, оставалось каких-нибудь несколько шагов. В руке, которую он поднял высоко над головой, ярко блеснул металл. Оружие! Нож? И когда Аллан увидел это, когда ощутил своими ногами, двигавшимися так медленно, своей задыхавшейся грудью, что не успеет добежать, он закричал. Закричал что было мочи. Бой услышал отца, услышал, повернул и бросился к нему; он летел словно на крыльях, казалось невероятным, что малыш, которому едва исполнилось пять лет, может бегать так быстро. Преследователь на миг остановился, благодаря чему Бой выиграл десять — пятнадцать метров, но потом снова кинулся за мальчиком с поднятым ножом. Аллан бежал, даже не думая о том, как он одолеет рослого бандита, который к тому же был вооружен. Только бы успеть... Горло жгло как огнем, грудь разрывалась от одышки, в глазах потемнело, и сначала он даже не понял, что произошло, а произошло нечто такое, что совершенно изменило весь ход событий. Появился еще один человек, невысокий тол-

стяк, который тоже бежал с невероятной быстротой. Он выскочил из-за высоченной кучи разломанных бетонных плит слева от тропы, по которой человек в черном пальто гнался за Боем. Было ясно, что он хочет отрезать преследователя от намеченной жертвы. Он прокричал что-то, несколько непонятных слов тоном приказа, но преследователь не обратил на них внимания. Потом они столкнулись. Одним броском толстяк захватил шею и плечи худощавого, и они рухнули на землю, вцепившись друг в друга, затем в руке толстяка появилась короткая клюшка; словно резиновая дубинка, она промелькнула в воздухе, худощавый издал короткий жалобный вопль и остался лежать, закрыв лицо руками, а толстяк сразу же поднялся и спокойными, уверенными движениями начал счищать с одежды пыль и землю, словно ничего особенного не произошло. Никто больше не думал о смертоносном оружии, обоюдоостром охотничьем ноже, валявшемся на земле в каких-нибудь нескольких шагах от них. Уяснив, что произошло, Аллан принялся успокаивать Боя, который все еще всхлипывал и дрожал. Аллан взял мальчика на руки, крепко прижал его к себе, в то же время внимательно следя за каждым движением незнакомцев, готовый в любой момент дать им отпор или убежать.

Толстяк поднял голову, посмотрел на Аллана и направился к нему. Он подходил медленно, как бы выжидая, мелкими шажками. На первый взгляд он был весьма тщательно одет: рубашка, галстук и жилетка под пиджаком, отутюженные брюки, ботинки, совсем недавно начищенные до блеска. Весь этот внешний лоск производил довольно нелепое впечатление здесь, на свалке, да еще в такую жару, и особенно если вспомнить, что всего минуту назад он припечатал к земле потенциального убийцу. Незнакомец остановился, не предпринимая никаких агрессивных или враждебных действий. У него было широкое бледное лицо с двойным подбородком и отвислыми щеками, покатый лоб и редкие, зачесанные назад волосы с глубокими залысинами на висках. Над верхней губой темнели усики. Незнакомца можно было принять за коммерсанта средней руки, но, присмотревшись повнимательнее, Аллан увидел, что одежда на нем старая и поношенная, хотя чистая и нерваная, а подошва на одном из тупоносых башмаков вот-вот отвалится. Но это были дорогие башмаки — Аллан это сразу подметил,— из настоящей кожи, и их нетрудно починить. Аллан совсем растерялся, тем не менее он тоже сделал несколько шагов навстречу, все еще прижимая к себе мальчика и не спуская глаз с незнакомца. В четырех-пяти метрах от него Аллан остановился. Он вдруг почувствовал, что расстояние между ними должно быть именно таким — не меньше и не больше. Остановись он немного дальше, незнакомец мог бы подумать, что Аллан боится. Подойди он ближе, это можно было бы принять за намеренную провокацию или излишнюю доверчивость, возможно, даже благодушие... Аллан почувствовал, как струйки холодного пота стекают по груди. У него дрожали колени. Он почувствовал слабость, однако понимал, что все еще должен быть начеку, хотя, судя по всему, никакая опасность в данный момент им с сыном уже не угрожала.

Человек, стоявший напротив Аллана, с самым невозмутимым видом сделал едва заметный поклон и сказал:

— Весьма сожалею.

Он тщательно взвешивал и правильно употреблял слова, однако интонация была какая-то необычная; всего два слова — и уже совершенно ясно, что он иностранец и говорит с акцентом.

— Я весьма сожалею о случившемся. Произошло недоразумение. Мой брат...—Он указал на второго незнакомца, который все еще лежал на земле и как раз в этот момент задвигался, пытаясь подняться.— Мой брат не всегда правильно понимает, что происходит Маленький мальчик пришел очень некстати...

Незнакомец выговаривал каждое слово четко, как преподаватель фонетики, но все равно не мог скрыть акцент.

— Меня зовут Феликс,— продолжал он.— А это мой брат Рен-Рен.

Тот, кого звали Рен-Рен, уже поднялся на ноги и, обхватив обеими руками голову, раскачивался из стороны в сторону.

— У моего брата ужасно горячий нрав. Маленький мальчик пришел очень некстати...

Он тщательно повторил эти слова, будто они могли с исчерпывающей ясностью объяснить, почему Бой подвергся неожиданному нападению.

Второй незнакомец медленно приближался к ним. Он был высокого роста, на голову выше Аллана, и более худощавый. Черное длиннополое пальто висело на нем как мешок. Сапоги были явно велики ему, но Аллан помнил, с какой быстротой и проворством он бежал за Боем всего несколько минут назад. Волосы у него были густые, черные и подстрижены очень неровно. Кожу покрывал темный загар. Аллан невольно шагнул назад, еще крепче прижав к себе сына, готовый ко всему, хотя в поведении черноволосого, который шел медленной ленивой походкой, не было ничего угрожающего. Феликс остановил Аллана движением руки.

— Нет, нет,— сказал он.— Не опасен. Сейчас — нет.

Человек, которого звали Рен-Рен, подошел к ним совсем близко, остановился возле брата и стал пристально рассматривать Аллана и Боя. Внезапно лицо его перерезала широкая улыбка или, вернее, ухмылка, открывшая два ряда крепких белых зубов. Так же внезапно он протянул руку, как бы здороваясь, и тотчас ее убрал, поэтому Аллан даже не успел ответить на этот жест.

— Это Рен-Рен,— сказал Феликс.— Мой бедный брат. Он не может говорить. Я говорю за нас обоих.

Улыбка словно застыла на лице брата. У него был большой рот; голова казалась сравнительно маленькой и сидела на худой, но жилистой и мускулистой шее, торчавшей из пальто, полы которого чуть не волочились по земле. Его тонкие и ловкие руки были опущены, и Аллан заметил, что они лишь немного не достают до колен. И еще он заметил, что нож не лежит больше, поблескивая лезвием, на земле. Очевидно, Рен-Рен поднял его, когда вставал.

Наконец к Аллану вернулся дар речи:

— Когда вы перебрались сюда?

Поведение незнакомцев, которые явно чувствовали себя здесь как дома, говорило о том, что они тоже, по-видимому, живут здесь, на Насыпи. Это было их право. И не требовало разъяснений. Но кое-какие сведения о себе они все-таки должны были сообщить друг другу, если собирались жить в мире и согласии.

— Совсем недавно,— ответил Феликс уклончиво.— Совсем недавно. Мы иностранцы, как ты слышишь по моему выговору. Мы ищем работу, но пока ничего не нашли.

— Где вы живете?

— Там,— Феликс неопределенно махнул рукой в сторону мусорных куч.— Там есть несколько больших ящиков. Не так уж плохо. Бывало и хуже. Нет, совсем не так уж плохо. Пока мы не найдем работу. Каждый день мы ищем работу...

Он повернулся к Рен-Рену, который, глядя на него, энергично кивал, ухмылка стала еще шире, а глаза горели каким-то неестественным блеском.

Бой стал извиваться на руках у отца, и тот поставил его на землю. Опасность миновала. Беспокойство Аллана утихло, остались лишь настороженность и любопытство. Он сказал, обращаясь к незнакомцам:

— Меня зовут Аллан. Это мой сын Бой. У меня есть жена, ее зовут Лиза. Мы живем в фургоне вон там.— Он показал рукой.— Мы здесь уже три месяца. Я работаю на полставки на бензозаправочной станции в Восточной зоне города.

Аллан замолчал. Это все, что требовалось сказать. О них он знал не больше.

Он ничего не мог прочесть на их лицах, однако Феликс снова наклонил голову, почти незаметно, и сказал:

— Очень рад.

Широкая ухмылка, словно маска, не сходила с лица Рен-Рена. Великолепные зубы сверкали ослепительным блеском на загорелом лице.

— Я тоже хочу познакомиться с ними,— обиженно сказала Лиза, когда, сидя рядом с ней на матрасе, Аллан в нескольких словах рассказал о случившемся.— Ты же сам говоришь, что они не опасны, просто двое несчастных рабочих-эмигрантов, и ты отлично мог бы пригласить их...

И тут она зашнулась, так как сама прекрасно понимала, что обитателям Насыпи было не так-то просто приглашать к себе в гости. Дружеское общение и гостеприимство приобретали здесь совершенно иное содержание, нежели в городе, не говоря уже о том, что один из незнакомцев, во всяком случае вначале, действовал крайне агрессивно.

Бой сидел рядом с родителями, и глаза у него горели от возбуждения. Для него этот драматический эпизод уже превратился в незабываемое приключение.

— Папа, ты видел у него нож? — ворвался Бой в разговор родителей.— Я видел нож у него за поясом под пальто! Как ты думаешь, папа, он хотел меня убить?

— Перестань болтать! — испуганно прошептала Лиза.

Аллан молчал. Ему было о чем подумать.

— Папа, сначала он хотел меня убить, правда? — не сдавался мальчик.

— Но если они такие уж безобидные, зачем им нож? — спросила Лиза.

— Может быть, для самозащиты. Ведь никогда не знаешь, что тебя ждет, а иностранные рабочие вечно попадают в переделки. Не такие уж они здесь желанные гости.

— Но напасть на Боя...

— Они не хотели этого. Так во всяком случае сказал толстяк. Феликс.

— А как зовут другого? Того, что не может говорить?..

— Рен-Рен.

— Странное имя. Как ты думаешь, откуда они?

— Не знаю.

— Но как можно дойти до того, чтобы напасть на пятилетнего ребенка?

Покачав головой, Аллан взглянул на Боя. Он заметил, что мальчик сжимает что-то в кулаке; даже в самые драматические минуты он не разжал кулака.

— Бой, где ты встретил их? — спросил он.

— Там...— Малыш неопределенно показал на бескрайнюю пустыню Насыпи.

— Где?

— Там...

Лицо его вновь стало отчужденным и упрямым.

— Что ты там делал?

— Ничего.

Бой спрятал кулак за спину.

— Покажи, что у тебя там?

Металл в голосе отца заставил мальчика послушаться. С недовольным видом, глядя куда-то в сторону, он разжал кулак. На землю упали две позолоченные пуговицы, такие же, как те, что они обнаружили на матрасе в фургоне.

— Где ты их нашел?

— Не знаю.

Теперь мальчик совсем замкнулся; он стоял, глядя в землю, как будто даже не слышал, что ему говорили.

— Расскажи, где ты их нашел.

Бой крепко сжал губы. Тогда Аллан схватил мальчика за руку и резко дернул.

— А-ай!

Вероятно, он стиснул руку Боя сильнее, чем хотел.

— Где ты их нашел? Там же, где встретил этих людей?

Мальчик только пожал плечами в ответ. Тогда Аллан дал ему пощечину. Лиза привстала, пытаясь помешать ему, однако Аллан оттолкнул ее. У Боя скривилось лицо, но он упрямо молчал. Стоял и сердито смотрел в землю.

— Послушай, Бой,— сказал Аллан, пытаясь найти подход к сыну.— Ты должен рассказать нам, где ты их встретил и что ты там делал. Это очень важно для нас!

Аллан еще сильнее сжал тонкую ручонку. Раньше он никогда не был жесток с ребенком, но тревога придала ему решимости. Ему необходимо было узнать правду.

— Ну?

Бой пытался вырваться, но по-прежнему упрямо молчал. Аллан снова замахнулся. Звук пощечины был как удар хлыста. Мальчик вскрикнул, заметался, стараясь добраться до матери, которая испуганно смотрела на эту сцену, но Аллан крепко держал его.

— Ну?

Бой заплакал.

— Ты покажешь, где это было? Или хочешь еще?

Плач перешел в жалобный вой:

— Хорошо. Пошли.

Аллан поднялся, все еще сжимая руку Боя.

— Значит, ты покажешь, где это произошло.

Не взглянув ни на отца, ни на мать, Бой пошел по тропинке. Он больше не плакал, но его худенькие плечики все еще вздрагивали. Он вытирал кулачком у себя под носом. Аллан с облегчением перевел дух. Он победил. Бросив взгляд на Лизу,

он зашагал следом за сыном. Он смотрел на его худенький затылок под шапкой непричесанных, слипшихся от грязи волос, видел, как тонкие полоски белого пушка сходятся в ямке на затылке. Его ладонь все еще горела от ударов, нанесенных сыну, и он уже досадовал на себя за то, что вспылил, хотя в глубине души сознавал, что иначе поступить не мог, ибо сегодня утром в их жизнь вошло нечто новое. Этим новым была Опасность. Первый раз в жизни ему угрожала опасность; в те несколько коротких мгновений, в сумасшедшие секунды, когда он увидел, как Рен-Рен замахнулся ножом, и одновременно понял, что не успеет помешать ему, когда он чувствовал, что ноги будто налиты свинцом, однако знал, что все равно надо бежать, когда он кричал не своим голосом и скорее ощущал, чем видел, что все кончено, он впервые в жизни испытал смертельный ужас. Этот случай раскрыл ему глаза. Ощущение собственного бессилия, от которого в тот безумный миг он чуть не сошел с ума, глубоко врезалось в его мозг и оставило неизгладимый шрам в его сознании — страх смерти. Он сделал открытие, что опасность подстерегает его на каждом шагу, что спокойствие первых недель жизни на Насыпи было пережитком тех ложных представлений горожан о своей безопасности, которые основаны на слепой вере в безликую статистику, в легкомысленную игру случая с большими числами: плохое всегда случается с другими. Здесь это может случиться с ними самими, и он должен быть готов защитить себя и своих близких от Опасности. Нужно выяснить все, что связано с этими странными братьями,— это было одним из способов самозащиты, важным шагом в суровой борьбе за существование, которую он вынужден вести.

12

Труп от жары распух. Еще немного, и раздувшееся мертвое тело разорвет мундир из стиявшей материи. Лица уже не было, пальцы и ступни ног тоже доедали насекомые и птицы. Однако общий силуэт все еще оставался человеческим.

Неподалеку от них в воздух поднялась стая ворон. И почти тотчас они почувствовали зловоние, едкий запах мертвой плоти, который даже здесь, на Насыпи, не спутаешь ни с каким другим. Когда они подошли ближе, их окружил густой рой мух, которые некоторое время с жужжанием метались над ними, а потом снова облепили труп.

Зажав рукой нос и рот, Аллан стоял в нескольких метрах от мертвого тела, пытаясь сообразить, что следует предпринять. Однако Бой преспокойно подошел к самому трупу, не обращая внимания на мух, трупный запах и ужасную дыру, которую вороны выклевали там, где когда-то были горло и лицо. Он заметил пуговицу, оставшуюся на рукаве мундира, из которого торчали рука и кисть нечеловеческих размеров. Аллан подбежал и схватил сына, прежде чем тот успел прикоснуться к зловонному трупу. Под ложечкой у него, словно коготь, засела тошнота, комок боли, который он все время пытался проглотить. Малыш отчаянно вырывался, пока Аллан тащил его обратно, туда, где они остановились на достаточном расстоянии от мертвеца. Аллан пытался утихомирить мальчишку, объясняя ему, как опасно находиться поблизости от мертвых животных и людей.

—...Понимаешь, ты можешь заразиться и тоже умереть,— втолковывал он сыну.— Близко подходить к мертвым людям и животным очень опасно. Все мертвое нужно немедленно зарывать в землю, а не то... а не то может произойти самое ужасное: могут начаться эпидемии...

Мальчик недовольно взглянул на отца.

— Что такое эпи-демии? — спросил он.

— Это когда в одно и то же время сразу заболевает очень много людей и врачи не могут им помочь...

Тем не менее Аллан прекрасно сознавал, что его объяснение не дошло до сына. Он чувствовал, как напряглось под его рукой худенькое тельце ребенка, пытавшегося вырваться, и вместе с сознанием своего бессилия в нем нарастало невероятное раздражение. Непроизвольно он схватил мальчика за плечи и изо всех сил тряхнул его.

— А теперь слушай,— рявкнул он.— Это не шутка! Приближаться к трупу опасно для жизни! Если отойдешь от меня хоть на шаг, пеняй на себя, ты уже знаешь, что с тобой будет! Получишь такую же выволочку!

Сопротивление сразу же прекратилось. Бой вяло повис в руках у отца, угрюмо отвернувшись от него. Конечно, это нехорошо, что уже второй раз за такое короткое

время он вышел из себя, разговаривая с сыном, мелькнуло в голове у Аллана, но сейчас важнее другое. Он опустил мальчика на землю и снова стал рассматривать мертвеца. На нем был мундир военного покроя, однако синевато-зеленый. Следовательно, это был полицейский, служащий войск по поддержанию спокойствия и порядка, как их теперь называли.

Закрыв рукой лицо так, что остались только глаза, Аллан приблизился к трупу. Зловоние сжимало виски еще сильнее, чем жара. Он сосредоточил взгляд на мундире, стараясь не видеть всего остального. Аллан осторожно просунул ладонь за клапан нагрудного кармана и, задержав дыхание, начал двумя пальцами ощупывать его. Пусто. Выругавшись, он вытащил руку. Чтобы залезть в другой карман, ему нужно было подойти к трупу еще на один шаг ближе. Рука мертвеца лежала на груди, закрывая другой карман. Ее надо было убрать. Аллан осторожно толкнул ее, но она не стронулась с места. Содрогаясь от отвращения, он толкнул посильней, рука сдвинулась и медленно, словно сама по себе, сползла вниз, вытянувшись вдоль бока. Аллан торопился, чувствуя, что долго не выдержит. Запустив пальцы в карман, он нащупал какой-то плоский предмет; еще секунда — и он выудил маленький футляр из целлофана. По нему бегали муравьи, переползая на руку Аллану, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять главное: это было то, что он искал,— из футляра торчал уголок удостоверения личности. Теперь у него в руках было мощное оружие!

И тут с трупом что-то произошло. От движения мертвой руки и его собственных резких, нетерпеливых движений мундир, на котором не было пуговиц, вдруг распахнулся. Парализованный отвращением, Аллан с ужасом смотрел на вздувшийся живот, возникший между поясом брюк и тем, что когда-то было рубашкой. Чудовищно огромный, он вылезал из-под одежды, а внизу, как раз над тем местом, где находился пояс, зияла рана, черная, с синевато-лиловыми краями в форме большого серпа, длинный разрез, протянувшийся под пупком до самого бока.

По дороге домой Аллан время от времени ощупывал целлофановый футляр и прикидывал, сколько времени мог пролежать здесь полицейский. Джозеф Бин — так значилось в удостоверении личности. Аллан ничего не понимал в подобного рода вещах, однако здравый смысл подсказывал, что разложение и гниение протекают довольно быстро в такую жару. По-видимому, он лежит здесь примерно неделю, может быть, немного больше, может быть, немного меньше. Первый раз Бой притащил домой пуговицы около двух месяцев назад, значит...

Внезапно Аллан увидел неподалеку две фигуры. Не успев сообразить, в чем дело, он машинально присел на корточки, чтобы его не заметили. Когда он повернулся к шедшему позади Бою, чтобы предупредить его об опасности, оказалось, что мальчик уже спрятался за кузов старой машины. Неужели малыш первым увидел этих людей? Неужели он зорче, бдительнее, чем отец?

Феликс и Рен-Рен шли друг за другом вдоль колеи, которая вела к воротам. Феликс шел впереди размеренным шагом. Он был в том же костюме, что и утром, и вдобавок еще в шляпе. Издали его можно было принять за конторского служащего или коммерсанта. «Как увязать с этим обликом труп Джозефа Бина? — подумал Аллан.— Какая может быть тут связь?» В том, что такая связь существует, Аллан нисколько не сомневался: Бой подбирал пуговицы от мундира, и они застали его врасплох. Или он застал их врасплох, когда они что-то делали возле трупа.

Рен-Рен шел в нескольких шагах позади брата в своем широком черном пальто и в сапогах; руки его свободно раскачивались в такт шагам, сильные и ловкие; шаг у него был легкий и пружинистый несмотря на неудобную обувь. Он двигался легко, как хищный зверь. И внезапно Аллан понял, что в Рен-Рене внушало ему такой страх: хищная ловкость, первобытная естественность, сквозившие в каждом его движении, огромная физическая сила и необыкновенное самообладание, которые он буквально излучал. Аллан видел в этом что-то нечеловеческое, что-то напоминавшее ему тех кошек в деревне — дикое, хищное и своевольное, нечто такое, что, он чувствовал, нет, знал, может обрести власть, если люди забудут о самодисциплине, махнут рукой на всевозможные запреты и станут жить импульсивной и «естественной» жизнью в «естественном» состоянии на лоне природы. Рен-Рен действительно производил впечатление вполне «естественного» человека, особенно когда занес нож для рокового удара... Аллан не понимал, чего он боится, и боялся тем сильнее, ибо ощущал это в себе самом.

Солнце висело над самым горизонтом. Начинало темнеть. Легкий ветерок подхватил жару и унес ее по берегу фьорда к городу. Феликс и Рен-Рен целеустремленно шагали вдоль глубокой колеи. Куда они идут? В город? Искать работу? В такое время, когда скоро будет совсем темно? Аллан задумался. Сколько еще трупов оставили здесь эти двое?

Сегодня был четверг. Второй четверг июня. Послезавтра он поедет в город на работу. И при одной мысли о том, что ему придется оставить здесь Боя и Лизу совсем одних на всю ночь, его охватила тревога. Он принялся обдумывать, как отвратить нависшую над ними опасность или по крайней мере решить загадку, которую представляли собой эти таинственные братья.

13

Случай представился ему уже на следующий день.

В тот вечер, вернувшись домой, Аллан рассказал Лизе все самое главное — кого они нашли и какие у него возникли подозрения,— но из головы его не выходил труп. Лиза ужасно испугалась, когда Аллан показал ей удостоверение личности и объяснил, что это улика против тех, кто убил полицейского. Аллан спрятал удостоверение за обивку стены в фургоне и предупредил Лизу, что, если с ним что-нибудь случится, она должна обо всем сообщить властям. Испуганно глядя на мужа, Лиза послушно кивала головой. Слово «власти» означало полицию, «войска по поддержанию спокойствия и порядка», как ее теперь называли. Лиза не любила полицию. Аллан все же надеялся, что она осознала серьезность положения, хотя по вполне понятным причинам не сообщил ей, что их новые соседи, вероятно, убийцы.

Больше Аллан не собирался раздумывать на эту тему. Он был не из тех, кто долго копается в том, что его огорчает и заботит. Он как следует вымыл руки и сел ужинать вместе с Лизой и Боем; они ели размягченный хлеб с растительным сыром, из чего обычно состояла их вечерняя трапеза, и пили кофе, но сегодня Аллан ужинал без особого аппетита. А ночью ему приснились бренные останки Джозефа Бина, и он проснулся весь мокрый от пота; ему все еще казалось, что он ощущает зловоние и к горлу его подступает тошнота. Он должен что-то сделать, не может же труп оставаться там... Аллан слышал, как крысы шуршат в бумажных пакетах, разбросанных вокруг фургона.

На следующее утро, когда Бой и Лиза еще спали, Аллан отправился в путь.

С большой неохотой Аллан во второй раз приближался к тому месту, где лежал труп, но чувство долга пересилило сомнения и отвращение. Снова вороны увидели его и, когда он подошел к ним достаточно близко, поднялись в воздух, громко каркая и хлопая крыльями. Однако на этот раз он свернул в сторону и направился к груде разломанных бетонных плит, лежавших неподалеку от того места, где вчера утром произошла драматическая встреча с загадочными братьями. Казалось, это было так давно. Подойдя к этой груде бетона, Аллан достал из кармана грязную косынку и завязал рот и нос. Потом собрал несколько каменных обломков, сложил их один на другой и направился со своей ношей к тому месту, где лежал труп. Собрав последние остатки решимости, Аллан подошел к темной, разлагающейся массе и сбросил на нее один за другим обломки бетона. Потом, озираясь, прошел несколько сот метров, отделявших его от груды бетона, набрал обломков, сколько мог донести, и направился обратно.

Солнце уже прожигало покрывало из желтой мглы, висевшей над Свитуотером. Аллан обливался по́том, и ему пришлось сбросить с себя куртку — рубашки, которые он взял с собой, быстро сносились, и теперь он использовал вместо них куртку. Тело и руки его побелели от цементной пыли. Спина ныла, но он продолжал трудиться: туда-обратно, туда-обратно.

Через час над тем местом, где лежал труп, выросла неровная груда бетонных обломков. Выпрямив спину, Аллан даже застонал от невыносимого зноя, но в общем несмотря ни на что испытывал чувство удовлетворения. Мертвых надо хоронить и ради них самих, и ради живых.

Аллан смотрел на каменную груду и тяжело дышал: у него было такое чувство, словно он спас их всех от грозной опасности...

И тут оба они выросли перед Алланом. Они вынырнули откуда-то в нескольких шагах от него. Впереди стоял Феликс, за ним Рен-Рен, но теперь он не улыбался; у обоих были очень серьезные лица, во всем же остальном они выглядели точно так же, как в первый раз, когда он увидел их. Аллан вздрогнул, но не потому, что испугался, а потому, что они появились так неожиданно.

Феликс откашлялся и, слегка поклонившись, сказал:

— Ты, видно, хорошо потрудился?

— Да. Мне пришлось завалить камнями то, что здесь лежит и гниет. Иначе мы все могли бы заразиться какой-нибудь болезнью.

— А тебе не кажется, что тело, которое лежит и гниет, лучше так и оставить лежать и гнить?

Феликс говорил вежливо, взвешивая каждое слово, но в голосе его звучала угроза. Рен-Рен стоял позади, свесив руки, и внимательно слушал, что говорил брат.

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать.— В голосе Аллана не было ни излишнего дружелюбия, ни вызова.— Мертвое тело распространяет заразу. Покойников следует либо заваливать камнями, либо зарывать в землю.

Теперь он отчетливо вспомнил телевизионные репортажи о стихийных бедствиях, которые в течение многих лет происходили довольно регулярно: где-то эпидемия холеры, где-то еще эпидемия тифа, гриппа, оспы; неубранные трупы, которые заражали питьевую воду. В газетах довольно часто можно прочитать о подобных «катастрофах», потому что их всегда называют «катастрофами», хотя с катастрофами эпидемии не имеют ничего общего. Нередко они возникали в районах, расположенных совсем недалеко от Свитуотера, власти высказывали озабоченность по поводу «новых» заболеваний, которые еще никто не умел лечить; говорилось о появлении мутантов хорошо известных вирусов и бактерий, на которых не действовали испытанные вакцины; ученые лихорадочно искали новые вакцины, однако государство отпускало недостаточно средств на нужды здравоохранения. Иностранные туристы между тем сидели в карантине, а органы здравоохранения громогласно призывали к принятию действенных мер.

— Некоторые мертвые тела, возможно, должны... все-таки оставаться лежать. Чтобы они со временем совсем исчезли. Могилу можно всегда найти, всегда разрыть... Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Голос Феликса звучал скорбно, но в глазах вспыхивали молнии. Выражение лица было раболепное, туповатое. Рен-Рен шагнул было вперед, но Феликс остановил его едва уловимым движением руки. Казалось, он не чувствовал себя хозяином положения и хотел прозондировать почву — и Аллана,— прежде чем принять окончательное решение. Он продолжал:

— Ты случайно увидел то, чего тебе ни в коем случае не следовало видеть. И это может оказаться очень... некстати!

Бледное лицо его заливал пот, а голос вдруг сорвался на крик, выдавая крайнее раздражение.

— Теперь послушай меня! — прервал его Аллан.— Послушай, прежде чем наделаешь новых глупостей. Я расскажу тебе все, что мне известно. Мне известно, что полицейского, который лежит там, зовут Джозеф Бин. Мне известно также, что его номер К 13007/59510 и группа крови у него «А», и еще мне известно, что все эти данные записаны в его удостоверении личности, которое я забрал и спрятал там, где его найдут в том случае, если со мной случится беда. Мне известно, что у него длинная резаная рана на животе, нанесенная, по всей вероятности, ножом, и я полагаю, что ботинки, которые ты носишь,— кивком головы он показал на тяжелые ботинки Феликса,— принадлежали ему.

Аллан невольно содрогнулся при мысли об объеденных вороньем ступнях трупа.

— Кроме того, мне известно, что за убийство полицейского из войск по поддержанию спокойствия и порядка полагается смертная казнь. Но я не собираюсь ни на кого доносить или предавать огласке эти сведения. Меня не интересует, чем вы занимаетесь; единственное, что меня интересует, это чтобы у нас здесь был мир и покой и как можно меньше неприятностей. Понятно?

Пока Аллан произносил эту длинную речь, он не спускал глаз с лица Феликса. Он видел, как желтые глаза Феликса сначала сузились от страха и злобы, а потом начали перебегать с его собственных ботинок на каменный курган и на пряжку, которая была у Аллана на поясе. Когда Аллан кончил говорить, он едва заметно поклонился и сказал совершенно спокойно:

— Хорошо. Значит, мы понимаем друг друга. То, что с ним произошло,— он кивнул в сторону кургана,— весьма печальный случай. Очень некстати. Я постараюсь объяснить... Мы с братом незаконно перешли границу. Нет ни документов, ни рабо-

ты. Полиция напала на наш след. Здесь не любят иностранцев. Один полицейский случайно задержал моего брата на улице. Мой брат попытался убежать, но полицейский бегал быстрее. Мой брат впал в панику и вот...

Феликс сделал двумя пальцами быстрый горизонтальный разрез в воздухе. Аллан кивнул. Немного помолчав, Феликс продолжал:

— Лучше, чем дать себя арестовать. У моего брата опасный темперамент. Он не хотел, чтобы его посадили в тюрьму. Весьма прискорбно. Несчастье. Так некстати... Но все-таки лучше, чем попасть в тюрьму,— повторил он, немного помолчав.

Рен-Рен широко осклабился и закивал.

— Понимаю,— сказал Аллан.

То, что он услышал, не было для него откровением и нисколько не шокировало его. Давно уже было известно, что реорганизованное ведомство полиции под названием «войска по поддержанию спокойствия и порядка» использовалось для подавления отдельных групп населения, именуемых «нежелательными», под предлогом охраны закона и порядка. Одной из таких групп были иностранные рабочие. Правила регистрации были чрезвычайно жесткие, а кара за их нарушение весьма суровая. Государство почти не отпускало средств на бесплатную юридическую помощь, которую закон гарантировал рядовым гражданам, и она практически отсутствовала, так как немногочисленный аппарат бесплатной адвокатуры был настолько перегружен делами, что от него трудно было добиться толку,— одним словом, возможности тех, кто хотел законным путем защитить себя от преследований, по существу равнялись нулю. Аллан все это хорошо знал со слов Дока, который всегда любил поговорить на эту тему; теперь Аллан сразу понял, почему Рен-Рен впал в панику, и даже посочувствовал братьям.

— Как вам удалось притащить его сюда? — спросил Аллан.

— На машине. На последние деньги мы наняли машину. Вечером мы привезли его сюда и спрятали.

«Его и сколько трупов еще?» — подумал про себя Аллан. Но он уже не боялся братьев, потому что все понял, и то, что он все понял и как бы со всем согласился, сделало его соучастником преступления. Единственное, что еще тревожило Аллана, это мысль о «дикости» Рен-Рена: ведь мало ли из-за чего он может «одичать» и кто знает, что он способен натворить и чем все это кончится...

— На что же вы живете, если у вас нет работы? — спросил Аллан.

— Занимаемся кое-каким бизнесом,— ответил Феликс, и легкая усмешка чуть приподняла кончики его аккуратно подстриженных усов.— Немножко продаем, немножко покупаем. У нас есть связи. Некоторые малоприятные вопросы помогает решить мой брат. А в общем кое-как сводим концы с концами. Пока не найдем работы. В общем справляемся.

Этот знаменательный разговор происходил на окраине большого города, столицы с населением между шестью и восемью миллионами человек (данные были неточными, поскольку незарегистрированные миграции населения создавали все возрастающие трудности для статистиков). Это был город, где архитектура в Центральной зоне еще свидетельствовала о благосостоянии и процветании, где на витринах больших магазинов пока еще всегда было изобилие, где каждое утро миллионы людей ехали на работу и каждый вечер возвращались в свои дома и квартиры в различных городских зонах и, глядя на их лица, никто бы не сказал, что они озабочены дороговизной, надвигающейся безработицей, нормированием различных товаров — короче говоря, что они страшатся будущего. Это был город, обитатели которого, судя по официальным сведениям — а никаких других не было,— «сохранили присутствие духа в трудную минуту».

Примером тому служило трогательное объединение правительственных партий и оппозиции на базе экономической программы, предусматривавшей, в частности, полный правительственный контроль над ценами, заработной платой и капиталовложениями,— так они надеялись преодолеть надвигавшийся экономический кризис. Противники этой программы подвергались всевозможным гонениям, а их было немало, поскольку массы населения с поразительным единодушием считали, что столь серьезная обстановка вне всякого сомнения требует чрезвычайных мер; войскам по поддержанию спокойствия были даны гораздо более широкие полномочия, дабы они

могли обеспечить законность и порядок. Город жертвовал частью своего комфорта в обстановке, когда временная девальвация, сырьевой кризис и экономические трудности легко могли вызвать недовольство, в свою очередь чреватое непредсказуемыми и опасными последствиями. Город шел на добровольные жертвы во имя защиты «нормального образа жизни», то есть своей цивилизации — своего главного достояния, и отважно боролся за сохранение этого образа жизни и этой цивилизации.

Но этот же город был еще и местом, где два человека, ничем особенно не отличавшиеся от многих других, кто каждое утро машет на прощанье жене и отправляется на работу,— два человека спокойно и невозмутимо говорили о необходимости убить полицейского и спрятать его труп как о самом обычном деле, словно речь шла о том, чтобы достать еду, иметь крышу над головой, и о других столь же обыденных вещах. Убить или быть убитым в борьбе за существование. Закон джунглей, царивший там, где благосостояние и процветание особенно не лезли в глаза, где архитектуру составляли жалкие развалины, где в трещинах домов росла сорная трава, от которой возникали еще более широкие трещины, и процесс этот уже нельзя было остановить — сначала едва видимый, так сказать «нормальный», износ, почти незаметный для постороннего глаза, потом обветшание и разрушение, пока не остаются одни руины, и вот уже трудно провести границу, где кончается город и начинается свалка. И здесь стояли два человека нормальной внешности и говорили о необходимости убивать ради того, чтобы сохранить собственную жизнь, а третий — убийца, стоял рядом и широко улыбался!

Какой все-таки ненормальный это образ жизни!

14

Когда на другой день Аллан пришел к Доку за водой, он рассказал обо всем, что с ним произошло. Док слушал его, не говоря ни слова, и только задумчиво кивал.

— Не берусь утверждать, что они злоумышленники, хотя в общем это довольно странная пара. С другой стороны, каждый может стать опасным, если на него слишком долго жать. Что же касается иностранных рабочих, то им сейчас приходится несладко, это уж точно. Если власти доберутся до твоих новых соседей, им конец.

— Тот, кто называет себя Феликсом, сказал, что занимается «бизнесом».

— А кто им сейчас не занимается? В Свитуотере вовсю процветает незаконная торговля, и процветает тем шире, чем сильнее ощущается нехватка различных товаров. Дос-Манос говорит, что в районе Док-роуд действует черный рынок. Там сбывают огромное множество ворованных товаров. И пресечь эту торговлю нет никакой возможности. А почему, собственно говоря, ее нужно пресекать? Люди покупают там то, что невозможно достать в других местах.

Они сидели за столом в комнате Дока. Было тепло, дверь оставалась открытой, и косые лучи заходящего солнца падали на нее. Марта неважно себя чувствовала и лежала в постели. За окнами буйно зеленела по-летнему сочная растительность. В то время как жалкие кустики, отчаянно цеплявшиеся корнями за каменистую пустошь береговой полосы, сгорали от засухи и обращались в прах, сырость, казалось, никогда не уменьшавшаяся, постоянно питала пышную зелень в похожем на джунгли саду Дока Фишера. Здесь, в густой чаще, под широкими листьями папоротника, могли спрятаться даже дикие звери, однако в саду Дока не могло быть и речи об «одичании», во всяком случае в том смысле, в каком это беспокоило Аллана. У Дока самым главным была беседа. У Дока всегда было желание поговорить, всегда было что обсудить, осмыслить, и в противовес тому, что Аллан называл «одичанием», слова Дока вселяли уверенность, сознание того, что существуют понятия, определения, границы. Порой они настраивали Аллана чуть ли не на оптимистический лад, когда, сокрушаясь по поводу современных условий и царящей в мире несправедливости, Док выражал в конце беседы надежду на победу здравого смысла и лучшую жизнь для всех и каждого. Иногда Аллан готов был забыть о том, что все сказанное Доком звучало так, словно было вычитано из старых книг, а выражения и обороты речи, которые он употреблял, были безнадежно старомодными — ведь никто так больше не говорил, никто так больше не думал.

— Но что я скажу, если они спросят, где я беру воду?

Этот вопрос мучил Аллана. Ему было неприятно скрывать от братьев такие важные сведения, поскольку в каком-то смысле у всех у них была теперь одна судьба, но, с другой стороны, ему не хотелось сажать Доку на шею двух новых «клиентов».

— Ну так скажи им, где ты берешь воду и сколько она стоит. Пока что ее хватит на всех, хотя она и не очень вкусная. Мы здесь должны все делить поровну. А если они действительно занимаются торговлей, то, может статься, будут доставать вещи, которые нам нужны?

— А если они задумают какую-нибудь пакость?

— Что ж, я сумею себя защитить,— спокойно ответил Док.

— Один против двоих?

— Думаю, что да. Вот взгляни-ка,— весело сказал Док; он встал и подошел к полкам у противоположной стены. На них стояло несколько книг, радиоприемник, две-три вазы и еще несколько предметов. На самой верхней полке Аллан увидел два маленьких деревянных ящичка, на которые раньше никогда не обращал внимания. Док снял с одного из них крышку и сунул туда руку. Аллан заметил, как что-то блеснуло в темноте — хорошо смазанный маслом металл: Док Фишер держал в руке тяжелый пистолет.

— В трудную минуту,— сказал он добродушно,— эта штука может очень пригодиться. Несколько лет назад я выменял его вместе с пятьюстами патронами. Поскольку существует строгий запрет на хранение огнестрельного оружия, сейчас невозможно достать пистолет.

Безрукавка, которую носил Док, была в пятнах пота на груди и на спине. По сравнению с массивным торсом руки его казались слишком тонкими, а пальцы, сжимавшие рукоятку пистолета, явно не отличались ловкостью и сноровкой, хотя рука была жилистая и мускулистая.

— За это я мог бы получить пять лет тюрьмы,— проговорил он, почти с нежностью глядя на пистолет.— Но ведь кто знает, может, в один прекрасный день придется пустить эту штуку в ход. Пока что мир становится не лучше, а все хуже и хуже, и неизвестно, надолго ли нас оставили в покое хотя бы здесь, на Насыпи.

Аллан ничего не ответил. Его обрадовало и встревожило то, что он увидел. Обрадовало, что Док Фишер в случае опасности может защитить себя: он любил старика, доверял ему и не хотел, чтобы с ним приключилась какая-нибудь беда. И в то же время от оружия повеяло чем-то тревожным, оно как бы предвещало драму, катастрофу, самое худшее. Аллану невольно подумалось: «Док старый, а я молодой...» Аллан питал самые дружеские чувства к Доку Фишеру, относился к нему с огромным уважением, потому что Док был старше, во многих отношениях умнее и уж во всяком случае знал куда больше, чем Аллан, но прежде всего он уважал Дока Фишера за то, что Док сумел создать себе сносные условия существования. И тем не менее он невольно повторял про себя снова и снова, словно заучивая закон природы, который ни в коем случае нельзя забывать: «Док старый, я молодой, и если что-нибудь случится, я знаю, что он старый, а я молодой». И Аллан не сводил глаз с пистолета.

Когда Аллан уже собрался уходить, Док снова спросил, как чувствует себя Лиза, и Аллану пришлось ответить, что в жару ей стало нездоровиться.

— Позаботься о том, чтобы она хорошо питалась,— сказал Док.— Я имею в виду калорийную пищу. Витамины.

— Мы хорошо питаемся,— возразил Аллан.

В общем, особой разницы не было между их меню здесь и тем, что они ели, когда жили на Апрель авеню. Лиза никогда не была изобретательной кулинаркой, поэтому в основном они и там покупали полуфабрикаты, а также консервы и растительный бекон, искусственное повидло, белый безвкусный хлеб, все тот же бесцветный растительный сыр, кофе, печенье и шоколад.

— Хорошо! Хорошо! — Док кивал головой так, словно был доволен.— Но здешнее меню не отличается разнообразием. Знаю по собственному опыту. Иди сюда.

Док вышел через низенькую дверь и двинулся по тропинке, которая вела мимо сарая к колодцу и огороду. Начинало смеркаться. Сегодня их беседа несколько затянулась. Когда они подошли к грядкам, Док нагнулся, и Аллан услышал, как под его руками шелестит какая-то зелень.

— Смотри.

Док выпрямился, и Аллан внезапно почувствовал, что держит в руке пучок прохладных зеленых листьев.

— Это салат,— сказал Док.— Заставь Лизу съесть это и приходи снова, когда понадобится еще. Несмотря на засуху в этом году салат растет хорошо. У меня его больше, чем мне нужно.

Внезапно Аллан немного испугался: почему Док так заботится о Лизе?

— Послушай, ты думаешь, что у Лизы что-то не в порядке? — с тревогой спросил он.— Может быть, она больна?

— Нет,— ответил Док.— Она не больна. Просто одни лучше переносят жару другие — хуже. Ты здоровый и сильный, и тебе жара не страшна. А Лиза малокровная. У нее слабый организм. Ей нужно хорошее питание и прежде всего железо, а его она может получить, только если будет есть овощи вообще всякую зелень.

Аллан, однако, знал, что Лиза совсем не любит овощей. Он думал об этом, когда возвращался домой с двумя бочонками воды и пучком салата. Думал и о том, как она целыми днями лежит на матрасе, жалуется на тошноту, головную боль и прочее. Стоит ей почувствовать себя неважно, и она, как ребенок, тотчас распускает нюни. Аллан разозлился: надо же такое придумать — есть салат!

Он остановился, поставил бочонки на землю, вырвал из пучка сочный лист и осторожно попробовал его. На вкус он был влажным и горьким — во рту сразу пересохло.

Аллан раздраженно отбросил салат. Он вдруг возмутился: нет уж, спасибо, пока им удается доставать нормальную пищу, они не станут есть траву, хотя Док и утверждает, что это полезно для здоровья! Аллан старался отогнать от себя мысль, что, когда начнется настоящая нехватка продуктов, придется есть что угодно, лишь бы не умереть с голоду. Изо всех сил он стремился более или менее четко определить границы своего нового существования, хотя в глубине души прекрасно сознавал, что в критической ситуации пойдет на все — только бы выжить.

Через некоторое время Аллан услышал звук волн, набегающих на замусоренный берег. Сладковатый запах воды смешивался с кисловатым зловонием морской травы, выброшенной на берег и лежавшей у самой воды длинными мерцающими от влаги лентами. Этот запах был сильный, свежий и одновременно прелый, и почему-то Аллан вдруг подумал о Лизе: он видел, как она спит на матрасе под тентом в своих изношенных нейлоновых трусиках и полотняной рубашке, которую забрала у него; видел ее в фургоне, где она стояла согнувшись, свертывала широкий матрас и запихивала его в угол, чтобы у них было больше места.

Его девочка-жена.

Внезапно в нем вспыхнуло желание. Позапрошлым вечером Лиза отвергла его, казалась испуганной, хныкала, почти умоляла. Это и удивляло и злило его, поскольку он заметил, что с тех пор, как они перебрались на Насыпь, она стала ему более желанной, и он вообразил, что она должна чувствовать то же самое. Ее капризы раздражали его, так как он теперь проще стал смотреть на эротику и все связанное с ней; она превратилась для Аллана в одну из форм повседневной жизни, стала просто одной из реакций организма. Дурацкие угрызения совести первых недель их совместной жизни давно прошли; отбросив предрассудки, Аллан всецело отдавался на волю своих неукротимых желаний, которые сдерживал теперь лишь в тех редких случаях, когда хотел проявить особую заботу о жене, ее тщедушном теле, слишком тщедушном, чтобы оно могло зажечь страсть во взрослом мужчине и тем более утолить ее,— ту заботу, которую в нем, очевидно, породили первые угрызения совести после той первой ночи, проведенной с ней, когда она, тринадцатилетняя девочка, после короткого разговора в кафе решительно отдалась ему, чтобы обеспечить себе крышу над головой. А теперь она уползала от него, словно перепуганный зверек... Он чувствовал себя обманутым, ему казалось, будто его лишили того, что принадлежит ему по праву; если она заболела, то пусть скажет об этом прямо, ему надоели ее жалобы и слезы, он сыт этим по горло.

Был теплый, липкий вечер, и, обуреваемый желанием, он шел с двумя тяжелыми бочонками, чувствуя, как пот стекает по груди и спине. Он ругал себя за то, что позволил ей несколько раз отвергнуть его домогательства. Во всяком случае, сегодня вечером у нее это не пройдет.

Когда на другой день Аллан вышел из автобуса на Эббот-Хилл-роуд примерно в двухстах метрах от бензозаправочной станции, он невольно остановился и стал разглядывать Парк, зеленый массив между двумя домами на другой стороне улицы,— маленький, тесный сквер со старыми сгорбленными деревьями, который постепенно расширялся, превращаясь в островок скудной природы, куда в былые времена обитатели Свитуотера выезжали на пикник или просто на прогулку. Эта полоса зелени простиралась до самого подножия Эббот-Хилл. Когда-то существовал генеральный план реконструкции Парка, который оставался почти нетронутым цивилизацией и, словно зеленый клин, далеко врезался в густонаселенные кварталы города между небоскребами Северной и Восточной зон, неприступным хребтом Эббот-Хилл и застроенным виллами районом вокруг Эббот-Хилл-роуд. Этот план родился много лет назад, когда еще полным ходом шло жилищное строительство, но энергичные действия, предпринятые обитателями Восточной зоны, пожелавшими сохранить этот природный парк в его девственной неприкосновенности, привели к тому, что реконструкция все откладывалась до тех пор, пока экономика страны не пришла в упадок; в результате строительство приостановилось и реконструкция отпала сама собой. Основательно разъезженные дороги, превратившись в неглубокие канавы, медленно зарастали травой, а недорытые котлованы, груды строительных материалов и бараки казались незаживающими ранами на этом и прежде довольно унылом островке укрощенной городом природы.

Как это ни парадоксально, с течением времени Парк все реже и реже использовался по своему прямому назначению, то есть для отдыха, занятий спортом и прогулок.

Зато один вид человеческой деятельности, если только это можно назвать деятельностью, все-таки процветал в отдельных районах Парка — огородничество. Здесь жители окрестных городских зон выращивали цветы и овощи, а по воскресеньям устраивали пикники. Впоследствии подобного рода воскресные развлечения вышли из моды, сады заросли травой, сараи развалились, а ограды попадали. Но теперь многие садовые участки вдруг снова пробудились к жизни и расцвели, а кроме того, на месте вчерашней пустоши там и сям кто-то поспешно разбивал и вскапывал новые садовые участки, совсем не обязательно вблизи старых, и на этих участках росли неровными рядами различные овощи, названий которых Аллан даже не знал и уж во всяком случае ни за что не узнал бы их на грядках по той простой причине, что никогда не видел в природном состоянии.

Возрождение интереса к садоводству, несомненно, было продиктовано «тяжелыми временами», и результат был совершенно иной, нежели в те времена, когда оно было просто отдыхом и хобби. Большая часть заново обработанных и недавно засаженных участков хранила отпечаток поспешности, нетерпения и порой даже паники; многие из них тут же снова приходили в запустение, словно те, кто обработал их в такой невероятной спешке, сразу забыли о них, устав дожидаться медленного естественного роста и созревания урожая, и стали искать иного решения своих проблем. Если не пали жертвой несчастного случая. Те же, кто изредка приезжал поработать на своем участке, чаще всего были пожилые люди; раньше у них хватало времени и сил на то, чтобы рядом с овощами сажать розы, окружать свои участки заборами, возить с собой еду, пить кофе и вообще проводить здесь весь день с утра до вечера, но теперь их гнала сюда нужда, нехватка продуктов и дороговизна. Поэтому было что-то трогательное, почти трагическое в этих крошечных неровных грядках, которые были поспешно вскопаны и нередко снова заброшены или обобраны еще до того, как созрел урожай. И тем не менее для пустынной Восточной зоны это все-таки было знамением жизни.

Аллан стоял и думал об этом, думал о заросших травой и заброшенных огородах, где осталось множество растений, которые можно есть. Он пожалел, что так опрометчиво выбросил пучок салата, который прошлым вечером дал ему Док; он же знал, что Док хорошо разбирается в таких вещах. Может быть, ему стоит пойти в Парк и посмотреть, нет ли там чего-нибудь такого, что может пригодиться? И все же привкус травы, который он до сих пор ощущал во рту, был ему противен. Если уж так важно есть витамины, как считает Док, лучше купить пару коробок «зеленой приправы» и витаминизированный сыр. Все равно почти вся еда, которую они покупали, была витаминизирована. Аллан, собственно, считал, что разговоры Дока о витаминах и калорийной пище были просто пережитком былых времен. И тем не

менее мысль о зеленых листьях салата не оставляла Аллана. Даже их суховатый, чуть горький привкус вдруг показался ему почти аппетитным...

Приготовившись слушать получасовые стенания Янсона, Аллан медленно пошел по изрытому ухабами тротуару. К концу недели у Янсона всегда накапливалось множество невзгод, на которые ему непременно хотелось пожаловаться, и для подобного рода излияний ему больше всего подходил Аллан. Так было все годы, пока Аллан работал на бензозаправочной станции, но в последнее время он стал замечать, что ему трудно понять, о чем говорит Янсон. Казалось, будто горести и беды Янсона отступают куда-то все дальше и касаются Аллана все меньше; наконец, он совсем перестал понимать смысл и значение слов, которые, чуть не плача, произносил его хозяин. И Аллану все труднее становилось подавать сочувственные реплики, которых Янсон ждал и ради которых так старательно выплескивал на Аллана все накопившиеся за неделю обиды, когда в субботу вечером тот приезжал на работу.

Сегодня речь шла о том, что испортился кондиционер и не было денег на его ремонт. Кроме того, Янсон решил продать автокран, который месяцами стоял без дела; работа по обслуживанию автомобилей все равно давно уже свернута, а механик уволен («Люди не ухаживают больше за своими телегами, просто ездят на них до тех пор, пока они не остановятся навсегда»). Потом он стал жаловаться на запрещение мыть машины из-за недостатка воды — власти ввели строжайший контроль за ее расходованием; таким образом, в буквальном смысле слова иссяк еще один источник дохода. И наконец, Янсон обнаружил, что кто-то пытался взломать дверь склада, замок явно поврежден. Аллан сам может убедиться. И ничего тут не поделаешь. В полицию он больше не пойдет, эти свиньи чуть не засадили его за решетку, когда он сообщил им о Рое Индиане. Нет, хватит, пора закрывать лавочку, она все равно не приносит дохода. Хорошо еще, если удастся дотянуть до конца года... Мутные глаза Янсона искали у Аллана понимания и сочувствия.

Аллан слушал этот жалобный голос — одно и то же неделю за неделей,— но уже почти не понимал, о чем идет речь. Взгляд его медленно скользил с одного предмета на другой, и всюду он видел следы упадка и обветшания: облупившуюся краску, выбоины в бетонном покрытии, перегоревшие лампочки, контейнеры с мусором, которого накапливалось все больше, траву, растущую вдоль стены, где из испорченного крана капала вода. И при виде всего этого он испытывал чувство удовлетворения. Ибо в мыслях своих он постоянно был на Насыпи, где таких проблем, как у Янсона, не существовало.

15

Когда однажды ранним утром Аллан вышел из фургона, ему показалось, что он слышит нечто необычное: голос... Голос доносился с берега фьорда, человеческий голос, невнятно выводивший какой-то незамысловатый мотив.

Аллан терялся в догадках, кто бы это мог быть; он медленно двинулся к берегу, стараясь не шуметь, когда ему приходилось перелезать через груды хлама и всевозможных отбросов. Всякий раз, когда он останавливался и прислушивался, до него доносился все тот же голос. Приблизившись к берегу, он стал различать отдельные слова, ритм и мелодию. На берегу кто-то пел песню! Глубокий голос, очень низкий... Аллан осторожно взобрался на невысокий холм, чтобы лучше увидеть.

На берегу, почти под тем самым холмом, где Аллан сидел на корточках и наблюдал, он увидел женщину. Она стояла по колено в воде и умывалась: бросала себе в лицо одну за другой пригоршни воды, фыркала и отплевывалась. Волосы, шея и грудь ее были совершенно мокрые. Вода сбегала по ее чуть выпуклому животу, заливая короткую юбку, которая обтягивала широкие бедра. Что-то похожее на блузку лежало на берегу. Рядом стояла пара сандалий, украшенных большими розами из красного пластика.

Она была высокая. Возможно, одного роста с ним — насколько Аллан мог судить, глядя на нее со своего наблюдательного пункта. Кожа у нее была смуглая. Волосы черные. Великолепная фигура. Крепкие волосатые ноги с полными ляжками. Она все еще плескалась в воде под аккомпанемент своего хриплого, но очень мелодичного пения. Под яркими лучами солнца, падавшими на тело женщины, кожа ее ослепительно блестела. Фантастическое зрелище!

Лишь после того, как, выйдя из воды, она натянула через голову блузку и сунула ноги в сандалии, Аллан немного опомнился и дал знать о своем присутствии.

Он отошел на несколько шагов назад, совершил небольшой обходный маневр и спустился на берег на некотором расстоянии от того места, где только что стоял, потом повернулся и пошел ей навстречу, словно только сейчас увидел ее. Она тоже увидела Аллана, остановилась и стала спокойно ждать, когда он подойдет ближе. Рот у нее был полуоткрыт, выражая нечто среднее между улыбкой и гримасой. Она щурилась от солнца.

— Привет,— сказал он, пытаясь завязать разговор, и вдруг почувствовал себя рядом с ней ужасно маленьким и глупым; он оказался прав: она была на несколько дюймов выше его.

— Доброе утро.

— Кто ты?

— А ты кто?

Ответ нельзя было назвать ни дружелюбным, ни враждебным, но в нем прозвучала настороженность.

— Аллан. Я живу здесь....

Он неопределенно показал рукой куда-то назад.

— Вот как.

— Вот так.

— Один?

— У меня жена и сынишка.

Только теперь она улыбнулась, улыбнулась широкой, открытой улыбкой. У нее был большой рот и крепкие зубы, желтые от табачной смеси. Кожа на подбородке и щеках была испорчена оспинками, которые, правда, становились заметны только вблизи. Она была вовсе не такой смуглой, как ему показалось, когда он смотрел на нее сверху. Кожа у нее была желтовато-оливковая, однако крупный нос с широкими крыльями выдавал мулатку. Внимание к себе привлекали прежде всего ее глаза. Большие, черные, миндалевидные, чуть раскосые, они ярко сверкали на широком лице, словно хотели приковать к себе его взгляд, чтобы он не заметил оспин на щеках и подбородке. Мокрые волосы она зачесала назад, за уши, и они свисали длинными прядями вдоль шеи, замочив у ворота коротенькую блузку. Гладкий, словно налитой живот, от которого Аллан не мог оторвать глаз, слегка выдавался над поясом элегантной коричневой юбки из дорогой мягкой кожи. На ее полных икрах синели вены. Ноги были мускулистые и загорелые. Крупные ступни с ногтями, покрытыми розовым лаком, были широко расставлены и уверенно упирались в песок. Полоса желтой пены, протянувшаяся вдоль всего берега по краю воды, вздрагивала и извивалась всякий раз, когда ее касалась, подползая, новая волна, а потом успокаивалась, медленно застывая. Аллан снова поднял голову и посмотрел в упор на улыбавшееся лицо женщины.

— Меня зовут Мэри Даймонд,— сказала она.— Я приехала сюда вчера со Смайли. Приходи познакомиться со Смайли. Он будет рад обществу. Любит поговорить.

•

Мэри Даймонд и Смайли жили в автомобиле, большом широком «универсале» старой модели, где было много никеля и ржавчины снаружи, а также пластика и показного комфорта внутри, однако широкие и глубокие сиденья были действительно удобными, и, кроме того, здесь хватало места для их нехитрого багажа.

После того как, проплутав некоторое время по Насыпи, Аллан с Мэри Даймонд подошли, наконец, к машине, оказалось, что Смайли еще спит. По дороге Аллан спросил ее: «Кто такой Смайли? Твой муж?» И она снова, прежде чем ответить, открыла свой широкий рот: «Ну, пожалуй, можно сказать, что он мой друг и покровитель». Машина стояла накренившись в нескольких метрах от того места, где кончалась колея. Шофер, очевидно, решил не останавливаться до тех пор, пока машина не застрянет. Он отважно преодолевал огромные кучи мусора и песка и сдался только тогда, когда переднее колесо попало в глубокую рытвину. Теперь тяжелая машина стояла накренившись, уткнув передний бампер в землю. Смайли спал, высунув ноги из открытой двери. Было душно и жарко, и мухи плотно облепили изнутри сверкающее переднее стекло.

— Потом мы переставим ее в более удобное место,— сказала Мэри Даймонд.— Когда мы вчера приехали, было уже темно. Смайли! — позвала она и постучала рукой по капоту.— Смайли! К тебе пришли!

Небритая, заспанная физиономия, потная и отекшая от жары, подозрительно уставилась на них из машины.

— Смайли,— не отступалась Мэри.— Ну вставай. Уже поздно!

На спинке сиденья висела помятая одежда, внизу лежал пластиковый мешок с предметами туалета и его и ее, остальное было разбросано по всему полу, покрытому грязью и песком; на заднем сиденье валялись несколько рваных газет и пара замусоленных книжек в бумажной обложке.

— Это Аллан,— объяснила Мэри Даймонд, когда Смайли наконец устремил на гостя свои красные глаза.— Он здесь живет.

— Привет, Аллан,— сказал Смайли едва слышно. Его приветствие потонуло в жесточайшем приступе кашля. Прокашлявшись, он уселся на сиденье, прижав руки к вискам.— Мэри, Мэри... Чем они опоили нас в этом твоем проклятом клубе? Они, видно, решили угробить нас с тобой? Где бутылка, которую мы купили?

— В ящике для перчаток.

Откинувшись на спинку сиденья, Смайли протянул руку к передней панели и нажал на кнопку замка. Он не сработал сразу, и Смайли ударил кулаком по приборной доске, крышка открылась, оттуда вышала бутылка водки. Он ловко поймал ее, вытащил пробку, устремил на Аллана долгий, проникновенный взгляд и, приставив горлышко ко рту, жадно сделал шесть-семь больших глотков, пока снова не закашлялся. Прикрыв кулаком рот, он протянул бутылку Аллану:

— Хочешь? На, качество гарантирую.

Хотя Аллану вовсе не хотелось пить и особенно водку в такую жару, он взял бутылку. Новое представление о «правилах приличия», казалось, подсказывало ему, что нельзя отвергать угощение, когда его предлагают, исходя из самых лучших побуждений; принять или отвергнуть что-либо здесь, на Насыпи,— это поступок, который приобретает глубочайший смысл и расценивается как символ доброго отношения и дружелюбия, что имеет огромное значение в здешних условиях. Отказ от бутылки означал бы враждебность и высокомерие. Поэтому Аллан приставил бутылку ко рту и осторожно, с опаской попробовал прозрачную жидкость. После первого же крошечного глотка слезы выступили у него на глазах. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как он последний раз пил водку.

Стеная и ворча, Смайли снова принял вертикальное положение. Его цветастая рубашка потемнела от пота на груди и под мышками, светлые в полоску брюки были все в пятнах. Рыжеватые волосы грязными космами спускались на уши и затылок. На макушке у него была более короткая стрижка, волосы он зачесывал на лоб и виски, чтобы скрыть растущую лысину. Ему было что-то между тридцатью пятью и сорока. Маленькие глазки, близко посаженные над тонким чуть искривленным носом; рот небольшой, а зубы неровные. Подбородок исчезал в складке кожи, которая грозила скоро превратиться во второй подбородок. Щетина двух-, трехдневной давности, которой зарастали его розовато-бледные щеки, отливала золотистой желтизной. Однако Аллан не придал значения потрепанному виду Смайли. Зато он отметил лукавый огонек, вспыхнувший в светло-голубых глазках Смайли, когда секунду назад тот окинул его испытующим взглядом, немного ироническим и в то же время дружелюбным, говорившим о живости ума и чувстве юмора. Этот взгляд, в котором было что-то похожее на вызов, возбудил у Аллана любопытство и одновременно встревожил, поскольку Аллан совершенно не представлял себе, чего можно ждать от этого уже потрепанного и пропитанного алкоголем человека.

— Значит, ты — Аллан? — Снова испытующий взгляд, иронический, но не враждебный.— И ты здесь живешь?

Аллан кивнул.

— Давно?

— Порядочно. Несколько месяцев.

— Так...

Смайли провел рукой по лоснившемуся от пота лицу, словно стремясь собраться с мыслями. Тем временем Мэри, открыв заднюю дверцу, возилась в багажном отделении.

— На что же ты живешь?

— В основном на то, что нахожу на Насыпи, во всяком случае, насколько это мне удается. Кроме того, я работаю два дня в неделю. На бензозаправочной станции. Пока ее еще не прикрыли...

— Неполная рабочая неделя... — размышлял вслух Смайли.— Неполная рабочая неделя. Ты слышишь, Мэри? Мы тоже работали неполную рабочую неделю,— сказал он Аллану и засмеялся громко, резко и невесело.— До самого вчерашнего дня, потому что вчера нам пришлось уволиться. Не правда ли, Мэри? Разве не так?

— Что ж, это можно назвать и так,— ответила Мэри, перегнувшись над багажным отделением. В голосе ее прозвучало, пожалуй, что-то вроде раздражения...

— Да, у нас была работа,— вздохнул Смайли.— Вернее, работа была у Мэри. Она выступала в «Роудсайде», немного пела, танцевала, развлекала гостей. До самого вчерашнего дня...

Он сделал еще глоток из бутылки, потом еще один. Постепенно Аллан начинал кое-что понимать. Клуб «Роудсайд» был частью нового мотельного комплекса на Автостраде, который назывался Роудсайд-Сити,— гигантский центр отдыха и развлечений и одновременно комбинат по обслуживанию автомобилей и их владельцев. Помимо самого мотеля там было все — от ремонтных мастерских до супермаркетов, магазинов, ресторанов, кинотеатров, дискотек и ночных клубов. Уже вскоре после открытия этого нового и весьма популярного центра поползли слухи, что он стал средоточием незаконной торговли наркотиками и других темных махинаций.

— Мы узнали, что скоро будет облава,— продолжал Смайли.— И сочли за благо смыться. Не потому, что сделали что-нибудь такое; во всяком случае, ничем противозаконным мы не занимались, но всегда старались держаться подальше от этих парней из полиции. Они ведь заранее знают, за кем охотятся, и берут человека запросто, и я не завидую тем, кто попадает в их лапы: угостят на славу... Вот мы и решили, пока не поздно, сняться с якоря и оказались здесь... на свалке. Неплохое местечко, правда, Мэри?

— Конечно. Как тебе будет угодно, Смайли. Ведь ты у нас главный. И решение принимаешь тоже ты.

Мэри появилась из-за машины с каким-то свертком в руках. Хлеб? Похоже на толстые ломтики белой французской булки с восхитительной коричневой корочкой... Аллан вдруг вспомнил, что утром не завтракал.

— Вот,— сказала она.— Бутерброды. Хочешь? Вот ветчина, паштет, повидло, настоящий сыр... Мы взяли кое-что с собой, когда нам пришлось сматывать удочки. Поешь. В такую жару все это быстро испортится.

Сама она взяла ломтик хлеба с какой-то рыбой — неужели лососина? — водрузила на него башню из желтого майонеза и отправила в рот.

— Подвинься немного, Смайли,— сказала Мэри,— нам тоже надо где-то сесть!

Она устроилась рядом со Смайли и освободила место для Аллана. На широком переднем сиденье хватало места для всех троих.

Аллан ел свой бутерброд с ветчиной медленно, почти благоговейно. У него было такое впечатление, что никогда в жизни он не пробовал ничего подобного. И он совсем не помнил, когда в последний раз ел настоящее мясо. Уже много лет мясо было дефицитным продуктом. То, что продавали как «мясо», на самом деле вырабатывалось из растительного белка с добавлением красящего и вкусового компонентов. Лишь в супермаркетах высшего класса продавалось настоящее мясо по ценам, абсолютно недоступным для людей с обычными доходами. Однако синтетическое мясо по вкусу напоминало настоящее, было сытным и питательным, и никто особенно не страдал из-за отсутствия настоящего мяса.

Аллан откусывал маленькие кусочки и долго разжевывал, прежде чем проглотить. Корочка свежей французской булки аппетитно хрустела. Ломтик ветчины, розовой как роза и как роза благоуханной, был чуть шире кусочка булки, на котором он лежал, и узенький край сала слегка касался кончиков его пальцев, отчего они стали жирными и заблестели. Когда Аллан почти нехотя проглотил последний кусочек, он тщательно их облизал. И все-таки ему казалось, что он слишком быстро доел этот редкостный деликатес.

— Хочешь еще? — спросила Мэри.

Она протянула ему еще бутерброд, на этот раз с колбасой, аппетитной, красной, с острым, пряным запахом.

— Ну конечно он хочет,— усмехнулся Смайли,— ты что, не видишь, как он уплетает за обе щеки? Сейчас он соберет все крошки с пола! Не обижайся, друг мой! Я прекрасно понимаю, что от такой долгой жизни на свалке у тебя вопреки ожиданию здорово разыгрался аппетит...

Однако Аллан не обратил внимания на сарказм Смайли. Он смаковал необыкновенно вкусную колбасу. Медленно жевал крошечные кусочки, еле удерживаясь, чтобы не проглотить весь кусок. На другом краю широкого сиденья Смайли жадно поглощал копченую лососину и запивал ее водкой, делая большие глотки прямо из бутылки. Мэри расстелила на коленях бумагу, разложила на ней бутерброды, и они ели до тех пор, пока не уничтожили все.

— Как жаль, что нам не на чем сварить кофе,— сказала Мэри Даймонд.— У нас ведь есть настоящий кофе.

Настоящий кофе... Вокруг кружили мухи.

— В сущности, я рад, что мы приехали сюда. Мне здесь нравится,— прогнусавил Смайли, когда с трапезой было покончено и бутылка наполовину опустела.

— У тебя есть закурить? — перебила его Мэри Даймонд.

Смайли протянул ей пачку; она вытащила сигарету и сунула ее в рот; длинная белая сигарета отчетливо выделялась на фоне ее желтой кожи и ярко-красного рта.

— Да, я рад, что мы здесь,— бормотал Смайли.— Взгляните на все это...— Он высунул из окна руку и слабым движением указал на груды мусора, попавшие в поле его зрения.— Ты видела когда-нибудь столько хлама сразу! Наша цивилизация...— Он горько усмехнулся.— Вот она, вся здесь! Здесь от нее, по правде говоря, куда больше пользы, чем там...— Его тонкие выразительные пальцы указали в направлении Свитуотера.— Здесь на ее отбросах все-таки можно прожить, там она несет только одно — смерть...

Мэри Даймонд поднесла огонь к сигарете. Время от времени она выпускала из ноздрей струйки дыма.

— Город умирает,— продолжал Смайли.— Это факт. Кто-то ошибся в расчетах. Считалось, что города должны расти, верно? И вот теперь они раздавлены под тяжестью собственного благоденствия. Как динозавры: слишком большие и слишком тяжелые, чтобы сохранить жизнеспособность. Раздавлены, лежат и варятся в собственном ядовитом соку... Нет, право же, я бесконечно рад, что мы приехали сюда. Ну что скажешь, Мэри? И словно святые судного дня [1] будем сидеть и созерцать, как наша замечательная цивилизация отправится ко всем чертям. И эта навозная куча станет нашим последним прибежищем, где всех нас настигнет общая неотвратимая судьба. Ваше здоровье!

Аллан слушал этот поток слов как зачарованный и в то же время с известным беспокойством. То, о чем говорил Смайли, было выражением тех расплывчатых представлений, которые возникали и у него, когда он прозябал на Апрель авеню, и у него впервые появилась мысль, что оттуда надо бежать куда глаза глядят. Но сейчас эти представления и мысли были для него давно пройденным этапом, и слова, в которые они облекались, казались жалкими и бессодержательными, несмотря на их изощренность. Ведь Аллан фактически уже претворил в жизнь то, о чем Смайли только разглагольствует; нужно не болтать, а жить, переживать все это изо дня в день — вот единственное, что имеет хоть какой-то смысл.

Мэри Даймонд откинулась на спинку сиденья и, упершись коленками в приборную доску, пускала под потолок густые клубы дыма, который разгонял назойливых мух. Двери оставались открытыми, стекла были опущены, стояла удушливая, влажная жара; в воздухе чувствовался запах масла, резины и бензина, который Аллан слишком хорошо знал по работе на бензозаправочной станции. Мэри Даймонд закрыла глаза и говорила как бы сама с собой, ни к кому не обращаясь.

— Господи, ты все болтаешь, Смайли,— вздохнула она.— Все болтаешь и болтаешь.

— Разумеется, болтаю,— сказал Смайли.— Но ведь я не какое-нибудь бессловесное животное. И болтаю я именно о том, как разумно мы поступили, что приехали сюда, вместо того чтобы искать себе убежище где-нибудь в Свитуотере, где все так или иначе околевают, медленно, но верно. После десяти часов вечера на Автостраде больше жизни, чем на всей Сильвер-стрит. Люди сидят в своих жалких каморках и решаются вылезти на улицу, только когда идут на работу и с работы, если, конечно, она у них есть, и каждый день благодарят господа бога за то, что их не пришибли по дороге, потому что верят в сказки о кровавом терроре гангстеров и безудержном разгуле преступности, а им и невдомек, что сегодняшний гангстер — это паршивая свинья, на которого работает целый синдикат, и только грязную работу — здесь грабеж, там кража со взломом — он оставляет обычным старозаветным мошенникам, несчастным наркоманам и пьяницам, рехнувшимся юнцам и прочим...

---

[1] Так именуют себя мормоны.

— Таким, как ты...

— Вот именно! — Смайли высокомерно усмехнулся.—Именно таким, как я. Только тот, кого нужно ограбить, должен сам прийти ко мне сюда и любезно попросить об этом. Откровенно говоря, я слишком ленив и слишком хорошо воспитан, чтобы бить людей по голове, дабы присвоить себе их жалкие гроши.

— Это верно, черную работу, когда это было необходимо, за тебя всегда делали другие.

— Ладно, пусть будет так. Впрочем, сейчас ты бы лучше не болтала лишнего, а то мы напугаем до смерти нашего дорогого Аллана. И он еще, чего доброго, задумается над тем, кто мы такие и чем занимаемся...

Реплики, которыми они обменивались, звучали враждебно, но общий тон был спокойный, почти безразличный, словно для них это была обычная манера разговаривать. Аллан внимательно прислушивался к их словесной дуэли, немного удивляясь, что они тратят так много энергии столь бесцельно и бессмысленно, лишь бы убить время, тогда как могли бы заняться чем-нибудь полезным. И все-таки Аллан слушал: его разбирало любопытство. Нет, его нисколько не интересовало, что делал и чего не делал Смайли и было ли это законно или противозаконно или где-то посередине, просто ему хотелось узнать, что люди делают, чтобы выжить, хотелось научиться чему-нибудь, получить информацию, которая могла бы пригодиться.

— Ты сам только что сказал: теперь мы безработные... Ты берешь свои слова обратно? — Мэри принялась за Смайли всерьез, сразу нащупав слабое место в его разглагольствованиях.

— Вовсе нет,— защищался Смайли.— Просто мне кажется, что мы должны нарисовать, так сказать, общую картину, поскольку мы соседи... Верно?

Он повернулся к Аллану, улыбаясь полупьяной улыбкой, сквозь которую, правда, еще просвечивала ирония.

— Разрешите представиться: Смайли. Имя это или фамилия... не играет роли; меня никогда не называли иначе как Смайли. Профессия: студент. Ха-ха... Это истинная правда: у меня есть удостоверение, которое свидетельствует, что я учусь в одном из наших высших учебных заведений. Как приятно зайти и дешево пообедать в студенческой столовой, если, конечно, случайно забредешь в те края. Далее я поэт, вернее, раньше был поэтом, и эссеист и написал целых четыре тоненьких томика — вернее, брошюры,— изданные в одном маленьком, неприметном, но идеалистическом издательстве, совладельцем которого был, кстати, я сам и которое давным-давно пошло с молотка. Кроме того, я художник. В основном занимался скульптурой, в те годы, когда скульптура была в моде. Скульптор... прекрасно звучит, не правда ли, Мэри?

— Да, ты напрасно не завел визитных карточек.

Мэри сидела не двигаясь и сквозь сигаретный дым пристально смотрела на потолок. Ее жилистая шея блестела от пота.

— Но лучше всего,— продолжал Смайли,— я овладел той сложнейшей из профессий, которая называется «выходить сухим из воды»... В общем, неважно...—Он ухмыльнулся.— Нельзя же всю жизнь безнаказанно промышлять тем, чем промышляем мы с тобой.

— Что ты собираешься делать на Насыпи?

Аллан попытался наконец прервать это самозабвенное словоизвержение. Смайли посмотрел на него так, словно совсем забыл о его существовании.

— Ну, во-первых, мы не собираемся особенно долго засиживаться в этих краях; подождем, пока пыль осядет после облавы, если ты понимаешь, что́ я имею в виду... Хотя кто знает? Кто знает, а вдруг нам здесь так понравится, что мы захотим остаться подольше, а может быть, и навсегда?.. В этом случае Мэри наверняка найдет себе новую работу Как ты думаешь, Мэри? Я уверен, что ты обязательно...

Мэри вздохнула, нагнулась и раздавила сигарету о верхнюю часть широкой приборной доски, оставив там окурок. Когда она сидела нагнувшись, живот ее мягко покоился на ляжках.

— Сам же я стану собирать всякий хлам — я очень люблю хлам,— и философствовать по поводу человеческой глупости, и еще наблюдать, как Свитуотер медленно погружается в море, а когда наступит судный день...— подчеркнуто театральным жестом он поднял руку,— ...мы оденемся в лохмотья, выкопаем себе в мусорной куче нору, будем спариваться с крысами и отчаянно выть во тьме кромешной. Но мы выживем, тогда как весь город околеет: свалка — единственное спасение для эстета! Какая потрясающе

возвышенная мысль... Послушай, Мэри, по-моему, нашему другу нет до всего этого ровно никакого дела. Отсюда мне даже кажется, что подол твоей юбки его интересует сейчас гораздо больше, чем все апокалипсические пророчества, вместе взятые. Право же, наш добрый друг Аллан немножечко хочет тебя, Мэри. Что же нам делать?

Смайли крепко шлепнул ее по широкому бедру, но у нее ни один мускул на лице не дрогнул. Аллан понял, что выдал себя. Он, разумеется, смотрел на Мэри, потому что ничего не мог с собой поделать; она была такая крупная и сидела так близко от него, что он ощущал ее запах, запах ее кожи, такой темной и благоуханной; она была словно частица сочной дикой природы, оказавшейся рядом; она привлекала и одновременно тревожила его, и он не мог скрыть свои чувства.

— Аллан, как ты находишь нашу дорогую Мэри? Воодушевляет тебя ее присутствие?

— Господи, да прекрати же, Смайли! — сказала Мэри.— У Аллана все в порядке. У него здесь жена и сын...

— Послушай, Мэри, у большинства твоих поклонников есть жены и дети, тебе это хорошо известно... Но ты не принимай это близко к сердцу,— сказал он, обращаясь к Аллану.— Никто не упрекает тебя, все совершенно естественно, я тебя хорошо понимаю: Мэри часто действует таким образом на мужчин... Я просто стремлюсь развить в себе чувство, хотя бы отдаленно напоминающее ревность. Человек, который гордится своим знанием жизни, не может быть совершенно не знаком с муками ревности. Не правда ли? Я смотрю на тебя и думаю: да, возможно, он действительно парень что надо, он даже привлекателен своим немного примитивным, почти животным обаянием, как и Мэри...

Рука его, лаская, двигалась у самого края ее юбки. Мэри снова откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, словно не видела их и не слышала, о чем они говорят.

— ...А кроме того,— продолжал Смайли,— ты такой откровенно невинный; не пойми меня превратно, это не значит «глупый», а только наивный, немного неопытный, неиспорченный... Ты честный. Ты говоришь то, что думаешь. Если уж берешься за что-нибудь, то всерьез. Это я вижу по твоим глазам, которые в данный момент горят добрым старозаветным вожделением к куску доброй старозаветной плоти. Такой потрясающе естественный порыв, такую неподдельную страсть встречаешь нынче не каждый день, скажу я тебе. Нет, в наши дни сексуальная жизнь — это совсем не то, что в былые времена; теперь все гораздо сложнее для большинства из нас — возможно, из-за того, что в нашей пище слишком много ртути...

Его рука совершенно откровенно исчезла у нее под юбкой. Однако был у него такой вид, будто в этот момент его занимали совсем другие вещи. Мэри полулежала, словно спала, и глубоко дышала. В машине было ужасно жарко. Пот градом лил со всех троих.

— Ну, мне пора,— пробормотал Аллан.

Поведение и речи Смайли начинали действовать ему на нервы. Он не желал больше его слушать. Еще немного — и он начнет презирать своего нового соседа с такими парадоксальными взглядами на жизнь, а этого ему не хотелось. Кроме того, было уже поздно. А ему предстояло сделать массу вещей.

— Нет, пожалуйста, не уходи,— взмолился Смайли совершенно другим тоном.— Я ничего плохого не имел в виду... Надеюсь, ты не принял мои слова всерьез? Послушай, останься еще немного... ты не хочешь выпить?

— Нет, спасибо,— ответил Аллан.— Мне надо идти. Лиза не знает, где я.

— Да, да, конечно. О жене тоже надо иногда вспоминать...

Голос Смайли снова звучал гнусаво и саркастически. Он по-прежнему ласкал Мэри Даймонд. А она лежала неподвижно, глубоко вдыхая воздух своими широкими ноздрями.

— До свидания,— сказал Аллан, широко распахнул дверцу и сполз со скрипучего сиденья из искусственной кожи.

— Пока,— ответил ему Смайли.— Кстати, ты сказал, что работаешь на бензозаправочной станции?

— Да...

— Ты разбираешься в машинах? У меня там кое-что полетело... Ты можешь починить?

— Я не механик, но если это не сложно, я могу кое-что исправить.

— Отлично. Эта старая телега совсем разваливается на части. Если ты заглянешь

в нее, я достану тебе немного жратвы, всяких вкусных вещей, понятно? Я ведь видел, как ты уплетал завтрак,— должно быть, ты давно не видел приличной еды?

— Ветчину мы едим не каждый день, но ведь и с голоду не умираем...

— Разумно, ничего не скажешь! Я подумаю, что можно для тебя сделать. Кое-какие связи у меня еще сохранились. Это, кажется, называется натуральным хозяйством? Обмен товаров на услуги. Лучше всего начать приспосабливаться с самого начала.

— Когда посмотрим твою машину?

— Приходи к вечеру... Нет, лучше завтра утром. Сегодня мы тут немного поколесим, чтобы подыскать Мэри подходящую работу. Итак, завтра утром, если это тебе удобно.

— Договорились. Завтра утром.

Аллан бросил последний взгляд на небритую, лоснящуюся от пота физиономию Смайли и голову Мэри, лежавшую на спинке сиденья в тяжелом дремотном экстазе; между красными блестящими губами проглядывали крепкие, тронутые желтизной зубы.

Он повернулся и быстро пошел домой, ступая по разбросанному всюду мусору.

16

Лиза попыталась немного прибрать возле фургона. Бумагу и консервные банки она смела в большую кучу за печкой. В итоге немалых усилий она поставила еще один шест под тент, который сильно накренился. А теперь воевала с матрасом, стараясь оттащить его немного назад, чтобы он не мешал входить в фургон. Чувствовала она себя чуть лучше, последние два-три дня ее не тошнило. Зато вчера утром ей показалось, что живот ее несколько округлился. Время от времени она потихоньку ощупывала его, твердое возвышение под самым пупком, такое большое, что заполняло всю ее ладонь. Она надела платье, чтобы Аллан ничего не заметил, и когда проснулась, была очень довольна, что он уже ушел. Потом все равно стало так жарко, что ей снова пришлось снять платье и ходить, как обычно, в трусиках и рубашке. Она недоумевала, куда девался Аллан, но особенно не волновалась; исследуя окружающую местность, Аллан иной раз подолгу не возвращался домой. И надо сказать, это была прекрасная идея — выходить из дому как можно раньше, если предстоит дальний поход; так у него было по крайней мере два часа в запасе до того, как начнет припекать солнце. Раньше Лиза часто совершала вместе с ним эти маленькие вылазки; наметанным глазом они осматривали груды хлама и собирали все, что могло пригодиться в домашнем хозяйстве или стать предметом обмена; таким способом, просто доверившись случаю, они собирали невероятное количество вещей. Но с тех пор, как она забеременела, жажда приключений оставила ее. Теперь она предпочитала спокойно сидеть или лежать возле фургона, не думая о том, куда он пошел или что он делает, а Аллан, в свою очередь, все реже и реже рассказывал ей, куда пойдет и что собирается делать.

Бой обычно убегал спозаранку и возвращался домой, только сильно проголодавшись.

Лиза ходила и медленно жевала твердую как камень горбушку хлеба—отгрызала кусочек и, прежде чем проглотить, долго размачивала его во рту. Во время первой беременности она следила за весом, боялась за свою фигуру и старалась соблюдать рацион питания, предписываемый литературой для молодых матерей. Теперь же ей и в голову не приходило думать о таких вещах: она ела тогда, когда ей хотелось есть, и чувствовала себя при этом очень неплохо. Впрочем, они все теперь ели тогда, когда испытывали голод. А поскольку их ежедневный рацион состоял в основном из одних и тех же блюд, не было никакого смысла разделять трапезы на завтрак, обед и ужин. Но что самое удивительное, хотя они отказались от твердо установленного времени еды, они все равно ели в одни и те же часы, фактически даже более регулярно, чем раньше, словно их организм сам установил новый жизненный ритм и следил, чтобы они соблюдали его. Вечером они ели, как правило, все вместе, когда начинало смеркаться и Боя уже клонило ко сну. Лиза ставила на стол хлеб и что-нибудь еще, а Аллан варил кофе. Потом Бой заползал в фургон и засыпал мертвым сном, а они сидели еще некоторое время, прихлебывая жидкий кофезаменитель, и ждали, когда с наступлением вечерней темноты их сморит усталость, а тем временем глаза их не отрываясь следили за нескончаемым потоком машин, которые в наступающих сумерках рисовали своими фарами светящуюся реку, медленно текущую через воздушную арку моста в Свитуотер.

Внезапно Лиза услышала звонкий голосок Боя и увидела, как он появился на тропинке, ведущей к фургону. Но Бой был не один. Рядом с ним двигалась длинная темная фигура в широком долгополом пальто. От страха у нее мурашки побежали по телу; она поняла, что это и есть тот самый немой, который гнался за ее сыном. Припомнив все, что Аллан рассказывал о том ужасном случае — он и сам казался тогда бесконечно потрясенным и перепуганным,— она в панике стала думать, как бы напугать этого страшного человека и прогнать прочь... Но когда она заметила, что они идут очень мирно и Бой что-то с жаром объясняет своему долговязому спутнику, а тот с видимым интересом слушает, страх сразу прошел. Зато ее крайне удивило, что Бой вдруг стал таким разговорчивым. Как правило, с родителями он был чрезвычайно молчалив, будто вообще утратил потребность изъясняться словами, впрочем, возможно, причина заключалась в том, что они сами говорили друг с другом все реже и реже, будто слова стали излишни, и чаще всего можно было просто обойтись кивком или жестом. Но сейчас Бой говорил без умолку, оживленно жестикулируя, а немой Рен-Рен шел рядом, наклонив голову, словно старался не пропустить ни слова.

— Мама! Он научил меня ловить рыбу! — закричал Бой, когда увидел, что она смотрит на него.— Мы ловили рыбу. Вон там!

Он показал на бухту, в отравленных водах которой уже давным-давно прекратилась всякая жизнь.

— Правда ловили рыбу? — Лизе хотелось поощрить его желание поделиться с ней радостью, но она не знала, как это сделать.— Ну, и поймали что-нибудь?

Она сразу спохватилась, что говорит глупости. Ведь всем известно...

— Нет, мамочка, но мы обязательно поймаем, завтра или еще когда-нибудь...

— Да, возможно...

Бой подошел к фургону и плюхнулся на матрас, а Рен-Рен продолжал стоять в некотором отдалении. По лицу его было невозможно прочесть, что удерживает его — осторожность или застенчивость. Помедлив немного, Лиза нерешительно помахала ему рукой. Рен-Рен быстро сделал несколько шагов к ней, протянул было руку, тотчас отдернул и улыбнулся. Лиза тоже улыбнулась немного смущенно: она не знала, о чем говорить с немым. Потом, словно что-то надумав, подошла к печке, где хранилась кухонная утварь, взяла чашку, направилась к бочонку с водой, который стоял в тени за фургоном, налила в чашку воды, подошла к Рен-Рену и предложила напиться. Он схватил чашку обеими руками, пил жадно и с наслаждением, потом с широкой улыбкой протянул чашку обратно. От смущения она не могла придумать ничего лучшего, как снова повторить этот ритуал, и Рен-Рен одним глотком осушил вторую чашку, Лиза сделала ему знак, чтобы он сел, но он продолжал стоять почти неподвижно на том же месте, опустив руки и сверкая белыми зубами на коричневом от загара лице. Его глаза внимательно следили за каждым ее движением. Чтобы как-то оправиться от смущения, Лиза села рядом с Боем и завела с ним разговор как положено матери, хотя в каждом ее неловком движении проглядывала маленькая испуганная девочка.

— Так ты ловил рыбу, а еще что ты делал?

— Много чего! Он показал мне листики, их можно жевать, и они вкусные-превкусные.

— Правда?

К своему большому облегчению, она увидела приближавшегося к ним Аллана.

— А потом у него есть мировой нож,— продолжал мальчуган.— Он как бросит его — во что хочешь попадет! Ящерица как далеко была, а он все равно в нее попал! — И Бой побежал показать, на каком расстоянии находилась ящерица.— Он все может.— И малыш с восхищением взглянул на Рен-Рена, который тоже увидел приближавшегося Аллана, но продолжал стоять, как стоял.

— Все в порядке? — спросил Аллан, подходя к ним и переводя взгляд с Лизы на Рен-Рена.

Она кивнула.

— Бой пришел вместе... с ним,— сказала она, показывая на Рен-Рена.— Они удили рыбу и...

Приступ дурноты заставил ее пошатнуться. Она закрыла глаза и одну руку прижала к влажному лбу, а другую положила на чуть округлившийся живот, словно оберегая его.

— Что с тобой?.. — услышала она резкий голос Аллана.

— Ничего... Ничего...

Крепко сжав зубы, Лиза боролась с подступавшей к горлу тошнотой. Когда через минуту приступ прошел, она снова открыла глаза и увидела, что Рен-Рен подошел еще на несколько шагов и пристально смотрит на нее. Не выдержав его взгляда, она опустила глаза, а когда снова подняла их, он уже исчез.

— Что случилось?..

Аллан стоял и смотрел ему вслед. Потом покачал головой. Бой, казалось, тоже вот-вот последует за немым. Аллан удержал его:

— Оставайся здесь. Он наверняка сейчас вернется. А потом, может быть, не так уж обязательно...

Аллан прикусил язык. Он хотел сказать: «...разгуливать с человеком, который всего две недели назад хотел тебя убить». Но это было бы слишком жестоко. Так нельзя разговаривать с пятилетним малышом. И тем не менее какие-то факты здешней жизни могли сплошь и рядом принимать такой опасный оборот, что даже ребенок должен хотя бы знать о них, если не понимать их, и уж во всяком случае должен научиться вести себя в соответствии с обстановкой.

Вместо всего этого Аллан сказал:

— А кроме того, в Райской бухте нет рыбы. Из-за всякой ядовитой дряни, которую спускали туда, в ней все вымерло по крайней мере двадцать лет тому назад.

Бой упрямо посмотрел на отца:

— Он сказал, мы непременно что-нибудь поймаем. Может быть, завтра.

— Как же он это сказал? Ведь он не умеет говорить.

Голос Аллана звучал резко, ему не нравилось, что сын лжет.

— А я понимаю, что́ он хочет мне сказать!

— Вот как...

Не было никакого смысла спорить с ребенком, у которого разыгралась фантазия. Аллан вздохнул. Жара была все такой же удушливой, мухи — все такими же назойливыми. От засухи земля под ногами растрескалась. Всеми своими фибрами, всем телом он жаждал перемены погоды.

— Где ты был сегодня? — спросила Лиза.

Она уже полностью оправилась от дурноты и надеялась, что Аллан не станет заострять на этом своего внимания.

— Тут появились еще двое. Я встретил их сегодня утром. Странный парень, что-то вроде художника и все время говорит не закрывая рта. Долго он здесь не выдержит. Зато его жена твердо стоит на ногах. Она мне больше понравилась. Их зовут Смайли и Мэри Даймонд. Они угостили меня завтраком...

— Мэри Даймонд...— с наслаждением повторила Лиза.— Какое чудесное имя. Как она выглядит?

— Ну... Она высокая и смуглая...

Аллану не хотелось описывать Лизе внешность Мэри Даймонд, его словно мучили угрызения совести. Он предпочел бы вообще умолчать о ней, скрыть то удивительное впечатление, которое она произвела на него, став олицетворением щедрого плодородия земли, богатства и пышности природы...

— Она красивая?

— Нет, красивой ее не назовешь. Наверное, мулатка. Лицо у нее в оспинах, зубы желтые. Слишком много курит...

Аллан заметил, что Лизины вопросы кажутся ему бессмысленными. Он вдруг утратил способность определять, что значит «безобразный» или «красивый». «Безобразна» или «красива» Мэри Даймонд? «Безобразна» или «красива» Лиза? Из того, что составляло облик Мэри Даймонд, в памяти осталась крупная фигура, пышные формы, монументальные бедра, живот, который так соблазнительно выдавался под гладкой материей блузки.. Но что он может сказать Лизе?

— ...По-моему, она очень симпатичная,— сказал Аллан.— Сама посмотришь, когда мы встретимся. Они здесь еще пробудут некоторое время. Кажется, они от кого-то скрываются, а их преследуют за что-то...

— Понятно.

Лиза разделяла симпатии мужа ко всем, кто по тем или иным причинам вынужден был бежать из города.

Между тем Бой сидел и прислушивался. Он первый услышал шаги Рен-Рена. Между двумя невысокими холмиками появилась темная долговязая фигура. Он что-то нес в руке, и издали казалось, будто это маленькая вязанка хвороста. Подойдя ближе,

он кивнул, улыбнулся, без колебаний подошел прямо к Лизе и протянул ей букетик наполовину высохших стебельков с несколькими маленькими бледно-зелеными иглообразными листочками.

Изумленная Лиза приняла букетик и некоторое время сидела неподвижно, не зная, что с ним делать.

Рен-Рен громко втянул носом воздух.

— Он хочет, чтобы ты понюхала их,— сказал Бой.

Лиза осторожно понюхала. От букета исходил сладковатый, пряный аромат, отнюдь не неприятный, подумала Лиза. И в тот же миг сквозь легкое пряное благоухание она вдруг почувствовала соленый терпкий запах, исходивший от того, кто преподнес ей букет, запах почти звериный, от которого у нее вдруг загорелись щеки.

— Он хорошо пахнет,— сказала Лиза.— Немного странно.

Улыбнувшись, Рен-Рен похлопал себя по животу и кивнул головой.

— Что это значит? Почему он дал мне эти стебельки? — спросила Лиза, изумленно глядя на Аллана, который только недоуменно пожал плечами.

— Может быть, это своего рода комплимент? — предположил он.— Может быть, он хочет сказать, что ты красивая...

— Просто в нашей стране существует обычай дарить беременным женщинам розмарин,— раздался голос у них за спиной. Феликс внезапно появился в нескольких шагах от них, как всегда безукоризненно одетый, сдержанный и корректный.— Это принесет счастье и ей и младенцу.

Аллан перевел взгляд с Феликса на улыбавшегося Рен-Рена, а потом на Лизу, которая стояла склонив голову, словно ожидала удара.

— Надеюсь, подношение моего брата не было... некстати?..— спросил Феликс, как бы извиняясь, и слегка поклонился.

Часть вторая

17

Они сели в автобус, и всю дорогу до самого Свитуотера она не произнесла ни слова, только крепко держала его за руку, и он чувствовал, как напрягались ее мускулы всякий раз, когда кто-нибудь из пассажиров, случайно или намеренно, бросал на них взгляд. Сам он давным-давно привык к любопытным взглядам, потому что каждую неделю ездил на автобусе на работу. Он их не замечал, да и смотрели на него не так уж часто. Тем немногим, кому приходилось ездить на автобусе, как правило, хватало своих забот, и у них не было особого желания глазеть по сторонам; они либо сидели скрючившись, словно безумно хотели спать и только ждали случая, чтобы вздремнуть украдкой либо невидящим взглядом смотрели перед собой в серое настоящее и бледное будущее. Общественным транспортом пользовались люди без положения в обществе, маленькие и забитые, люди той же категории, к которой принадлежал он сам.

Однако в этой области тоже намечались кое-какие изменения. Огромная плотность движения на дорогах, высокая стоимость эксплуатации и все более жесткие нормы на бензин делали пользование личными машинами все более неудобным и дорогостоящим, и все больше людей стало вновь ездить на автобусах, включая и тех, кто еще совсем недавно был горячим приверженцем личных автомобилей. Но что самое интересное: эти постепенные, однако достаточно заметные сдвиги в самой структуре транспортных перевозок застали врасплох транспортную администрацию, которая продолжала безмятежно разрабатывать свои далеко идущие планы, направленные на то, чтобы свести к минимуму пользование индивидуальным транспортом, в то время как автобусы в городе и на маршрутах между Свитуотером и городами-спутниками ходили переполненные до отказа и их становилось все меньше и меньше из-за нехватки запасных частей, горючего и смазочных материалов, а также из-за неразумного планирования.

Поэтому в последнее время, когда Аллан ехал на работу или домой, на него нередко смотрели косо, а порой даже осыпали бранью, однако он не придавал этому значения и как бы вообще этого не замечал.

Им с Лизой удалось занять сидячие места. Большинство пассажиров стояло в проходе. Жара в автобусе была невыносимая, несмотря на открытые вентиляцион-

ные люки. Лица у пассажиров были красные и отекшие, рубашки и блузки промокли от пота; неприятный запах исходил не только от Аллана и Лизы.

Когда они вышли на конечной остановке, окруженной высокими домами, в преисподней из грохота и зноя, по которой метались люди, увязая в расплавленном асфальте, Лизу вдруг так качнуло, что Аллану пришлось подхватить ее, и он испугался, что ей снова стало дурно. Но оказалось, виной всему были туфли, потому что она захотела «быть красивой», когда они поедут в город, и, не обращая внимания на его насмешки, надела туфли на высоком каблуке, в которых совсем не могла ходить.

Когда они пошли по тротуару, заполненному людьми и заваленному обрывками бумаги, она повисла на его руке, вздрагивая от каждого неожиданного звука, врывавшегося в какофонию городского шума, от каждого полицейского свистка. Им предстояло пройти всего пять кварталов до Дома социальной консультации, но дорога эта показалась им бесконечной.

Десятиэтажный Дом социальной консультации занимал целый квартал. Это старое почтенное здание было весьма величественным и внушительным и в то же время находилось в крайне запущенном состоянии. Когда-то здесь размещалась крупная экспортно-импортная компания, но потом ее национализировали вместе с некоторыми другими, и власти забрали здание себе. В широком подъезде пахло мочой, стены возле входа были расписаны политическими лозунгами и непристойными словами, а в длинных коридорах тянуло холодной затхлостью, словно вдруг пахнуло гнилью из больного чрева самой администрации социального обеспечения.

В большой приемной на длинных скамейках, жестких стульях и табуретах сидели люди и ждали. Некоторые нервно ходили взад и вперед, другие апатично смотрели прямо перед собой, словно просидели так целый день, может быть, много дней без всякой надежды на то, что их дело, наконец, рассмотрит соответствующая инстанция. Матери цыкали на своих нетерпеливых детишек. За длинной стойкой, защищенные толстыми стеклянными панелями, в которых отражался яркий неоновый свет, сидели служащие с бесстрастными лицами и заполняли формуляры, говорили по телефону или рылись в стопках различных документов. Они все были одеты в одинаковые коричневые пиджаки с золотыми пуговицами и государственной эмблемой на нагрудном кармане. Изредка динамики, висевшие на стене, начинали трещать и неразборчиво называли имена людей, которым следовало подойти к тому или иному окошку. Громко шумели кондиционеры. Корзины для бумаг были переполнены до краев. На полу валялись окурки, обрывки бумаги, смятые анкеты и формуляры.

Лиза нашла себе место на самой дальней скамейке возле человека с длинной неопрятной бородой, который лежал и спал, положив под голову пластиковый мешок. Несмотря на жару на нем было толстое пальто, а под пальто — куртка. Лиза старалась сидеть как можно тише, боясь потревожить спящего, а Аллан подошел к одному из окошек, чтобы выяснить, куда им следует обратиться.

— Да? — спросила, не поднимая головы, женщина за окошком с надписью «Справочное бюро». У нее были гладкие, черные, коротко подстриженные волосы, разделенные прямым пробором и невыразительное лицо с правильными чертами. На пульте справа от нее вспыхивали красные и зеленые огоньки. На круглом экране возникали цифры, прерываемые световыми сигналами, точками и тире.

— Мы насчет больницы...— сказал Аллан нерешительно.— Моя жена беременна. Мне хотелось бы узнать... Нельзя ли ей вступить в больничную кассу...

— Разве вы не состоите в больничной кассе?

Невыразительное лицо вдруг оживилось, и она смерила Аллана взглядом.

— Нет... То есть да. Но...

— Все состоят в больничной кассе,— с удовлетворением констатировала дама из справочного бюро.

— Конечно.

Аллан не сумел сформулировать свой вопрос «технически грамотно», как того требовали здешние правила. Между тем ему просто надо было узнать, как устроить Лизу в родильный дом. Вот и все. Ее каким-то образом надо было зарегистрировать, заказать место...

— Первые роды?..

Дама из справочного бюро говорила, не поднимая головы.

— Нет. У нас уже есть один ребенок.

— Комната семьсот девять. Лифт по коридору налево.

— Спасибо...

Лифт со скрежетом и стуком поднял Аллана и Лизу на седьмой этаж. Они изучали в зеркальце свои лица, которые в отсветах лампы дневного света казались мертвенно-зеленоватыми. Впервые за много недель Лиза и Аллан увидели, как они грязно и неряшливо одеты, какими выглядят жалкими и опустившимися. И тем не менее они вовсе не чувствовали, будто чем-то очень уж отличаются от остальных людей, дожидавшихся приема. Здание было старое, лифт тоже оказался устаревшей конструкции. Там, где по стеклянным панелям ударили ногой или кулаком, образовались трещины в виде крупных белых роз. Изжелта-белые стены между этажами были разукрашены непристойными надписями и столь же непристойными рисунками, второпях сделанными наискось.

Комната 709 находилась в самом конце еще одного длинного коридора. Потолок в ней был ниже, чем в приемной, и здесь оказалось еще жарче, а запах был еще более тяжелым и отвратительным. Комната была большая и ярко освещенная. Здесь тоже сидели и стояли в ожидании приема люди, образуя длинные очереди. Большинство составляли женщины, многие из них явно беременные. Дальняя часть комнаты была разделена перегородками на ряд клетушек, где по очереди принимали посетителей. Очередь двигалась медленно. Каждый раз проходило немало времени, прежде чем новый номер вспыхивал на световом табло. Выходя после приема, многие вытирали глаза и казались крайне удрученными. Это отделение (как явствовало из надписи на стене) занималось вопросами денежной помощи семьям, пособиями на детей и усыновлением. Если у женщины было больше двух детей и она отказывалась отдать своего ребенка приемным родителям или сделать аборт, ее лишали денежной помощи. Рост населения следовало ограничивать, и это была одна из наиболее мягких форм принуждения, введенных в связи с тяжелым экономическим положением.

Пот лил градом с Аллана — он стоял, прислонившись к стене, и держал обеими руками листок бумаги со своим номером. Лиза нашла себе свободный стул и, сев, закрыла глаза. Аллана мучила жажда. В углу комнаты из небольшого фонтанчика била струя питьевой воды, а рядом стояли сложенные пирамидой картонные стаканчики. По полу были разбросаны растоптанные стаканы, медленно размокавшие в жидкой грязи. Наклоняясь над соблазнительной струей, Аллан ногой отшвырнул несколько размокших стаканчиков. Вода была такая же тепловатая, как на Насыпи, но отдавала химикалиями, хлором и еще какой-то дрянью С отвращением он сделал несколько глотков, после чего наполнил стаканчик для Лизы. Они не смотрели друг на друга, безмолвно ожидая, когда на одном из световых табло появится их номер.

В комнате, куда вошли Аллан с Лизой, воздух был еще тяжелее, чем снаружи, еще более спертый, с примесью пота и дыхания многих людей. Омерзительно вонял химический воздухоочиститель, висевший на стене. Стеклянная стена делила эту каморку пополам. За стеной сидела молодая черноволосая женщина в коричневом форменном пиджаке, которая как две капли воды походила на даму из справочного бюро,— только рука у нее была в лубке. Металлическая пластинка на груди сообщала, что ее зовут М. Годдесс.

В комнате стоял только один стул, и Аллан подвел к нему Лизу. Она двигалась как во сне. Долгое ожидание утомило ее. Сам Аллан остался стоять. По непонятным причинам потолок здесь был такой низкий, что голова Аллана почти касалась пористой звукопоглощающей обкладки.

Молодая женщина перевела взгляд с Аллана на Лизу и ободряюще кивнула. Потом произошел следующий разговор:

— Моя жена беременна и... и нам понадобится помощь... когда подойдет время рожать.

— У вас есть дети?

— Да. Сын.

— Фамилия?

— Лиза и Аллан Юнг.

Молодая женщина записала.

— Номер?

— Что?

— Ваш личный номер?

— Номер? Нет, я не помню... Ты помнишь, Лиза?

Лиза сидела, словно ничего не слышала. Только покачала головой. Не поднимая глаз.

— Неужели у вас нигде не записан ваш номер? У вас есть удостоверение личности? Служебное удостоверение? Вы же знаете, что обязаны всегда иметь при себе свой номер.

Аллан тщетно ощупывал карманы.

— Нет...— сказал он.

— Так. Сейчас все выясним.

Здоровой рукой она стала быстро нажимать клавиши клавиатуры. Через мгновение на экране, таком же, какой он видел в справочном бюро, появились буквы и цифры. Аллан не мог оторвать глаз от ее поврежденной руки, которая до самого локтя была забинтована и висела на повязке, в то время как другая рука легко и свободно бегала по клавишам, как будто вполне достаточно было ее одной.

— Пожалуйста, вот ваш номер. Запишите его где-нибудь и больше не теряйте.

Она записала номер в блокнот, вырвала из него листок и протянула Аллану через узкую вертикальную щель в стеклянной стене.

— Спасибо.

— Вы живете на Апрель авеню номер восемьсот сорок пять?

— Нет, мы больше там не живем.

— Где же вы сейчас живете? Вы не сообщили о том, что переехали.

Аллан покачал головой. Он никак не ожидал, что его будут допрашивать. В нем росло раздражение, ему хотелось поскорее уйти отсюда, от этой абсурдной ситуации, и в то же время он знал, что они с Лизой целиком и полностью зависят от этой женщины, которая может им помочь.

— Но должен же быть у вас хоть какой-нибудь адрес. Место, где вы живете.

— Н-нет. В настоящее время у нас нет постоянного адреса.

— Вы подавали заявление в Жилищно-посредническое управление?

— Нет. Еще нет.

— Вы должны подать как можно скорее. Вы же знаете, что таков закон.

— Конечно. Но сейчас я пришел насчет того, чтобы положить жену в родильное отделение.

— При отсутствии показаний, делающих госпитализацию абсолютно необходимой родовспоможение женщинам до тридцати пяти лет при вторичных родах осуществляется на дому. У нас есть специальная группа помощи на дому, которая занимается именно этой сферой медицинского обслуживания. Они оказывают всю необходимую помощь как при самих родах, так и в предродовой и в послеродовой периоды. Это хоть в какой-то мере облегчает деятельность наших переполненных клиник и родильных домов.

— Понятно...

— Таким образом я смогу вам помочь лишь в том случае, если вы сообщите мне свой адрес. Вы должны как можно скорее пойти в Жилищно-посредническое управление и, когда все будет улажено, вернуться к нам. В вашем положении это простая формальность. Они всегда располагают определенным количеством квартир для особо нуждающихся.

— Понятно.

— Вам плохо?

Молодая женщина с невыразительным лицом, наконец, обратила внимание на Лизу которая сидела закрыв глаза и подперев голову рукой.

— Она устала. Мы приехали сюда издалека.

Аллан и сам почувствовал головокружение. Он боялся, как бы в этой тесной каморке у него не начался приступ клаустрофобии.

— Вы получите немного витаминов. И еще одно средство, которое подкрепит вас...

Женщина снова что-то написала и протянула через щель в стекле вырванный из блокнота листок бумаги.

— В этом здании на первом этаже, на углу Транспорт-роуд есть аптечный киоск. По этому рецепту лекарства вам выдадут бесплатно. Киоск работает без перерыва круглые сутки. Когда вы вернетесь сюда с адресом, я позабочусь о том, чтобы вы получили квалифицированную медицинскую помощь.

Лиза молча кивнула. Она взяла листок бумаги и долго смотрела на него. Пытаясь совладать со своими непокорными локонами, она завязала их лентой на затылке. Сейчас Аллан с нежностью глядел на ее шею, худую и белую там, куда не доставало солнце. И вдруг почувствовал острую потребность защитить ее от бесчеловечности бюрократического аппарата, у которого они попытались искать поддержки и помощи.

— Впрочем,— бесстрастно продолжала женщина,— вы, вероятно, знаете, что можете обратиться к нам и в том случае, если решите, что вам не нужен ребенок. Мы немедленно устроим вам аборт, а кроме того...— Впервые ее холодный корректный тон вдруг изменился, и в голосе послышалась чуть ли не горячая заинтересованность.— А кроме того, я хотела бы сообщить вам, что представляю интересы общества, которое выступает в роли посредника при заключении контрактов об усыновлении и удочерении детей. Вам известно, что бесплодие является весьма серьезной проблемой для многих супружеских пар и списки людей, желающих усыновить новорожденного, очень длинные. Так что, если вы пожелаете отдать своего ребенка сразу же после рождения приемным родителям, это можно будет легко устроить. Само собой разумеется, у вас не будет никаких оснований для беспокойства: в качестве претендентов наше общество утверждает лишь кандидатуры лиц с незапятнанной репутацией, высоким доходом и солидным положением в обществе. В этом случае вы можете рассчитывать на бесплатное пребывание и самый лучший уход в частной клинике. Кроме того, по подписании соответствующих документов вам будет выплачена определенная сумма. Если вас это интересует, мы можем немедленно приступить к оформлению...

— Н-нет. Нет, спасибо.— Голос Лизы был чуть слышен.— Мы сохраним ребенка.

— Разумеется. Вот моя визитная карточка с номером телефона, так что если вы передумаете...

И снова ее здоровая рука начала действовать так уверенно, словно другая рука была ей вообще не нужна. Однако она заметила взгляд Аллана и объяснила:

— Автомобильная катастрофа в прошлое воскресенье. Мне еще повезло: я отделалась потерей двух пальцев. Больше двадцати человек погибло. Вы не видели репортаж по телевидению?

Что-то похожее на улыбку тронуло уголки ее губ.

За лекарствами была очередь. Здесь тоже действовала система номеров. Усталые, плохо одетые люди, в основном мужчины, терпеливо ждали, вытянувшись цепочкой вдоль длинного прилавка; некоторые были явно пьяны. На стенах висели большие цветные плакаты с информацией о противозачаточных средствах, половой гигиене, абортах и так далее.

В обмен на рецепт Лиза получила флакон с большими капсулами, содержащими витамины, и баночку с маленькими розоватыми таблетками.

— «Розочки»,— фыркнула Лиза, когда они снова вышли на улицу.— Всю жизнь мечтала о «розочках» против депрессии, вызванной беременностью! — И Лиза грустно усмехнулась.— Аллан, я хочу есть. Где бы мы могли поесть? У нас есть деньги?

— Да, немножко...

Они нерешительно брели по широкому тротуару. Под резкими порывами ветра в ноги им летели обрывки газет, прохожие сгибались в три погибели, закрывая руками рот и нос, как это бывает зимой, когда дует сильный холодный ветер. Но сейчас была середина лета, стояла жара, и даже сквозняки, которые продували на перекрестках теневую сторону улицы, дышали зноем в их разгоряченные лица. В воздухе кружилась пыль, и они все время чихали и отплевывались; в конце концов им тоже пришлось прикрыть руками нос и рот, чтобы защититься от пыли.

До отправления автобуса еще оставалось не менее двух часов, и обоих терзал голод. Аллан и Лиза остановились перед большим универсальным магазином. За огромными зеркальными стеклами, матовыми от копоти и пыли, соблазнительно красовались пестрые низкосортные предметы роскоши, продаваемые по сниженным ценам.

— В магазине «Глитца» есть кафетерий...

Аллану приходилось кричать, чтобы перекрыть шум машин, которые неслись по этой широкой улице. Они растерянно стояли рядом, а прохожие налетали на них, толкали и пихали, наступали им на ноги и, не замечая их, спешили дальше.

— Там не дорого?

Она с тревогой посмотрела на огромное здание, на подъезд из стали и стекла, на претенциозную витрину, на всю эту рекламную мишуру, которая пугала ее и вызывала желание как можно скорее убежать — подальше от этого города с его подавляющей грандиозностью, духотой и грязью.

— «Глитца» — это дешевый магазин, — объяснил Аллан.— Они продают всякую дрянь по бросовым ценам. Теперь только дешевые магазины сводят кое-как концы с концами.

Зал, где помещался кафетерий, был узкий и длинный, в два ряда стояли столы: один ряд вдоль стены, второй — под окнами с матовыми стеклами. Вьющиеся растения в горшках обвивали стилизованную под античность балюстраду, протянувшуюся посередине через весь зал. Темно-красные стены были украшены металлическими изображениями буквы «Г» в различных вариантах. На каждом столике стояла небольшая лампа с красным абажуром, который отбрасывал на гладкую пластиковую поверхность красноватый световой круг. Над головой горели лампы дневного света. Однако кондиционер работал, и когда они вошли сюда после уличной жары, то некоторое время стояли как вкопанные, жадно ловя ртом сухой прохладный воздух, который гнали им в лицо мощные вентиляторы. В кафетерии не было никого, кроме кассирши, которая сидела в самом конце длинной стойки и тупо смотрела на экран телевизора, расположенного перед нею таким образом, что, чуть-чуть опустив глаза, она видела клавиши кассы и одновременно могла наблюдать за клиентом. Ни одним движением она не показала, что заметила появление посетителей.

Аллан вслух прочитал меню. Он предложил взять «жаркое а-ля Глитца» прежде всего потому, что его подавали с салатом.

— Помнишь, Док говорил, что тебе надо есть салат...

Ей было совершенно все равно, что есть. Теперь, когда они зашли сюда, она радовалась как ребенок, что они пообедают в таком шикарном заведении.

На десерт Аллан заказал для них обоих карамельный крем.

— Даже десерт! — восторженно прошептала Лиза.

Кассирша привычными движениями выбила чек, Аллан расстегнул карман рубашки, вытащил кожаный кошелек, где держал деньги, и положил на поднос одну за другой две монеты. Кассирша взяла деньги и не глядя бросила их в выдвижной ящик, после чего снова сосредоточила все свое внимание на событиях, совершавшихся на голубом экране. Глаза ее были подведены тенями с металлическим отливом. Она уже забыла о посетителях.

«Жаркое а-ля Глитца» представляло собой продолговатый кусок чего-то, похожего на жареное мясо, которое плавало в жидкой «вкусовой смеси». Рядом стояла тарелка с картофельным концентратом, нарезанным в виде маленьких кубиков. Салатом называлась мешанина из вареных овощей, увенчанная каплей какого-то желтого соуса.

Они ели с огромным аппетитом. Им казалось, что все это очень вкусно. Вообще-то у синтетического мяса не было определенного вкуса — ни приятного, ни неприятного. Заменители почти не отличались друг от друга по вкусу, даже если заменяли совершенно разные продукты. Вкус зависел от использования жидких смесей, которые назывались «соусами».

— Что же мы будем делать, Аллан? — спросила Лиза, когда они доели свое «жаркое».— Что будем делать, когда родится ребенок?

Аллан сидел и думал о том же. А о чем же еще? Сейчас это был главный вопрос, который приходилось решать. Обрывки разговора с социальным консультантом все еще звучали в ушах Аллана во всей их чудовищной нелепости. Если они хотят получить помощь, у них должно быть зарегистрированное местожительство в Свитуотере. Но это невозможно. С гнетущим ощущением, похожим на страх, он предвидел, что в этой драматической ситуации они будут предоставлены самим себе.

— Я не хочу отдавать нашего ребенка, а ты?

— Я тоже не хочу.

Аллана поразила решимость, прозвучавшая в ее голосе. Перед рождением Боя они тщательно продумали все варианты, включая возможность отдать его приемным родителям, а также аборт. Вообще-то говоря, Аллан не имел ничего против обоих этих вариантов, ибо тогда у него еще только начинало вырабатываться новое восприятие действительности. Появление ребенка означало, что будет больше работы, больше ответственности, больше всевозможных тягот и забот, но в то же время это

говорило о том, что жизнь идет своим чередом и оба они вполне здоровые люди, у которых могут быть дети... Он прекрасно понимал, что никто так больше не думает в перенаселенном городе, столице перенаселенной страны, где ограничение рождаемости стало важнейшей задачей органов здравоохранения, и все-таки с той минуты, как он узнал, что Лиза снова беременна, в нем неуклонно зрело твердое и непоколебимое убеждение: он хочет, чтобы семья его росла, род продолжался. Чтобы продолжалась жизнь. Желание это было сильным и отчетливым, и раздумывать тут не приходилось...

Тем не менее вера Лизы в жизнь глубоко тронула Аллана. Он не знал, что побуждало ее желать этого ребенка,— вероятно, она просто не представляла себе, какие трудности ее ждут, даже если роды пройдут нормально. Аллана это и радовало и удивляло, но он не задавал ей вопросов, не требовал объяснения. Вероятно, за те несколько месяцев, когда они научились тратить возможно меньше слов на разговоры, между ними возникла определенная дистанция, четкое разграничение сфер деятельности Аллана и Лизы. Беременность, которую она до поры до времени держала от мужа в тайне, что он считал вполне естественным, была ее личным делом, и в этом плане она совершенно не обязана была отчитываться перед ним. Оба они хотели ребенка — это было главное.

— Нам надо будет поговорить с Доком,— сказал Аллан.— Возможно, он уже давным-давно все понял и именно поэтому говорил, что тебе надо есть зелень...

— Да, завтра же поговорим с Доком!

Овал ее лица казался мертвенно-бледным в этом красном интерьере. От усталости у нее появились под глазами темные круги, однако ей все-таки удалось изобразить на лице улыбку.

На десерт они съели по куску сладковатого карамельного крема в форме буквы «Г» с красной вкусовой смесью. Крем ей понравился, она любила сладкое и теперь, когда от голода ей иногда вдруг становилось плохо, ела много шоколада. Случалось, что она основательно залезала в запас, рассчитанный на следующую неделю.

Перед уходом Аллан сунул столовые приборы под рубашку. Они пригодятся на Насыпи.

На обратном пути в автобусе было еще жарче и противнее, чем когда они ехали в город. Закончился рабочий день, и автобус был битком набит людьми, взмокшими от пота.

На перекрестках все время возникали пробки, автобус то и дело останавливался, солнце безжалостно палило сквозь грязные стекла.

Аллан смотрел на городской пейзаж за окнами автобуса, на окраины, пригороды, на серые однообразные здания по обеим сторонам дороги с зияющими проломами между ними там, где были снесены или еще только сносились старые дома. Все реже и реже теперь строились новые дома на месте старых пустырей. Постепенно их завалили всяким хламом и отбросами, и они зарастали сорной травой высотой в человеческий рост.

Лиза попыталась вдохнуть немного свежего воздуха из окна, которое кому-то удалось приоткрыть. Ноги ее распухли и ужасно болели в туфлях на высоких каблуках, от которых она уже успела отвыкнуть. Она прислонила голову к оконному стеклу, и слезы потекли у нее из глаз от усталости и страха перед будущим.

18

— У тебя все в порядке,— успокаивал ее Док.— Все в полном порядке. Думаю, что ты на пятом месяце. Ты уже чувствовала, как он двигается?

Лиза покачала головой и вытерла глаза. Потом попыталась улыбнуться. Дока Фишера она ни в чем не могла упрекнуть: он был и тактичен и деликатен. Однако вся процедура осмотра показалась ей какой-то ужасно унизительной. Поправляя платье, она несколько раз всхлипнула.

— Все будет хорошо,— спокойно говорил Док, моя руки в тазу.— Вторые роды, как правило, бывают намного легче первых. Тебе нечего бояться.

— Ладно, не буду...

От первых родов в ее памяти остался только страх. Поездка в такси до клиники;

Аллан, бледный и испуганный; от волнения он раскричался на шофера такси, который не знал дороги. Ожидание. Первые боли. А потом укол и тошнотворное бессилие, медленно сковывающее все тело,— ощущение, будто тебя душат... А потом пять дней и пять ночей в большой переполненной палате, где она наблюдала, как санитарки купают, пеленают и кормят безобразное морщинистое существо, которое, как они утверждали, было ее сыном; Аллан, бледный и взволнованный, на табурете возле кровати — он появлялся на несколько положенных минут; цветы в герметической упаковке из пластика — и они тоже... Лиза была просто одержима желанием действовать, что-нибудь делать; внезапно она ощутила огромную ответственность за это крошечное существо, настояла, чтобы ей разрешили кормить его грудью, хотя врач полагал, что она слишком молода и грудные железы у нее еще недоразвиты («В следующий раз — пожалуйста...»). А потом возвращение домой с коробкой бесплатного заменителя материнского молока под мышкой.

— Не забывай принимать витамины, которые тебе дали. А когда они кончатся, мы постараемся достать что-нибудь еще. И помни: тебе надо хорошо питаться; ты слишком худенькая, понимаешь...

Док печально посмотрел на нее сквозь толстые стекла очков. Она казалась такой хрупкой и слабой. Она была ребенком, который сам нуждается в заботе, и он вовсе не был уверен в том, что она получает эту заботу в достаточной мере. С того первого раза, как он увидел ее, у него возник отцовский инстинкт, потребность опекать эту девочку, этого очаровательного ребенка. И вот теперь случай или неосторожность Аллана — тут он недобрым словом помянул своего соседа — препоручали Лизу его заботам. Она казалась ему такой трогательной, когда полураздетая неподвижно лежала на его выцветшем плюшевом диване, закрыв глаза и отвернув лицо с недовольной, упрямой складкой на широком гладком лбу, а он ощущал под своими руками ее тонкое тело. Док уже давно не практиковал как врач, хотя мысленно до сих пор называл это «своей работой». Когда Лиза легла на этот жалкий диван, доверясь его рукам, его профессиональным знаниям, если только они еще сохранились у него после стольких лет вынужденного бездействия, он вдруг снова ощутил то жгучее желание помочь, которое руководило им в прошлом, а порой возникало и теперь, хотя все вокруг каждый день и час напоминало о том, куда это привело его и к чему он пришел: к добровольному изгнанию и изоляции от общества, которое отвергло его идеализм и угрожало ему судебным преследованием и суровым наказанием. Однако идеализм Дока был непоколебим, он не поддавался воздействию внешних обстоятельств, на него никак не повлияло жалкое существование на городской свалке, не повлияло и то, что, с одной стороны, общество осуществило на практике многие из его радикальных идей, а с другой — общественное развитие приняло такие уродливые формы, что гуманистические идеалы Дока по большей части потеряли всякий смысл. На какое-то время идеализм Дока оказался как бы законсервирован, и теперь его разбудила в почти неизмененной форме тщедушная девочка с рыжеватыми локонами, которая доверилась ему и попросила его помощи. И он хотел помочь ей, насколько это было в его силах, хотя со страхом думал о том, что, разумеется, будет очень нелегко принимать ребенка здесь, на Насыпи, без каких-либо вспомогательных средств.

— Как вы думаете, будет очень больно? — спросила Лиза.

Она все еще всхлипывала, хотя изо всех сил старалась остановить слезы: ведь просто глупо и совсем по-детски вести себя так.

— Нет, что ты, во второй раз все будет гораздо легче, чем в первый.

— Но я ничего не чувствовала в первый раз. Мне сделали укол, и я куда-то провалилась.

— Я знаю. Так всегда делают в коммунальных клиниках, чтобы сэкономить время. Понимаешь, без укола роды иногда затягиваются. Особенно в первый раз.

— Я уверена, что будет очень больно, если мне не сделают укола...

И Лиза снова заплакала. От этих разговоров о предстоящих родах ей стало легче. С Алланом она не могла говорить о подобных вещах.

— Ну, будет тебе,— утешал Док Лизу. Он не очень понимал, как успокоить ее, и, чтобы выиграть время, прибирал в комнате, перекладывая разные мелочи с места на место.— Ты сказала, что вы хотите ребенка.

— Да-а...

— Теперь слишком поздно делать аборт, это может оказаться опасным. Но ведь ребенка можно отдать приемным родителям...

— Я знаю. Нам сказали в этой проклятой конторе. Но там больше ноги моей не будет! Никогда! Мы хотим этого ребенка. Просто приходится так много... так много думать обо всем!

Лиза забилась в угол трухлявого дивана, закрыв лицо руками. Слезы оставляли мокрые полосы на ее грязных пальцах. Док сел рядом с ней. Он неуклюже положил руку на ее вздрагивающие от рыданий плечи.

— Успокойся,— утешал он.— Все будет хорошо. Положись на меня, на всех нас. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь тебе. Все пройдет благополучно.

Но руки его ощущали хрупкость ее тела, а при осмотре он отметил, что у нее очень узкий таз. И он знал, что роды будут нелегкими.

Эти молодые люди, что переселились сюда, принадлежали другому времени, другой эре; в его глазах они были «потерянным поколением», для которого город был единственным мерилом всех ценностей, которое не знало иных пейзажей, кроме искусственного городского ландшафта, не знало иных пропорций и форм, кроме разрушительной несоразмерности городских массивов.

Лиза сидела неподвижно, ссутулившись. Ее широко раскрытые глаза были теперь сухи. Док сидел рядом с ней и, вдыхая запах ее волос, думал о том, что означает приход «потерянного поколения» на Насыпь. Он знал, что их будет здесь все больше и больше, и это беспокоило его. Вот теперь на Насыпи возникнут настоящие проблемы.

— Ты снова придешь ко мне через некоторое время, скажем, через две недели, и мы посмотрим, как идут дела. Если же почувствуешь себя плохо или появятся боли, приходи немедленно.

Говоря это, он почему-то смутился, хотя все, что он сейчас сказал, почти не задумываясь повторяет каждый врач своим пациентам; однако Док правильно истолковал свое смущение, и ему стало немного стыдно: он ведь радовался тому, что будет еще одна консультация и еще одна доверительная встреча с Лизой...

19

В жару мысль о воде легко может превратиться в навязчивую идею.

Лиза лежала на матрасе под тентом и отдыхала. Было воскресенье. Аллан не вернется до вечера. Лиза устала, выдохлась и хотела спать, но ее мучила жажда. Она обещала Аллану экономить воду и обещала самой себе сдержать это обещание. Воду надо было беречь. Один бочонок на два дня — это все, что у них было. «Постарайтесь не пить днем,— убеждал их Док.— Вы только потеете, и вам еще больше хочется пить». Но Лизе не так-то легко было не пить, когда она чувствовала, как во рту у нее распухает от жажды язык.

Уровень воды в колодце Дока угрожающе понизился, и все поняли Дока, когда он ввел, так сказать, нормирование воды, хотя Аллан неделями таскал металлический лом на его виллу в качестве аванса за пользование колодцем. Принцип платежа — определенное количество воды за определенное количество металла — все больше терял свой смысл в их взаимоотношениях: обмен постепенно превратился в символ желания помогать друг другу. Недостаток воды в колодце стал их общей проблемой. И все-таки Лизе трудно было себе представить, что в один прекрасный день колодец может оказаться пустым. Тем не менее она твердо решила не ходить за фургон, чтобы украдкой выпить лишнюю чашку воды. Она не должна этого делать! Насколько это серьезная проблема, она поняла по голосу Аллана, когда он внушал ей, что надо экономить воду. Она спросила, не может ли он приносить канистру с водой, когда возвращается с бензозаправочной станции, как бывало раньше, однако Аллан объяснил ей, что нормирование воды в городе становится все более строгим, потребление ее тщательно контролируется, и тех, кого уличают в перерасходе, подвергают большим штрафам. Перед уходом домой Янсон всякий раз снимает показания со счетчика, регистрирующего расход воды. Если Аллан станет уносить воду, он может остаться без работы. Что же касается минеральной воды, то ее теперь не достать.

И вот несмотря на все ее благие намерения бочонок за фургоном был почти пуст, а она лежала с закрытыми глазами, чувствуя, как язык прилипает к нёбу, и мечтала о вкусной чудесной воде — в стаканах, графинах, бутылках, кранах, душах, ваннах... В детстве она так любила купаться, принимать душ, часами могла стоять под колючими струями воды, и ей казалось, что она расплывается, растворяется и медленно вытекает вместе с водой, капля за каплей, через щель в полу.

Как ни странно, в последнее время Лиза часто думала о родителях, хотя раньше не только не думала, но почти и не вспоминала о них... У нее даже появилось желание повидать их, написать им, ну хотя бы открытку. Но Лиза не умела писать. Она знала буквы и умела составлять слова и короткие предложения, прочесть по складам простой текст, но дальше этого так и не пошла, а принятый в школе «открытый» метод обучения давал возможность скрывать свое невежество и избавлял от необходимости наверстывать упущенное. В последний год она то и дело прогуливала занятия, пока наконец совсем не бросила школу, сойдясь с Алланом.

Однако мысли о родителях, особенно о матери, постоянно приходили ей в голову, безмерно угнетая ее. В первые месяцы после ухода из дома она время от времени звонила, ставя в известность, что у нее все хорошо, что она ни в чем не нуждается, но истерические упреки матери, ее слезы и мольбы вернуться домой положили этому конец. Однако после рождения Боя они все-таки отправились с визитом к ее родителям — какая-то странная причуда заставила Лизу настоять на этом. Бесконечно долго через несколько жилых зон они ехали на автобусе в мертвый город-спутник, где тянулись типовые виллы средней категории с квадратными газонами, купленными в магазине, и панорамными окнами из пятнистого пластикового стекла. Пока Лиза звонила с ребенком на руках, Аллан стоял у ворот, однако родители не захотели впустить ее — она была одета так ужасно, да еще с мужем и ребенком, и совсем не походила на их маленькую девочку. И снова мольбы и слезы, упреки и объяснения и, наконец, шумное расставание. Тем не менее, снова ожидая ребенка, Лиза думала о них, хотела написать им письмо и все рассказать о себе, рассказать, как она живет, что думает теперь о жизни, но она не умела писать и могла лишь плакать, а кроме того они почти наверняка переехали в какую-нибудь другую виллу в другой городской зоне — обитатели Свитуотера довольно часто меняли местожительство,— и ей никогда не удастся напасть на их след. А через несколько лет они закончат свой жизненный путь в коммунальном доме для престарелых, и она никогда, никогда больше не увидит их.

Внезапно Лиза услышала какой-то звук, подняла голову и увидела Мэри Даймонд, которая шла по тропинке к фургону. До сих пор она видела Мэри Даймонд только один раз, издалека, когда ходила на поиски чего-нибудь такого, чем можно будет заменить кроватку, когда родится ребенок. Она сама удивлялась своему равнодушию, так как даже не подозревала, что обладает сколько-нибудь развитым материнским чувством. В тот день Мэри шла — нет, шествовала — по тропинке вдоль затвердевшей автомобильной колеи к воротам во всем черном — черная кожаная юбка, черная элегантная блузка — и в парике, производившем совершенно ошеломляющее впечатление в сочетании с черной одеждой. Было жарко, и от пота кожа ее блестела. Лизе казалось, что никогда еще она не видела такой красивой женщины. Она вся похолодела от страха, когда Мэри Даймонд вдруг оступилась и чуть не упала, потеряв красную пластиковую сандалию, украшенную розой, но она тут же восстановила равновесие, подхватила свалившуюся сандалию и надела на ногу (Зеленый лак на ногтях! Зеленые веки!), а выражение лица у нее при этом было как у королевы!

И вот теперь Лиза смотрела с таким же восхищением и страхом на эту крупную темнокожую женщину, которая спокойно подошла к самому матрасу, на котором она лежала.

— Хелло,— сказала Мэри.

— Привет,— ответила Лиза.

— Меня зовут Мэри Даймонд.

— Знаю. Аллан рассказывал о тебе. Я — Лиза.

— Нет ли у тебя воды? У нас кончилась.

Лиза испуганно покачала головой.

— Нет... У нас тоже нет воды. Будет только завтра.

Лиза лгала не потому, что не хотела помочь. Она лгала из чувства самозащиты. Она не могла отдать драгоценную воду чужой женщине только потому, что та пришла и попросила ее об этом.

— Проклятье!

Мэри Даймонд уперлась руками в бока и окинула мрачным взглядом обожженный солнцем ландшафт, где раскаленный воздух дрожал и струился над холмами из грязной земли и всевозможных предметов на разных стадиях разрушения и распада, деталей машин и других обломков технической цивилизации, которые лежали или одиноко торчали, ржавея, словно доисторические окаменелые растения...

— Аллан здесь?

— Нет, Аллан работает сверхурочно все выходные дни.

— Понятно...

Мэри закусила пухлую нижнюю губу.

— Он работает на Эббот-Хилл?

— Да, на Эббот-Хилл-роуд. Примерно там, где раньше находился кинотеатр на открытом воздухе для автомобилистов.

— Ясно... Я хорошо знаю это место... Понимаешь, у Смайли не заводится машина, и он не может смотаться в город. У него кончилась вышивка. Не потащусь же я пешком в город ему за водкой! Две недели назад Аллан починил эту колымагу, и я подумала, что...

— Он вернется вечером. И завтра обязательно все сделает.

— Хорошо, но что мне делать со Смайли? Он уже ноет, а в такую жару...

Мухи сплошь усеивали промокшую от пота красную рубашку Мэри Даймонд — она была расстегнута до пояса и опускалась на короткие шорты. Шорты подчеркивали ее широкие бедра... «До чего хороша,— думала Лиза зачарованно.— Какая большая и красивая!»

— Смайли — твой муж?

— Ну, будем называть это так. Во всяком случае, вот уже несколько лет, как мы живем вместе ради общей пользы и маленьких радостей иногда...

— Откуда ты приехала?

Лиза преодолела свою робость — в конце концов победило любопытство. Манера говорить у Мэри Даймонд была грубоватая, а подбор слов вульгарный, не такой, к какому привыкла Лиза.

— Из Палисадена.

Ну конечно! Как она сама не догадалась! Палисаден был самый большой и пользовавшийся самой дурной славой барачный город — из тех, что выросли к северо-западу от Свитуотера вдоль реки Сэнди и на бесплодных холмах Дезерт. Там жили подонки общества, десятки тысяч безработных, которые на протяжении многих лет переселялись сюда из сельских районов страны, чаще всего с семьями, чтобы найти какую-нибудь случайную работу на фабриках и заводах Сарагоссы, когда сезон и конъюнктура создавали нехватку рабочей силы. Это было время, когда работы хватало всем, когда Свитуотер находился на гребне последней волны технического и экономического процветания, когда потребность в дополнительной рабочей силе была настолько велика, что предприятия сами начали строить первые барачные поселки, поскольку не хватало жилья для все возраставшей массы людей, искавших работу,— нечто вроде временных поселений; а потом наберет темпы жилищное строительство и у всех будет крыша над головой. Однако последний «золотой век» оказался еще более коротким, чем все предшествующие: «экономического чуда», о котором все говорили и на которое возлагали большие надежды, и на этот раз не произошло, а барачные города остались навсегда, за короткое время превратившись в жалкие трущобы, став серьезной проблемой и быстро растущим социальным бременем для властей. Между тем приток людей все продолжался, несмотря на безработицу и попытки регулировать прирост населения в этих районах; в соответствии с многочисленными программами ликвидации трущоб людей переселяли в новые жилища, и власти приступили к сносу бараков. Однако в общем и целом это ничего не изменило: средств на жилищное строительство отпускалось все меньше, строительные работы сначала откладывались, а потом и вовсе были прекращены, и те, кто остался без крова, въезжали в лачуги, откуда только что выселили старых жильцов, а некоторые сами строили себе жилища из гофрированной жести и цементных плит, которые им удавалось найти или украсть на многочисленных пустырях, где раньше стояли бараки. Эти люди приходили либо из горных районов страны, в которых почти нечего было есть, либо из далеких деревень, где коренные изменения в аграрной политике оставили десятки тысяч сельскохозяйственных рабочих без дела, либо, наконец, с городского дна,— без гроша в кармане, преследуемые законом, они старались скрыться в тесноте трущоб которых по официальным данным вообще не существовало.

Изменения, которые непрерывно происходили в этой все возраставшей разношерстной массе населения, обрекали на неудачу любые попытки хоть как-то регистрировать и регулировать ее рост. Казалось, все эти несчастные, обосновавшиеся здесь,

инстинктивно противились любым попыткам большого города включить их в свою систему.

Большинство из них не получало никакого пособия, но утверждать это было нельзя, поскольку провести надлежащую перепись населения здесь так и не удалось. Они редко искали работу через официальные посреднические бюро, лишь немногие пытались найти себе новое жилье, а любые программы обучения для детей и взрослых наталкивались на апатию и нежелание ходить на занятия. Неизменно открытым оставался вопрос, на что жили обитатели этих городов. У одних были овощи и всякие съедобные растения, которые они выращивали на узеньких вытоптанных клочках земли между домами, другие держали домашних животных — коз, свиней, которые свободно паслись, нередко разнося заразные болезни. Производство и продажа кавы — хлебной водки — было столь же обычным занятием в этих районах, как воровство, укрывательство краденого, проституция и злоупотребление средствами, ассигнованными на различные формы социальной помощи и пособия для бедных.

Помимо огромного количества социальных проблем, барачные города создавали значительную угрозу здоровью всего района. В этом перенаселенном, грязном и засиженном мухами аду, знойном и засушливом летом, сыром, холодном, плохо отапливаемом и совершенно не защищенном от дождя и ледяного ветра зимой, царили голод, нищета и болезни. Детская смертность оставалась высокой, хотя органы здравоохранения утверждали, что приняли все меры, какие только могли. Однако не так-то просто было сделать всем прививки хотя бы против самых распространенных эпидемических заболеваний, когда приходилось иметь дело с недоверчивыми обитателями бараков, отнюдь не стремившимися к сотрудничеству с городскими властями.

— Ты ждешь ребенка?

Присев на корточки, Мэри Даймонд в упор смотрела на Лизу.

— Как ты узнала? — удивилась Лиза.

Хотя Лиза ни от кого больше не скрывала свою беременность, в ней все еще жил инстинкт защиты того, что совершалось в ее теле. Однако в присутствии Мэри Даймонд она чувствовала себя спокойно, и ей очень хотелось поговорить с ней, женщиной, о своем состоянии.

— Догадалась,— ответила Мэри Даймонд.— Я знаю кое-какие признаки. У меня было четыре сестры. Две из них... умерли от родов. Самая младшая, Роза, была еще моложе, чем ты. Она не хотела иметь ребенка и истекла кровью... Нет, ты не расстраивайся, это было так давно. Не надо плакать...

Она обняла Лизу, которая вдруг разразилась рыданиями, прижалась к Мэри Даймонд и, всхлипывая у нее на шее, никак не могла успокоиться; самые простые вещи теперь приводили ее в уныние, а то, что сейчас сказала Мэри Даймонд, было так ужасно и непостижимо.

— Ну, ладно, ладно,— утешала ее Мэри Даймонд.— Тебе-то нечего думать о таких вещах. Ты же совершенно здорова, только немножко худая и малокровная, вот и все. Не забывай есть зелень. Ешь все зеленые листья, какие только найдешь. Это не вредно, хотя и не очень вкусно. В Палисадене, когда мы были маленькими, мы ели траву; мама говорила, что это полезно, и мы никогда не заражались и не болели, как многие другие.

Голос ее звучал мягко и мелодично, когда она успокаивала Лизу, как маленькую испуганную девочку. А Лиза, прижавшись к ней, вдыхала запах этой крупной темнокожей женщины, тяжелый, сильный запах соленой потной кожи и дешевых духов, и постепенно успокаивалась.

— Я так боюсь, что будет больно,— бормотала она.— Ведь здесь мне не дадут наркоза или еще чего-нибудь Не представляю себе, как здесь рожать...

Кивком головы она показала на фургон и закусила губу.

(Окончание следует)

ТЕЛЯТНИКОВ КОНСТАНТИН ИЗРАИЛЕВИЧ (род. в 1928 г.).

Советский филолог, переводчик с норвежского, датского, шведского и английского языков. В его переводах опубликованы произведения Х. К. Андерсена, Н. Грига, Б. Бьёрнсона, А. Лундквиста, Х. Лидмана, В. Муберга, Дж. Лондона, Р. Киплинга и др. Автор предисловий к первым советским изданиям Ю. Боргена, Я. Бергмана, Т. Весоса.

Критика

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

РЕАЛЬНОСТЬ И МИФЫ: ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 70-х ГОДОВ

Читатель нашего журнала, вероятно, помнит, что в десятом номере за прошлый год мы опубликовали материалы встречи специалистов по литературам Англии и США, которая состоялась в редакции. В центре обсуждения были основные тенденции этих литератур в 70-е годы. Сегодня мы предлагаем вниманию читателя суждения, высказанные «итальянистами» — Цецилией Кин, Генрихом Смирновым, Юлией Добровольской, Георгием Богемским, Львом Вершининым, Евгением Солоновичем, Афанасием Веселицким.

Италия — страна, в которой острые противоречия и кризисные явления, переживаемые высокоразвитыми промышленными обществами Запада, проявляются особенно болезненно и бурно. Политический и социальный кризис не может не сказаться на настроениях творческой интеллигенции.

Встречу, в которой приняли участие также сотрудники журнала, в том числе член редколлегии по отделу прозы капиталистических стран Т. Кудрявцева, открыл заместитель главного редактора журнала К. Чугунов, говоривший о взаимосвязи литературы с событиями, происходящими в социальной жизни страны.

Ц. Кин. Конечно же, между процессами, происходящими в общественном сознании, чисто политическими проблемами и собственно литературой существует тесная связь. Убеждена в том, что это принципиально важно: нельзя все раскладывать по отдельным полочкам и анализировать творчество того или иного писателя, книги, о которых много говорят, вне контекста, не думая о том, что происходит в стране, какие жизненные факторы определяют развитие литературного процесса. Марксистский подход к истории требует от нас понимания диалектической зависимости между фактами, лежащими на поверхности (например, литературная «мода», успех книг определенного жанра, выдвижение какого-нибудь писателя), с глубинными, не всегда поддающимися точной классификации и быстрой расшифровке ферментами, развивающимися в обществе.

Очень рада, что редакция нашего журнала устроила «круглый стол», посвященный итальянской литературе. Тема многогранная Наступил первый год нового десятилетия, Италия встретила его в обстановке обострившихся классовых битв, и творческая интеллигенция непосредственно вовлечена в бурные споры о том, как разрешить общенациональные проблемы — социальные, экономические, связанные с системой народного просвещения и, наконец, с борьбой против терроризма, сотрясающего всю страну. Не далее как в декабре прошлого года произошел очередной акт вандализма: группа вооруженных людей вошла в здание Туринского университета, загнала в одну из аудиторий около двухсот человек; из их числа было выбрано десять жертв; их связали и стали стрелять по ногам. Террористы «Прима Линеа» («Первая линия»), примыкающие к «Бригате Россе» («Красные бригады»), похитившие и убившие в мае 1978-го лидера христианских демократов Альдо Моро, считают себя «революционерами», это, так сказать, итальянский вариант нечаевщины.

Итальянская интеллигенция всегда была чрезвычайно политизированной. Крупные писатели регулярно выступают в газетах на злободневные темы. Я буду называть только имена, которые можно считать эмблематическими,— перечислить всех деятелей культуры, активно вмешивающихся в политику, невозможно.

Весной 1977-го происходили студенческие волнения. Бунтующие студенты выступали против социальной несправедливости, они включали в «систему» также коммунистическую партию, обвиняя ее в том, что она не занимает последовательно оппозиционных позиций. Студенческое движе-

ние было пестрым; были группы, появлявшиеся во время демонстраций в масках и совершавшие акты вандализма. Кто стоял за ними, в точности неизвестно, но ясно, что эти силы были заинтересованы в дискредитации демократических институтов и цинично использовали молодежь. А крупный писатель Паоло Вольпони призывал к пониманию «мятежников», почти оправдывал их поведение, призывал также не бояться у т о п и и. Было бы очень интересно сопоставить это с концепциями, которые Вольпони выдвигает во всех своих романах,— налицо бесспорная взаимосвязь.

Другой пример. Все той же весной 1977-го многие десятки представителей итальянской творческой интеллигенции оказались вовлеченными в дискуссию о том, следует или не следует защищать республику от всевозможных «ультра», стремившихся вызвать в стране хаос. Если в 50-х и 60-х годах на авансцене находились «ультрачерные», то в 70-х их место заняли «ультракрасные», к которым причисляют себя и «Прима Линеа», и «Бригате Россе», и множество других организаций и групп. Речь шла о жизнеспособности республики, рожденной движением Сопротивления. В тогдашней дискуссии, получившей название «Пессимизм и оптимизм», приняло участие много писателей: Монтале, Кальвино, Вольпони, Шаша, Амендола, Паризе. Кстати, в последнее время он занимает довольно правые политические позиции. А тогда он выступил с несколько двусмысленной статьей, утверждая, будто итальянский народ в массе своей вообще «не имеет идей» и послушно следует за идеологами — будь то демократы или консерваторы. Это, конечно, совершенно несправедливо: итальянское рабочее движение хорошо организовано и отличается высоким уровнем классового сознания и сознания своей исторической ответственности. Сущность спора «Пессимизм и оптимизм» сводилась к тому, нужно ли, пренебрегая даже опасностью смерти, защищать Итальянскую Республику со всеми ее социальными несправедливостями, недостатками и бедами. Одни считали, что можно и нужно, проводя решительные реформы, другие, напротив, считали, что все равно ничего не получится: христианские демократы довели страну до такого состояния, когда можно ожидать даже взрыва справа.

Осенью 1977-го были бурные события, связанные с «красным городом» Болоньей, где у власти много лет находятся коммунисты и социалисты («Красная Джунта»). В Болонье во время мартовских студенческих волнений произошло несчастье: полицейский застрелил студента Лорусс̀о. Начали тщательное расследование, но эту трагедию использовали в явно спекулятивных целях. Помимо политических циников, сознательно желавших обратить несчастье против «Красной Джунты», в дело опять-таки вмешались литераторы. Создалась такая нервная атмосфера, что даже писатель Роберто Роверси, житель Болоньи, патриот своего города, напал на местное руководство. Некий молодой литератор, которого в просторечии зовут Бифо, экстремист, призывал к вооруженному мятежу, потом бежал в Париж, где ему устроили шумную рекламу. Он написал роман о Маяковском и много заумных стихов. Кое-кто утверждал, будто именно Бифо представляет итальянскую революционную литературу, но это просто смешно. К ультралевым писателям принадлежит и Нанни Балестрини, неоавангардист. Он написал плохой роман о рабочем классе «Хотим всего», книгу о насилии (это, впрочем, не роман, а монтаж), и является идеологом одной экстремистской и террористической организации, которая раньше называлась «Потере Операйо» («Рабочая власть»), а теперь называется «Аутономия». Балестрини способный литератор, но о большом таланте здесь вряд ли можно говорить.

Как известно, весной 1978 года, когда был похищен и убит Альдо Моро, Италия была потрясена глубочайшим образом. До сих пор точно не установлено все, связанное с этим преступлением. Вышел ряд книг, посвященных гибели Моро. Альберто Арбазино, одаренный прозаик, обычно пишущий для элиты «интеллектуальные» романы (часто вызывающие скандалы, так как прототипы узнают себя в персонажах), на сей раз, ошеломленный случившимся, написал книгу «В этом государстве», обвиняя правящую партию христианских демократов в том, что она не спасла своего лидера. Еще было написано несколько книг, но на таком низком уровне, что о них даже упоминать не стоит.

Обстоятельства гибели Моро потрясли Шашу. Он никогда не был его почитателем и винил христианских демократов во всех бедах Италии. Но Шаша неизменно выступал против террора, про «Бригате Россе» заявил, что они из геррильеров[1] превратились в палачей, и написал книгу «Дело Моро», так как считал это своим личным долгом («Смерть Моро бросает вызов всем нам»). Есть одно дополнительное обстоятельство. Шаша в 1974 году написал интересный роман «Тодо модо», вышедший у нас недавно под названием «Любой ценой», в отличном переводе Сергея Ошерова. В нем происходит серия загадочных убийств, убит и главный герой. По роману поставлен одноименный фильм, я его видела; актер Джан Мария Волонте, который играл главного героя, поразительно похож на Моро. И вот после похищения Моро интервьюеры стали одолевать Шашу: не думает ли он, что Бригате Россе видели фильм, который произвел на них впечатление, и, следовательно, не признает ли он, что на нем, Шаше, лежит некая доля моральной ответственности за то, что произошло. Однажды Шаша сказал: «Когда мне говорят, в порядке комплимента, что я все предвидел, я с болью думаю о том, что единственное, чего я не предвидел, это возможности того, что мое предвидение осуществится. Когда мне говорят то же самое тоном обвинения, я, естественно, негодую».

Роман «Дело Моро» кое в чем спорный, поскольку Шаша не всегда убедительно дает свое объяснение тактики Моро-пленника по отношению к похитителям. Вышли еще две книги Шаши: «Сицилия как метафора» — автобиография, подробные ответы

[1] Геррильер — партизан *(итал.)*.

писателя на вопросы французской журналистки Марсель Падовани—и «Черным по черному» — нечто вроде дневника. Шаша неизменно отстаивает свое право на противоречия. Так, Шаша хочет, чтобы на его могиле была эпитафия: «Он противоречил всем и самому себе». Когда вышла «Сицилия как метафора», газета «Ла Республика» взяла у Ренато Гуттузо интервью. Гуттузо заявил, что книга прекраснейшая, что он не согласен лишь с главой о море и что он написал Шаше письмо с благодарностью. Интервьюер лукаво заметил, что они теперь друзья-враги (намек на то, что Шаша прошел в парламент как независимый, по спискам радикальной партии). Но Гуттузо возразил: «Ничего подобного, мы с Шашей совершенно не враги. В действительности мы подлинные, настоящие друзья. Только вот мы оба очень уж сицилийцы...»

Конечно, и в поступках и в книгах Шаши много противоречий, он критикует с темпераментом, который иногда заставляет его забывать о чувстве меры. Но когда речь идет о большом художнике, мы должны прежде всего — я уверена — оценивать его творчество. Если человек честен и талантлив, он в конце концов всегда выберет правильный путь, несмотря на все свои кризисы, сомнения, колебания и противоречия.

Л. Вершинин. Вы все только о Шаше...

Ц. Кин. Кончила, кончила, просто это мой любимый писатель... Сейчас о других. Если говорить о преобладающих в итальянской литературе жанрах, я бы назвала пять основных. Политический роман во всех вариациях. В 1978 году вышел роман Моравиа «Внутренняя жизнь», в котором он пытается разъяснить проблему терроризма. Моравиа работал над ним семь лет и, на мой взгляд, потерпел трагическую неудачу, так как исходная позиция неверна. Героиня, Дезидерия,— девственница, которая повинуется Голосу, а этот Голос преподносит ей такие уроки, что диву даешься. В основе книги поразительно элементарная и жесткая идеологическая схема, сексуальные извращения. Досадно и печально, но знаменитый итальянский писатель, по моему убеждению, потерпел горестное фиаско. Романов, которые я отношу к политическому жанру, много, иногда они любопытны. Повороты темы разнообразны: у Антонио Альтомонте — дворцовые интриги, предательства и кровь. У Джузеппе Понтиджи — академический мир, кипение страстей, но все тоже густо замешано на политике. У Родольфо Дони герой должен выбрать, от кого ему пройти в сенат — от христианских демократов или от коммунистов,— он терпит поражение при обоих возможных вариантах. Нет смысла перечислять писателей и произведения, пока нам неизвестные, важно отметить лишь тенденции.

Второй жанр я назвала бы апокалипсическим: человечество так или иначе обречено на гибель — либо в результате атомной войны, либо вследствие экологической катастрофы. Первым здесь надо назвать Паоло Вольпони. Он еще раньше писал о человеке, который хочет построить убежище для себя лично, чтобы не погибнуть. А в последнем романе «Раздраженная планета», по-своему очень поэтическом, Вольпони рассказывает о том, как маленькая группка бывших артистов цирка (это, конечно, символ), случайно уцелевшая под развалинами, странствует по выжженной земле. Действие происходит после 2200 года. Человек только один, да и тот — карлик, остальные действующие лица — слон, знающий наизусть «Божественную комедию» Данте, обезьяна, гусыня... Это — после атомной войны. Роман весь построен на метафорах, там есть персонаж, который не действует, но, так сказать, присутствует незримо: человек, «умеющий подражать пению всех птиц». Птиц уже нет, но символ прекрасен, он олицетворяет веру в бессмертие природы и искусства. Известный прозаик Карло Кассола написал роман, в котором единственное выжившее после атомной катастрофы существо — собака. Назову еще роман Антонио Порты, где в прозаический текст включено много стихов. В этом романе человек, обреченный на гибель, доживает свои последние дни и подводит итоги: гибель человечества — результат экологической беды.

К третьему жанру я отнесла бы так называемые феминистские романы, их очень много. Все связанное с женским вопросом сейчас является в Италии одной из моднейших тем. Романы преимущественно камерные, иногда изящные, психологические, а чаще вызывающие чувство раздражения. Стоит упомянуть оригинальную, драматическую, в чем-то немного двусмысленную, но талантливую книгу Люче Д'Эрамо, написанную неровно, но искренне. Люче, будучи совсем молодой девушкой, дочерью некоего итальянского фашиста, отправилась в гитлеровскую Германию, чтобы лично убедиться в том, что там происходит.

Четвертый жанр связан с феноменом так называемого «riflusso». Под этим подразумевается деполитизация, разочарованность, отход от активной политической деятельности в интимную жизнь. Феномен этот отражает определенные закономерности, процессы, происходящие в общественном сознании. Очень много факторов и, в частности, то, что до сих пор не удается справиться с террористами, не могло не отразиться и на отдельных людях, и на культуре в целом, и на расстановке политических сил.

И теперь надо сказать о пятом жанре. В последнее время особенно заметно, как католики стремятся предложить обществу свою систему духовных ценностей. Католический кинематограф — явление устоявшееся, но теперь надо очень серьезно говорить о католическом романе в Италии. У нас переведено немало книг французских и английских писателей-католиков, но итальянцев пока не знают. Есть оригинальные и талантливые вещи. В 1979 году вышел в свет прекрасный в художественном отношении роман Луиджи Сантуччи «Ман-

драгора». Между живыми и мертвыми, по существу, почти нет разницы, если не считать того, что у мертвых «астральные тела», и вот в маленьком городке, где живут герои, происходит война между живыми и мертвыми, последние одерживают верх. Однако не забудем, что автор глубоко верит в потусторонний мир и находит некий синтез. Роман настолько музыкален, что кажется поэмой в прозе. Разумеется, все это — метафизика, но одна из центральных идей сводится к тому, что музыка знает все, музыка и есть история. Не станем сейчас говорить о том, что мы — материалисты, атеисты и рационалисты, ведь музыка тоже имеет свои права, когда речь идет об искусстве.

Есть и другие крупные католические писатели. Например, Марио Помилио, известный романист. Его последняя книга «Пятое Евангелие» написана с большим мастерством. Вероятно, не случайно, что именно сейчас, в период глубокого кризиса, переживаемого Италией, католическая культура особенно активизировалась. Мне не хочется ничего схематизировать, но, по-моему, в развитии литературного процесса в Италии 70-х годов нетрудно установить некоторые закономерности. Когда думаешь о происходящих событиях, о том же терроризме, похищении людей, об общественной психологии, о том, что страна все же по преимуществу католическая, начинаешь понимать, почему выходят книги того или иного типа, почему издатели стремятся заинтересовать публику сверхактуальными темами, п р я м о отражающими действительность. К сожалению, многие из этих книг очень средние, поверхностные, сиюминутные.

Только не поймите меня неправильно. Если принять формулу «Пессимизм — оптимизм» и с ее помощью оценивать литературный процесс в Италии 70-х годов, я все-таки оптимистка. Есть много талантливых писателей. И нынешний период исканий и временных неудач, возможно, неизбежен. Я с радостью прочла последний роман Итало Кальвино, оригинальный, изящный: десять романов в одном романе, точнее — первые главы каждого из этих десяти романов. Можно сколько угодно спорить, не соглашаться с чем-либо. Но необходимо быть очень бережными в наших оценках. Я вот резко отозвалась в печати о последнем романе Моравиа и была совершенно уверена в справедливости своей оценки. Только поэтому. А итальянская печать внимательно следит за тем, что пишут в далекой Москве, и очень часто откликается на наши статьи. И писатели тоже реагируют — подчас болезненно, а подчас так радуются хорошим отзывам.

Разрешите мне одно личное замечание. Для меня «Иностранная литература» — родной дом, я уже более двадцати трех лет референт журнала по Италии. И я понимаю, больше того, знаю по прессе и по своему опыту, как велика наша ответственность. Глубоко убеждена в том, что мы должны быть и высокопринципиальными в наших суждениях, и в то же время терпимыми. Будем помнить о национальном характере, о ранимости художников. В интересах нашего общего дела мы должны проявлять понимание и чуткость. Опыт показывает, что это правильно и справедливо.

Т. Кудрявцева. После обстоятельного выступления Цецилии Исааковны Кин, которая дала широкую картину современной итальянской литературы, надо, наверное, рассказать присутствующим о планах редакции — о тех произведениях, которые имеются в нашем портфеле, а также о тех, которые мы сейчас рецензируем и изучаем. Об этих последних нам, естественно, было бы крайне интересно выслушать мнение специалистов.

Как вы понимаете, при нынешней острой политической борьбе в Италии и большой политизации литературы сейчас не так просто выбирать произведения для публикации. Да и та площадь, которой располагает в журнале отдел, не позволяет публиковать больше романа — двух в год.

В истекшем году мы напечатали повесть одного из старейших прозаиков Италии Карло Бернари «Горькая любовь». Сейчас у нас подготовлен для публикации роман Нантаса Сальваладжио «Затопленная площадь» в переводе присутствующего здесь Льва Александровича Вершинина. Это остросоциальный роман о «трагедии Венеции», о постепенном разрушении этого мирового центра культуры. Книга разоблачает позицию местных монополий, препятствующих спасению города. Заказан перевод политического романа Лауры Конти «Зайчик с лицом девочки» — о взрыве на химическом заводе, вызвавшем гибельное для обитателей целого района заражение окружающей среды. В художественном отношении это произведение не самого высокого уровня, но оно весьма злободневно: написанный на документальном материале, роман как бы иллюстрирует положение дел в современной Италии.

В данный момент в отделе рецензируется роман Энцо Руссо «Нора горностаев», в котором изобличаются продажность и бесчинства, процветающие в итальянском суде. Написан роман и литературно неплохо. Думается, он вызовет интерес у наших читателей.

Все три названных мною писателя неизвестны советскому читателю. Естественен вопрос, можем ли мы предложить что-то, принадлежащее перу писателей, которые известны не только в Италии, но и за ее пределами. Мы изучаем произведение Леонардо Шаши «Палермские убийцы». Это политический роман, очень близкий к литературе факта, написанный на историческом материале. В то же время автор явно не случайно обращается к событиям прошлого и сопоставляет их с тем, что происходит в Италии сейчас.

Я рассказала о некоторых планах отдела в надежде, что это вызовет обмен мнениями, который поможет редакции правильнее ориентироваться в выборе произведений для публикации.

Г. Смирнов. Я остановлюсь на событиях, определивших литературную жизнь 1979 года. Нельзя, конечно, сказать, что выходило мало новых книг, что не разгорались литературные споры. Нет, были даже крупные скандалы, например, история с запретом, который наложила цензура на слиш-

ком интимную «Внутреннюю жизнь» Альберто Моравиа. И все же в июне такой крупный журнал, как «Эспрессо», жаловался, что «уже два месяца дела в книжных магазинах идут из рук вон плохо — почти ничего не продается». Правда, к осени появилось некоторое оживление. Вышли и привлекли внимание читателей (если судить по ежемесячно публикуемой в Италии статистике читательского спроса) новые произведения таких видных писателей, как Кальвино, Сольдати, посмертные книги Леви, Пазолини и других. И тем не менее трудно было отделаться от впечатления, что итальянская литература с трудом преодолевает известный застой.

Обратимся прежде всего к проблеме жанра фундаментального — к роману. В середине года в Италии почти одновременно появились три книги: «О читателе и речь» Эко, «Если зимней ночью путник» Кальвино и «Центурия» Манганелли. Авторы этих книг, разных по жанру (книга Эко — теоретическое исследование о повествовательной литературе, остальные — художественные произведения), исходят из общей предпосылки: традиционный роман, утверждают они, умер, взаимодействие читателя и писателя достигло такой степени, что они понимают друг друга с полуслова и, следовательно, нет надобности в долгом, утомительном повествовании. Автору достаточно начать, чтобы читатель додумал остальное. В частности, упоминавшаяся здесь книга Кальвино «Если зимней ночью путник» состоит как бы из десяти начатых и неоконченных романов, объединенных в одной книге. После сложных и замысловатых перипетий, авантюрных приключений в романах о шпионаже читатель призван обратиться к заголовкам каждого их этих романов: они должны, по замыслу автора, дать представление об одиннадцатом романе, составляющем как бы роман романов.

Еще более сложным «архитектурным» построением выглядит роман Манганелли «Центурия». Это уже не десять, а сто фрагментарных романов, сливающихся в одну реку. Но сто романов сразу не в силах переварить ни один читатель, поэтому они выглядят микроэпизодами, включенными в сложную мозаику экспериментального построения.

Однако было бы ошибочно считать, что форма названных книг полностью перечеркивает их содержание. Нет, здесь немало тонких наблюдений, глубоких мыслей, однако нарочитая усложненность, недоговоренность, стремление к оригинальности во имя оригинальности сильно снижают их достоинства.

Защищая свои литературные позиции, автор книги «О читателе и речь» Эко заметил, что произведения Кальвино и Манганелли «являются знамением времени». Знамением времени! Над этим стоит задуматься. В самом деле, кризис литературной продукции в сегодняшней Италии отражает более серьезный кризис, который поражает самые разнообразные сферы итальянского общества — политическую, экономическую, социальную, моральную. Показателями этого кризиса стали паралич государственного аппарата в результате почти шестимесячного правительственного кризиса, и досрочные парламентские выборы 1979 года, так и не решившие вопроса об эффективном управлении страной, и наличие более полуторамиллионной армии безработных, и разгул терроризма, и многое другое.

Ликвидация идеологической гегемонии господствующих классов не ведет автоматически к возникновению социалистического сознания. Напротив, в условиях кризиса буржуазного общества создаются благоприятные условия для ностальгии по прошлому, для антидемократических настроений и реакционных рецептов. Если бросить с этой точки зрения взгляд на итальянскую литературу последних месяцев, то нельзя, например, не обратить внимание на появившийся в сентябре этого года роман триестинского поэта Черголи «Комплекс императора», ставший, по утверждению многих итальянских критиков, «литературным событием года». В романе этого «ужасно аристократического поэта» речь идет о временах Австро-Венгерской монархии, когда Триест служил окном в Адриатическое море. Черголи не скрывает своих симпатий к этому давно ушедшему миру. Австро-Венгерская монархия, бывшая тюрьмой для многих народов, в том числе и для итальянского, представляется ему идеалом «наднационального порядка и бюрократической корректности». Угнетенный австрийцами Триест у Черголи — это город, полный радости, тонкой чувственности, выражавшейся «в способности хорошо поесть и потанцевать в уютных кафе».

Настроения, отраженные в романе Черголи, характерны для современного обывателя. Сегодняшний лавочник боится беспорядков, не прочь помечтать о тех временах, когда в Италии была сильная власть, умевшая и заткнуть глотку рабочему, и наладить приход поездов по расписанию. Видимо, эта мелкобуржуазная среда и дает питательную почву для появления романов типа «Комплекс императора».

Но лицо современной демократической литературы Италии определяют книги иного характера. Кстати сказать, литература эта выходит далеко за рамки узконациональные. Для литературной жизни сегодня характерны симпозиумы и конференции по тематике произведений Брехта и Маяковского, Пиранделло и Де Филиппо. С большим успехом в апреле 1979 года на итальянском телевидении прошла, например, инсценировка романа Чернышевского «Что делать?», выполненная известным режиссером Серрой. Как отмечал орган ИКП — еженедельник «Ринашита», проблемы «освобождения женщины, кооперативной организации труда, свободы человеческих отношений, не скованных предрассудками, новых отношений», поднятые в романе, обеспечили этому выдающемуся произведению русской литературы успех в Италии.

Прогрессивная тематика находит свое отражение и в лучших произведениях писателей демократического направления. Журнал «Иностранная литература» знакомил уже советского читателя с произве-

дениями таких писателей, как Д'Агата, Де Яко, рецензировал романы Камона. На его страницах получила высокую оценку автобиографическая повесть одного из старейших деятелей Итальянской коммунистической партии Амендолы «Выбор жизни».

Многие существенные вопросы, которые ставит ныне Итальянская коммунистическая партия — вопросы преодоления противоречий капиталистического общества, социального освобождения, демократии и социализма,— в той или иной форме находят отражение в очерковой и художественной литературе. Нынешний кризис литературной продукции преодолевается в Италии за счет прежде всего литературы публицистической, очерковой, прибегающей к форме прямого изложения мыслей автора (интервью, эссе и т. п.).

О демократических традициях итальянской литературы можно судить и по увеличению так называемых диких писателей. В этой кличке «дикие» есть нечто уничижительное, но она не случайна — так классово-пристрастная буржуазная критика именует писателей-самоучек, чьими «университетами» стала сама обыденная жизнь. Вслед за нашумевшим «Отцом-хозяином» Ледды в Италии в этом году вышли такие интересные произведения, как «Повесть левантийского графства» Бертолани, «Явился князь» Бомпьери и др. Эти романы принадлежат перу начинающих писателей (Бертолани — регулировщик транспорта, Бомпьери — парикмахер). Однако привлекают их книги свежестью наблюдений, близостью к народной жизни. Роман Бертолани (выдвинутый, кстати, в прошлом году на соискание одной из крупнейших литературных премий Италии — «Стрега») посвящен истории лигурийского мальчика, сына крестьянина, который вместе со взрослыми голодает во время войны и на глазах которого происходит крушение фашизма. Для мальчика голод — это не только нехватка еды, но и безземелье крестьян, нищета и зависимость от ненасытного хозяина. В романе Бомпьери открывается мир простых людей, живущих в районе Мантуи и Кремоны. Написанный живым языком, этот роман в известной мере продолжает линию первого произведения писателя «Холод до мозга костей», опубликованного в 1973 году.

Будут ли и в 80-м году итальянские издатели жаловаться на вялость читательского спроса и возлагать вину «на приближающиеся выборы, на разгул терроризма» и даже на «повышение атмосферного давления», покажет время. Но зная, как развивалась итальянская литература в предыдущие годы — со всеми ее взлетами и падениями,— можно с уверенностью сказать, что она даст в будущем немало полноценных произведений.

Ю. Добровольская. К пяти направлениям итальянской прозы, так захватывающе описанным во вступительном слове Цецилией Кин, следует добавить еще одно, оказавшееся в последнее десятилетие весьма плодотворным; я имею в виду романы, рисующие картину Италии, которая уходит. Уходит под напором достижений современной цивилизации, унося с собой вековые традиции и нравственные ценности. Авторы их — обычно выходцы из описываемых мест — говорят об этом с болью, нередко — в элегических тонах, и каждая из этих книг — своего рода сигнал бедствия, попытка привлечь внимание общественности к болевым точкам страны, особенно на заброшенном, дичающем юге. К чести издательства «Прогресс», естественно не поспевающего за всеми явлениями литературного процесса, надо сказать, что оно опубликовало два романа Фердинандо Камона даже несколько раньше, чем Камон завоевал популярность у себя на родине. Это — большая заслуга покойного Г. Брейдбурта, проявившего необходимое чутье и упорство. Кстати, нам, переводчикам, недостаточно только следить за развитием литературы соответствующей страны или региона, наш долг — отстаивать, «пробивать» книги, подбрасывать издателям идеи. Поэтому такие встречи, как сегодняшняя, следует всячески приветствовать.

Из множества книг об уходящей Италии назову роман Сальваторе Сатты (1902—1975) «Судный день». Крупный юрист, автор трудов по юриспруденции, Сатта много лет вынашивал и в последние четыре года жизни осуществил замысел романа-«саги» о родном городе Нуоро (Сардиния). Мастерски написанный, этот, по определению критика Витторио Спинаццолы, «психологически-социальный роман в духе критического реализма» призывает трезво оценивать прошлое и настоящее, вникать в сложную диалектику прогресса.

Назову еще несколько повестей. Книга Лауры Конти «Зайчик с лицом девочки», о которой говорила здесь Татьяна Кудрявцева,— «педагогическая поэма», она обнажает социальные и этические конфликты современной Италии. В автобиографическом романе «В один присест» Марии Ятости, прозаика и переводчика, описывается жизнь современной прогрессивной итальянской интеллигенции, мир чувств, быт, политические страсти последних трех десятилетий. Правдивый «групповой портрет» итальянской семьи — в романе Марии Ярре «Принцесса прошлого месяца»; место и время действия — Турин 1973 года. Все вертится вокруг референдума о разводе. Главный герой повести — одиннадцатилетний Паоло. Повесть написана изящно, с юмором, а главное — в ней затрагиваются очень серьезные вопросы. Еще одна интересная книга — «Каникулы с отцом» Марчелло Арджилли; ее тема — судьба неблагополучного ребенка (родители в разводе), двенадцатилетнего Луки, мучительный процесс духовного и нравственного созревания «трудного» подростка. «Темно-голубые» Джованни Арпино — роман о спорте; «из океана футбольного спорта, впервые за сто лет его истории, выглянула макушка айсберга, роман Арпино» — так пишет один критик; место действия — ФРГ; персонажи, кроме игроков,— знаменитые журналисты, фоторепортеры, спортивные «боссы», болельщики-эмигранты из Италии со своим грузом разочарований и невзгод; свежая, небанальная книга, написанная со знанием дела (Арпино десять лет проработал в спортивном отделе газеты «Стампа»). «Огромное время» Джузеппе Бонавири: герой двадцатипятилетним врачом возвращается в род-

ное захолустное Минео (Сицилия), где он родился и прожил детство среди крестьян— поэтов и философов. Безотрадная картина вековечной нищеты и заброшенности открывается ему во всем ее трагизме. Этого беспощадно откровенного, реалистического романа не хватало в творчестве Бонавири, автора серии книг-притчей, философских сказок и стихов. «Мелкий, мелкий буржуа» Винченцо Черами: у мелкого министерского служащего Джованни, итальянского Акакия Акакиевича, одна мечта — чтобы сын выбился в люди, прошел по конкурсу в министерство. Но судьба распорядилась иначе: во время случайной уличной перестрелки с бандитами сын убит, жена от горя лишилась разума. Описание серых будней сменяется своеобразным детективом, историей вендетты. Можно не согласиться с идеей автора о том, что жестокость — неотъемлемая черта человеческой натуры, в экстремальной ситуации проявляющаяся даже у «мелкого, мелкого буржуа», но в остальном роман Черами — настоящий кусок жизни, где сегодняшний Рим дан в его негласном, закулисном аспекте (особенно хороши главы о всемогущей масонской ложе).

Интересны и книги, объединенные общей темой «о себе и соотечественниках». Это «Осколки мира» Пьетро Читати, «Скажи, что ты от меня» Луки Гольдони, «Италия» Энцо Бьяджи. Не претендуя на глубину исследования, маститые журналисты и плодовитые писатели Читати, Гольдони и Бьяджи в легкой, остроумной форме весьма самокритично говорят о современных итальянских нравах, о новых явлениях политической, общественной, культурной жизни.

Ц. Кин. По-моему, это книги «пограничного жанра».

Ю. Добровольская. Согласна. Интересна еще и мемуарная литература; сегодня среди самых заметных книг этого жанра, на мой взгляд,—воспоминания знаменитого конструктора дирижаблей, полярного исследователя, писателя Умберто Нобиле «Истина на дне колодца» (советский читатель знает его книгу мемуаров «Красная палатка»). К автобиографическим можно причислить книгу писателя-врача Эудженио Траваини «Плохое милосердие»; эта книга с подзаголовком «Типичная карьера главврача», повествующая о коррупции в медицине,— «крик разочарования, возмущения, ярости».

Если мы действительно стремимся держать руку на пульсе итальянской литературы, мы не должны упускать из поля зрения творчество ведущих итальянских писателей; предположим, что по тем или иным соображениям мы не собираемся публиковать ту или иную книгу, но тогда о ней надо писать.

Г. Богемский. Положение, создавшееся ныне в итальянской литературе, можно охарактеризовать не столько как кризисное, сколько как некоторое замешательство, отражение тех настроений именно растерянности, которые охватили многих писателей перед лицом сложных, во многом оказавшихся для них неожиданными политических ситуаций. Литературе необходимо время, чтобы осознать, обобщить, художественно переработать происходящее в Италии.

В своей подробной экспозиции той обстановки, в которой развивается или, точнее, топчется на месте итальянская литература, Цецилия Кин справедливо указывала на элементы оппортунизма.

Ц. Кин. Я не говорила об оппортунизме. Я говорила о «riflusso».

Г. Богемский. Мне кажется, что сегодня наиболее характерны для итальянской действительности элементы экстремизма. Главной угрозой становится ныне экстремизм в двух его ипостасях — «черного», неофашистского, и «красного», левацко-анархического терроризма. Это оборотные стороны одной медали. Политический терроризм, засилье мафии сопровождаются волною насилия, жестокости, изменениями психологии. Стало опасным по вечерам выходить на улицу, все стремятся вооружиться, а пистолет начинает оказывать психологическое воздействие на своего владельца...

Все эти процессы пока что не нашли достаточного отражения в итальянской литературе, хотя развиваются уже несколько лет.

Вспышка левацких, экстремистских настроений, преступления «Бригате Россе» заставили с ужасом отшатнуться от леваков целый ряд писателей. Они упрекают себя — и не напрасно,— что не занимались проблемами итальянской молодежи. Некоторые писатели под воздействием пережитого шока уходят от актуальных проблем, замыкаясь во внутреннем мире — своем или своих героев, примером может служить последний роман Альберто Моравиа «Внутренняя жизнь», не встретивший одобрения критики и, кроме того, навлекший на себя преследования цензуры, обвинившей его в непристойности.

Ц. Кин. Как это так — замыкаясь во внутреннем мире? Роман идеологический, его героиня становится террористкой. Другое дело, что роман плохой.

Г. Богемский. Во многих книгах в лучшем случае социальная проблематика носит локальный характер. Другие занимаются тем, что «выясняют отношения» с Итальянской коммунистической партией, полемизируют с ней по тактическим или этическим вопросам. Такого рода полемикой занят сейчас видный сицилийский писатель Леонардо Шаша, имя которого здесь несколько раз упоминалось.

Пока «большая» литература пребывает в замешательстве, осмысливая сложный и противоречивый комплекс проблем неустойчивой итальянской действительности, вакуум заполняет, как здесь уже отмечалось, публицистика, мемуарная литература и другие «малые» жанры.

Я хочу здесь привлечь внимание к одному из них, получившему в 70-е годы в Италии широкое распространение,— это политический детектив. Развиваясь одновременно в литературе, в кинематографе и на телевидении, жанр этот не только стал популярен, но и нередко дает критическое освещение, а в некоторых произведениях — и критическое исследование, обличение пра-

вого и левого терроризма, связей между ними, связей их с миром мафии и уголовщины, с центрами реакционных сил — командованием карабинеров, верхушкой прокуратуры, суда, полиции, армии, итальянскими и иностранными разведывательными органами.

«Детектив по-итальянски», то есть своеобразный жанр критического и реалистического социально-бытового произведения с элементами политического детектива, уже знаком советскому зрителю по многим фильмам, их же аналоги, а то и первооснова в литературе пока еще неизвестны.

Сейчас не место говорить, как развивался итальянский детектив. Скажу только, что итальянский читатель оказался подготовленным к восприятию политического детектива. С одной стороны, он внимательно следит за газетами и смотрит телевизор, читатель за последние годы глубоко «политизировался», с другой, он достаточно «подкован» как читатель «желтой» литературы. (Италия занимает первое место в Европе по выпуску и чтению детективной литературы.) Крупнейшее издательство «Мондадори» недавно отпраздновало юбилей выпускаемой ею детективной серии — за 50 лет вышло 130 миллионов экземпляров книг, а число их читателей превысило 600 миллионов. Помимо «Мондадори» подобные серии выпускают и другие крупные издательства, например «Гардзанти».

Интерес к жанру и особенно к его новой разновидности — политическому детективу проявляют и литературоведы: вышло исследование Стефано Бенвенути и Джанни Рицони «Желтый роман. История, авторы и персонажи», в котором подчеркивается, в частности, своеобразие итальянского детектива.

Ю. Добровольская. Кого из писателей этого направления вы имеете в виду?

Г. Богемский. Поясню. Возьмем, к примеру, книги Фруттеро и Лючентини «Женщина появляется в воскресенье», Энцо Руссо «Нора горностаев», Аттилио Вераль ди «Взятка», многочисленные романы Фелизатти и Питторру, Лориано Маккиавелли. Местом действия раньше почти всегда служили города Севера, ныне «география» итальянского политического детектива расширяется — так Руссо, «дуэт» Фелизатти—Питторру повествуют о столице, Риме, который теперь так же охвачен терроризмом и преступностью, как и города Севера. Маккиавелли, например, во всех своих книгах живописует Болонью. «Дуэт» Фруттеро — Лючентини воссоздает характерный облик Турина, а Вераль ди рисует жизнь Неаполя. Это своеобразие фона, его конкретность—тоже одна из черт итальянского детектива.

А. Веселицкий. Насколько мне известно, «Женщина появляется в воскресенье» готовится к изданию в «Прогрессе».

Г. Богемский. Да, надеюсь, что наш читатель оценит этот роман. Авторы, отталкиваясь от загадочного преступления, за которым следует второе, показывают «в разрезе» жизнь города с его исторической, социальной спецификой, причем внимание их сконцентрировано на критическом, ироничном анализе жизни буржуазной верхушки. Они вскрывают аферы и нарушения закона при реконструкции и строительстве в городе. Роман экранизировал известный режиссер Коменчини, но фильм, увы, не стал бестселлером, как книга.

«Нора горностаев» — более типичный политический детектив. Нора горностаев — это органы итальянского суда и прокуратуры, где судьи облачаются в мантии, отороченные мехом горностая. Герой — Андреа Балестрини, молодой, подающий надежды судья,— принадлежит именно к этой горностаевой касте. Ведя расследование случайного дела, он погружается в дебри «высокой политики», становится свидетелем жестоких преступлений, проникает в планы заговорщиков, замышляющих фашистский переворот. Вместе с тем автор подводит читателя к мысли, что все подвиги заранее обречены на неудачу,— как ни будь смел и умен судья или сыщик, в Италии лбом стену не прошибить: «наверху» не позволят довести дело до конца, «начальство» заодно с теми, против кого борются рядовые слуги закона.

Один из представителей «большой» литературы, работающий в области политического детектива,— упоминавшийся Леонардо Шаша. Его повести, разоблачающие мафию, «День совы» и «Каждому — свое», публиковались в «Иностранной литературе» и «Прогрессе». Но в некоторых произведениях последних лет—тоже в детективных по форме повестях «Тодо модо» и «Контекст» — отразилось мрачное, безысходное, апокалипсическое и катастрофическое видение итальянской действительности, страх и растерянность перед нею.

За последние годы у нас публикуется до обидного мало произведений современных итальянских писателей; если судить по большинству тех, что выходят, у широкого читателя создается впечатление, что книги итальянских авторов слишком локальны, а то и провинциальны по своей тематике, да и по манере, а главное, как правило, скучны. Вину за такое превратное представление несут не столько итальянские писатели, сколько мы — переводчики и издатели, редко решающиеся выйти при отборе переводимых книг за пределы привычной «итальянской» проблематики и круга привычных имен авторов, а также и из круга привычных жанров. А между тем современная литература, особенно итальянская, как уже здесь говорилось, состоит не только из «весомых», толстых романов, но и из пьес, киносценариев, фантастики, политического и социального детектива. Происходит сложный процесс взаимопроникновения, взаимообогащения жанров. Политический детектив кажется нам именно одним из новых жанров, синтезировавших черты и социального, и психологического, и детективного романов, и боевой политической публицистики.

Будем надеяться, что и «традиционные» жанры откликнутся на сложные события современной итальянской действительности.

Л. Вершинин. Мои коллеги уже подробно говорили о состоянии литературных дел в Италии сегодняшнего дня. К этому трудно что-либо добавить. Безусловно, большинство итальянских писателей испытывает растерянность, а порой и отчаянье.

Приведу всего два, на мой взгляд весьма

характерных, примера. Первый — эволюция в творчестве Кальвино. От реалистических произведений о Сопротивлении — романа «Тропинка к паучьим гнездам» и сборника рассказов «Последним прилетает ворон» — он в 50-е годы перешел к «сказочному реализму» (так итальянская критика определила его трилогию — романы «Барон на дереве», «Разорванный надвое виконт» и «Несуществующий рыцарь»). В середине 60-х годов Кальвино опубликовал «Космокомические рассказы» в духе Беккета и Кэрролла, его «Алисы в стране чудес». Местом действия в них становится не земля, а космос, луна и звездные миры, и герой носит причудливое имя-символ.

Когда критики обвинили Кальвино в созерцательности и бегстве в мир фантазии, он ответил, что по-прежнему верит в исторический и социальный прогресс, однако настаивает на праве писателя искать. Прежде всего человек должен понять сам себя, разобраться в истоках, а уже потом анализировать прогресс и выявлять его закономерности. Уход от проблем современной Италии, попытка свести многое в жизни человека и общества к воле случая, фатальной неизбежности, пессимизм проявились с еще большей отчетливостью в его книге рассказов «Невидимые города» (1972). Здесь Кальвино стоит «над схваткой». На смену активной сопричастности событиям пришел период рефлексий.

Второй пример: Васко Пратолини. Вот уже восемь лет, как он молчит, видимо, пытается осмыслить новую реальность, которая больше не укладывается в «хоральное видение» его микрокосмоса — трудовой Флоренции.

Для Пратолини, как и для Кальвино, последнее десятилетие стало временем переоценки ценностей. Объяснить состояние растерянности среди писателей главным образом появлением «черных» и «красных» бригад, волной насилия, как это делает Богемский, было бы, по-моему, неточно. Еще в большей степени это связано с разочарованием, вызванным тем, что мечты о республике подлинной демократии не сбылись. Отсюда и смятение, и утрата веры в разум и справедливость.

И все же многие итальянские писатели пусть не часто, но создают сильные, запоминающиеся произведения. Тут я хотел бы сказать о том, что волнует меня особенно глубоко,— о критерии отбора книг для перевода.

Вот Добровольская говорила: «Как хорошо, что мы издали Камона!» Да, но ведь его дилогия — «Вечная жизнь» и «Пятое сословие» — книга элитарная, для литературных гурманов, так сказать. Да, она имеет полное право на перевод. С одной лишь оговоркой — только наряду с книгами, рассчитанными на широкий круг читателей, и притом в издательстве, а не в журнале. К тому же книги итальянских «деревенских писателей» — Камона, Леддy — при всей их добротности довольно скучны.

Ц. Кин. По-моему, тоже скучны. У Камона есть другой роман, посвященный проблемам экстремизма,— «Запад». Вот это очень интересно, хотя и очень спорно по трактовке проблем.

Л. Вершинин. Не секрет, что мы печатаем ограниченное число книг современных итальянских авторов. И мне кажется, что следует в основном переводить писателей и самобытных, и одновременно способных заинтересовать нашего читателя. Кстати, раз уж мы мало публикуем итальянских романов и повестей, нельзя ли периодически давать в журнале хотя бы подборки рассказов? Такие подборки раньше печатались. Тогда можно было бы пусть неполно, но представить нашим читателям таких крупных и почти им неизвестных писателей, как Ландольфи, Десси, Бассани, Прискo, Кастелланетта, Ренцо Россо, Ригони-Стерн.

В книге автобиографических рассказов «Возвращение на Дон» Ригони-Стерн с большой теплотой пишет о русских людях, которые при отступлении итальянской армии с Дона спасли множество солдат,— немцы бросили их умирать в заснеженной степи. Его самого, совершенно обмороженного, спас и приютил в переполненной беженцами избе крестьянин, у которого немцы забрали все до последнего. Это — книга антивоенная по своей сути и в то же время — теплая, лиричная, без тени риторики.

Интересным был опубликованный недавно в журнале диалог известного итальянского литературоведа Витторе Бранки с нашим итальянистом Руфом Хлодовским. Он был далеко не мирным, хотя и затрагивал тему, казалось бы, чисто академическую — временнóй границы в Италии между Средневековьем и Ренессансом. Хлодовский полемизировал с Бранкой тонко и аргументированно, что в любой полемике крайне важно.

И, наконец, вопрос о левой католической литературе. Наш читатель знает о ней совсем немного. А жаль! Ведь среди писателей-католиков есть такие яркие и своеобразные, как Баккелли, Сантуччи, Кьюзано.

Ну, и последнее. Большие писатели, писатели-демократы, отнюдь не всегда бывают последовательными. Пример тому — Леонардо Шаша. И издавать их произведения, как мне кажется, можно и должно в сопровождении аргументированных комментариев.

Вот, собственно, и все, о чем мне хотелось бы сказать. Остается лишь пожелать, чтобы мы, итальянисты, чаще собирались за круглым и любым другим столом. Польза от этого будет всем нам и прежде всего нашему общему делу.

Е. Солонович. Как это ни странно, Цецилия Исааковна ни слова не сказала об итальянской поэзии. И остальные тоже...

Ц. Кин. Да, каюсь, виновата.

Е. Солонович. Поэты — народ обидчивый, и я попробую за них заступиться, восполнив этот пробел.

Как вы знаете, после поэтического всплеска 40-х — начала 50-х годов, нашедшего отражение в ряде антологий молодых поэтов (вспомним лишь главные из них — антологии, составленные Сальваторе Квазимодо, Энрико Фалькви и Уго Фазоло), насту-

лил резкий спад: новая поэзия, выдвинувшая на первый план содержание, сюжет, сравнительно скоро исчерпала себя, десятки поэтов остались авторами одного сборника, и сегодняшний читатель часто не знает их имен. Поэты старших поколений либо писали очень мало (Унгаретти, Монтале), либо, за редчайшими исключениями, искали новые формы выражения в русле экзистенциалистской лирики (Луци, Серени, отчасти Квазимодо). Именно в это время стало принято говорить не столько о поэзии, сколько о поэтическом языке, и «темной» поэзии герметизма противопоставила себя еще более темная поэзия лексических головоломок, что после некоторого искусственного оживления резко отрицательно сказалось на отношении читателей к стихотворной продукции. И если такое охлаждение не сделалось хроническим, заслуга в этом принадлежит прежде всего представителям старших поколений поэтов и уж потом тем из неоавангардистов, которые отошли в своей поэтической практике от собственных максималистских теорий.

Излюбленный авторами литературных анкет вопрос об учителях, об испытанном или испытываемом влиянии принято обращать к молодым, а между тем очевидно и обратное влияние — живое воздействие молодой поэзии на творчество признанных мастеров. Так, в 40—50-х годах в процесс дегерметизации поэзии были вовлечены и сами герметики (назову того же Марио Луци). Экспериментальная поэзия конца 50-х — начала 60-х годов утвердила более свободную форму поэтического выражения, открыв лирикам, принадлежавшим к старшим поколениям, резерв неиспользованных возможностей. И они обратились к этому резерву, может быть, безотчетно: Монтале — в «Сатуре», «Дневнике» и «Тетради», Луци — в отдельных фрагментах последней книги, Серени — в «Месте отдыха».

Примером оживления интереса к поэзии в семидесятых годах могут служить два периодических издания: «Поэтический альманах Спеккьо» издательства «Мондадори» (первый номер вышел в 1972 году) и «Тетради Феникса» («Гуанда», первый выпуск — 1976 год).

«Тетради Феникса» ориентировались прежде всего на молодых авторов, мало известных читателям поэзии. Так как я хочу поговорить сегодня о поэзии молодых, я и остановлюсь на нескольких выпусках «Тетрадей Феникса», отражающих характерные особенности новой итальянской поэзии.

«Небесный огонь» Франко Корделли — пример рационалистической поэзии, «эру» которой открыли на рубеже шестидесятых годов пионеры нового авангарда — Джулиани, Сангвинети, Балестрини, Порта. О своих стихах Корделли говорит как о «текстах», подчеркивая собственную приверженность структурализму.

Установка на интеллектуальную поэзию часто приводит автора «Небесного огня» к риторике, однако Корделли умеет облечь риторические сентенции в ироническую форму пародии: «...ничто не меняется // под старыми лучами солнца». Впрочем, поэт забывает порой об этой своей установке, и тогда в его стихах появляются запахи и краски: «...от последних десяти лет остались лишь скучные запахи // пирамидальные тени елей смесь красок // и фигурки пара́ в Алжире // и водянистое слово «страх»... А вот пример обращения к далекой традиции — трогательные строки, перекликающиеся с «Цветочками» Франциска Ассизского: «Синьор дерево и синьора трава кто знает слушаете ли вы меня // такие далекие от клетки чувств и значений // синьоры листья от меня такие далекие».

«Западный вид платья» — первая книга Джампьеро Нери. Каждое стихотворение, включая представленные в сборнике стихотворения в прозе, отличают вкус к слову и завершенность, результат тщательной работы над выразительными возможностями поэтической речи. Приведу стихотворение в прозе: «В самом деле, ни один ребенок не играл на пляже, когда фронт урагана отделился от дальней черты и стал стремительно продвигаться вперед. Сначала, проносясь над поверхностью воды, он поднимает два тяжелых крыла и скрывается молча за пеленой облаков; и, внезапно извергнув свет, подобный свету кометы, приближается к нам. Значит, поздно откладывать объяснения до следующего раза. Я смотрю на мистический обвал воздушных замков».

Цецилия Исааковна Кин говорила о феномене «riflusso» применительно к итальянской прозе. Должен сказать, что феномен этот в не меньшей, если не в большей степени характерен для современной итальянской поэзии. Знаменательно, что политических и социальных мотивов чуждаются чаще молодые поэты: это объясняется, мне кажется, не столько их равнодушием к происходящему в стране, в мире, не столько неверием в завтрашний день, сколько еще ограниченным жизненным опытом.

Примером поэзии, отмеченной печатью «riflusso», можно считать творчество Мило Де Анджелиса. Его книга «Сходства» вышла в 1976 году, когда ее автору было двадцать пять лет. Де Анджелис артистичен, это чувствуется даже в самых внешне бесстрастных и прозаических пассажах, нарочито выделенных, дабы сделать рельефнее передний план. Смена планов, калейдоскоп предметов, явлений, событий делают особенно действенным остранение — прием, которым Де Анджелис пользуется постоянно, укрепляя ассоциативные связи между разорванными ситуациями, «долетевшими звуками» (заглавие одного из стихотворений книги), между двумя подчас бесконечно далекими мирами — внутренним и внешним:

...быть может,
должен холод решать, не зазнаваясь,
подсказать мгновенье, движенье,
чтоб коснуться пальто
на юг, на восток
от ее волос. Ну вот, приближается
ветер. Быть может, пора, почти что пора.
Он смотрит на нее, закрывает глаза,
ошибается.

(«Двое в силах»)

Чувство меры подсказывает молодому поэту решения, благодаря которым его сложные стихи никогда не превращаются в темные. Структура стихотворения у Де Анджелиса напоминает подчас путь вверх по лестнице, когда идущий перешагивает

через одну, две, несколько ступенек; нередко пробелы заполняет фон — Милан с его пасмурными осенними и зимними днями, признаки города или конкретное место, как в финале стихотворения «Где все сказано»:

Виа Пачини. Все сильнее дождь
Кто-то спросил у меня время.

Детали внешнего мира — это не только составная часть фона, но и существенная часть поэтического содержания, смысла, значения:

Огни колеблются в стеклах витрин
И хотели бы войти в значение.

Неприкаянный лирический герой Мил. Де Анджелиса довольно скептически смотрит на мир, лишенный для него гармонии, и любовь — единственное, быть может, в чем он ищет и находит отдушину. В любовных стихотворениях Де Анджелис особенно поэтичен, и весьма откровенные, подчас интимные строки звучат у него чисто и целомудренно. Чувство благодарности к женщине наполняет даже трагические слова прощания с любимой:

Теперь, когда называю тебя, не зовя
(штора колышется, проглядывает дождь),
плывя внизу,
есть секунда, чтобы снова начать
трагический конец любви,
ты свободна!

(«Теперь»)

Конкретное поэтическое мышление, характерное для большинства поэтов 70-х годов, их художественное видение предполагает определенную насыщенность стиха реалистическими элементами, из которых складывается скорее беглый реалистический набросок, выписанный этюд, чем картина. Такую поэзию, тяготеющую к реализму, но не достигающую всей полноты реалистических обобщений, хотя стремящуюся к нему, я бы назвал «контурной поэзией» — по аналогии с контурными картами, где суша и вода могут так и остаться белыми пятнами, пусть очерченными.

Подобных белых пятен немало в стихотворениях Анджело Лумелли. Его «Штука хорошая штука» (премия «Виареджо» 1978 года за первую книгу) представляет собой образец «непрерывной поэзии»: связь между фрагментами в каждой из трех частей скорее обеспечивается цепью повторов, порой трудно уловимых, нежели смысловым единством. Поэт как бы размышляет — то вслух, то про себя, и только точка или многоточие, вопросительный или восклицательный знак в конце каждого из фрагментов говорит о том, что автор считает мысль законченной:

...все одинаково длинно-предлинно
любое имя любая вещь
поэтому ни на коленях ни стоя
все происходит на своем месте
повязки на солнце
трещины высохнут.
Мы покорны покорны покорны
протесты бледнеют
свет слишком ярок
перед подсолнухом мы в сомненье
(даже ложь — все что угодно! —
поглощает нас уверяю тебя).

Представляя читателям книгу Лумелли, Джанкарло Майорино писал: «...битый и упрямый герой этих стихотворений болтает сам с собой... в судороге летящих мгновений перед лицом всего, что не является собственным «я».

Первоначально Лумелли собирался назвать свою первую книгу «Примеры афазии» (афазия — расстройство речи нервного происхождения)—под таким заглавием фрагменты будущей книги были напечатаны в антологии Альфонсо Берардинелли и Франко Корделли «Читатели поэзии», выпущенной издательством «Леричи» в 1975 году. Это «рабочее название» — ключ к книге, об авторе которой в упомянутой антологии говорилось, что он ведет «сражение за смысл, которое ему никак не удается выиграть и от которого он никак не может отказаться». Берардинелли и Корделли назвали эту борьбу «абсурдным героизмом, достойным Сизифа»; возможно, такой вывод подсказал авторам антологии сам Лумелли, когда, отвечая на предложенную ими анкету, писал: «Работа над языком не была спокойным экспериментированием, она была необходимостью».

Фрагменты Лумелли не производят впечатления нарочито запутанных текстов. Напряженный ритм, известное сопротивление материала (поэтического языка) способствуют ощущению доверия, доверия к поэту и к его трудному слову, к его простым, обыденным интонациям:

Итак ты остановился на отрицании
(именно там это случилось)
(в переходной точке)
любит не любит должна была наступить
новая радость (так нет же часами
ох часами!)

Поиски поэтического языка всегда, во все времена были проблемой номер один для поэта. Сегодня эти поиски приводят порой к диалектам, в которых слово чаще сохраняет свою первозданную свежесть, нежели в литературном общеитальянском языке. Мы знаем, что итальянские диалекты — не просто областные наречия или говоры, исторически они были языками, многие из которых имеют большую литературу — прежде всего поэзию. Мне кажется, диалектальную поэзию не следует рассматривать как альтернативу поэзии на итальянском языке; продуманное введение диалекта в итальянский контекст расширяет выразительные возможности поэта.

Очень свежее впечатление производит сборник Каролюса Л. Черголи «Красный мост». Триестинский диалект органично сочетается в стихотворениях Черголи с литературным итальянским языком, выбор диалектальной лексики учитывает возможности восприятия ее не только триестинцами. Музыкальность стиха, грациозность, лиричность, красочность рождают ощущение праздника. Город Звево и Сабы «не исчерпал своей способности творить и удивлять тонкими сюрпризами»,— писал о Черголи Пьер Паоло Пазолини.

В стихах Черголи не меньше, чем итальянская, ощутима славянская поэтическая традиция, выражено фольклорное начало. Стихи рождают живой отклик — и лириче-

ские строки о старом Триесте, и трагические страницы о жертвах нацистской политики расовых преследований.

Я взял несколько точек на поэтической карте, иногда близких, иногда значительно отстоящих одна от другой. Если говорить о лирическом герое молодых поэтов, не может не импонировать его беззащитность, то, как он порой маскирует ее: в иных случаях — иронией, в иных — бравируя всеразъедающим скептицизмом. Сдержанность или тень улыбки, когда речь идет о серьезных вещах, объясняется страхом перед патетикой, боязнью показаться ложно многозначительным, сфальшивить, дать петуха. Вместе с тем в книгах молодых обращает на себя внимание носящее порой болезненный характер увлечение потоком сознания, которое ведет к фрагментарности поэтических построений, определяет условный характер поэтического содержания.

Лучшие книги молодых итальянских поэтов несут в себе тот полемический заряд, без которого искусство обречено на застой. В целом итальянская поэзия сегодня в хорошей форме — я специально прибегаю к спортивной терминологии, дабы избежать таких громких выражений, как «подъем», «период расцвета». И мне хочется подкрепить свой оптимизм словами из интервью поэта и критика Франко Фортини журналу «Панорама»: «...один Монтале несколькими строками способен сказать больше правды о классовой борьбе, чем все романы Моравиа. Но это будет всегда лирическая правда, правда личного свидетельства».

А. Веселицкий. Если в значительной степени схематизировать сложившуюся ныне ситуацию в итальянской литературе, то она, пожалуй, определяется тремя главными факторами. Во-первых, это присутствие в литературе многих и славных в прошлом имен, которые сейчас предстают в виде неких монументов напоминающих о бурном неореалистическом взлете послевоенных лет. Эти писатели и сейчас порой нет-нет да и выпускают новые книги, которые зачастую кажутся даже написанными лучше, но удивительно напоминают уже когда-то читанное.

Во-вторых, и это относится прежде всего к поэзии, мы являемся свидетелями попыток, если так можно выразиться, посленеоавангардистского характера. В-третьих, в последние годы появилось множество молодых или относительно молодых авторов, чьи книги весьма любопытны, однако каждая из них — отдельное явление, которое невозможно соотнести ни с одной школой, ни с одной тенденцией.

И все же для особого пессимизма нет оснований. Сошлюсь в этой связи на мнение видного поэта и критика Джованни Рабони, который считает, что «нынешний этап — очень продуктивный. После того как закончился период, когда считалось возможным совершить истинную революцию, сделав главным ее действующим лицом язык, сегодня мы наблюдаем определенную смычку, определенное сближение различных движений, которые еще вчера отстояли друг от друга на многие тысячи миль. Ныне они сообща работают и над языком, и над содержанием... Одним словом, можно сказать, что сейчас итальянская литература концентрирует свое внимание и на форме, и на содержании, не отдавая предпочтения ни форме (как в 60-е годы), ни содержанию (как в послевоенный период)».

Но все это — о чисто литературных (если такие вообще существуют!) процессах. Главное, что волнует сегодня итальянский писательский мир, что становится центром наиболее широких и острых дискуссий,— это вопрос не столько о поэтике и ее формах, сколько о месте писателя в обществе, о его личности, о причинах, которые побуждают его к творчеству. Проблемы, которые в той или иной степени всегда были типичны для творческой жизни в общем-то очень политизированных итальянских литераторов, как уже говорили здесь, с особой остротой встали на повестку дня после похищения и убийства Моро.

«Не повинны ли и мы в той атмосфере тревоги, в том климате неуверенности, вследствие которого и стало возможно это преступление?» «А не оказались ли мы на положении некоей элитарной силы, ставящей себя (якобы или будто бы!) вне или над политикой, косвенно способствовавшей созреванию условий для «кровавого четверга» 16 марта 1978 года?» Эти вопросы в тех или иных формулировках, с той или иной степенью драматизма повторяются в последнее время практически во всех многочисленных дискуссиях.

«Представитель интеллигенции,— это слова известного общественного деятеля и писателя Амендолы,— не может ограничиться лишь созданием книг, пусть и прекрасных, или картин. Он, как и все, обязан не устраняться, но активно участвовать в политической борьбе, он должен сделать свой выбор и отстаивать его. Это — его демократический долг, как долг каждого гражданина, будь то крестьянин, рабочий или художник».

И, как бы отвечая на этот призыв, видный итальянский поэт, один из основателей неоавангардистской «Группы-63», Сангвинети, ныне избранный депутатом парламента по спискам компартии, пишет в одной из недавних статей: «Итак, что делать? Прежде всего бороться. Бороться против самой идеи того, что институты-де невозможно подвергнуть реформе, идеи, которая сама по себе стала чем-то вроде догмы. С университетской кафедры или с газетной полосы, из лаборатории или библиотеки, с завода или стройки каждый может гораздо объективнее (разумеется, при условии, что он не озабочен лишь спасением своей души) в практике каждого дня увидеть, каковы возможности организации и союзов, способных действуя внутри и вне «институтов», преодолеть разобщенность общественных и интеллектуальных формирований, преобразовав в соответствии с линиями культурной политики (я говорю именно «культурной политики», поскольку для меня этот термин сохраняет в полной мере свою действенность и значимость) весь исторический контекст, в котором нам приходится действовать».

«Преодолеть разобщенность общественных и интеллектуальных формирований» Попыток в этом направлении в последнее время предпринято немало. С ними связано и, на мой взгляд, появление новых литературных журналов.

Назову лишь некоторые из них. Это прежде всего наделавшее много шума издание «Альфабета», в редакцию которого входят крупные писатели: Умберто Эко, Паоло Вольпони, Марио Спинелла, Нанни Балестрини, Мария Корти.

Среди других новых журналов — «Кангуро», «Табула», «Арма проприа», «Аутобус». При немалом различии, а часто и противоположности политических установок и литературных задач все эти издания объединяет общая тенденция: усиленное внимание к новым авторам, ориентация на молодежь.

Но может ли издание, охватывающее сравнительно ограниченный круг читателей, сколь-нибудь серьезно влиять на формирование позиций молодежи? Крупный специалист по истории итальянского языка, редактор журнала по проблемам семиотики «Струменти критичи» Мария Корти видит предпосылки успеха в том, что «в Италии ныне сотни молодых людей пишут стихи. Технология делает жизнь более серой, драматически однообразной, и люди вновь открывают в себе любовь к природе, к искусству, к творчеству. Для этого, как воздух, необходимы специальные, серьезные и независимые от издательств журналы».

Какую роль играют современные журналы, если сравнить их с изданиями 60-х годов? Видный поэт и литературный критик Манакорда подчеркивает, что нынешний литературный журнал не должен быть продуктом узкого и замкнутого круга лиц, поскольку «литература развивается не по группам, она должна прежде всего помогать понять, что происходит с нами, куда мы идем».

Свидетельством роста общественной активности итальянских литераторов, их стремления установить и укрепить прямую связь «автор — читатель», минуя крупные издательства, «делающие погоду» на книжном рынке, является и возникновение нескольких новых литературных объединений, в частности, «общества поэзии» в Милане. Около 200 поэтов, литературных критиков, журналистов создали здесь акционерное общество, которое ставит своей задачей публикацию семи поэтических сборников ежегодно — практически на собственные средства. В комитет, который будет решать вопрос о публикации той или иной книги, вошли Стефано Агости, Джузеппе Понтиджа, Маурицио Кукки, Франко Корделли и Марианто Прина, то есть литераторы с именем и авторитетом.

Среди важных литературных событий последнего времени нельзя не назвать и международный фестиваль поэзии в Кастельпорциано, близ Рима. При всей спорности его организационных форм, инициатива заслуживает внимания как практически первая попытка вынести поэзию «на публику» по примеру тех поэтических вечеров, которые давно уже стали у нас традицией...

Одним словом, мы правомерно говорим о кризисе, переживаемом современной итальянской литературой. Но это — не кризис застоя. Это — кризис поиска, мучительного, подчас весьма противоречивого, который в известной степени отражает сложный этап внутриполитического развития страны.

Критика

С. ПРОЖОГИНА

ПОРА ТРЕВОГ И НАДЕЖД

О некоторых аспектах творчества франкоязычных писателей стран Магриба

Если бы была необходимость в нескольких словах определить, чем ознаменовалось прошедшее десятилетие в литературах Алжира, Марокко и Туниса — трех стран Северной Африки, которые принято называть Магрибом [1],— то, наверное, ближе всего к истине оказались бы слова, принадлежащие французскому поэту Гильвику: «Верность грядущим веснам».

И действительно, идеалы национально-освободительного движения, борьбы народов Магриба против общего врага — колониализма, которая привела в конечном счете к установлению независимости во всех трех странах (в Марокко и Тунисе в 1956 г., в Алжире в 1962 г.), до сих пор во многом определяют позицию писателей как старшего, так и нового поколения. Эти идеалы были связаны прежде всего с надеждой на обретение свободы, задушенной «черным саваном колониальной ночи», царившей сто тридцать с лишним лет в Алжире и более полувека в Марокко и Тунисе. Свободы не только от колониального гнета, но и от наследия феодального прошлого, от которого колониализм не давал избавиться народам Магриба.

«Верность грядущим веснам» — это и есть отразившаяся в литературе, свято хранимая народами надежда на то, что прошлое не вернется никогда.

Несомненно, новая жизнь, новые социально-политические условия, сложившиеся в трех странах Магриба после достижения независимости, существенно разнятся между собой.

В Марокко еще сохраняются формы феодального правления — королевская власть, хотя и заметно приспосабливающаяся к развивающимся в стране буржуазным отношениям. В соседнем Алжире избран некапиталистический путь развития и провозглашена социалистическая ориентация государства. В Тунисе налицо институты республиканского буржуазно-демократического устройства. Результаты антиколониального движения в Магрибе, таким образом, дифференцировались в разных политических курсах трех его стран. А это, в свою очередь, повлияло и на характер и цели социально-экономических и культурных перемен в Марокко, Алжире и Тунисе.

Для писателей, представителей радикально настроенной интеллигенции, по-своему выражающей интересы народа, озабоченного укреплением независимости, небезразлично, конечно, насколько прогрессивные лозунги, выдвигавшиеся в период национально-освободительного движения, соот-

[1] Что по-арабски означает «запад», т. е. лежащие к западу от Нила страны, географическая, историко-культурная, этнографическая и лингвистическая близость которых позволяет такого рода «зональное» объединение.

ПРОЖОГИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА.

Советский литературовед, переводчик. Кандидат филологических наук. Автор работ по истории литератур стран Северной Африки.

ветствуют в действительности тем мероприятиям, которые осуществляются в их странах в послеколониальное время. Вот почему усиливающееся сегодня проникновение неоколониализма в Марокко или всестороннее стимулирование в Тунисе сил, ориентирующихся на капитализм, на укрепление буржуазной идеологии, не могут не повлиять и на характер недовольства или даже протеста и бунта, которые возникают в творчестве современных писателей этих стран, ожидавших иных итогов антиколониальной борьбы. И это недовольство, этот протест, естественно, несхожи с критическими тенденциями в произведениях их алжирских собратьев по перу.

Писатели революционно-демократического Алжира, борясь с наследием колониализма, с пережитками феодализма, с противоречиями новой жизни, стремятся «очистить» ее от пороков, мешающих подлинному прогрессу нации. Для них литература — носительница социально активного начала, участница созидания нового общества, в которое — и писатели в этом глубоко уверены — невозможно идти с грузом прошлого: традиционным укладом жизни, невежеством, предрассудками и социальной отсталостью.

Когда алжирского писателя Рашида Буджедру спросили, почему он мало пишет об алжирской войне (1954—1962), до сих пор остающейся одной из основных тем творчества многих его соотечественников, Буджедра ответил, что война — это прошлое, его же как художника интересует только будущее. И во имя этого Будущего он и ведет свой бой с тем, что мешает в Настоящем дышать воздухом подлинной свободы и независимости.

В Марокко протест принимает иные формы. Писатели, особенно молодые, ставят под сомнение существующий строй, «низвергают» его в своих произведениях, гневно и беспощадно обличая признаки нового рабства, в котором держат народ королевская власть, духовенство и неоколониализм. И это не анархический всеразрушающий бунт, но прежде всего — социальный протест против застывших «склеротических» форм современной истории Марокко. Это протест поколения, для которого израненная земля родины становится собственной «открытой» раной, болью души и сердца. И о ней оно стремится поведать в своих книгах — их названия словно кричат от этой боли: «Люди под саваном молчания», «Миндальные деревья умерли от ран», «Шрамы солнца»[1], «Татуированная память»...

Новое осмысление истории и современной реальности своей страны свойственно и писателям Туниса, боровшимся за освобождение от ига колониализма; нынешнее социально-политическое развитие родины разрушило у них немало иллюзий, породило сомнения, неуверенность и даже пессимистический взгляд на будущее.

Однако нельзя не увидеть очевидную общность многих примет художественных процессов, происходящих в литературах стран Магриба при всей разности путей их нынешнего развития. Это — и уже отмеченная верность писателей лучшим традициям, возникшим в эпоху формирования новых литератур Магриба: как литературы собственно национальные они складывались именно в период подъема национально-освободительных движений (40—50-е гг.). Это — и продолжающееся двуязычное развитие литератур: французский язык, который в свое время алжирский писатель Катеб Ясин назвал «винтовкой, вырванной из рук врага», до сих пор служит писателям Северной Африки, хотя здесь за последнее время значительно вырос отряд арабоязычных литераторов[1]. Но главное, на наш взгляд, это проблемное сходство творчества многих современных писателей и определенное единство избираемых ими эстетических принципов.

С появлением в литературе таких имен, как Набиль Фарес, Рашид Буджедра, Тахар Бенджеллун, Мухаммед Хайреддин, Абделькебир Катиби, а также с началом нового этапа в творчестве некоторых признанных «корифеев» литературы Магриба исследователи заговорили о «новой волне» в литературах Марокко, Алжира и Туниса. С этим понятием связывают не только усиление тенденций, уже ранее наметившихся в этих литературах, но и появление не свойственного прежде североафриканским писателям «почерка» — приемов и способов литературного письма — и особого характера взаимоотношений художника с реальной действительностью.

Еще в 1972 году «Иностранная литература» познакомила своих читателей с интервью марокканского писателя А. Лааби, основателя журнала «Суффль» («Веяния»),— вокруг него объединились в 1966 году главным образом молодые писатели трех магрибских стран, однако в нем охотно сотрудничали и представители старшего поколения. Журнал издавался на французском языке, но печатал и переводы произведений арабоязычных литераторов. Вот почему «Суффль» надолго стал своеобразным зеркалом тенденций, одновременно сосуществовавших в литературах Алжира, Марокко и Туниса послеколониального периода. «Что касается молодой литературы,— говорил Лааби,— которая начала развиваться в последние годы, она открывает миру совсем другой Магриб. Она грубо сдирает кожуру с неверных европейских представлений о наших странах. Я хотел бы как можно дальше углубиться в нашу историю, в ней отыскать ответ на те вопросы, которые жгут нам губы сегодня... Я буду дальше искать, вопрошать, звать. Пытаться вырвать из жизни все ненужное. Это мой путь, и он, я думаю, не очень отличается от пути поэтов и писателей в других арабских странах»[2].

Многие из литераторов, начинавших на страницах «Суффль», сейчас — ведущие ма-

[1] Об этих книгах см. рецензию «Инсем покрытые ростки надежды» в «ИЛ» № 5, 1978.

[1] Об этом см. интервью Ат-Тахира Ваттара «Жизнь ставит новые задачи» в «ИЛ» № 12, 1979.

[2] «ИЛ» № 11, 1972, стр. 282.

С. ПРОЖОГИНА

ПОРА ТРЕВОГ И НАДЕЖД

стера литератур Алжира, Марокко, Туниса. Разумеется, каждый избирает свой круг национальных задач, тем, творчество каждого отмечено собственным индивидуальным стилем. Но главным, определяющим для всех признаком становится стремление показать нелегкий путь своих народов к полному раскрепощению, к духовной «деколонизации», к социальному и культурному прогрессу. Стремление понять национальное прошлое, трезво оценить настоящее, а иногда и попробовать различить контуры грядущего, во имя которого завоевывались свобода и независимость. Не всегда удается четко уловить его очертания. Но почти всегда писатели показывают нам то, от чего необходимо избавиться уже сегодня, то, что мешает человеку и обществу продвигаться вперед.

Социально-политические перемены в странах Магриба определили новые взаимоотношения писателей с окружающей действительностью, а это в свою очередь изменило и характер реальности художественной, запечатленной в их произведениях. Вот почему, как нам кажется, можно говорить об эволюции характера нынешней североафриканской литературы в целом,— мы попытаемся показать это, анализируя наиболее крупные произведения, написанные в последнее десятилетие представителями франкоязычной части литератур Магриба.

Что же нового дает нам франкоязычная литература для понимания современной действительности Магриба? Какие аспекты творчества писателей «новой волны» и старшего поколения позволяют говорить об общей эволюции литератур Магриба наших дней о качественно новом этапе тридцатилетней истории? В центре внимания писателей — трезвая оценка действительности, борьба против пережитков феодализма, борьба с теми формами капиталистической цивилизации Запада, которые грозят уничтожением самобытных культур, стандартизацией, бездуховностью. А выход народов в современную историю, их политическая независимость заставляют писателей и художников еще острее и больнее переживать чудовищные проявления колониального расизма и шовинизма, до сих пор отравляющих жизнь североафриканцев, работающих в Европе. Все эти темы, с самого начала объединявшие алжирскую, марокканскую и тунисскую литературы сейчас особенно ярко проявляются в творчестве молодых магрибских писателей, выступивших в последнее десятилетие.

Утрата некоторых иллюзий и надежд на решение всех проблем немедленно после освобождения от колониального гнета, не всегда оптимистическое восприятие будней трудного переходного периода особенно характерны для молодых писателей Алжира. Подобные настроения, правда возникающие на другой социально-политической основе, свойственны отчасти и писателям других стран Магриба. Но сближает всех жажда разобраться в социально-исторической реальности с точки зрения человека нового времени, ищущего дорогу в мир будущего.

Свой первый роман марокканец Катиби (род. в 1941 г.) назвал «Татуированная память» (1972); по жанру это роман-биография, повествующий о детстве, юности писателя, годах учебы в Марокко и во Франции, о процессе становления личности, об «открытии» мира, вместившего в себя Восток и Запад,— словом, приблизительно о том, что занимало и предшественников Катиби. Но способ изображения, тональность романа, отношение героя к воспоминаниям о прошлом заметно выделяют книгу из прежней, в основном описательной, традиции.

Катиби намеренно отступает от этой традиции. Роман воспитания в той его форме, в какой он сложился в Магрибе — от «Сына бедняка» (1950 г.) М. Ферауна до «Соляного столпа» (1953) А. Мемми, включая «Ларчик чудес» (1954) А. Сефриуйи, где раскрывалось постепенное становление человека,— превращается у Катиби в «роман испытания»: биографическая канва призвана показать, с каким духовным багажом герой встречает сегодняшний день и намечает свой новый путь. Память о мире ушедшем, память человека уже взрослого, способного зафиксировать лишь те моменты, которые оставили глубокий след, «вытатуировалась» в сознании героя, повлияла на его мировоззрение. Поэтому для Катиби воспоминания о детстве и юности не столько особый процесс воссоздания картин жизни минувшей (как у Ахмеда Сефриуйи или у Мулуда Ферауна), сколько попытка ее «внутреннего» измерения.

Катиби как бы размыкает временные рамки, прошлое совмещает с настоящим, наполняет финал книги пророческими интонациями, поэтическими озарениями, видениями будущего и, таким образом, выходит за пределы романизированной биографии, которая, как ему кажется, была ранее для писателей лишь способом выявить себя, свою человеческую индивидуальность.

Катиби впервые в марокканской литературе вводит в воспоминания художественную хронику «горячей эпохи» — борьбы марокканцев за независимость, размышления о послевоенной действительности, о периоде хозяйничанья в стране американцев и об эпохе «взлета» народной истории накануне независимости, когда всем казалось, что «страна плывет к берегу надежды». В этой хронике — как в зеркале — энтузиазм и надежды народа истоки будущих разочарований молодой интеллигенции, желавшей видеть в освободительной борьбе против колонизаторов одновременно и глубокую социальную революцию. «Под защитой своего бога страна стряхивала с себя вековую сонливость. Постепенно яростный гнев овладевал людьми. Это уже не было похоже на страну моего детства... Неисчерпаема была пьянящая радость встречи с новым днем. Независимость казалась немыслимым счастьем которому невозможно было сопротивляться: это было как обретение себя, о котором мечтали до безумия»... Но вопрос «кому достались плоды независимости?» постоянно, подспудно присутствует в романе, придает ему напряженность и эмоциональность, и именно поэтому так взволно-

ванно и страстно Катиби повествует о проблемах, тревоживших не одно поколение и продолжающих оставаться важными еще и сейчас, ибо они — следствие противоречий, порожденных колониализмом. Главное для героя романа — столкновение с Западом, невозможность отторгнуть его наследство, которое впиталось, усвоилось и стало неотъемлемой частью культуры интеллигенции предшествующих поколений, и в то же время стремление «очиститься» от того, что было и продолжает оставаться порождением буржуазной цивилизации: националистических предрассудков, расизма, антигуманных устремлений, приводящих к угнетению и подавлению одних народов другими, искусственному прерыванию их исторического и культурного прогресса.

В проблеме «Мы и Запад» для Катиби основное — не только в самоутверждении «Мы» — мира угнетенных. Он предупреждает и об опасности как некритического отношения к противостоящему миру — «Они», так и огульного отрицания его. Суть неприятия Запада для писателя и его героя — не просто в отмщении за «колониальную ночь», не в анархической жажде разрушения прежних идеалов, разрушения слепой веры в цивилизующую миссию Европы и не во взрыве ярости бунтующей личности, отстаивающей свою непохожесть на других. Осмысление дилеммы «Мы» и «Они», самоутверждение человека и его нации происходит в книге Катиби как обретение уверенности в единственном смысле истории: народы должны жить свободными от всех форм угнетения. Так воспоминания о детстве и юности, ставшие историей судьбы человека и его народа, преодолевшего отчуждение от собственной национальной истории и выходящего на новую дорогу, вывели традиционный роман-биографию на путь изображения конфликтов самой эпохи концентрированного выражения проблем духовной деколонизации.

Другой марокканец — Тахар Бенджеллун (род. в 1944 г.) — тоже выступил с книгой размышлений о своем «присутствии в мире». Его роман-поэма «Харруда» (1973) — картина символического пробуждения жизни от векового сна колониальной ночи, о горькой истории Марокко, о нескончаемых войнах, терзавших в прошлом эту многострадальную землю, об извечно деливших и грабивших страну чужеземцах рифской[1] революции и причинах ее неудачи, о ее вожде Абдаль-Кериме, преданном феодалами, и о забвении людьми своих героев и своих идеалов, об их бездействии, о трудном и долгом пути народа оторванного от родины, но глубоко и свято хранящего любовь к ней и согревающего теплом этой любви инеем покрытые ростки надежды на светлое будущее...

Тема родины, кровной привязанности к ней олицетворяется в романе полумифическим, полуреальным существом Харруды. Она появляется в романе то в «низком», пугающем образе принадлежащей всем женщины, то в облике независимой, овеянной легендой таинственной жены великана, притягивающей, манящей к себе, зовущей и ускользающей в небытие, но внезапно снова возникающей как надежда, как «птица», как «сирена». Этот многослойный образ очень емок: женщина — страна — народ — история. Он чрезвычайно важен для писателя, и потому Бенджеллун «выстраивает» его, отклоняясь от событийной логики. Цикличность исчезновений и пришествий Харруды в романе — это и есть «река жизни», о которой вспоминает писатель, ее течение, ее крутые берега и обрывы, пороги и разливы, река, которую «иссушали суховеи, поили дожди». Но всякий раз, что бы ни случалось, Харруда выживает, даже тогда, когда, казалось, ее настигла смерть... Так с образом Харруды возникает один из основных мотивов романа: непрекращаемость, неубиваемость жизни народа и его «омытой кровью» истории. Харруда, как птица-феникс, постоянно возрождается из пепла пожарищ. Сочетая в Харруде стихийное, природное свободолюбие, могучий вольный дух с ее несвободой, плененностью, с поруганной честью, Бенджеллун создает символ родины и ее многострадального народа.

В романе возникает и дублирует Харруду образ Матери, в которой — черты живой женщины наших дней. Она «берет слово» и рассказывает историю своей жизни, где «реальное время», вытесняя, как говорит Бенджеллун, «время фантастическое», заполняет страницы книги, свидетельствуя о трагической судьбе марокканки, живущей в вечном плену религиозных законов и традиционной морали.

Позднее в одном из интервью Тахар Бенджеллун так выразит понимание этой острейшей социальной проблемы, актуальной в Марокко и сегодня: «У нас много говорят о женщине. Но лично я не верю нисколько в свободу женщины в буржуазном обществе. Эта свобода завоевывается только в классовой борьбе. Правда, смена социальных структур еще не означает автоматического исчезновения феодальных пережитков в лоне семьи. Освобождение женщины может произойти только одновременно с освобождением всех эксплуатируемых и угнетенных»

Конечно, «Харруда» — произведение тематически и проблемно более насыщенное, и «женская проблема» — лишь одна из поставленных в книге хотя тема Матери звучит здесь особенно сильно. Таким образом, романизированная биография, повествование о жизни прошлой, включила в себя и яркую социальную картину настоящего, превратив мир «Харруды» из полуфантастических-полуреальных «видений» и воспоминаний детства в своеобразную аллегорию не только исторической, но и современной действительности.

«Харруда», конечно, тесно связана с поэтическим творчеством писателя, с образа-

[1] Восстания племен в горной области Риф против французской и испанской колонизации в 1919—1926 гг., окончившиеся поражением.

С. ПРОЖОГИНА

ПОРА ТРЕВОГ И НАДЕЖД

ми и темами тетрадей его стихов «Шрамы солнца» (1970), «Люди под саваном молчания» (1973) и «Миндальные деревья умерли от ран» (1975). В поэзии Бенджеллуна, по точному замечанию его соотечественника М. Хайреддина, «возрождается миф о народе, сроднившемся с солнцем, спаянном с ним кровными узами... За эту любовь, за этот союз ему приходится жестоко расплачиваться с прожорливыми хищниками, торгующими его страной. Книги поэта полны символов. Но в каждом стихе, в каждой фразе — освежающий ветер, в дыхании которого — надежда на возрождение...». Это точное определение всего мироощущения художника, которое присутствует и в романе-поэме «Харруда». Ведь в нем Бенджеллун, обнажив «шрамы» своей памяти, памяти об истории многострадальной страны, рассказал и о своих мечтах, о празднике, когда земля оденется в «серебряный сад», солнцем зальет небо и в «каждой руке вспыхнет звезда надежды»...

Творчество марокканца Мухаммеда Хайреддина (род. в 1941 г.) — от всколыхнувшего марокканскую литературу романа «Агадир» (1966) до «Запаха гари» (1976) — взволнованный диалог со своей страной, народом, его историей и его настоящим. Герой Хайреддина почти всегда анонимен, его условное имя — Аннигатор, то есть отрицатель; его единственный паспортный знак — «Королевство Марокко». И у всех персонажей поэм и романов Хайреддина как бы разные ипостаси, различные варианты этого одного героя. У них схожее детство, вернее, воспоминания о нем. Они пронизаны ощущением кошмарного сна, тягостной атмосферы несвободы, безысходности и тоски. В памяти — жуткие картины ритуальных заклинаний, изгнания злых духов из тела больных, смерть «прародителей», обряды омовения и погребения усопших, неделями длящихся поминальных оргий, сопровождающихся бойней животных. И... отвержение матери, изгнание ее из дома, предательство старейшин рода, их помощь колониальным властям и, наконец, прорыв через этот кошмар, исход из прошлого, в котором было «невозможно дышать»... Такой реестр страданий практически повторяется в книгах многих современных писателей Магриба, тем более что традиционные формы жизни, коренящиеся в истории этих стран, имеют немало общих черт. Но Хайреддин, показывая, какие «отрицательные частицы»[1] этого мира подлежат уничтожению словно конденсирует в своих книгах отрицательный заряд окружающей его действительности, охваченный нетерпеливым и страстным ожиданием только одного — очистительной бури катаклизма когда в недрах земли исчезнет навсегда изображаемый им «отрицательно заряженный мир».

В неприятии его Хайреддин приходит в поэтическом воображении даже к его «интегральной дезинтеграции»: «Знайте, что все взорвалось сегодня утром: теперь вокруг только море огня. Взрыв разносит и меня на части, разрывает мою кожу на лоскуты, которые осыпаются с неба цветами сожженного мира».

Однако в кажущемся анархическим бунтарстве есть всегда внутренняя причинность, точно указан адрес яростного гнева героя: королевская власть, феодализм, догматы религии, жрецы-имамы, прислужники короля, держащие в нищете и бесправии народ. Вот почему, как мечтает один из героев Хайреддина, надо «очистить пространство» для грядущего царства справедливости, надо «выбелить землю» и построить «город-звезду».

В романе «Запах гари» писатель, обрушиваясь на тех, кто отнимает у его древней земли ее «молодую улыбку», кто обескровливает ее недра, кто торгует ее солнцем и строит темницы для народа, говорит: «Я люблю свою страну. Здесь я пью вкусное молоко. Здесь меня учат будущему. Здесь — все те, кого я люблю. Эти старые земли наших селений. Старые земли, которые кормили наших предков и продолжают кормить и нас... Эти земли... Я никогда и ни за что больше никому их не отдам. Они — сама моя плоть, моя кровь и кровь тех, кто еще будет жить на них... И если посмеют их тронуть — я все предам огню и мечу...»

Вне этого контекста — связи «негативного» мироощущения Хайреддина с родной почвой, с действительностью его страны, его особого, пусть «отрицательного» контакта с реальностью,— невозможно понять и гнев его Аннигатора. «Ведь поэт,— сказал Хайреддин,— это тот, кто питается тоской по грядущему...»

Прозвучавшая в книгах марокканцев Бенджеллуна и Хайреддина тема Матери в творчестве алжирца Рашида Буджедры (род. в 1941 г.) носит характер философского обобщения, отражающего идейную позицию художника в тот период, который связан с провозглашением социалистических преобразований в Алжире.

Рашид Буджедра по-своему остро и эмоционально реагирует на происходящие в стране события, отвергая «старое зло», и это его, как художника, сегодня особенно волнует. Поэтому нынешний этап творчества Буджедры несколько отличен от его первых поэтических опытов, собранных в книге стихов «Чтоб больше не мечтать» (1965). Прежний пафос утверждения нового, стремления к активному, позитивному действию сменился в его романах пафосом обличительным, направленным на сокрушение того старого, что осталось в наследие от колониализма.

Традиционный алжирский мир воссоздан писателем в романе «Отвержение» (1969) в образах страшных и уродливых, всплывающих в памяти душевнобольного Рашида — так зовут героя романа,— во вспышках его галлюцинаций и горячечного бреда. Невероятное количество людей — членов огромного старинного рода, населявшего большой фамильный дом,— жило, подчиняясь воле и прихотям его главы, Патриарха племени, в нем как бы

[1] «Corps négatifs» — так называется одна из книг Хайреддина.

сфокусирован весь уходящий мир, чьи обычаи и нравы предает анафеме Рашид.

Буджедра сознательно ведет читателя по таким тайным и мрачным лабиринтам жизни, о которых никто и никогда в Алжире не писал, но которые имеют для автора особый смысл. Прошлое в его изображении вызывает ужас и отвращение; но это — не самоцель, а своего рода определенный способ доказательства необходимости избавления от этого мира. Вот почему мотив изгнания Матери, «отвержение» ее Патриархом, возжелавшим взять себе в жены другую женщину (мусульманский закон на его стороне), постоянно варьируется в романе, приобретая все новые оттенки. В конце романа он начинает звучать трагическим диссонансом, выражающим расторжение самой гармонии жизни, распад изгнавшего Мать мира.

Несомненно, что Мать из «Отвержения», как и Харруда, и Мать Тахара Бенджеллуна, так же как и катебовская Неджма [1],— образы, символизирующие поруганную в прошлом, обездоленную родину, лишенную свободы и счастья.

С образом Матери-родины постоянно связаны возникающие в памяти героя другого романа Буджедры — «Солнечный удар» (1972) — воспоминания о несчастьях и бедствиях, все время обрушивавшихся на страну, о крови, непрестанно лившейся на этой истерзанной земле. Такого рода часто возникающие в романе «параллелизмы» делают понятным и смысл неотступно преследующего Мехди «кровавого наваждения»: оно следствие не столько «травматизма» его сознания, сколько «травматизма» исторического, сопряженного с реальными трагедиями национальной истории.

Герои романов «Отвержение» и «Солнечный удар» стихийно не приемлют старого мира, где сама атмосфера, даже запахи окружавшей жизни казались чем-то «удушливым, томительным и тягостным». Потом, повзрослев, они научатся различать истоки зла, вырастающего из миропорядка, основанного на угнетении. И в новой действительности, пришедшей на смену колониальному укладу, они отвергают то, что еще невидимыми нитями с этим прошлым связано,— слишком велико нетерпение увидеть плоды социальной и политической революции, свершившейся в результате упорной семилетней борьбы с колониализмом.

В романе Буджедры «Идеальная топография для типичной агрессии» [2] (1974) разрабатывается тема североафриканской эмиграции во Францию. Трагический образ сошедшего с ума эмигранта-алжирца, который, сидя на больничной койке, мог лишь рисовать черный дым труб оставшегося у него в памяти большого европейского города, мелькнул на страницах «Солнечного удара». Но если этот несчастный был уже итогом разрушения человеческой личности в условиях бесчеловечной эксплуатации, то в «Идеальной топографии» писатель показал истоки и характер «агрессии» капиталистической цивилизации, которая приводит к гибели героя его романа. Причем убийство североафриканца рассвирепевшими фашиствующими молодчиками в парижском метро в мирное время не было придумано Буджедрой — он использовал лишь факт из газетной хроники.

Писатель предупреждает и о тревожных сигналах наступления технократии, стандартизированной бездуховности и отчуждения людей, живущих в плену рекламы капиталистического мира. И он видит их и там, где еще не совсем покончено с остатками колониального прошлого. Об этом — «Упрямая улитка» (1977), страшная притча о духовном бесплодии человека, ставшего рабом технократического царства.

Как можно было отметить, главное для Рашида Буджедры — показать то, чего в этом мире он, гражданин и художник, не приемлет. Но именно поэтому сама проблема преобразования действительности поставлена в его творчестве во всей остроте и обнаженности. Ибо человеку, считает писатель, участвующему в созидании нового общества в эпоху противоборства разных сил и ломки многих представлений, важно понять, с чем невозможно идти вперед, в будущее.

Алжирец Набиль Фарес (род. в 1939 г.) независимость своей страны завоевывал сам, будучи бойцом Армии народного освобождения. Поэтому ему, как и Рашиду Буджедре, особенно небезразличны все процессы, связанные со строительством нового Алжира. И, возможно, поэтому для него так важно еще раз осмыслить, чем была вчерашняя жизнь, отыскать в ней причины сегодняшних противоречий, найти способы их преодоления, нащупать опору, которая могла бы удержать нарушенное равновесие, гармонию отношений с окружающей действительностью.

Набиль Фарес с первых шагов зарекомендовал себя как художник, усвоивший лучшие традиции алжирского романа и не только в том его проявлении, которое наблюдалось в творчестве М. Ферауна, М. Маммери, М. Диба и М. Хаддада. Он был и последователем творческих принципов Катеба Ясина, соединявшего в особый сплав социально-критический аспект, поэтическую фантазию, элементы сюрреалистической ассоциативности и острую политическую проблематику, что и обеспечило творчеству Катеба Ясина особое место во франкоязычной литературе Магриба 50-х — начала 60-х годов. Опубликовав почти одновременно вышедшие два первых произведения «Неудачник Яхья» (1970) и «Песнь Акли» (1970), Набиль Фарес еще раз подтвердил укрепившуюся в алжирской литературе жизнеутверждающую тенденцию.

Вступление народа в великую битву за освобождение страны от чужеземцев, не-

[1] Героиня романа алжирского писателя Катеба Ясина «Неджма» (1954), переведенного на русский язык.

[2] Об этом романе см. рецензию «Лабиринт смерти...» в «ИЛ» № 1, 1977.

С. ПРОЖОГИНА

ПОРА ТРЕВОГ И НАДЕЖД

избежность слияния судьбы каждого алжирца с судьбой своей нации — вот тема «Неудачника Яхьи». Герой романа убежден: родина должна быть свободной. Алжирская война воспринималась Яхьей как свершающееся историческое возмездие, и потому осознание своего гражданского долга для него естественно, хотя и приходит он к нему через горечь потерь и утрат. Франция стала его второй духовной родиной, там он учился и там жила его любовь — Клодин. Яхью прозвали «неудачником» — ему приходилось уезжать туда, где рвались бомбы, гремела война. Но его решение было твердым, он считал своим человеческим и гражданским долгом отомстить за погибшего в горах брата-партизана. И Яхья вернулся на родину, чтобы остаться с теми, кто боролся «за свободу и истину».

В романе «Пассажир с Запада» (1972) угол зрения Фареса несколько меняется: теперь в алжирской войне писатель различает два аспекта. Первый — национально-освободительный, второй, связанный с итогом этой войны, привел, как полагал писатель, к конфликту внутреннему: арабо-берберскому. Обостренно, порой болезненно-гипетрофированно реагируя на политику арабизации[1] (Фарес по происхождению бербер из Приморской Кабилии), романист устами своего героя выражает сомнение в разумности мер, направленных на консолидацию алжирской нации вокруг единого языка и единой культуры. По его мнению, это может привести к ущемлению прав неарабских народов Алжира, особенно берберов, составляющих значительный процент населения... Такого рода настроения уводили писателя от конкретно-исторического осмысления действительности в область абстрактных философских размышлений о смысле жизни и смерти, о войне и мире, о сущности человеческого бытия вообще — они и легли в основу его цикла «Открытие Нового мира. Книга Бытия». Первая часть цикла вышла в 1974 году и называлась «Поля олив». Оливы, выстоявшие в огне войны, становятся в книге символом вечных неистребимых надежд человечества на «обретение сверкающих далей», на жизнь без войн, без насилия, без человеческих жертв. Это мироощущение, постепенно овладевавшее писателем, утвердится и в его следующей книге, втором томе цикла — в романе «Память отсутствующего» (1975). Здесь Фарес еще раз вернется к былому, к алжирской войне и покажет на сей раз как бы антивариант своей первой повести «Неудачник Яхья». То, что сумел преодолеть Яхья, не преодолел герой «Памяти отсутствующего» — Абднуар.

Сознавая всю противоестественность существования на одной земле колонизаторов и угнетенных, он тем не менее не может принять участия в «кровавой битве двух миров». Будущая свобода его народа добывалась именно в битве — а в сознании Абднуара путь к будущему рисовался как возможность «гармонии и мира». И Абднуар не выдержал, отступил, уехал по настоянию матери во Францию. Там он будет горько сожалеть об этом акте безволия, чувствовать себя чужим и ненужным. Человек без родины, поймет Абднуар, без своего народа — как дерево, с которого «содрана кора», дерево без корней, как гонимый ветром листок, оторванный от родной ветки... Но терзаемый противоречиями герой романа не может принять и того, что новый мир надо было добывать в войне. Вот почему он так верует, что в грядущем люди сумеют обойтись «без насилия и жестокости». И преодоление «водораздела» миров, границы, по которой проходит само деление на мрак и свет, рабство и свободу, становится его главной целью.

Страницы «Памяти отсутствующего» заполняются рисунками — фигурками человека, стоящего на берегу реки: «Надо переплыть реку, а не искать другого выхода». На последней странице «Памяти отсутствующего» — рисунок Фареса: человек переплыл реку, и на другом берегу его ждут люди. Они в случае опасности готовы бросить ему спасательный круг. Рисунок, не нуждавшийся уже в авторских комментариях... Недаром писатель назвал «Память отсутствующего» книгой, «строчки которой пересекли войну». Смысл этого «пересечения» был в воссоединении элементов самой жизни, в стремлении искоренить возможность насильственного ее прерывания, уничтожить на земле само понятие войны: «Взять тень и сообщить ей свет — мгновение горячего потока, чтобы вместо немыслимой пустоты, которую несет смерть, оживить все сущее на земле и услышать напряженный пульс нашего мира».

К сожалению, к иному итогу приходит сегодня тунисский писатель Альбер Мемми (род. в 1926 г.), автор широкоизвестных романов «Соляной столп» (1953) и «Агарь» (1954). Вместе с марокканцем Дрисом Шрайби он был зачинателем в литературах Северной Африки того социально-критического направления, которому потом следовали многие магрибские писатели, до сих пор называющие Шрайби и Мемми своими духовными наставниками и учителями. Нарисовав в первых книгах картину пробуждения сознания колонизованных народов, их решительный разрыв с прошлым, борьбу с оковами религии и традиционализма, Мемми продолжил искания, обратившись и к другим немаловажным проблемам наследия эпохи колониализма: проблеме национализма, культурной самобытности.

Путь, который начал герой «Соляного столпа», устремившись в поисках свободы на Запад, завершился в романе «Агарь» возвращением его на родину и выбором места рядом со своим народом. После выхода в свет «Агари» Мемми в течение нескольких лет публиковал только философские, социально-психологические и публицистические произведения. Когда писателя спрашивали, почему он больше не пишет романов, тот отвечал, что у его героя по-

[1] «Реабилитация» арабского культурного наследия и усиление роли арабского языка — исторически закономерное и естественное следствие насильственной политики ассимиляции, проводившейся колонизаторами в Алжире.

зади слишком долгий и хаотичный маршрут и ему трудно узнать сегодня самого себя. «Теперь я заполняю все время тем, что по кусочкам восстанавливаю его жизнь, пытаюсь примирить его с самим собой...»

Но вот, наконец, были подведены итоги, собрана «по кусочкам» и восстановлена заново жизнь героя «Соляного столпа» и «Агари», и появился на свет новый роман «Скорпион, или Воображаемая исповедь» (1968), как бы продолжающий два предыдущих романа, но по-новому синтезировавший их проблематику. Таким образом, Александр Бенилюш — герой первых произведений Меммми — стал героем всего его творчества, персонажем, уроки судьбы которого показались чрезвычайно важными писателю. Ибо на его примере он пытается исследовать судьбу целого поколения североафриканской интеллигенции и по возможности найти все вероятные ее решения. Вот почему образ героя множится в «Скорпионе»: каждый его вариант — писатель Эмиль, врач Марсель, профессор-философ Бенилюш, ученик — двойник Эмиля — Ж. Х.,— все они, как бы расслаивая единый образ, освещают волнующие писателя проблемы духовного «расщепления», столкновения в человеке, вышедшем из недр колониального общества, двух культур, двух цивилизаций — Востока и Запада.

В центре повествования — поиски истины, стремление воссоединить два начала, обрести единство со страной, за независимость которой боролся, но в которой не находит теперь себе места «совмещенный» герой «Скорпиона», ибо новая реальность не устраивает его духовно. Смерть Эмиля дублируется самоубийством его двойника, ученика. Ж. Х. Марсель — двойник Александра — покидает Тунис. «Я желал освобождения, способствовал ему, боролся за него и вот теперь сам натянул паруса,— размышляет он.— Неужели я буду предателем? А как мне объяснить двойную правду, эту правдивую правду, что именно это — моя страна и вне ее я буду везде в ссылке? Но и в этой стране — тоже». Эта двойная правда — все тот же печальный итог колониализма, приведшего к появлению так называемой «маргинальной» личности, личности на рубеже культур.

Североафриканская интеллигенция переживала этот итог как психологическую драму. Два крайних выхода было из нее, когда кажущаяся «несовместимость» миров толкала или к трагическому уходу из жизни, или к преодолению противоречий и решительному выбору одного из двух — восточного или западного — миров, как это сделал герой «Агари». Но на сей раз Мемми решает эту дилемму отрицательно. Так герой Мемми от «Соляного столпа» до «Скорпиона» постепенно проникался неприятием бытия как такового, и в следующем романе, «Пустыня» (1976), ему уже повсюду видится лишь неистребимое стремление человечества к угнетению, к захвату, обреченность людей на вечное одиночество в пустыне жизни.

Творчество представленных нами литераторов стран Магриба 70-х годов свидетельствует о том, что проблемы, тревожащие их сегодня, связаны прежде всего с процессами духовной деколонизации, с формированием новых общественных отношений, с политическими и культурными изменениями, происходящими в жизни развивающихся обществ. Если на начальном этапе становления национальных литератур стран Магриба писатели были озабочены главным образом тем, чтобы запечатлеть, отразить и выразить мир своих народов, их стремление утвердиться, противопоставить свое «национальное время» «времени колониальному», то послеколониальное развитие Алжира, Марокко и Туниса закономерно привело к дифференциации многих тем, ранее волновавших художников. Уже не столько отразить свой мир, сколько разобраться в его проблемах и новых задачах, стоящих перед народами, в противоречиях этого нового мира, понять сложные отношения человека нового времени с миром прошлым, но еще не совсем отжившим, его позицию, его взгляд в будущее — вот та основа, которая определяет нынешний этап франкоязычной литературы Магриба. Социально-историческая реальность, всегда присутствующая в творчестве магрибинцев, теперь не столько воспроизводится в своей эпической полноте, сколько пропускается через реальность духовную, через мир личности, осознающей смысл новой эпохи. Вот почему последние романы магрибинцев не столь наполнены «материальной субстанцией», как произведения первых бытописателей, и связаны не столько с детальным воспроизведением жизни, сколько с отражением ее в человеческой душе. Отсюда и отсутствие «гладкого», линейного сюжета в романах, и смысловая многозначность, и известная фрагментарность композиционных построений, уплотненность символики и аллегоричность многих произведений североафриканцев. Но «сложить» встающий со страниц их книг мир, пусть даже иногда построенный по законам «негативной диалектики» «отрицательно заряженный мир», в единое целое позволяет именно четко выраженная позиция художника.

Может возникнуть впечатление, что магрибские писатели, сосредоточив внимание на социально-критическом анализе окружающей действительности, увлеклись показом ее противоречий, словно бы забыв о начале «светлом», противоположном тому, что они изображают, и не заботятся нимало о том, чтобы это начало обнаружить и воссоздать. Но возможно, прав был У. Фолкнер, когда говорил, что «писатель, поэт, романист не может быть простым хроникером человеческих поступков — он должен дать человеку какое-то понимание того, что человек может быть лучше, чем он есть». «Если писатель вообще к чему-нибудь призван,— отмечал Фолкнер,— то это сделать хоть немного лучше тот мир, который застал, сделать все, что он может, всеми известными ему средствами, чтобы освободиться от зла. Это его задача».

Заметки на полях

«НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ»

По поводу одной газетной полемики

Полемика на страницах газеты — жанр особый. Здесь свои «условия игры», свои приемы, свои требования к подаче материала. Читатель простит автору и излишнюю категоричность и хлесткость отдельных фраз, и ядовитый сарказм по поводу тех или иных доводов оппонента — лишь бы весома и логична была аргументация.

Ибо читатель полемику любит — в ФРГ точно так же, как в других странах. Вот почему, развернув номер «Франкфуртер альгемайне цайтунг», он, должно быть, не без интереса прочел полемичные заметки Марселя Райх-Раницкого по поводу опубликованных в ГДР, в еженедельнике «Зоннтаг», отрывков из доклада видного западногерманского драматурга Франца Ксавера Крёца. В самом деле, с кем же, собственно, и спорить Райх-Раницкому, известному в литературной среде своими буржуазно-охранительными взглядами, как не с писателем-коммунистом, открыто отстаивающим свои убеждения как в произведениях, так и в своих публичных выступлениях? Доклад посвящен некоторым важным проблемам сегодняшней литературной ситуации в Федеративной Республике. Симпатии позиция Крёца у правого критика вызывать не может, и то, что Райх-Раницкий использует широкие возможности жанра газетной полемики, вполне естественно. Однако это несколько странная полемика. Есть здесь и сарказм, и хлесткость, и категоричность, есть даже, что уже не совсем корректно, передергивание отдельных мест при произвольном их цитировании, нет только, пожалуй, главного, что делает полемику таковой,— разговора по существу.

Марсель Райх-Раницкий предпочитает не вдаваться в существо поставленных Францем Ксавером Крёцем вопросов, не обсуждать их именно как проблемы — злободневные и для сегодняшнего состояния литературы ФРГ весьма животрепещущие. Для него важно вырвать отдельные мысли писателя из контекста, да посмешнее, поанекдотичнее представить их читателю, который, конечно же, не даст себе труда перепроверять критика, да к тому же еще по периодическому изданию, выходящему в другом государстве. А если бы и захотел иной дотошный читатель это сделать, он натолкнулся бы на новую сложность, почти непреодолимую: в тексте статьи Райх-Раницкого нет точной ссылки на соответствующий номер еженедельника «Зоннтаг».

Тенденциозное изложение Райх-Раницким доклада Крёца выходит за пределы допустимого в пылу даже самой «горячей» газетной полемики. Вот, скажем, говорит Франц Ксавер Крёц о поиске художником своего истинного места в обществе, о выработке им собственного отношения к противоречиям этого общества, попытках завлечь молодых людей в лоно «модных» литературных форм и течений. Он видит все те сложности, все те рогатки и препоны, которые исподволь ставятся молодым, только входящим в литературу писателям, стремящимся писать честно и трезво о наиболее острых проблемах социальной действительности ФРГ.

«...Когда, к примеру, на нашем культурном горизонте или же на горизонте тех, кто занимается культурой, возникает и в самом деле подающее надежды юное дарование, буржуазия тут же начинает присматриваться к нему, выяснять, насколько это дарование симпатично. И если дарование действительно вызывает кое-какие симпатии или по крайней мере способно их вызвать, оно тут же извлекается из общего социального контекста, из тех условий, в которых все мы живем, и помещается в теплицу, дабы там оно могло спокойно «развиваться». Оно и развивается, превращаясь по большей части

в заслужившего свой пенсион хранителя священной чаши Грааля, предающегося размышлениям об извечном конце света. Кому это на руку, ясно без слов».

Такое отстранение писателя от масс, от проблем повседневной жизни людей, замечает Крёц, неизбежно сказывается и на тематике его творчества. Уходит актуальность сегодняшнего дня, проблемы, волнующие страну, становятся вдруг «скучными», «избитыми», подпадающими под лейтмотив «все это уже давно было». На смену им приходят тоже далеко не «свежие» лозунги «современного» искусства: «героическое погружение в себя», «внутренняя эмиграция», «фрустрация», «исторический пессимизм»— все, что способно заслужить одобрение подобных Райх-Раницкому критиков. Такова оборотная сторона, подчеркивает Франц Ксавер Крёц, той мнимой свободы, которой якобы обладают в буржуазном обществе люди «свободных» профессий.

Что же делает Райх-Раницкий? Обращаясь к той же теме, он сознательно уводит разговор в область совершенно иную, предаваясь размышлениям о том, как живут писатели ФРГ в материальном плане и не желает ли Франц Ксавер Крёц своими рассуждениями их положение ухудшить.

«...По его (Крёца.— **Н. Л.**) мнению, несчастье вовсе не в том, что писатели в Федеративной Республике испытывают горькую нужду, но в том, что им роковым образом нужды испытывать не приходится... Они будто бы являются привилегированным классом и чувствуют себя вынужденными плясать под дудку буржуазии».

Что из всего этого вытекает, иронизирует дальше Райх-Раницкий, лежит на поверхности, нужно просто сократить гонорары пишущим, чтобы они на собственном опыте могли познавать нужду и безработицу.

Однако читатель, внимательно прочитавший доклад Крёца, увидит, что он совсем не безработицы желает своим коллегам по перу. Он говорит о другом — о большой и серьезной писательской работе, создании реалистических произведений, конкретно и убедительно рассказывающих о положении дел в стране.

«Искусству нашей страны реализм нужен как воздух,— пишет Крёц.— Но что же такое реализм? Реализм означает, что в центре художественного творчества поставлен нормальный рабочий человек. Реализм означает, что путь рабочего человека в нашей стране изображается с любовью, со страстью, с прилежанием и верностью, лучше всего не снаружи, а изнутри, с позиции борющегося рабочего класса. Реализм также означает, что художник встает на позицию рабочего класса и умеет ее отстаивать».

Что ж, возможно, если подойти к вопросу строго академически, такое определение реализма покажется в чем-то уязвимым. Не так уж трудно указать на его недостаточность, дополнить рядом теоретико-эстетических моментов, которые писатель в пылу полемики упускает из виду. Не будем, однако, углубляться в сугубо теоретические проблемы. Франц Ксавер Крёц высказал главное, то, что ему представляется на сегодняшний день особенно актуальным, он сформулировал задачи, которые для набирающей силу прогрессивной реалистической литературы ФРГ на сегодняшний день особенно важны и существенны. И не теоретико-эстетическое несовершенство этого определения реализма вызвало столь глубокое раздражение Марселя Райх-Раницкого. Он возражает драматургу по существу разве что в связи со словом «нормальный», воспринимаемым им почти как строгий термин психиатрии, чего у Крёца конечно же нет, в его контексте нормальный человек — синоним обычного, простого человека. Рядом с этим определением стоит другое, куда более важное ключевое слово — рабочий человек. О нем Райх-Раницкий умалчивает. Ведь главное, что вызывает его раздражение,— это прежде всего политическая направленность доклада Крёца, постановка, казалось бы, отвлеченных литературоведческих проблем в тесную связь с борьбой западногерманского рабочего класса за свои права, за изменение социальной действительности. Именно эта политическая тенденция доклада Крёца и не устраивает Райх-Раницкого, как не устраивает его и обращение писателя к западногерманским деятелям культуры с призывом укреплять связи с рабочими организациями, с Германской коммунистической партией.

«Искусство и деятели культуры в нашей стране никогда не проходили мимо серьезных общественных разногласий».

С этого утверждения начинает Франц Ксавер Крёц свой доклад. Пытаясь спорить с ним, Райх-Раницкий повторяет старые, избитые доводы о том, что коммунистические партии в социалистических странах «похоронили» настоящую литературу, что все, что осталось еще в ней стоящего, пишется в противовес «официальной догме». В связи с этим Райх-Раницкий и начинает беспокоиться, как бы не случилось нечто подобное и в Федеративной Республике.

Думается, нет нужды защищать здесь «похороненную» литературу социалистических стран. Об этом свидетельствует, кстати, и факт резко возросшего в последние годы в Федеративной Республике интереса к современной многонациональной советской литературе, как, впрочем, и к литературе ГДР, издающейся сейчас рядом крупных западногерманских издательств. И это совсем не та литература, которую имеет в виду Райх-Раницкий, говоря о борьбе с «официальной догмой».

А вот беспокойство критика применительно к ФРГ действительно имеет основания. Культурная политика, проводимая Германской коммунистической партией, привлекает на сторону рабочего класса все больше деятелей культуры, тех, кто, пусть не разделяя в полной мере взгляды коммунистов, серьезно задумывается над положе-

нием дел в стране и стремится по мере сил своих способствовать его изменению. И таких честных художников слова, исполненных чувства исторической ответственности, становится все больше. Понятно, что рост авторитета ГКП в среде деятелей культуры не может не вызывать тревогу и раздражение у критиков типа Райх-Раницкого. И единственное, что они могут сделать, это иронизировать:

«Остается еще задать вопрос, готов ли сам Крёц на полном серьезе подчинить свое творчество руководящей линии ГКП. Это было бы жаль, а возможно, оказалось бы и роковым, ведь Франц Ксавер Крёц 1946 года рождения, был и остается одним из ведущих немецких драматургов молодого поколения».

Со второй половиной этого утверждения спорить не приходится — популярность драматургии Крёца в ФРГ действительно велика. А вот что касается его первой половины, то здесь Райх-Раницкий, пожалуй, напрасно сожалеет. «Подчинение», о котором он говорит, уже давно состоялось. В одном из своих интервью, опубликованных в 1977 году (см «ИЛ» № 6, 1977), Франц Ксавер Крёц сказал, что в своем творчестве он стремится «изображать людей с позиции коммуниста». И надо заметить, что роковым это обстоятельство для творчества Крёца не оказалось.

Свой доклад драматург озаглавил так: «Направление движения не меняется». Название точное. Стремление к верному воссозданию современной действительности, осознание необходимости борьбы трудящихся за свои права, интерес к актуальным политическим проблемам — все это факты, характерные для значительной части литературы сегодняшней Федеративной Республики. Правой критике остается только полемизировать с этими новыми тенденциями на страницах периодики — соблюдая при этом большую или меньшую долю корректности. Повлиять на них она не в силах. Направление движения, направление литературного развития остается прежним.

Н. ЛИТВИНЕЦ

Публицистика

ЗАПАД, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА...

ФРИДРИХ ХИТЦЕР

ТЕБЯ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ...

Слушание дела искусствоведа д-ра Габриэлы Шпригат

Она нужна студентам. Свои занятия она стремится сделать действенными. Пусть каждый примет участие, каждый выскажется. Пусть учатся видеть, воспринимать. Желтый кувшин, набрякшие мешки под глазами, окровавленный нож, красные яблоки, раковина и арфа, указующий перст епископа, суживающийся кверху бокал, глаза навыкате, подкрашенные губы — деталь понимаешь, только сумев увидеть целое, целое познаешь, лишь вникая в подробности; линии, точки, краски — в совокупности композиции. Нужно, чтобы возник диалог между картиной и зрителем. Чтобы восприятие окружающего стало наглядным. Ощущение времени и пространства, попытка с помощью искусства лучше увидеть самого себя. Музей не храм, не место для воскресных проповедей, не бегство от действительности. Искусство необходимо. Вот к чему она стремится.

«Я нужна студентам».

Она говорит это просто, как будто ее никогда не увольняли, как будто ей хорошо платили. Но государству она не подходит. Государству, основанному на свободно-демократическом правопорядке, то есть таком правопорядке, когда правят с помощью «закона о радикалах», когда попытка лучше увидеть самого себя становится опасной, угрожающей существованию — существованию тех, кто учит, и тех, кто учится.

Габриэла Шпригат, д-р фил. (дисс. «Римская республика во французской живописи XVIII века»), признанный на родине и за границей специалист в своей области, сотрудница энциклопедического справочника по истории немецкого искусства, член редколлегии искусствоведческого журнала «Тенденцен», стипендиатка Немецкого научно-исследовательского объединения, работающая над книгой о возникновении художественной критики во Франции XVII—XVIII вв., автор многочисленных научных работ по истории классического и современного искусства, опытный и популярный среди рабочих и служащих экскурсовод, помогающий им открыть для себя картины Дюрера, Грюневальда, Гольбейна, Рембрандта, Рубенса, Давида, Курбе,— Габриэла Шпригат лишена права преподавать.

«Я нужна студентам». Чтобы сохранить такую уверенность в себе после того, как тебе запретили заниматься своей профессией, требуются мужество, стойкость, бесстрашие. Для Габриэлы Шпригат ее профессия — единственный источник существования. Она хочет жить за счет того, что знает, и знает хорошо. Уж не боится ли государство, что кто-то научится правильно воспринимать искусство? И не потому ли оно, государство, пытается вынудить людей, которые этому учат, заниматься не своим делом?

Семинары Шпригат охотно посещались. Хотя оплачивались скудно, 300 марок в месяц на протяжении одного семестра плюс дорожные расходы. (Деньги за последний семестр она все еще не получила.) Габ-

ФРИДРИХ ХИТЦЕР — FRIEDRICH HITZER (род. в 1935 г.).

Писатель, критик, журналист (ФРГ). Автор рассказов, эссе, публицистических статей, книг «Альтернативы оппозиции» («Alternativen der Opposition» совместно с Р. Опицем), «Ленин в Мюнхене» («Lenin in München», 1978), работы о советском кино тридцатых годов. Ф. Хитцером осуществлено также издание, перевод и комментарий писем Ф. М. Достоевского.

Статья «Тебя предупреждали...» получена редакцией в рукописи.

риэла Шпригат имела возможность зарабатывать на жизнь любимым делом. Это значило для нее больше, чем сам источник дохода. Брауншвейгский институт изобразительных искусств оценил ее способности и рекомендовал ее на должность «профессора искусствоведения, оклад группы С 4». Министерство отклонило эту рекомендацию. Причем не обычным письмом, текст которого чиновник диктует, подписывает и отправляет соискателю. Ныне такая примитивная форма произвола не в моде. (Сколь приятное впечатление производит на этом фоне прямота старинного предписания для железнодорожников королевства Баварии. Там просто заявлялось, что человек, состоящий в какой-либо организации, которая отрицательно относится к «основам монархического строя», не может быть принят на службу.) Блюстители западногерманского свободно-демократического правопорядка предпочитают маски, они упражняются в искусстве придавать запретам видимость свободы, они считают свои действия корректными. Запрет на профессии? Ну что вы! Мы только выполняем свой долг.

Передо мной ответ нижнесаксонского министра науки и искусства от 6 июля 1979 года по делу д-ра Г. Ш., заслушанному в правительственной комиссии министерства внутренних дел. Официальный ответ с протоколом — этот документ должен снять вину с властей и возложить ее на претендента. Официальные «заключения» о д-ре Г. Ш. свидетельствуют, что тайное полицейское наблюдение за гражданами Федеративной Республики Германии, длящееся целое десятилетие, стало уже вполне обычным делом! Здесь систематизировано то, что д-р Г. Ш. подписывала, заявляла, публиковала в печати. В документе недвусмысленно сказано, что в десяти обвинительных пунктах приведено далеко не все, что «о ней известно». Это значит: в запасе есть еще немало обвинительного материала. Так кто же тут испытывает страх?

Высказывания Шпригат, собранные властями за 1968—1970 годы, делают честь любому разумно и трезво мыслящему человеку. Прекращение войны против Вьетнама, ратификация Московского договора, запрещение неонацизма, разоружение и мирное сосуществование государств.

Я слышу возражения господ из министерств: несмотря на то, что мы при столь прискорбных слушаниях соблюдаем величайшую корректность и только проверяем, соответствуют ли действительности «инкриминируемые факты», «заставляющие предполагать», что претендентка «являлась или является членом или сторонником антиконституционной ГКП... или близких к ней организаций и что, конечно, личные взгляды претендентки гарантированы свободно-демократическим правопорядком,— сама она «по существу согласилась», что состояла в этих, находящихся под надзором соответствующих учреждений, организациях или участвовала в их акциях. О да!

Свобода мнений? Пожалуйста! Только держите их при себе. А вот объединяться с другими? Ни в коем случае. Запрещать эти союзы мы никоим образом сейчас не собираемся. Куда действенней любых запретов — боязнь неприятных последствий, которую, как правило, испытывает обыкновенный человек. Эпидемическая боязнь — хворь полезная.

Странное дело — этот язык обманчивой деловитости, эта логика тайного преследования, проверка мнимой вины, опровергнуть которую «заслушиваемый» не имеет никакой возможности. Что бы он ни сказал, права всегда комиссия: в ее власти — придать несправедливости видимость правоты.

«Тебя предупреждали, ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми».

Конечно, председательствующий в ганноверском министерстве внутренних дел обращался к д-ру Г. Ш. не столь торжественно и не в таких выражениях, как Великий инквизитор к Христу в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Да и заканчиваются подобные «слушания» в ФРГ-79 отнюдь не распятием на кресте. Здесь царит свобода — ты погибаешь просто по собственной вине. Но обычай инквизиции — заранее устанавливать, что хорошо, а что зловредно, раздобывать обвинительный материал с помощью тайных осведомителей — вполне соответствует приемам, которые в ходу у западногерманских судебных инстанций.

«Речь идет не о юридическом процессе»,— заверяет председатель комиссии. Но обвиняемый оказывается в полной зависимости от расположения тех, кто закручивает или ослабляет бюрократические гайки несправедливости. Непокорные чиновники лучше всех знают, что вредят собственной карьере. Потому-то слишком многие и участвуют в раболепном спектакле, на котором ведется не допрос под присягой, а волей-неволей разыгрывается современный ритуал «охоты за ведьмами», где так называемыми непререкаемыми истинами провозглашаются антикоммунистические постулаты буржуазии и ее прислужников, где мило, галантно или коварно преподносятся догмы, которые, если очистить их от канцелярщины, представляют собой не что иное, как элементарный кодекс заветов и запретов для чиновников, и которые в конечном счете призваны заставить всех граждан приспособиться к существующему положению вещей. До чего же отвратительно фарисейство, с каким комиссия переводит на язык приговоров боязнь перемен, видимостью соблюдения законности маскирует страх перед идеями свободы. И какова «мораль» комиссии по отношению к жертвам, которые могут по большей части защищаться заведомо политическим способом: ведь единственная возможность обвиняемого — разоблачить несправедливость и произвол запрета на профессии, показать, как унижается человеческое достоинство в этом

государстве, как давит на людей страх. Это становится особенно очевидным, если внимательней вникнуть в то, что скрыто между строк протоколов. Ведь этот документ, с приложением письма и печати, который можно спокойно взять домой,— на самом деле всего лишь мнимый протокол, скрывающий различные стадии действительного процесса. Первая стадия: на спонтанные вопросы даются спонтанные ответы. Как будто беседуют равные партнеры, стремящиеся разобраться в сложном положении вещей. На самом деле партнеры отнюдь не равны. Беседа эта — ловушка. Вторая стадия: повторение «для протокола», который должен быть одобрен и слушающими, и допрашиваемыми, ведь иначе это вовсе не «протокол». Нюансы при записи пропадают. И вьется из фраз та самая веревка, на которой — символически — вешают злоумышленника. А на третьей стадии разыгрывается фарс, и характер его целиком и полностью зависит от способностей секретарши. Обе стороны начинают торговаться из-за слов, секретарша сбита с толку, не может зачитать, что же было сказано и в каких выражениях; господа нетерпеливо, однако сдерживаясь, смотрят на нее («безмозглая курица!»). Допрашиваемая, как и все присутствующие, знает, что следующей жертвой будет она сама, но тем не менее старается помочь секретарше, вежливо приносит извинения, просит записать добавление. Секретарша благодарно поднимает на обвиняемую сияющие глаза: как мило с ее стороны, что она еще и помогает. На четвертой стадии уже не фиксируется ни слова. Поведение участников определяется психологически-идеологическим нажимом, характерным для всей процедуры, причем основной акт действа разворачивается по правилам игры «Все-против-одного». Обвиняемый не должен ничего и никого упускать из виду, щадить чувствительность «любезных» чиновников, которым не нравятся жесткие интонации. Игра в кошки-мышки еще продолжается, но вдруг оказывается, что идет поединок между представителями государства, основополагающая доктрина которого — антикоммунизм во всем его иррациональном и опасном для жизни безумии, и одним-единственным человеком, который искренне желает «социалистического переустройства» Федеративной Республики и считает эту цель «совместимой со свободно-демократическим правопорядком». Но если обвиняемый не ведет себя как овечка, чиновники, стремясь заглушить в себе чувство вины, начинают еще и уличать претендента в некорректном, даже грубом поведении — ведь сами-то они просто воплощение корректности! Допекает ли их нечистая совесть? Испытывают ли они смутный страх, предчувствие, что когда-нибудь их самих, винтиков изощренной машины преследования, постигнет подобная участь?

Рассмотрение дела д-ра Шпригат продолжалось с 14 по 17 мая. Беседы прерывались паузами — для составления протокола. Члены комиссии совещались. Д-ру Шпригат и ее адвокату в это время было дозволено ждать за пределами зала. Поскольку «слушание» не является судебным процессом, присутствие здесь адвоката — чистая формальность, его дело лишь следить, соблюдаются ли правила игры. Претендент на должность получает консультацию. Стоит ли удивляться, если добродушные адвокаты раздумывают: не лучше ли солгать, подобно тому как это сделал Петр, прежде чем петух трижды прокукарекал? И как одеться, подкраситься, чтобы понравиться мужчинам, собравшимся для «суда» над претенденткой, для решения ее профессиональной участи?

Сама Шпригат не особенно довольна своими высказываниями «для протокола». По-видимому, главным был вопрос, является ли д-р Шпригат членом ГКП. Все уставились на нее: она ведь не скажет того, чего от нее ожидают.

«Будьте же откровенны и чистосердечны»,— воззвал к ней откуда-то тихий дружелюбный голос. А когда она ответила, оставалось только пустить в ход обычный механизм, известный каждому, кто знаком с работой антикоммунистических центров.

«Насколько я понимаю Конституцию, это вопрос недопустимый. Поэтому я не хотела бы отвечать на вопрос о членстве в партии, которая не запрещена и, очевидно, не является антиконституционной. Но я готова высказаться по всем вопросам, касающимся моего отношения к свободно-демократическому правопорядку, а также к политике ГКП»,— записано в протоколе. Председатель спросил д-ра Шпригат, отдает ли она себе отчет во всей серьезности последствий, если она останется при этом высказывании. Она ответила: «Я отдаю себе отчет в том, что говорю». В протоколе: «Претендентка заявила, что она осознает это». Давая согласие на такую запись своего ответа, д-р Шпригат не заметила ло-

вушки, которая таилась в переводе прямой речи в косвенную,— переводе, который невольно вскрывает инквизиторскую суть дела о запрете на профессии независимо от того, ведется оно по правилам социал-демократической или христианско-демократической партии.

«Тебя предупреждали, ты не имела недостатка в предупреждениях и указаниях, мы даем тебе возможность отречься, но ты не хочешь,— следовательно, ты виновна».

Габриэла Шпригат отмахивается, когда выражают восхищение ее стойкостью, мужеством, спокойствием. Подобные «слушания» оскорбляют чувство собственного достоинства человека и неизбежно порождают страх. Власть имущие хватают тебя за горло, хотя судебные исполнители — в лайковых перчатках. Она не хочет ни жалости к себе, ни ненависти к чиновникам. Но страх неизбежно порождает ненависть. Нельзя остановить эпидемию, если не покончить с возбудителями болезни.

Д-р Шпригат не откажется от своей профессии. Она нужна студентам. А условия могут измениться, в том числе и разумным образом, если разумные люди станут действовать правильно и своевременно. Необходима солидарность.

Условия, породившие запреты на профессии для последовательных демократов, представляют опасность для всех нас. В этом я убежден. Если мы станем дожидаться, пока подобные «неприятные вещи» уладятся сами собой, пострадает наша жизнеспособность и человечность. Вошедшие в поговорку ошибки, на которых учатся, обходятся нам слишком дорого. Габриэла Шпригат считает, что каждый может сделать что-то полезное для большинства трудящихся нашей страны. И тому, кто так поступает, незачем ни жалеть ее, ни восхищаться ею.

Министр науки и искусства Нижней Саксонии

Почтовый адрес:
Нижнесакс. министр науки и искусства, почтовый ящик 261,3000

Ганновер 1

Госпоже
д-ру Габриэле Шпригат
Апианштрассе 5
8000 Мюнхен

2-03-015/2
Д-р Шпригат

Ганновер
6 июля 1979

Относительно назначения Вас на должность профессора искусствоведения, оклад группы С 4, Институт изобразительных искусств в Брауншвейге.

Прилож.:

Уважаемая госпожа д-р Шпригат!

Я не могу пойти навстречу предложению Брауншвейгского института изобразительных искусств и назначить Вас на должность профессора искусствоведения, оклад группы С 4, на летний семестр 1979 года, поскольку Вы не устранили сомнений относительно того, что Вы будете выполнять предписанное Вам трудовым законодательством обязательство всем своим образом действий исповедовать свободно-демократический правопорядок в духе Конституции (ср. БАГ[1], НЮВ[2], 1976, стр. 1708 и сл.). Сомнения в Вашей политической благонадежности основываются на следующих фактах:

1. Вы подписали — и в соответствии с законодательством о печати несете за это ответственность — листовку Социалистической немецкой рабочей молодежи (СНРМ) — молодежной организации антиконституционной ГКП от декабря 1968 года (листовка «Чего хотят американцы во Вьетнаме»).

2. Вы одна из подписавших воззвание Правления находящегося под влиянием ГКП «Немецкого союза мира» (НСМ) от 18.3.1970, адресованное тогдашнему канцлеру Брандту (бюллетень НСМ от 18.3.1970 и публикация во «Франкфуртер рундшау» от 18.3.1970).

3. Согласно заявлению от 13.7. 1970 Вы являетесь или являлись членом Централь-

[1] Бундесарбайтсгемайншафт (федеральный суд по вопросам труда).
[2] «Нойе юристише вохеншрифт» — издаваемый в ФРГ журнал по вопросам права.

ного комитета «Движения за демократию и разоружение», находящегося под влиянием ГКП и связанных с нею организаций.

4. В одной из листовок ГКП Вы названы гостьей проводившегося 8.4.1971 в Кульмбахе мероприятия ГКП и СНРМ.

5. В центральном органе ГКП «Унзере цайт» («У. ц.») № 32 от 10.8.1973 Вы значитесь в списке жертвователей в пользу ГКП и «У. ц.».

6. В письме Мюнхенского окружного комитета ГКП Вы названы руководительницей мероприятия, проводимого отделом информации ГКП 27.4.1974 в Мюнхене.

7. Вы являетесь автором статьи «Супермаркет изобразительных искусств», «У. ц.» № 150 от 3.7.1975.

8. Вы одна из подписавших заявление НСМ от 1.9.1976 «За политический климат, способствующий мирному сосуществованию народов, против постепенной ликвидации демократических прав».

9. Вы одна из подписавших воззвание «Мюнхенской инициативной группы против запрета на профессию» от декабря 1977.

10. Наконец, Вы одна из подписавших воззвание «Инициативной группы мюнхенских деятелей культуры» к выборам ГКП в городской совет от февраля 1978.

Во время слушания дела в межминистерской комиссии 26 апреля 1979 Вы в основном не отрицали предъявленных Вам фактов, позволяющих полагать, что Вы являетесь или являлись членом или сторонницей антиконституционной ГКП или связанных с нею организаций. Не ответив на вопросы о членстве в ГКП, Вы тем не менее признали свою приверженность целям ГКП и указали, что, по Вашему мнению, эти цели совместимы со свободно-демократическим правопорядком. Несмотря на повторные вопросы, нельзя было установить, толкуете ли Вы понятие «большинство» в духе Конституции. Ваше заявление о том, что при «социалистической демократии» «существующие институты буржуазной демократии» (напр., парламентаризм) остаются, равно как «и нормы и основные права граждан» не отменяются, а берутся за основу и подлежат дальнейшему развитию, также не отвечает действующей конституции. Если же в этой связи оценить в особенности тот факт, что перед лицом ущемления свободы художников, ученых и публицистов в ГДР Вы утверждаете, будто положение деятелей искусств в ГДР в целом отличается в лучшую сторону от положения деятелей искусств в Федеративной Республике, то приходится признать, что содержание вышеупомянутых заявлений не согласуется со свободно-демократическим правопорядком. Следует также иметь в виду, что Вы одобряете меры, предпринятые в ГДР против Роберта Хавемана (домашний арест, расследование валютных нарушений).

В свете этого приходится заключить, что Вы поддерживаете цели антиконституционной ГКП, с чьей программой Вы детально знакомы. Ваши высказывания и Ваше стремление уклониться от критики положения в ГДР соответствуют в целом позиции ГКП и основным пунктам программы этой партии.

Признание этих антиконституционных целей и защита свободно-демократического правопорядка в духе конституции взаимоисключаются.

Целевая политическая установка ГКП несовместима со свободно-демократическим правопорядком в духе Конституции. ГКП решительно признает советское толкование марксизма-ленинизма, согласно которому конечная цель бесклассового общества может быть достигнута только посредством революционной диктатуры пролетариата. Как диктатура пролетариата, так и путь к ее установлению противоречат основополагающим принципам свободно-демократического правопорядка, в том числе праву личности на свободное развитие, принципам разделения власти, принципу многопартийности, равноправия всех политических партий, ответственности правительства перед парламентом и независимости юстиции.

Посему подлежит сомнению, что в качестве государственной служащей Вы будете удовлетворять требованиям политической благонадежности, обязывающим гражданина всем своим поведением соответствовать свободно-демократическому правопорядку в духе Конституции (см. § 8, абз. 1, положение 2 БАТ)[1].

Этих сомнений не устраняет и то обстоятельство, что Вы считаете или, во всяком случае, называете конституционными объективно антиконституционные цели партии, в защиту которой Вы выступаете. Тот факт, что сторонник ГКП пытается интерпретировать цели этой партии как соответствующие Конституции, скорее доказывает, что он поддерживает эти цели и тем самым будет нарушать свою обязанность хранить верность Конституции (см. Федеральный административный суд, Постановление от 3.2.1977 — IIB 71.76).

Вследствие вышеизложенного зачисление Вас на государственную службу в земле Нижняя Саксония отклоняется.

С уважением
и. о. (подпись)

---

[1] Бундесангештельтентариф — тарифная сетка для служащих федеральных учреждений.

Канцелярия
Комиссии по слушанию дел
при Нижнесаксонском
Министре внутренних дел
А 247

Ганновер, 27.04.1979
Лавесалле, 6, почтовый
ящик 221
Тел.: (0511) 190—6364

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по слушанию дел 26.04.1979
с целью рассмотрения оснований для зачисления д-ра Габриэлы Шпригат, Апианштр, 5, 8000 Мюнхен, на службу в качестве облеченного доверием лица.

Начало: 14.00 ч.

Окончание: 17.05 ч.

На заседании присутствовали:

Члены Комиссии по слушанию дел

1. Министерский советник д-р Зигмунд-Шультце
2. Инспектор Верховного земельного суда Дельманс
3. Министерский советник д-р Дембовски
4. Министерский советник Мунд
5. Старший государственный советник Штрётман

Претендентка: госпожа д-р Шпригат
Юрисконсульт: адвокат Райхвальдт
Секретарь: Зоттман
Управляющий канцелярией: Штрелен

Появляются госпожа д-р Шпригат (Мюнхен) и адвокат Райхвальдт (Ганновер). Доверенность приложена к делу.

Господин д-р Зигмунд-Шультце открывает заседание ссылкой на ст. 33 Конституции ФРГ § 8, абз. 1 БАТ и Постановления Нижнесаксонского министерства от 10.07. 1972, формулировка от 03. 05/21.06. 1977 и от 19. 11/03. 12.1974, формулировка от 03.05/21.06.1977, с учетом изменений, внесенных Постановлениями Нижнесаксонского министерства от 06.03 и 03.04.1979. В ответ на заданный вопрос госпожа д-р Шпригат говорит, что готова сделать заявление согласно пункту 2.4 Постановления от 10.07.1972, формулировка от 03.05/21.06.1977.

Господин д-р Зигмунд-Шультце сообщает претендентке о наличии оснований для подозрений, предусматриваемых пунктом 2.5 Постановления от 10.07.1972, формулировка от 03.05/21.06.1977, позволяющих усомниться в ее готовности отстаивать установления свободно-демократического правопорядка. Прежде всего ее спросят, верны ли факты, которые будут сейчас оглашены. Затем ей будет предоставлена возможность ответить на вопросы членов комиссии и устранить сомнения в ее положительном отношении к Конституции.

Господин д-р Зигмунд-Шультце просит с пониманием отнестись к тому, что только личные заявления претендентки могут устранить сомнения, поэтому он вынужден просить юрисконсульта не делать никаких заявлений вместо претендентки. Участие юрисконсульта ограничивается здесь обеспечением корректного ведения разбирательства.

Госпожа д-р Шпригат коротко рассказывает свою биографию в соответствии с находящимися в деле документами, необходимыми для приема на работу.

Вопрос:

Соответствуют ли действительности факты, изложенные в адресованной Вам повестке-вызове от 09.03.1979?

Ответ:

Да, хотя я не помню, была ли я действительно членом Центрального комитета «Движения за демократию и разоружение».

Вопрос:

Из приведенных и только что подтвержденных Вами фактов напрашивается вывод, что Вы состоите в ГКП. Поэтому я хочу спросить Вас, являетесь ли Вы членом ГКП?

Ответ:

Насколько я понимаю Конституцию, это вопрос недопустимый. Поэтому я не хотела бы отвечать на вопрос о членстве в партии, которая не запрещена и, с моей точки зрения, не является антиконституционной. Но я готова высказаться по всем вопросам, касающимся моего отношения к свободно-демократическому правопорядку, а также к политике ГКП.

Претендентке было указано на то, что из ее отказа отвечать на вопрос о членстве могут быть сделаны нежелательные для нее выводы. Претендентка заявила, что она осознает это.

Перерыв для совещания на 30 мин.

Вопрос:

В своей программе 1978 года ГКП выступает за марксизм-ленинизм и целью своей считает социалистическое переустройство общества. Одобряете ли Вы эту цель и считаете ли ее совместимой со свободно-демократическим правопорядком?

Ответ:

Да, я одобряю эту цель и считаю ее совместимой со свободно-демократическим правопорядком.

Вопрос:

В своей программе ГКП признает себя сторонницей того социализма, который реально осуществлен в ГДР. «У. ц.» опубликовала 03.07.1975 Вашу статью о положении деятелей искусств в ФРГ, где Вы писали об идеологической зависимости художника от господствующих представлений об искусстве. А как Вы оцениваете положение деятелей искусств в ГДР? Конкретнее: каково Ваше отношение к мерам, принятым против Роберта Хавемана, в особенности к наложенному на него два года назад домашнему аресту и к недавно начатому расследованию так называемых валютных преступлений?

Ответ:

Как марксистка, я не хотела бы, чтобы слова о ГДР как образце социализма были здесь поняты в том смысле, что модель социализма в ФРГ обязательно должна соответствовать образцу ГДР. Социализм в ФРГ будет утверждаться собственным путем, отвечающим западногерманским условиям. По поводу положения деятелей искусств в ГДР я хочу сказать, что в целом оно отличается в лучшую сторону от положения творческой интеллигенции в ФРГ. В ГДР деятели искусства экономически независимы от рынка сбыта художественных ценностей и поэтому в целом имеют более благоприятные предпосылки для собственного творческого развития. Это относится также и к положению в сфере образования.

По делу Хавемана: общественная система ГДР коренным образом отличается от западногерманской. Поскольку я отношусь к этому с уважением и исхожу из того, что касающиеся нас проблемы и вопросы, представляющие взаимный интерес, мы должны решать с этой другой общественной системой мирным путем, я с уважением отношусь к самостоятельному законодательству ГДР и в этой связи также к позиции в деле Хавемана. Поэтому я признаю за ГДР право осуществлять установленные ею валютные предписания. В этом контексте я расценивала бы прочие меры по отношению к Хавеману, включая его домашний арест.

Вопрос:

Можете ли Вы себе представить после претворения в жизнь программы социализма в названном Вами смысле существование оппозиции, которая впоследствии может прийти на смену правящим кругам социалистического правительства?

Ответ:

Да, я могу это себе очень хорошо представить.

Вопрос:

Каким образом это могло бы произойти?

Ответ:

Я хотела бы сделать замечание принципиального характера: материалистическое мировоззрение исходит из сознания необходимости рассматривать существующие противоречия. При этом ставится задача разрешать эти противоречия, например возможные социальные конфликты, мирным путем и в интересах большинства населения.

Вопрос:

Что Вы понимаете под словами «разрешать противоречия в интересах большинства»? Особенно для меня важен вопрос о том, как Вы определяете понятие «интересы большинства».

Ответ:

В таком высокоиндустриальном обществе, как наше, существуют различные социальные группировки. Каждая из этих группировок имеет свои интересы, отличные от интересов других группировок.

Такое положение дел может вызвать конфликты. По моему убеждению, следует стремиться к тому, чтобы разрешать подобные конфликты к удовлетворению соответствующих групп и в интересах общества.

Дополнительный вопрос:

Кто, по Вашему мнению, устанавливает, в чем заключаются интересы общества?

Ответ:

По моему мнению, это очень сложная система, при которой могут сохраняться все существующие институты, как, например, парламентаризм, и я считаю, при этом важно, чтобы все, кого это касается, могли участвовать в процессе принятия решений, в котором выкристаллизовываются интересы большинства.

Вопрос:

Кто же, собственно, устанавливает, в чем состоят интересы общества в отличие от интересов отдельных групп?

Ответ:

Из различных интересов отдельных групп складываются всеобщие интересы — это и есть, с моей точки зрения, интересы общества. Один из принципов буржуазной

демократии состоит в том, что связанные общими интересами группы делегируют своих представителей, которые опять-таки через посредство других делегаций и обмениваясь с другими группами выявляют общий интерес. Он должен тем самым отвечать, с одной стороны, интересам групп и, с другой,— интересам общества.

Вопрос:

Усматриваете ли Вы разницу между буржуазной и социалистической демократией?

Ответ:

Разумеется, существует очень много различий. По моему представлению, социалистическая демократия представляет собой дальнейшее развитие буржуазной демократии. Формы и основные права буржуазной демократии в ней не только не отменяются, но находят свое развитие.

Вопрос:

Говоря о праве на труд, Вы в качестве образца сослались на Конституцию ГДР. Известно ли Вам, что в Конституции ГДР право на труд неразрывно связано с обязанностью трудиться, и как Вы оцениваете это обстоятельство в свете права индивидуума на свободу?

Ответ:

Я не юрист, но, по моему разумению, не бывает прав без обязанностей. Я хотела бы сделать еще одно дополнение мировоззренческого характера: труд отличает человека от животного и поэтому только в труде человек может осуществить себя.

Перерыв для совещания на 10 мин.

Комиссия заявила, что больше вопросов не имеет, и предоставила претендентке заключительное слово.

Претендентка заявила:

Я сожалею, что в рамках этого слушания мне задавали вопросы, касающиеся проблем ГДР, в то время как вопросы, возникающие в связи с моей возможной педагогической деятельностью, затронуты не были; я имею в виду связь моих политических взглядов с моей будущей педагогической деятельностью в высшей школе. Я не имею намерения делать студентов марксистами, но считаю, что, будучи марксистом, опираясь на научно обоснованное мировоззрение, я была бы способна воспитать в них подлинно научное мышление.

Весь протокол был продиктован вслух и в конце слушания зачитан в присутствии претендентки и ее юрисконсульта. Возражений не последовало.

Председатель
(подпись)

Секретарь
(подпись)

Дополнение к протоколу

Примерно в 14 ч. 05 мин. вместе с моим адвокатом, господином Райхвальдтом, я вошла в зал, где должно было слушаться дело. Нас попросили подождать в коридоре, так как комиссия еще не собралась в полном составе. Мы ждали не менее 20 мин., наконец примерно в 14.30 нас пригласили войти. Слушание началось с указания председателя Зигмунг-Шультце (Министерство внутренних дел), что слушание не является юридическим процессом и, следовательно, не является также допросом. После краткого изложения моей биографии — я родилась в 1940 году в Эйслебене (ныне ГДР) — референт комиссии Дембовски (Гос. канцелярия) спросил: «Сколько времени Вы прожили в ГДР?» Я никогда не жила в ГДР, я выросла в Западном Берлине. Остальные члены комиссии указали ему на его ошибку. На мой ответ, что я считаю недопустимым вопрос о членстве в ГКП, но готова высказаться по «всем вопросам, касающимся моего отношения к свободно-демократическому правопорядку, а также к политике ГКП» (см. протокол), господин Мунд (Министерство науки и искусства) спросил, не вижу ли я здесь противоречия — сперва я изъявляю готовность на все отвечать «откровенно и чистосердечно», а потом не хочу отвечать именно на вопрос о членстве. Я ответила, что вопрос о членстве — это не моральная, а политическая проблема. Поэтому я и не вижу здесь противоречия.

На замечание, что из ответа подобного рода «могут быть сделаны нежелательные выводы» (см. протокол), я сказала: «Я отдаю себе отчет в том, что говорю». Не помню, согласилась ли я с искажающей смысл формулировкой, когда зачитывали протокол, допускаю, что и согласилась.

Во время длинного препирательства по поводу понятий «интересы большинства», «интересы общества» господин Дельманс обратился к задававшему вопросы Штрётману (Министерство социального обеспечения) с требованием прекратить наконец расспросы — все равно я не скажу того, что они ожидают, и дискуссия приняла явно абстрактный характер.

Из трех часов слушания, указанных в протоколе, по меньшей мере час мы с адвокатом потратили на ожидание. Из оставшихся двух часов бо́льшая часть времени ушла на зачитывание и исправление протокола.

Мюнхен, 4 августа 1979 г.

ГАБРИЭЛА ШПРИГАТ

Перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ

САРА ЛИДМАН

КИОСК: СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЕР ДЛЯ КНИГ?

Из выступления на ежегодной конференции Союза шведских библиотекарей

С тех пор как Швеция выбралась из нищеты, люди получили возможность интересоваться литературой. Были созданы такие организации, как Рабочий просветительский союз, даже в маленьких поселках открылись книжные магазины. Ибо, помимо потребности в хлебе, живет в человеке жажда знаний, потребность в пище для воображения: не хлебом единым — верно сказано у древних.

Рискуя показаться слишком провинциально-обстоятельной, я все же хочу произнести еще несколько слов о жажде познания, рассказать об одном крестьянине, который размышлял о кровообращении.

Он поражался, почему птица не замерзает в тридцатиградусный мороз, у него кружилась голова при мысли о том, как сердце воробышка — этот крохотный механизм — колотится, не сдаваясь, в самую лютую стужу. Его приводило в изумление совершенство птичьего пера, и он плакал от счастья, познакомившись со сложным строением этого пера; радость познания, которую дарят книги любознательным, ведома и доступна даже тем, у кого за плечами — только начальная школа.

■

Литература последних столетий — какое это богатство, какое чтение!

Я понимаю, что нелепо убеждать библиотекарей в достоинствах художественной литературы. Известно, как рассмешил всю Швецию Мартин Люнг[1], провозгласив, что у Моцарта нет плохих вещей.

Однако даже теперь, когда книги, казалось бы, стали доступны, широкая общественность нашей страны по-прежнему лишена настоящей литературы. Так же обстоит дело и с Моцартом (зачем, мол, молодежи классическая музыка, если есть «АББА»?).

Люди с высшим образованием, живущие в больших городах и знающие о том, что книги можно выписать почтой, в состоянии раздобыть что угодно: от эпоса о Гильгамеше до книги Якоба Бёме «О трехкратной жизни человека» и журнала «Radix» издательства «Кавефор» (называю эти три книги, потому что сама нашла их после долгих поисков и не сомневаюсь, что многие получили бы от них такую же радость, как и я, если бы знали об их существовании).

Но ведь есть и другие, те, кто живет в пригородах или в деревнях, за 15—20 миль от ближайшего книжного магазина или населенного пункта, где библиотеки открываются через час после того, как последний автобус уходит назад в деревню.

И большинство из них утоляет свою жажду чтения тем, что попадется на глаза. А куда ни пойдешь — всюду киоски. Библиотека, вынужденная конкурировать с киоском, не имеет никаких шансов на победу. Киоск открыт в удобное для всех время, он всегда готов снабжать общество своим чтивом. Он пропагандирует свое мировоззрение, навязывая свое отношение к жизни даже тем, кто проходит мимо, ничего не покупая.

[1] Мартин Люнг — современный шведский комик *(Здесь и далее прим. перев.)*.

САРА ЛИДМАН — SARA LIDMAN (род. в 1923 г.).

Шведская писательница, лауреат шведской книжной премии. «Иностранная литература» познакомила советских читателей с творчеством С. Лидман, напечатав ее роман «Я и мой сын» (№ 5, 1962) и главы из публицистической книги «Рудник» (№ 5, 1969). На русский язык переведен также ее роман «Край морошки» (М., «Художественная литература», 1978).

■

Недавно я посетила в Норланде молодую семью моих родственников. У них незадолго до этого родился первый ребенок. (Кайса Аманда, прелестная девочка.) Роды были тяжелые, чудом все обошлось благополучно. После этого события мир для нас словно преобразился. Казалось, ради такого существа все общество должно переделать себя, переродиться, стать гостеприимным домом для всех детей.

Окрыленная этой мыслью, я проходила мимо киоска, где мне бросилась в глаза вызывающая надпись-заголовок:

«Я продала свою невинность, когда мне было одиннадцать!» За ней следовал еще более дикий, невоспроизводимонепристойный по смыслу текст заглавия другой рекламируемой книги.

Мне могут сказать, что подобная реклама обращена не к старой тетушке, только что державшей на руках младенца, и не к матери, едва оправившейся после трудных родов, и не к потерявшему от счастья голову молодому отцу.

Для кого же в таком случае предназначено это чтение? Кто составляет так называемую мишень, в которую целятся его издатели?

Иногда мне хочется, чтобы господ, наживших состояние на порнографии, поместили хотя бы на недельку в больницу, где бы им довелось послушать разговоры девушек, которые продавали себя с детства. Какие страшные сны им снятся! Как обезображена, обездолена их жизнь!

Будто они жили в оккупированной стране, где оккупационные власти пользуются безграничной свободой, а их считают своей законной добычей.

На это мне скорее всего ответят, что я рассуждаю как фанатичная пуританка, сектантка, кисейная барышня — так обычно величают противников некоторых крайних проявлений «вседозволенности» нашей «массовой культуры». При этом защитники порнографии действуют одновременно трусливо и коварно. Не находя возможности убедить кого-либо в эстетических достоинствах порнографической литературы, они поднимают крик по поводу ограничений на нее. Каждое выступление против порнографии встречает демагогическое: «Ага, значит, вы за то, чтобы жечь книги! Вспомните слова Гейне: «Если жгут книги, то в конце концов будут жечь и людей!»

Кощунством можно назвать попытки усмотреть в порнографии и некий «антифашистский смысл» — речь идет, например, о сценах пыток (в том числе в фашистских концлагерях), изображении наслаждения, с которым палачи мучили свои жертвы. Рекламно-зазывная обработка материала — об эсэсовских убийцах, которым доставляет удовольствие истязать несчастных, превращает их поведение в своего рода норму, образец, пытки изображаются как нечто естественное и законное. Палачи становятся героями, с которыми читателю в конечном счете предлагается себя идентифицировать.

Столь же кощунственно уверять, будто истязаемые, привыкнув, в конце концов смирялись со своими мучениями. Так, в рабовладельческое время хозяева хвастались тем, что их рабы-де любят, чтобы их наказывали.

Мне возразят: человеческая душа — потемки! Зачем делать вид, что в жизни все гладко, как в воскресной школе?

Верно, не гладко. В каждом человеке живет и акула. Трехнедельный человеческий эмбрион в самом деле так похож на трехнедельного зародыша акулы — даже специалисты не всегда могут их различить. Да, зачатки акульей кровожадности теплятся даже в самом мягком человеке. Но не ближе ли наше родство с Моцартом, с божеством?

Все это я говорю к тому, что нельзя допустить, чтобы порнография влияла на общественное мнение. Нельзя ей доверять описание темных сторон человеческой души. Об этом надобно читать у больших писателей. Достоевский знал, что двенадцатилетнюю девочку могут развратить и изнасиловать, что она может покончить с собой на глазах у насильника. Достоевский писал о страшных вещах, но его сочинения — высокая литература, а не порнография. Он не осквернил трагедию — и это самое главное.

Образно говоря, порнография губит любовь, как губит березу особый препарат, которым опрыскивают ее крону,— сперва листва бурно разрастается, а потом опадает, и дерево гибнет вместе со множеством драгоценных побегов. Так и порнография, возбуждая сверх меры чувственность, губит древо любви, а вместе с ним погибают, увядают полные нежности юные ростки.

■

Кроме порнографической литературы киоски предлагают читателю вестерны и шпионские детективы. Вред этих книг в том, что они проповедуют расизм. В них прославляется геноцид — истребление индейцев Северной Америки и одобряется преследование ЦРУ политических противников в Южной Америке. Такая литература подготавливает общественное мнение Запада к будущей войне с народами развивающихся стран. Авторы этих произведений предполагают, что мы встанем на сторону тех, кто обрекает народы на голод и вымирание.

Один из самых крупных писателей мира Мигель Анхель Астуриас писал об индейцах Гватемалы, об их мифах, о том, каково быть дискриминируемым индейцем. Именно Астуриаса мы должны читать, его творчество следует упоминать, когда заходит речь о свободе печати.

Что угодно можно говорить при нашей свободе слова — но чему суждено быть услышанным, решает власть киосков. Какой поднимается крик, если упрекнуть заурядный вестерн в дискриминации целых народов, — тебя обвинят в том, что в глубине души ты мечтаешь сжечь книги об индейцах. Зато через те несколько лет, когда истреплются немногие библиотечные экземпляры Астуриаса, его книг уже больше не достанешь на шведском языке — мы больше ничего о нем не услышим. Он исчезнет, как и сам народ, «во имя гуманности и свободы печати».

Приведу здесь одну строчку из его легенды: «Не будь рыб, море чувствовало бы себя одиноким».

■

Я вовсе не предлагаю жечь книги. Но меня возмущает тот факт, что Швеция вынуждена продавать так много леса, чтобы покупать столько бульварной литературы. Что вырубаются огромные делянки леса, чтобы хватило бумаги все это напечатать. Что косвенным, но решительным образом определяется объем этих вырубок, обеспечивающий существование порнографической литературы.

При этом такая лесная птица, как глухарь, становится для нас недоступной роскошью. Нашей большой стране оказывается не по карману содержать леса, в которых могли бы токовать глухари. Пусть исчезнут глухари, лишь бы цвела пышным цветом бульварная литература — так считают наши власть имущие!

■

Я озаглавила свое выступление вопросом: можно ли считать киоск современным костром для книг? Что я имела в виду? Разве в киосках жгут книги?

Защитники порнографии заявляют, что те, кто критикует господство киосков, дай им волю, ежегодно сжигали бы столько литературы, что ее хватило бы на добрую библиотеку. Но разве, чтобы уничтожить книги, их обязательно жечь? Есть, как видим, и другие способы.

«На ваш роман в последнее время не было спроса, и после двух распродаж мы были вынуждены пустить в макулатуру столько-то тысяч экземпляров из тиража».

Думаю, что многие писатели получали подобные письма от своих издательств. И хотя издательство никогда не объявит прямо: «Нам пришлось отправить вашу книгу на Ежегодный Великий Книжный костер», писатель все равно чувствует, что его книгу считают менее полезной для общества, чем порнографию. А ведь его книга могла бы найти своего читателя в стране, если б об ее существовании было известно!

Не стоит перегружать выступление цифрами, они трудно воспринимаются на слух, но я все-таки позволю себе привести две: на 16 500 точек распродажи бульварной литературы приходится 450 магазинов, где можно купить художественную и специальную литературу. Таким образом, настоящая литература становится малодоступной. Литературная деятельность превращается в производство беллетристики-ширпотреба.

Лишь немногие шведы читали таких больших писателей, как Эрик Блумберг[1], и уж совсем немногие знают такие имена, как Сведенборг[2]. Зато Джеймс Бонд и Коджек[3] стали необходимостью наравне с хрустящими хлебцами в повседневном рационе.

Презрение властей к критерию художественности в оценках литературы привело к тому, что на шведском языке ее создается все меньше и меньше. Перед молодыми писателями — огромное богатство тем и проблем из современной жизни и истории Швеции! Но как им браться за эти темы, если они вынуждены конкурировать с международной бульварной литературой? Как могут они развивать шведский язык, если киоск довел запас употребляемых слов до крайней скудости и «молодые побеги» языка постепенно увядают? Если вкус так испортился и огрубел, что пропала способность чувствовать оттенки? Отсутствие контроля дало возможность низкопробным поделкам вытеснить подлинную литературу.

Замечу в скобках: у журналистов в условиях найма существует правило, согласно которому они имеют право отказаться от поручений, унижающих их достоинство. Нечто подобное должно быть и у издательских работников, вынужденных выпускать продукцию, оскорбляющую их до глубины души. Почему хозяева издательств пользуются большей свободой, чем они?

Мы должны противостоять власти киосков, оккупировавших нашу культуру. Нет никаких оправданий тому, что мировоззрение Коджека и ему подобных господствует в нашем обществе, что мы позволяем опрыскивать себя ядовитым веществом, губительным для нашего духовного здоровья.

Художественная литература у нас заморожена. Но есть еще библиотеки, есть ваша мужественная борьба, и я уподобила бы ее тому самому сердцу воробышка, этому святому маленькому моторчику, с которого начала свою речь.

Перевод со шведского И. СМИРЕНСКОЙ

[1] Э. Блумберг (1894—1965) — прогрессивный шведский поэт.

[2] Эмануэль Сведенборг (1688—1772) — шведский ученый и теософ-мистик.

[3] Коджек — сыщик, герой американского телевизионного многосерийного детектива

МАГНЕ РАУНДАЛЕН, ОГЕ ТЕЙГЕН

Из книги «МОЛОДЕЖЬ СЕГОДНЯ»

ЮНЫЕ И НАПУГАННЫЕ В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ

По данным 1976 года в норвежских тюрьмах содержится около 240 молодых людей в возрасте от четырнадцати до двадцати лет. Это почти 14% общего числа заключенных. Примерно 60—65 из них младше семнадцати лет. Иными словами, около 4% заключенных в норвежских тюрьмах составляют подростки от четырнадцати до семнадцати лет.

Большинство этих юных арестантов отбывает предварительное заключение пока полиция ведет следствие по их делу. Кое-кто из этих подростков попадает в тюрьму по нескольку раз в год, одни — ненадолго, другие — на более длительный срок. Не считая этих «завсегдатаев», в течение года в тюрьме успевает побывать много самых разных молодых людей. И еще больше находится под постоянным наблюдением полиции.

На путь правонарушения подростков толкает много причин. Причины эти разные для каждого человека и в каждом городе. У специалистов — тех, кто работает с правонарушителями,— по-видимому, нет единого мнения на этот счет. Не вступая в дискуссию, я лишь приведу пример.

Йенсу четырнадцать лет. Внешне в его семье все благополучно. У него двое младших братьев. Мать — домохозяйка, отец служит в конторе. Они живут в обычной трехкомнатной квартире в городе-спутнике. Отец мечтает дать Йенсу хорошее образование, которого сам не получил. Способности к учебе у Йенса неплохие, но усердным его не назовешь. Классный руководитель не любит Йенса, считает, что тот учится ниже своих возможностей.

На посторонний взгляд, дома у Йенса всегда царит мир и гармония. Но самому Йенсу все время кажется, что отец им недоволен. Он ворчит по поводу уроков, отношения к школе, вечно твердит, что Йенс все делает не так. Да и классный руководитель тоже. Мальчик становится все больше и больше неуверенным в себе, постоянно испытывает страх перед сверстниками. Ему кажется, что его недолюбливают. А чтобы скрыть свои чувства, он ведет себя развязно и вызывающе.

Йенс начинает вечерами уходить из дома, пьет пиво, связывается с дурной компанией. Дружкам наплевать на его отметки. Йенс прогуливает школу, ему приятнее проводить время с приятелями: они-то не ворчат. Начинает понемногу красть, чтобы доказать, что он не трус. Кое-кто из его приятелей уже известен в полиции. Парни читают о себе в газетах, где их изображают преступниками, и радуются, что провели «легавых». Йенс чувствует себя в некотором роде героем: наконец-то о нем заговорили. Он участвует во многих кражах и ограблениях, приятели даже угоняют автомобили. Йенса постоянно мучит совесть, он и рад бы покончить с этими делами. Полиция ловит его раз, другой, третий. Он совсем отчаивается, но ни с кем не решается поговорить по душам. Отец и мать пытаются повлиять на него, как умеют, и по-хорошему, и по-плохому: то увещевают его, а то ругают и бьют. Йенсу наплевать на них, он начинает серьезно пить и совершает все более тяжкие проступки. Наконец, попадает в тюрьму. Идет следствие. Он сидит в одиночной камере. Когда я прихожу поговорить с ним, вид у него одновременно раздраженный и напуганный. Боясь показаться недостаточно воспитанным, он дает ответы, которых, как ему кажется, я от него жду. Пытается растянуть время наших бесед. И хотя я говорю с ним о неприятных вещах, каждый раз ждет моего прихода. Суд приговаривает Йенса к двухмесячному заключению.

Очень многие заключенные-подростки, с которыми мне приходилось беседовать, убеждены, что пребывание в тюрьме их не исправит. К тому же они страшатся выхода на свободу: слишком хорошо знают, что люди недоверчиво встретят их намерение начать новую жизнь. Тут немудрено пойти по старой дорожке. Они знают, что упрекать их не станут только дружки — такие же юные правонарушители. Ведь мы, «порядочные люди», редко позволяем оступившимся под-

© J. W. Cappelens Forlag A. S., 1977.

МАГНЕ РАУНДАЛЕН и ОГЕ ТЕЙГЕН — MAGNE RAUNDALEN og ÅGE TEIGEN.

Норвежские психологи, занимающиеся, в частности, проблемами молодежи — ее трудовой деятельности, учебы, свободного времени.

Публикуемые очерки взяты из книги М. Раундалена и О. Тейгена «Молодежь сегодня» («Ung nå». Oslo/Gjøvik, J. M. Cappelens Forlag A. S., 1977).

росткам забыть о содеянном, хотя знаем, как легко утратить волю, когда тебе постоянно напоминают о твоей неполноценности. Это бывает особенно хорошо видно во время суда. Большинство молодых людей не умеет ничего сказать в свою пользу, тем более на публике. Они испытывают страх, который прячут за вызывающим поведением. На суде от них требуют ясных, правдивых ответов; нередко в зале сидят школьники, их сверстники. В такой ситуации немудрено растеряться.

В нашей помощи юным оступившимся очень важны настоящее понимание, теплота, человечность. Эти подростки нуждаются во внимании и поддержке не только пока сидят в тюрьме, но и потом, когда выходят на свободу. Однако они редко находят такую поддержку. Мы предпочитаем «не иметь с ними дела», поворачиваемся к ним спиной. **Ребятам этим постоянно твердят, что они преступники, при этом никто и не думает напомнить им, что, кроме того, они еще и обычные люди!** Неудивительно, что процент повторных преступлений столь высок.

КРИЗИС: МОЛОДЕЖЬ БЕЗ РАБОТЫ

«Самое ужасное, что я никому не нужна. Я не могу найти себе дела, осознать свою полезность».

Это дословное высказывание семнадцатилетней девушки. После окончания школы она долгое время пыталась найти работу. В разных местах она получала лишь временную работу, замещая заболевших или ушедших в отпуск; работала то официанткой, то киоскершей, то уборщицей. С работой она расставалась с сожалением, хотя ни одно из этих занятий не соответствовало ее мечте о будущей профессии.

У нее было много оснований обратиться ко мне как к психологу. Ей нужно было с кем-то поговорить, чтобы сделать для себя выбор. Нужно было, чтобы кто-то выслушал рассказ о ее трудностях; но самое главное, она надеялась, что я помогу ей устроиться на постоянную работу. Лишь мимоходом она упомянула о своем угнетенном и подавленном состоянии. Не имея постоянной работы, она не могла планировать свою жизнь. Ее мучило сознание собственной бесполезности, она не видела для себя будущего, жизнь ее была лишена самостоятельности и смысла. Не было у нее и реальной возможности продолжать образование.

В среде норвежской молодежи таких ситуаций немало. По данным исследования, проведенного в апреле — мае 1975 года, примерно 7000 юношей и девушек от семнадцати до девятнадцати лет не работают и не учатся.

Спрашивается, как наше общество решается идти на риск, позволяя такому количеству молодых людей делать первые шаги своей взрослой жизни в пустоте? Безусловно, Норвегия обладает экономическими возможностями, чтобы предоставить молодежи работу. Почему же этот вопрос не стоит на первом месте в повестке дня наших политических деятелей?

Проблема становится еще более острой, если добавить, что по данным новейших исследований каждый пятый девятиклассник в Осло и каждый двенадцатый в сельской местности страдает психическими расстройствами. Очевидно, немалая доля этих девятиклассников вскоре вольется в процент «неучащейся и неработающей молодежи».

Подобная ситуация влечет за собой много последствий. Сравнивая себя со сверстниками, имеющими твердую почву под ногами, молодой человек или девушка чувствует себя в изоляции. Нелегко почти полностью зависеть от родителей в материальном и жилищном отношении. Родители, со своей стороны, страдают не меньше. Содержать юношу или девушку довольно дорого, им нужна еда, одежда, карманные деньги и забота. Родители переживают, видя, как их дети уныло болтаются без дела. Им горько и обидно, что они не сумели поставить детей на ноги.

Один консультант по профориентации в беседе со мной сказал, что безработная молодежь обращается к нему гораздо реже, чем хотелось бы. По его мнению, молодежь постепенно теряет волю к жизни и вообще не желает работать, чувствуя, что это все равно никому не нужно. Он убежден, что многие наши молодые в первую очередь нуждаются в помощи психиатра, а только потом — консультанта по профориентации.

Если человек долго чувствует себя ненужным, его психика разрушается, как было в случае с моей семнадцатилетней клиенткой. Исчезает уважение к себе и уверенность в отношениях с другими.

С одной стороны, мы понимаем молодежь, с другой — не можем скрыть раздражение, которое она в нас вызывает. Нам неприятно слышать, что 7000 молодых людей не имеют возможности ни учиться, ни работать. Но когда мы встречаем таких юношей или девушек, бесцельно слоняющихся среди рабочего дня, то сразу подозреваем их в нежелании трудиться и прочих грехах! Не находя реального выхода из этого положения, они быстро оказываются в тупике. Более того, из-за одиночества и бессмысленности существования молодежь нередко ищет утешения среди себе подобных, находящихся в сходной ситуации, и озлобляется против общепринятых норм поведения.

Безотрадно смотреть в собственное будущее, не имея занятия в жизни...

Перевод с норвежского М. НИКОЛАЕВОЙ

РОБЕР ЛИНАР

УЧАСТЬ ЛОНГВИ

Лонгви, сталелитейный завод на реке Шьер. Март 1979-го. Завод, прилепившийся к городку в глубине долины, изъеден ржавчиной и пылью. Он осужден на слом, и никому больше нет до него дела. Между тем люди в касках и синих комбинезонах еще варят там сталь. Огромные гулкие цеха, сработавшиеся конверторы, обветшавшие протекторы — там день и ночь все еще работают редкие группы покрытых пылью и копотью людей, вскрывающих изложницы отбойными молотками, почти вручную.

Центр контроля и управления, снабженный местной телевизионной сетью, вполне современный. Современен и расположенный неподалеку рельсо-балочный прокатный стан «юзинор», говорят, один из лучших в Европе. И его дни тоже сочтены. Он пойдет на слом вместе с прочим, старое и новое оборудование вперемешку, среди грязи и обломков — завод больше не финансируется. Здесь, в краю металлургов, уж если бросают, так бросают. Хлоп — и конец. Больше ни гроша, ни взгляда.

Мрачным символом высится в Лонгви сталеплавильня на Шьере, пожирающая сама себя. Все очень просто: для производства стали нужен металлолом, и его добывают теперь прямо на заводе — тут части конструкций, там агломерационная установка, а там станки. Сталевары делают металл, разрушая свой завод.

Стоя у железной лестницы завода, который умирает у них на глазах, среди огненных потоков жидкого металла, внезапными вспышками озаряющих лица, под грохот мостового крана, временами перекрывающий их голоса, рабочие говорят, что это уходит их жизнь, что вместе с безжалостным уничтожением железа убивают их город — дома, школы, магазины, холмы, сады и реки.

Слушаешь их и думаешь: вот снова двинулась машина смерти. Уничтоженные заводы, разоренные железные рудники, заброшенные дома, оставшиеся без средств города. Закроются школы, придут в запустение беспризорные дороги, на улицах погаснут фонари. В краю металлургов уж если бросают, так бросают.

Обуэ, 22 марта, семь лет тому назад, все в той же железорудной Лотарингии. Городок в горнопромышленном и металлургическом районе долины Орны, в самой гуще заводов и шахт. В один прекрасный день разверзается земля, трескаются стены домов, рвутся коммуникации. Около сотни домов разрушено, триста человек остаются без крова. Рудничное оседание почв. Этого уже давно все опасались. Люди слышали по ночам глухие удары под фундаментом домов. В принципе не должно быть шахт под жилыми кварталами. Может быть, ошибка расчета? К тому же добыча ведется под знаком близкой ликвидации: спешат, хватаются только за самые богатые жилы, стараются извлечь все возможное до закрытия предприятия. Один шахтер из Сент-Марио-Шэн говорил мне в апреле 72-го года: «В известковых жилах желтой руды остаются миллиарды тонн. Они берут только кремнистую, черную, и желтые пласты обрушиваются. И все — после этого работать там уже невозможно. Для нас это означает потерю десяти, пятнадцати, двадцати лет труда: что обрушилось, то пропало. Кроме того, людей становится все меньше и меньше, проходка идет слишком быстро, вентиляция за ней не поспевает. Обвалов полно». А на поверхности — рассеченные трещинами, осужденные на снос дома.

Кажется, что и тут хозяева металлургических предприятий умывают руки; они создают теперь независимые друг от друга горнодобывающие и металлургические фирмы, что позволяет уйти от ответственности за последствия обвалов. Впрочем, мелких корыстных махинаций множество. Список их бесконечен: проданные здания больниц, города, оставленные в полном запустении, отказ финансировать предприятия. Немного денег тут, немного там: все, что можно урвать от трудящихся, пойдет в карман.

Взять, например, положение с жильем. Прежде дома принадлежали металлургическим компаниям. Когда компании стали свертываться, патронат решил, что гораздо прибыльнее реализовать эту недвижимость, и начал сбывать дома в кредит самим ра-

© «Le Monde» 24 Mars, 1979.

РОБЕР ЛИНАР — ROBERT LINHART (род. в 1944 г.).

Французский литератор и социолог. В настоящее время преподает философию в университете г. Венсана. В «Иностранной литературе» напечатаны фрагменты его книги «Итак, я работаю на заводе...» (№ 8, 9, 1979).

Выступление Робера Линара перепечатывается из французской газеты «Монд».

бочим. Логично, верно? Если рабочие упрямились, их уговаривали, их заманивали обещаниями: заводы не закроются, свой дом — выгодная вещь... Сколько их теперь, домовладельцев, погрязших в долгах, не знающих, что делать со своей собственностью, которая не имеет больше никакой цены, которую нельзя продать, притом что предприятия превращаются в груды железа и на многие километры вокруг не найти никакой работы? Они обмануты, обобраны, брошены на произвол судьбы всемогущим патронатом; для предпринимателей сменявшие друг друга за последние пятнадцать лет «планы перестройки» явились манной небесной и послужили лишь для того, чтобы высвободить капиталы, вложить их в банки, в атомную промышленность — или за границу — и жонглировать миллиардами, в то время как здесь, в Лотарингии (а теперь и во всем районе Севера), под шум «профессионального плана», «плана Дьерс», «плана Давиньон» целые области страны проваливаются в тартарары.

Хозяева стали и чугуна в этом краю владели всем: недрами, землей, небом. Рудниками. Заводами и городами. Церквами. Вот уже пятнадцать лет, как они закрывают все подряд.

Неужели же рабочие, чьи заводы осуждены на гибель, шахтеры, чьи шахты разорены, города, оставленные без всяких средств и поддержки после более чем столетней доброй и честной службы,— неужели все это существует только ради благоденствия нынешней системы? Да, наверно,— по мнению тех, кто наживается на этом разгроме. Но для французской металлургии, конечно, нет. Каждый новый «план» оборачивается свистопляской миллиардов. Которые проваливаются бог весть в какие пропасти. Профсоюзные деятели достают папки с документами, предъявляют заверения, которыми пичкали их в комитетах заводов, раскрывают мелкие хитрости и махинации. Деньги, выделенные государством на постройку сталеплавильного завода с кислородным дутьем, которого никто не увидит, на обогатительную установку, так и застрявшую на стадии проекта,— где они? Ведь миллионы, миллиарды действительно были выданы, но они утекли в неизвестном направлении. Планы модернизации один за другим тают как шагреневая кожа, лишь слегка затрагивая тут отдельный цех, там несколько станков. Разномастная смесь в оборудовании — столетнее рядом с современным,— эту пестроту могут объяснить только финансовые комбинации и долгая торговля, связанная с очередным «планом», объединение или дробление компаний, расхищение кредитов и утечка капиталов в другие отрасли.

И сегодня, в 1979 году, говорят о «модернизации». И снова, как и прежде, это не более чем пустая болтовня, позволяющая кое-кому уклониться от ответственности и потихоньку уладить выгодное дельце под прикрытием очередного крупного провала. Рабочие-металлурги утверждают, что всякий план есть не что иное, как чисто финансовая манипуляция и беспорядочное истребление предприятий, что он не открывает для промышленности никакой новой перспективы. Что через пять или шесть лет, а может быть и раньше, опять поднимутся разговоры о «нерентабельности» и снова пойдет косить направо и налево машина ликвидации. Почему же прислушиваются не к ним, а к предпринимателям и технократам, которые уже столько раз, и теперь и в прошлом, хитрили, обманывали, занимались махинациями?

В государственных верхах, в руководящих учреждениях и фирмах, в префектурах и штабах политических партий считают, что все это пройдет, как уже не раз проходило. Ну, будут и на этот раз демонстрации, забастовки, столкновения, всеобщая солидарность, а затем наступят усталость, разобщенность, подавленность, каждый останется наедине со своей безработицей, со своей бедой, со своим одиночеством — и ни радио, ни телевидение, ни газеты не станут заниматься подобными проблемами, словно их не существует. Решено нанести сокрушительный удар — прямо по шее, как на бойне; упразднить разом двадцать тысяч рабочих мест — значит пятьдесят-шестьдесят тысяч человек будут выброшены на улицу, а в ближайшем будущем еще больше. А все каналы телевидения, все волны радио и крупные газеты станут бесконечно твердить одни и те же мнимые экономические истины — горячо опровергаемые рабочими на местах, но кто их слушает? — во имя которых широкую публику убедят, что металлургия Лотарингии и Севера действительно нерентабельна и непроизводительна и подлежит уничтожению.

И вот спокойные лотарингцы и северяне словно обезумели, они нападают на полицейские участки, врываются в конторы и учреждения, они захватывают радиостанции, перекрывают железные и шоссейные дороги. Они хотят поднять на ноги всю Францию.

Что, если на этот раз их призыв будет услышан и подхвачен?

Что, если люди громко и уверенно заявят, что деньги призваны создавать заводы, а не закрывать их?

Если люди сочтут, наконец, недопустимым, что вот уже несколько лет все растущее число мужчин и женщин, забытых в гибельной яме безработицы, накладывают на себя руки, погибая иногда в ужасных мучениях, и порой убивают вместе с собой своих близких?

Да, уж если что хорошо налажено при капитализме, так это уход от ответственности. Вы можете подохнуть в своем углу, можете биться головой об стену, попасть в психиатрическую больницу, погибнуть душой и телом — вряд ли портрет вашего мучителя повесят на видном месте. Виноватых нет! Виноваты мадам Рентабельность, мсье Показатель Промышленного Роста, мадам Международная Конкуренция. Впрочем, обличение тоталитаризма этого рода занимает не очень-то много места в кампаниях

протеста, которые исходят сегодня от представителей мира идей, культуры и информации.

Лонгви расположен всего в 350 километрах от Парижа. Это слишком мало, я знаю, для того, чтобы имело смысл затевать разговор о правах человека. И все же, может быть, стоит пожертвовать благонамеренностью?

Спасите Лонгви!

Перевод с французского Л. ЛИПМАН

НЕД О'ГОРМАН

ДЕТИ ПОГИБАЮТ

Фрагменты книги

Тема «Ребенок в Гарлеме» изучена Недом О'Горманом, американским педагогом, поэтом, публицистом, досконально и на собственном жизненном опыте: более десяти лет ведет он изнурительную упорную борьбу за физическое и душевное здоровье детей негритянской бедноты. Истинному энтузиасту и человеку, исполненному чувства нравственного долга, Неду О'Горману приходится повседневно иметь дело со всевозможными проявлениями социального и расового неравенства. В небольшой книжке его, запечатлевшей эпизоды скромной, но по существу подвижнической работы автора в Гарлеме, его горькие размышления, его упования и практические планы — несколько аспектов.

Документально-фактический — множество человеческих, семейных историй, которые вполне могут быть названы историями болезней — социальных по своим истокам.

Публицистический — автор стремится сделать обобщающие выводы из конкретных наблюдений, и выводы эти звучат как открытое обвинение правительства США, общественности, системы образования и здравоохранения, филантропических организаций, муниципальных властей — и самих жителей Гарлема. То, что говорит он о неумении, нежелании, бессилии множества родителей создать мало-мальски сносные условия для того, чтобы дети росли здоровыми и полноценными, нередко звучит беспощадно. Однако, подчеркнем, проводя свою мысль о «роковой предрасположенности» беднейших негритянских семейств к деградации и вырождению, истинную причину ее О'Горман усматривает не в «генетических» или «расовых» факторах: социальные причины обуславливают психологические сдвиги в сознании и взрослого и ребенка — вот его тезис.

Именно этот последний, публицистический, аспект книги навлек на О'Гормана неприязнь и резкую критику с двух сторон: и со стороны американских официальных инстанций, и со стороны националистически настроенных привилегированных слоев населения Гарлема, оскорбленных «вмешательством белого» в порядки и нравы негритянской общины.

Педагогический — автор высказывает мысли о гуманном воспитании детей, близкие к размышлениям Яна Корчака и других замечательных педагогов нашего времени.

И наконец, реформаторский — достаточно скромный сам по себе, но явно утопический в тех реальных условиях, в которых существуют дети Гарлема

Впрочем, автор не называет это существованием. Он назвал свою книгу «Дети погибают», и все содержание ее призвано раскрыть и подтвердить закономерность этого заглавия: О'Горман хочет как бы «докричаться» до своих соотечественников. Эта цель определяет и пафос и стилистику книги, проникнутой ненавистью к силам угнетения и смерти и нежной любовью к детям, к каждому ребенку, который появляется на этих страницах.

© 1978 by Ned O'Gorman.

НЕД О'ГОРМАН — NED O'GORMAN (род. в 1929 г.).

Американский поэт, автор пяти сборников стихов и двух книг о детских приютах в Гарлеме. Мы публикуем фрагменты книги Н. О'Гормана «Дети погибают» («The Children are Dying». New York, New American Library, 1978).

Размышления мои, пожалуй, следует предварить несколькими замечаниями. Прежде всего должен сказать, что я белый и пишу о негритянской общине. Кое-кому это придется не по вкусу: как ни правдив мой рассказ, мне могут не поверить, потому что я белый, могут даже отнестись к этой книге с презрением. Но меня это не останавливает.

Сам я не принадлежу к числу тех бедняков, среди которых работаю. Я никогда не голодал. Никогда не испытывал на себе ни враждебности общества, ни предрассудков отдельных лиц. Я не живу в Гарлеме. Почти всегда занимался тем, чем хотелось. В Гарлем пришел исключительно по собственному желанию. И останусь здесь, покуда удастся сохранять веру в успех и душевные силы, хотя улицы Гарлема изрядно подрывают и то и другое.

Честно говоря, я не уверен, что долго еще смогу выдерживать этот шум и гам, эти яростные скандалы, эту жестокость, эти мучительные страдания такого множества детей и их близких. 25 сентября 1975 года наш детский сад на Восточной 129-й улице в доме 42 в Нью-Йорке был сожжен дотла. Перед нами стоял вопрос: оставаться или уходить? Решили остаться и еще раз восстановить уничтоженное. Поджог явился еще одним свидетельством зла, которое царит на улицах Гарлема и проникает в кровь человека, толкая его на преступления.

Я работаю в Гарлеме одиннадцать лет, с июля 1966 года. Сначала решил открыть библиотеку для детей и взрослых на Мэдисон авеню между 128-й и 129-й. Многие литературные друзья пожертвовали для нее ценные книги из своих личных библиотек. За несколько месяцев набралось около тысячи томов самых различных жанров.

Однако вскоре я понял, что полезнее будет заняться детьми младшего возраста, и в сентябре 1967 года с помощью моего приятеля Тома Тимминса из университета «Нотр Дам» начал оборудовать ясли—детский сад в помещении пустующего магазина. Вначале у нас было только пятеро малышей, постепенно число их увеличивалось; мы несколько раз меняли помещения и создали также группы старших детей, работающие во вторую смену.

В ноябре 1973 года, на другой день после нашего переезда в помещение очередного пустующего магазина, двое педерастов с верхнего этажа, повздорив между собой, подожгли свое жилье. Огонь прожег громадную дыру в крыше. В ту ночь был ливень, и, приехав утром, я обнаружил, что мои ясли-сад погибли. В последующие пять месяцев я ежедневно приезжал в Гарлем, чтобы сохранять связь с детьми, надеясь возобновить работу детского сада, хотя моя надежда изрядно потускнела.

Что означает для меня этот Гарлем? Достаточно ли я узнал его, чтобы правильно оценивать собственную свою роль? Постараюсь пояснить. Прежде всего для меня не имеет особого значения, что это — община черных. В Гарлеме я нахожусь не потому, что здесь живут черные. Я здесь ради того, чтобы помогать черной бедноте. Возможно, читателю мое признание покажется банальным, но для меня его смысл не банален.

В Гарлем я попал просто потому, что пытался решить, как устроить дальше свою жизнь. По специальности я филолог, но перспектива вечно таскать под мышкой антологии английской литературы меня отнюдь не прельщала. Работа в Гарлеме притягивала, и я послушался внутреннего голоса и отправился туда.

Работать здесь очень нелегко. Дело не в самой работе и не в детях, суть в общей обстановке. Распущенность, бездуховность, жалкие надежды бедняков, их убогие загулы, их представления о любви, их семейная жизнь и воспитание детей — весь образ жизни Гарлема оказался для меня испытанием. Подчас весьма тяжким.

Я обслуживаю так называемый Треугольник Восточного Гарлема. Это город беднейших из обездоленных. Это город внутри города Нью-Йорка, колония внутри нашего государства. По бедственному положению она разделяет участь всех колониальных стран, существующих на планете: Южной Африки, Родезии, иммигрантских общин в нашей стране и индейцев в резервациях; уличных ребятишек в Дублине и беженцев из Пакистана и с островов Карибского моря, прозябающих в крупных городах Англии. Эти люди обречены на одинаковые страдания и гибель; об этом свидетельствует все: образование, пища, рынки, больницы, суды, тюрьмы; даже основные законы конституции тех государств, где они проживают, призванные охранять права граждан, не защищают этих обездоленных. Страдания моих детей в Гарлеме сродни страданиям всех детей бедноты. Голодный ребенок в трущобах Дублина— родной брат голодного, несчастного ребенка на 129-й улице в Нью-Йорке.

■

Уже давно повелось придавать Гарлему некий романтический ореол, чему намеренно способствовали кое-какие представители негритянской интеллигенции. Элементы этого подхода есть и в полуторачасовом фильме «Голоса, лица», снятом шведскими документалистами и показанном по нью-йоркскому не коммерческому, общественному телевизионному вещанию 14 октября 1976 года, и все же, на мой взгляд, это талантливое, честное, беспощадно правдивое изображение жизни в Гарлеме. Каждый, кто смотрел этот фильм, должен был ощутить изумление и жгучий гнев. Каждый черный американец, чьи страдания отражены в фильме с потрясающей правдивостью, должен был осознать еще раз, если не впервые, трагедию своего народа, живущего под гнетом жестокой элиты: религиозной—католической, протестантской; еврейской, негритянской; судебной, административной. Но когда телевидение пригласило группу черных американцев на обсуждение фильма, те в один голос отказались подтвердить эту правду о своем народе, а, наоборот, осудили фильм как расистский, заявив, что шведы, мол, выдумали мифический город, ибо никто из участников

обсуждения в жизни не видел такого Гарлема!

Это поистине похоже на визит человека к врачу, который нашел у него смертельную болезнь и сказал об этом, а больной возмущенно ругает врача, открывшего ему страшную правду, вместо того чтобы говорить комплименты его внешности!

Равнодушие, с которым участники обсуждения наблюдали картины смерти, поразило меня. Никто из них даже не вскрикнул. Никто не пожелал вникнуть в суть этого правдивого фильма. Как же так, почему шведы увидели одно, а черные американцы — другое? Неужели они не заметили младенца, умирающего от отравления героином, которым мать кололась во время беременности; или несчастную девочку-проститутку с потухшими глазами; или алчного черного священника, выманивающего доллары у запуганной паствы; или школу с беспокойными, изнывающими от скуки учениками; или, наконец, смерть на улицах Гарлема?!

Не знаю, претендует ли служба общественного телевизионного вещания по каналу № 13 на репутацию носителя культуры, но устроенное ею обсуждение шведского фильма выглядело просто насмешкой. По всей вероятности, деятели телевидения хотели снять с себя ответственность за показ правды и с этой целью привели в студию пятерых смирных, бесхарактерных, добропорядочных мужчин и женщин, которые никогда не интересовались этими вопросами, но целый час горячо защищали общину Гарлема от правды. Деятели телевидения, решившие пойти на поводу у негритянской элиты, устранившись от борьбы за правду и допустив грубые нападки на честный фильм, могут быть довольны, ибо такой цели несомненно добились.

Гарлем — община загнанных, затравленных людей. Улицы его словно отделены от остального мира оградой из колючей проволоки, такая изоляция отупляет человека, убивает его волю к жизни. За свои одиннадцать лет здесь я видел не одного прелестного ребенка, превратившегося в животное. Я видел красивых заботливых женщин, которые становились равнодушными матерями и передавали детям болезненное отчаяние, исковеркавшее их собственную жизнь.

Бедность — это замкнутый круг, можно сказать физическое состояние угнетенных народов; люди становятся пассивными, заранее считают себя побежденными. Так действует алкоголь, исподволь подтачивающий самые лучшие натуры, знаю это по опыту моей собственной семьи. Я имею в виду не наследственную слабость, а приобретенное, психологически обусловленное слабоволие, которое сковывает все существо человека и толкает его в бездну.

Если сама община не верит в возможность каких-то улучшений, то очень трудно что-либо ей советовать. К ужасу своему я убедился, что человек, которого расовый гнет столкнул на дно, подчас уже не стремится оттуда выкарабкаться, ибо это требует усилия воли и некоторого воображения, на что он более не способен. Вот почему так трудна наша работа. Политически и духовно инертную, лишенную воображения психику невозможно увлечь на борьбу за лучшую жизнь, если в государстве, в общине, в самом, наконец, человеке отсутствуют соответствующие стимулы, пусть даже слабые и робкие.

■

Мы называем наш детский сад Лагерем Свободы, ибо наша основная цель — помочь малышам нормально, свободно развиваться. Горько мне наблюдать все эти годы, как чувство безысходности уже с самых ранних лет подчиняет себе ребенка. В этом повинны отсутствие правильного питания и нормального детского отдыха, отсутствие медицинской помощи — в частности психиатров, плохой родительский уход, тяжелая атмосфера в семьях. Немалое значение имеет и то, что ребенок в Гарлеме не видит природы, которая внушила бы ему любовь к красоте мира. Моим детям домашняя обстановка доставляет страдания масштабов греческой трагедии, однако ни одна греческая трагедия не исполнялась на столь неприглядном фоне.

Катастрофа Гарлема носит почти тотальный характер; бесполезно ждать в настоящее время каких бы то ни было перемен. Боюсь, что поколение, которое я воспитываю в моем маленьком детском саду,— тоже потерянное поколение. Нам остается одно: стараться раздувать в наших детях огонек жизни, чтобы он превращался в пламя, и тогда, быть может, хоть в одном ребенке вспыхнет гневный, яростный дух протеста. Я не теряю надежды на это, хотя ее глушат демоны угнетения, которые с каждым днем становятся все сильнее.

Мои безутешные размышления побуждают меня вспомнить Друкса. Это — маленький ангел, крошечное двухлетнее существо; улыбается он так, что, кажется, никакая трагедия не устоит перед этой лучистой улыбкой. Друкс—десятый в семье из одиннадцати детей, сейчас там ждут двенадцатого. Мать Друкса — милая, добрая женщина, гордая, но абсолютно пассивная, полностью порабощена человеком, который распоряжается ею как хочет, то и дело бросая на произвол судьбы.

Каждое утро Друкс является из этого хаоса в наш сад и ковыляет по комнате, заражая всех своим хорошим настроением. Он еще не умеет говорить, но радостно лепечет что-то, и личико его так и сияет. А я каждый день думаю свою думу: что его ожидает в будущем? Что станет с ним, когда появится на свет двенадцатый ребенок? Придется ему уступить пришельцу свое место в семье и даже ту скудную дозу любви, которую он сейчас получает.

Деградация этого прелестного ребенка уже начинается. Пассивность матери, ее полная покорность судьбе подрезает и детям крылья. Как-то раз я одолжил ей 20 долларов, вернее сказать — подарил, хотя в Гарлеме никто не берет денег просто так, а только в долг, с тем чтобы вернуть их по получении чека (между прочим, я ни разу не получил назад и пяти центов!). Но мать Друкса на следующий же день принесла мне свой долг. Такое проявление честности у бедняков вообще не редкость. «Обязательность» этой женщины требовала, чтобы она была верна своему слову. Эта мать

взяла у меня деньги, чтобы накормить своих голодных детей; я совершенно не рассчитывал получить их обратно и, конечно, отказался взять, когда она их принесла.

Я знаю немало таких матерей. Время, порядки в нашем государстве, мировые события, секс, деторождение, болезни, смерти, обветшание жилищ--все, все для них губительно, все превращает их в безгласные жертвы.

День ото дня я замечаю новые черты, лишающие маленького Друкса его младенческого обаяния. У него появилось какое-то новое, потаенное выражение в глазах, он уже не так весело играет со сверстниками, скандалит и становится неуправляемым во время занятий. Для меня эти перемены в Друксе как нож в сердце. Даже улыбка у него теперь уже не такая радужная, весь облик ребенка меняется, в нем проступают озлобление и скрытность.

■

Как все города обездоленных, Гарлем зажат в тиски невылазной бедности. Гарлем — это зверь, предстающий в каждой из общин в другом обличии. Я считаю бесполезным делом употреблять такие формулировки, как «жертвы политического угнетения», «жертвы расовой вражды» и т. п.— как будто слова эти могут что-то изменить в страшной действительности. Столь же бесполезно стенать по поводу прошлых обид и ждать во искупление их политических перемен. Прошлым никого не разжалобишь, ждать перемен не приходится. Тот Гарлем, который я знаю,— абсолютно аполитичная, как все города обездоленных, политически несознательная община. Никто здесь не знает истинных причин своего мучительного существования, никто не знает, чем занимаются политические избранники, что они были бы способны сделать и чего они не делают. Проходят очередные выборы, но ничто не меняется, и никто не настаивает на коренных переменах. И люди, с которыми я работаю и которых горячо люблю, не дождутся перемен, покуда в сознании американской нации не произойдет революционного поворота, покуда мы не сумеем вырастить поколение образованных и политически просвещенных негритянских борцов, которые крикнут: «Довольно!»—и вольют оздоровляющую энергию в жизнь своих собратьев.

Я работаю в Гарлеме, чтобы помочь детям обрести душевное здоровье и надежды, которых они лишены, со страхом и сердечным трепетом стремлюсь к этой цели. И должен придерживаться этого несколько абстрактного идеала, стараясь не замечать кошмарных улиц, сцен жестокости, смерти. Впрочем, я не думаю, что служу утопии. Я не тешу себя мыслями, что некий мощный пророк восстанет из пепла американского образа жизни, чтобы раскрыть перед соотечественниками истинные масштабы этого кризиса, и тогда, сами собой, последуют перемены. Нет — но я вижу детей, вижу их страдания и вижу, что перед ними разверзлась бездна. И я стараюсь заложить в них здоровое начало, научить бороться со злом и с мертвящей апатией в самих себе. На меньшее я не согласен. Ради такого чуда и существует наш детский сад.

■

Великану Саймону год и три месяца. Он живет на четвертом этаже шестиэтажного доходного дома на 129-й улице. Дом принадлежит негритянской церкви. Церковь допускает, чтобы дом приносил ей доходы, допускает также, чтобы проживающие в нем люди мерзли, страдали от нашествия крыс, от пожаров; она населила дом наркоманами, но не воздела рук к небесам и не просила за все это прощения у бога.

Я узнал о существовании Великана Саймона, когда вдруг протек потолок в помещении, которое мы в это время ремонтировали под наши ясли-сад. Дали дня на два горячую воду, которой полгода не было, и кипяток хлынул из дыры в радиаторе, рядом с кроваткой Саймона на четвертом этаже, к нам вниз, на первый.

Помимо Саймона и его матери в квартире живут молодая еще бабушка с сыном-подростком и вечная куча гостей, которые либо спят, либо слушают орущее, никогда не затихающее радио. В свои год и три месяца ребенок уже мертв. Нет, он живой, но и не живой! Я вытаскиваю его к нам в сад, когда это позволяет мать, но малыш обречен — зияющая пропасть преисподней вот-вот поглотит его вместе с родными, попавшими в круг безысходности, отчаяния, душевного надрыва, голода, грязи, вечного шума. Едва вылупившись на свет, ребенок попал уже в эту западню.

Хочу поразмыслить о его судьбе. Чем одарила она его при рождении? Как ни стараюсь я быть осторожным в высказываниях, я все же думаю, что дети бедняков — любых: черных, белых, североафриканских, индийских — из поколения в поколение наследуют предрасположенность к апатии, деградации, медленной гибели. Вспомним хотя бы предков Саймона: все они, от самых далеких, знали лишь рабскую долю, и это вошло в их плоть и кровь, проникло в глубины сознания. Не с этим ли грузом входит в жизнь маленький Великан Саймон?

Я вовсе не хочу сказать, что Великан Саймон родился не таким, как дети в благополучных семьях,— менее понятливым, менее способным. Но Саймон родился с рубцами, с душевной травмой, полученной им по наследству.

Я знаю, насколько деликатна и щекотлива тема наследственности, и все же полагаю, что наследственная нищета во многих поколениях приобретает зловещую власть над людьми. И потому заранее представляю себе, как много труда надо вложить в этого мальчика, чтобы изгнать из его детской души бесов деградации, которые погубят ребенка, если мы вовремя не уничтожим их.

Убиение невинных идет полным ходом. Я сужу со всей суровостью о том, что приходится видеть: медленное, безжалостное обескровливание малолетних по воле власть имущих. Я замечаю это каждый день, как на детях, приходящих ко мне в сад, так и на тех, что встречаются мне на улицах. Их отчужденный взгляд, неряшливый вид, шаткая походка—все выражает неизъяснимую печаль и отчаяние. И мне представляется

побитое в пору цветения морозом плодовое деревце, которое преждевременно сохнет и уже не даст плодов.

■

Вилли Трент пока еще проявляет редкостно яркий интеллект и характер, несмотря на то что живет в такой среде, где этим свойствам нет места. Двух лет от роду это была презабавная личность, ибо энергия, присущая малышам, кипела в нем и с силой вихря толкала познавать окружающий мир. Однако уже и тогда душу и тело ребенка начинали подрывать злые силы. С каждым днем я замечаю, что процесс расторможения по приходе в сад требует у него все больше времени и реакция на обстановку сада изменилась. Он уже не такой жизнерадостный, как прежде.

Когда я вначале приезжал за ним в девять часов утра, чтобы отвезти в детский сад, он отбивался и кричал, плакал и колотил меня, но спустя несколько дней уже встречал улыбками, радостно меня обнимал и охотно шел со мной из дому. Понедельник—самый тяжелый день для Вилли. После двух выходных дней—субботы и воскресенья—он неузнаваем. Не знаю точно почему, но он ведет себя очень дурно. Очевидно, оба предыдущих дня не видит дневного света, с утра до вечера торчит у телевизора, слушает семейные скандалы. Сомневаюсь, что и кормят его более или менее сносно. В понедельник утром все наши дети бывают в плохом состоянии, куда более подавленном, чем когда я прощаюсь с ними в пятницу.

Вначале Вилли был нем. Дома с ним никто не разговаривал, и он не мог применить даже те немногие слова, которые знал. Так и привык молчать. Живет он с матерью и ее мужем, двумя сестренками и братом в настоящей трущобе, которая с каждым месяцем становится хуже: валится штукатурка, вышла из строя канализация, и весь дом провонял мочой. На кухне хозяйничают рыжие тараканы; они там повсюду: в масленке, в хлебе, в изоляции дверцы холодильника, в ящике со столовыми приборами, в раковине и вокруг кранов, в стаканах на сушилке, в посуде на полках. На кухонном столе стоят в ряд, как солдаты, бутылки из-под виски. В гостиной — грязной конуре — горит единственная лампочка.

Как-то под вечер я застал отца Вилли страшно разгневанным. Дети баловались, и он в наказание запер их на некоторое время в стенном шкафу, забив снаружи дверь доской. Дети, и Вилли особенно, после этого мучительного испытания выглядели как ободранные крысята, от ужаса они лишились дара речи. Они были в трансе, и никто не мог вывести их из этого состояния, кроме меня. Но изменить их образ жизни не в моей власти. Улица глуха к тому, что творят дома с Вилли, наши благотворительные учреждения не умеют договориться с его родителями, дом, где обитает ребенок, становится все менее пригодным для жилья, и все это, страшно подумать, предопределяет будущее Вилли Трента.

Вилли, как правило, не использует простейшие предметы по их назначению. Мелки для рисования он ломает и раскидывает вместе с кубиками по углам, выбрасывает за окно, швыряет ими в детей. Игрушечные автомобильчики ломает, карточки от складных картинок сует в рот, книги рвет на части. Так ведет себя четырехлетний мальчик, вовсе не младенец! И все-таки в этом ребенке проглядывает искорка таланта, но сумею ли я отвести от него бич насилия и анархии, которые могут навсегда погасить эту искру?! Ему понадобится львиная сила, чтобы изжить психологию неудачника. Моя роль заключается в том, чтобы внушить ему чувство самоуважения, твердое понятие, что он — хозяин своей жизни. Если я или кто-нибудь другой этого не сделает, он постепенно скатится в бездну.

И не глупо ли говорить, что Вилли Трент избежит бездны, спасется, потому что другие, мол, спаслись! Я нахожу такие заявления в высшей степени циничными. Ведь многие не спаслись! И даже очень многие! Вилли Трент станет жертвой своего прошлого и настоящего, если не научится противостоянию. Однако на сегодня его шансы невелики.

■

Дилли еще только четыре года, но судьба неудачницы уже наложила на нее печать. Ее мать — странная, замкнутая женщина, которая порою бывает приветлива и тогда выглядит очень симпатично, но такое случается редко. Как правило, она никогда не разговаривает с ребенком, никогда не приласкает, и Дилли растет молчаливой и только улыбается восхитительной улыбкой, которая, однако, не отражается ни в ее глазах, ни в поведении. По многу часов девочка проводит дома взаперти, вдвоем с сестренкой. Если удастся спасти Дилли от матери — это будет событием прямо-таки эпохального значения!

Я знаком с Дилли два года. Когда мне пришлось на время закрыть детский сад, я потерял с ней связь. Зиму — все дождливые, снежные, мглистые дни — она провела дома, страдая от стужи и одиночества. Она вернулась к нам в начале лета: я снова собирал детей и ходил по домам договариваться с родителями. Зашел я и к Дилли.

Она вышла ко мне, ковыляя на кривых ножках, тощенькая, осунувшаяся от зимнего сидения в комнате.

— Здравствуй, Лилли! — сказал я: так называет ее мать. Девочка молчала. Только улыбка — маска, скрывающая боль,— появилась на личике.—Подойди ко мне,— позвал я, и она подбежала, но так, как, верно, подбежала бы к любому, кто показался приветливым. Я взял ее на руки, и мне представилось, что это не живой ребенок, а картонная фигурка, которую приводят в движение, дергая за нитку...

Дома в Гарлеме стоят как забаррикадированные крепости. Упадок, в который они пришли, передается живущим там людям точно так же, как атмосфера тюрьмы — заключенным. В дом, где живет Дилли, попасть непросто. Парадное заперто, и вторая, внутренняя дверь на лестницу тоже на двух замках. Я не увидел бы девочку еще много месяцев, если бы не кричал с улицы во все горло, надеясь, что у себя на пятом

этаже меня услышит ее мать, или если бы управляющий милостиво не поднялся к ним разок-другой по моей просьбе.

В таких домах, случается, обрушится потолок, провалится пол от ливневых дождей, лопнут швы в железном покрытии, а жильцы сидят и бездействуют среди этого ужаса, и дети возятся среди обломков, сами похожие на обломки.

Когда Дилли приходит ко мне в сад, я изо всех сил стараюсь расшевелить ее. Не даю ей покоя, поддразниваю, щекочу, чтобы она вылезла из своей скорлупки, или сяду рядом и показываю самые простые картинки: собаку, улицу, машину, дом и прошу повторять за мной их названия. Но она молчит и молчит; этот бедный ребенок не воспринимает ничего «потустороннего».

■

Если бы все дети бедняков были защищены до рождения и в младенчестве от воздействия пагубных обстоятельств, разве стал бы я писать эту книгу?

Есть масса оснований устыдить работника социального обеспечения и инспектора общины, священника, адвоката, судью, врача, любого государственного служащего, всех, кто по роду деятельности имеет какое-либо отношение к судьбе бедняков. И пусть никто из них не посмеет в день Страшного суда оправдываться тем, что он не знал, как пагубно отражаются на матери по вине равнодушного государства и влияют на потомство (и на того ребенка, который еще находится в ее утробе, и на того, кто уже появился на свет) такие беды, как недоедание, наркотики, отрицательные психологические и сексуальные факторы, самое злейшее, варварское интеллектуальное и духовное подавление человека. Другими словами — замаскированный геноцид, молчаливо признанное laissez faire [1], поддерживающее в нашем обществе разрушительные силы, которые уничтожают детей.

Работая в Гарлеме, я постоянно сражаюсь с мифом о семье и традиции родительской власти над своими чадами. Не менее упорно борюсь и против равнодушной улицы, безучастия соседей и ханжеского лицемерия органов социального обеспечения. Взгляните на улицу в Гарлеме — сколько бродит там детей; заботятся ли инспектора, суд, церковь, люди, живущие по соседству, о том, чтобы такие дети не подпадали под дурное влияние этой улицы, этого квартала?

Джереми живет на пятом этаже практически заброшенного дома с матерью, сестрой и братом, а также подругой матери и ее двумя детьми. Один из этих детей, двенадцатилетний мальчик, делает что хочет: после школы слоняется по улицам, заваливается спать в кровать Джереми. Джереми встает не раньше 11 утра, он покорен, все время молчит, смотрит удивленными глазами на мир, точно это чуждая ему планета.

Жизнеописание его мамаши можно найти в делах, которые не раз и не два слушались в судах. Я знаю эту женщину десять лет: это ленивая, ко всему равнодушная алкоголичка. На протяжении нескольких лет у нее периодически отнимали по суду детей и помещали их в семьи приемных родителей, потом возвращали, потом снова отнимали и так далее. Она непрерывно переезжает с квартиры на квартиру, от одной приятельницы к другой, от Бронкса до Манхэттена, и таскает за собой детей, точно это старые чемоданы.

О подобных фактах знают и органы социального обеспечения, и церковь, и патронажные медицинские сестры, и учителя, и организации, в чьих силах отвести угрозу, нависшую над детьми. Ведь дело не в том, что по расистским или сентиментальным соображениям некто забирает ребенка из семьи, потому что ему что-то «не понравилось». Те, кто выступает против меня и моих единомышленников, исходят из того, что «белый человек — носитель заразы для детей афро-американского происхождения, отравляет их ядом, унаследованным от его белых предков».

За мои одиннадцать лет в Гарлеме у меня бывали весьма серьезные стычки с людьми, которых раздражают мои настойчивые напоминания о великой опасности, грозящей детям угнетенных бедняков. Разгневанная директриса негритянской школы «Хедстарт» устроила мне грубый скандал на улице после того, как «Нью-Йорк таймс» опубликовала мою статью. Да, я резко критиковал эту школу и ее педагогическую деятельность, что и вызвало поток брани из уст директрисы.

— Вон из нашей общины, белый благодетель!— кричала она. На нас равнодушно взирали прохожие, а я стоял и ждал, когда этот поток брани иссякнет. Я продолжал и продолжаю свою работу, не обращая на нее внимания.

В глубинах души черного американца — даже самого либерального и цивилизованного, самого буржуазного, как бы он ни отрицал этого,— таятся враждебность и недоверие к человеку с белой кожей. Я принимаю эту враждебность и недоверие как одно из следствий их исторического опыта, с этим приходится считаться. И отвечаю на это своей работой на участке, который нахожу крайне важным.

■

Американская школа до сих пор не хочет понимать, чему она должна учить детей угнетенной бедноты. Нелепо считать, что ребенок, выросший в таких условиях, какие описываю я, может быть втиснут в рамки традиционной системы образования и не пострадает от этого. Детям, с которыми я работаю, практические знания необходимы не меньше, чем чтение, письмо и арифметика. Необходимо научить их с самого начала ориентироваться в той обстановке, в которой им приходится жить. Они должны уметь отремонтировать отопительный котел в квартире, вызвать помощь в экстренном случае, выполнить несложную плотницкую работу, заделать щель, пропускающую дождь или снег. Они должны уметь штукатурить, хоть немного разбираться в сантехнике, готовить пищу. Их надо учить истории — не африканской исто-

[1] Невмешательство *(франц.)*.

рии, а их собственной истории, истории их жизни, чтобы они осознали свою участь и потребовали ответа: почему они и их близкие обречены на такую долю. Я еще ни разу не встретил взрослого или ребенка, который, жалуясь на жизнь, понимал бы исторические причины своих бедствий.

■

...Лора умерла около пяти часов утра. Ей было два с половиной месяца. Я пришел к ним в десять. Мертвая девочка лежала в кроватке под розовым одеяльцем. Мать причитала и плакала. Вокруг толпились соседи. На стуле неподвижно восседал полисмен с книгами для официальных записей на коленях. Еще два часа назад он вызвал судебно-медицинского эксперта: до его прихода труп ребенка не разрешалось тронуть с места.

Ночью был мороз; дом на 129-й улице не отапливался. Жильцы этого дома, как и сотни других бедняков, обогревались от газовой плиты. Девочка родилась недоношенной, очень слабенькой.

— Как она умерла?— спросил я.

Мне ответили: просто умерла ночью в кроватке. Но она была укутана с головой в одеяльце, значит, возможно, задохнулась?

Я несколько раз заходил проверить, прибыл ли судебно-медицинский эксперт, в три часа его еще не было, и я позвонил Мэрион Джавитс, жене сенатора Джекоба Джавитса, представляющего штат Нью-Йорк в сенате. Я был как-то у нее на званом ужине, и она несколько раз звонила мне, спрашивая, не надо ли чем-нибудь помочь нашему саду, впрочем, никогда пальцем о палец не ударила. Я сказал ей:

— Будь это ваш ребенок или мой, его давно бы уже увезли из дому для выяснения причин смерти.

Медицинский эксперт — женщина-врач — явилась только в четыре часа, но и после ее ухода мертвая девочка долго еще оставалась в доме.

Я уже уходил, когда подъехал фургон из морга. В дом прошел полисмен. Он завернул ребенка в то же розовое одеяльце и понес к машине. Сестренка Лоры кричала:

— Не увозите ее! Это моя сестра, она здесь живет!

Мать с застывшим лицом вглядывалась сухими глазами во тьму, точно не видя стоявшего фургона. Полисмен положил маленькое тельце на пол машины, рядом с водителем, и вернулся к матери.

— Господь призвал твоего ребенка,— сказал он ей и с идиотским бесстыдством прибавил: — А может быть, и спас от жизни, еще более ужасной, чем смерть.

Лора не должна была умереть. Недоношенного ребенка не имели права выписывать из родильного дома в холодное, неотапливаемое помещение. Кто-то должен был наблюдать за ее здоровьем в первые месяцы жизни. Семья, задавленная бедами нуждой, не могла обеспечить необходимый уход, и Лору ожидала верная гибель. Если дети, о которых я забочусь и за которых отчаянно борюсь, отданы на милость легкомысленного бога, дарующего им жизнь и тут же ее отнимающего; если дети отданы на милость безмозглых, ленивых, надменных городских властей, то, значит, я должен кричать все громче и громче, чтобы докричаться и до этого бога, и до этих людей, утративших представление о милосердии.

Я пришел в похоронную контору с опозданием и остановился в дверях крошечной комнатенки. Отпевание уже кончилось, с десяток людей стояли и смотрели на обряженного ребенка в миниатюрном гробике. Увы, там не было ни сенатора с супругой, ни домовладельца, выключившего зимой отопление, ни полиции, ни священников, ни мэра города. Эти не знают и знать не хотят...

На следующее утро я встретил мать Лоры. Я спросил, как она себя чувствует, и очень осторожно поинтересовался, что показало вскрытие.

— Просто умерла в кроватке,— ответила она, повторив: — Да, Нед, просто умерла в кроватке.

Но она-то знала, что это была не просто случайная смерть! Знал и я. Как и инспектор социального обеспечения, как и судебно-медицинский эксперт, как и полисмен, охранявший детский трупик, и второй полисмен, увозивший его в фургоне,— все знали и понимали, что это была совсем не случайная смерть.

Ребенка убили городские власти, благотворительные учреждения, весь тупой, жестокий род человеческий, суд и церковь с их самодовольным, нечестивым равнодушием к страданиям обездоленных. Ребенка убили несчастные, забитые, разобщенные соплеменники и самонадеянная родня с их изуверским безапелляционным правом распоряжаться детской судьбой. Такая участь ждет, к сожалению, многих других новорожденных в Гарлеме.

Хочу рассказать эпизод моего посещения служителя божьего. Одно время наши ясли-сад находились в здании на 129-й улице. Мы отремонтировали помещение на первом этаже, получилось очень красиво, и наши дети были в восторге. Это здание принадлежало местной церкви. Там еще оставалось пятеро жильцов, в том числе маленький Саймон (Великан Саймон) со своими родичами и два старика. Дом не отапливался, и они мерзли от холода, без горячей воды, среди жуткой антисанитарии, так как канализация давно уже вышла из строя. Тогда-то пущенная на два дня горячая вода хлынула из дырявого радиатора, протекла к нам на первый этаж и погубила весь наш труд — об этом я уже рассказывал.

Во время ремонта у меня возник серьезный конфликт с домовладельцем — с церковью. Мы за свой счет починили провалившиеся полы и стены квартир, примыкавших к нашим яслям, отремонтировали водопровод и канализацию в верхних квартирах, но церковные власти отказались в чем-либо участвовать. Больше того, они сменили замок на нашей двери, заявив, что не пустят нас в помещение, в которое мы вложили целое состояние — шесть тысяч долларов, если мы не подпишем арендный договор.

В ярости я отправился в церковную контору. Там находилась дьяконесса, управляющая делами церкви. На ней была красная

юбка, яркая, цветастая блузка, а на голове красный тюрбан. Я принес ей чек на 500 долларов — задаток за квартирную плату, отдал его и получил от нее договор и квитанцию.

— Где пастор? — спросил я.

— Пастор работает, он занят делом своего Отца.

— А что за дело у его отца? — не понял я.

— Божье дело,— пояснила она.— Пастор занят божьим делом.

Вся мерзость и гниль человеческая как бы сосредоточилась в этой фразе. Я понял тогда, что дети, которых я опекаю, являются жертвами не только расистских сил. Пастор, облаченный в рясу, в митре и остроконечном головном уборе, с Библией в грязных руках, запятнанных данью, взимаемой с меня, запятнанных данью, взимаемой с жильцов, с людей, промерзающих до костей в его доме, осажденных крысами и тараканами, страдающих от дождя и ветра,— этот священнослужитель представился мне в образе громадного зверя, напившегося человеческой крови и читающего проповеди о Христе, о спасении души и о добром, великодушном боге.

■

Смиты жили в доме, которым владела не церковь, а городская администрация. Вначале все казалось хорошо. Дом был со вкусом отремонтирован и усовершенствован. Действовали лифты и дверная сигнализация, на этажах функционировал мусоропровод. Но через месяц все пошло прахом: лифты перестали работать, входные двери были сорваны с петель, вышла из строя сигнализация, засорен был мусоропровод. В дом, оборудованный современной техникой, вселились жильцы, не наученные ею пользоваться. Хаос затмил порядок; несчастным, растерянным людям было не до новшеств, задуманных проектировщиками.

Берта Смит поселилась в одной из квартир со своими детьми: Линдой, Тимом, Рэнди, Лили, Майком и Эмосом. Дети выглядели оборванцами. Берта была алкоголичка, она тратила месячный чек, который получала как многодетная мать, себе на виски и наряды и на содержание машины. Посещая эту семью, я видел, что дети живут здесь словно в трясине, постепенно всасываясь в какой-то нечеловеческий вакуум. Маленький Эмос, считавшийся самым тихим ребенком у нас в саду, постепенно немел, речь его стала совсем бессвязной. На несколько месяцев я потерял его из виду, но однажды в середине зимы встретил на улице. Он брел по тротуару в летних штанишках и легкой рубашонке, без нижнего белья и без носков.

— Куда идешь? Просто так? — спросил я.— Есть хочешь?

— Да.

— Ты завтракал?

— Нет.

— А братья и сестренки завтракали?

— Нет.

Мы пошли к нему на квартиру. Трудно описать, какой я обнаружил разгром. Сестра Берты рассказала мне, что несколько месяцев назад кто-то с кем-то там подрался и в результате произошел пожар. Следы его были видны и сейчас: обуглившиеся стены, отвратительный запах паленого. Но Смиты продолжали жить в этой квартире, хотя получили приказ о переселении (наблюдение за выселением ведется плохо: эти жернова трут медленно!). Все оставалось по-прежнему: друзья и враги, кавалеры, подружки... И неизменные тараканы, и пустые бутылки из-под виски...

Дом был тюрьмой. Многие этого не понимают, когда я рассказываю о нашей работе в Гарлеме. Люди не в состоянии поверить, что наши дети живут в таких условиях. Но слушайте, говорят мне, почему же там не почистят, почему «они» не наведут порядок? Как им объяснить такую вещь, что человеку дается не просто дом, дом — это лишь часть твоего мира, и «навести порядок» надо сначала в себе самом, а затем — и вокруг себя. Требуется чистка школ, судебных учреждений и полиции, чистка улиц и перестройка санитарно-очистительной службы, очищение от скверны бродяг, воров и сутенеров, политических деятелей, лавочников и домовладельцев.

Судьба не только запихнула Эмоса в беспорядочную семью; весь окружающий мир был полон гнета, жестокости и хаоса. Когда холодной зимой он шагал по улице без белья, в башмаках на босу ногу, это не значило, что кто-то забыл одеть его, выпуская из дому; нет, в том мире, который окружал мальчика, никому нет дела до того, будет ли он жить или помрет.

■

Диана Арбос, покончившая жизнь самоубийством несколько лет назад, была замечательным фотографом. Как-то зимой 1967 года мы с ней долго бродили по Гарлему и зашли по дороге навестить маленького Доналда и его мать Люсьен.

Доналд был первым из детей, которых я узнал в Гарлеме. Я познакомился с ним в начале осени. Помнится, день был холодный, ребенок сидел в кроватке в одних трусиках, худенький, тихий и сосал большой палец, теребя другой ручонкой ухо. Ему тогда было два года. Его бабушка Руби не выходила из своей крохотной комнатки. Это была, как я потом убедился, замечательная старушка Мудрая, сострадательная, она не теряла бодрости духа, хотя видела, что вокруг все рушится, да и сама была тяжело больна.

Я стал приходить к Доналду ежедневно, водил его на прогулку, брал с собой к друзьям, ездил с ним за город, и после нескольких недель он наконец заговорил и начал улыбаться; но я, будучи новичком в Гарлеме, не догадывался, что мое внимание к ребенку раздражает его родню. Доналда стали прятать от меня, запирать и долгое время не позволяли с ним общаться. Кажется, до меня ни один человек — ни белый, ни их соплеменник — не осмеливался оспаривать их право распоряжаться ребенком.

У Доналда был брат Джереми, хромой, полуслепой, умственно отсталый, который никогда не сидел на месте, он, точно бешеный, кидался на пол, бился о стены, тянул-

ся когтистыми лапками к любому, кто мог бы обнять его и приласкать. Это всегда делала бабушка Руби. Отец детей являлся домой не каждый день — явится, переспит с женой, поколотит ее и уйдет. Это был страшный, жестокий человек, торговец наркотиками, которые он сам тоже потреблял. И Люсьен пристрастилась к наркотикам. У них на столе я видел тараканов в куске сливочного масла. Бабушка Руби умирала — у нее был рак и больное сердце. Но благодаря ее посредничеству Люсьен благосклонно разрешила снова мне видеться с Доналдом. После смерти Руби семья распалась. Секс и наркотики были теперь главным для матери Доналда. Она то и дело переезжала с квартиры на квартиру, причем каждая из них была хуже предыдущей. Я нашел их в ужасном логове на 123-й улице. В подъезде и на лестнице толпились наркоманы и кололись прямо на ступеньках. По улицам сновали мужчины в женских нарядах, проститутки, сутенеры, торговцы наркотиками. Доналд вообще мало выходил из дому, если не считать редких путешествий в школу. У него теперь родилась маленькая сестренка; все трое детей с матерью и ее веселой компанией жили в ужасающих условиях, пока, наконец, однажды утром Джереми не обнаружил рядом с собой в кровати мертвого наркомана. Вот тогда только дали о себе знать власти и, забрав детей у матери, разместили их в домах приемных родителей.

Сейчас Доналду 12 лет. Он кажется таким же отчужденным, как тогда, когда я увидел его в первый раз. Так же сосет палец и дергает себя за ухо. В глазах застыло выражение безнадежности. Мне хотелось понаблюдать за ним на уроке в школе, но учительница выдворила меня из класса. Мамаше Доналда сейчас лет 35, она совсем опустилась, ни на что не реагирует и не желает понимать, что происходит с ее ребенком.

У меня сохранилась фотография Доналда с матерью, сделанная в тот зимний день Дианой Арбос. Проваленная старая кровать, стена с обвалившейся штукатуркой, затоптанный рваный линолеум на полу. На грязной дырявой простыне сидят мать и сын, хмурые, усталые, безразличные, и смотрят пустым взглядом в объектив.

Почему он потерян, этот ребенок? Почему подсекли ростки молодой жизни, не дав им развиться? Сейчас они поселились неподалеку от моего детского сада. Доналд уже в пятом классе, я вижу, как он слоняется по улицам голодный, одетый в тряпье. В нем тлеет слабый огонек надежды, что окружающий мир окажется милостивым к нему. Нет, не окажется, я это знаю!..

Нередко возникает вопрос, кого следует спасать в первую очередь, то есть на кого обратить внимание прежде всего! Кого лечить и оздоровлять? Ребенка? Мать? Семью целиком? Мой опыт подтверждает, что те, от кого зависит решение этого вопроса, как правило, отдают предпочтение матери. В Гарлеме семью олицетворяет она. (В этой книге отцы не фигурируют, за исключением двух или трех, поскольку они детьми не занимаются, если не считать битья, да — изредка — покупки мороженого!) Я слышу, часто говорят: «Попробуем спасти семью!» Но боже мой, я наблюдаю подобное «спасение» уже одиннадцать лет и знаю, сколь редко оно дает положительные результаты, на которые уповают работники социального обеспечения, монахини, политические активисты и все прочие!

У детей, с которыми я имею дело, совершенно страшная семейная обстановка и, кроме того, отсутствует какая бы то ни было внешняя опора в виде, скажем, сердобольных теток, дядьев, бабушек и других родственников. А за порогом дома их встречает растленная и растлевающая среда. Тот, кто старается спасти такую семью и после многократных попыток терпит неудачу, остается с ощущением полного краха. И главная жертва в этой ситуации — ребенок, все дети, о которых я пишу.

Меня, наверно, спросят, что же такое в моем понимании полноценная жизнь? Ответ очень прост. Для ребенка полноценная жизнь — это здоровая и питательная еда вовремя; это — вдоволь сна в чистой постели, в тишине, в спокойной обстановке; это хорошее образование, и не только чтение, письмо и счет, но также эстетическое, учащее любить прекрасное и избегать дурного и низкого. Это и познание с младых ногтей, что из всех даров самый драгоценный дар — жизнь. Это и чувство, что ты не хуже других, и вера в то, что в твоей собственной душе и в окружающем мире — ключ к успеху, к славе, к интересной жизни и к любви. И еще многое, многое другое, но я называю лишь главное. А для взрослого человека полноценная жизнь — это, прежде всего, работа, дающая заработок, и жизнь, в которой присутствует надежда и радость. И счастливый брак, и рождение детей, и дом, в котором царит порядок. И ощущение, что ты не пария, не преследуемый, не голодающий, не безграмотный, а равноправный гражданин. Полноценная жизнь может вмещать и больше этого, и меньше этого, но она обязательно должна заключать в себе элемент радости.

■

Разумеется, все зависит от того, насколько наше государство и граждане ценят человеческую жизнь. Я не очень-то верю, что в нашем обществе человеческая жизнь почитается самым священным даром. Чаще всего жизнь в нашей стране — бренное существование, культ накопительства, поддержка общественного устройства, основанного на постоянном подавлении неимущих, дабы средний класс и богачи могли продолжать беззаботную жизнь. И все это — именно так, не ложь и не преувеличение!

Я наблюдаю непосредственно и всем сердцем чувствую, как беззащитны дети тысяч чернокожих женщин, родившиеся на свет с печатью проклятия. Рождение ребенка у бесправной матери — это очень мрачное событие.

Самая сложная наша дилемма — как найти пути к созданию такой системы, которая обеспечила бы наблюдение за матерью и ребенком от зачатия и до рождения и далее, когда ребенок подрастает, когда формируется будущая личность. Эта работа должна проводиться в больницах и специальных консультациях для будущей мате-

ри, в судебных инстанциях, в органах социального обеспечения и в правительственных учреждениях, такой надзор должен предшествовать вмешательству муниципальной медицины, когда сплошь и рядом бывает уже поздно спасти ребенка от неизбежной гибели. Наш долг — найти пути к созданию такой системы, которая обеспечила бы всем детям право на открытый доступ к жизни, к миру, красоте, здоровью, любви и надежде — этой основе человеческого развития. Иными словами, утвердить волю ребенка к жизни и борьбе с теми силами, которые калечат и губят его.

Мы обязаны подтвердить в собственной декларации, придав ей силу закона, тот текст, который приняла Генеральная ассамблея Объединенных Наций, огласив в 1959 году Декларацию прав ребенка.

Все эти одиннадцать лет в Гарлеме я наблюдаю, как нарушается каждый параграф Декларации. В ней были оглашены с предельной четкостью и обоснованностью права, которые должны быть предоставлены всем детям, дабы они могли существовать Декларация имела в виду миллионы детей, которые являются жертвами омерзительных ухищрений, низводящих человеческую личность до состояния животного. Декларацией предусматриваются специальные органы надзора в общинах, населенных бедняками, и эти органы обязаны пресекать и квалифицировать как преступление любое злодеяние по отношению к малолетним, в какой бы форме оно ни проявлялось. Увы, эта Декларация не обладает силой закона! А в применении к детям, проживающим в моем округе, ее можно считать вообще несуществующей!

Дети, с которыми я работаю, эти дети населяют колониальный «аванпост» Американской империи. На моих глазах все здесь приходит в упадок, в то время как нация, часть которой Гарлем составляет, становится все богаче и могущественнее. Похоже, что Гарлем, подобно Биафре или трущобам Калькутты, признали несуществующим в структуре нашей национальной жизни. За годы, что я здесь, не произошло ничего, что на йоту изменило бы к лучшему жизнь детей в Гарлеме — тех, кто родился в течение этого периода, или тех, кто посещал наши ясли-сад с 1967 года.

Что касается улицы, то она проявляет мало заботы о ближних. Это тоже миф, будто бы общины объединяющие угнетенных бедняков, связаны добрососедством, что старики там присматривают за детьми, бездетные заботятся о бездомном ребенке и память о собственных страданиях толкает кого-то помогать братьям, находящимся в нужде.

Несчастным малышам, о которых я повествую, остается уповать лишь на удачу. В какой-то мере такой удачей оказывается для многих наш детский сад. Но мы находимся в крайне неблагоприятных условиях. У нас нет ни средств воздействия, ни таланта, ни денег, ни помещений, чтобы обеспечить им всестороннюю защиту, нам остается уповать только на везенье. Меры, необходимые для того, чтобы вылечить их, сделать свободными, нам недоступны. Мир, в котором они живут, не способен гарантировать им никаких «прав». В лучшем случае он может осудить какие-то нарушения, кое в чем навести порядок, исправить частную несправедливость, но не в состоянии полностью выкорчевать зло.

■

Нынешнее положение вещей вызывает у меня представление о громадной долине, разделенной глубокой пропастью с ревущим на дне ее бурным потоком, через которую перекинут узкий веревочный мостик. Напрягая всю нервную энергию, женщина перебирается по нему на другую сторону — одна или с ребенком. На той стороне — вода, пища, целительные средства, теплый кров, надежда... Но там ей всучают скупой продовольственный паек, и вот она снова бредет домой; в ее жизни ничего не изменилось, вокруг все так же беспросветно, повседневная жизнь по-прежнему во власти демонов. Каждое утро люди встают и гадают, куда идти за помощью, и вскоре они уже не способны совершать путь через мост — у них умирает душа, целительные средства на той стороне не утоляют боль, которая выросла за день. И люди все реже и реже пускаются в этот путь, лишь только тогда, когда этого требует закон.

Такой я вижу жизнь наших людей, их отношения с городскими властями, с церковью, с государством, с нацией, со всеми, кто именует себя спасителями. На мертвеющих улицах Гарлема, на его пещерном образе жизни не ощущается никакой спасительной деятельности. Бедняки и их дети вынуждены искать спасение на пугающем расстоянии от того, что им кажется источником помощи. Их повседневная жизнь никогда не соприкасается по-настоящему с этим источником.

■

Я часто думаю о том, чтобы попросить талантливого архитектора Сусанну Тор запроектировать «оздоровительный центр» внутри квартала от Пятой до Мэдисон и от 129-й до 130-й улицы. Жилые помещения, школу, поликлинику, сад с навесами от дождя и беседкой для пожилых людей, площадку для спортивных игр, кухни, ремесленные мастерские и многое другое.

Наши дети, все без исключения, страдают круглый год от разных инфекций. У них не проходит насморк, всегда очень сухая кожа, они часто заболевают странными простудами; медики пичкают их пенициллином, хотя, по моему мнению, им больше помогли бы постель с теплой подушкой, апельсиновый сок и сердечная забота. Ушные и глазные инфекции, желудочные боли и рвота, общая слабость изводят детей, подрывают сопротивляемость, калечат тело, которое им носить и носить до могилы! Быть может, местный врач, аптекарь, медицинская сестра знают свое дело, но верен ли во всех случаях их диагноз и контролируется ли кем-нибудь выполнение назначений?

На мой вопрос к матери ребенка о том, какие лекарства она ему дает, я получаю неизменный ответ: пенициллин или какой-нибудь иной стандартный препарат, их

принимают иногда по нескольку месяцев, причем безрезультатно! Очень трудно внушить родителям мысль, что доброе здоровье — это не синоним понятия «не болен». Бывают скрытые болезни. Нелеченные и недиагностированные заболевания глаз и ушей, истощение на почве скверного питания более всего распространены среди детей бедняков и потенциально очень опасны.

В первом же здании «оздоровительного центра» я устроил бы открытый круглосуточно диспансер по лечению болезней, ведущих к потере слуха, зрения, координации мышечных движений и т. п. Знаю, что не одна мать, проснувшись среди ночи от плача заболевшего ребенка, вынуждена идти пешком за много кварталов в больницу и там еще ждать часами, покуда ребенок попадет к врачу. Для таких детей мой диспансер был бы спасением.

Но я хочу иметь не только диспансер для экстренных случаев, а также медицинское учреждение для регулярного лечения травм и ссадин, простуды, рвоты и поносов. В таком диспансере должны выдаваться витамины, если дети не получают их у себя дома. Должна там быть еще кухонька, где всегда стоит на плите кастрюля с горячим супом. И шкаф с теплой одеждой для тех детей, которые зимой раздеты и ходят по улицам в башмаках на босу ногу.

Разумеется, такое учреждение не сможет функционировать без участия в этом самой общины. Если бы город обеспечил дежурство в три смены медицинских сестер, община должна была бы взять на себя работу по охране, уборке, ремонту помещения. На улицах полно безработных мужчин и женщин, это дало бы им заработок, в то время как врачи и сестры выполняли бы свой долг, имеющий поистине революционное значение,— спасать детей от гибели.

В «оздоровительном центре», о котором я думаю, должна быть организована и специальная школа с продленным днем, воспитывающая детей, для которых пребывание в обычной школе противопоказано.

Покамест же добрым началом могли бы стать консультации по питанию. Лично я убежден, что именно коренными недостатками питания объясняется отсталость, поражающая весь организм ребенка. Я наблюдаю, с какими извращенными вкусами приходят к нам дети, и в этом повинна та дрянная еда, к которой они привыкли с самого рождения. Попав в наш сад, дети начинают с аппетитом есть и становятся по-новому активными. Мы бедны, поэтому мы им даем совершенно простую пищу; я не намерен утверждать, что она производит чудеса, но что-то похожее на это в самом деле происходит, когда ребенок получает ломоть хорошего хлеба, сытный, питательный суп, свежую сырую морковь и тарелку пшеничной каши с отрубями на молоке с добавкой меда!

Когда я выхожу с детьми на короткую прогулку — к пожарной станции или в парк, мне приходится очень часто останавливаться и разнимать драчунов, которые злобно молотят друг друга кулаками. Даже самые маленькие способны проявлять бешеную ярость. Такой схватит другого малыша за горло или, неизвестно за что, повалит на землю, наступит на него ногой и давит что есть силы. Старшие дети прокусывают нежную кожу малышей. Братья орут на сестренок, но не так — ворчливо, капризно,— как бранятся дети из зажиточных семей, а злобно и остервенело.

В среде, которая окружает этих детей, насилие — факт каждодневной жизни. Мало кто из родителей в Гарлеме знаком с мягкостью, терпением, раздумьем, изумлением, дальновидностью в вопросах, касающихся детей. Одна мать была просто разгневана, увидев, что моя сотрудница взяла на руки ее маленького сына, когда тот не мог заснуть в обычный у нас час отдыха. Нельзя его баловать, протестовала она, мир за стенами сада, школа, куда он пойдет учиться, не станут считаться с его вывертами и настроениями!

«Оздоровительный центр», который, я надеюсь, вырастет из моего детского сада, будет проводить занятия с родителями на тему о том, как правильно растить детей. Воспитание в чем-то похоже на приятное дело сбивания масла; но сделаешь лишний взмах взбивалкой — и сливки свернулись! Родные отец и мать, как и приемные родители, часто повинны в злоупотреблении наказаниями, не понимая, что через некоторое время любое наказание: брань, порка, лишение чего-то дорогого — перестает действовать. Ребенок становится нечувствительным — не плачет, когда его бьют, не радуется, когда его стараются подкупить конфетами или дешевыми игрушками. Вспышки родительского внимания, перемежающиеся приступами гнева,— все это, обрушиваясь на ребенка, полностью лишает его ориентации. Я должен говорить с родителями, просить их по-новому взглянуть на себя, постараться изменить свой стиль и образ жизни ради ребенка. Надеюсь, что в новом помещении мы сможем проводить субботние и воскресные занятия с родителями и как-то научим их исправлять ошибки. Оздоровительные центры такого типа, которые я имею в виду, могли бы научить родителей тактике и стратегии надежды, вопреки окружающему миру, тому обществу, которое по самой своей природе, с помощью всех выработанных в нем методов обрекает их потомство на гибель, на вымирание.

Ведь не что иное, как вымирание, поджидает в будущем наших малышей, которые приходят каждое утро в мой скромный детский сад. Еще одно поколение загубленных жизней выбросит судьба на улицы, если мы не сумеем противостоять силам зла и безнадежности, ведущим кровавый прокос по тысячам и тысячам жизней.

Перевод с английского
В. ЛИМАНОВСКОЙ

◆

Антирубрика

ЭРИК КРОСС

РАССКАЗЫ

Перевод с английского АНАТОЛИЯ МЕЛЬНИКОВА

Порошок невесомости

— Был один из тех мартовских дней,— сказал Тим Тимоти Тим,— если память мне не изменяет, двенадцатое число,— когда, хоть ты тресни, дым все равно шел вниз по трубе и валил в комнату, да так, что не было видно, куда повесить чайник.

В то время,— продолжал он,— я нанял человека по имени Алойсиус Маккафферти Кеоф, который помогал мне по дому. Он был осиротевшим гномом, я призрел его в минуту слабости. Сказать, чтобы в доме от него было много проку, так нет, но он был мастер по части всевозможных гномьих хитростей, которые могли пригодиться в трудную минуту.

— Чтоб ему провалиться! — сказал я Алойсиусу, когда терпение мое стало иссякать.— Вот предложить бы правительству — все они там любят рассуждать о своих полномочиях и о том, на что они способны,— провести через парламент закон о правилах поведения обыкновенного дыма, чтобы он не безобразничал и шел в нужном направлении.

— Им это не под силу,— отвечал Алойсиус,— ведь они в таком деле ничего не смыслят. Они о людях-то судят лишь по книгам, а уж о явлениях природы и понятия не имеют.

— Охотно согласился бы с тобой,— заметил я,— но кто может похвастаться такими знаниями?

— Я сам,— ответил он.— Все дело в том, чтобы постигнуть противоположности. Мир суть — не что иное, как переплетение противоположностей. Существует день и существует ночь. Существует жара и существует холод. Существует мужчина и существует женщина. Нет ни единой вещи, которой не соответствовала бы правильно понятая противоположность. И секрет успеха в познании всех этих явлений зависит от того, чтобы не было слишком много одной противоположности и слишком мало — другой.

— Чертовски красивая проповедь, однако дым все еще валит вниз.

— Как раз к этому я и подхожу, если только у вас хватит терпения меня выслушать. Когда что-нибудь происходит неподобающим образом, первым делом нужно попытаться обнаружить обе противоположности. А что касается этого дыма, то в нем слишком много одной противоположности и слишком мало — другой: чересчур много силы притяжения и недостаточно — невесомости.

— Вопреки всей твоей философии дым, вместо того чтобы подниматься, продолжает идти вниз. Все это пустая болтовня.

— Я придаю словам столь же малое значение, как и вы, а может, еще меньше, но мысль — это суп, а мясо, как известно, подают позже.

Сказав это, он направился к огромному сундуку, который привез в дом в качестве багажа и теперь держал в чулане под лестницей. Несколько минут он рылся в его глубинах и, наконец, извлек оттуда и протянул мне какой-то пузырек.

© Poolbeg Press Ltd, 1978.

— Держите,— сказал он.— Вот решение вашей проблемы.

Пузырек был наполнен серым порошком, напоминавшим пыль, надпись на этикетке гласила: «Порошок невесомости. Тщательно посыпать до, после или во время еды. Без надобности не употреблять».

— Хм, хм! — пробурчал я, прочитав надпись.— Что это означает, если отбросить медицинскую тарабарщину?

— Как раз то, о чем мы говорили, если вы вообще хоть что-нибудь поняли. Здесь — решение проблемы дыма. Это закупоренная невесомость — противоположность силы тяготения.

С этими словами он взял у меня пузырек, откупорил его и бросил щепотку порошка в огонь. Не успел я опомниться, как дым рванулся вверх по трубе, словно за ним гнались судебные исполнители, так что с этой минуты он нас больше не беспокоил. Сделав доброе дело, Алойсиус повесил над огнем чайник.

Чем дольше я об этом размышлял, тем больше сожалел о том, что столь полезное вещество пребывает в пузырьке в полном бездействии и не находит себе достойного применения. Мы ломали голову, как бы употребить его на благо человечества, однако во всех наших идеях обнаруживался какой-нибудь изъян, ибо совершить нужное доброе дело — одна из самых сложных в мире задач.

Но вот в нашем округе подошло время выборов, и были выдвинуты две кандидатуры: одного кандидата звали Хенниган, другого — Финнеган. Финнеган был человеком, за которого проголосовал бы любой, находящийся в здравом уме, поскольку такие, как он, не станут утруждать себя проведением новых парламентских законов. Он был сговорчивый, добродушный, мухи не обидит. В политику он попал случайно, нашел эту деятельность приятной, а деньги — легкими.

Хенниган же был человеком, который, будучи избранным, с помощью различных законов и постановлений вывернул бы всех нас наизнанку и поставил с ног на голову, так что все мы превратились бы в праведников, лишенных радостей жизни.

Как-то вечерком, сидя у огня, мы все это обмозговали и выработали грандиозный план, а также сделали необходимые приготовления.

Накануне дня выборов Хенниган должен был провести заключительную встречу с избирателями и произнести большую речь в помещении местного совета. Мы оба вымыли головы, причесались, пристегнули воротнички, повязали галстуки и, подзаправившись ужином, отправились на собрание. Пришли мы туда всего полчаса спустя после начала сбора, так что в зале было еще немноголюдно. Алойсиус, при его низком росточке, смог незаметно пробраться вперед и рассыпать немного порошка невесомости по переднему краю сцены, где обычно произносились речи.

Вскоре после того, как объявили о начале собрания, толпа повалила в зал и стала рассаживаться, а организаторы заняли места на возвышении. Вид у них был извиняющийся, словно ни один из них не явился бы на собрание в тот вечер, не займи он у Хеннигана деньги и не решаясь ему отказать. Последним на сцену поднялся сам Хенниган, державшийся как и подобало настоящему Хеннигану, а следует заметить, что более тяжкое обвинение предъявить человеку трудно.

Толпа принялась кричать «ура!» и — развлечения ради — бросать на сцену всякую всячину. Тут Хенниган подошел к краю сцены и начал речь. Он говорил довольнотаки долго и даже стал повторяться, но больше на сцене ничего не происходило. Я уже было подумал, не отсырел ли порошок и не пропал ли для нас даром вечер, как вдруг Хенниган — у-у-у-х! — шумно вспорхнул, словно фазан, и с треском ударился головой о потолок.

Собравшиеся страшно удивились, но больше всех — сам Хенниган, который, потирая ушибленную голову и дрыгая ногами, теперь парил в вышине и не имел ни малейшего понятия о том, что же с ним приключилось. Задрав головы, с широко разинутыми ртами все глазели на кандидата — ведь это было почище любого цирка.

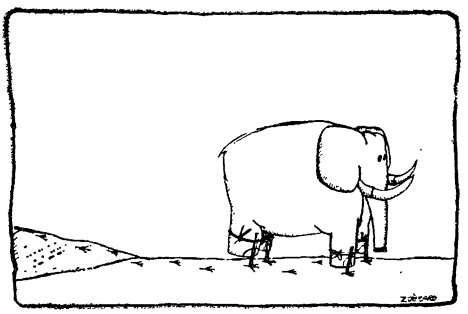
— Снимите меня! — орал Хенниган.— Тащите лестницу! Приведите полицию! Вызовите пожарную команду!

Кто-то из президиума разыскал лестницу, но она оказалась коротковатой. Кто-то другой раздобыл веревку и стал бросать конец Хеннигану, пока тот не поймал ее и не уцепился за нее как следует. Затем Хенниган быстро и легко спустили вниз, словно флаг после окончания торжественной церемонии. Когда он, наконец, очутился на земле, председатель собрания взял со стола стакан и налил туда виски, забыв разбавить его водой. Едва Хенниган это увидел — и кто бы посмел осудить его,— он схватил стакан и... отпустив веревку, снова взлетел, как жаворонок, ввысь к самому потолку. Толпа веселилась от души: это была лучшая политическая встреча в округе за многие годы.

Хеннигану снова бросили веревку и снова спустили его вниз, на сей раз обвязав концом веревки ножку стола, так что Хенниган продолжал свои разглагольствования на привязи, будто старая коза. Однако не-

---

Г. БОССХЕРТ.
Бельгия. Без слов.



весомость не прекращала единоборства с силой тяготения и постепенно одерживала верх, так что натянутая веревка лопнула, и Хенниган опять взмыл вверх.

К этому времени толпа уже вовсю наслаждалась происходившим, слышались выкрики: «Хенниган, вверх! Хенниган, вверх!» — словно он был заводной игрушкой. Начинало казаться, что мы с Алойсиусом причинили своему округу больше вреда, чем принесли пользы, поскольку большинство собравшихся, естественно, было бы только радо проголосовать за человека, который доставил им в тот вечер столько удовольствия. А ведь, согласитесь, не всякий политик станет в угоду избирателям взлетать к потолку, когда толпа начинает вопить: «Хенниган, вверх!»

Когда Хеннигана снова стащили вниз и привязали, на этот раз веревкой потолще, он продержался всего около трех минут, после чего веревка разорвалась, и Хенниган взмыл ввысь. Нужно было слышать, как неистовствовала толпа: «Хенниган! Хенниган, вверх! Хенниган превзошел на выборах всех!» Снова стащили его вниз и снова привязали, но теперь он пробыл здесь всего минуту, прежде чем врезался головой в потолок. Председатель решил, что даже в хорошем нужно знать меру, и при всеобщей суматохе распустил собрание.

Когда веселью пришел конец, самыми печальными людьми в зале оказались мы с Алойсиусом: задумали-то мы доброе дело, а нанесли один только вред, ведь ясно было, за кого проголосуют на следующий день. Однако печальными нас делало наше неведение, в действительности же ничего еще не закончилось. Можно сказать, это было только начало. Мы не придали значения тому факту, что пока Хенниган выступал на сцене, порошок невесомости активно проникал в подошвы его ботинок, подготавливая, таким образом, почву для еще более серьезных последствий этого вечера.

Хенниган направился через зал к выходу, все еще с привязанной к нему веревкой, а один из членов президиума, идя следом, бездумно держал ее, скорее уже по привычке. Когда оба они очутились посреди зала, какой-то парень, находившийся еще под впечатлением недавних событий, приблизился к ним, выхватил из кармана нож и перерубил соединявшую их веревку. Хеннигана незамедлительно подбросило вверх. Но теперь он не ударился о потолок. Перерезавший веревку — нужно отдать ему должное — был себе на уме.

В центре потолка был световой люк округлой формы, которым обычно пользовались для вентиляции во время вечерних заседаний совета. Парень решил, что перерезать веревку забавнее всего... как раз под самым люком.

В мгновение ока Хенниган пронесся сквозь открытый люк и устремился в ночное небо. Люди, толпившиеся снаружи, говорили, что это было самое великолепное зрелище, какое им только довелось видеть за всю свою жизнь. Ночь была светлой и ясной, и можно было наблюдать, как Хенниган мчался, подобно ракете, все быстрее и быстрее, пока не превратился в крошечную точку, которую способны были различить лишь люди с очень острым зрением.

На следующий день Хенниган не явился на выборы, и где он находился, было известно только ему одному, а адреса он не сообщил. Финнеган с легкостью одержал победу в избирательной кампании и в данный момент наслаждается прекрасным, хорошо оплачиваемым отдыхом в парламенте.

Некоторое время в округе еще судачили о том, что могло приключиться с Хеннигаком. Одни полагали, что все произошло из-за того, что в Хеннигане скопилось слишком много горячего воздуха, другие, напротив, относили это за счет какого-то порошка, которым пользовалась его жена, известная тем, что пекла необыкновенно воздушные торты. И тех и других мы оставили в неведении.

Школьный учитель — ходячая энциклопедия,— который знал о Гебридских островах и об остальных планетах больше, чем о пороге собственного дома, сообщил тем, кто склонен был его слушать, что Хенниган будет лететь по прямой до тех пор, пока не возвратится в ту точку, откуда стартовал. Однако немногие приняли на веру умствования учителя.

Прошли годы, и жена Хеннигана обнаружила сильное стремление снова выйти замуж и потому обратилась в суд, чтобы в соответствии с законом ее мужа признали умершим. Но суд был не в силах ей помочь, поскольку сведений относительно того, умер Хенниган или жив, имел не больше, чем она сама.

Прошло еще некоторое время, и дело было почти забыто, как вдруг однажды вечером, на заседании совета в том самом зале, где Хенниган когда-то взлетел вверх, словно воздушный шар, под досками пола послышались удары и возня, и присутствовавшим пришлось начать дискуссию по этому поводу.

Кто-то вспомнил, как много лет назад школьный учитель предсказал, что Хенниган вернется на то самое место, откуда улетел, только с противоположной стороны. Некоторые придерживались мнения, что под полом возится Хенниган, другие настаивали на том, что там скребутся крысы. Обе фракции схватились не на шутку. В конце концов пришлось поставить вопрос на голосование: вскрыть пол или оставить все как есть.

Голоса разделились поровну, а председатель заявил, что воздерживается от голосования вообще, поскольку не хочет изображать из себя Соломона, высказавшись в пользу либо Хеннигана, либо крыс. По его глубокому убеждению, если Хенниган замыслил вызвать свару — пусть сам ищет выход, это у него получится лучше, чем у любой крысы, а если виноваты крысы — членам совета они осточертели еще во время заседания.

■

АНТИРУБРИКА

Феномен мистера Данфи

Мистер Данфи совершенно отчетливо помнил момент возникновения того, что он стал называть феноменом. Это случилось одиннадцатого января — в тот самый день, когда банковскую ставку повысили на один процент. Разумеется, оба эти события никак не были связаны между собой, просто совпали по времени.

Он выключил в спальне свет и, сбросив шлепанцы, начал укладываться в постель, как вдруг глаза его уловили мерцание света в зеркале на туалетном столике. «Странно»,— подумал он. Тяжелые шторы на окне были плотно задернуты. Сквозь них вряд ли мог проникнуть какой-нибудь блуждающий отблеск. Не исключено, что на его зрение подействовало несварение желудка. Он забрался в постель и с приятным сознанием того, что жизнь его устроена хорошо, через несколько минут заснул, не дав себе труда поразмыслить над странным происшествием.

Однако на следующий вечер происшествие повторилось. Нужно сказать, в силу своего характера мистер Данфи любил, чтобы все у него было разложено по полочкам. Именно эта черта, вероятнее всего, привела его в область права; склонность к основательности у доверенного чиновника юридической конторы «Клаттер, Клаттер энд Клаттер» с годами укреплялась. Жизненной функцией мистера Данфи было сохранение и поддержание установленного порядка; его призванием — следить за тем, чтобы весы Правосудия находились в равновесии; идеалом личной жизни — блюсти законы государства, церкви и условности общества. Нечистоплотность, физическая или нравственная, была оскорбительной для него. Необъяснимое, неясное — беспокоило. В его хорошо отлаженной повседневной жизни, где все имело свое место и все было на своем месте, такое просто не могло иметь места. Итак, он не был жертвой, которую можно застигнуть врасплох или испугать. Опыт подсказывал ему, что нежданное всегда спасует перед разумом и рациональным подходом и, при наличии терпения и времени, подчинится существующему порядку вещей.

Так и сейчас, при рецидиве феномена, он воспринял его с хладнокровной объективностью ученого, столкнувшегося с явной аномалией в фундаментальном законе. Если выразить это фразой, которую сам он никогда бы не употребил, хотя она здесь весьма уместна,— он сохранял выдержку.

Мистер Данфи подошел к окну, тщательно проверил, плотно ли задернуты шторы, и убедился, что снаружи сквозь них не может проникнуть ни один луч света. Он вернулся и уселся на край постели. В зеркале по-прежнему отчетливо виднелся слабый отблеск. Тогда он перешел к следующей стадии своего исследования и начал раскачиваться на постели. Призрачное сияние колебалось в такт его движениям. Затем он ограничился поворотами головы. И теперь колебания света совпадали с его движениями. Тогда он прикрыл ладонью макушку. Свет исчез. Он отнял руку. Слабое сияние возобновилось. Он произвел серию подобных экспериментов, и они подтвердили полученный результат. Свет, так сказать, был интимно связан с ним самим. Свет виделся ему на поверхности головы либо возле нее. Отражение от лысины полностью исключалось ввиду наличия плотных штор на окнах и отсутствия в комнате любого другого источника света.

На данном отрезке времени и пространства мистер Данфи ничего не мог поделать с возникшим феноменом. Его жизненным правилом было: «Никогда не откусывай кусок больший, чем можешь разжевать». Процессуальная практика убедила его в мудрости тех, кто спешит не торопясь. Восемь часов крепкого, беспробудного сна были существенным фактором его жизни. Он улегся в постель.

На следующее утро, за бритьем, он не увидел в зеркале ничего настораживающего. Правда, был включен электрический свет. Завершив туалет, он проделал эксперимент: выключил свет и снова принялся разглядывать свое отражение в зеркале. Темным январским утром люминесценция сразу же стала заметной. Бесспорно слабой, но также бесспорно очевидной. Теперь феномен уже нельзя было отнести за счет ночных видений и галлюцинаций от несварения желудка или переутомления.

На протяжении нескольких последующих дней, особенно по утрам и при отходе ко сну, мистер Данфи методически изучал феномен. Вечерами, после ужина, сидя у камина с трубкой во рту, он искал ему возможные объяснения. Он вспомнил про статью о биологической люминесценции, которую прочел как-то в «Ридерс дайджест» [1]. Нужный номер журнала оказался у него под рукой, на книжной полке, однако, перечитав статью, он мало что почерпнул из нее. Не многое прояснила и другая статья — «Волны, испускаемые мозгом» — в том же, помогающем сэкономить время, VADE MECUM [2]. Он припомнил рассказы о жутком зрелище — сиянии, исходящем от разлагающейся рыбы. Вспомнил, как много лет назад летней ночью наблюдал фосфоресценцию на море. Он принялся изучать светляка обыкновенного и жука-светляка кукуйо и прочел о них статьи в «Британской энциклопедии», но приводившиеся там объяснения не имели никакого касательства к его случаю.

Убедившись, что он бессилен в данный момент объяснить феномен, мистер Данфи задумался над тем, как он повлияет на обстоятельства его повседневной жизни, если сияние не исчезнет. К счастью, окна его конторы были настолько затенены, что даже в летний полдень приходилось включать все лампы. Однако жизнь мистера Дан-

[1] Ежемесячный иллюстрированный журнал, в основном перепечатывающий материалы из других изданий; редакция находится в США *(здесь и далее прим. перев.)*.

[2] Дословно: иди со мной *(лат.)*.— справочник, указатель.

фи не ограничивалась пребыванием в конторе. Нередко требовалось его присутствие в суде, иной раз ему приходилось завтракать с клиентами или адвокатом. Эксперименты показали, что котелок, надетый на голову, несомненно скрывает феномен, однако едва ли мистер Данфи мог носить его в подобных случаях. Да, котелок скрыл бы свечение, но в то же время привлек бы внимание к самому мистеру Данфи. Если бы даже мистер Данфи и попытался объяснить, что причина подобной эксцентричности — физический недостаток, помимо того, что это было бы откровенной ложью, конечный результат остался бы тем же: его особа привлечет внимание, а это глубоко противно всей его натуре. Мистер Данфи также мог себе представить, как в таком виде — с котелком на голове — он явится на воскресную мессу или будет играть очередную партию в гольф.

Таковы были его в общем-то неторопливые размышления о возможных случайностях и разного рода затруднениях. Потребовались соображения практического свойства, когда он заметил, что, первоначально слабое и рассеянное, свечение с течением дней довольно быстро меняло свой характер: свет начал концентрироваться и явственно принимать форму нимба примерно в дюйме от его макушки. Одновременно яркость его усилилась. Хотя свечение по-прежнему трудно было заметить при сильном электрическом освещении или на открытом воздухе в солнечную погоду — его легко было обнаружить при утреннем свете в ванной комнате.

Мистер Данфи уже успел уловить удивление во взгляде своей сестры, которая вела его хозяйство. К счастью, она была ужасно близорука, и он мог, по крайней мере временно, парировать любое ее замечание, сославшись на неполноценность ее зрения.

Человек, не прошедший закалку бесстрастным безличием закона, в подобных обстоятельствах, вероятно, поддался бы панике. Только не мистер Данфи. Сидя по вечерам у камина с трубкой и рюмкой виски, он разбирал дело объективно, так, словно занимался с клиентом, попавшим в затруднительное положение. Он допускал возможность сосуществования с феноменом до конца своих дней. Он предвидел, что спокойный уклад его жизни неизбежно будет нарушен, равно как придет конец его душевному равновесию и благоприобретенным привычкам. В настоящее время он был сам себе хозяином, властителем своей судьбы. И всего этого ему предстояло лишиться.

Феномен, если он станет развиваться такими же темпами, неизбежно достигнет стадии, когда скрывать его будет уже невозможно. Он привлечет к себе внимание окружающих в самой вопиющей и вульгарной форме. Огласка приведет к травле и преследованиям. Пусть внимание публики к нему выльется даже в кратковременную сенсацию,— вред, который это принесет его положению в обществе, будет непоправим.

Чем дольше он размышлял, тем больше приходил к выводу, что попал в ловушку и не способен что-либо предпринять. Сходные ситуации — тупик, замкнутый круг бесплодных размышлений — время от времени возникали и в его юридической практике. Собственный опыт говорил ему, что тщетную циркуляцию мысли может иногда успешно остановить консультация с посторонним лицом, предпочтительно таким, которое располагает нужными знаниями тонкостей проблемы. Бывало, сам факт такой беседы помогал найти выход: так в душную комнату врывается струя свежего воздуха, когда вы открываете окно.

Но в данном конкретном случае консультация могла бы усугубить опасность положения. В конце концов, кому он может довериться? Обратиться к врачу — бессмысленно. Наука, которая не в состоянии объяснить природу свечения обыкновенного светлячка,— бесполезна. Кроме того, у него нет ни одного знакомого ученого.

Существовала, разумеется, Церковь. Она, по меньшей мере, имела некоторое академическое либо историческое знакомство с феноменами, в чем-то сходными с рассматриваемым, однако мистеру Данфи нежелательно было обсуждать свой случай в этой особой связи.

Он, несомненно, считал себя добросовестным прихожанином, щедро и незамедлительно — по банковскому извещению — вносил пожертвования, скрупулезно исполнял ежегодные обязанности, что от него и ожидалось, и верил в учение Церкви столь же ревностно, сколь в законы, установленные людьми на земле. Такое положение вещей вполне удовлетворяло мистера Данфи и, как он считал, будет удовлетворять до последнего его дня. Если же он со своими затруднениями обратится к служителям Церкви, это, по всей вероятности, нарушит сложившийся порядок, поскольку Церковь подойдет к его случаю единственно с точки зрения своих законных интересов и пренебрежет его законными интересами.

Нет. Он попал в западню. Выхода из нее не было. Затем совершенно неожиданно на

Б. ЭРДОКАН.
Турция.
Без слов

него снизошло озарение. Хотя Церковь и являла собой наибольшую потенциальную опасность для его дальнейшего спокойствия, она одновременно предоставляла возможность — если избавление от бремени способствовало облегчению ситуации — найти выход без публичной огласки. Церковь гарантировала тайну исповеди.

Он перебрал в уме местных священнослужителей, прикидывал, как найти подход к ним. Правда, сам он знал их поверхностно, но благодаря оценкам сестры, вся жизнь которой вращалась вокруг дел местного прихода и духовенства, имел о них довольно полное представление — со скидкой на интеллект сестры. Помнилось, она была весьма невысокого мнения о старшем приходском священнике и выражала сомнение, священник ли он вообще, настолько мало занимали его заботы прихода сверх минимального круга обязанностей. В глазах мистера Данфи это было самой лучшей рекомендацией.

Не дожидаясь, пока озарение будет омрачено возможными колебаниями, он снял трубку и позвонил отцу Райану, прося уделить ему несколько минут завтра вечером для обсуждения одной личной проблемы. Отец Райан, зная солидную репутацию мистера Данфи, с готовностью согласился.

■

Отец Райан сам отворил дверь. Он принял у мистера Данфи шляпу и провел его в гостиную. Холл и гостиная были ярко освещены. Он предложил мистеру Данфи одно из двух стоявших в гостиной кресел. Несколько минут они беседовали о погоде и политике.

— Итак, мистер Данфи, какое же дело вы намеревались обсудить со мной?

— Я прибегаю к вам, отец, если можно так выразиться, как к эксперту; мне необходим квалифицированный совет по делу, которое выходит за рамки моей компетенции. Должен вас уверить, что оно никоим образом не имеет отношения ни к закону государства, ни к закону Церкви, но поскольку дело носит сугубо личный характер, происходящее здесь не является, строго говоря, исповедью, мне было бы приятнее сознавать, что вы отнесетесь к нему так же осмотрительно, как Церковь относится к исповеди, и предоставите мне право тайны исповеди.

— Зная вас, мистер Данфи, как своего прихожанина и ценя вашу профессиональную репутацию, я не сомневаюсь в том, что это условие может быть соблюдено. Итак, в чем суть дела?

Мистер Данфи мгновение помедлил.

— Если я попытаюсь описать все, отец, вы справедливо подумаете, что я тронулся или совсем сошел с ума, либо просто-напросто решил вас одурачить. Я не могу рассчитывать на то, что вы мне поверите. Это тот самый случай, когда увидеть — значит поверить. Могу я просить вас провести простой эксперимент? Не могли бы вы буквально на секунду выключить свет?

Отец Райан поднялся с кресла и направился к двери, чтобы выполнить эту несколько странную просьбу. Комната погрузилась в темноту. Последовала короткая пауза, затем отец Райан воскликнул:

— Святые небеса! Мистер Данфи, я не верю своим глазам!

— Придется поверить, отец. Подойдите и осмотрите мою голову.

Священник приблизился к креслу, на котором сидел мистер Данфи, и с широко раскрытыми глазами и отвисшей челюстью стал изучать феномен с близкого расстояния. Снова воцарилось молчание. Отец Райан вернулся на свое место.

— Именно это дело, отец, я и хотел обсудить с вами, и, возможно, вы могли бы мне что-нибудь посоветовать.

И мистер Данфи рассказал священнику всю историю с самого начала. Он поделился своими соображениями относительно возможных последствий появления феномена в его жизни. Отец Райан был весь внимание, взгляд его застыл на макушке мистера Данфи.

— Теперь вы знаете, отец, в каком затруднительном положении я нахожусь,— заключил мистер Данфи.

— Да, знаю. Несомненно, знаю,— подтвердил священник.

Они снова умолкли. Священник уставился на огонь, время от времени поднимая голову, чтобы бросить взгляд на мистера Данфи, словно желая убедиться, не сон ли это. Он задал мистеру Данфи еще один-два вопроса, тот ответил.

— Думается, мистер Данфи, вы поймете, исходя из собственного профессионального опыта, как трудно мне дать вам совет по такому экстраординарному вопросу немедленно, так сказать, не сходя с места. С подобными случаями я не сталкивался. Мне придется как следует обо всем поразмыслить. Могли бы вы дать мне, по меньшей мере, день или два? Можете полностью на меня положиться: увиденное и услышанное сегодня останется между нами.

Мистер Данфи, естественно, согласился. Оба они на несколько минут вернулись к темам повседневной жизни, затем посетитель отбыл, удовлетворенный результатами «вентилирования», как это можно было бы назвать, а также довольный тем, что выбор его пал на отца Райана.

Отец Райан снова опустился в кресло и долго сидел, мысленно переваривая этот в высшей степени необычный визит. Мистер Данфи в силу присущей ему проницательности либо по счастливой случайности не ошибся в выборе своего доверенного лица. Отец Райан по натуре очень походил на своего посетителя. Он тоже стремился к хорошо налаженному и размеренному образу жизни и достиг этого. Он, как мог, изолировал себя от излишнего беспокойства, постороннего вмешательства и ненужных осложнений. При этом у него выработалась неприязнь к тому, что в обиходе называют «таскать каштаны из огня голыми руками». Мистер Данфи мог быть абсолютно уверен, что увиденное и сказанное здесь в тот вечер не выйдет за пределы дома отца Райана.

Затем, обратившись мыслями к самому мистеру Данфи, отец Райан осознал, что не может дать ему совет, и, более того, если бы мог, то не сделал бы этого. Во всяком случае, не сделал бы этого прямо. После долгих

лет, проведенных в исповедальне, и всего того, что он узнал там о натуре и изобретательности ума человека, он понимал, что мысли мистера Данфи скрыты глубже, чем представляется на первый взгляд. Они находились, как ему помнилось из предмета философии природы, в аморфной стадии. Им нужна была пылинка—намек, смутное предположение,— чтобы начался процесс кристаллизации. Ничего больше. Это спасло бы их обоих. Два дня спустя он написал мистеру Данфи тщательно продуманное письмо, составленное в расчете на то, что мистер Данфи при его юридическом образовании прекрасно умеет читать между строк.

«Уважаемый мистер Данфи!

Я посвятил один из вечеров длительному и скрупулезному обдумыванию предмета нашего обсуждения.

Хотя «феномен», как Вы его называете, в наши дни встречается крайне редко или вовсе не известен, на заре христианства как свидетельствует история Церкви и ее традиции, подобные явления не были чем-то необычным. В те времена их считали внешним проявлением целиком безгрешной и безупречной жизни.

Думается, Вы поймете, что такой простой, скучный, живущий в миру священник, как я, вряд ли сможет порекомендовать Вам что-нибудь стоящее относительно возможного образа действий в данном конкретном случае, исходя из личного опыта в приходе и своего образования. Я всего лишь штатный чиновник, в то время как для рассмотрения подобных дел издревле существует высший совет.

Вы могли бы, если пожелаете, получить более обстоятельный и компетентный совет от одного из членов братства иезуитов. Они обладают необходимой академической подготовкой в том, что касается тонкостей интерпретации законов морали и проблем совести в индивидуальных и особых случаях, каковым является Ваш феномен. Рекомендую отца Осмиума, который пользуется очень высокой репутацией в этом отношении.

Однако в заключение должен сказать, и Вы меня поймете, что решение относительно мер, которые Вы должны предпринять, зависит целиком от Вас самих и Вашей совести. Доктора — даже иезуиты — могут давать лишь советы, но исцеление в конечном счете зависит от самого пациента.

«Verbum satis sapienti»[1].

Можете не сомневаться, что разговор наш останется исключительно между нами. Как священник, я молюсь за Вас. Как человек, я выражаю Вам сочувствие и понимание.

Искренне Ваш
Т. Райан».

Мистер Данфи неторопливо и внимательно дочитал письмо. Затем перечитал его, обращая особое внимание на то, что заключалось между строк. В голове его словно повеял свежий ветер. Беспорядочные мысли, роившиеся в глубинах его сознания, получили толчок и начали выкристаллизовываться. Он принадлежал к «sapienti» и мог с полуслова понять любой намек.

В тот же день он условился с владельцем юридической конторы Клаттеров, что в конце недели использует часть ежегодного отпуска. Затем соответствующим образом устроил свои дела в конторе. Он известил также сестру, что будет отсутствовать несколько дней, упаковал саквояж и в конце недели отбыл.

Вернулся он через неделю. Где он был и чем занимался все это время — его личное дело. В тот же вечер, нарушив свою обычную, годами сложившуюся привычку, он отправился на исповедь. Впервые в жизни он шел к иезуитам, которые обладали «необходимой академической подготовкой в том, что касается тонкостей интерпретации законов морали и проблем совести в индивидуальных и особых случаях».

В воскресенье по пути в церковь он повстречал отца Райана. Он приподнял шляпу не только из вежливости. При этом приподнял ее чуточку выше, чем требовалось. «Verbum satis sapienti» можно выразить столь же хорошо жестом, как и словами.

---

[1] Умный понимает с полуслова *(лат.)*.

◆

Наши гости

Али Джаафар аль-Аллак. Хдейр Абдель Амир

ИРАК

Гости представляли Союз писателей Ирака и журнал «Аль-Аклам» («Перья»), орган министерства информации и культуры, один из самых влиятельных и больших (свыше 20 п. л.) литературных журналов на Арабском Востоке.

Али Джаафар аль-Аллак — ответственный секретарь этого журнала, поэт, публицист, литературовед. Автор трех сборников стихов: «Ничего не случится, никто не придет» (1973), «Обитель водяных птиц» (1975) и «Дерево и семья» (1979). Не только в Ираке, но и в других арабских странах его считают одним из наиболее интересных молодых поэтов. Его излюбленный жанр — касыда. Это не просто дань многовековой восточной поэтической традиции, но и стремление использовать старинную форму для выражения мыслей и чувств, порожденных глубокими преобразованиями, которые потрясли политическую, социальную и культурную жизнь Арабского Востока.

Хдейр Абдель Амир — редактор отдела прозы в журнале, автор нескольких сборников рассказов и двух романов: «У Гильгамеша не осталось никакой надежды» (1971) и «Современные символы» (1977). Амир является представителем среднего поколения иракских прозаиков, перед глазами которого прошли важнейшие события в жизни Ирака, на многие годы определившие будущее страны. В своих рассказах и романах Хдейр Абдель Амир строго реалистичен, его почти не коснулись увлечения некоторых иракских прозаиков, особенно молодых, формалистическими поисками. Стремясь воссоздать на страницах своих произведений сложность отношений человека с миром, переживающим острые социальные и духовные сдвиги, писатель рассказывает о том, как интеллигенты, феллахи, рабочие, уличные торговцы, многие из которых только недавно перебрались в город, приходят к осознанию необходимости борьбы за социальные преобразования, за независимость своей родины.

Мы просим гостей рассказать о культурной жизни Ирака. Слово берет Хдейр Абдель Амир.

— *Проводимая с конца 1978 года массовая кампания за ликвидацию неграмотности среди взрослого населения наряду с обязательным шестилетним обучением детей школьного возраста привела к оживлению всей культурной жизни в стране. Сейчас за партами решается одна из серьезнейших проблем для любой литературы — проблема читательской аудитории. Министерство культуры и информации было вынуждено резко увеличить тиражи не только журнала «Аль-Аклам», но и других изданий: журнала «Аль-Маврид» («Источник»), освещающего вклад арабов в мировую культуру; «Ат-Талиа аль-адабийя» («Литературный авангард»), печатающего в основном произведения молодых прозаиков и поэтов, а также критические статьи с анализом их творчества; «Ат-Турас-аш-шаабийу» («Народное наследие»), который главное внимание уделяет публикации фольклорных материалов и вопросам взаимоотношений фольклора и литературы.*

В стране выходят два журнала для детей: ежемесячный «Маджаллати» («Мой журнал») и еженедельный «Мизмар» («Свирель»), каждый тиражом 80 тыс. экземпляров. Специально для детей издается также библиотечка художественной литературы, куда наряду с арабскими авторами включаются переводы произведений выдающихся зарубежных писателей, в том числе русских — Льва Толстого, Максима Горького и других. В общем, в Ираке немало делается, чтобы приобщить детей к лучшим образцам мировой литературы.

Для удовлетворения постоянно растущих культурных запросов населения издаются рассчитанные на массового читателя серии книг по разным отраслям знаний: науке, искусству, культуре, литературе. Эти книги стоят 50 фильсов, что ненамного дороже ежедневной газеты, а потому по карману каждому. Наиболее интересны, как нам представляется, серии «Новые книги» и «Переводы». Кстати, в последней нередко выходят в свет произведения русских и советских авторов. Совсем недавно, к примеру, наш читатель получил возможность познакомиться на родном языке с творениями выдающихся русских критиков Белинского и Чернышевского. А всего за год Министерство культуры и информации выпускает в свет 150 названий книг.

Иракская литература вступила в эпоху своего возрождения. У нас появилось немало молодых талантливых писателей, которые, унаследовав лучшие традиции арабской культуры, развивают ее, поднимая на более высокую ступень.

Советские читатели знакомы с творчеством наиболее крупных иракских поэтов и прозаиков. Их книги переведены на русский и другие языки народов СССР. В частности, в недавно вышедший в свет том избранной прозы Ближнего Востока («Прогресс», 1978) включены прозаики Гаиб Туама Фарман, Фуад ат-Текерли, Абдурахман ар-Рубейи, Абд аль-Малик Нури и другие. Издательство «Художественная литература» подготовило сборник современной иракской новеллы, где будет представлено творчество свыше 20 авторов. А всего за годы советской власти произведения писателей Ирака вышли в свет общим тиражом 430 тыс. экземпляров.

— *О таких тиражах нам приходится только мечтать,— говорит глава делегации иракских писателей Али Джаафир аль-Аллак.— Но мы тоже придаем первостепенное значение расширению знакомства наших читателей с русскими и советскими писателями. В этом мы видим реальное проявление тех дружеских отношений, которые сложились между нашими государствами и народами.*

Журнал «Аль-Аклам» существует уже 14 лет. Все эти годы редакция считала своим долгом систематически публиковать произведения русской и советской классики, статьи проблемного характера о различных сторонах литературного процесса в Советском Союзе. Особенно велик интерес к опыту национальных советских литератур. Недавно наши читатели познакомились с поэзией Расула Гамзатова. На страницах журнала печаталась повесть Чингиза Айтматова «Ранние журавли». Творчество этого замечательного прозаика пользуется огромной популярностью как в Ираке, так и в других арабских странах.

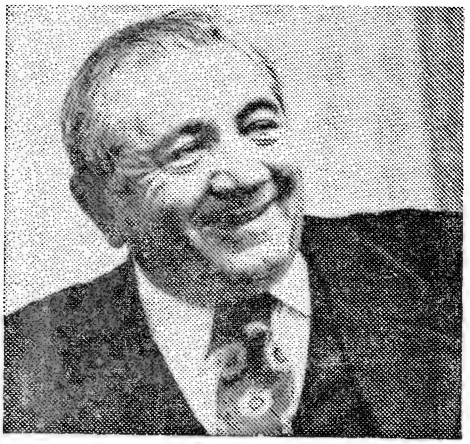
В ближайших номерах мы предполагаем опубликовать материалы о творчестве Анны Ахматовой и Александра Блока. Статья о Блоке, в частности — я прочитал ее в рукописи,— представляет собой подробное изложение недавно вышедшего в вашей стране интересного исследования Владимира Орлова, известного знатока творчества замечательного русского поэта. В арабских странах весьма популярен и Чехов. Сейчас в портфеле редакции находится статья о раннем периоде его творческой деятельности.

Можно утверждать, что тяга к русской культуре, к русской литературе для арабов явление традиционное. Не случайно многие арабские литераторы в числе своих учителей первыми называют имена Льва Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, которые учат нашу интеллигенцию чувству социальной ответственности, справедливости, патриотизма.

Работа по переводу произведений советской литературы идет у нас непрерывно, несмотря на серьезные трудности, вызванные нехваткой квалифицированных специалистов, которые могли бы переводить непосредственно с русского языка. Многие переводы выполняются, к сожалению, с английского или французского языка. Но мы вынуждены идти на это, чтобы удовлетворить интерес арабских читателей к советской литературе. Этот интерес вполне закономерен, естествен, он порожден прежде всего тем, что советской литературе дороги человеколюбие, гуманистические идеи, идеи борьбы против колониализма и расизма, за независимость, прогресс, социальное равенство, за счастье человека труда.

В. ШАГАЛЬ

Фото А. Рикельмана



Джахит Кюлеби

ТУРЦИЯ

Не часто поэты одного поколения говорят друг о друге хвалебные слова, тем более в библиографических словарях, где место фактам, а не оценкам. Но вот что написал о Джахите Кюлеби в своем словаре турецких писателей известный поэт Бехчет Неджатигиль: «С незамутненной искренностью народного певца и былинным величием Джахит Кюлеби пел часто одинокую, иногда отчаянную, но всегда свою собственную песнь. Ассонансные рифмы, внутренняя инструментовка, строжайшая взыскательность поэтического языка наряду с изысканностью уподоблений, в которые он облекал чувствуемую мысль, сделали его одним из любимейших поэтов».

За сорок лет работы в литературе Джахит Кюлеби составил всего пять поэтических книг. Но его стихи стали песнями, на слова его поэмы об Ататюрке написана оратория, один из его стихотворных сборников удостоен высшей литературной премии Турции. Наша беседа, однако, началась не с поэзии, а с науки, вернее, с деятельности Общества турецкого языка — Джахит Кюлеби является его председателем. Основанное первым президентом Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, это общество ставит своей целью изучение языка во всех его аспектах — лингвистическом, историческом, поэтическом, словом, по характеру своей деятельности скорей всего может быть уподоблено Отделению языка и литературы Академии наук. Общество турецкого языка выпускает свой ежемесячный журнал «Тюрк дили», где печатаются литературоведческие и критические статьи, стихи и рассказы, ежегодно присуждает премии за лучшие лингвистические и филологические труды, переводы, пьесы, романы, стихи, новеллы и очерки.

— Общество турецкого языка в основном объединяет ученых. Его почетными членами являются многие зарубежные тюркологи, среди них и советские, которые внесли значительный вклад в развитие турецкой филологии. Но в нем также состоят писатели и поэты, в том числе и ваш покорный слуга. Мне хотелось бы обратить внимание, что за время существования общества его председателями избирались публицисты, романисты, поэты, но ни разу — университетские профессора. Наше общество независимо от государства, оно не пользуется никакой поддержкой с его стороны. И вовсе не потому, что мы против этатизма — одного из принципов, выдвинутых основателем Республики Ататюрком. Дело в том, что мы не нуждаемся в государственных субсидиях, ибо строим свою работу на крепком финансовом фундаменте. Его также заложил Ататюрк, завещав значительную часть своих капиталов и недвижимости нашему обществу.

Зависимость старой Турции от империализма, говорит Джахит Кюлеби, сказалась не только в сферах политической и экономической, но также в области культуры и языка. Подобно тому как словарный состав литературного языка Османской империи на две трети состоял из арабских и персидских слов и выражений и потому именовался не турецким, а османским, в XIX веке турецкая культура, литература и язык оказались под прессом западного влияния.

— В результате наш язык — я имею в виду литературы,— утратил свои особенности. Перед нами встала, хотя и в иной форме, та же самая проблема, что стоит теперь перед языками ряда стран Африки. Мы занялись спасением из рабства своего языка, что для нас неотделимо от освобождения из рабства нашего собственного народа. Мы очищаем народный язык, приближаем литературный к разговорному и обогащенным возвращаем его народу. Поэтому, это и есть революционный подход к языку. Мы, конечно, не являемся марксистами, но наши враги часто называют нас коммунистами — для них это бранное слово. Дело здесь вот в чем: я слышал, что у вас квалифицированный рабочий считает себя интеллигентом, а для нас, турецких интеллигентов, важно, чтобы рабочий хотя бы понимал, что мы говорим и пишем, мы хотим приучить народ думать. А это уже кой-кому приходится не по нраву. У нашего общества нелады не только с клерикалами — для них мы безбожники, ибо освобождаем турецкий язык от загромоздившей его арабской лексики, то бишь лексики коранической; не лучше и с академической средой — там склонны утверждать, что языковая революция отрезает новые поколения от традиций старой культуры.

Я говорил с некоторыми советскими тюркологами. Среди них были и почетные члены нашего общества. Так вот они в который раз допрашивали меня: когда наконец в Турции будет создана Академия. Я лично надеюсь, что никогда. Для нас академизм означает косность, погоню за теплыми местечками и высокооплачиваемыми чинами, кастовость, замороженность, застой. Впрочем, что я вам говорю? Вы об этом сами прекрасно знаете со времен Пушкина и его стихотворной загадки: почему-де в Академии наук заседал князь Дундук, коему сия честь не подобала.

Имя Пушкина тотчас переменило тему разговора на дела поэтические.

Джахит Кюлеби начал писать стихи еще в детстве. Но первые публикации появились в журнале «Генчлик» в 1938 году, когда ему был уже 21 год. В те времена многие поэты копировали Назыма Хикмета. Не избежал подражательства и Джахит Кюлеби. Однако хотелось ему писать непохоже. Когда в 40-х годах три поэта во главе с Орханом Вели начали новое поэтическое движение, провозгласив своей целью освобождение поэтического смысла от примата формы, избавление его от обязательных рифмовок и размерности, Джахит Кюлеби примкнул к этому движению и сумел найти в нем свое собственное место. Если, к примеру, Орхан Вели ввел в поэзию жаргон стамбульских низов, грустную самоиронию «маленького человека» большого города, то Джахит Кюлеби обратился к мотивам крестьянской Анатолии. Верен он этой теме и по сей день.

— Это не значит, что я просто копирую приемы и мотивы народной поэзии, как, по-моему, поступают иные поэты. Я пытаюсь модернизировать фольклорные темы, синтезировать их с современной формой, сегодняшним поэтическим мышлением. То есть хочу добиться того, чего, по-моему, добились азербайджанские композиторы.

Еще каких-нибудь десять лет назад писатели, за редким исключением, не могли в Турции заработать на хлеб своим пером. Джахит Кюлеби преподавал литературу в лицеях Антальи и Анкары, служил в министерстве просвещения. После свержения диктатуры Мендереса в 1960 году был направлен культурным атташе в Швейцарию. По возвращении на родину снова служил в министерствах просвещения и культуры. В последние годы социальный кризис, переживаемый Турцией, пробудил огромный интерес, особенно среди молодежи, к политическим и философским книгам, к наиболее социальному из всех жанров художественной литературы — роману. Многие турецкие романисты могут ныне, не голодая, прожить на свой литературный заработок.

— Сейчас в Турции вроде бы возможно опубликовать любую книгу, сколь бы острую критику существующего строя она ни содержала. Но цены на бумагу невероятно высоки, а порой ее не достать ни по какой цене. Поэзию книгопродавцы берут вообще неохотно — круг ее читателей по-прежнему узок, для понимания поэзии требуется более высокий культурный уровень. Поэтому стихотворцы по-прежнему своими книгами на хлеб заработать не в силах...

В Советском Союзе я впервые и увидел в вашей стране много важного и поучительного. В особенности потому, что все наше поколение воспитывалось на русской литературе, на Пушкине и других поэтах. К сожалению, косвенно — их стихи на турецкий язык почти не переводились, а вот на прозе непосредственно, на романах Толстого, Достоевского, Горького. Мне особенно близок Гоголь и его «Ревизор». Возможно потому, что я сам свыше десяти лет служил ревизором и мог убедиться, насколько точным и глубоким реалистом был этот великий писатель.

Речь заходит о стихах самого Джахита Кюлеби, их тематике. Наш гость полагает, что поэт не должен быть ограничен и смеет писать, о чем хочет. Если ему удается создать истинные стихи, содержанием которых могла бы быть политическая статья, его можно с этим поздравить. Если же нет, он не должен себя насиловать. К тому же в одном и том же стихотворении может быть множество тем, они связаны поэтической ассоциацией и потому нераздельны.

— Я не говорю о себе, иначе я выглядел бы хвастуном. Но я убежден, что каждый поэт должен иметь свой мир, собственный поэтический язык и только ему присущую фантазию. Впрочем, стихи лучше читать и слушать, чем рассуждать о них.

Мир поэзии Джахита Кюлеби многогранен и широк. В нем достает места и политической страстности, и любовной лирике, и картинам природы, и философскому раздумью.

Хочется заключить рассказ об этой беседе переводом двух его стихотворений, пока еще не вошедших в книги.

АМЕРИКА

Сперва ее открыл Христофор Колумб,
Затем настала очередь наша.
Меньше стало надежд, меньше счастья,
Тоньше ломоть лаваша.

Если плачет ребенок в горах,
В его слезах Америка есть.
Если трупы на улицах, кровь на камнях,
Знайте: в пулях Америка есть.

Если кого-то сочли рабом, кто-то
повешен, распят —
И в петле и в кресте Америка есть.
Но мы снова восстанем и будем стоять,
Покуда мы сами есть.

НЕБОЛЬШОЕ АЛОЕ ОБЛАКО

Над моей головою кружащее облако,
Кто ты? Облако или страсть?
Алое, будто из крыльев павлиньих,
Такая плавность, неуловимость,
Ни достать, ни в руках подержать.
Дождь бывает таким, и бывает любовь,
и бывает надежда.

Все прекрасное в мире, сама моя жизнь
Стала ныне упущенным случаем.
Будто женщина, или природа, иль
дуновение ветра,
Будто застенчивость, будто бы нежность
иль слово.

Над моей головою кружащее облако,
Может, ты облако гор? Иль долины?
Иль моря?
Может, ты оторвалось от старых
любовей,
Забылось?
А может, ты песня крестьянская девичья,
Будто слеза, будто сон, будто радость? [1]

[1] Перевод автора статьи.

Р. ФИШ

К нашим иллюстрациям

МОНСЕРРАТ ГУДЬОЛ

При первом взгляде на картины Монсеррат Гудьол становится ясно, что они созданы испанским мастером. Эта уверенность возникает благодаря особой, «таинственной» одухотворенности ее картин, стремлению прорвать оболочку видимого во имя активного внутреннего постижения, особого аскетизма художественных средств в выражении главной темы, благодаря могуществу линии, создающей уверенно то настроение у зрителя, которое «внушено» художником.

Количество действующих лиц в картинах М. Гудьол невелико, но этого достаточно, чтобы сказать многое. Герои ее картин полны раздумий, они всегда вопрошают: время («Мужчина и женщина перед песочными часами»), мироздание («Голубая девушка»), природу («Женская фигура и цветочный горшок»), друг друга («Помолвленные»). Иногда они как бы обращаются к зрителю («Веревка» и «Женщина в красном»). В последней картине художница так подает фон, что он кажется единой средой, составляя часть одежд женщины, а из этой среды выступает лицо и рука. Лицо одухотворенное, широкоскулое, с пристальным, «взыскующим» взглядом (кстати, во всех картинах в женских образах мы узнаем черты лица самой художницы, это своеобразные ее «духовные» автопортреты). Многообразны темы, к которым обращается художница, многообразны и их решения. Но нигде она не впадает в риторику. Спасает ее от этого незаурядное мастерство.

Монсеррат Гудьол родилась в 1933 г. в Барселоне в семье известного искусствоведа. В 1947 г. она начала самостоятельно изучать искусство, а в 1951 г. в течение трех месяцев работала в мастерской художника Рамона Розента, в галереях Барселоны. Поездки в Англию, Шотландию, Францию, Швейцарию, Австрию и Италию в 1952 и 1954 гг. расширяют ее художественный кругозор, позволяют стать живописцем-профессионалом. Она участвует во многих выставках как в Испании, так и за ее пределами. В 1954 г. на коллективной выставке произведений художниц в Барселоне она получает первую премию Депутатского Совета города. С этого времени ее произведения выставлялись во многих городах мира, они находятся в музеях и частных коллекциях Барселоны, Мадрида, Лондона, Нью-Йорка и других городов.

Нельзя сказать, чтобы нынешний зритель не знал современного испанского искусства. Его представлял Пабло Пикассо, чья могучая художественная индивидуальность наложила отпечаток и на некоторые картины М. Гудьол. Это заметно в ее картине «Материнство», проявляясь в исступленно-«слепом» взгляде матери, ее вжатой в плечи голове, ее судорожно оберегающем объятии рук с удлиненно-«обостренными» кистями, сверхчутко осязающими пальцами. Искусство Монсеррат Гудьол, лежащее в русле национальных традиций испанской живописи, стоит особняком в современной каталонской школе, где преобладают тенденции нефигуративного искусства.

Утверждающее начало в творчестве Монсеррат — это то чувство красоты, которое наполняет ее работы, оно проявляется в безупречном рисунке, изысканной композиции, ритмической пластичности движений, выразительности одухотворенного жеста, в великолепном чувстве цвета. Работы Монсеррат Гудьол «классичны» в лучшем смысле этого слова. Они прочно опираются на классическую испанскую традицию и направлены на постижение духовного мира человека.

Т. КАПТЕРЕВА

Среди книг

Издано в СССР

ТИХИЙ КРИК

Бхишам Сахни. Окна отчего дома. Повесть. Рассказы. Перевод с хинди. Составление и предисловие В. Чернышева. Москва, «Прогресс», 1979.

Действительность Индии потрясает. Здесь перемешаны Восток и Запад, высокая культура и дикость, далекое прошлое и завтрашний день. Рядом — атомная станция и нищие рикши, наиновейшая ЭВМ и профессионалы-попрошайки; новехонькие небоскребы со всеми мыслимыми удобствами, но построенные без помощи подъемных кранов; ежедневные смерти от голода, холода, болезней и цветущая, плодоносящая, пышущая жаром красавица земля. Новое и старое живут бок о бок, связанные одной цепью.

Книга Бхишама Сахни «Окна отчего дома» отражает лишь часть этой пестрой и сложной картины, но очень важную часть. В книгу вошли несколько рассказов и повесть — первая повесть уже немолодого писателя. Замедленная проза Бхишама Сахни заставляет вспомнить песочные часы: потихоньку утекает время, и не замечаешь, как проходит жизнь. Сахни не скрывает своих привязанностей, напротив, он заявляет о них: его привлекают будни, заурядные и маленькие люди. Он доподлинно знает их жизнь — жизнь низов. И мечтает увидеть Индию другой.

В повести «Окна отчего дома» перед нами Индия, увиденная как бы изнутри. Проза Сахни простодушна и горька. Печальная тональность задается на первых же страницах песней, которую мать тихонько напевает сыну, герою повести:

Ты пойми, мой дружок, что не вечна земля
И не вечны услады земные.
Час для всех свой придет: для тебя, для меня.
Вспомнят нас лишь друзья да родные...
И вся жизнь — что горшок: он разбился,
Был горшок — в черепки обратился.

Эта тональность окрашивает всю повесть. О бренности человека и о медленном (и таком скоротечном!) движении жизни, о постоянных, повседневных заботах, о привычном горе и непривычных мелких радостях задумывается писатель. Повесть автобиографична, потому, наверное, так неповторимы ее персонажи — у каждого свой характер, своя судьба, свой голос. Обычная, среднего достатка, семья, и самый младший вглядывается в ее прошлое, вспоминая мельчайшие подробности ушедшего времени. Он любит место, где родился и вырос, любит сестер, брата, отца, мать. С необыкновенной нежностью вспоминает он мать: «Стоит матери засмеяться, как тотчас меняется все, что окружает меня. В такие минуты мир вдруг озаряется светом, становится невесомым, простым и доступным. Тело матери чуть-чуть вздрагивает, и я прячу голову у нее на груди. И я уже не боюсь ничего на свете». Чувство, свойственное человеку, живущему на любой широте, не правда ли? Это и неудивительно — прозу писателя питают несколько источников: традиционная индийская, классическая и современная европейская, в частности русская, литература. С одной стороны, герой — символ, предназначенный для служения высшей цели, идеал для подражания. С другой стороны, у писателя пристальный интерес к человеку незаметному.

В повести Сахни создает яркий образ слуги Тулсирама, парня из деревни, который воспитывался в семье рассказчика, вместе с ее детьми обучался у пандита (учителя). Тулси — не просто маленький человек. Он — неприкасаемый.

Однако как вырваться из темноты, из уличных драк, завязывающихся из-за религиозной и кастовой розни, как переступить человеческую вражду? Хорошие и, в сущности, добрые люди, приютившие неприка-

саемого Тулси, давшие ему кров и пищу, тепло и пусть маленькое, но образование, в то же время ничего не сделали для того, чтобы изменилось его социальное положение. И в конце повести он вынужден отдать своего семилетнего сына в услужение, так как не в состоянии прокормить его.

Все возвращается на круги своя — Тулси, научившийся читать и писать, шить и лечить, так и не находит своего места. Из милости живет он у своих прежних хозяев — стареющий мальчик на побегушках. То же самое ждет и его сына.

Бренность, неустроенность человека и вечность природы подчеркиваются и в начале, и в завершающих фразах повести. Серый сумрак... Багровый свет от раскаленной жаровни... Хрупкая тишина, нарушаемая привычными звуками.

И в конце: «...Полная луна — сияет так же, как много лет назад...» Взоры людей обращены вверх, к небу... Кто знает, откуда оно придет, спасение?

Тактично и ненавязчиво писатель старается подвести читателя к — увы, не новой — мысли, что спасение зависит только от самого человека.

Рассказы, включенные в книгу, словно эскизы к повести. Нет, герои не повторяются, ситуации иные — повесть и рассказы объединены общей интонацией, социальным подходом к действительности. Но если повесть окрашена романтизмом, непосредственными детскими впечатлениями героя, то в рассказах, более резких и более публицистичных, звучит не только сострадание, но и гнев. И гнев этот направлен против обывателя. Читаешь книгу о жизни, вроде бы такой далекой, и вспоминаешь Чехова: с каким гневом и с какой горечью писал он об обывателе, как мечтал о том, чтобы человек осознал себя в мире, чтобы из маленького, ничтожного стал героем! Бхишам Сахни хорошо знает русскую литературу: он перевел на хинди «Воскресение» Л. Н. Толстого, повесть Ч. Айтматова «Первый учитель» и другие произведения.

Каждый рассказ Сахни — маленькая трагедия. А яркие и объемные жанровые сценки, на фоне которых происходит действие рассказов, напоминают кинокадры. А точнее, цветные слайды. Замедленное движение сюжета похоже на медлительное солнце Индии, вроде бы никогда не уходящее за горизонт.

Вот перед нами картина сватовства в рассказе «Родная кровь». Дядя жениха Мангалсен мечтает, что его пригласят на церемонию сватовства. «В свои пятьдесят лет Мангалсен был дряхлым стариком. По лестницам поднимался медленно, опираясь на палку. Ходил он тяжело, с трудом передвигая ноги, но голова его всегда была гордо поднята, и чувство собственного достоинства не покидало его. Когда-то Мангалсен служил в армии и с тех пор носит тюрбан цвета хаки, который, как он считает, придает ему официальный вид... К тому же Мангалсен принадлежит к знатному роду и живет в доме у брата — человека состоятельного. Так что и впрямь ему есть чем гордиться». Но дядя беден. И его постоянно унижают. Для состоятельного брата пятирупиевая ложка оказывается дороже человеческого достоинства — потому, не стесняясь, племянница обыскивает потерявшего дар речи старика на глазах у слуг. За повествовательным тоном рассказа нам слышится крик. Крик бессильной ярости, крик беспомощности. Но это крик, призывающий задуматься.

Рассказ «Все средства хороши», пожалуй, самый сильный в сборнике.

...Коз гонят на бойню. Голодные, истощенные, кое-как прикрытые лохмотьями дети, прячась за машинами, ловят коз и доят их.

Все средства хороши...

Но рассказ не об этом. Рассказ — о похоронах еще одного маленького человека, которого унизили даже после смерти. По вине некоего Рамдаяла, который «был мастером своего дела... Он был нужен решительно всем. Требовалось ли кому-нибудь составить ходатайство, помочь в судебном деле, сыграть свадьбу, организовать похороны — звали Рамдаяла...»

На этот раз потребовалось организовать похороны. Рамдаял устраивает процессию со всей широтой, на какую он только способен. Грузовик, украшенный цветами и транспарантами, оркестр («Мелодия была грустной, но исполняли ее в каком-то маршевом ритме, словно не на похоронах, а на демонстрации. Такие оркестры приглашают обычно для свадебной процессии»).

Все средства хороши.

Грузовик, в котором установлены носилки с телом, направляется в сторону, прямо противоположную шмашану (месту кремации). На каждом перекрестке — остановка. Надо использовать покойника в предвыборной кампании. Речи, призывы, изнурительная жара. В одном избирательном округе в носилки с телом начали кидать камни. В другом — цветы. «Тело Шамбху было засыпано цветами. Я бросил на него взгляд, и сердце мое сжалось. По лицу его уже пошли пятна, оно вспухло, подбородок отвис. Один глаз как бы прищурился, а другой совсем открылся. А солнце продолжало палить».

Грузовик же продолжал свои маршруты.

В этом рассказе натуралистичность — не заданная для писателя цель. Человеческая разобщенность вызывает у него боль и вместе с тем чувство вины перед своим народом. И своим творчеством Сахни пытается помочь людям объединиться.

Но не чувствует ли Сахни себя беспомощным в неравной борьбе с пережитками прошлого и предрассудками своих героев? Персонажи Сахни — не борцы. Это — обыватели, мимо которых проходит жизнь. Сахни рассказывает о них тихим, спокойным голосом, изобличая нравственную нищету, приземленность и замкнутость существования обывателя. Цель писателя: через частное, жизнь средней индийской семьи, показать жизнь народа. Он не морализирует, не подсказывает выхода. Но жизнь, которую он рисует, сама требует поисков выхода. Бытописание — материал, казалось бы, безобидный, повседневный, но в нем скрывается неожиданность. Это — взрывчатый материал.

АЛЛА КИРЕЕВА

ТРИАДА ГАБРИЭЛЫ ВОМАН

Габриэла Воман. Паулинхен была дома одна. Роман и рассказы. Предисловие Г. Знаменской. Перевод с немецкого. Москва, «Прогресс», 1979.

Почти в каждом рассказе этого сборника поминается о смерти, большей частью о смерти ребенка. Причины смерти и отношение окружающих к прерванной жизни служат в прозе Габриэлы Воман[1] своеобразным драматическим катализатором монотонного будничного существования, в котором вроде бы ничего значительного не происходит.

В большинстве рассказов и в романе «Паулинхен была дома одна» действие замкнуто пределами комнаты, квартиры, прогулки и ограничено во времени несколькими днями. Такую прозу можно было бы именовать камерной, если бы в этот замкнутый мир не залетали социальные бури времени, не вторгалась общественная тревога писательницы.

Главный враг западногерманской писательницы Габриэлы Воман — филистерская рассудительность, желание жить «разумно», по удобному бездушному расчету. Больше всего ей ненавистны холодные люди — те, которые не совершают опрометчивых поступков, но и не способны довериться живому чувству.

Это разоблачение, обличение, протест находит у нее свое художественное воплощение во внутреннем монологе и в иронии.

Внутренний монолог позволяет ей изнутри раскрывать мотивы поведения людей и как бы преобразовывать поток жизни в поток сознания. Иногда поток сознания предстает в виде дневниковых записей или воспоминаний — но опять-таки в восприятии персонажа, а не в авторском изображении.

А ирония, направленная против «здравого смысла», столь сильна еще и потому, что является почти единственной формой борьбы против врага, которого ты презираешь, но одолеть не можешь.

Впрочем, такая триада — неприятие филистерства, внутренний монолог и ирония — характерна в современной литературе не для одной Г. Воман. Как же реализуется эта триада в ее своеобразной и сильной прозе?

Художественный мир писательницы можно ощутить в пульсации одного мотива, который я определил бы формулой «что таится за...».

Маленький рассказ «За давностью лет» начинается с фраз: «Милые—люди наши соседи справа, те, что с пуделем. У таких спокойных людей должны преобладать приятные воспоминания». А потом выясняется, что когда-то муж нечаянно задавил собственную дочурку. Потрясенная случившимся, жена ушла к другому, родила сына, потом вернулась к мужу. Но тот не желал терпеть в доме чужого ребенка. А у мужа была любовница, которая покончила самоубийством, к полному удовлетворению жены. От всего этого сплетения нынешняя «идеальная пара, счастливчики», была исполнена ненависти друг к другу. Но по прошествии лет они, «разумные люди», живут вполне благополучно, гуляют с пуделем, отдыхают, почти не разговаривая друг с другом. «Полно фруктов, полное согласие, полный покой». В этой заключительной фразе, перекликающейся с начальными уже после того, как мы узнали о прошлом этой пары, звучит разящая ирония: вот что кроется, вот что бушует за благопристойностью милых старичков!

В рассказе «Праздник на лоне природы» длится-тянется светский разговор на пикнике о закусках, модах, ревнивцах и ревнивицах, а в это неумолчное журчание то и дело вклиниваются фразы о трупе девочки: найдена на насыпи — умерла, очевидно, от солнечного удара — похоронена в безымянной могиле — ведь никто не заявил об исчезновении ребенка — и, следовательно, труп не могли опознать. «Никто ее не хватился!»

И эта судьба юного существа — которого никто не хватился! — бросает трагический отсвет на весь разговор: вот какие драмы происходят, пока длится никчемная светская болтовня.

И, наконец, роман раскручивает как бы еще один виток: а что же кроется за традиционной благополучной ситуацией?

Муж и жена — журналисты удочерили Паулу и горят желанием выполнять свои родительские обязанности. А восьмилетняя девочка пришла к ним от бабушки с дедушкой, с которыми прожила три года после того, как в автомобильной катастрофе погибли ее родители. Ну какая, казалось бы, здесь проблема? Люди хотят создать лучшие условия удочеренной девочке, которая попала от бедных стариков в хорошо обеспеченную семью. Но сила Г. Воман таится в умении показать драматизм быта, увидеть проблему там, где другие ничего не замечают.

Так родился роман о девочке и ее новых родителях. Роман почти лишен привычного повествовательного действия. Все свершается в одной огромной комнате-студии, которая, будто на сцене, разгорожена шторами на функциональные отсеки. А выходы за пределы комнаты и за рамки одного дня осуществляются лишь в воспоминаниях Паулы.

Два лейтмотива пронизывают все действие, две фразы из книг, прочитанных девочкой: «Паулинхен была дома одна» и «Зло проистекает от недостатка любви».

Паула была одинока, ибо ее сердечко жаждало тепла и участия, а новые родители могли дать ей лишь обеспеченную жизнь да воспитание «согласно научно апробированному рецепту». Неприметно, из мелочей, вырастает драматичное противостояние: рассудочный, почерпнутый из книг мир родителей — Курта и Кристы — и непосредственный, неотрывный от ласки и сердечности прежней жизни мир Паулы. Эти два мира временами тянутся друг к другу, ухватываются за какие-то нити согласия и симпатии, но слишком тонки эти нити, все рвутся и рвутся. Нечуткость Курта и Кристы, их непонимание мира детства никак не дают укрепиться чувству симпатии, возникающему у ребенка.

[1] Впервые рассказы Г. Воман, вошедшие в рецензируемый сборник, были опубликованы в «ИЛ» № 5, 1979.

В соответствии с новомодными теориями девочке предоставили свободу, ей ничего не запрещают, но... «Если что-то категорически *не запрещено*, это еще не значит, что оно категорически *разрешено*». За этой свободой, за этой терпимостью нет истинного тепла, нет истинного доверия.

«Мы опасаемся каждого лишнего слова»,— похвалялись своей выдержкой ее приемные родители. Но девочка думала иначе. Она записала в дневнике: «Каждое их слово — лишнее», ведь за ним стоит рассудочность, а не живое чувство. Ей купили роскошную новую куклу, но лишили прежних любимых кукол: одних поставили на полку, поскольку они удачно оживляли интерьер студии, других, потрепанных, выбросили. Из благих побуждений девочку лишили того, к чему она была привязана. Добро без сердечности всегда оборачивается злом.

Из подобных мелочей постепенно складывался для Паулы *запрет* — запрет на чувства, запрет на память, запрет на слезы, запрет на утешения. А взамен предлагался функционально организованный, непререкаемо оптимистичный уклад жизни без таинств, без грусти, без веры...

Конечно, многое в духовной глухоте Курта и Кристы объясняется условиями нынешней жизни в ФРГ с ее ханжеством, практицизмом, бездуховностью — и нельзя не подивиться страстности и искренности разоблачительного пера Г. Воман. Но за всем этим остается и более общая проблема: как научиться уважать мир живых человеческих устремлений, как научиться уважать личность даже в ребенке!

В качестве общей *программы* девиз Паулы — и писательницы — «зло проистекает от недостатка любви» страдает, бесспорно, некоторой аморфностью, но как реальное *предостережение*, как протест против отчуждения, поражающего даже в детстве, он актуален и общезначим.

И немалая доля художественного эффекта романа создается благодаря внутреннему монологу: вживаясь в мир Паулы, мы постигаем ее правоту. Ее антагонисты — Криста и Курт — то и дело получают слово для своей оценки, своей интерпретации происходящего. Но это не превращает повествование в диалог, ибо разговоры приемных родителей тонко, умело, ненавязчиво вплетены во внутренний монолог с почти неуловимыми гранями переходов.

Ребенок и взрослые сталкиваются друг с другом только во внутреннем монологе или в воспоминаниях, окрашенных субъективностью каждого персонажа, и никогда «въяве», «объективно». И эта постоянная субъективность речи усиливает эмоциональный накал всего романа.

Можно представить, как трудно было воспроизводить внутренний монолог и дневниковые записи восьмилетней девочки. И хотя замкнутая, одинокая жизнь обычно способствует раннему духовному повзрослению, Паула временами, особенно в дневниковых записях, все-таки выглядит старше своего возраста. Но вряд ли Г. Воман заслуживает за это серьезных укоров: ей было важно передать потребность в тепле, потребность в вере, разрыв между непосредственным чувством и взвешенной упорядоченностью. А с этой задачей она вполне совладала.

Внутренний монолог в романе, как и обычно, строится на том, что мысли возвращаются, перекрещиваются, цепляются одна за другую, словно петли вязанья, постепенно прорисовывая затейливый узор. И хотя из-за этих повторений порой возникает ощущение затянутости, заторможенности повествования, повторы назначены внушить, закрепить нужные автору мысли. Наверное, из этого противоречия был возможен и более удачный выход, но в своей глубинной, природной сути внутренний монолог все-таки неотрывен от повторов, возвращений, меняющейся интерпретации одних и тех же событий. «Плетение» так же свойственно внутреннему монологу, как динамизм — детективному сюжету.

Пожалуй, излюбленным средством выявления авторской позиции, авторской определенности в таком монологическом повествовании служит для Г. Воман ирония.

Иногда она вспыхивает при прямом столкновении двух позиций, одна из которых чванливо выдает себя за истинную. Но еще чаще ложный апломб разоблачается неприглядным действием. «Семейство Бютов» (так называется рассказ) — это семейство преуспевающего аптекаря, который тщеславно причисляет себя к культурной элите городка. И все взрывается одной репликой: «Бютовы любят наказывать детей на глазах у всех. Стыд усугубляет боль».

Ирония Воман преимущественно рассчитана на развитое нравственное чувство читателя — на его инстинктивное неприятие неприглядного, выдающего себя за благонравное.

Язвительно-ироничен рассказ «Позор для парка». Банковский служащий рассказывает, как он увидел утром в парке влюбленную парочку, укрывшуюся в зарослях. Какой позор для парка! И он воодушевил мальчишек забросать камнями эту парочку. Но первый-то увесистый камень бросил он сам, шедший на работу в отличном настроении, хорошо выспавшись, с приятным ощущением здорового тела, после отличной перистальтики. Изуродованная девушка и отличная перистальтика — сближение резкое, но убийственное!

Трудно дышать в мире прозы Г. Воман — мире трагическом, мире саркастическом, мире горьком. Но через этот мир полезно пройти, чтобы полнее оценить по контрасту красоту жизни, красоту чувства, красоту любви к людям.

А. БОЧАРОВ

В ИГРУШЕЧНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Ханс Кристиан Браннер. Игрушки. Перевод с датского Ю. Яхниной и С. Тархановой. Предисловие И. Куприяновой. Москва, «Художественная литература», 1979.

Имя Ханса Кристиана Браннера, известного датского писателя, мало что говорит русским читателям. Несколько рассказов, опубликованных у нас, прошли незамеченными. Теперь, после выхода его первого романа «Игрушки», написанного еще в 1936 году, мы по-

лучили возможность, пусть с опозданием, познакомиться с этим талантливым, добрым и ироничным художником, сочетавшим трезвый аналитичный ум с проникновенным даром сочувствия и сострадания.

Действие романа происходит в тридцатые годы в Копенгагене и ограничено рамками торгового дома Кайзера, небольшой фирмы по продаже игрушек. История семьи Кайзеров, перипетии карьеры и личной жизни сотрудников вливаются в русло общего сюжета, развитие которого определяется деятельностью фирмы. Однако за этим верхним пластом вскоре открывается второй, более глубокий уровень исследования. Торговый дом Кайзера предстает в романе как модель буржуазного общества. В этом игрушечном государстве с населением примерно в два десятка человек действуют те же законы, что и в большом мире. Здесь есть свой правящий класс (Герман Кайзер и три его помощника), свое среднее сословие (служащие бухгалтерии) и пролетариат, ютящийся, в полном соответствии с социальной иерархией, в подвальном этаже.

Эта социологическая схема вписана в реальный исторический контекст и населена живыми людьми, каждый из которых движим своим интересом. Под прикрытием пышных лозунгов, лицемерно вещающих о солидарности и служении общему делу, идет непрекращающаяся жестокая борьба: наверху — за власть или символы власти, престиж (отдельный кабинет, например), внизу — за милость начальства, крохи пирога, крупицы власти (отдельный стол, например) или просто за то, чтобы сохранить место, гарантирующее кусок хлеба. О том, что ждет человека, выброшенного за ворота, автор не распространяется. Когда речь заходит о безработице, он говорит: «Кромешная тьма, подкрадывающаяся к свету костра»,—это увидено глазами тех, кто еще находится внутри круга. Безработица присутствует в романе как постоянная психологическая угроза и реальная опасность: тьма может поглотить любого, как это случилось с рабочим по прозвищу Коммунист (который пытался протестовать против «реформ» Феддерсена, отменившего оплату за сверхурочные). Браннер не винит оставшихся за то, что, усвоив урок, они испуганно жмутся к костру. Однако он не склонен списать все на безработицу. С печалью и тревогой наблюдает автор за тем, как страх разъединяет людей и они начинают отпихивать друг друга.

Увольнение Коммуниста — лишь проходной эпизод, своего рода пробный шар в той политической игре, которая развернулась наверху: «щука» Феддерсен готовится проглотить капитана Тране, управляющего делами фирмы. Капитан — почти анекдотический персонаж: маленькая птичья головка со срезанным затылком, апломб, бравая выправка, замашки «отца-командира». Бывший вояка — никудышный управляющий, он мало что смыслит в торговле игрушками и в делах, да и вообще глуповат. Однако вовсе не потому он терпит поражение. Тране не умеет — и не хочет — интриговать, плести тайные козни, нападать из-за угла, запугивать и стравливать подчиненных, словом, капитан — порядочный человек, и именно этим он пришелся не ко двору, именно потому он беззащитен перед прожженной Феддерсеном. По мере того как их поединок приближается к развязке и капитан, преданный всеми, остается в полном одиночестве, пошлая служебная склока оборачивается человеческой драмой. Перед нами — затравленный старый человек с лицом обиженного ребенка, потрясенный несправедливостью и предательством. Забившись в свой кабинет, капитан думает не о рухнувшей карьере, а о нравственном падении людей. Он силится понять, почему рабочие и служащие фирмы, которых он годами поддерживал и выручал, теперь, «виляя хвостами, сгрудились вокруг Феддерсена, который умел одно — держать их в смятении и страхе». Бедный капитан, где уж ему разгадать загадку, над которой в отчаянье бились и не такие умы!.. Все, что он может,— это под занавес яростно отхлестать тростью ненавистного выскочку, который трусливо спрячется от него в уборной. С этим полуфарсовым-полугероическим жестом капитан Тране — и его эпоха — сойдет со сцены, и в торговом доме Кайзера наступит «новая эра».

Имя Гитлера в романе не названо, автор лишь мельком упоминает о новых идеях и словах, пришедших из-за границы («крах либерализма и демократии», «единомыслие», «народная общность», «сильный человек» и т. д.), но нетрудно понять, откуда дует ветер. Тень Гитлера незримо присутствует за спиной «маленького фюрера», прибравшего к рукам не только бразды правления, но и души своих подданных. Не углубляясь в анализ социальных корней фашизма, автор исследует механизм его психологического воздействия и тип личности, всплывающей на этой мутной волне. Портрет Феддерсена написан одновременно с двух точек зрения: каким его видят окружающие и каков он на самом деле. Наложение и сопоставление этих двух образов позволяет автору демистифицировать «маленького фюрера», показать ущербность и ничтожество этого «сильного человека», не преуменьшая опасности самого явления. Зловещий, почти мистический ореол, окружающий его,— плод своего рода массового психоза, над созданием которого Феддерсен долго и упорно трудился. Он так всех запугал и заморочил, что в конце концов ему стали приписывать «сверхъестественную способность видеть и слышать сквозь стены или на расстоянии». Поистине, у страха глаза велики. «А что такое вообще был Феддерсен, если отнять у него зловещий вид, умение наводить страх и застигать врасплох? — услышим мы трезвый голос автора.— Мелкий, наглый бандит, жаждущий власти». Только и всего? Впрочем, Гитлер, знавший в этом толк, однажды заметил, что в политике решительный бандит всегда возьмет верх над порядочным человеком. А уж если бандит дорвется до власти!..

Феддерсен сделал все, чтобы установить в своих владениях железный порядок и «единомыслие». Власть его росла, люди работали из последних сил и исправно доносили друг на друга, словом, порядок вос-

торжествовал. Но в остальном вышла осечка: вместе с властью и страхом, этими «неразлучными близнецами», росли ошибки, и дела фирмы шли все хуже и хуже. Потому что «на страхе и терроре можно построить власть, но на них не построишь жизнь, процветание»— вот простой и мудрый урок, который с непреложной убедительностью вытекает из романа. К финалу фирма Кайзера приходит в плачевное состояние: в душах, отравленных страхом, «поселилась порча», надвигается банкротство. Но тут Феддерсен устраивает поджог (чтобы на деньги за страховку спасти фирму) и, провернув эту бандитскую деловую операцию, становится фактическим хозяином положения, оттеснив на задний план постаревшего, обмякшего Кайзера.

На этом мы расстаемся с фирмой, но автор не ставит точку. Коротенькая заключительная главка выводит нас из того круга безнадежности, где господствуют власть, страх, подозрительность и вражда.

Двое в комнате. Это Мартин Линд, недоучившийся студент, и его юная жена Клара, бывшие подданные государства игрушек сумевшие спасти свои души. Правда, Кларе это далось само собой, она защищена от порчи своим «женским естеством», здоровыми инстинктами, «незамутненной человечностью». Но Клара, чья победно расцветающая красота, добрый нрав и ясная улыбка озаряют тусклую муть канцелярских будней,— скорее авторская мечта в скромном обличье телефонистки, чем реальная девушка с рабочей окраины. Другое дело — Мартин. Это обыкновенный молодой человек с хорошими задатками и неустоявшимся характером, которому не удалось уберечься от «служебистского психоза». Ему пришлось пройти долгий путь внутренней борьбы, сомнений, поисков, пока наконец не понял, что на пути, ведущем к власти, он потеряет себя и что надо спасаться, пока не поздно. Поставив крест на своей карьере, Мартин Линд уходит в никуда. То есть, точнее говоря, уходит он к Кларе, которую едва не потерял и без которой вряд ли бы отважился «ринуться в неизвестность». В том ночном разговоре, которым завершается роман, приходит конец блужданиям героя: он решает стать врачом-психиатром.

Этот выбор симптоматичен. Наблюдая за тем, как служащие фирмы Кайзера яростно «пожирали друг друга», Мартин пришел к выводу что «людьми движет жажда власти». Судя по всему, автор разделяет позицию своего героя, решившего посвятить жизнь врачеванию душ. Браннер, по-видимому, не верил в возможности радикального переустройства общества, считая, что источник зла коренится не только в социальной системе, но и в тех темных инстинктах, которые она поощряет. Но он умел любить людей такими, как они есть, со всеми их слабостями и несовершенствами. Роман кончается многоточием надежды. Эту надежду Браннер черпал в тех простейших и непреходящих ценностях: любви, доброте, мужестве, верности,— на которых издавна держится жизнь и которыми жив человек.

М. ЗЛОБИНА

Издано за рубежом

«ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» — РОМАН О СЕГОДНЯШНЕМ ЧИЛИ

José Donoso. Casa de campo. Barcelona, Seix Barral, 1978.

Хосе Доносо. Загородный дом. 1978.

Фантастический роман чилийского писателя Хосе Доносо «Загородный дом», вышедший в Барселоне, в 1978 году был отмечен премией испанской критики, которая очень редко присуждается писателям других стран. Роман этот стал большим событием не только чилийской, но и всей латиноамериканской литературы.

Хорошо известно виртуозное мастерство писателя как стилиста, бесконечная многозначность каждого из эпизодов романа, сочетание иллюзорности и удивительной реальности его героев. Но главное — отразившаяся в этом романе политическая позиция писателя, его отношение к тому, что происходит в Чили. Сегодняшняя чилийская действительность ощущается в каждой детали романа, который мы тем не менее никак не можем назвать реалистическим. Книга скорее напоминает сказку, в которой мифы и легенды, хранящиеся в глубине народной души, переплетаются с современной историей.

Хосе Доносо, один из выдающихся чилийских писателей наших дней, родился в 1924 году в семье земледельцев, адвокатов и писателей, которая дала стране немало значительных личностей. Доносо — прямой потомок классика чилийской литературы прошлого века Альберто Блест Ганы. Начиная с первой книги «Летний отдых и другие рассказы» (1955), Доносо зарекомендовал себя как беспощадный летописец упадка старой чилийской олигархии и одновременно как блестящий литературный экспериментатор, произведения которого были причудливой игрой воображения, пристальным анализом смутных глубин подсознания. Иногда критики упрекают его в чрезмерной мрачности, в склонности к патологии и страсти к анатомированию трупов, тщательно спрятанных на чердаках крупной буржуазии. Но никто не подвергает сомнению мастерство Доносо как писателя и его умение анализировать национальную действительность.

С большим успехом были экранизированы романы писателя «Коронация» (1957), «Место без границ» (1964) и «Непристойная ночная птица» (1970). Наиболее светлое произведение Доносо — роман «Это воскресенье» (1965), единственный, где доминирует тема любви.

Его последний роман «Загородный дом», при всей увлекательности сюжета, отличается очень сложным построением, и не так

просто изложить его содержание и глубокий внутренний смысл. Уже с первой страницы автор вводит нас в мир сказочно богатой семьи Вентура, семейного клана, чья безграничная власть зиждется на золоте, добываемом на отдаленных шахтах нищими и жестоко эксплуатируемыми индейцами. Почти все события романа — начиная с прогулки в горы, которая длится, может быть, год, хотя ее участники уверены, что прошел всего один день,— связаны с загородным домом Вентура. Писатель не старается скрыть свое присутствие, он постоянно вмешивается в повествование, прямо обращается к читателю, напоминая ему о том, что все рассказанное — не более чем вымысел. Доносо сообщает нам огромное количество сведений о членах этой семьи, об их образе мыслей, взглядах, о присущей им манере воспринимать действительность, скользя по поверхности или «набрасывая густую завесу на все неприятное или чуждое святым убеждениям».

Например, писатель рассказывает: «Семейная библиотека Вентура не могла удовлетворить ничьих стремлений к знаниям, тем более их отбивали и поучения старших: «Читать — значит портить себе зрение», «Книгами пользуются только революционеры и самовлюбленные профессоришки», «Книги никому не помогут достичь той культуры, что нам дана от рождения». Поэтому детям запрещалось входить в огромный четырехэтажный зал, где перила были сделаны из палисандрового дерева. Однако это был всего лишь один из тех условных запретов, которыми пользовались, чтобы держать детей в руках: ведь в этих тысячах томов в роскошных переплетах не было ни одной напечатанной буквы. Прадедушка приказал изготовить их, когда на одном из дебатов в Сенате какой-то самоуверенный либерал назвал его «невежественным, как и все его семейство». Прадедушка решил отыграться и нанял столичных ученых — многие из них были либералами,— чтобы ему составили список произведений, вмещавших всю человеческую мудрость. Пошли слухи, что он собирается заняться науками, но ему и в голову не приходило читать все эти книги. Он просто заказал их макеты, копируя обложки лучших французских, итальянских и испанских изданий. Переплеты были сделаны из кожи высшего качества, а названия книг и имена авторов вытеснены настоящим золотом, добытым в его шахтах...

Было бы неверным считать, что вымышленные имена, факты и обстоятельства здесь легко заменить реальными. В Чили никогда не существовала семья, которая обладала бы такой абсолютной властью и вызывающим богатством, как Вентура. Сам автор признает, что при описании жизни своих героев, их необыкновенной расточительности, роя слуг и экипажей вдохновлялся примерами других широт. В романе нет прямых параллелей с чилийской действительностью. Это, как уже говорилось, литературный вымысел, местами поэтичный, местами взволнованный, местами ужасающий. И тем не менее Чили в нем присутствует. Более того — присутствует сегодняшнее Чили, страдающее от фашистского режима.

Уже в самом начале романа возникают два антагонистических мира: «взрослых» и «детей». К этой теме, возникающей еще в первых рассказах Доносо, писатель обращается постоянно в своих произведениях. Процитируем: «Тем летом, о котором мы рассказываем, как только семья переехала в Маруланду, взрослые почувствовали, что их столь любимые дети что-то затевают. Казалось подозрительным, что дети не только почти не шумят, но и гораздо меньше, чем в предыдущие годы, мешают старшим. Может быть, они наконец приучились заботиться об удобстве взрослых? Нет, дело было в другом».

Вскоре после отъезда взрослых на пикник дети поднимают восстание, за которое их потом сурово накажут.

Итак, атмосфера, в которой развивается действие романа, уже обрисована. Постепенно мы знакомимся с различными сторонами жизни этого загородного дома. Алчные аристократы, не желающие, чтобы «столь любимые дети» их тревожили, держат их в узде при помощи вымуштрованного войска слуг, которым руководит Мажордом. «После отбоя именно Мажордом со своим войском слуг решал, что считать преступлением и какого наказания заслуживает провинившийся... Однако наказание не должно было оставлять следов, которые дети могли бы показать старшим, требуя возмездия. Поэтому каждое поколение слуг совершенствовало поразительную технику: гибкие пруты с обманчиво мягкими наконечниками из войлока, веревки из тончайшего шелка, которыми запястья притягивали к пяткам, что превращало допрашиваемого в сплошной комок боли».

Да, прямых аллюзий в романе нет, но иногда повествование становится ужасающе реальным. И на наш взгляд, мало какие произведения современной литературы содержат больший заряд морального возмущения, чем этот фантастический роман, рассказывающий по сути о сегодняшнем Чили. Это признает и сам автор, о чем с холодной яростью писал фашистский литературный критик Игнасио Валенте в газете «Меркурио», охарактеризовавший «Загородный дом» как «резкую критику» военного режима и самого Пиночета, которого нетрудно узнать в образе Мажордома.

Этот роман — одно из звеньев сложного процесса эволюции, который проходит отнюдь не безболезненно для Хосе Доносо. В статье, озаглавленной «Еще раз о теме людоедства» — она опубликована испанской прессой,— писатель объясняет свою позицию и серьезные причины, заставившие его задуматься о политике и «подавить в себе что-то вроде внутреннего скепсиса и полной неспособности примкнуть к какой-либо идеологии». Этот внутренний переворот Хосе Доносо был ускорен преступлениями режима Пиночета, в том числе жестокостью, проявленной по отношению в Матильде Уррутиа, вдове Пабло Неруды, которая вместе с шестьюдесятью женщинами была арестована за участие в уличной демонстрации. Ее участники требовали сведений о судьбе

«исчезнувших» политических заключенных; они требовали, чтобы им ответили, каким образом в заброшенной доменной печи оказались десятки трупов замученных политзаключенных.

Поясняя свою новую позицию, Хосе Доносо говорит о «Загородном доме»: «Это конец умеренности. Для того, кто пишет эти строки, перестать быть умеренным означает выйти из тьмы на свет... И вполне возможно, что я, как и многие другие, кто по сей день надеется на примирение, перед лицом таких фактов, как недавняя расправа с участницами демонстрации, возглавляемой Матильдой Уррутиа, согласимся с тем, что прежде считали злом,— ведь по сравнению с угрозой повторения трагедии оно нам представляется злом наименьшим».

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС

ЭТИ КНИГИ ПРИШЛИ ИЗ КАНАДЫ

ОБРЕТЕНИЕ ГОЛОСА

Hugh Garner. The Intruders. Toronto, McGraw-Hill, 1976.
Morley Callaghan. Close to the Sun Again. Toronto, Macmillan, 1977.
Margaret Atwood. Lady Oracle. Toronto, McClelland and Stewart, 1976.
Хью Гарнер. Пришельцы. 1976.
Морли Каллаган. Снова к солнцу. 1977.
Маргарет Этвуд. Женщина-оракул. 1976.

Можно без преувеличения сказать, что семидесятые годы стали для литературной Канады эпохой сдвигов и перемен. Наконец-то, судя по всему, получил утвердительное разрешение сакраментальный вопрос, заданный полвека тому назад критиком Дугласом Бушем: «А есть ли вообще канадская литература?» Реабилитация национальной изящной словесности потребовала не одного десятилетия. До самых последних пор попытки отыскать литературного пророка в своем отечестве представлялись большинству канадских критиков пустой затеей. В прохладно-снисходительном отношении литературных экспертов к усилиям писателей-соотечественников проявились многие противоречия канадской культурной ситуации. Чувствовалось и традиционное преклонение местных писателей и читателей перед англо-франко-американскими культурными и эстетическими эталонами, давало знать и недоверие к художественным потенциям материала, поставляемого реальностью родной страны, нередко сопровождавшееся ощущением, что проблемы и конфликты «большого мира» обошли Канаду стороной. Не последнюю роль играли и трудные условия, в которых приходилось работать писателям-канадцам: маленькие гонорары, скудная реклама, скромные тиражи. Однако время от времени критика (большей частью зарубежная) сообщала канадским читателям, что у них на родине есть художники, заслуживающие самого пристального внимания. Так, роман Р. Б. Райта «В середине жизненного пути» (1973) получил премию английского издательства «Фейбер энд Фейбер», а трилогия Р. Дейвиса, законченная им в 1975 году, доказала, как заметил один из критиков, что «литература Канады уже не дочь в материнском (надо полагать, британском. — *С. Б.*) доме, но хозяйка в своем собственном». О том, как же построен и обставлен этот дом, подробно говорится в сборнике «Канадское воображение», который вышел в 1977 году. На этом своеобразном симпозиуме—а среди его участников такие знаменитые канадцы, как Маршал Маклуэн и Нортроп Фрай,— идет речь об исторических путях национальной культуры, выявляются и толкуются архетипы «исконно канадского» мировосприятия, заложенные в образной структуре «домашней» поэзии и прозы. Эта книга и вышедшая годом ранее исправленная и дополненная «Литературная история Канады» стали важными вехами в становлении национального творческого сознания.

В англоязычной канадской литературной продукции несомненно стоит выделить роман «Пришельцы» Хью Гарнера (род. в 1913 г.). Объездивший Канаду и США, перепробовавший множество профессий, в том числе и ремесло газетчика, воевавший в Испании, участник второй мировой войны, Х. Гарнер-писатель (ему принадлежат десять романов и шесть сборников новелл) выступает хроникером многоликой и текучей повседневности, которую он стремится запечатлеть во всем многообразии временных примет. Х. Гарнер постоянно возвращает читателей к их собственному житейскому опыту, к тому, с чем они сталкиваются ежедневно и ежечасно и что в силу будничности кажется им само собой разумеющимся, а потому внимания не заслуживающим. Х. Гарнер всеми силами борется с автоматизмом восприятия. Извлеченные им из потока бытия, казалось бы, самые обыкновенные факты и события указывают на важные процессы, происходящие в жизни современной Канады.

Главное «действующее лицо» «Пришельцев» — бывшая рабочая окраина Торонто, вступающая в новые времена. Дело не в том, что сносятся ветхие дома и на их месте возникают комфортабельные и современные. Меняется привычный жизненный уклад, и прежняя однородность — культурная, социальная и этническая — сменяется пугающим старожилов многообразием. Книга строится как монтаж бытовых зарисовок, контурно очерченных портретов персонажей, их предельно кратких биографий. Люди интересуют автора не столько сами по себе, сколько тем, какое место занимают они в структуре коллективного целого. Социолог в Гарнере берет верх над психологом. На трехсотдвадцативосмистраничном пространстве «Пришельцев» герои рождаются, знакомятся, ссорятся, ходят на работу, занимаются общественной деятельностью, женятся, умирают. Повествование развивается неторопливо, в ритме многосерийного телевизионного фильма. Авторский «киноглаз» поочередно и ненадолго задерживается на действующих лицах.

Гарнеровское «общество» распадается на два лагеря: на местных и пришлых, причем первые изображены с куда большей симпатией. Это энергичная многодетная вдова Элси Дейлс, муж которой погиб в аварии на строительстве «подземки», это местный авторитет — печатник Сид Тедланд, всегда

готовый помочь и словом и делом; это, наконец, пропивающий мизерную пенсию инвалид войны Крукшенк. Пришельцы же, состоятельные и благополучные, въехавшие в чужой район «со своим уставом», поданы автором-хроникером весьма иронически. Среди них — чудаковатый доктор социологии Хомский из Нью-Йорка, активно и тщетно пытающийся включиться в местную общественную жизнь. Здесь же купил дом (все-таки дешевле, чем в Америке, да и поспокойнее!) его приятель, профессор психологии Дюбуа Амброз, специалист по оккультизму и глава таинственной группы «Сыновья и Дочери Космического Света». Ради политической карьеры прибыл сюда юрист Лен Роли. На первых порах он намерен баллотироваться в муниципалитет, а там, глядишь, и выше... Пока же кандидат разгуливает в истрепанных джинсах и старой куртке, демонстрируя населению свой «демократизм». Слабо разбираясь в местной ситуации, он поручает распространение предвыборных листовок со своей биографией местным хулиганам, по наивности принимая их за жертв социальной несправедливости и общественного равнодушия. Щедро оплачивая их услуги, Роли и сам надеется кое-что этим заработать, а именно — репутацию защитника обездоленных. Но обольщается он напрасно: вопреки чаяниям горе-политика листовки доставлены — надо отдать должное политическому чутью лоботрясов — не избирателям, а на помойку.

Х. Гарнер «сфотографировал» — в сильно уменьшенном, разумеется, виде—нынешнее канадское общество. Изображение не всегда отличается контрастностью, что-то «не вошло в кадр», что-то, напротив, оказалось на переднем плане напрасно. Порой писатель излишне полагается на самодвижение материала, но «аутентичность», как известно, не синоним художественности. Случается, Гарнер заботится прежде всего о том, чтобы снабдить читателя информацией, а уж дальше пусть он сам судит, что к чему. Достижения автора, однако, намного перевешивают просчеты. Интерес писателя к родной почве, его влюбленность в Канаду и канадцев позволяют говорить о «Пришельцах» как о примечательном явлении в литературной жизни страны.

На суперобложках последних произведений ветерана канадской беллетристики Морли Каллагана (род. в 1903 г.) неизменно воспроизводятся слова видного американского критика Эдмунда Уилсона, назвавшего его «самым незаслуженно обойденным славой англоязычным писателем». Восемнадцать книг — романы, сборники рассказов, мемуары — за пятьдесят лет творческой деятельности, годы жизни в Париже, сыгравшие не последнюю роль в становлении писательского таланта, дружба с Фицджеральдом и Хемингуэем — таковы наиболее примечательные штрихи биографии М. Каллагана. Художественный почерк писателя, многое перенявшего у своих знаменитых коллег по перу, запоминается экономностью и простотой стиля, изяществом синтаксиса, четкой выверенностью диалога.

«Снова к солнцу» — роман-размышление. Судьба «одного канадца» становится для М. Каллагана поводом для раздумий об уделе человеческого существования в XX веке. Айра Грум, о котором идет речь в романе, личность поистине незаурядная. Блестящий морской офицер, герой войны в далеком прошлом, один из руководителей крупной международной фирмы в недавнем прошлом, он обладал способностью подчинять чужие воли своей, а свою — интересам дела, которому служил. Теперь, после смерти жены, он возвращается на родину, в Торонто, где занимает пост главы полицейского управления. Парадокс ситуации, в которой читатель застает этого «последнего магната», заключается в том, что он, человек энергии, ума, самообладания, находится в состоянии тяжелейшего душевного кризиса. Внешне этот разлад проявляется в необъяснимых для тех, кто знает Грума близко, запоях. Во время одного из них он оказывается за рулем машины и, не справившись с управлением, попадает в аварию, а затем на больничную койку. Перед лицом смерти, когда защитные механизмы сознания — поглощенность сиюминутным, надежды на будущее, иллюзии и самообманы — не срабатывают, герой оказывается один на один со своей совестью. Он силится понять, почему, «состоявшись» по всем внешним меркам, он потерпел поражение по сути: никакие деловые триумфы не в силах заслонить внезапно и властно обнаружившуюся духовную бессодержательность его существования. Перебирая в памяти эпизоды прошлого, Грум убеждается в пагубности императива «будь бесстрастным», которым доселе вдохновлялся. Личные отношения с коллегами и подчиненными мешают успешно функционировать? Стало быть, тем хуже для личных отношений. И вне службы Грум держит свои чувства и эмоции в ежовых рукавицах. Так безопаснее. Ведь любовь, сострадание, переживания вносят в упорядоченный мир личности хаос, делают ее слабой и бездеятельной. Однако в душе героя утверждается вакуум, который не заполнить ни семейными обязательствами, ни тем более случайными связями. В этом контексте одиночество пятидесятитрехлетнего Грума (жена умерла от рака, а сын бросил колледж, отрастил волосы, пристрастился к «травке» и бродит где-то по белому свету) воспринимается как кара за душевную ущербность. Но истина (а с ней и убеждение, что самым ярким и важным событием в жизни была трагическая любовь к юной американке) приходит к герою слишком поздно — с последней вспышкой сознания. Простив писателю мелодраматизм изображения любви среди всеобщего хаоса и абсурда и некритическое порой отношение к параграфам экзистенциалистского кодекса, отметим, что за личной трагедией Грума вырастает трагедия помасштабнее: кризис западного общества, разочаровавшегося в своих героических добродетелях—индивидуализме, рационализме и практицизме. «Рекомендуемые» обществом рецепты счастья и успеха М. Каллаган объявляет несостоятельными, как несостоятельны для него все те, кто замкнулся в скорлупе эгоцентризма и не способен отыскать

дорогу к другим людям. В движении по этой дороге — при всех выпадающих на долю путника испытаниях — и заключается для писателя истина человеческого бытия, его главное оправдание.

Поэт, прозаик, литературный критик — таковы грани творческой индивидуальности Маргарет Этвуд. Стремление охватить самые разные стороны жизни, столкнуть разные точки зрения, показать явление во всех его противоречиях определяет тональность ее нового романа «Женщина-оракул». Сразу не скажешь, о чем он в первую очередь — о воспитании ли чувств главной героини, молодой писательницы Джоан Фостер, о том ли, в каких отношениях находится в наш век искусство с обществом, а художник с публикой, о запутанной ли, наконец, и чреватой конфликтами действительности Канады семидесятых. Повествование имеет несколько уровней: семейный роман вдруг оборачивается сатирой нравов, за которой открывается драма идей. М. Этвуд непринужденно сочетает психологизм с гротеском, лирические пассажи торопится снизить иронически-пародийными, а фарс соединяет с трагедией. Осколочно-фрагментарная композиция книги, где прошлое перебивает настоящее, свежие воспоминания уступают место давним, а куски из сочинений героини Этвуд переплетаются с собственными этвудовскими, призвана подчеркнуть многомерность и разносоставность того пласта бытия, что находится в поле зрения автора (и героини — роман выстроен как монолог).

Образы прошлого, люди, страны, события проходят в памяти Джоан, которая скрывается в Италии... после совершенного ею «самоубийства». Оно инсценировано ею, чтобы как-то приостановить ход сделавшейся неуправляемой жизни и воспользоваться передышкой, чтобы в одиночестве разобраться, что к чему в мире, в окружающих, в самой себе.

В отличие от гарнеровских снимков с натуры портретная галерея М. Этвуд отчетливо идеологична: едва ли не каждый персонаж романа так или иначе определяется своим отношением к современной культурно-политической ситуации, занимает ту или иную идейную или творческую позицию. Вот, к примеру, польский аристократ-эмигрант, ставший первым увлечением юной Джоан. Он не сомневается в «закате Европы», наступившем, на его взгляд, после второй мировой войны. Этот банковский служащий на досуге под женским псевдонимом изготовляет слащавые романчики из жизни медсестер. Пример оказывается заразительным для Джоан, которая начинает специализироваться в исторически-сентиментальном жанре, или, как она его называет, «костюмной готике». Забава превращается в профессию, которая, по словам героини, представляет собой разновидность торговли болеутоляющим. Клиенты Джоан — тысячи читательниц, сходящие с ума от унылого быта и вечно озабоченных и усталых мужей. Однажды Джоан, со свечой и перед зеркалом, пытается создать несколько «спиритических» фраз для очередного шедевра. Неожиданно рождаются стихи. Несколько сеансов — и возникает сборник «Женщина-оракул». Оккультные ли силы виноваты, или талант и вдохновение, М. Этвуд предоставляет судить читателю. Публикация «нашептанной оракулом» книги приносит героине небывалую славу. К большому неудовольствию ее мужа Артура.

Артур — социолог леворадикального толка. Его «убеждения» — невероятная смесь из всевозможных левых пророков, а «позитивная программа» — протест. Протест против чего угодно, лишь бы вышло злободневно, то есть новомодно. Друзья Артура, еще более радикальные, чем он, добывают динамит. Что взрывать—неважно. Им позарез нужен символический взрыв, взрыв-жест. Заговорщики с их нудным теоретизированием и паническим страхом перед наказанием за «акцию» при всей своей внешней антибуржуазности — самые заурядные буржуа, уютно пристроившиеся при протесте, благо последний позволяет им грубить миру о собственной значительности, иного подтверждения, увы, не имеющей.

Динамит взорвется на пустыре (чем не символ?). Но взорвут его не «радикалы», а Джоан со своим экзотическим любовником, именующим себя Королевским Дикобразом. Он художник-авангардист, создающий в натюрмортах (в самом прямом смысле слова — из околевших животных) «конкретные» образы эпохи. Впрочем, эстетически неистовствует он лишь во внеурочное время, когда свободен от заказов коммерческих организаций (дизайн, рекламы), требующих от него более традиционных решений. В быту этот «модернист на полставки» прозаично называется Чак Бревер.

Скрывающаяся в Италии Джоан находится в состоянии крайнего душевного опустошения. Она смертельно устала от мнимых ценностей и псевдовеличин: от пустопорожней активности мужа, от лжесодержательности опусов Бревера-Дикобраза, от собственных литературных подвигов, от тягот существования «в мифе» поэта-пророка. Как жить дальше? Как писать дальше? М. Этвуд советов не предлагает, но потребность одолеть силы апатии и безразличия ощущается в финальных аккордах книги.

Три романа — три разных взгляда на мир, три несхожих голоса. За различиями в мироощущении, опыте, творческом темпераменте их авторов вырисовывается, однако, некая общность. Х. Гарнер, М. Каллаган, М. Этвуд озабочены судьбами родной страны, пытаются угадать ее изменчивый и вместе с тем неповторимый облик. Эти и другие книги последнего времени позволяют утверждать, что литературное освоение Канады — уже не благое пожелание, а бесспорная реальность.

С. БЕЛОВ

«...Я ВЕРЮ В НАСТУПЛЕНИЕ УТРА»

A l P u r d y. Being Alive. Poems: 1958—1978. Toronto, McClelland and Stewart, 1978.

Э л П а р д и. В гуще жизни. Стихи: 1958—1978. 1978.

В 1959 году в Канаде вышла книга, на обложке которой стояло имя — Эл Парди. Книгу заметили

сразу. Критики поспешили причислить поэта к группе «молодых талантов», словно забыв о том, что «молодой» (а ему тогда уже было за сорок) Парди дебютировал еще в середине 40-х годов, выпустил несколько сборников и — надолго замолчал.

Новая книга открыла читателю совсем другого поэта. Именно концом пятидесятых годов датирует и сам Парди начало своего творческого пути: первые стихи, включенные им в сборник, помечены 1958 годом.

Когда поэт решает издать собрание всех своих стихов, это чаще всего означает, что завершился какой-то большой и важный этап в его творческой биографии и он вместе со своими читателями хочет подвести какие-то итоги. Такую задачу, очевидно, поставил перед собой и Эл Парди. И действительно, теперь, когда все до сих пор им написанное появилось под одной обложкой, можно по-новому представить себе развитие канадского поэта.

Стихи конца 50-х годов словно написаны не одним, а несколькими поэтами: они звучат то иронично, то бесстрастно, то проникновенно, то подчеркнуто буднично. Оттого в этом многоголосии и нельзя уловить поэтической индивидуальности — скорее ощущается, может быть, невольное подражание чужим интонациям. По собственному признанию Парди, он учился у большого американского поэта Уильяма Карлоса Уильямса, вслед за ним стараясь максимально приблизить поэтический язык к естественной речи. Но зачастую опыт Уильямса воспринимался Парди слишком упрощенно. Включая в свои стихи отрывки из «живого разговора», услышанного на улице или в кафе, Парди, видимо, не подозревал, что поэзия «под Уильямса» — но без его ритмической энергичности и эмоциональной насыщенности — превращалась в «рубленую» прозу. И все же канадскому поэту удалось увидеть и понять то главное, что характерно для поэзии Уильямса,— его способность к «интенсивному видению действительности», его умение пристально вглядываться в повседневность и поэтически ее воссоздавать.

Постепенно Парди освобождался от подражательства, и уже в стихах начала 60-х годов заметны те черты, которые позволяют безошибочно отличить Парди от других канадских (и даже шире — других англоязычных) поэтов. В ту пору Парди был по преимуществу «региональным» поэтом — как и многие другие представители его поколения, которое пришло в канадскую поэзию в первое послевоенное десятилетие и задалось целью создать подлинно канадскую поэзию. И все же «регионалистские» стихи Парди отличались от произведений других «регионалистов», чьими излюбленными жанрами оставались пейзажная зарисовка или «портрет соседа». Уже в ранней лирике Парди ощущается то, что станет характерной чертой его более поздней поэзии,— стремление воплотить исторический и духовный опыт канадского народа, осмыслить самобытность своей родины. Парди — уроженец провинции Онтарио, самого сердца Канады, где три века назад обосновались первые английские поселенцы. Но не от лондонских купцов, торговавших с индейцами, и не от верных слуг английского короля, сражавшихся здесь с солдатами Людовика XVI за канадские территории, ведет Парди свою родословную. Своими предками поэт считает бесстрашных мореплавателей-первопроходцев, лесорубов и старателей, покорителей канадского северо-запада. Любовь к суровой канадской земле связывает поэта и с коренным населением Канады — индейцами и эскимосами, в преданиях которых живет многовековое прошлое страны. Со стихами, написанными о Крайнем Севере Канады, перекликаются строки о неизвестном индейском художнике, создателе наскальных рисунков, который

...как кистью пальцами рисовал
на каменном холсте
на рыбьем и медвежьем жиру замешивал
свои краски
чтобы они не поблекли и победили
неумолимое время.

(«Индеец-наездник»)[1]

Стихи эти проникнуты мыслью о неистребимости жизни, убежденностью в непреходящей ценности культурного опыта человечества. И в то же время — острой болью за трагическую судьбу эскимосского и индейского народов, которые беспощадно уничтожались во время колонизации Канады.

В отличие от многих поэтов, замкнувшихся в узких рамках «региональной» тематики (что стало фактически препятствием для их дальнейшего творческого развития), Парди всегда пытался раздвинуть границы своей поэзии. Поэтому стихи второй половины 60-х годов принадлежат уже не «регионалисту», а поэту, очень чуткому к современности. Парди стремится точно передать духовную и психологическую атмосферу современного канадского общества. Прежде всего тревожит бездуховность, которая в условиях «общества потребления» ведет к обезличиванию человека, к стиранию такого понятия, как «человеческое достоинство».

Есть у Парди небольшое стихотворение «Деревья Заполярья» — наиболее характерное для его творчества 60-х годов, обычная, казалось бы, зарисовка с натуры, что-то вроде «моментальной фотографии», каких у Парди немало:

В них всего 18 дюймов
а может и меньше
вползают под скалы
склоняются и ускользают
желая укрыться
желая уменьшиться
ищут где бы им скрыться
трусливые деревца...

Но этот унылый арктический пейзаж неожиданно в сознании поэта превращается в символ одиночества и беззащитности. «Трусливые деревца» — это люди, сломленные своим одиночеством. А от одиночества — шаг до гибели.

Нередко в стихах Парди звучат нотки отчаяния. Порой представляется, что одиночество и гибель — вечный земной удел, и тогда он с горечью обращается к английскому поэту-гуманисту XVII века: «Я не

[1] Подстрочный перевод стихов принадлежит автору статьи.

согласен с тобой Джон Донн // в каком-то смысле человек это остров...» И все же побеждает надежда, жадное стремление верить в победу света над тьмой. И в итоге поэту удается пересилить искус иллюзорного бегства от реальности, которая представляется ему далекой от совершенства. Активная «вовлеченность», ощущение себя «в гуще жизни» оказывается дороже, чем умиротворенный покой одиночества.

Смелая открытость бытию — главная черта поздней лирики Парди. В канадской критике Парди часто называют поэтом «экзистенциальных проблем». Вряд ли слово «экзистенциальный» здесь удачно. Ведь поэта волнуют не абстрактные вопросы человеческого существования, его «бытия в мире», а проблема вполне конкретная: как, чем живет человек сегодня, во второй половине XX века, и, главное, каким будет его завтрашний день, за который необходимо бороться. Потому, видимо, закономерно появление у Парди стихов философско-публицистического жанра.

«Дневниковая лирика» составляет в этой книге едва ли не половину ее объема. Парди много путешествует. Он побывал во многих странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки. Целый год прожил в эскимосском иглу на небольшом острове в Северном Ледовитом океане. Для Парди путешествия — не просто туристские поездки, а «стихи-дневники» — меньше всего рассказы о достопримечательностях далеких стран. Поэт делится с читателем не путевыми *впечатлениями*, а путевыми *раздумьями* об увиденном во время многодневной поездки по революционной Кубе, при посещении Музея жертв атомной бомбардировки в Хиросиме или при виде бесконечных табличек «Только для белых» в Иоганнесбурге. Каждый «листок» из его поэтического дневника — это крохотная частичка бытия, осмысленного поэтом. А из этих частичек складывается большое полотно — подробная, со множеством деталей и нюансов картина современности. Всякое конкретное наблюдение — а Парди не признает абстрактных умозрительных рассуждений — для него всегда выход к широким обобщениям. Вот почему даже стихи из разных «дневников» органично связаны между собой: «дневники» объединяет мысль о необходимости сохранить перед лицом воинствующего антигуманизма высокую духовность, что является для Парди залогом нравственного выживания человечества. С исключительной силой эта мысль звучит в политической лирике Парди, в стихах цикла «Поэмы о Хиросиме»:

Кто скажет, вглядываясь в ночь,
что скоро наступит утро,
кто скажет, что в розовой полоске зари
он видит восходящее солнце,
и что человеческая справедливость
больше, чем просто два слова,
и что кара настигнет виновных?
Но все же я жду наступления утра,
и жду терпеливо восхода солнца,
и верю в справедливость...

(«Вспоминая Хиросиму»)

В последнее время Парди писал мало: в 70-е годы, по сравнению с предшествующим десятилетием, им создано почти вдвое меньше. Но это ни в коей мере не говорит о творческом спаде. Стихи Парди стали строже, выверенное, и если раньше поэтическое творчество для Парди было лишь способом *увидеть* мир, то теперь его искусство превратилось для него в средство *общения* с миром — что и составляет суть истинной поэзии.

О. АЛЯКРИНСКИЙ

АНТОНИН МАЙЕ ОТКРЫВАЕТ АКАДИЮ

Antonine Maillet. Pelagie-la-charette. Paris. Grasset, 1979.

Антонин Майе. Пелажи с повозкой. Париж, 1979.

«Если бы я не была писательницей, я стала бы историком»,— заявила франкоязычная канадская писательница Антонин Майе[1] *в интервью корреспонденту газеты «Нувель литтерер» Жерому Гарсену, которое мы перепечатываем с небольшими сокращениями. А. Майе — автор целого ряда романов, книг для детей и пьес, наибольшую известность приобрела ее пьеса «Грязнуха», написанная в форме монолога простой старой женщины, уборщицы, рассказывающей о своей тяжкой жизни.*

Новый роман Антонин Майе, получивший во Франции Гонкуровскую премию 1979 года, название которого можно перевести как «Пелажи с повозкой», как и предыдущий «Поленница» (1977), посвящен истории канадской провинции Акадии, родине писательницы, которую она открывает современным канадцам. И не только канадцам — книги Антонин Майе завоевывают все большую популярность и в других странах, особенно во Франции, откуда ведут родословную жители Акадии (Новой Шотландии), первоначально называвшейся Новой Францией. Роман «Пелажи с повозкой» повествует о том, как изгнанные в XVIII веке англичанами на юг Америки акадийцы под предводительством главной героини, этой акадийской Матушки Кураж, отваживаются на мучительно трудное возвращение на прежние места, которое продлится более десяти лет. Эта книга о прошлом канадского народа напоминает по форме народный сказ; стилистика и своеобразный язык романа сохраняют все особенности устной разговорной речи, свойственные ей добродушный юмор и поэтичность.

Жером Гарсен. Ваш новый роман — это история возвращения акадийцев на их родные земли. А почему вы оставили в стороне предыдущий период, я имею в виду великое переселение, иначе говоря — изгнание, которое в 1755 году осуществили англичане?

Антонин Майе. Справедливый вопрос. Но если бы вы знали, сколько у нас уже написано об этом! К тому же меня как писательницу этот сюжет привлекает куда меньше, чем эпопея возвращения, когда Пелажи, которой было всего тридцать пять лет, удалось собрать в поход тех, кто и составит в дальнейшем население Акадии. Видите ли, изгнание никто не выбирал

[1] О встрече с Антонин Майе в редакции нашего журнала см. «ИЛ» № 7, 1977.

добровольно, а вот возвращение — это дело самого народа и возглавившей его женщины, это результат их воли, стойкости и безрассудной смелости.

Ж. Гарсен. Может быть, вы все же решитесь когда-нибудь описать великое переселение?

А. Майе. Только если почувствую в этом настоятельную необходимость. Меня больше интересует кризис, пережитый акадийцами, когда после возвращения с юга они рассеялись и затерялись среди обширных северных земель.

Ж. Гарсен. Акадийское население было вывезено целиком?

А. Майе. Нет. Из шестнадцати тысяч были депортированы восемь. Остальные попрятались от англичан в лесах.

Ж. Гарсен. Сегодня «Пелажи с повозкой», вчера «Поленница», еще раньше «Грязнуха» — создается впечатление, что вы пишете только на исторические темы. Проникновение в психологию вас интересует, видимо, меньше, чем французских писателей?

А. Майе. Будем откровенны — за моей спиной три века Северной Америки, и если во мне и есть что-то французское, то это идет из XVI века, эпохи Рабле. С современными же писателями Франции у меня нет ничего общего. К тому же склад ума у меня не аналитический, а синтетический. Все, что я описываю, в том числе и своих персонажей, я рассматриваю с разных сторон. По-моему, когда рассказываешь о человеке, нельзя ограничиваться психологией. Не менее важны его поступки, его действия. И конечно, я не представляю романа без Истории — истории с большой буквы.

Ж. Гарсен. Вероятно, вам хотелось бы создать нечто вроде акадийской «человеческой комедии»?

А. Майе. Мои намерения гораздо скромнее. Но мне очень приятно, что вы упомянули имя Оноре де Бальзака, моего самого любимого французского писателя.

Ж. Гарсен. Занимались ли вы историей специально?

А. Майе. Да, я училась в университетах Монктона, Монреаля и Лаваля, где литературу преподают наравне с историей. Я очень люблю читать исторические труды. И если бы я не была писательницей, то наверняка стала бы историком.

Ж. Гарсен. Работая над своими произведениями, изобилующими приметами старины, датами, забытыми фактами и подробностями, вы много времени проводите в библиотеках?

А. Майе. Нет, немного. У меня особое отношение к истории. Когда я стараюсь проникнуть в прошлое, я переступаю его порог, пользуясь не главными воротами, а маленькой задней дверцей. Я предпочитаю собирать устные свидетельства и в своих романах опираюсь скорее на услышанное мною, чем на университетские учебники. И это не случайно. В Акадии сохранилось очень мало архивов. Большая часть из них была сожжена или разгромлена англичанами. Особенно свидетельства очевидцев великого переселения, в искаженном виде переписанные впоследствии англичанами, которые изобразили осуществленное ими изгнание чуть ли не как туристское путешествие...

Ж. Гарсен. Значит, по сути, писательскую деятельность вы сочетаете с журналистской?

А. Майе. Да, в какой-то мере. Большую часть необходимых сведений я черпаю в беседах с жителями моего края. Но я никогда не ношу с собой ни блокнота, ни магнитофона, иначе мои собеседники сразу утратят естественность и начнут с трудом подбирать слова. Меня же прежде всего интересует их живой, непосредственный язык — иногда даже больше того, что они говорят. Чтобы люди чувствовали себя со мной непринужденно, я расспрашиваю их в те моменты, когда занимаюсь вместе с ними рыбной ловлей, охотой или совершаю дальние прогулки. А уж потом, когда я начинаю писать, я по памяти восстанавливаю услышанное, сюда же добавляются и мои собственные мысли, впечатления и воспоминания.

Ж. Гарсен. Вот уже более двадцати лет вы пишете книги, в которых открываете своим соотечественникам то, что они сами до сих пор не знали о своем прошлом, о своих обычаях, и даже потаенные уголки их собственного сердца. Вы превратились в нечто вроде символа, не тяготит ли вас это?

А. Майе. Возможно, мне всего лишь удалось опровергнуть поговорку «Нет пророка в своем отечестве». Повсюду, прежде всего, конечно, в Акадии, но и в Квебеке, и вообще в Канаде, меня воспринимают как писательницу, связывающую две традиции — устную и письменную, которая появилась в Акадии лишь в самые последние десятилетия, народную память и литературную историю. Особенно если какую-нибудь мою пьесу ставят в театре или один из романов экранизируют на телевидении. Я считаю, что мой долг — это донести до акадийцев то, что сами же они мне рассказали. Так что можно сказать, я являюсь своего рода послом, представляя Акадию везде, где мне доводится бывать,— в Монреале, Нью-Йорке или Париже...

◆

Из месяца в месяц

АЛЖИР

НОВИНКИ ПОЭЗИИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

В Алжире, как сообщает журнал «Ас-Сакафа», вышел сборник стихов поэта Мустафы аль-Гаммари «Зарубки на памяти времени». Стихи аль-Гаммари посвящены актуальным проблемам современности. Одно из произведений сборника посвящено иранской революции, приведшей к свержению шахского режима.

Вышла также книга литературоведа доктора Салеха Херфи «Поэзия алжирского сопротивления».

БОЛГАРИЯ

«БЛЕСТЯЩИЙ, САМОБЫТНЫЙ ТАЛАНТ»

Болгарская пресса широко отметила 50-летие известного прозаика Йордана Радичкова.

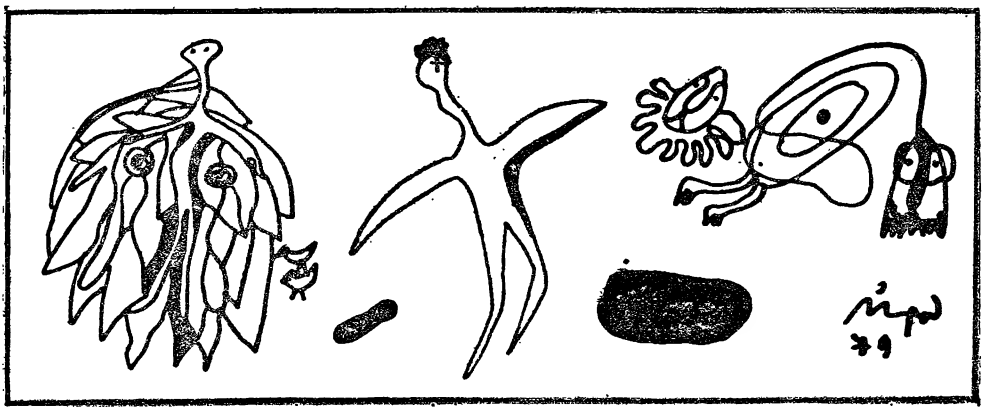
«Блестящий, самобытный писатель, автор рассказов, новелл, повестей, романов, путевых заметок и драм, принятых болгарским читателем и зрителем с удивлением и радостью и успешно перешагнувших границы нашей родины»,— пишет академик Петр Динеков в журнале «Септември».

«Вот уже два десятилетия, — отмечает журнал «Пламк», — Йордан Радичков «мучает» критику неистощимыми выдумками своего щедрого таланта. Нельзя сказать, что он оценен недостаточно высоко, но, пожалуй, он еще не понят во всей глубине. Радичков разрушает готовые формулы, выбирает неизведанные пути и говорит нам своеобразно, а может, и пока непонятно для нас об известных нам вещах, потому что Радичков не только живописец, не только художник-пластик, но и мудрый рассказчик, которого интересует и душа человека, и бытие человека, и его судьба».

Писатель встречает свой юбилей в расцвете творче-

По просьбе еженедельника «Литературен фронт» Йордан Радичков сделал несколько рисунков, как шутливо замечает газета, «несколько перышек из крыльев для своего следующего полета», в которых читатели, может быть, узнают и его героев, и его критиков.

(Еженедельник «Литературен фронт»)



На снимке: сцена из спектакля Софийского Национального театра им. Ивана Вазова, поставленного по пьесе Йордана Радичкова «Попытка взлететь».

(Журнал «Театр»)

ских сил, новыми интересными произведениями. С большим успехом идет на сценах болгарских театров его последняя пьеса «Попытка взлететь», пронизанная стремлением к победе над злом и духовному совершенству.

Произведения Радичкова, сообщает газета «Работническо дело», переведены на восемнадцать языков и выпущены в зарубежных странах более чем тридцатью отдельными изданиями. К ним следует прибавить и вышедший недавно в издательстве «Прогресс» в серии «Мастера современной прозы» однотомник, который дает представление о творчестве писателя.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ» Ч. П. СНОУ

Один из самых известных английских романистов Ч. П. Сноу начинал как автор детектива «Смерть под парусом». В пору своей творческой зрелости маститый романист, к немалому удивлению критиков, вновь обратился к жанру детектива. «Лаковое покрытие» — так называется новый роман Ч. П. Сноу, который практически одновременно вышел и в Великобритании, и в США, — формально произведение, расследующее убийство, произошедшее в Белгравии — одном из самых фешенебельных районов Лондона. Почти все персонажи романа так или иначе втянуты в распутывание преступления.

Однако, как полагает известный английский поэт, публицист и критик Рой Фуллер, посвятивший новому роману Ч. П. Сноу статью в журнале «Листнер», убийство — лишь повод для более серьезного и глубокого разговора.

Вопрос, который чрезвычайно занимает Ч. П. Сноу сегодня, — это вопрос о том, что же такое цивилизация. Как замечает в романе один из героев, современная западная цивилизация, какой бы совершенной внешне она ни казалась, — всего лишь тоненькое лаковое покрытие, легко терякощее под давлением обстоятельств не только свой блеск, но и дающее глубокую трещину.

Произошедшее убийство, пишет Рой Фуллер, и последовавшая за ним цепь расследований проливают свет на «царство варварства, вытеснившего культуру». Варварство Сноу понимает очень широко. По его мнению, оно заложено не только в социальной основе буржуазного общества, но и в природе самого человека, живущего в этом обществе.

Давая роману высокую оценку, Рой Фуллер замечает, что на манере Ч. П. Сноу сказались его труды по классическому наследию: монография об Э. Троллопе, сборник эссе о реалистах XIX века. В «Лаковом покрытии» Рой Фуллер видит многие черты «великого романа» XIX века, например, восприятие общества как социального организма, который писатель постигает через частное, через отдельную судьбу.

«СЛЕТ ПТИЦ» ДЖОНА ХАЙЛПЕРНА

Книга Джона Хайлперна «Слет птиц», по мнению критика журнала «Пингвин ньюс», — не просто описание еще одного удивительного путешествия европейца в Африку, открытий человека, попавшего в новый для него мир. Это —

открытие человеком самого себя, анализ его «кодовой системы» эмоций, привычек, поведения в необычной среде.

Главный герой книги «Слет птиц» — известный английский режиссер Питер Брук, постановщик спектаклей, снискавших ему мировую известность.

По инициативе Брука в 1972 году в Париже был создан Международный театральный центр. Он набрал труппу из актеров двенадцати национальностей. Год спустя режиссер совершил со своей труппой турне по Нигерии, Дагомее, Того, Нигеру и Мали, вместе с ними был Джон Хайлперн, будущий автор книги «Слет птиц». «Символическое паломничество», совершенное Бруком и его коллегами, как отмечалось в английской прессе, увенчалось успехом. Хайлперн дает галерею портретов актеров, впечатляющую картину Африки с холодными ночами в Сахаре, занесенными песками селениями. Но самое главное в ней — рассказ о том, как труппа открыла для себя африканского зрителя.

В апреле Венгрия будет отмечать 35-ю годовщину со дня Освобождения. В преддверии этого национального праздника кинорежиссер Петер Сас в своей новой ленте рассказывает о тех, кому в 1945 году было пятнадцать — шестнадцать лет и кому сегодня полвека. Как складывалась их жизнь в свободной Венгрии на протяжении свыше трех десятилетий — об этом повествует фильм «Разве можно забыть самую большую любовь нашей жизни?»
На снимке: известная актриса Илдико Печи в роли одной из героинь фильма.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

«МОЙ ПУТЬ В ТЕАТР»

Народная артистка Венгерской Народной Республики, лауреат Государственной премии имени Кошута и премии Марии Ясаи Ева Рутткаи хорошо знакома советским зрителям прежде всего по ряду кинофильмов, в том числе «В полночь», «История моей глупости».

Она создала на сцене ряд образов, вошедших в сокровищницу венгерского театра: Джульетты, Наташи Ростовой, Лисистраты, гётевской Маргариты и Зилии в «Немом рыцаре» Хелтаи.

Сейчас Ева Рутткаи выступила в необычной для себя роли. На страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика» в своеобразной автобиографической новелле «Земля моя родная, Пешт» она поведала читателям о своем детстве и юности, о пути в театр.

«Уже в детстве я научилась работать до изнеможения. И сцена всегда была для меня связана с трудом и борьбой за существование. С десяти лет я исполняла детские роли в театральных постановках. Я знала, что получу за свое выступление 5 пенге, а это значило, что мама сможет приготовить вкусный обед. Когда мои сверстницы бегали в городской парк развлекаться, я шла туда работать — участвовать в представлениях, устраиваемых на открытой сцене. Свой профессиональный путь в театре я начала с Детского театра дядюшки Щакнера еще до освобождения Венгрии. Мне всю жизнь хотелось жить беззаботно, и всю жизнь это у меня не получалось. И сегодня тоже, даже поболеть нет времени», — шутит актриса.

ГДР

ИНТЕРВЬЮ С МАКСОМ ВАЛЬТЕРОМ ШУЛЬЦЕМ

Еженедельник «Зонтаг» поместил интервью с известным писателем Максом Вальтером Шульцем (повесть Шульца «Солдат и женщина» была опубликована в «ИЛ» № 10, 1979).

Отвечая на реплику корреспондента «Зонтаг» Лотара Гюнтера, что Шульца чаще всего называют писателем-философом, писатель сказал, что такое определение он считает для себя лестным. «Действи-

тельно, и в моем романе «Мы не пыль на ветру», и в романе «Триптихон с семью мостами» немало рассуждений, раздумий. Конечно, оба романа написаны по-разному. В романе «Мы не пыль на ветру» герои молоды, в их взглядах и суждениях много незрелого, наивного. В романе «Триптихон с семью мостами» дело происходит гораздо позже — в 1968 году. Мои герои стали старше, а соответственно и более зрелыми. И если говорить о «философской» стороне романа, то философия стала сложнее и глубже».

Разговор заходит о повести «Солдат и женщина». Лотар Гюнтер отмечает, что недавно опубликованная повесть уже заслужила признание у читателей, а он сам считает ее лучшим произведением Шульца.

«Как всякий писатель, я рад, если моя книга принята читателями, — сказал Макс Вальтер Шульц. — И хотя ее тоже можно назвать философской, в ней, конечно, больше действия. Кроме того, я думаю, что читателей в повести «Солдат и женщина» привлекают мотивы мифов и сказок, где человек тесно связан с природой, с животными, говорит с ними на одном языке...»

На вопросы о методах работы и о том, как он совмещает творчество с деятельностью в Литературном институте, директором которого он является, Шульц ответил:

«Мне трудно говорить о том, как я работаю. Мысли не всегда приходят, когда сидишь за письменным столом, чаще они появляются неожиданно, во время беседы или даже на заседании. Что же касается моей работы в Литературном институте, то она мне помогает. Самое ценное для меня — каждодневное общение с молодежью, знакомство с их планами, надеждами, разочарованиями. Я как бы учусь вместе с ними, приобретаю опыт... Вообще же я считаю, что писатель должен «прожить» несколько жизней, должен уметь отождествлять себя со своими героями. С годами пытаешься делать это все лучше, но с каждым днем понимаешь, что времени остается мало, а писать становится все труднее...»

ИНДИЯ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛЕНИН

Газета «Джан юг», выходящая в Дели на языке хинди, опубликовала ряд материалов в связи с выходом в свет сборника «Заря эпохи» — антологии прогрессивной индийской поэзии, включившей лучшие образцы гражданской лирики последнего шестидесятилетия на различных языках Индии. В антологию вошли стихи Рабиндраната Тагора, Кази Назрула Ислама и Шуканто Бхаттачарджо, представляющих бенгальскую литературу, Ниралы, Муктибодха и Нагарджуна (литература хинди), Икбала, Али Сардара Джафри и Кайфи Азми (литература урду), Валлатхола и Шанкара Курупа (литература малаялам), Субраманья Баради (тамильская литература) и ряда других поэтов прошлого и современности. Всего в антологии представлено 96 стихотворений, принадлежащих перу выдающихся представителей многонациональной индийской литературы.

Антология состоит из двух частей. Первая часть, посвященная теме «Ленин и Октябрьская революция», называется «Великая революция: великий человек». Вторая часть антологии, озаглавленная «Новые гимны», посвящена национально-освободительной борьбе, развернувшейся в Индии под влиянием Октября и приведшей к завоеванию независимости.

«Вероятно, это первый в нашей литературе случай, — пишет известный критик-марксист Раджкумар Сайни,—когда на хинди выходит книга, в которой — в оригинале или в переводе — одновременно представлены созданные на всех языках нашей страны произведения крупнейших и малоизвестных поэтов, посвященные теме «Октябрьская революция и Ленин».

Составителем и редактором антологии выступил известный общественный деятель Сударшан Собти.

ИСПАНИЯ

«НЕКИЙ ЛУКАС» ХУЛИО КОРТАСАРА

Новое произведение Хулио Кортасара, выпущенное испанским издательством «Альфагуара», — «Некий Лукас» — трудно причислить, по мнению рецензента мадридского журнала «Триунфо», к определенному жанру. В структурном отношении оно представляет собой соединение различных прозаических фрагментов: некоторые из них являются вполне законченными новеллами, другие напоминают скорее наброски будущего романа, третьи — публицистически заостренные статьи.

Есть в книге также страницы, пишет критик, которые безусловно можно отнести к дневниковым за-

---

Одним из ярких открытий испанского кинематографа стала молодая актриса Ана Белен, с успехом снявшаяся в ряде фильмов известных режиссеров. Критика отмечает, что ее героини воплощают в себе характерные черты современных испанских женщин, принимающих все более активное участие в общественной жизни. Недавно в Мадриде выпущены две долгоиграющие пластинки с записями песен на стихи Николаса Гильена в исполнении Аны Белен.
На снимке: Ана Белен.

(Журнал «Эксельсиор»)

писям, автобиографическим заметкам. Здесь герой говорит от первого лица: Лукас—Хулио рассказывает о своих привычках, симпатиях и антипатиях, о формировании своих убеждений. Все это дает ключ к пониманию сложного мировоззрения писателя. Фрагментарность структуры не мешает восприятию идейной целостности произведения. Рецензент «Триунфо» считает, что из книги «Некий Лукас» читатель узнает о внутреннем мире Кортасара больше, чем из всего созданного им ранее.

ИТАЛИЯ

«ЛГУНЬЯ»

Диего Фабри известен в нашей стране по переведенной на русский язык пьесе «Семейный суд» (опубликована в сборнике «Современная итальянская пьеса. 1961—1966». М., 1973), а также как автор ряда киносценариев, в том числе сценария фильма Р. Росселини «Генерал делла Ровере».

Одна из самых значительных пьес Фабри, обличающих буржуазные нравы,— «Лгунья». Написанная более 20 лет назад, она неоднократно ставилась как на итальянской сцене, так и за пределами страны. Ярко выписанный характер главной героини — Изабеллы, девушки из мелкобуржуазной среды, утверждающейся при помощи лжи и мистификаций, привлек внимание многих талантливых актрис. В настоящее время режиссер Джанкарло Кобелли перенес свою театральную постановку пьесы Фабри на «голубые» экраны страны. Роль «лгуньи» Изабеллы сыграла известная актриса Эдмонда Альдини.

КНР

ДИН ЛИН ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ

Освобожденная после двадцатидвухлетнего пребывания в тюрьмах и ссылке известная писательница Дин Лин, лауреат Государственной премии СССР 1952 года за роман «Солнце над рекой Сангань», стала активно участвовать в творческой жизни Пекина. Ею опубликовано предисловие к переизданию романа. Обращаясь к новому поколению китайских читателей и особенно к молодежи, старая писательница говорит: «Нынешняя молодежь не знает этой книги, не читала ее. Читатели постарше, боюсь, ее забыли... Теперь, когда прошло более двадцати смутных лет, изменилась социальная атмосфера и с нею читатель, книга должна выдержать новое, более серьезное испытание. Я радуюсь этому, оно полезно для писателя и полезно для литературной атмосферы в целом...»

Суровое наказание, которому подверг маоистский режим видную писательницу Китая, не сломило ее духа. Выступления Дин Лин на совещаниях и в печати отличаются гражданским мужеством и верой в здоровые силы китайского народа. Дин Лин пытается вдохновить своим примером тех, кто еще запуган и хранит молчание, потерял интерес к общественной жизни. Выступая на страницах литературного журнала «Вэньибао», она обратилась к творческой общественности: «Слишком много страха. У руководителей на душе кошки скребут, теоретики тоже боятся, а раз боятся, то и не смеют говорить. Боятся, что скажут что-нибудь не так и потеряют лицо, потеряют положение. Есть люди, которые всегда ориентируются на выражение лица начальника: кого он назовет хорошим, тот и хорош, а кого назовет плохим — тот и будет плох».

Мужественное выступление Дин Лин как нельзя лучше характеризует атмосферу общей запуганности и неуверенности, которая сохраняется в среде творческой интеллигенции Китая и сейчас, после кончины Мао Цзэдуна.

НИКАРАГУА

ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Выдающийся никарагуанский поэт, священник Эрнесто Карденаль (его стихи и поэма печатались в «ИЛ» № 6, 1969 и № 3, 1970), ныне являющийся министром культуры революционного правительства Никарагуа, в интервью для кубинской печати заявил: «В области культуры нам предстоит совершить такую же революцию, как и в области экономической, социальной и политической». Во времена диктатуры Сомосы, напомнил Карденаль, «культура была подавлена, как подавлены были все гражданские свободы. Народный театр, театр протеста, был запрещен, писателей преследовали, и все же революционная культура, как подпольная песнь, сохранялась в душе народа. Это — мощ-

---

На снимке: сцена из спектакля «Лгунья».

(Газета «Паэзе сера»)

ный культурный поток, и потому немедля, как только в нашей стране победила революция, возродились песенное творчество, танцы, пластические искусства. Министерство культуры создано для того, чтобы содействовать возрождению культурной жизни, организовать и ориентировать великое, подлинно народное, революционное творчество».

По словам Эрнесто Карденаля, никарагуанские писатели и деятели искусств предполагают создать свои творческие организации, «мы уже начали основывать литературные студии-мастерские. Мы уверены в том, что в народе, который был отстранен от культуры бывшим диктаторским режимом, таятся поэтические таланты. В индейской общине Монимбо уже действует литературная мастерская. Недавно основанный институт кинематографии подготовил к выпуску большой фильм о народном восстании, приведшем к свержению тирании,— в этот фильм войдут тысячи метров пленки, снятых, в частности, во время последнего наступления сандинистов. Сейчас производятся работы по розыску культурных ценностей, находившихся в руках клана Сомосы и его ставленников. После победы революции там и тут возникают театральные группы, ансамбли народной музыки и танца. Впервые мы почувствовали себя никарагуанцами — и потому народная культура бурно пробуждается повсюду».

Касаясь собственного творчества, Эрнесто Карденаль сказал: «Как поэт, своим долгом я считал быть революционным поэтом; как священник, я считал своим долгом быть революционным священником, а теперь, будучи министром, я полностью выполняю волю моего народа. Быть может, я перестану заниматься поэзией, пусть другие занимаются ею, пусть другие создают песни, картины, танцы, но я все же надеюсь писать стихи, выполняя возложенные на меня ответственные обязанности. Не знаю, смогу ли воспеть великий подвиг нашего народа, буду пытаться. Но, конечно, появятся другие поэты, несравненно более талантливые. Теперь надо создавать новое, в соответствии с новыми временами, наступившими в моей стране. У нашего народа — большие традиции в области литературы. В моей стране есть много Рубенов Дарио, которые пока еще не умеют читать. А потому мы придаем особое значение развертывающейся кампании по ликвидации неграмотности».

Находясь с кратковременным визитом в Гаване, Эрнесто Карденаль вел переговоры, в частности, с президентом Национального союза писателей и деятелей культуры Кубы (УНЕАК) Николасом Гильеном о заключении соглашения о сотрудничестве между УНЕАК и никарагуанскими писателями и деятелями культуры.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Последняя работа молодого режиссера Джоффа Стивена — фильм «Массажистка»,— по мнению рецензента газеты «Нью Зиленд геральд», свидетельствует о прекрасном знании среды, нравов провинциального городка, взбудораженного появлением в городе нового лица — столичной массажистки. Главную роль с блеском, как отмечает газета, сыграла Дерин Купер — преподавательница психологии в Окленском университете, это ее актерский дебют.
На снимке: Дерин Купер в роли массажистки Сандры Рей.

(Газета «Нью Зиленд геральд»)

ПОЛЬША

«ГДЕ ЖЕ СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ ПЬЕСА?»

Под таким заголовком на страницах газеты «Жице Варшавы» проводилась дискуссия на тему о том, почему на варшавских сценах почти отсутствует современная польская пьеса. В ней приняли участие видные критики, драматурги, актеры, режиссеры, директора театров. В редакционном вступлении к дискуссии говорится: «Отсутствие значительных по своему художественному уровню современных польских пьес на варшавских сценах является не новой проблемой, но достаточно серьезной, и нельзя не говорить об этом и не искать причин, объясняющих это тревожное положение».

Открыл дискуссию видный театральный критик Ян Клоссович: «К пьесам, поднимающим спорные, серьезные вопросы нашей современности, в театрах относятся очень осторожно. Надо в принципе изменить свое отношение к остропроблемным пьесам, как это сделано в Советском Союзе, где театр играет важную общественную роль, является трибуной не для парадных речей, а для разрешения наболевших вопросов современности».

Популярный актер и режиссер, директор варшавского Драматического театра Густав Холубек сказал, что не может быть хороших спектаклей без хороших, актуальных по теме пьес, их одинаково ждут и зрители и те, кто находится по другую сторону рампы, но в данный момент он не видит пьес, глубоко анализирующих действительность, ставящих насущные проблемы, художественно обобщающих то, что волнует рядового зрителя и чего он ждет от художника.

Тадеуш Ломницкий, известный актер и режиссер, считает, что существующий антагонизм между театрами и драматургами не способствует развитию театрального искусства. «Не надо делать ставку на шедевры, найти алмаз очень трудно, но искать его надо, и для этого и драматургам и театрам надо очень много работать в добром согласии». Он сожалеет, что нет хорошей современной комедии, «поляки как будто не страдают отсутствием чувства юмора».

На снимке: Иоланта Жулковская, с большим успехом сыгравшая роль Баси в фильме «Наш дом».
(Журнал «Фильм»)

«НАШ ДОМ»

Так называется многосерийный телевизионный фильм, поставленный режиссером Яном Ломницким по сценарию Ежи Яницкого и Анджея Мулярчика. «Это,— как отмечает журнал «Фильм», — повесть о людях, об их делах и чувствах, о стране, о родном городе, собственно говоря, о нашем доме».

Действие фильма охватывает период с 1945 года до наших дней. Люди возвращаются в полуразрушенный, разгромленный, но «свой» дом. На стене еще видна надпись: «Мин нет». Судьбы людей неразрывно связаны с судьбами страны, судьбами Варшавы, которую надо поднимать из руин. Большие и маленькие трагедии обитателей дома проходят перед зрителями: юная связистка Бася, участница восстания, упорно ждет своего жениха, не хочет верить в его гибель, каждый день она проходит мимо чудом уцелевшего маленького костела, где они должны были венчаться; дантист, потерявший руку, а с ней и профессию; юная Лидка, изнасилованная фашистом, с ненавистью думающая о будущем ребенке; старый дворник, обеспокоенный тем, будут ли ему теперь платить чаевые. Война разрушила не только дома людей, она оставила трагический след в их сознании. Все еще появляются на стенах списки погибших, над люками канала еще кружатся трупные черные мухи, но надо жить, надо восстанавливать «свой» дом, свою страну. И когда Лидка с ненавистью кричит о своем будущем ребенке: «Это будет фашист» — ей отвечают: «Это будет человек».

Каким бы разным ни был жизненный опыт обитателей дома, все они стремятся, как говорит один из героев фильма, жить в новой Польше, в Польше справедливой.

ПУЭРТО-РИКО

ПОЭЗИЯ МУЖЕСТВА И БОРЬБЫ

В издательстве «Бетансес» вышла книга Лолиты Леброн «Светильник в тюремной камере». Ее автор — пуэрториканская патриотка, отбывшая более четверти века в американской тюрьме за участие в

борьбе за свободу и независимость своего народа. В конце 1979 года она была освобождена в результате протестов со стороны прогрессивной общественности стран Латинской Америки.

Итогом пережитого явилась написанная в годы заключения поэтическая книга «Светильник в тюремной камере». Книгу предваряет посвящение, датированное 1974 годом: «Памяти нациоиального героя Пуэрто-Рико дона Педро Альбису Кампоса и павших в борьбе против колониального режима участников Октябрьского восстания 1950 года».

В предисловии к сборнику Франсиско Матос Паоль, боевой соратник Л. Леброн, пишет: «Не пытайтесь найти здесь приятные, искусно написанные поэтические безделки, отвлекающие от жгучих проблем нашей действительности. Это поэзия мужества и борьбы, порожденная героической жизнью патриотки, которая отдала себя целиком делу освобождения народа. Предельно искренняя книга-исповедь Л. Леброн приобщает читателей к благородному, истинно человеческому служению высокой цели. Разнообразна тематика книги. Исполненные гневного протеста, любви и надежды строки произведения о родине, ее скромных, свободолюбивых тружениках — крестьянах и рабочих — соседствуют со стихотворениями, обращенными к соратникам по борьбе. В сборник вошли и проникнутые чувством интернациональной солидарности произведения, посвященные Кубе и видному деятелю Латинской Америки Эрнесто Че Геваре».

«Светильник в тюремной камере» — это свидетельство моральной победы пуэрториканской патриотки над колонизаторами - тюремщиками»,— пишет рецензент газеты «Хувентуд ребельде».

США

НОВЫЙ РОМАН ДЖЕЙМСА БОЛДУИНА

Известный негритянский прозаик, драматург и публицист Джеймс Болдуин выпустил новый, шестой по счету, роман, который называется «Как раз над моей головой» (издательство «Дайэл пресс»). В последнее десятилетие, отмечает рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», в американской литературе «стала весьма популярной большая романная форма, представляющая собой нечто вроде историко-социальной и семейно-бытовой саги в духе Льва Толстого». К такого рода «широкоохватным» романам относится и новая книга Болдуина. Действие романа обнимает почти тридцатилетний период времени: с конца второй мировой войны до наших дней.

В центре «саги» — история жизненного пути четырех друзей, которые, организовав вокально-инструментальный ансамбль «Трубы Сиона», выступают в гарлемских церквах с проповедями и исполнением песен в популярном среди американских негров стиле «госпел». Жизнь негритянских музыкантов складывается тяжело. В условиях буржуазной Америки не так-то просто завоевать себе «место под солнцем» выходцам из социальных низов — тем более людям с черным цветом кожи. Судьба участников ансамбля «Трубы Сиона» безрадостна: один из них погибает, второй сходит с ума, третий превращается в наркомана и лишь четвертый, Артур Монтана — он главный герой книги, — добивается успеха: становится «звездой» поп-музыкальной культуры.

В 60-е гг., напоминает рецензент, Болдуин неоднократно подвергался нападкам со стороны экстремистски настроенных представителей молодого поколения негритянских писателей. Так, в своей нашумевшей книге «Душа на льду» Элдридж Кливер упрекнул Болдуина в том, что в романе «Другая страна» (1962) тот устранился от животрепещущих социально-политических проблем — от проблемы «расового конфликта в Америке», в частности,— в сторону изображения «частной» жизни. «Как раз над моей головой», отмечает в этой связи рецензент, — это словно чуть запоздалый ответ Э. Кливеру: хотя, как и большинство последних книг Болдуина, этот роман написан в мягкой, лиричной, «блюзовой» манере, тем не менее «частная» линия здесь постоянно соотносится с конкретным историческим фоном, что и придает книге в целом эпическую широту.

ТУНИС

СОВРЕМЕННАЯ ТУНИССКАЯ ПОЭЗИЯ

В Тунисе вышел специальный номер журнала «Аль-Фикр», посвященный современной тунисской поэзии. В номере публикуются подборки стихов нескольких десятков поэтов— представителей разных поколений, направлений и школ, о каждом поэте приводятся краткие биографические данные. В журнале помещены также статьи тунисских критиков, посвященные истории и нынешнему состоянию поэзии Туниса.

ФРАНЦИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1979 г.

Гонкуровская академия приняла решение присуждать премию франкоязычным писателям независимо от того, из какой страны они происходят. Премия 1979 года была присуждена канадской писательнице Антонин Майе за роман «Пелажи с повозкой» (издательство Грассе).

А. Майе создала ряд романов, посвященных истории и легендам ее родного края — Акадии, или Новой Шотландии, одной из областей Канады (части Нью-Брансуика). Многие из них получили широкую известность в странах французского языка. Уже в 1977 г. ее роман «Поленница» был выдвинут на соискание Гонкуровской премии и лишь в последнем туре голосования получил меньшее число голосов. А. Стиль в «Юманите» называет роман «Пелажи с

повозкой» эпическим эпилогом ко всем ее романам. Он пишет: «Вот откуда произошел народ Акадии, который Антонин Майе сделала таким близким для нас... Все ее книги об Акадии составляют единое целое — выдающееся явление в сегодняшней литературе, исполненное народности, оригинальное, таящее в себе неожиданные богатства фантазии и чувства».

«Это настоящая эпопея, где в образе героической женщины воплощена душа народа, возрождающегося вопреки беспощадным преследованиям», — пишет Жак Селлар в «Монд». Народной, эпической книгой называет роман А. Майе и Жером Гарсен в «Нувель литтерер». Жан Сальвен в «Юманите» отмечает необычайное богатство языка книги, ее силу и яркость.

Вторая по величине литературная премия Франции — Теофраста Ренодо — присуждена Жан-Марку Роберу за повесть «Посторонние дела». Это восьмая книга молодого писателя. За свой первый роман он получил премию «Фенеон» в возрасте 18 лет в 1972 г. В редакционной статье газеты «Юманите» «Сказать все и так просто», посвященной присуждению ему премии Ренодо, говорится: «В «Посторонних делах» речь идет об отношениях зависимости, которые складываются в сложной и «хитрой» иерархии современного общества».

«Эта короткая повесть,— отмечает «Юманите», — написана простым языком. Ее сила именно в прозрачности, за которой скрыто иносказание».

В своем интервью «Франс нувель», озаглавленном «Сейсмография мелких эмоций», Ж.-М. Робер заявляет, что хотел рассказать в этой повести об утрате человеком своей подлинной личности.

По мнению Мишеля дель Кастильо в «Фигаро диманш», у Ж.-М. Робера есть что-то от Гоголя.

Премия «Фемина» присуждена Пьеру Муано за роман «Жаждущий тени (И в поисках света)» (издательство Галлимара). Пьер Муано занимает высокий пост в одном из правительственных учреждений и в то же время известен как автор романов и книг о театре.

По мнению Андре Вюрмсера в «Юманите», выбор жюри был подсказан тем, что в книге Пьера Муано прямолинейно выражена «боль нашего века». «Это мастерски написанная благородная книга, иногда монотонная, но полная глубокого лиризма. Сдержанно и замечательно правдиво автор говорит об отцовской и о супружеской любви. Собственно, это почти не роман,— пишет критик, — так как очень большое место в нем занимают отступления и размышления». Совершенство стиля в этом романе отмечают все критики.

Премия Медичи присуждена писателю и критику Клоду Дюрану за роман «Зоологическая ночь» (издательство Грассе).

В романе речь идет о немом ребенке, который старается расшифровать окружающий его мир. «Этот новый Маленький Принц во многом похож на Гамлета. Есть что-то и от персонажей Ионеско: общение кажется невозможным, мы все — замурованные заживо»,— пишет Пьер Мертанс в «Суар».

Премия Медичи за иностранный роман присуждена кубинскому писателю Алехо Карпентьеру за роман «Арфа и тень».

Премия «Энтералье» присуждена писателю Каванна за роман «Русскovы». Каванна — директор еженедельника «Чарли Эбдо». Роман является второй частью автобиографического полотна писателя. Первая часть, «Ристали», была посвящена детству Каванна, выросшему среди парижской бедноты, в среде бедных иммигрантов. Если названием первой части сделана фамилия той семьи, из которой вышел главный персонаж, то названием второй части стала фамилия той семьи, из которой вышла главная героиня повествования, девушка, которую полюбил юный Ристаль. В «Русскovых» речь идет о юности автора, начавшейся вместе со второй мировой войной. Юноша был послан на принудительные работы в Германию, где рядом с французами работали русские, украинцы, поляки, подвергавшиеся гораздо более жестокой эксплуатации и работавшие в еще более жестоких условиях. Среди них была украинская девушка Мария. Рассказчик и Мария полюбили друг друга. Но к концу войны судьба разлучила их навеки.

А. Вюрмсер в «Юманите» называет роман «Русскovы» историческим и вместе с тем романом о любви — истинной и непреходящей. Любовь помогла французскому юноше, выросшему в атмосфере борьбы за существование, лишенной идеалов, воспринять от юной украинки ее веру в то, что существуют истинная преданность, крепкие узы, связывающие людей одной семьи (например, Русскovых), одного класса (например, тех, кто работал под дулом немецких охранников).

Вюрмсер указывает на то, что впервые в романе французского автора воспроизведены события, происходившие в конце войны в Берлине и неподалеку от него. И сделано это, по мнению критика, с силой фантастических фресок Гойи.

ФРГ

НОВЫЙ РОМАН МАКСА ФОН ДЕР ГРЮНА

В новом романе «Большой пожар», выпущенном недавно издательством «Лухтерханд», известный западногерманский писатель остается верен своей теме и своим героям — рабочим, людям труда.

«Почему мы, рабочие, не пишем своих воспоминаний? Неужели нам нечего сказать, неужели наша повседневность неинтересна и малозначительна?» — спрашивает главный герой книги Лотар Штайнгрубер.

«Все творчество Макса фон дер Грюна,— пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Йозеф Квак,— попытка ответить на этот вопрос».

Действие романа, как обычно у этого писателя, сразу начинается с острого конфликта. Лотар Штайнгрубер, рабочий, социал-демократ, выступает против местных руководителей сво-

Режиссер Эдгар Райц, один из представителей западногерманского «молодого кино», свой фильм «Портной из Ульма» посвятил народному умельцу Альбрехту Берблингеру, жившему в конце XVIII века, который создал летательный аппарат, чтобы люди могли подняться в небо. В фильме рассказывается, сколько трудностей встретилось «Икару XVIII века» на пути к заветной цели. Главную роль, как отмечает пресса, отлично сыграл актер Тило Прюкнер (на фото слева).

(Кинобюллетень «Фильмферлаг дер ауторен»)

ей партии, заправляющих в муниципалитете. Он обвиняет их в том, что они из корыстных соображений позволили частным предпринимателям прибрать к своим рукам целый рабочий поселок. Человек резкий, бескомпромиссный, Штайнгрубер не искушен в тактике политической борьбы. В нем есть что-то от Дон Кихота. Его обвиняют в том, что он участвовал в демонстрации протеста вместе с коммунистами, и исключают из партии. А работу он потерял еще раньше.

Не желая сидеть без дела, Штайнгрубер находит себе временное занятие: он нанимается к владельцу транспортной конторы Бальке, где перевозит какие-то таинственные ящики. В ящиках оказывается оружие. Узнав об этом, но не вникнув пока глубже в суть дела, Штайнгрубер просто отказывается от работы.

Он становится сторожем на кладбище и однажды здесь, в одном из склепов, обнаруживает все те же тщательно припрятанные ящики. Постепенно роман приобретает характер увлекательной детективной истории. С помощью друзей герой выслеживает заговорщиков. Это местные неонацисты, создавшие «Союз морального и нравственного возрождения Германии». Публично они разглагольствуют о защите национальных ценностей, а втайне обучаются военному делу и устраивают склады оружия. Среди них и Бальке. Он же оказывается и тем самым человеком, который подкупил социал-демократических депутатов.

Драматизм происходящего усиливается еще тем, что в сети неонацистских заговорщиков попала дочь Лотара Штайнгрубера, Клавдия. Окончив школу, она провалилась на экзамене в музыкальное училище, с отчаяния решила уйти из дома — и попалась на удочку опытных ловцов душ.

В финале романа Лотару и его друзьям удается вывести неонацистов на чистую воду. Но поселок уже стал частной собственностью дельцов. Далеко не все удается изменить и исправить.

«Макс фон дер Грюн — реалист,— пишет критик.— Поэтому при всей своей «ангажированности» он не закрывает глаза и на слабости рабочих... Достоинства романиста сочетаются у него ...с темпераментом журналиста». Рецензент считает, что писателю роман удался. «С первой и до последней страницы он держит читателя в напряжении».

ВАЛЬРАФ ПРОТИВ ШПРИНГЕРА

Орган КПГ, газета «Унзере цайт», публикует интервью с известным западногерманским публицистом Гюнтером Вальрафом в связи с ожидающимся выходом его новой книги «Свидетели обвинения», где продолжается разоблачение практики шпрингеровской газеты «Бильд-цайтунг».

«Унзере цайт» напоминает, что после выхода первой книги Вальрафа на эту тему, «Оформитель», концерн Шпрингера предпринял целый ряд мер, чтобы заставить писателя замолчать. Было возбуждено судебное преследование как против него, так и против людей, снабжавших его информацией. Наконец прокуратура Дюссельдорфа произвела обыск у него на квартире.

« — Есть ли связь между этим обыском и вашей новой книгой о «Бильд-цайтунг»?

— Есть, прямая и непосредственная. Работа над второй книгой о «Бильд-цайтунг» находится в заключительной фазе. Издательство Шпрингера знает, что его ждет, знает, что я могу доказать по сути преступный характер деятельности «Бильд-цайтунг». И конечно, они страшно боятся. Несмотря на попытки запугивания и давления на своих

людей, снабжавших меня информацией, им не удалось «положить меня на лопатки», как это звучит на их жаргоне... Поэтому они все ставят на карту».

Писатель указал, что, если бы Шпрингеру удалось добиться хотя бы временной конфискации собранных материалов, издание книги было бы отложено на неопределенный срок. Но и без того бесконечные судебные разбирательства существенно замедлили работу.

На вопрос о том, как ему удается находить источники информации, Вальраф ответил:

«После выхода моей предыдущей книги о «Бильдцайтунг» мне не нужно было искать людей, желающих мне что-то сообщить. Многие приходили ко мне сами. Многим хотелось просто выговориться, по-настоящему «исповедаться»... Для меня не составляет проблемы отыскать материал. Каждый описанный случай я мог бы дополнить десятком других».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ПАНОРАМА» ЧЕШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Периодическая печать Чехословакии обогатилась еще одним интересным изданием: два раза в год начал выходить журнал «Панорама» (орган Союза чешских писателей, Чешского литературного фонда и агентства «Дилиа»), призванный знакомить отечественного и зарубежного читателя с новинками чешской литературы. Журнал выходит на русском, английском, немецком, испанском и венгерском языках.

Продолжая традиции своих знаменитых предшественников, прославивших чешскую литературу далеко за пределами своей родины, таких как Божена Немцова, Карел Гинек Маха, Ярослав Гашек, Карел Чапек, Юлиус Фучик и др., современные чешские писатели создают произведения глубокого гуманистического звучания и высокого художественного мастерства. Первый номер журнала знакомит читателя с разными поколениями современных чешских прозаиков и поэтов. Среди них такие прославленные поэты, как Вилем Завада, Иржи Тауфер, Йозеф Рыбак, Ярмила Урбанкова, Иван Скала, Мирослав Флориан, Донат Шайнер, такие маститые прозаики, как Зденек Плугарж, Ян Козак, Ладислав Фукс, М. В. Кратохвил, Рудольф Кальчик и др. В номере представлены и писатели среднего и молодого поколения: Павел Францоуз, Богумил Ногейл, Карел Мисарж, Ян Костргун.

Кроме отрывков из романов, повестей, поэм и прочих художественных жанров, в которых работают представленные в журнале писатели, читатель найдет здесь и различный критический и справочный материал. Богато иллюстрированный, красочно оформленный, журнал «Панорама» действительно отражает широкую панораму плодотворной творческой жизни литературной Чехии.

«БЕТОН ПРОРАСТАЕТ ТРАВОЙ»

Так называется новый роман известного швейцарского писателя Отто Ф. Вальтера. Его герои — совсем молодые люди. Им нет еще восемнадцати. Они мало искушены в политике и пока еще сами не могли бы объяснить словами причин своего недовольства жизнью, существующим порядком вещей. Скорей из любопытства, чем из убеждения, они принимают участие в демонстрации защитников окружающей среды. Здесь их захватывает новое чувство, чувство солидарности, единения с другими людьми. Тем большим потрясением оказывается для них столкновение с полицией, которая силой разгоняет демонстрацию.

Это событие становится переломным в жизни Эстер Моль, главной героини романа. «Дубинки, брандспойты, слезоточивый газ не делают из юной девушки политически мыслящего человека,— пишет в газете

ШВЕЙЦАРИЯ

Лючия Бозе, известная итальянская актриса, создавшая ряд замечательных женских образов в фильмах неореалистического направления, таких, как фильм Джузеппе Де Сантиса «Нет мира под оливами», широко демонстрировавшегося на советских экранах, и в фильмах испанских режиссеров, таких, как Бардем, создавший фильм «Смерть велосипедиста», также хорошо известного нашим зрителям, сыграла главную роль в фильме молодого швейцарского режиссера Даниеля Шмида «Виоланта». В основу ленты лег «семейный» роман классика швейцарской литературы Конрада Фердинанда Майера (1825—1898). Наряду с Лючией Бозе в фильме заняты актеры Мария Шнайдер, Жерар Депардье, Франсуа Симон.
На снимке: кадр из фильма «Виоланта».

(Кинобюллетень «Кондор-фильм»)

«Франкфуртер альгемайне» критик Гюнтер Блёккер.— Но они вызывают в ее душе моральный протест». До сих пор она все принимала без рассуждений: деспотизм отца, чьи методы воспитания напоминали скорей дрессировку, условия работы в банке, где она служит, всю повседневную жизнь общества. Теперь она заново вглядывается во все и задается вопросом: «Человечно ли это?» И чем дальше, тем сильней зреет в ней желание хоть как-то выступить против всего, что кажется ей бесчеловечным.

Однажды младший брат Эстер на заброшенном стрельбище обнаруживает старый, заросший кустами ежевики танк. Для него это нечто вроде тайной пещеры, куда можно спрятаться от всех. Но решимость Эстер Моль превращает это заржавевшее чудовище в символ протеста. Им удается завести мотор танка, и они пускаются на нем в безумную демонстрацию по деревням, по улицам родного города.

Автор рассказывает обо всем происходящем с точки зрения самих героев. Он, замечает рецензент, пытается взглянуть на мир глазами «поколения, которое чувствует себя разочарованным, обманутым в чем-то, чего молодые люди сами не могут определить. Мир, в который они вышвырнуты, представляется им «забетонированным» в прямом и переносном смысле... Они хотят, чтобы бетон опять зарос травой. И их не смущает, что для достижения своей цели они пользуются оружием ужаса и уничтожения».

При всей симпатии к своим героям автор отдает себе отчет в инфантильности их протеста, который может закончиться лишь катастрофой. Ему удалось найти впечатляющий символ для путаницы, которая царит в умах известной части западной молодежи. Взглянув на брата, который упоенно ведет по улицам танк, Эстер вдруг ошеломленно замечает, каким жестоким, воинственным стало его лицо.

Высоко оценивая новую работу Отто Ф. Вальтера, рецензент говорит: «Это очень горькая книга».

РЕСПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ТАМИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В конце 1979 года прогрессивная общественность Шри Ланки отметила пятнадцатилетний юбилей ежемесячника «Маллигей».

«Маллигей» по-тамильски значит «жасмин», один из любимых народом Шри Ланки цветов. «Вот уже пятнадцать лет мы с радостью наблюдаем, как раскрываются лепестки и листочки нашего «Маллигея»,— пишут читатели и поклонники журнала, известного также в Индии, Малайзии и других странах. «Маллигей» стал одним из первых журналов освободившейся от колониализма Шри Ланки (тогдашний Цейлон), вокруг которого сгруппировалась плеяда молодых талантливых поэтов и прозаиков, выходцев из различных слоев населения во главе с писателем Домиником Джива, чьи произведения неоднократно переводились на другие языки мира, в том числе на русский. «Маллигей» считает своей задачей всестороннюю помощь возрождению национальной культуры, широкое знакомство читателей с новыми работами начинающих писателей и поэтов, перевод и публикацию на тамильском языке лучших произведений сингальских собратьев по перу, освещение основных литературных событий мира, развитие и упрочение интернационалистских связей с литераторами других стран.

В течение многих лет журнал поддерживает творческие контакты с ведущими литературными периодическими изданиями Индии и Малайзии. На страницах «Маллигея» регулярно появляются переводы зарубежных авторов, в том числе советских. Только в трех номерах, например, за 1979 год, отмечает обозреватель журнала, «Маллигей» поместил переводы статей С. Михалкова, Г. Петросяна, В. Лавренецкой, М. Салганик, В. Лаврентьева. Один из последних номеров журнала познакомил своих читателей с творчеством Чингиза Айтматова, перевел стихи Агостиньо Нето.

ЯПОНИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ КУРОСАВА

Еженедельник «Асахи-гурафу» один из своих номеров целиком посвятил новому фильму Акиры Куросава.

«Заветная мечта моя — водрузить знамя над столицей нашей Киото. Но случись со мной что-нибудь непоправимое, не оставляйте сей мечты, ибо противники непременно и незамедлительно нападут на наши владения, как только станет известна моя кончина. Смерть мою держите в тайне и траур по мне не соблюдайте в течение трех лет... Берегите землю нашу как зеницу ока...»

Таково было завещание прославленного полководца, ученого и выдающегося политика Сингэна Такэда, жившего в 1521—1573 годы.

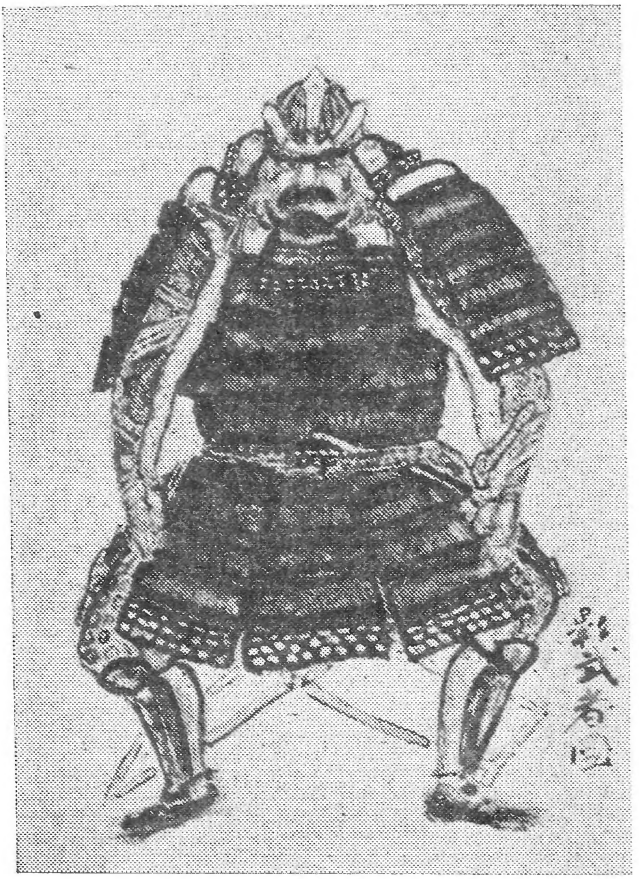
Новый фильм Акиры Куросава, к съемкам которого он приступил в середине прошлого года, называется «Двойник». Фильм повествует о печальных и смешных эпизодах, связанных с судьбой вора, приговоренного к смертной казни, но из-за внешнего сходства с Сингэном Такэда после его смерти ставшего его «тенью».

Это первая работа, к которой Куросава приступил после советского фильма «Дерсу Узала».

Когда студия объявила конкурс на разные роли (в том числе и статистов), поступило 14 777 заявлений, из них 1 600 от женщин, хотя женских ролей в фильме ничтожно мало. На роль Сингэна и двойника Куросава пригласил известного киноактера Синтаро Кацу.

Куросава рассказал кинокритику Ёсио Сираи на страницах журнала:

— Сценарий был написан еще в марте 1978 года, и, конечно, хотелось как можно скорее приступить к работе, но длительные и почти бесплодные переговоры с фирмой «Тохо» о расходах по производству фильма вселяли в меня чувство раздражения. Одно время я и вовсе доходил до отчаяния. И чтобы унять эти настроения, я рисовал и рисо-



вал картинки, представляя себе, каким будет мой будущий фильм.

По существу весь фильм воссоздан в рисунках Куросава, отображающих ту далекую эпоху вплоть до мельчайших деталей костюма.

Ассистент режиссера (работающий с ним с 1950 г., со съемок фильма «Расёмон») Ногами говорит, что Куросава никогда не делал таких тщательных раскадровок, тем более в цвете. Правда, для фильма «Дерсу Узала» некоторые зарисовки были сделаны в цвете, чтобы легче было донести свой замысел до советских участников съемок.

«Кино — это коллективное искусство, рожденное технической цивилизацией, — сказал Ёсио Сираи,— а Куросава своей могучей организаторской способностью и неуемной творческой энергией умеет привнести в него свою требовательность, доведенную до максимализма. Он совершенно свободно, словно собственным телом, управляет камерой, осветителями, звукооператорами, художниками и сотнями, сотнями статистов, чтобы воплотить свой сокровенный замысел...»

На снимке: рисунок Акиры Куросава к фильму «Двойник».

(Еженедельник «Асахи-гурафу»)

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова**. Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**.

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

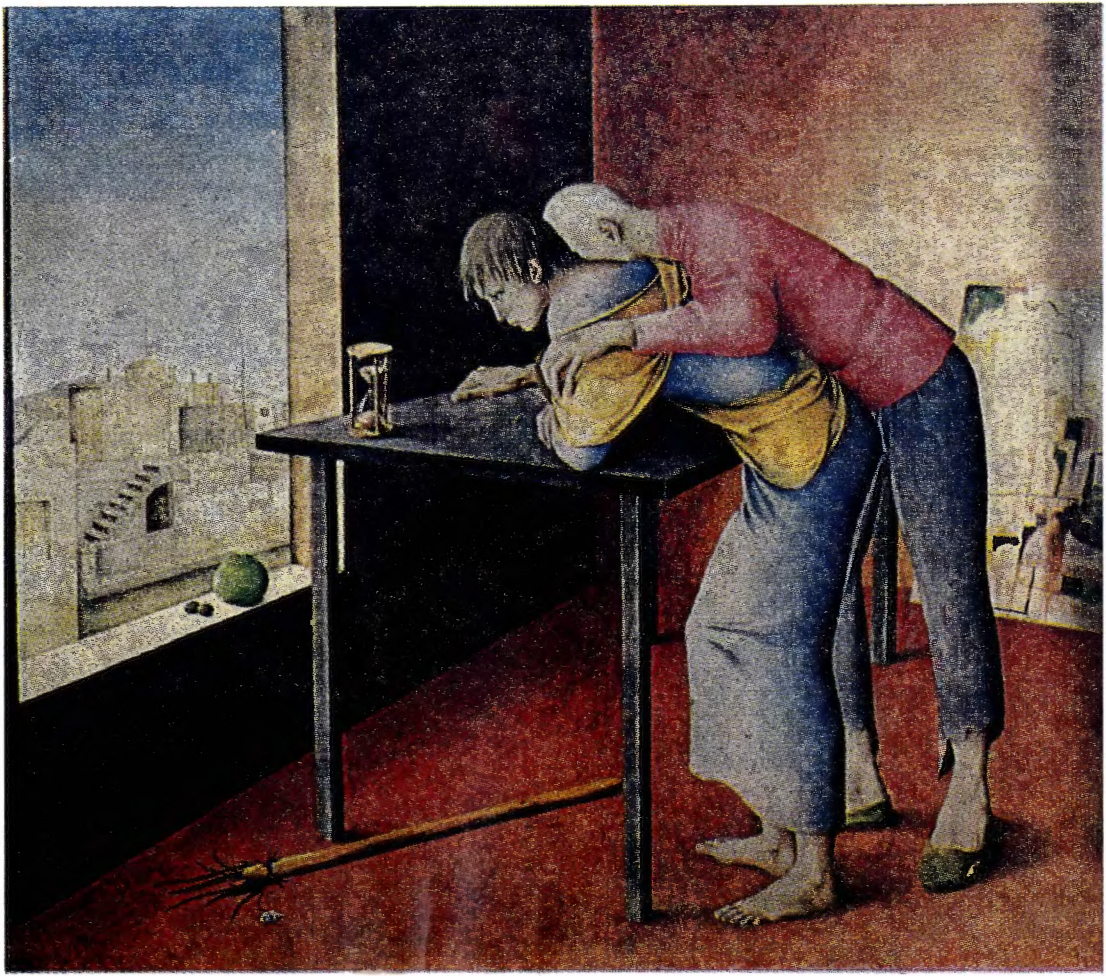
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 7/I 1980 г. А 10940. Подписано в печать 11/II 1980 г.
Бумага 70×108 1/16. Объем 17 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30,18.

Тираж 480 000 экз. (1-й завод: 1—400 000 экз.) Зак. 142.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Мужчина и женщина перед песо[illegible] **и часами**

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394